

84/2р=Балк
Т 346
1249162

Алим Теппеев



МОСТ
СИРАТ

✓
Алим Теппеев

Мост Сират

Роман

Тяжкий путь

Трагедия

124.946.2
Нальчик
«Эльбрус»
2001

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Ногмова, 42

0552442
7.4.01

Перевод *М. Эльберда*

4702100100-068
T M 125(03)-2001 94-2001

ISBN 5-7680-1649-X

© А. М. Теплеев, 2001

Мост Сират

Роман

Книга первая

Горе мне в моем сокрушении, мучительна рана моя, но я говорю сам себе «подлинна эта моя скорбь и я буду нести ее».

Иеремия, 31, 29

Когда бы горцам, молодым и старым,
Уменья верить не было дано,
Нас ветром, как труху гнилой чинары,
С чужой землей смешало бы давно.

Кайсын Кулиев

В полдень пятого марта бригада плотников из семи человек возвращалась из Гебчоры, где она восставлиwała сожженную немцами животноводческую ферму. Местечко это располагалось на расстоянии тридцати километров от Жамауата, и плотники шли пешком за воловьей арбой. День был ясным, безоблачным, и настроение у людей было приподнятым, насколько оно могло быть таковым в военное время. Вновь сколачивался колхоз, удалось собрать после оккупации кое-какой скот, вот и ферма теперь есть. Словом, жизнь продолжалась, надо было трудиться — живым всегда приходится думать о будущем.

Двое из плотников — Хаджибекир и Керим — уже отвоевали: у Хаджибекира в боях за Харьков был выбит осколком подбородок, и он ходил с ватной перевязкой, ко-

тору закреплял за ушами. У Керима оторвало по локоть левую руку, и в бригаде удивлялись его ловкости и упорству: он и одной рукой действовал не хуже, чем двумя, и топор держал крепко, и фуганком орудовал вполне успешно. Теперь у Керима воевал сын Азрет, и, презиравший малодушие, отец был уверен, что ничего с ним не случится, ведь война все отдалялась, скоро должна была закончиться, и не хотелось даже думать о черных бумагах. Еще трое — Ахмат, Сейпу и Осман — то ли по возрасту не подходили, то ли их берегли, как славных скотоводов, известных всей республике и участвовавших в первом съезде ударников, а потом и в знаменитой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в тридцать девятом году, — портреты всех троих были помещены в той праздничной книге, которая называлась «Орденоносная Кабардино-Балкария», — как бы то ни было, они сначала не призывались в армию, а потом, когда был брошен клич о кавалерийской 115-й дивизии республики, их сразу мобилизовали и отправили, не дав ни искупаться, ни белье сменить. По пути к Ростову-на-Дону им читали из газет, как об этой дивизии рапортовали товарищу Сталину. Ахмат, Сейпу и Осман ни читать, ни писать не умели, но, вернувшись домой, рассказывали, как всадники с саблями шли против танков, как они гибли сотнями и как в той кровавой мясорубке нельзя было понять, война это или кыяма¹. Только недавно славные пастухи, они были теперь похожи на покореженные обломки бревен, вынесенных на берег бешеным паводком. Первое время они по ночам во сне кричали, да и днем грустно было на них смотреть, — сидели пришибленные, бледные, то и дело вздрагивая, будто рев и грохот танков вновь и вновь терзал их души. Так они и провели три недели в своих кошах при отарах, а потом пришли немцы, и им пришлось угонять колхозный скот за перевал. Скот они все же отогнать успели, но колхозу от этого оказалось не легче, потому что в Грузию переправляли не только скот, но и множество раненых солдат, которых приходилось кормить...

К исходу весны Ахмат, Сейпу и Осман вернулись в Жамауат, только теперь пришлось браться за плотничный инструмент, потому что пасти было нечего, а поднимать, отстраивать было чего, и все оставшиеся месяцы сорок третьего они пилили, тесали, строгаали, занимались и каменной кладкой, и кровельными работами, чтобы остав-

¹ К ы я м а (кыяма — балк.) — Судный День; здесь: бедствие, ужас.

шимся в живых после бомбежек и расстрелов было где жить. В декабре, когда потребовалось восстановить ферму, Хамзат призвал их в Гебчоры. Ахмат, Сейпу и Осман были работающие люди, и Хамзат их уважал. Война для них оказалась чуждым и непонятным кошмаром, и если они, будучи ввергнуты в бойню, не принесли заметной пользы, то не потому, что сплеховали или струсили, а потому, что их не научили воевать, их не готовили к войне, а просто бросили на пути у танков. Хамзат это понимал и переживал глубоко: человек приносит пользу там, где чувствует дорогу и знает, куда она ведет. А иначе — просто беда. Сам он, как и Бияслан, седьмой из плотников, к войне уже был стариком, годы уже вышли и потому, как бы он того ни желал, на фронт его не взяли. Война продолжалась, и почти все были опалены ею; Хамзат уже потерял двоих детей — старшего сына Муссу удалось похоронить самому, а что стало с дочкой Арийпой, которую в студеную ночь на 28 ноября 42-го взяло гестапо, не знает, оттого горше вдвойне. Но разве Бияслану легче, у него семеро сыновей ушли на фронт! Один из них даже не успел домой письмо написать — пришла черная бумага! От близнецов Ажока и Азнора давно нет вестей, остальные четыре мальчика, если Аллах милосерден, где-то еще воюют, и мать их, несчастная Налмас, еще увидит их живыми. Так думал Хамзат, а Бияслан, обеспокоенный недавним сном, спешил вместе со всеми домой, ничем не выдавая свою тревогу. Как и все, он спешил домой, чтобы узнать о войне и сыновьях, спешил и боялся прийти, потому что война имеет дурную привычку быть особо прозорливой к своему концу.

Так возвращалась бригада плотников в аул Жамауат. Дорога была утомительной, потому все семеро молчали. Бесна, по всем признакам, обещала быть ранней — с полых склонов сходил снег, к дороге стекали мутные ручейки и колеи от колес воловьей арбы быстро наполнялись талыми водами. Уже лопались гутые почки рододендронов; ветерок, дующий из верховий ущелья, приносил едва ощутимые ароматы дикого орешника и черной березы, очнувшихся после зимнего оцепенения. Дорога все время петляла по-над склонами и, спускаясь ниже, путники все чаще с тоской и надеждой смотрели на знакомые с детства, близкие сердцу склоны, где в проталинах снега виднелись упрямые всходы гелеу-травы. Здесь, на этом склоне, Бияслан слышал о войне.

В то лето он, смущаясь, выпросил у председателя Харуна для работы на сенокосе вместе с сыновьями именно

этот участок. Отсюда, с этого урочища, богатые горные луга растекались по низинам, спускались с Белых скал к окраине Жамауата, а там, неожиданно столкнувшись с каменистыми косогорами, где умирали развалины древних аулов со сторожевыми башнями на дальних скалистых уступах, зеленые сочные потоки дробились на части и беспомощно иссякали среди камней.

Луговые урочища некогда назывались Чаллыкля — покосные места, но к тому времени, когда Бияслан впервые поднялся туда с отцом, название было уже другое — Дыркылы сырт — Ступенчатый склон, и это больше нравилось Бияслану. Тогда они ехали по старинной дороге на воловьей арбе, которая тяжело побряхтывала на неровностях и травяных кочках. Бияслан то кричал вослед выпорхнувшему кеклику, то приумолкал, прислушиваясь к вдруг запевшему улару. Отец рассказывал о птицах, сколько их здесь и какие. Помнится, его удивляло и обилие луговых цветов. «Но главное,— говорил отец,— сено здесь очень сытное».

Раньше луг принадлежал князьям Тарховым, и Бияслан еще успел попотеть на хозяев: два стога Тарховым, один — себе. В дождливые годы трава росла буйная, и тяжело бывало ее ворошить, но Бияслан не жаловался, он был наделен могучей силой. Другие валились с ног, и куда ветерок сушил прилипшие к спинам рубахи, они проклинали и эти ни в чем не повинные горные луга, и князей, и саму жизнь. Правда, в те минуты, когда человек облегчает душу проклятиями, он как бы набирает новую силу, обретает упорство, и косарям, одолевшим тяжкий подъем по скошенной, почти полукилометровой полосе, чтобы вновь пойти сверху вниз новой полосой, их участь уже не казалась такой уж скверной. Так продолжалось годами, а когда Дыркылы сырт стал принадлежать не князьям Тарховым, а колхозу, люди в Жамауате никого не проклинали, потому что жизнь полегчала, можно было и подольше отдыхать на сенокосе и полосу захватывать поуже. Только для Бияслана ничего не менялось: он и в артели косил по-прежнему, во всю силу, а как радовался, когда в один прекрасный день Дыркылы сырт усеивался стогами, точно небо — звездами! И теперь, прося этот склон для работы вместе с сыновьями, он понимал, что другие колхозники могут остаться недовольными. Но просил он не для себя! Тем более имел какое-то право на эти покосы — сколько пота пролито здесь его родом, сколько камней, скатывающихся сюда с Белых скал, убрал его отец, он сам,

его братья, хотя эти земли и не принадлежали им; они никогда им не принадлежали, но Биясланов род тнул там спину поколениями, словно Дыркылы сырт был их кровной собственностью. Так что и теперь, когда урочище являлось владением колхоза, созданного людьми Жамауата после двух неудачных попыток, они, эти покосные земли, в какой-то мере оставались для Бияслана родными,— ведь он долгие годы провел в единоборстве с Дыркылы сыртом, в единоборстве, которое вели уже несколько поколений, утверждая здесь свою силу и жизнестойкость. Всего этого Бияслан не говорил Харуну, он знал, что немногословный председатель колхоза хорошо к нему относился и не откажет, если это будет возможно. Это было действительно так, потому что Харун видел в глазах Бияслана затаенное светлое желание проверить сыновей в совместной работе; Харун читал еще в глазах Бияслана, что главное для него не проверить, хорошо ли сыновья умеют держать косу в руках,— они, сыновья Бияслана, не раз измерили склон сверху донизу,— но отец хотел, чтобы их неразрывно связывало, хотя бы на время, одно кровное семейное дело, одно кровное отношение к отчему дому, ведь теперь все учились, а когда молодые люди, учась и взрослея, обретают разные жизненные цели, то растягиваются и ослабевают нити, связующие их друг с другом, с родительским кровом и родной землей. Бияслан старел и начинал остро ощущать страх перед будущим рода, а значит и будущим своих сыновей. Потому и решил он созвать их из разных мест на лето, а младшего, Ачаха, никуда после школы не отпускать. Труднее всего было со старшим. Абу редко приезжал домой, а сейчас он и вовсе находился вдали от родных мест, в Москве. Еще мальчиком он знал множество сочинений Кязима, читал их наизусть; Абу имел и голос,— старики на свадьбах усаживали его рядом и заставляли петь. Он пел звонким, не по-мальчишески зрелым сильным голосом. В четырнадцать лет, не окончив школу, он поехал в город на какую-то олимпиаду, и с тех пор редко появлялся в Жамауате. Говорили, он пишет стихи, хотя Бияслан этому и не поверил: в роду Кайбергеновых таких талантов никогда не обнаруживалось, даже певцов приличных не бывало, а тут и певец тебе, и чтец, к тому же еще и назмучу — сочинитель стихов. Но как бы Бияслан не посмеивался над Налмас, поверившей в необыкновенные таланты сына, однажды газеты принесли весть о том, что в высокогорном своем Шики Кязим встречался с московскими поэтами и учеными, а среди них находился и молодой талант-

ливый поэт Абу Кайбергенов. Бияслан заставлял Ачаха вновь и вновь читать газету, а наедине спрашивал у Налмас может ли быть такое и в самом деле? Налмас, обычно молчаливая, становилась разговорчивой, и вспоминала, как еще в детстве Абу брал в руки камень и, показывая его матери, говорил: «Смотри, лягушка!». И в самом деле, в руках Абу камень превращался в лягушку, ящерицу. Другой раз он мог увидеть в облаке или в корневище кизила еще какую-то живность. «Да, да, мужчина, в его глазах вспыхивали нездежные искры, я их боялась, хотя вслух ничего и не говорила», — вспоминала Налмас. Неожиданный взлет сына то радовал, то пугал Бияслана, больше пугал, потому что сочинение стихов он считал делом серьезным, даже божественным, а если сын взялся за стихи, не имея на то знамение с неба, то падет позор на дом его. Нет, безотлагательно следовало его увидеть. Бияслан усадил Ачаха за грубый дощатый стол, сам устроился на своей деревянной кровати и, лежа, продиктовал письмо в Москву. «Как получишь письмо, сразу приезжай домой, — требовал отец. — То, что ты там слушаешь больших людей, это хорошо, сын». «Но у тебя шесть братьев, мать и отец, — от себя добавил Ачак, — сколько времени ты их не видел, а вот это очень плохо...» Бияслан хотел что-то съязвить насчет стихотворчества, но все же попридерживал иронию: помня щедрость Аллаха, он все же надеялся, что Абу пишет стихи не земным честолюбием ведомый, а, как и Кязим, «высшим словом наделенный».

Бияслан сам пошел на почту отправить письмо, а в это время почтовая телега подкатывала к Жамауату за Бияслановым письмом и другими, возможно, не менее строгими посланиями односельчан, и восседал на телеге не только почтальон, но и — собственной персоной, — веселый поэт Абу Кайбергенов. Сейчас он рассказывал почтальону, как в Москве, в Большом театре, зрители аплодировали артистам, а Жунус, студент из Верхнего Холама, сидевший на верхнем ярусе, крикнул «Жашасын Сталин! — Да здравствует Сталин!» — и зрители разом повернулись к заветной ложе и, хотя там никого не было, пришли в неопишуемый восторг. Абу пытался образумить земляка, но тот все кричал «Жашасын Сталин!» — точно находился не на верхнем ярусе Большого театра, а на вершине горы Илляча, что возвышалась над его селением, а зрители, позабыв об артистах балета, неистово рукоплескали. Абу все смотрел на пустую правительственную ложу и с замиранием ждал, а вдруг появится пресветлый лик вождя. «Ну, появился!», —

спросил почтарь, чуть привстав. «Да,— сказал Абу.— Не зря, наверное, Жунус так старался!» «И ты его видел?» — спросил почтарь, глядя на поэта горящими от зависти и тоски глазами. «Вот как тебя сейчас! — ошеломил его Абу еще больше.— У меня был бинокль театральный и я смотрел...— И вдруг:— Ничего особенного. На рябого Османа похож!» Почтарь даже подскочил на месте, у него глаза на лоб вылезли и, не помня себя от испуга, хлестнул лошадь кнутом, та от неожиданности подпрыгнула, телега качнулась, но почтарь, успевший снова сесть, а точнее, почти свалиться от страха, не выпал из телеги, зато Абу, не успев удержаться, вывалился прямо на мокрый песок дороги. Потом он смотрел вслед рванувшейся вперед телеге: почтарь, не оглядываясь, все нахлестывал лошадь, и было видно, что даже спина его окоченела от ужаса.

Неожиданный приезд сына переполнил дом Бияслана радостью, к тому же Абу объявил, что все лето пробудет дома. После обеда, когда Бияслан сел перед сыном, сын, глядя на его палку, чертящую на полу неровные круги, понял, что отец как бы подыскивает с помощью этой палки наиболее подходящие слова для своих трудных отцовских вопросов. Тогда Абу торопливо и даже как-то испуганно встал, быстро достал из потертого саквояжа книжечку в зеленой, под цвет мусульманского знамени, обложке с собственным портретом в самом начале и неловко сунул ее отцу в руки. «Вот, только что издали в Нальчике»,— немного смущаясь сказал он. Палка Бияслана резко остановилась. Налмас потом рассказывала женщинам, как ошалевший Бияслан забыл в тот день совершить намаз. Налмас, может, и преувеличивала, но взволнованный отец сначала убрал книжицу, словно ворованную, а когда Абу вышел на улицу, а другие домочадцы по делам, он позвал Ачаха за сарай и заставил прочитать сыновнюю писанину от первой буквы до последней. «Лжи нет!» — сказал он про себя, снова забрав книжку у распаленного Ачаха. Он засунул ее теперь во внутренний карман бешмета. (Пройдет несколько лет, и в приаральских степях близ железной дороги геологи найдут выгоревший на солнце, разорванный шакалами бешмет и обнаружат в кармане растрепанную книжечку в зеленой обложке, но прочитать ее не смогут, хотя и найдут там много понятных и общеизвестных слов, вроде «Октябрь», «революция», «Ленин», «Москва», «метро», «Эльбрус», «Тельман», и даже «геолог», что вызовет особое любопытство. «Человек упал с поезда, а его шакалы съели»,— скажет старый геолог, а совсем еще девчонка,

студентка на практике, горько заплачет, точно упавший с поезда был ее дедом). А в тот день Бияслан, довольный тем, что сын празднословием не занимается, еще больше укрепился в своем решении: никто еще в этих местах, а тем более в Дыркылы сырте, не косил, будучи человеком, создавшим книгу, да с Кязимом встречавшимся, да еще Москву повидавшим, — так что самое время обращаться к Харуну с просьбой.

Харун, конечно, был рад его решению, и на следующий день Бияслан поднялся на Дыркылы сырт вместе с Абу и они вдвоем поставили там кош: после выхода на косьбу нельзя тратить время на дорогу. Покуда весь дуг не будет выкошен, сено не будет собрано в стога, а стога — не заскирдованы, косари должны жить в коше. Троим братьям — Ажоку, Азнору и Ако — было поручено впрок готовить косы, молотки, которыми отбивают лезвия и калаки — деревянные бруски, покрытые песком. Двое — Аубекир и Аккуш — на ишаках возили дрова.

Выход на сенокос всегда сопровождался торжественными проводами. Когда Бияслан с сыновьями вышел на околицу, там на столах уже дымилось мясо, поодаль, на поляне, танцевала молодежь. Бияслан прошел к старикам, они уже знали о дерзости сородича и, в ожидании упрека, Бияслан отдал салам, не поднимая головы. Но мельник Хамзат, не самый старший, но самый уважаемый среди сидящих за столом, сказал:

— Аллах пусть никогда не отнимет их у тебя, Бияслан. — Это было одобрение его поступка, и Бияслан успокоился. А Хаджибекир еще добавил:

— Наука твоя — пример для всех нас.

Но чуть в сторонке от стола, пыхтя и нервно покуривая, раздраженно ходил взад-вперед бригадир Шоштар.

— Бесхребетный Харун тебе не отказал, но я еще бригадир и Дыркылы сырт пока что в моем распоряжении, — сказал он, продолжая ходить. — Меня ты не спросил...

— Садись, Шоштар, мясо остывает, — усмехнулся Керим. — Как говорят кумыки, хинкал лучше разговоров. — Иногда Керима называли злоязычный Гиляхсыртан, уподобляя его нарту Гиляхсыртану, который был знаменит своей бесцеремонностью и злоязычием. Обе руки Керима тогда были целы, но указательный палец левой руки, криво сросшийся после того, как он поломал его, самонадеянно играя с валухом в «бодание», вызывал улыбку или какое-нибудь остроумное слово всякий раз, когда пытался Керим использовать этот палец в помощь своим изречениям. Вот

и сейчас Керим призвал Шоштара к столу именно этим пальцем.

— Да убери ты свой ущербный палец! — заорал бригадир, чем еще выше поднял настроение сидящих за столом.

В этих местах не всегда бывала брага перед едой, и очередная выходка какого-нибудь жамауатовского великомученика заменяла хмельную чашу. А на «закуску» выдал Хамзат:

— Ущербный палец можно убрать, но как быть с ущербной головой.

Шоштар совсем расстроился и в сердцах выплюнул недокуренную сигарку.

— Бисмилла! — сказал Керим, метя кривым пальцем в жирный кусок. — Если у бригадира потекла кровь из носа, когда ему предложили еду, что ж делать, на то воля Аллаха! — И взял облюбованный кусок.

— Сыновей собрал, бригаду такую вывел на покос, а ты, бригадир, вместо того, чтобы поблагодарить Бияслана, ругаешь его, — примирительно прогудел Байчо. Этот могучий человек скашивал за день гектар и в сенокосную страду его всегда отзывали с горных пастбищ. — Садись за стол, мы ждем тебя!

Но Шоштар не стал отвечать и ему, а пошел к своему коню и, сев на него, поскакал в село. Все поняли, что он пошел ругаться с председателем, но, как обычно, только улыбнулись ему вслед, потому что бригадир был похож на того пастуха, который не хотел отдать барана добровольно, был побит, а барана все равно увезли. Отсюда и родилась поговорка в Жамауате: «Плохой пастух и барашка отдает, и побитым остается». Так оно и было, потому что на следующий день колхозные звенья косарей, поднимающиеся на птичьей заре через Дыркылы сырт на верхние луга, увидели упорных Кайбергеновых, косым клином срезающих склон слева. Впереди шел Абу, за ним близнецы Ажок и Азнор, дальше — последовательно по возрасту — Аю, Аубекир, Аккуш, Ачак. Заключал клин сам Бияслан. Его натальная рубашка из бязи молодецким пузырем вздувалась на спине и слышно было, как в утренней свежести чисто и тонко звенели косы и мягко шуршала трава. В этом счастливом зачине таилось нечто необъяснимое, суеверно пугающее душу Бияслана: не может быть, чтоб и этот луг, разродившийся буйным разнотравьем, и Белые скалы, ослепительно сверкающие над косарями, и это солнце, неторопливо поднимающееся над долиной, и семеро крепких сыно-

вей, и прозрачные родники в овраге, припадая к которым Бияслан утолял не только жаждущее нутро, но и впитывал в душу и кровь глубинные токи родной земли,— не может быть, чтоб все это было дано ему так, по бесконечной щедрости небес, что можно безбоязненно пользоваться всеми этими благами. Ведь сказано же в Коране: бери все, только заплати! Неужели навалившееся на него нежданное счастье — правда? И этот щедрый дар судьбы бескорыстен? Не потребует никаких жертв? Так он думал в то утро, когда шел сверху вниз, прокладывая косой полукилометровую полосу, нисколько не отставая от сыновей, а даже подгоняя их. Он шел, позабыв о возрасте, радуясь не тому, что все еще может поспевать за сыновьями, а тому, что они выросли такие стройные, здоровые, а главное работящие! Даже Абу, городской парень, съеденный, как говорила Налмас, книгами и бумагами, шел впереди так, что братья все время должны были прибавлять, чтобы не отстать от него. Бияслан изредка поднимал глаза, поглядывал, как они идут, как сверкают остро отточенные лезвия кос, и убеждался в том, что никто в Жамауате не может сказать, что сыновья Бияслана не умеют работать.

Так они шли вниз; восемь тяжелых валков ровными волнами ложились по склону, восемь ровных дорожек чисто выкошенного луга бежали за косарями, а Бияслан благодарила Бога и жизнь, побаиваясь переполнявшего его душу счастливого отцовского чувства.

Абу, выйдя первым в конец полосы, вернулся к отцу с намерением довести его клин, но Бияслан, не поднимая головы и не сбиваясь с ритма, еле заметным, но ясным для сына жестом отстранил его, а потом каждый из Кайбергеновых, скосив свою полосу, поджидал последнего взмаха отца. Так и стояли, пока Бияслан не завершил свою полосу. Каждый новый заход они начинали вместе, и к полудню уже сорок восемь валков пролегли по склону.

Так шел день. Еще было рано остановиться на полуденный отдых, еще оставались силы, и еще восемь валков пролегли по склону. К середине дня солнце жарким огнем поднялось над склоном, влажный шелест травы перешел в сухое потрескивание, пернатые жители нагорий, допекаемые зноем, спрятались в оврагах, приумолкли, лишь улары изредка окликались друг друга коротким свистом. Бияслан смотрел, как сыновья подходили один за другим к одинокому кусту орешника, где была спрятана под травой пузатая крынка с айраном, и жадно пили. Благодарение Богу, они выросли правильными, жить теперь им и трудиться,— тихо

радовался Бияслан, не замечая, как одолевает свою полосу. И вот он ее закончил, подошел к сыновьям — они поджидали его у коша, откуда была видна дорога из села. И в эту минуту все они увидели скачущего всадника. В ту же минуту Бияслан почувствовал усталость, — он покорно опустился на валок свежескошенной травы, испускающей одновременно десятки запахов, а сильнее всего — аромат дикого укропа и зреющей земляники. Бияслан потерянно оглянулся — словно все это уходило от него, все это вместе с землей, на которой он сидел. А еще почувствовал как в коленях рождается мелкая дрожь и стал теперь смотреть не на всадника, который, приближаясь, что-то кричал, а на сыновей, точно и они уходили от него. Всадник кричал все отчаяннее, а Бияслану казалось, что голос идет сверху, со стороны Белых скал или даже с неба. В этот миг Бияслану до конца дней запомнился запах скошенной травы, — он не мог бы сказать почему, но он, этот запах, отделил дальнейшую его жизнь от той, которая осмысленно текла до появления всадника с придавливающей к земле страшной вестью — «Война!» (Через три года, умирая в поезде, он снова вспомнит этот запах, ему на миг померещится та допудренная пора и он во всей полноте счастья увидит простор Дыркылы сырта, увидит всех семерых сыновей и шестьдесят четыре тяжелых валка, пролегших до страшного часа на склоне и вспомнит даже отца девятиерых сыновей, нашедшего смерть по своей глупости или, быть может, по мудрости, потому что человек, одержимый восторгом, сидел на высоте и перед мигом смерти видел во всей неповторимости свою землю; он вспомнит его и на мгновение позавидует ему. Но все равно Бияслану легче, потому что он все-таки испытал однажды, что такое счастье: увидел, как семь правильных людей, созданных его кровью, перенявших его разум, пошли по дорогам мира, и, если даже хоть один из них выживет, хотя бы сын одного из них когда-нибудь вернется в отчий край и возьмет косу в руки, жизнь будет продолжаться.)

Абу уехал в тот же день. Потом они получили письмо из города Старая Русса, где он проходил военную подготовку в десантных войсках. С первой отправкой из Жамауата ушли на фронт близнецы Ажок и Азнор; через неделю мобилизовали Аю. Дома еще оставались три сына — Аубекир, Аккуш и Ачак, но Бияслан мысленно прощался и с ними, потому что Ачак уже сам рвался на фронт добровольцем, а Аубекир и Аккуш ждали только новой отправки, хотя об этом Бияслану и не говорили. Бияслан молчал; то-

го страха, который он испытал сидя на свежескошенной траве, больше не было, только появилась потребность молиться усерднее обычного. Когда в ныгыше¹ ему говорили: «Крепись, Бияслан! Семерых сыновей вырастил — и, оказывается, для войны!» — он с достоинством отвечал: «Что сему, что один — боль одна». И старики в ныгыше надолго умолкали.

Неумолимо приближался день новой отправки; по слухам и сама война приближалась к этим местам: и, странно, так и случилось, что Бияслан сам стал желать скорой отправки Аубекира и Аккуша, а этому щенку, как бы он ни рвался добровольцем и ни терзал мать, все равно шуметь здесь еще больше года, и его Бияслан пока в расчет не брал. Осенью в тот день шел мелкий колючий дождь, мокли лошади, запряженные в телеги, на которых должен был уехать следующий жыйын² жамауатовских аскеров³, но Бияслан не чувствовал дождя; он стоял рядом с Хамзатом, поодаль от Аубекира и Аккуша, которые, как он замечал, держались друг за друга, точно боялись, что их посадят на разные телеги; это радовало отца, но и беспокоило: ведь если в войне вместе, то и гибель может настигнуть их вместе, так что, может быть, лучше бы они воевали в разных местах. Но с Хамзатом он говорил о другом. Травы Дыркылы сырты вышла в семьсот сорок три, да, в семьсот сорок три копыны; Аубекир с Аккушом успели их сложить, но сумеет ли он теперь с этим щенком Ачахом отволочь их к ферме? «Аккуш твой мог соперничать силой с двумя быками», — сказал Хамзат, который тоже провожал второго сына Мустафу. Мустафа вырастал в хорошего краснодеревщика, они с Аккушом дружили и это тоже связывало двух отцов. «Да, твой Аккуш, хотя и не выдался ростом в Кайбергеновых, быка свалит на землю, — продолжал Хамзат. — Сила его и на войне пригодится».

Аскеры и лошади мокли на майдане, а женщины все продолжали нести хурджины и грузили их в мокнущие телеги. Кто-то плакал, кто-то смеялся, а там, где собиралась молодежь, пела гармошка, кто-то бросался в круг и, когда этот новобранец танцевал, плачущие женщины начинали плакать еще сильнее. Бияслану казалось, что сон его, приснившийся нынешней ночью, продолжается, потому что глаза его все больше затуманивались, и движения людей, их лица все больше смазывались в серой мути мелкого, но гус-

¹ Ныгыш — место, где беседуют старики.

² Жыйын — группа людей; общество.

³ Аскер — здесь: призывник.

того дождя, все на майдане теряло реальные очертания. Правда, в ночном сне дождь не шел, а было темно, как в пещере, и лошади были не тускло рыжие, как теперь, а белые. Сон Бияслана продолжался как бы наяву, даже когда прозвучала команда, и аскеры стали устраиваться на телегах. К нему один за другим подходили два здоровых парня — один высокий, как он сам, — этого, помнится, звали Аубекир, а другой — ниже ростом, но крепко сбитый, с сильным волевым лицом, — Бияслан так же помнил, что этого звали Аккуш — Белая птица, и тогда он опять подумал о том, что имя парня никак не соответствовало его характеру: он унаследовал кровь не Кайбергеновых, охотников от века, а Чаловых, рода матери, строителей всех каменных оград во всех ущельях, получивших прозвище «заборщики». Люди малорослые, но могучие телом, они легко подымали любой камень, легко и как надо раскалывали его, легко вкладывали потом в забор или в стену дома. Но Аккуш не тянулся к камню, он любил дерево, и потому дружил с Мустафой, уже перенявшим от отца ремесло плотника и столяра. Да, после Аубекира подходил он, Аккуш, дольше чем брат обнимал отца, подольше прижимал щеку к влажной его бороде. Бияслан хотел ему сказать то, что давно вызрело и приняло четкие строгие формы, нечто глубокое и долговечное, как резьба по камню, но промолчал. В тот миг к горлу подкатило не это отцовское, сокровенное слово, а какой-то чужеродный, удушающий комок, который никак не удавалось подавить, а тут Аккуша окликнули и сын уже не щекой, а гладким широким лбом коснулся отцовской бороды, и губы его шепнули: «Держись, отец! Мы постараемся не огорчить тебя!» Потом Аккуш долго не снился, зато Бияслан всегда чувствовал тепло его щеки, помнил ту поступь, с которой он шел к телегам.

Самое странное было то, что и другие сыновья не снились ему. Это его волновало: разве не думал он о них постоянно? «Аллах, хоть во сне их покажи, хоть во сне пусть придут», — молил Бияслан, но сыновья не приходили. Так было до тех пор, пока он не увидел во сне Аю — парень вырезал из дерева причудливую фигурку, похожую то ли на человека, то ли на ярмо; Бияслан хотел взять работу сына в руки, но Аю вдруг спрятал свою фигурку и отвернулся от отца. Через неделю пришла черная бумага, сообщавшая о том, что рядовой Аю Кайбергенов героически погиб в бою под Гомелем. Теперь Бияслан знал, что сыновья приходят в сон, когда их уже нет в жизни. Лежа в жесткой постели, он не смыкал глаз, вслушивался в каждый шорох ночи — там, в Гебчоре, стояла такая тиши-

на, что можно было оглохнуть, а услышав цокот копыт — сойти с ума. Раза два ему казалось, что вроде спал и во сне видел сон: на этот раз Аубекир пел какую-то старинную песню, близнецы Ажок и Азнор делали ему эжиу, а старший их брат, Абу, пытался всех своих братьев накрыть черной буркой. Бияслан вскочил и до рассвета бродил под Гебчорой, проваливаясь в ямы, уже наяву видя тот страшный сон. Если бы не стыдился своих товарищей, таких же, как и он, ждавших вестей с фронта, побежал бы пешком в аул, чтобы узнать хоть что-нибудь. Но это было бы недостойно, надо терпеть. Что суждено, то и сбудется, но прошел месяц, никто в кош на Гебчоре к плотникам не явился и острота зловещего сна немного улеглась. Но однажды утром он почувствовал слабость в ногах. Он присел на бревно. Ахмат, Сейпу и Осман складывали немудреную поклажу плотников на арбу; Хамзат тесал заготовки из клена для обещанных внуку Музафару сарже*, а Бияслан, охваченный неожиданным предчувствием, с места не мог двинуться.

— Война кончится, придет зима, и дети снова зашумят на взгорках села, — сказал Хамзат Бияслану, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей.

Но Бияслан ничего не ответил.

Потом они шли по согретой мартовским днем дороге и молчали. Когда вестник встретил их на полпути, спешился, не отдав им салам, Бияслан понял, что не зря предчувствие обессилело его с утра. Теперь и все остальные ощутили гнетущее беспокойство. «Скажи, что случилось? Чьи двери сегодня захлопнулись?» — решил спросить Хамзат. А Бияслан, уже опрокинув все сомнения и надежды, вырвался вперед, и все убыстрял шаги. «Да!» — вздохнул всадник вслед Бияслану и пошел вместе со всеми, ведя своего коня за повод.

Два извещения сразу пришли в дом Бияслана, хотя между смертями братьев прошло три недели кровопролитных боев на Днепре. Вместе родились и вместе погибли близнецы Ажок и Азнор, еще две жилы в сердце Бияслана высохли, но он держался, хотя к вечеру дом его издали походил на ладью, переполненную людьми и плывущую по бурному морю. Бияслан понимал, что слезы женщин особенно безутешны, когда человек уходит навсегда из дома молодым, сильным, жизнерадостным и — больше того — не возвращается назад даже мертвым. Как было поверить здесь смерти сразу двух сыновей, смириться с мыслью, что

¹ Сарже — самодельные короткие лыжи.

их уже нет больше, если единственный свидетель смерти — клочок тонкой желтой бумаги? Но бумагу не похоронишь, не поставишь ей надгробье! Как же иначе представить земной путь человека завершенным?

Так прощался Бияслан с близнецами. Мужчины сидели в его дворе под скалами всю ночь; им казалось, что плач женщин в доме и шум реки Юрду внизу сливаются в одну протяжную безысходную песнь, — казалось, оплакивалось нечто более возвышенное и горестное, нежели гибель двух сыновей Бияслана.

В полночь, когда Хамзат вернулся, Хорасан встретила его у порога. Хамзат прошел мимо нее, а когда жена вошла в дом и подняла фитиль лампы, он глухо проронил:

— Бияслан долго не протянет...

Хорасан замешкалась у лампы, точно растерянная сообщением мужа, а потом жалостливым голосом сказала:

— Женщины в доме Бияслана больше не из-за того плакали, что погибли его сыновья, а из-за того, что весь народ собираются выслать.

Хамзат посмотрел на жену так, словно заподозрил в ней измену.

— Что за чушь! — Он держал в руках кумган, искал чем налить в него воду из ведра. — Как это целый народ выслать? Где это видано и слыхано!

— А многое из того, что пришлось нам слышать и видеть, не приходилось слышать и видеть в другие времена, — обреченно вздохнула Хорасан. Она взяла из рук мужа кумган, наполнила его водой. — Разве не изгнали Карачай! А Карачай больше нас. А еще говорили...

— И Кабарду? — вдруг насторожился Хамзат.

— Про Кабарду женщины ничего не говорили, — сказала Хорасан.

Хамзат успокоился и, взяв кумган у жены, осуждающе посмотрел на нее.

— Если Кабарду не выселят, то и нас не будут трогать. Ведь мы едины.

— Обычно дурная весть сбывается...

Хамзат не ответил жене и вышел совершить омовение для полуночного намаза. Он не поверил ей; потом, после намаза, шагая по недостроенной террасе туда и обратно, злился на женщин Жамауата, которые даже в такое время выдумывали всякую чушь. Он не поверил и все еще продолжал не верить в то, что выслали карачаевцев. Хамзату

казалось, что это очередная клевета врагов, тех, кто Советскую власть не любил и тайно благославлял немецкое нашествие. Хамзат хорошо знал, что все эти годы, тяжелейшие годы защиты и укрепления Советской власти, находились злые шептуны — большие мастера распространять всякие небылицы, одну мрачнее другой. Вот и теперь, разочарованные бегством иноземных пророков нового тысячелетнего порядка, тайные недоброжелатели пытаются сбить с толку людей. Враг ушел, люди начали врачевать раны, латать прорехи, возводить новые стены — живущим всегда присуще думать о жизни — а кое-кому это не нравится. Да, приходится лить слезы, но и смех уже слышен, подрастает новое поколение, закаленное в бедах и трудах. Сильные, умелые подрастают, так что надо о жизни думать, а не распространять предательские слухи. Когда он снова вошел в дом, Хорасан рылась в сундуке. Он сердито покосился на нее и сказал с досадой:

— А ты не знаешь, какие у нас мастера на выдумки...

— Упрямый был, таким и остался,— пробормотала Хорасан, продолжая рыться в сундуке. После гибели Муссы она потеряла голос и теперь говорила почти шепотом.— Пошел бы лучше, узнал у кого-нибудь... Ты упрямишься, а люди готовятся.

Но Хамзату хотелось только искупаться и лечь спать. Он недовольно буркнул:

— Согрела бы воду, а то я совсем грязный.— Но это было сказано в душевном смятении, несправедливо, потому что Хорасан и без того грела воду в большом казане, висевшем на очажной цепи. Пока он совершал намаз, а потом ходил взад и вперед, разговаривая сам с собой, она успела спустить с чердака большой медный таз. В долгой их жизни Хамзат, кажется, нигде больше не купался, кроме как под руками Хорасан — она мыла его, вытирала, как маленького ребенка, сменяла ему белье и всегда безошибочно знала, где у него чешется. Хамзат смягчился, сел рядом с женой.

— Весть-то страшная, хотя и поверить нельзя.

— То-то же,— обиженно встрепенулась Хорасан.— Люди готовятся. Делают вид, что этого быть не может, а готовятся. Кукурузу жарят, в бурдюки топленое масло набирают...

— Значит, это разговоры не только нынешнего дня? — насторожился Хамзат.

— Слухи пошли еще неделю назад,— стала рассказывать Хорасан.— Недавно женщину арестовали с Нижнего аула, дочь Чекке, якобы она распространяла вредные слу-

хи. На третий день ее отпустили, но разговоры все идут.

Хамзат встал, вышел во двор, ничего не сказав жене. Он побродил вокруг дома, постоял в хлеву. Ему казалось, что он о чем-то думает, но думы не шли в голову; со стороны Тешик-кая слышались глухие стоны, но звезды над домом сияли так, словно все дурное может лишь померещиться усталому человеку, а на самом деле все в мире неизменно и спокойно. Он вдыхал теплый мирный запах хлева, но смутное беспокойство обессилило его и он, теряя ощущение тверди под ногами, тяжело опустился наземь. Так бы он и пролежал здесь до светлого дня, если бы за ним не пришла Хорасан.

— Не теряй голову, муж. Беда не к одному твоему дому спрашивает дорогу.

Хамзат поднялся на ноги и спросил усталым голосом:

— Арестовали женщину, а потом выпустили? — жена не отвечала, не желая попусту тратить слова, и он зло добавил: — И правильно арестовали, зачем ей надо было болтать такое!

Хорасан снова промолчала, только рукой подтолкнула его к дому.

...Третий раз прокричали петухи Жамауата, возвещая о наступлении утра шестого марта. За горами, огибающими село с востока, поднималось к небу нежное белое сияние.

— Пора на утреннюю молитву, — сказал Хамзат.

Да, надо спуститься вниз, быть рядом с Биясланом, поддержать его в неутешном горе, а думать о женских бреднях надо поменьше. Чтоб они пропали, эти женщины — вечно готовы накликать беду! Он остановился у каменных ступенек и оглянулся: одетая во все темное Хорасан показалась ему в сумраке коридора покачивающимся надгробьем. Внутри его что-то дрогнуло, Хамзат быстро вернулся и пошел со двора.

Никто в Жамауате этого ритуала не устанавливал, но с первых же похоронок повелось так, что обязательные утренние молитвы по всем погибшим и там оставшимся совершали на кладбище. Испокон веков в этих местах считалось безутешным горем не то, что умер человек, — бессмертных нет, это знали всегда, — безутешным считалось горе, если живые в роду не могли по какой-либо причине с почестями предать умершего породившей его земле. Поэтому, где бы жамауатчанин не завершал свой путь земной, его, как это трудно ни было, привозили и хоронили, как подобает. Что ж, если тяжкий путь войны нарушает неизблемый мирской порядок, живые хотя бы мысленно

должны соблюсти непреложный закон — оттого и поднимались мужчины по крутым тропам на кладбище и до восхода солнца три утра подряд совершали молитвенный ритуал. А в это утро люди на кладбище видели, как Хамзат, который всегда читал суры Корана хорошим грудным голосом и без запинок, обивался с ритма, путал аяты, а порой и останавливался, точно потеряв смысловую нить читаемой суры. Однако люди, внимавшие его чтению, только отводили глаза, потому что моление проходило близ свежего холмика могилы его сына, понимали, что между строк Корана перед замутненными глазами Хамзата вставал образ Муссы и, не в силах укрыть от отца кровавые свои раны, терзал его сердце. Они были свежи, эти раны, и безболезненные теперь для Муссы, горели в теле Хамзата. Справившись, однако, с болью, Хамзат стал читать с новой силой и, осиянные чудом высокого слова, мужчины как бы вновь переживали чувство кровного и душевного родства и с теми, кто лежал в свежих могилах, и с теми, кто оставил мир гораздо раньше...

К восходу солнца вернулись во двор Бияслана — никто не хотел оставить его одного в горе. То, что знал Хамзат, знали и другие, но об этом молчали, хотя в глазах каждого с болью отзывался немой вопрос о грядущей всеобщей беде, которая, как все понимали, случись она, заставила бы забыть о всех бедах, когда-либо случавшихся в родных горах.

К вечеру небо затянулось тучами, с ущелья подул пронизывающий, холодный ветер, можно было бы теперь и разойтись, оставить Бияслана с Налмас наедине, чтобы они, закрывшись от посторонних глаз, поплакали, прощаясь с близнецами своими Ажоком и Азнором. Но никто не осмеливался первым встать. Так бы они просидели снова до полуночи, но тут с нижней дороги в переулок Бияслана повернул всадник. Все разом оглянулись и узнали в нем селисполнителя. Он остановился поодаль, и, спешившись, привязал лошадь к плетню. Он был здесь вчера, совершил дуа¹, а потому второй его приход не обещал мира.

— Жамауат²! — сказал он, остановившись на краю двора. — Умершие пусть станут гостями жаннета³, но не обессудьте, работа такая мне досталась. Из области приехал Итлук Китаров, созывает село на сход.

¹ Дуа — мусульманский ритуал выражения соболезнования.

² Жамауат — общество, народ.

³ Жаннет — рай.

Хамзат не стал слушать его дальше, встал и заторопился к центру села. Он шел, почти бежал, словно кто-то не на сход его звал, а живую весть о дочери собрался сообщить или сомнения его рассеять. Он видел, чувствовал спиной, как люди со всех сторон поспешно стекаются к сельсовету, но не останавливался, не отвечал на приветствия: в мыслях вертелось имя Итлука Китарова. Хамзат видел его, кажется, в середине двадцатых годов. Дела Хамзата тогда шли может быть не так хорошо, как несколько лет тому назад, но хозяйство все еще было крепкое, сыновья росли, дочь в школу уже ходила, так что, помнится, настроение было хорошее. В тот день он сдал четыре телка по плану жесткой разверстки и, довольный приемом, собирался уходить. Но тут он увидел машину, изрыгающую густые клубы дыма. Когда машина остановилась перед правлением Жамауата, с нее сошел человек в черном блестящем плаще из какого-то незнакомого в этих местах очень гладкого и тонкого материала и шагнул к людям, стоявшим у забора. Хамзат увидел краснощекого, очень довольного собой мужчину лет под тридцать. Он здоровался со всеми так, как обычно здоровались комиссары — с напускным дружелюбием, с видом человека всезнающего и всепонимающего, бесконечно уверенного в своей правоте и без тени сомнения в собственной высокой ценности для народа. Хамзату был знаком и этот кивок головы с благосклонной улыбкой на устах, и эта ритуально-начальственная подача руки, но тогда, в довоенные времена, все это воспринималось как должное. Благодушные сельчане не усматривали ничего дурного для себя в этих жестах и кивках, тем более в черных блестящих плащах из незнакомого в этих местах материала — ведь оттуда, откуда приезжали «комиссары», поступали в село керосин, соль, сапоги, всякая мануфактура и даже газеты с их именами!

В тот давний вечер Итлук Китаров выступал на многочисленном, как всегда шумном жамауатовском сходе и громил нэпманов; он называл их новыми князьями, мечтающими вернуть в горы ненавистный феодализм, и таким образом снова закабалить народ, запрячь его в ярмо рабства. Итлук Китаров приезжал в Жамауат особенно часто, когда страна очищалась от всякого рода ревизионистов, троцкистов, уклонистов, когда и в самом Жамауате появились окаянные агенты империализма, кулаки и подкулачники. Жамауат, как и вся страна, оказывался в опасности, потому что здесь тоже «гнездились ядовитые корни врагов народа», и славным сыновьям страны, вроде Итлука Китарова, при-

ходилось бороться с гемуевщиной, калмыковщиной, а также со всякого рода вредительством. «Поднимите любой камень, и из-под него появится потенциальный оппортунист», — говорил Итлук Китаров, и, хотя в этих местах не очень понимали, что такое оппортунист, на каждый камень приходилось смотреть настороженно, а кое-кто и всерьез боялся поднять камень, упавший с собственной ограды, и поставить его на место: кто мог ручаться, что появившийся затем в Жамауате оппортунист не встал из-под того камня! Сам Итлук Китаров точно знал, как по камню камнем бить, но здесь хорошо понимали — этому человеку живется легко, и при всех его призывах единым фронтом выступить за успешное решение очередных задач Соввласти, главным для него оставалась забота о себе. Недаром в какие бы тревожные времена он ни приезжал, щеки его оставались румянными, глаза довольными и трудно было поверить, будто ему плохо спится из-за того, что в Жамауате день и ночь так и плодятся английские шпионы. Хамзат так же хорошо запомнил и его предвоенный приезд в село. И тогда он говорил тем же каменным голосом и от негодования готов был взорваться. Разговоры о войне — это провокация, — вещал он, — это от жажды скрытых врагов подорвать трудовой настрой советских народов. Люди не понимали, почему он говорит намеками и пугает зловещими словами, но слушали безропотно. Он еще зачитывал сообщение ТАСС о том, что Германия никогда не нападет на Советский Союз, потому что Сталин и Гитлер заняты мирным созидательным трудом. Однажды, уже в дни фашистской оккупации, Арийпа читала отцу из подпольного листка газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» о том, что в горах Жанбаша действует партизанский отряд, возглавляемый Итлуком Китаровым, что этот отряд, напав на фашистский гарнизон близ реки Юрду, разгромил его и добыл большое число трофейного оружия. Хамзат усомнился в верности этого сообщения, потому что в те дни он сам находился вроде бы в центре указанного театра военных действий, и если бы близ реки Юрду разыгралось столь славное сражение, то оно происходило бы у него на глазах. Говорили также, что партийные активисты, оставшиеся в момент оккупации в тылу, ушли за перевал и «действуют в Грузии», но в чем заключалось это действие, Хамзат не знал. Как бы там ни было, после освобождения они возвратились домой, и Хамзат еще раз увидел Итлука Китарова: тот был таким же розовощеким и довольным. Он приехал в село в таком же черном блестящем плаще и призы-

вал Жамауат энергично взяться за восстановление колхоза. Хаджибекир как-то говорил в Гебчоре, что Китаровы — род долгожителей, потому что все мужчины в этом роду знают лишь одно — главное беречь себя, заботиться о своем благополучии. «Даже на пожар они стоя смотрят», — сказал Хаджибекир. Хамзат не знал близко род Китаровых, но и не придавал особого значения тому, что о Китаровых говорили другие. Он помнил завет умирающего отца: «Не суди о человеке по словам других; человек узнаваем только в поступках». Он и не судил о Китарове, и шел теперь по улице, чтобы еще раз послушать его. Шел так, словно в чем-то был виноват перед теми, кто шел впереди и позади него. Он ощущал чье-то взволнованное дыхание за спиной, но не оглядывался, а когда пришел к правлению, то увидел, что в темноватом, полуразрушенном клубе собралось уже много людей — старики, женщины, подростки... А на сцене, пустой и оттого казавшейся просторной, прохаживался Итлук Китаров, все в том же блестящем плаще, розовощекий и значительный; из-под плаща выглядывал строгий сталинский китель с рядом блестящих пуговиц со звездами. Ходил он по сцене твердо, прозно, скрестив руки позади, и в зале царила напряженная испуганная тишина. Итлук Китаров видел, что народ уже собрался и ждет его сообщений, но медлил, тем самым еще сильнее нагнетая безмолвное беспокойство сельчан.

Хамзат встал у дверей, потому что все скамьи внутри уже были заняты, люди толпились в проходах, теснились прямо перед сценой, кое-кто даже просочился в глубину сцены и встал, облокотившись о гипсовый пьедестал памятника Сталину, который был торжественно обезглавлен фашистами в октябре 42-го, а люди еще прибывали, наполняя площадь перед клубом, но и там все молчали.

На краю сцены переминался с ноги на ногу Хромой Алибек. Он со страхом поглядывал на посланника, но обреченно опускал голову, встречая его беспощадный взгляд. Харун пытался уйти с оставшимися в Жамауате активистами в лес, чтобы там организовать сопротивление оккупантам, но был предан одним из членов парткома колхоза, и его, вместе с другими, заживо похоронили в противотанковом рву под Нальчиком. Хромого Алибека ожидала та же участь, но в тот день 16 сентября 42-го, когда в верховьях Жамауата шли бои, он повредил хромую ногу, неловко спрыгнув с коня, на котором в спешке перетаскивал в укрытие бумаги колхозного правления. Так хромая нога дважды спасла Алибека: от войны и от смерти. Теперь он

возглавлял колхоз. И, оказалось, что способен. Он стойко переносил все тяготы разрухи и к исходу второго месяца после освобождения Жамауата сумел отправить на фронт тридцать тонн картофеля, телегу овчины и еще одну телегу с теплыми носками и перчатками. Затем он успешно провел и подписку на государственный заем. В день подписки Хромой Алибек поглядывал на Бияслана, также в волнении переминаясь с ноги на ногу, Бияслан, еще не оправившийся от гибели Аю и не имевший никаких вестей от остальных шести сыновей, молчал, опустив голову. Но Хромой Алибек окликнул именно его: «Бияслан!» И сородич Хромого Алибека отозвался, как бы возвысился над толпой своим заявлением:

— От всего сердца приветствую постановление правительства о выпуске нового займа! Для поддержки родной Красной Армии подписываюсь на две тысячи рублей и вношу их наличными!

Теперь, на этом собрании, Бияслана не было, а Хромой Алибек все-таки о нем почему-то вспомнил и почувствовал, как горячий комок боли подступил к горлу: какие это были ребята — Ажок и Азнор! Здоровые, красивые, работающие... А ведь тогда Бияслан надеялся, что построенные на те деньги танки и самолеты спасут его сыновей...

— Ну что, Алибек, начинай, — услышал он словно издалека. — Начинай, раскрой нам секрет, как тут в Жамауате восстанавливают хозяйство? Или поведай о том, как сочиняют небылицы.

Хромой Алибек выступил вперед, постоял с опущенной головой, а потом сказал так, словно и не слышал угрожающих слов Итлука:

— Нам бы восстановить кирпично-черепичный завод... без него худо. — И с надеждой посмотрел на Китарова.

— Ха, про завод повел речь председатель, — еще сильнее разгневался посланец партии. — Тут враги Советской власти злые слухи распространяют, будто бы балкарцев выслать собираются! Чушь! Происки врагов! — Он энергично и нервно стал ходить туда-сюда по сцене, а Хромой Алибек отступил, прислонился к задней стене. — Когда товарищ Сталин гонит врага за пределы нашей непобедимой страны, а нас призывает скорее восстановить разрушенное хозяйство, мы занимаемся вражеской агитацией. Позор, товарищи! Мы вольный, свободный советский народ, и я должен со всей откровенностью сказать: никто не собирается нас выслатать! Не будет этого никогда! Это ясно. Но собрали мы вас сюда не для того, чтобы сообщить об этом, а

главным образом для того, чтобы предупредить: Советская власть со всей классовой непримиримостью будет карать тех, кто распространяет подобные слухи! Сам скажет или послушает другого — все равно это будет рассматриваться как предательство и пусть ни у кого не будет сомнения в том, что это не останется в тайне! Хотя враг и нанес нам урон, но наши очи острее видят и руки наши быстрее карают провокаторов! Если будет замечено, что кто-то исподволь готовится...

У Хамзата пропало желание слушать его дальше. Он отступил, вышел боком, а когда оказался на улице, сердце как-то странно забилося, и он остановился, точно не зная, куда идти. В ушах еще звучал голос Китарова, он лишил его силы, душил последние остатки воли, и такое было ощущение, что он, Хамзат, вот-вот разрыдается или рухнет замертво. Но, постояв, он сумел одолеть волну страха и боли и медленно пошел по улице. Оставалось принять то, что стало реальностью после выступления Китарова, и в то же время постараться обрести новую силу, способную противостоять и этому удару судьбы. Он шел в темноте, крепко, до боли сжимая кулаки. Он слышал шум реки, словно сквозь сон — он показался ему идущим из глубины земли, таким близким и родным; гул крутящихся мельничных жерновов и шум реки сливались, он любил это слияние и подолгу прислушивался. Но было это когда-то в другие времена, а сейчас просто повторилось, вспыхнуло зарницей в памяти, чтобы прочно там закрепиться. Ведь если человека изгоняют из его отечества, то все запахи и звуки родной земли переселяются к нему в душу, начинают жить в нем самом. Теперь Хамзат не сомневался в правоте слухов о выселении; не случайно сильные мира сего обычно с угрозой отрицали то явное, которое хотели сделать тайным. В своей нелегкой судьбе ему много раз приходилось быть свидетелем той странности жизни, когда человек, зная правду, говорил ложь, и несколько не стыдился этого. А ведь образованные сыны народа должны были бы сложить головы, но не шельмовать соотечественников! Ради чего тогда народы хотели образования? Мечтали иметь ученых, знающих языки? Если ученые люди не могут сложить головы за поруганную честь своего народа, то кто же они такие? Чему учились все эти годы? Для чего с большими людьми из большого мира общались, зачем о счастье и единстве стихи слагали, песни пели? Куда они подевались теперь? Неужели во всем война виновата? Неужели она мгновенно пожирала всех, кто спрашивал: «В чем вина

моего народа?» Нет, конечно. А если бы нашелся такой человек, думал Хамзат, нашелся и встал на защиту чести народа, мог бы он предотвратить беду? Если б даже таких оказалось много? Сильных, несгибаемых? С другой стороны, если народ собираются переселять, объявлять его врагом, что же осталось от революции нашей? Что осталось от тех слов, на устах с которыми умирали люди? Аллах, неужели ты лишил людей разума?

У поворота в переулочек его встретил Музафар. Как и все мальчишки округи, он знал о выселении, но это его, наоборот, радовало, потому что в таком случае он мог покататься на машине. И он ждал от деда подтверждения того, что говорили люди во всех переулках и дворах. Но дед молчал; более того, был сердит, и Музафар, держась за его руку, не осмеливался приставать с расспросами.

Когда они пришли домой, Хорасан и Лейла сидели у очага. Хамзат, зайдя в дом, вдруг растерялся, точно не туда пришел; Музафар взял его за руку, подвел к табуретке у очага. Но и здесь Хамзат сел не сразу, а с минуту помолчал, глядя на горящий огонь, и глухо обронил:

— Не знаю когда, но выселять будут.

Хорасан ему не ответила, а снохе сказала:

— Покорми их. Музафар ничего не ел целый день. да и дедушка замаялся.

Хамзат сел на табуретку, а Лейла придвинула к нему столик-трехножку, который накрывали, когда в доме не было чужих. С другой стороны трехножки сел Музафар, выжидательно уставясь на деда. Глаза его сияли, потому что он уже точно знал — машины будут. Его смущал только горестный вид всех — почему они не радуются? Но спросить об этом стеснялся.

Поев, Хамзат возблагодарил Бога, встал, и постояв у дверей, сказал: «Поздно!» Никто не понял, что именно поздно. А он молча вернулся назад, к своей кровати. Музафар подбежал, чтобы снять его чабуры. Женщины подождали, не скажет ли Хамзат еще что-нибудь, затем Хорасан проронила своим обычным полусшепотом:

— Вода есть горячая... Ноги можно помыть.

Хамзат не ответил. Он лег, не раздевшись, поверх постели, положил руки под голову, а ноги — на невысокую спинку кровати. Лейла ушла в свою комнату, подталкивая перед собой Музафара. Тогда Хорасан села рядом с мужем и сказала:

— Не горюй, муж. Больше того, что потерял, не потеряешь.

— Что мы потеряли, Хорасан? — недовольно откликнулся Хамзат. — У балкарцев гибнут дети, так ведь не только у них. Погибают дети у всех наций. Изгнание — потеря страшнее. Тут о целом народе речь идет.

Хорасан пожалела, что хотела утешить, успокоить бедного мужа. Лучше оставить его в покое, пусть думает, решает сам. Она постелила себе на полу и легла. Она долго не спала, но засыпая, знала, что Хамзат все еще не спит.

3.

На рассвете, 7-го марта, когда Хамзат встал, Хорасан уже кормила кур во дворе. Он прошел мимо неубранной постели жены и постучался в комнату Лейлы, чего никогда не делал. Лейла, кажется, тоже не спала в ту ночь, потому что от стука сразу вскочила, а когда в дверях появился отец, в испуге прижалась к стене.

— Разбуди Музафара, — сурово сказал он. — Надо идти, пусть встанет. — И вышел во двор.

День был пасмурным, но мягким. Хорасан возилась в сарае. Он незаметно прошел мимо нее в огород, опустился на колени и вонзил пальцы обеих рук в разбухший к весне чернозем. Подержав руки так с минуту, он взял пригоршню земли, поднес ее к глазам, а потом к губам, точно собирался съесть ее. Музафар бежал к деду. Еще издали мальчику показалось, что дед собирается есть землю. «Не надо!» — крикнул он. А прибежав, испугался; дед смотрел на пригоршню земли полными слез глазами; губы его что-то шептали. Он и не замечал, что Музафар стоит над ним.

— Дедушка! — окликнул мальчик. Но Хамзат не сразу отозвался.

— Сыночек, стал ли ты таким человеком, которому можно доверять? — Когда дед спросил это, Музафар понял, что дед действительно собирается скушать землю, которую он держал в пригоршнях, только стыдился делать это при нем. Музафар покраснел и, глядя в сторону, сказал:

— Дедушка, я никогда никому не скажу!

— Что, что не скажешь, чтобы тебя покарала клятва?

— Про эту землю... То, что ты... Разве люди землю едят?

Хамзат как-то затравленно посмотрел на внука. Музафару он показался в эту минуту дряхлым стариком.

— Ты постарел, дедушка, — сказал он.

— Но ведь ты растешь у меня... растешь... — Хамзат ласково, испытующе посмотрел на Музафара. Музафар, удивленный растерянностью деда, молчал. — Нет, теленок

мой, тайна моя не в том, что я собираюсь кушать землю... Не в этом. Иди домой, жди меня там.— И когда Музафар нехотя ушел, он встал и, держа перед собой ладони с землей, пошел к свежей травке в верхней части огорода... Там, на взгорке, Хамзат положил землю на траву и достал из кармана завертку, в которой принес сюда кусочек кожи, просмоленную ткань, иголку с суровой ниткой. Он насыпал горсточку земли в чистую тряпицу, туго свернул ее, а сверху обмотал просмоленной тканью. Затем Хамзат выкроил из кожи треугольный футлярчик в виде талисмана и вложил в него сверточек с землей. Зашивая края футлярчика суровой ниткой, он, словно священнодействуя, шептал о чем-то, а глаза его были полны слез. Так же сидя на коленях, он продел в уголок футлярчика все ту же суровую нитку, но только скрученную втрое и закрепил ее. С минуту еще посидев, встал; он шел по огороду медленно, словно с трудом отрывая ноги от земли, словно боясь оглянуться и, когда снова очутился во дворе, Хорасан хлопотала в доме, а Музафар прятал свои сарже на чердаке. Он еще раз взглянул на талисман, и расстегнув ворот рубашки, повесил его на шею.

— Где земля? — вдруг раздался голос внука с чердака. Хамзат вздрогнул: неужели он увидел?

— Солнце вошло, Музафар. Нам надо торопиться... Мальчик спустился по лестнице, приблизился к деду строевым шагом.

— Я солдат! — доложил он.

Хамзат опустил большие, пахнущие землей руки на его хрупкие плечики.

— Из всех унижений в этом мире, из всех бед, подстерегающих нас, самое безутешное — это когда у тебя отнимают родину! — сказал он парнишке, как взрослому, и бережно привлек его к себе, а внук почувствовал, как у деда дрогнули руки. Прошли минуты, равные, может быть, целой жизни, пока дед и внук неподвижно стояли посреди каменистого двора, прижавшись друг к другу.— Никогда не забывай, сын, что родина — вечный талисман на шее! Он будет и оберегать от бед и звать. Покуда человек слышит этот зов, он здоров и невредим, потому что должен будет вернуться к земле своей...

Пройдет много времени, и Музафар, вернувшись на родину, вновь услышит запах дедовских рук, увидит его пальцы, погруженные в податливую весеннюю землю, и эту печаль в его глазах. Он сядет на траву на том самом взгорке, раскроет талисман и, найдя там крохи земли, вздрогнет

от удивления, а потом пойдет на то место в огороде, где дед, сидя на коленях, держал руки в земле, упадет на эту землю грудью и горько заплачет. Но сегодня Музафар принял талисман просто как Божье слово, еще как клятву, потому что обещал себе и деду всегда помнить свой дом.

— А теперь мы отправимся в Тагылы кол, — сказал Хамзат, решительно направляясь в сторону гор.

— Где это? — спросил Музафар.

— Тагылы кол далеко, за нашей мельницей, — ласково ответил Хамзат уже за селом. — Ты постарайся не устать. Давно хотел повести тебя туда, ведь ты уже взрослый парень, а не побывал еще в Тагылы коле.

Музафар взял деда за руку и пошел рядом.

— Осенью листопад забивает роднички... Потому и называется местность Тагылы кол — Родничковая ложбина. Множество родничков пробивается на склоне Тагылы кол и все разные; и вода в каждом родничке имеет свой вкус, аромат. Вот к весне мы с тобой и очистим эти роднички от осенних листьев.

По дороге дед рассказывал о жизни в этих местах; оказывается, все скалы, даже терраски на скалах, овраги, речки, протекающие по этим оврагам, буераки, деревья, травы, придорожные камни, горки, обрывы, тропы, даже спуски между скал, водопады, поляны — все имеют названия и не просто названия, а историю, и когда дед рассказывал эти истории, все, что составляло громаду окружающего мира, все, на чем останавливался взгляд на их пути в Тагылы кол, обретало живую душу. Теперь Музафар мог разговаривать с деревом, камнем, речкой, потому что и дед, раскрывая перед ним сокровенность родных мест, сам разговаривал с деревьями, скалами, речками; подолгу останавливался у водопадов, и Музафар, стоя рядом, проникал мечтательным умишком в какие-то неведомые дали, взрослел с каждым словом деда, и сердце его и разум жадно обогащались все новыми красками, звуками, животворным дыханием родного края.

Солнце поднялось довольно высоко, а они все еще шагали по глубокой ложбине, по зеленеющей ольховой роще, перепрыгивая и переходя вброд множество речек, обходя озерки талых вод; потом они пробирались еще по-над речкой, все время оставляя ее внизу; перешли через всячий мост над пропастью и оказались у подножия широкого склона. «Перевал!» — сказал Хамзат. Они остановились у огромного камня, верх которого порос травой, а внизу зеленела лужайка. Камень этот походил на сторожевую башню

у входа в ущелье, но Хамзат сказал: «Расколотый слезами!» Музафар обошел вокруг камня, скользя руками по шершавой его поверхности, осмотрел вблизи и с расстояния: с трех сторон он был как обтесанный — ровные и гладкие грани камня простирались высоко. Со стороны склона он был пологий, так что Музафар легко, даже пробежкой заскочил на камень: отсюда хорошо просматривалась вся нижняя часть ущелья и видна была дорога. Когда он обернулся к деду и немигающим взглядом потребовал рассказать, Хамзат уже сам поднялся на камень, сел, по-азиатски сложив ноги, и рассказал о великой любви княгини Гошаяг к князю Каншаубию. Девочкой приметил ее Каншаубий, но и она, повзрослев, вспылала любовью к нему. Но Каншаубий любил странствовать и надолго покидал свою возлюбленную. Тогда Гошаяг спускалась из своего заоблачного аула, и, взбравшись на этот камень, смотрела на дорогу. Она пела, плакала и звала князя. Но однажды впереди гонцов прискакал его белый жеребец без седока. Тогда и расколола Гошаяг этот камень своими слезами. Та песня называется теперь «Плач княгини Гошаяг». Музафар еще раз обошел вокруг камня и только теперь обнаружил трещину посередине монолита. Внук Хамзата был потрясен: «Расколотый слезами... Расколотый слезами», — повторил он.

Солнечные лучи уже заглядывали в ущелье. От света, падавшего на противоположные скалы, рябило в глазах Музафара, но он все смотрел на ту сторону, потому что там, в вышине, гордо парили орлы; он смотрел до тех пор, пока они не растаяли вдали, а дед не мешал ему. Когда орлы улетели, внук повернулся к деду, чтобы задать вопрос, от которого его отвлекли величавые птицы. Музафар знал, что Хамзат не любит, когда женщины плачут, но почему он с такой любовью рассказывал про плач княгини Гошаяг? Может, стоит рассказать деду, как в его отсутствие бабушка и келин¹ плачут, сидя у очага? Было самое время ему рассказать об этом, потому что они сидели на вершине камня и были одни в горах. Но теперь Хамзат спутал его мысли:

— Сегодня, пока мы здесь, ты должен обо всем узнать...

А Музафар только что вспомнил случай, оставшийся в его памяти. Было это незадолго до появления немцев в их селе. Он играл перед мельницей, а дед сидел, вот как сейчас, на камне, который он доставил к мельнице на четырех

¹ Келин — невестка; Музафар, как и взрослые, называл свою мать «келин».

волах. Жернова крутились, пахло кукурузной мукой, и в ту минуту пролетели над ними четыре самолета. «Аллах!» — только и сказал дед и снова забылся. Музафар, то ли испуганный страшным гулом пролетевших самолетов, то ли обеспокоенный забытием деда, прибежал и, усевшись перед ним, обнял его колени. Потом он смотрел вслед самолетам до тех пор, пока они не исчезли у выхода из ущелья. Но не успели они исчезнуть, как раздался грохот, точно разом опрокинулись высокие скалы за мельницей. Хамзат вздрогнул, но остался сидеть на камне. Глаза его были полузакрыты, губы сжаты. Он все сильнее упирался подбородком в полукруглую рукоять своей палки, и Музафару казалось, что он опирается на палку не для того, чтобы усидеть на камне, а как-то удержать всю эту землю; еще казалось, что с каждым грохотом, раздающимся над Жамауатом, на него опрокидываются горы. Страх одолел Музафара. Он еще сильнее обнял колени деда, еще сильнее прижался к нему, а когда хотел спросить: «Что это?» — грохот на той стороне раздался три раза кряду. Музафар вскрикнул и заплакал, а к деду, кажется, именно в эту минуту вернулась душа. Он пошевелился, оторвал руку от палки, и, точно вслепую, наощупь искал плечи внука.

— Не бойся, мальчик, — сказал он каким-то несвойственным ему ослабшим голосом. — Не бойся, теленок мой, не превратимся мы в пепел! Мы люди, мы вынесем.

Всегда, что бы потом ни случилось в его жизни, в ушах Музафара звучали эти слова; ему, уже повзрослевшему, всегда казалось, что как бы ни трясла его жизнь, как бы ни грохотали над ним беды, — все равно он вынесет, должен вынести, потому что он — человек. Так было записано тогда в его почти еще младенческой неокрепшей памяти, а потом, словно в зашифрованных записях, он вновь и вновь открывал для себя бытие и жизненную правду деда, как жизнь той земли, по которой они шли тем весенним утром в Тагылы кол.

Хамзат и без трагических событий последних дней мучился запоздалым раскаянием, что не водил сыновей, каждого в свой час, в Тагылы кол. Что делать, время было такое, но и теперь он запаздывал с Музафаром. Реальность расставания с родиной только обострила боязнь еще раз нарушить родовой обычай посещать по весне Тагылы кол. Он помнил, когда ему было столько же, сколько сейчас Музафару, а Зулкарней уже ходил по дрова на двух ишаках, отец разбудил их однажды ранним утром и повел в Тагылы кол. Весенний рассвет догнал их в пути. Хамзат знал

окрестности, но когда рассказывал отец, все воспринималось совсем иначе, и сама ложбина открылась тогда перед ними незабываемой сказкой, которую он и брат Зулкарней запомнили навсегда. Не будь этого дня в их жизни, вряд ли они смогли бы одолеть тяжкие дороги чужбины и вернуться домой после смерти отца. Как он мог забыть этот урок отца! Да ведь какие времена наступили, некогда было даже думать, а мальчики и эта несчастная Арийпа так быстро подросли, стали взрослыми, пошли каждый своим путем, а он все в делах, — вот и не удосужился сводить их сюда и открыть им Тагылы кол, не дал им послушать мелодии родных мест, которые таинственным своим очарованием способны утешить, поддержать человека в самые безвыходные его дни и остаться навечно в его памяти, возвращая ему светлые надежды детства и юности... Теперь, после гибели Муссы, мученичества Арийпы, Хамзат мучился втайне, суеверно считая, будто страшные несчастья случились оттого, что он не сводил своих детей в Тагылы кол, не заставил их посидеть у бьющих из родных глубин родничков. Ему казалось, что сделай он все это своевременно, он уберег бы их от всяких напастей и бед. Погиб Мусса, в фашистском застенке замучена Арийпа. Но даже если гибель детей все равно была неизбежной, то разве что-то от них не осталось бы в этих родничках и травах, приведи он их сюда еще юными и объясни им все, как объяснял ему в свое время отец! Тот, кто нарушает родовой обычай, укорачивает и обедняет жизнь своих детей! Да, сплеховал он, предал забвению завет отцов, не привел сюда сыновей, и дочку тоже, каждого в свой час, и не вложил им в душу до конца их дней чарующий шопот родничков Тагылы-Кола.

4.

Но однажды сплеховал и отец Хамзата: исконная родовая любовь к балкарским нагорьям, неразрывное, казалось бы, слияние с этой суровой землей не помешали ему совершить роковую ошибку, обрекшую двух его сыновей на горький хлеб чужбины, а его самого загнавшую в могилу под раскаленными песками на окраине Измира. Он был коренастый, грубо обтесанный, как и все Кушжетеровы, и никто не мог бы сказать, что он способен нагнать орла, — ведь Кушжетер значит «нагоняющий орла». Скорее можно было бы назвать его Жертутаром, потому что Шонтук всей своей тяжелой поступью, каменной силой походил на «землю держателя» — оживи глыбу гранита, дай ей язык и подвижность, она тут же повторила бы облик Шонтука; не-

даром говорили в Жамауате, что Кушжетеровы взяли себе такую легкую, воздушную даже фамилию с умыслом, чтобы обмануть домовых, обхитрить нечистую силу, обычно склонную вселяться в могучих людей.

В смешении легенд и былей родовых Шонтук представлялся человеком крутым, суровым и еще мастером на все руки. Из заветных реликвий, оставшихся от Шонтука, Музафар особенно любил слегка щербатую по краям чашу, из бока которой как бы вырастала деревянная цепочка, увенчивающаяся, в свою очередь, ложечкой, — эта хитрая вещь была вырезана из цельного корневища ясеня. Музафар ел из этой чаши бушто — айран с крошенным в него чуреком.

Шонтук знал камень — живя среди камней, нельзя без этого; но глыбы, заложенные в основание дома, построенного Шонтуком, были настолько велики и так искусно сложены, что обыкновенному человеку сделать это было не под силу. «Мой прадед был волшебником» — совершенно не смущаясь, говорил Музафар приятелям-мальчишкам.

Шонтук знал и дерево. Он подгонял доски так, что трудно бывало заметить соединенные места. «Шонтук только душу не может вложить в дерево, а в остальном он может сделать из него все, что угодно», — так говорили в Жамауате. Дома еще хранились деревянные чаши, ложки, причудливые фигурки и цепи из дерева, а главное — резная кровать, на которой родился Хамзат, а от Хамзата последовательно — Мусса, Мустафа, Арийпа и Мухтар. Дед рассказывал Музафару, что когда приехали ученые люди из Орусии, Шонтук был в расцвете сил и не помышлял покинуть Жамауат. Ученые люди подолгу разговаривали с ним через переводчика, щелкали какой-то черной коробочкой, а когда уехали, то увезли с собой многое из того, что было сработано из дерева Шонтуком; так что, говорил Хамзат, если станешь большим человеком, как Абу Кайбергенов, может, в каком-нибудь русском городе встретишь дело рук своего прадеда. Теперь про фотографию Шонтука. Через год или два после того, как уехали ученые люди, в Жамауат привезли какую-то непонятную, а непонятную, потому что не была похожа на Коран, книгу, раскрыв которую жамауатчане увидели человека, сидевшего на каменистом дворе; он был окружен всякими инструментами и спокойно вырезал из дерева то ли подставку для чирахтана — светильника, то ли полочку для Корана. Полистав толстую книгу в кожаном переплете, жители округа снова возвращались к фотографии, потому что человек этот уж очень

был похож на здешних людей. «Так это же Шонтук, чтоб его молния ударила!» — говорят, вскрикнул Мырзакул, отец Керима. Что творилось в Жамауате! Стар и млад ринулись в дом, где останавливались ученые люди из Оруссии, а теперь находилась удивительная книга. На второй день уже ни у кого не было сомнения в том, что сидевший в окружении столярных инструментов сам Шонтук и есть! За считанные дни та книга, пахнувшая незнакомым, но каким-то пробуждающим запахом, превратилась в грудку помятых листков: каждый считал пределом радости подержать ее в руках, хотя никто ни одной буквы не знал. Иной хитрец умудрялся, как слепой в пути, нащупывать пальцами буквы и строчки, и, таким образом, узнать, что там написано о Шонтук и Жамауате. В разное время по-разному объясняли любовь жамауатчан к книгам, приходившим из Оруссии; иные духовные умы не прочь бывали даже называть эту любовь проделками шайтана. Но все же, если не предать забвению Жашу, которого сожгли не потому, что не могли справиться со вшами в его рубахе, а с раздражающими мыслями в его голове, и учесть удивление, которое испытали жамауатчане, увидев в книге Шонтука, то, наверное, станет очевидным, что страсть к печатному слову дремала в жамауатчанах издревле, они просто об этом не знали. Достигнув мудрости изреченного слова, они ждали чуда слова печатного. История показала потом: стоило догадаться о том даре, как из Жамауата пошли таланты: зачарованные некогда фотографией в книге, потом уже сами фотографировали, а что касается книг, то земляки Шонтука постигли и это чудо — в тридцатых годах уже сами писали, сами издавали, сами и учили детей их читать. А ведь все началось с непонятной книги, где был запечатлен облик односельчанина: Шонтук был сыном Жамауата, следовательно, и слава его принадлежала Жамауату.

Но тогда сам Шонтук ни разу не заглянул в чудо-книгу, а когда ее принесли ему в дом, и тыча огрубелыми, совсем не для книг рожденными пальцами в его портрет, потребовали, чтобы он наконец посмотрел на себя, он отвернулся и пробурчал: «У кого дел нет, тот собак на водопой гоняет». Но односельчане не тому удивлялись, что Шонтук не принимает всерьез книгу, а тому, как эта глыба серого шершавого камня поместилась в страничку величиной с ладонь Шонтука. Однако все события, какими они важными бы ни бывали, проходили как и грохочущие ливни, паводки, солнечные дни. Люди, живущие в этих горах, обычно не все события держали в умах подолгу, потому что были

у них и другие, более важные для жизни дела — скот и стрижка овец, сенокос и заготовка дров, ураза и курман, женитьба сына или выдача дочери — одно сменяло другое, редкие часы праздничного веселья быстро вытеснялись необходимой трудовой обыденностью. А кроме того, бывали и трагические дни.

Жамауат, в котором жили такие «серые камни», как Шонтук, и такие, которые принимали грузинского царя и ученых людей из Орусии, не раз испытал и глухую пустоту безвременья. Мырзакул, отец Керима, сказал однажды: «Что же вы хотите, в безвременье тонут и большие государства!» Мырзакул это мог сказать, и жамауатчане этому могли поверить, потому что Мырзакул вроде бы и тихо жил, — таскал камни, косил сено, хотя и плохо, стриг овец, возил на ишачках дрова, — словом, жил как все, но с тех пор, как он положил на обе лопатки загордившегося толстопузого (лишний жир тогда высмеивался в Жамауате!) узденя Омара, к его словам прислушивались. А дело было в его имени, в том, что старейшинам рода Болатовых пришлось на ум дать имя мальчику из двух взаимоисключающих частей: Мырза — господин, кул — раб. И вот однажды этот толстопузый Омар решил поиздеваться над тихим безобидным Мырзакулом и в ныгыше в присутствии словоохотливых жамауатовских зубоскалов спросил его: «Мырзакул, кто ты — господин или раб?» Атто, отец Хаджибекира, рассказывал потом, как Мырзакул изменился в лице, все подумали, что он сейчас набросится на толстопузого Омара; он действительно встал, и, когда сидящие в ныгыше приготовились разнять дерущихся, он, этот вроде бы тихий Мырзакул, сказал:

— Толстопузый Омар, знай же, когда я работаю, я раб, а когда я думаю — я господин!

Тут все сидящие настолько растерялись, что не сразу поняли всю глубину драматического поражения Омара: если бы Мырзакул придавил его к земле руками, его быстро подняли бы на ноги, и, сказав ему пару жамауатовских, небыстро забывающихся слов, прогнали бы из ныгыша, а потом вдоволь потешились бы над Омаром, в точности повторяя даже то, какой звук он издал, падая на землю. Но тут и звука не было, никто не упал, Мырзакул и резкого движения не сделал, и все притихли, задумавшись над неожиданной значимостью мырзакуловского высказывания.

С тех пор и прислушивались к Мырзакулу. Но в тот год он неожиданно заболел и умер, а к весне жамауатчане, сбившие с толку каким-то злом, стали покидать родные места. Вот

чьего ума не хватало односельчанам, пустившимся на поиски мусульманской справедливости и обетованной земли, а в сущности — спасения от царя Орусии. В такой час Мырзакул порассудил бы как господин и коротко изрек: «Лучше быть подошвой обуви на своей земле, чем быть султаном на чужбине!» И пыл мухаджирства, возможно бы, на этом и угас. Но Мырзакул неожиданно заболел и умер, а то, что происходило, было похоже на гибельное поветрие: только в годы чумы не ведали жамауатчане, что творят. Люди уходили в неведомые края, Жамауат опустошался, и оставшимся грустно бывало смотреть на обезлюдевшие дворы, заросшие бурьяном и крапивой огороды. Об этом отрезке из жизни отца Хамзат если и рассказывал, то с горечью. Шонтук, конечно, не был легкодумом, не мог идти на поводу у сбитых с толку людей; он понимал, что путь мухаджира не радость, но он видел, как в поиске мусульманского мира отправлялись лучшие люди из ущелья, со всего Кавказа, так что будь Мырзакул даже жив, Жамауат всколыхнулся бы так же. Если б одно лишь желание прикоснуться к святыням мусульманской земли отрывало людей от родных мест или, наоборот, земные блага сводили их с ума, Шонтук и с места бы не встал. Но то, что заставляло людей метаться между родиной и чужеземным раем было нечто другое, страшное. Не могли верные и верующие люди обмануть народ, а они с тревогой предупреждали: к горам надвигалось что-то зловещее, и шло оно из той далекой от гор страны, где люди служили не Аллаху, а жору — кресту, а над народом стоял не Аллах, а царь; она, эта страна, долго воевала с жителями предгорий и недавно поработила их; но люди, которые жили в балкарских горах испокон веков, пасли свои стада, кое-как переворачивали свои клочки земли, жили мирно в своих каменных, прилепившихся к скалам жилищах, не знали, что такое царское порабощение, а потому не слишком об этом задумывались. Теперь же, как объясняли образованные мужи, вся земля с той стороны хребта и с этой тоже становилась владениями этого неверного царя; а поскольку становилась его собственностью, то и люди здесь должны принадлежать ему, как бы они ни продолжали верить в истинного и единого Аллаха. А что это означало? Шонтук должен был стать подданным неверного царя на этом свете, а на том — мучеником ада! А народ? Придется служить царю, платить налоги, а мужчинам, если надо, и воевать за него. Но самое страшное — сожгут мечети, на их месте понаставят церквей и заставят отречься от Аллаха! Это говорили люди, кото-

рых Шонтук знал, уважал, которым не верить не мог. Они же говорили о том, что покуда будут живы, не допустят, чтобы их сыновья — сыновья вольных горцев служили гяурскому царю. Нет, ни с какой стороны нельзя было терпеть такое горскому человеку! В конце концов, если дело шло к тому, что горцы должны исчезнуть с лица земли, то лучше это сделать добровольно и на земле мусульманской, впитавшей кровь и пот пророка, одухотворенной его святым телом. И конечно, Шонтук думал о двух своих сыновьях — два всадника, это немного, но это — два глаза его, две руки, — мог ли он смириться с мыслью, что вырастит он их для того, чтобы отдать неверному царю для его кровавых дел! Шонтук не знал этого царя, не знал его помыслов и как он мог рисковать своими сыновьями! Если те аскеры, которых он видел в карачаевских селениях еще подростком, были царские, то, пусть Аллах спасет его от такого язычества, когда бы его сыновья где-то проливали безвинную кровь! Лучше бы они не родились, лучше бы Шонтук сгорел сухим поленом, прежде чем услышать о возможности такого горя. И какое могло быть сравнение между этим горем и тем, что их ожидало на чужбине. Во всяком случае, не будут Зулкарней и Хамзат сжигать там жилища мирных людей. Умрут там, где издавна умирают люди одной с нами веры и одного языка. Пусть трудным будет путь на этой земле, пусть горек хлеб чуждой стороны, но сыновья уйдут, не запятнав совесть в тяжком грехе исполнения воли непонятного, чужого, кровавого царя!

Вот эти тяжкие думы подняли Шонтука с родной земли и понесли по ухабам Османской империи. Но там, в выжженной песчаной степи, где не было ни деревьев, чтобы спастись от жары, ни звонкой родниковой воды, чтобы утолить жажду, он до конца прочувствовал правоту древней мудрости: бежал от огня, да угодил в пламя пожара! Теперь мусульманский рай не казался ему легче царского произвола, а люди вокруг, опуская в могилы своих близких, с немым отчаянием сознавали, что они сами себя добровольно обрекли на пожизненное мучение. Но работать и терпеть эти люди умели, и вскоре в той выжженной степи образовалось поселение, жалкое в своей убогости. Ведь они только из камня делали все — дома, мельницы, но здесь приходилось делать все из глины, а обращаться с нею они не умели. Было неуютно в этих жилищах, казалось недостойным жить в них, и маялись вольные горцы, словно пойманные звери.

Впервые в жизни у Шонтука текли слезы. Боясь их по-

казать людям, он ушел в степь далеко; борода его, жесткая и густая, дрожала; ему казалось, что он идет лицом к родной земле, но в глаза бил песчаный ветер, он рвал бороду, норовил заживо его похоронить, да ему и самому хотелось зарыться в песок, уйти в его глубины, и в какой-то час горького озарения снова увидеть ту счастливую землю, где бурлили прозрачные родники, зеленели могучие чинары, а скалы, готовые прикрыть, заслонить любого своего человека, возвышались над каменными жилищами... В замутненном сознании ему почудилось, что если идти и идти вперед, он достигнет края пустыни, найдет там дорогу, по которой и поведет сыновей обратно, а там пусть его сыновья мешки с солью будут таскать на спине, пусть камни на гору будут катать, пусть в расцвете сил на них обвалится скала за домом, а несчастная его старуха оплачет сыновей преждевременно, пусть, пусть все совершится, лишь бы вновь обрести родину, которой он, Шонтук, лишил их по своей глупости. Шонтук теперь согласен даже на то, чтобы царь призывал его сыновей на войну несправедливую, согласен, потому что он постиг теперь, понял, праведных войн не было со времен пророков, не будет и теперь, пусть царь пошлет их на сражение, в этом их вины не будет, а останутся в живых, то, как все живые, вернутся на землю своих предков. Пусть тогда даже и не молятся за него, пусть не плачут по сходящему с ума Шонтуку — их отец умрет счастливым.

Но степь не кончалась. Жара и песок останавливали его дыхание. Потом он не помнил, как упал, как ветер смешал его с песком, только позже, как во сне, как из другого мира он слышал заблудившиеся голоса в степи — это были его сыновья; они плакали и кричали, и он ясно слышал, как этим крикам вторил шакалий вой, но встать и пойти навстречу мальчикам он не мог. И после того, как его, полуживого, привезли в глиняное, похожее на крысиную нору, жилище, эти крики и вой шакалов все еще звучали в его голове. Он молчал, отвернувшись от Зулкарнея и Хамзата, счастливых тем, что нашли отца живым, сам-то он понимал, что вовсе не живой, не может быть человек живым на чужбине в полной мере! Он понял, что умер еще в тот день, когда, поворчав на плачущую жену, зарыл в землю кое-какие ценные вещи — его учили, что они, родовые ценности, всегда должны оставаться на родине, ибо это исконное богатство отчизны; затем погрузил на воловью арбу все необходимое для жизни на чужбине и покинул благословенный Жамауат. Он считал, что умер позорной, легко-

мысленной смертью, проклятый камнями, по которым ступал и которые перетаскивал, прижимая к животу; отвергнутый деревьями, в тени которых находил приют и отдохновение, выходя из своего небогатого, но полного достоинства дома; отринутый от уютного двора, откуда утренней порою он глядел на иссиня-зеленые склоны, на белые вершины, с которых неизменно дул свежий, отзывчивый ветерок, весело одобряющий все его слова и дела. Но в тот день он боялся оглянуться назад. Покидая навсегда свой дом, он отрывал от сердца одно за другим и камни, и деревья, и иссиня-зеленые склоны, и белые вершины, откуда неизменно дул свежий, ласковый ветерок, и от боли кружилась голова. Он слышал призывные голоса родных гор, но, странное дело, они, эти голоса, не бежали вслед за ним, а отдалялись, затихали, потому что он шел с закрытыми глазами и от боли кружилась голова. Ему казалось, что не он уходит, а уходят камни, деревья, двор, твердый и крепкий, как он сам, и иссиня-зеленые склоны, и неприступные скалы за домом, и если бы он обернулся тогда на миг, посмотрел назад, он упал бы замертво на рыжую глину дороги. Но Шонтук не делал этого, потому что на арбе сидели два мальчика, которых он любил. Неловко это сознавать, неловко и позорно, но оказалось так, что он любил их больше всего этого мира, и, чтобы спасти слабых и смертных, предавал нечто бесконечно сильное и бессмертное.

Теперь он желал говорить людям о своих заблуждениях; он уже знал, что живым надо искать пути-дороги назад, чтобы быть похороненными на своей земле; он желал вернуть сыновьям их родину — не имел права умереть с этой виной перед ними! И он встал из этой постели, после бегства, заметно постарев, но спрятав огонь в глубине, — раз так получилось, надо помочь и без того убитым мухаджирам. Кто же поддержит их в роковую минуту, если не он. Шонтук отдал старшего сына Зулкарнея в батраки одному богатому турку, а с Хамзатом занялся поделками из дерева, благо он привез и сумел сохранить инструменты. Нужно было время, чтобы набрать сил для возвращения, зализать раны... К исходу второго года скитаний, на песчаной окраине Измира чегемский аул Жамауат кое-как оживлялся. Но оказалось, что задыхающегося бьют по спине и на мусульманской обетованной земле — началась эпидемия и она быстро решила судьбу отторгнутых. Боль и раскаяние превратили в растрескавшееся надгробие и крепкого от природы Шонтука, но болезнь не брала его. Он ходил по дворам и едва успевал хоронить скошенных

чумой. Хамзат ему помогал. Ночью они уходили в степь, и, обжигая тело до красноты тлеющими головешками, молча укрывались под буркой, предпочитая опасность от ядовитых змей затхлому обезлюдевшему дому в неудавшемся новом Жамауате. Через неделю из-под бурки не поднялся Шонтук. Хамзат катался в песке, исходя слезами, звал брата Зулкарнея, но к его агонизирующему отцу подползали черные змеи; Хамзат кидал в них дымящиеся головешки, а потом пытался залезть сам под бурку, лечь рядом с отцом, а тот, дрожа, бессмысленно шевеля потрескавшимися черными губами, грубо отталкивал его, словно не сын, а змея пыталась обвить его шею. Тогда Хамзат перестал плакать, страх его улетучился бесследно, и когда двое всадников, появившиеся в степи под вечер, зарывали Шонтука в землю, он просто стоял и смотрел.

Хамзат знал дорогу к своему брату. И когда он пришел к нему, бай его принял в батраки, он обещал позаботиться о них, поженить, когда время придет. Братья согласились с баем, потому что другого пути они не видели. Беда научила их ловкости, стремлению выжить. На той немилосердной земле они могли рассчитывать только на себя. Единственное условие, которое бай поставил братьям, кроме неустанной работы, это — сменить имена и национальность. Братья уже знали, что в той стране это считалось естественным и не стали возражать, только поклялись между собой: каждое утро, просыпаясь живыми, они будут повторять три раза свое имя, свой род и название своего аула.

Хамзат, двенадцати лет от роду, видел, что бай старается, чтобы братья не встречались часто, не переговаривались, было даже заметно, что он следит за ними, за двумя своими рабами, но это еще больше сблизжало братьев. В молчаливом осознании своей участи, они хорошо представляли свое будущее, бай и не скрывал, что с ними станет, если они вдруг вздумают идти наперекор его интересам. Зулкарней смиренно принимал волю хозяина, а Хамзат, убрав руки назад, сжимал их в кулаки, когда бай грубо обращался с ними. Богатый турок, опытный охотник на волков, хорошо понимал, что таится за непокорным взглядом младшего брата; он, по-видимому, знал и другое — покорность не присуща зверям и людям от природы — она вырабатывается, как ива плакучая: знай, подрезай ветки таким образом, чтобы они все время росли к земле. Так и люди. Пусть юнец прячет недовольные, ненавидящие глаза, — он и льва приручил, а этих лишенных своей земли и

крова мальцов он и подавно приручит. Поэтому он лишь насмеялся в душе над Хамзатом, мягко похлопывал рукоятью кнута по спине, давая понять, что кнут может и со свистом размахнуться. Но и Хамзат торил свою тропу через нагромождения жизненных препяд, отделяющих его от отчей земли и накрепко заперевших Зулкарнея во владениях турка. Хамзат прорывал эту дорогу яростно и упорно. Ночью, лежа рядом с братом, шептал ему на ухо названия окрестностей Жамауата, напоминал о склонах с пахучей травой, о светлых родничках Тагылы кола. Зулкарней был разумнее его, понимал, что бежать отсюда не такое простое дело, но Хамзат упорствовал: «Лучше умереть в дороге! Смерть в дороге почетней, чем похлебка жестокого бая», — утверждал он. Зулкарней молчал, со вздохом переворачивался в жесткой пастушеской постели, вставал и снова укладывался на войлок, пахнувший бараньим навозом. Хамзат слушал долгие стоны брата и глотал безмолвные слезы. Так прошел еще год, а однажды весной, в пору, когда перегоняют овец на летние пастбища, Хамзат решительно заявил, что уйдет в эту ночь. Зулкарней больше не мог противиться, они вооружились палками и пошли...

5.

— Долго еще идти? — спросил Музафар, но Хамзат, увлеченный своими думами, не ответил.

Они спустились в глубокий овраг и теперь шли по берегу еле заметной в зарослях темной речушки. Уже высоко поднялись папоротники, а повыше по каменистым косогорам густо цвели барбарис и кизил. Музафар шел позади деда, проваливаясь в рыхлую скользкую землю, иногда падая, но вставая сам, шел упрямо, чтобы не отстать от старого человека. Овраг неожиданно кончился, они вышли к невысокому склону с рассеянными там и тут кустарниками орешника и черных берез: косогор простирался до «соснового пояса», некогда посаженной кем-то рощи, которая должна была защищать склон от снежных лавин, всегда готовых обрушиться на низинные луга.

— Вот и пришли! Это и есть Тагылы кол, — сказал Хамзат.

В этот весенний день седьмого марта взору Музафара открывалось во всей первозданной красе и святости место паломничества его рода. Были здесь небольшие темные колонии могучих деревьев дикой груши; были островершие камни, точно воткнутые в землю небесными божествами и оттого казавшиеся идолами, живыми и всевидящими идо-

лами, которым поклонялись его пращуры. От самых снежных вершин, от заоблачных лугов спускалась ложбина Тагылы кол, упираясь внизу в невысокие рыжие скалы.

— Ну как? — спросил Хамзат.

Музафар посмотрел в сторону сверкающих вершин:

— А если подняться еще выше, а там еще выше, и посмотреть оттуда, смогу я увидеть всю землю?

— Сможешь, — оказал Хамзат. — Но это ты будешь сам подниматься. Я уже старый, мне трудно.

— Я думал, мы пойдем дальше. Мне Мухтар говорил, что там, на высоте, и озеро есть. Озеро без дна...

— Когда-нибудь сам к нему поднимешься. Я сказал.

Огорченный Музафар подошел к замшелому ноздреватому камню и сел.

Хамзат снял бешмет, завернул в него хурджин с едой и спрятал в орешнике.

Между орешником и камнем было шагов двадцать, но Хамзат словно не замечал обиды внука, не спешил его успокаивать и говорил оттуда, с расстояния:

— Тому камню поклонялся мой прапрадед Окулай, и называется он, этот камень, под которым ты сидишь, Чоппа-Кушжетер — Божество Кушжетеровых.

— Ничего себе божество, — удивился Музафар, позабыв об обиде.

Теперь только перешел Хамзат к камню и сел рядом с внуком.

— Что нас ждет, мы не знаем, — оказал он. — Но знать свою землю ты должен... Тут он замолчал, словно позабыл, о чем хотел сказать. В последнее время с ним это случилось часто, поэтому Музафар не торопил деда. — Глубинные ручейки никогда не пересыхают, — продолжил Хамзат. — Осенний листопад покрывает их, снег тяжелый ложится, да кабаньи ноги разрушают бережки. Весенние талые воды нарушают русла... Но роднички не пропадают! Приходит весна, они прорываются в другом месте, приветствуя жизнь. Бывает, сгнившее дерево опрокидывается на родник, камнепад завалит дно... Я помню, как однажды в августе молния ударила прямо в один родничок, она выжгла его, лишь черная дыра и осталась. Но через час уже снова булькала вода, наполняя свою обгоревшую чашу. Почему так неистребима их жизнь? Почему они неподвластны никаким враждебным силам? — Хамзат смотрел на внука таким ясным, ласковым взглядом, что Музафару казалось, что дед все это знает, и если он не ответит сейчас, то расскажет потом, все ему объяснит. — Вот где надо

учиться упорству и вере! — обратился он к мальчику, как к взрослому человеку. — Мне бы хотелось поручить тебе... где бы ты ни увидел слабый, затоптанный ручеек, обязательно очисти его. Не проходи мимо камня, упавшего на дорогу! И то, и другое — завет рода твоего и мой завет — помни.

Хамзат говорил о будущем, но мальчика интересовал нынешний день.

— Когда война кончится? — спросил он. С окончанием войны он связывал возвращение отца и начало какой-то особенной большой дороги, о которой говаривал дед. Поэтому его занимали не камни и роднички, хотя все это и было любопытно само по себе, а заманчивые грядущие дни.

— Из всех бед война не самая страшная, — сказал дед, а Музафар воскликнул «хы!», а потом — «как это!», но Хамзат спокойно продолжил: — Да, мой теленочек, не война самая страшная беда, а страшнее, когда несправедливость становится порядком в отечестве. Нет ничего губительнее... — В последнее время Хамзат редко старался соизмерять умственный возраст внука со своим собственным, и трудно было разобраться, с кем он говорит, с ним или с самим собой. Но Музафар относился к этому легко, не переспрашивал, как бы ни кружилась его головка от тяжелых дедовских слов.

— Мы долго здесь будем? — спросил мальчик.

— У нас дело есть, — напомнил Хамзат. — Мы должны очистить роднички от палой листвы. Они, знаешь, так же, как и ты, хотят смотреть на мир. Я толкую тебе об этом с утра, а ты... Где находится твоя голова, когда я говорю?

— А ты ясно скажи, — не растерялся Музафар.

Они поднялись на северный склон. Музафар узнавал не все деревья, и Хамзат объяснял ему, какое дерево как растет, какие плоды съедобны, какие нет. Остановились у могучей груши. Земля вокруг дерева была испещрена следами лесных зверей, больше всего доставалось ей от кабаньих нашествий, они взрывали землю не только тяжелыми копытами, но и клыками. От просачивающихся вод земля в низинах становилась болотистой, но Музафар еще не видел ни одного родничка. Хамзат приставил палку к стволу дерева, закатал рукава.

— Сейчас начнем открывать глаза родничков, — сказал он радостным голосом. Поднялся чуть выше и, опустившись на колени, стал разгребать руками прошлогоднюю листву. Музафар наблюдал, стоя рядом. Большие натруженные руки Хамзата уже начали ворочать черную рыхлую землю.

Ямочки тут же заполнялись мутной водой, но Хамзат снова запускал туда руки, снова вытаскивал горстями земляную жижу. Музафар видел, как вода, высвободясь от давящей грязи, ошеломленная неожиданной свободой, весело булькала и пузырилась, а листва и мелкие полусгнившие веточки, ею поднятые, плавали, не зная, к какому «берегу» пристать. Очистив дно и края родничка, Хамзат приподнялся на коленях и смотрел, как завороченный. Вода кружилась и кипела, а потом, набрав силы, стала выбрасывать плавающую нечисть вместе с какими-то дохлыми жучками и червями. Бьющая со дна чистая струя гнала весь этот мусор прочь и сама себе прокладывала путь. По мере того, как родничок очищался и начинал жить полнокровной жизнью, лицо Хамзата празднично светлело; с победоносным видом он поглядел в сторону внука:

— Вот так же очистим и другие роднички! — сказал он.

Шагах в тридцати от первого родника, возле куста рябины, пропитывая прелую листву, силился пробиться к свету другой живительный ключ.

— Это будет твой. Опустись на колени и очищай, — предложил Музафару дед.

Сначала Музафару казалось, что он не сможет запускать руки в землю, как дед, — было как-то брезгливо, но признаться в этом не хотелось. Он засучил рукава и, подражая деду, опустил на колени. Сначала он ощутил холод. Быстро оглянулся и посмотрел на деда, который уже очищал дно другого ключа. Видит ли его дед? Но Хамзат так же, как и в первый раз, увлеченно, даже, кажется, тихонько напевая какую-то песенку или молитву, продолжал и, вероятно, не думал о внуке. Музафар убрал руки и спрятал их под мышками. Он ожидал строгого голоса деда, но не смотрел в его сторону, хотя и очень хотелось. Он был шайтански хитер, этот Музафар: стоило сейчас деду поругать его, как Музафар тут же возмутился бы и пошел к дороге, всем своим видом показывая, что возвращается домой. А Хамзат невозмутимо колдовал над родником, изредка, как бы про себя, приговаривая: «Посмотрим, чей родник звонче пойдет!» Тогда Музафар снова погрузил руки в мокрый слой прошлогодней листвы. Теперь ему земля не казалась такой холодной, а потом он и вовсе не замечал холода; было такое ощущение, словно он не очищал, а творил воду. Ему хотелось крикнуть об этом деду, показать, как под его руками рождается и радостно бурлит ручеек.

Закончив с родниками на этой стороне, они перешли на

другую покатость склона. Здесь почва была камениста и не заболачивалась, хотя ручейки оказались заметно обильнее. Освобождаясь от ига осенне-зимних заносов устремлялись юркие потоки вниз, спеша соединиться с речкой, протекающей по дну ложбины. Музафар мог бы сравнить родничок, который он очищал, с верблюжьим глазом — он был темный и глубокий, вода в нем то булькала с каким-то прерывистым всхлипом, то замирала, как бы прислушиваясь к самотебе; то поднималась, точно желая разглядеть человека, вернувшего ей свободу, но тут, словно потрясенная величием увиденного, вновь уходила в землю. Музафар терпеливо ждал нового рождения ручейка, чутко прислушивался к приближению воды, и, когда, булькнув на подступах к выходу, она вырывалась темной упругой струей, он ловил ее ладошкой и пил. Так он пил из каждого очищенного им родника, но самыми вкусными казались именно те роднички, которые не истекали из своей воронки, а оставаясь полной чашей в лоне своего рождения, общались только с глубинными подземными токами — вечное круговращение... Музафару казалось, что и птицы любят их больше, потому что они прилетали и, не боясь его присутствия, на лету касались воды грудью, точно обнимая и приветствуя ее; пили быстрыми глотками, а потом садились на бережок и ликующим пением оживляли округу.

— Гляди, теленочек мой, гляди, как роднички любят жизнь! — повторил Хамзат. Он так же, как и Музафар, радовался их возрождению, будто видел такое впервые. Руки его, покрытые землей, казалось, самой землей и были. Хамзат не спешил вымыть их, не спешил спуститься к дороге, хотя все роднички были уже очищены, и солнце склонялось к горному гребню. Он пошел к тому, первому родничку под грушей и, припав грудью, стал пить. Лежал он так долго, гораздо дольше, чем это необходимо для того, чтобы напиться.

Он лежал ничком и почти не двигался, а когда оторвался от родника и встал, вода из его бороды текла ему на грудь, а он еще, зачерпнув пригоршню, бросил себе в лицо, и без того мокрое, и рук не отнял от лица, оставляя их прижатыми к бороде. Когда он повернулся, наконец, к внуку, Музафару показалось, что дед глядит на него пристальнее обычного и, наверное, хочет сказать что-то важное. Но то ли от волнения, то ли не найдя подходящего слова, дед ничего не говорил, а только бурно дышал полной грудью, словно желал набраться воздуха. Тагылы кола на все оставшиеся дни свои.

— Не забудь, Музафар,— сказал он потом.— Не забудь, теленок мой, своего желания подняться еще выше и посмотреть оттуда дальше, чтобы увидеть всю землю. Скажу тебе: отсюда только и можешь увидеть всю землю!

Музафар слегка продрог, устал, поэтому смотрел на дорогу. Молча кивнув, давая понять деду, что никогда не забудет свою мечту, он потянул его вниз. Теперь Музафар шел впереди, а дед позади его; молчали оба, и хорошо было слышно, как наверху поют птицы. Музафар спиной чувствовал, что дед хочет остановиться, еще раз оглянуться и ненасытным прощальным взглядом окинуть любимое урочище.

— В жизни человека очень часто бывает так, как у родничков в Тагылы коле,— сказал Хамзат, когда они вышли на дорогу.— Приходит суровая зима, еще какое ненастье, буря приносит отовсюду мусор и гниль, захламляет дорогу, замуровывает, заковывает русло. Но приходит весна, снова оживает земля, и роднички, пробудившись, устремляются на свет божий. Так и человек. Если он чист и преисполнен любви к жизни, он все равно пробивает себе дорогу, освобождается от всякого гнета.— Музафар не понял и не мог понять, для чего Хамзат все это говорил, но потом, в трудные свои дни, он вспомнил об этом и всякий раз образ родничков помогал ему вытерпеть, выстоять. Да, конечно, в дедовской притче было нечто большее, чем простое желание просветить внука. Хамзат мог и слова не говорить, потому что говорили сами роднички. Обретая в дальней стороне свой жизненный опыт, Музафар мысленно прислушивался к их текучему светломуговору и поражался тому, насколько все в мире взаимосвязано. Сказанное слово, как и пробивающаяся из земных глубин вода, никогда не стареет, не умирает, и несмотря ни на какие невзгоды, несет надежду людям. Но в тот день, когда они снова шли вдоль темной речушки, затерянной в глубоких зарослях, Хамзат не спешил, а Музафар за это на него злился. «Уже темнеет»,— сказал он, а дед неожиданно начал потихоньку петь, а потом, уже внизу, в долине, запел погромче, не то чтобы сердито, а с обидой, что ли, словно он хотел кому-то отомстить, а может, и разбудить кого-то, разбудить и что-то ему внушить и даже устыдить, выразить свое негодование. Однако в темнеющем ущелье только скалы да внук и внимали ему. Музафар никогда раньше не слышал, чтоб дед пел; от удивления и досады он позабыл об усталости. Боясь, что кто-нибудь услышит деда, он оглядывался по сторонам, тянул и тряс его руку, точно застал деда за каким-то

постыдным занятием. А Хамзат о внуке позабыл, превратился в серый поющий камень, возникший из земли, а может, выдавленный из реки, из того темного оврага. В ущелье быстро темнело, и шершавый камень с колыхающейся влажной бородой, поющий и оттого вызывающий недоумение и страх одновременно, заставлял Музафара кричать и плакать, в бессилии прижиматься к деду, бить кулаком по его руке, вернуть деда к себе, в свой ясный и живой мир. Но борода старика, взлохмоченная, влажная, казалась в полусумраке ущелья необычно густой и белой, похожей на равнодушное облако, ветром уносимое в даль. Музафару хотелось заплакать еще громче, потому что с дедом творилось что-то страшное, он исчезал куда-то, мог в глубь земли уйти, а может и в небесную высь, ему ведь было доступно то, что оставалось в этот час неизвестным для Музафара, и это колдовское, неизвестное для Музафара, но ясное для Хамзата, видимо, овладевало стариком, призывало в свои объятия, в лоно свое, где было все, наверное, чисто, справедливо и достойно, как и хотелось деду, но был ли там Музафар? Вот почему, если он, Музафар, своим криком не остановит песню, то останется в ущелье один-одинешенек на съедение зверям, и не будет больше играть в долине, и не придется ему покататься на тех машинах, которые приедут, чтобы увезти народ Жамауата.

— Я хочу жить, дедушка! Не оставляй меня, я хочу жить! — кричал мальчик.

Потом уже, в поезде, Хамзат удивлялся тому, что не отвечал испуганному внуку. Он тогда стоял перед ним обесиленный песней, с потерянным голосом, и ему казалось, что слышит девичий крик, который доносится издалека. Хамзат, может, какое-то время и не слышал внука, но крик пробился все же к его слуху сквозь песню, и он остановился, замер, и, чтобы не упасть, прижался к мальчику. А мальчик всхлипывал, прижимал сильнее дрожащие руки деда к своим плечам, и слезы его теперь не казались неутешными. В своей последующей жизни Музафар не прощал себе эту детскую слабость, сковавшую его страхом, потому что, чем дольше он жил, тем значительней и возвышенней казалось ему то вечное, о чем в тот вечер пел дед. Он пел песню о каком-то роде, славном и древнем, жившем в горах, а потому обреченном на вечную борьбу с камнем. И не одними лишь каплями пота суждено было людям орошать камни, чтобы выжить — приходилось и кровью их обгагрять. Однажды в горы войной пришли чужеземцы, перебили весь род, чтобы захватить его владения и земли,

но оказалось потом, что все же спаслась одна беременная женщина, притаившаяся в развалинах крепости под опрокинутым корытом. Женщина выжила, ушла от врага и родила двух близнецов, от которых заново пошел род, род сильный, здоровый и единый. Хамзат обращался в песне к какому-то Аман Сокуру, Геуюзу, который, собрав силы, громил чужеземных насильников, возрождал свой народ: и стало племя неприступным в горах, славным и могучим, как прежде. Музафар жалел, что не запомнил песню — нечто похожее он находил, но то, что пел Хамзат в тот вечер, больше ему не встречалось в народных балладах. Может быть, Хамзат сочинял сам, он это мог сделать, потому что с тех пор, как привез на арбе погибшего в верховьях Юрду Муссу и похоронил его на кладбище, а потом еще после мученической смерти Арийпы и предательства дяди Шоштара, дед так долго и так страшно молчал, что Музафар, привыкший к его сказкам, подходить к нему боялся. А в тот вечер в ущелье, с отчаянным криком вцепившись в деда, он остановил его и, не зная, что творится в душе Хамзата, плакал и кричал, точно дед и в самом деле оставлял, уходил в темнеющем ущелье туда, откуда люди никогда не возвращаются. Музафар боялся открыть глаза, посмотреть вокруг, потому что камни начинали вырастать до страшных размеров, обретали руки, длинные и черные, со скал раздавались голоса, гневливые и глухие, заманивающие и пугающие, и он все сильнее прижимался к деду, а дед, точно превратившись в камень, все молчал и содрогался. Музафар не помнил, сколько это продолжалось, но когда дед взял его на руки, уже большого и тяжелого, прижал к груди, а потом стал божиться, страшным шепотом произнося слова, он пришел в себя и успокоился. Дед журил его, стыдя и утешая, а он все еще слышал голоса со скал, видел руки камней, тянущиеся к нему, но теперь, на груди деда, он ничего не боялся, только торопил его скорее уйти отсюда.

Когда они пришли домой поздней ночью, обеспокоенные женщины, мать мальчика Лейла и жена старика Хорасан, — набросились на них с упреками и причитаниями. Но дед и внук ничего не объяснили. Они пожаловались только на усталость и сказали, что хотят поскорее поужинать и улечься спать.

6.

Хорасан сидела у кровати, перебирала шерсть — она ждала, что Хамзат встанет и скажет, что надо делать в эту ночь, потому что, сказав «ничего не трогать, не увязывать

никаких туюков», он все же не позабыл, что дорога, дальняя она или близкая, все равно требует хоть каких-то сборов. Человек не может не помнить, что он смертен, а смерть не разбирает, где его жертва — в дороге или дома. И если человек не думает о жизни, он должен думать хотя бы о смерти. Так размышляла Хорасан, перебирая шерсть, и ждала, когда муж встанет и скажет, что надо делать. Сам-то он готовился — не зря бродил с внуком по горам, небось прощался с ними. Но и она не сидела сложа руки: достала из сундука рулон кисеи, хранившейся для савана, отмерила несколько кусков, скроила на себя и на Лейлу, а для Хамзата вырезала по себе, только чуть шире, и все это в несколько слоев. Слава Богу, в случае беды в дороге, никто из них не будет предан земле без савана. Теперь воля хозяина, что взять из дома еще. Он проснется и скажет. Перебирая шерсть, она чутко прислушивалась к его дыханию, понимала, если и спит, то сон его не глубокий, так что мозг его работает и решает, как быть в час беды. Может, власти ничего и не разрешат взять с собой — об этом женщины толкуют наперебой, возможно ли такое? Ведь даже раскулаченным разрешали кое-что из нажитого взять, хотя бы кое-какие продукты, чтобы не умереть с голоду. А Хамзат лежал тихо, спал он или думал, а лежал не шевелясь. Если б спал, то храпел бы. Но вот он чуточку вскрикнул, но тут же умолк, пробормотав: «Было всего три копыны». Хорасан обещала себе крепиться, в любом случае выдержать, никто не увидит ее растерянной, плачущей, проклинаящей, только скорее бы проснулся мужчина и сказал, что надо делать. А он не просыпался, лежал так, словно ждал или просил знамения с неба.

Прокричали петухи. Хамзат встрепенулся, вскочил, он увидел Хорасан у кровати, спокойно перебирающую шерсть, успокоился и снова лег, на этот раз захрапел сразу и как-то невнятно заспорил с кем-то. Хорасан не разбирала его слов, хотя пыталась, но то, что он сказал: «Убери камень» — она услышала четко. Инстинкт торопил ее, но в долгой своей жизни с Хамзатом она привыкла делать то, что он говорил и не могла нарушать этот порядок в такой час, когда из отмеренного им жизненного пути оставалось расстояние, возможно, не большее, чем от нижней части села до ее верхней окраины.

Среди ночи он проснулся, встал. Потоптавшись посреди большой комнаты, тихо спросил:

— Вода есть? Могу я искупаться?

Хорасан молча встала, перелила из медного казана, висевшего на очажной цепи, воду в ведро, подложила дровишек в очаг. Когда огонь разгорелся, поставила таз поближе к огню и, взяв ковш, приготовилась лить ему воду. Хамзат разделся и сел в таз. Хорасан неловко было двигаться: под платьем у нее — во много слоев намотана ткань для савана, но успевала и вовремя зачерпнуть воды и помочь ему намылиться. От него шел приятный знакомый дух. Он еще и теперь крепок телом, и движения его сильны и уверенны. Хорасан до сих пор не забыла того ощущения страха и восторга, которое она испытала от каждого прикосновения этого мужчины. Ей на миг показалось, что они только начинают жить и все то горестное, что происходит ныне, все разговоры о смерти, войне, изгнании — все это дурной сон. Вот она искупает мужа, уложит его спать, а сама, поднявшись на рассвете, обнаружит, что жизнь продолжается в прежней ее полноте и радости. «Бог даст!» — вырвалось у нее. Она постелила заново, сменила простыни, но Хамзат, выйдя из таза, не пошел к постели, а сел у очага. Он стал вытираться, он долго вытирал тело, точно хотел лишний слой с него снять, просил жену, чтобы и она вытирала. Одевшись, он вытащил из-под джыйгыча¹ тяжелый ящик с инструментами и вынес в коридор. Когда он, надевая свой кожаный передник, снова вошел в комнату, Хорасан увидела его прежним — перед началом новой работы он как бы сам обновлялся, становился веселым. От неожиданности она присела на край кровати, опустила руки на колени, а Хамзат сказал:

— Зажги обе лампы. Одну повесишь на стене в коридоре, другую будешь держать. — И когда она издала нечто вроде стога, он мягко добавил — Оденься потеплее, на улице прохладно.

— Что ты задумал? — спросила она в тревоге.

— Надо же в конце концов завершить коридор. Когда же, если не теперь?

— Аллах, ты един! — воскликнула Хорасан, не зная что сказать упряму.

— К тому же надо поспешить, а то можем не успеть...

Давно приготовленные доски, вырезанные детали и украшения сушились на чердаке, да все не хватало времени, чтобы приладить их на место и закончить отделку коридора. Во время войны на Хамзата и его ровесников свалилась вся тяжесть колхозной жизни, и домашние дела были за-

¹ Джыйгыч — самодельные настенные полки, куда убирали постель и другие домашние вещи.

быты. Теперь, как казалось Хамзату, было самое время, чтобы с этими делами покончить. И пусть Итлук Китаров не думает, что он, Хамзат, сидит и покорно ждет, когда его загонят в крытую машину и повезут подальше от гор. Он вышел в коридор, или вернее на открытую веранду. С высокого двора Хамзата аул Жамауат был виден как на ладони. Стояла темная безлунная ночь, звезды, необыкновенно редкие, казалось, и не мерцали в немыслимой высоте, а лишь еле заметно обозначали свое присутствие в этом мире. Аул был погружен в глубокое раздумье или сон, во всяком случае ни в одном доме не горел свет. Ему не хотелось даже тихим голосом поторопить жену и, облокотившись об одну из опор навесной кровли, он вглядывался в темень ночи. Его поразил вдруг начавшийся переполох среди аульских собак. Казалось, все псиное население, жалобно взливая и подвывая, горестно поскуливая, срывается со своих дворов и куда-то торопливо стремится по неотложному делу. Нет, не так ведут себя собаки, когда хотят припугнуть сомнительного лихого гостя: похоже они были подняты какой-то неведомой и страшной бедой. Хамзат знал, что собаки предчувствуют землетрясение, но люди никогда не слыхали о землетрясениях в здешних ущельях. Может, четвероногие вещали о другой беде, о той, которую так исступленно отрицал Итлук Китаров? Так или иначе, а собаки лаяли, скулили и уходили прочь, обгоняя друг друга. Хамзату хотелось думать о стае волков, напавшей на село, потому что тогда подобный переполох был бы оправдан. Но в собачьих воплях не содержалось ничего похожего на достоинство защитников, а звучало униженное завывание зверей, обреченных на гибель и одиночество. «Да, это правда, беду не отворотить!» — подумал Хамзат.

Он спустил доски с чердака, разобрал их по назначению, потом так же деловито разложил инструменты на верстаке и начал дело. Хорасан смотрела на мужа и губы ее торопливо шевелились в безмолвной молитве. Она видела, как под вечер прибыли солдаты; до этого часа она думала, что знает об этом и Хамзат. Но по тому, как он строгал и резал древесину, упиваясь ожившим сосновым духом и мурлыкая песню под шуршание фуганка, ничего он, видимо, не знал и знать не хотел. Она старалась держать лампу так, чтобы свет все время сопровождал движение его рук. Хамзат, наверное, был доволен, потому что сказал:

— Когда человек уходит, не достроив дом, это плохо.

Хорасан ничего не сказала, только подняла фитиль лампы.

Когда в полночь в высоком коридоре Кушжетеровых появился свет, а потом раздался стук молотка, визг пилы, многие в соседних домах проснулись. Как это всегда бывало в Жамауате, люди догадались о хитрости Кушжетеровых — они, дав уснуть другим, стали основательно готовиться в дорогу. И легкие на подъем жамауатчане, плотно закрыв окна войлоками, как и при наступлении немцев, начали собирать сундуки, заполнять мешки зерном. Особенно энергичны оказались те, кто осознал свою вину и, в ожидании возмездия, заранее предчувствовали дальнюю дорогу. Но стук молотка донесся и до правления, где в этот час дремали солдаты, а в особенности до двух сотрудников НКВД, командированных накануне в Жамауат. Один из них — офицер, а другой, вероятно, курсант, потому что уж очень был молод и старателен. Они вскочили на коней, стоявших тут же оседланными, и поскакали под это утро 8 марта сначала на стук молотка, а потом на свет. Когда они въехали во двор Кушжетеровых и увидели Хамзата за работой, вовсе не похожей на приготовление в путь, они сначала растерянно переглянулись, но сообразительный офицер заподозрил какую-то хитрость — верно сказано — враг не дремлет. Он сделал характерный жест младшему, тот соскочил с коня, бегом поднялся на веранду, и, вырвав лампу из рук Хорасан, стал осматривать коридор, а потом вошел в дом и там все осмотрел. «Вы что, не в своем уме?» — возмутился курсант, выйдя из дома. Пулемета он там, конечно, не обнаружил, спрятанных бандитов тоже не оказалось, и он злился от того, что не может доложить командиру нечто значительное, позволившее ему проявить героизм мужественного защитника отечества. Теперь молодой воин искал, к чему бы придаться, он жаждал хоть в чем-нибудь обвинить хозяина и нервно оглядывался на офицера, который сидел на коне и держал в руке наган. Однако быстрый на расправу, но еще не опытный сотрудник НКВД, видно, не очень был на выдумки хитер — ничего так и не пришло в голову, только ощутил чувство растерянности и злобы; человек спокойно достраивает свой дом, словно судьба его не решена. Он чертыхнулся, сунул лампу хозяйке, замеревшей у стены, и спустился вниз. Садясь на коня, он еще раз с досадой посмотрел в сторону удивительного строителя и, не ему, а своему командиру сказал:

— Тоже нашел время украшать свое логово!

Хамзат ни на минуту не приостановил работу. Он видел,

как скакали по переулку двое верховых, видел, как они въехали в его двор, а потом один из них вырвал лампу из рук Хорасан и вошел в комнату. Но он продолжал работать. Руки держали инструмент, мысли не теряли ясности потому, что он знал — другого времени на эту работу у него не будет. Хамзат не чувствовал ни малейшего зла, ни хотя бы глухого раздражения по отношению к этим людям. На какое-то мгновение его взяло любопытство и одним просверком взгляда Хамзат уловил лицо того, кто подвел свет к его рукам. «Голодный!» — подумал он. Лицо молодого человека было бескровное, усталое. В горле Хамзата застревали слова, которые он должен был сказать жене, но он, этот молодой человек, своим подозрением и враждой не давал ему их сказать, а очень хотелось неожиданных гостей покормить, ведь и они не спали в эту ночь, точно не спали. Совсем молоденькие солдаты, давно лишенные материнской еды. Хамзату хотелось сказать слова приглашения, чтобы Хорасан покормила их, на это время он мог бы обойтись одной лампой, без ее помощи. Но солдатик так и не дал ему произнести эти слова, а потом, точно опозоренный неурочным вторжением в чужой дом, бегом спустился вниз. То, что юноша говорил, садясь на лошадь, звучало вполне справедливо, хотя и грубо...

Тьма сгущалась; лампа в руках Хорасан мигала и потрескивала, видно кончался керосин. К рассвету Хамзат закончил деревянную облицовку веранды. Теперь оставалось обшить перила обрезными досочками, которые были готовы. Еще предстояло подогнать наличники под карнизом, а после, если останется часок светлого времени, то все покрыть олифой. Тогда никто не скажет, что Хамзат оставил свой дом недостроенным.

Когда он отложил молоток и, довольный, присел на порог, молчавшая всю ночь Хорасан сказала:

— Дуппук оживает в субботу...

Поговорка есть поговорка, но жена оказалась несправедлива — Хамзат не заслуживал такого. Некий Дуппук, нерасторопный и тупой, затеял дело, может, нужное, необходимое, но, вопреки здравому смыслу, не ко времени — в священный день, когда все идут в лишь одну сторону, и негоже кому-то идти в другую. Но Хамзат мягко улыбнулся, он понимал переживания жены, она права по-своему, но и Хамзат прав; пусть он поступил как Дуппук, но дело сделано. Чего бы теперь ни случилось, а дом Хамзата достроен до конца. И еще — разве женщина может уразуметь, с каким чувством люди, видевшие накануне недоделанное,

неприглядное преддверие хамзатовского дома, проснувшись утром, увидят новенький, красивый коридор, такой, что аж даже звенит! Да и урок для Музафара! Иначе зачем же внукам их деды!

— Не сердись, жена, — сказал он мягко — Мы все равно не спали бы в эту ночь, а дело помогает выстоять. Иди, теперь можешь собирать вещи!

Хорасан подула поверх лампы, другую сняла со стены, подула и на нее тоже. Хамзат встал с порога, а жена его вошла в дом, неся перед собой горячие лампы.

Наступило утро. Хамзат встречал его у порога своего дома. Собаки больше не лаяли. Казалось, что их вовсе нет теперь в долине. Он удивился невозмутимой тишине. Он не знал, в долгой своей жизни не обращал внимания, каков бывает час рождения утра. А теперь он поразился этой необыкновенной, дающей силу и надежду тишине. Всякая жизнь рождается в муках, но утро рождалось в блаженной тишине. Дул ласковый ветерок со стороны Тагылы юла, даже река Юрду шумела очень тихо. Светлая полоска, словно пролитая в темный омут краска, начала расширяться, потихоньку размывая сумрак ночи. Робкий колеблющийся свет приближался к Жамауату. Свет походил теперь на единое полотнище, постепенно расправляемое ветром. Полотнище не оставалось бесцветным, оно приобретало с каждой минутой роскошные переливающиеся краски — это солнце, пока еще не вставшее из-за гор, прокладывало себе путь, усеянный алыми розами, среди которых потускнела, а потом растаяла утренняя звезда — Чолпан. В колыпании переливчатого шелка Хамзат увидел в бездонной вышине маленькое облако, которое, словно отставший от стаи журавль, потерянно кружилось на одном месте; но вскоре журавль определил верное направление и, обратившись к востоку, быстро полетел по призрачному следу, оставив после себя еле заметный белый круг. Еще минута и совсем станет светло, и тогда Хамзат начнет различать лица людей, уже появляющихся в темных кривых переулках.

Внезапно чудесное полотнище свернулось и потемнело, а тот молочно-белый круг, образовавшийся на месте облачка, превратился в черную дыру. Где-то в вышине раздался сухой треск и по краям черной дыры запрыгали светло-красные каменья, словно там опрокинулся кувшин с молоком и осколки разбитого красного кувшина полетели в черную дыру. В следующую минуту на дороге, сворачивающей с большого тракта в долину, появилось множество ярких огней. Ударяясь о склоны, падая в овраги, огни эти приближались к селу. Хамзату это зрелище представилось в ви-

де огненной змеи, которая обвивала тело аула. Хамзат с надеждой смотрел на небо, ожидая появления большого красного солнца над Жамауатом, освобождения небесного полотнища от ига тьмы, но огненная голова змеи неожиданно выползла со спуска нижней дороги. Там, замешкавшись на минуту, она, подтягивая хвост, двинулась с еще большей яростью. Теперь голова ее разделилась на множество ревуших голов, которые разрывали переулки ослепляющим светом, грозя сокрушить, подмять под себя все живое и неживое. Хамзат и не заметил, как вышли из дома сноха его и внук, а Хорасан с Кораном в одной руке, и матерчатым хурджином, в котором она держала одежду живых сыновей (одежду погибших она раздала) — в другой, уже сидела на ступеньках веранды. Хамзат прижал к себе внука и сноху, и еле сдерживая подступившую к горлу боль, сказал:

— Видишь, Музафар, какой у нас коридор?

7.

В Жамауате люди умирали рано. Потомки Жандара, любившие искать начала каждой мудрости на склонах своих холмов и в глубине пещер, говорили, что пока человек работает и пока перед ним зеленеет нескошенная полоса, он не может считаться старым, сколько бы ни прожил на свете. Они также утверждали, что старость незаметно начинается с того дня, когда человек испугается камня, который надо поднять и положить на забор. И поскольку они на том твердо стояли, мера возраста или, точнее, старости, в этих местах оценивалась по тому, как человек держал косу. Пока человек выходил на сенокос, годы его в расчет не принимались — впереди нескошенная полоса жизни неведомо какой длины. И только тех оплакивали долго и скорбно, у кого эта полоса оставалась непочатой. Во всех же остальных случаях покойника чтили одинаково, в каком бы возрасте человек ни умер.

Да, в этой долине люди умирали сравнительно рано, однако те, кто не успевал уйти в обычные сроки, нечаянно перешагнув невидимую запредельную ступень, оставались надолго, точно забытые богами. Со временем односельчане о них вроде бы даже забывали, а в домах своих эти запредельные долгожители превращались постепенно в одушевленные реликты, с которых бережно сдували пыль и с почетом передвигали с места на место, но при которых

даже невестки не стеснялись вести оживленные диспуты со своими мужьями.

В последние десятилетия, неслыханно торопливые, в Жамауате бесконечно зажились только двое — Жарнес и Атто, отец Хаджибекира. Из-за того, что они сильно отличались по нраву и, можно сказать, направлению ума, к ним и отношение было разное. Жарнес всегда оставался на виду, а про Атто вспоминали лишь тогда, когда видели сидящим у своего забора на ветхом ольховом пне, с обязательной подушечкой-аппуном под иссохшим задом. До ста лет Жарнес хорошо помнил свой возраст; на втором же веку оставаться Жарнесом было трудно. Считая лучшим возрастом круглый век и не часа больше, он не признавал последние двадцать семь лет своей жизни, считал их лишними, и, умирая в жуткие дни фашистской оккупации и будучи разумом не вполне крепок, он тем не менее произнес завещание вполне достойное именно столетнего мудреца. Жарнес был святой, в этом никто не сомневался, считалось, что через него доходят до жамауатчан божьи откровения.

«Я вам не Атто!» — любил похвастаться Жарнес. И, действительно, отец Хаджибекира не отличался мудростью, вообще был человеком необщительным, и потому просидел у своего забора тридцать, а то и сорок своих последних лет и большей частью помалкивал. В прежние времена люди, проходя мимо, отдавали ему салам, но в последнее двадцатилетие он настолько слился с замшелыми камнями ограды, под которой сидел, что прохожие редко его замечали. Сам Хаджибекир за это время, кажется, всего два раза с ним поздоровался — это когда он уходил на фронт и когда оттуда вернулся без острого своего подбородка. Говорили, что он заплакал, обнимая отца, но Атто не заметил сыновьего увечья: глаза его совсем уже плохо видели.

Атто сидел у забора, когда в Жамауат приезжал рыжий ротмистр, чтобы взять десять всадников на японскую войну; потом появились другие всадники — то отчаянные кароломные и жестокие, и снова красные, но уже открытые и смелые. Однажды завязался бой прямо на его глазах у моста, — он оторопело смотрел на яростную рубку и подумал тогда о давнем-давнем побоище в Карачае: наверное, там, в Хатсауке, вот такая же была резня, и его отец вот так же рухнул с коня и обильно окровавил землю. А потом к нему приходили дети, требовательные, как взрослые; Атто с удивлением смотрел на красные повязки на их тоненьких шеях — это было чудно, ему очень хотелось потрогать рукой, а может быть, даже палкой красные повяз-

ки на ребятах. В его юности так повязывали шеи овец, чтобы узнавать их в отаре. Дети аккуратно садились рядом, отбирали палку, вместо нее всучивали карандаш и начинали свое кляузное дело. Они требовали, чтобы старик произносил «а-а». Он силился повторять за ними этот дурацкий звук «а-а», совершенно не поднимая головы, кажется, не видя их, потому что без палки ему было тягостно и одиноко. Карандаш, пристроенный между его большим и указательным пальцами, раздражал его, как уродливый нарост, а дети, держа его руку, высохшую и упрямую, водили ею по бумаге. Атто потел, глаза его слезились, но ниспосланные дьяволом учителя были настырны, словно слепни на сенокосе, и он, глядя на свои немыслимые каракули, расползающиеся по бумаге, как грешные тропы в потайных местах, покорялся. На следующий день с мольбой смотрел на сына, надеясь, что он избавит его от красношеих мучителей. «Ликбез, отец! — бессердечно отвечал Хаджибекир. — Мы сами ходим, а к тебе приходят!» Со стонами плелся старик по утрам на свое место и с трепетом ожидал беспощадных шайтанят. Но терпение учителей тоже было не беспредельным — они кое-как сумели научить старика изображать пять или семь букв, затем, с помощью сверхчеловеческих усилий (и своих и Атто), добившись от почтенного аксакала его собственноручной подписи «АТО», — записали его в число грамотных и исчезли. Мало что изменили в жизни Атто эти пять или семь букв; остановившаяся когда-то его жизнь так и не сдвинулась с места. Он выходил спозаранку, садился на свой пенек с аппуном, и дремал, уткнувшись в свои сто лет. Просыпаясь, глядел на мир и хотя мир этот бурлил, как река Юрду во время ливня, все кругом обновлялось, меняло свои цвета и оттенки, даже кони иначе ржали, а люди, которых он еще помнил, иначе произносили слова, иначе называли вещи, которые испокон веков являлись привычным для глаза и ума; иначе перегонялся скот на летние пастбища, и даже, кажется, дети иначе влюблялись и иначе женились — он продолжал видеть мир таким, каким он был в его полноценно зрячие и ходячие годы. Потому и был покой в душе! Но однажды этот сын Чылмаевых, Хамид, вверг эту его благодетную жизнь в неразрешимую путаницу, и его погасшее было сознание вдруг стало лихорадочно возрождаться, искать ответы на запредельные вопросы. А дело было в том, что этот сын Чылмаевых пришел в тот день с двумя незнакомыми людьми и, ничего не спрашивая и не объясняя, стал переворачивать дом его сына Хаджибекира, колхозного ударника.

Хаджибекир кинулся к ним с недоуменными вопросами, а Хамид и его нездешние помощники, не пряча бесстыжих лиц, бросали ему, Хаджибекиру, в лицо какие-то нездешние слова. Когда же Хаджибекир схватил топор, один из двух нездешних вытащил из кобуры пистолет, а Чылмаев сын грозно изрек «ресцицириуа». Из тех букв, которые Атто знал, такое слово не слагалось; он бессильно мучился, пытаясь разгадать тайну ужасного слова. Не помог ему и окаянный Жарнес, утверждавший, будто и сам Чылмаев этого слова не знает! Ну как не знает, если сказал, а потом загнал Хаджибекира в Сибирь! И покуда сидел сын, покуда плакала его внучка Мадина и сноха Айша не получала ничего из колхозного амбара — ее гнали обратно, да к тому же бранили, угрожая и ее посадить, Атто не пропускал ни одного встречного, чтобы не спросить о зловещем слове, принесшем столько бед в его дом. Люди искренне хотели ему помочь, но никак не могли проникнуть в тайный смысл понятия «ресцицириуа». Правда, Абу Кайбергенов, старший сын Бияслана, смысленный и озорной, зная пристрастие новоявленных демагогов к ученым словечкам, попытался ему объяснить Хамидову абракадабру и почти пропел по слогам: «Ре-ко-гнос-ци-ров-ка». Особой ясности в изучаемый вопрос Абу внести не сумел, тем более, что отнесся к делу с изрядной долей иронии. В общем, старик возненавидел проклятое слово. Жарнес убеждал: «Оставь! На свете много дурных слов!» Атто же, упорно возжелавший понять его суть, неодобрительно посмотрел на «тугодумного» соседа, потому что в глубине души верил, что, одолев смысл этого слова, тем самым освободит своего сына из тюрьмы, посмотрел и сказал: «Нет слова дурнее, чем слово «Жарнес»! Жарнес тут же обидился, и, как и во все годы, пожалел, что хотел добра этому человеку; он встал, поглядел на него уничтожающе и пошел, а Атто хихикнул ему вослед: «У тебя собачья походка!» Жарнес, конечно, услышал наглое замечание соседа, но посчитал ниже своего достоинства остановиться и дать отповедь нечестивцу.

Атто страдал от незнания причин, побудивших Чыл-возводил Жарнеса в ранг самого мощного вруна, а затем маева переворошить дом его сына, а потом и посадить ударника колхоза. Правда, когда ему, как и прежде, выносили из дома какое-то занятие — валять, например, шкуру, латать чабуры, шлифовать какую-нибудь деревянную поделку; увлекшись, Атто забывал сверлящее мозг слово. Уставая после несложной работенки, он засыпал, привалившись к забору спиной, а проснувшись, снова кричал каждому

прохожему слабым, сильным голосом: «Кайры бараса — куда идешь?» Кто бы ни оказывался в это время на дороге — девушка, идущая за водой, парень, спешащий на занятие в кружке Осоавиахима, грамотный — неграмотный, — все равно, останавливался, а старик сразу спрашивал: «Все ли слова на свете знаешь?» Люди в ответ смущались, пожимали плечами — что можно было сказать? Вообще-то в Жамауате уверенно пользовались словами, которые имели смысл, а то, с которым приставал старик, смысла вроде бы не имело, хотя каждый вопрошаемый пытался вертеть запредельное слово и так и эдак. Атто недовольно кивал головой, а в его бороде появлялось нечто подобное язвительной ухмылке. «Но почему Чылмаева сын знает, а вы не знаете?» — сокрушался он. Но тут прохожие, точно спохватившись, убыстряли шаг, потому что не хотели оказаться лишенцами, а Чылмаева сын за малейшее сомнение в его правоте и прозорливости мог сделать их таковыми, мог преподать суровый революционный урок из той дисциплины, которая называлась практической работой с массами. И уроков уже было так много, что даже самые активные жамауатчане были сыты по горло.

Атто ждал пропавшего сына и напряженно вглядывался в лица прохожих: ему порой казалось, что люди теперь не ходят по земле, а скользят по ней вверх-вниз, вверх-вниз, и в этом скольжении не замечают, что происходит вокруг. Другой раз знакомые лица казались озлобленными, потому что когда Атто их окликал, они как-то растерянно оглядывались и, не думая даже остановиться, проходили мимо. «Они в упряжке, — вдруг довольно трезво подумал Атто. — Только в упряжке невидимого дьявола люди могут быть такими заезженными». Ему становилось страшно, под забором его одолевала тоска по сыну, по общению с Жарнесом, с другими людьми, но люди сторонились его, будто обнаружили заразную болезнь. В эти годы появилась у него догадка, и она, эта догадка, постоянно сверлила мозг. Теперь он думал, что все беды из-за того, что на свете появилось и существует много таких слов, которые людям непонятны, а если бы люди их, эти слова, поняли, то легко освободились бы, и ему, Атто, не было бы так одиноко у ограды двора, и Хаджибекир бы давно вернулся. Это открытие состарило его еще больше, хотя, казалось бы, дальше и стареть некуда. Годы еще тяжелее легли на его согбенную спину, и несмотря на то, что многочисленные дети Хаджибекира и сноха Айшат по-прежнему относились к нему, как

к священному камню, все его боялись, по его взгляду старались определить правоту свою или неправоту и были готовы любить его вечно, жить ему больше не хотелось. Разоблачение в Жамауате очередного врага народа давало старцам повод продолжать и собственную междоусобицу. Жарнес, забывший последнюю обиду, приходил; Атто рвался встать, чтобы оказать честь соседу, Жарнес насильно удерживал его на пне с алпуном¹, сам садился рядом и, после некоторого молчания, сообщал: «Сын Ильяса Харун — враг!» «Враг?» — переспрашивал Атто. «Да, враг, — отвечал Жарнес. — Он замыслил продать Жамауат Инглизу». Атто долго переваривал услышанное, а затем, доводя ровесника до иступления, снова и снова переспрашивал: «Что такое враг?» Жарнес выходил из себя и кричал, заглущая, как ему казалось, шум реки Юрду: «Враг — это голова твоего отца!» Атто порывался дать палкой по шее «дерзкому мальчишке» — ведь он считал себя намного старше Жарнеса, но возмущение собеседника казалось ему забавным, и хитро поглядывая на соседа, не раз пытавшегося доказывать — наоборот — свое старшинство, Атто вдруг тоненько хихикал. «Чего ты смеешься?» — бесновался Жарнес, а ровесник отвечал: «Как не смеяться, если ты говоришь ясно и четко, что голова моего отца — враг! Голова моего отца была вместе с телом, когда его привезли с Хасауку, только была рассечена мечом». Жарнес вставал, чтобы навсегда покинуть этого притворщика, все хорошо помнившего, но предпочитавшего прикидываться дурачком. Увидев, правда, что Атто никак не реагирует на его возмущение и не собирается тужить, если он уйдет, колебался и, дрожа от досады, опять садился рядом. «На Хасауке я сам воевал, но не встречал твоего отца», — говорил Жарнес, не без злорадства разоблачая Атто. Вообще-то он шел по хрупкому льду, поскольку в 1828 году, когда хитрый Эммануэль, русский генерал с нерусской фамилией, предпринял карачаевскую экспедицию через верховья Малки и покорил Карачай в результате кровопролитного боя на высоте Хасаука, Жарнесу было всего тринадцать лет. Потому и зрел ему Атто: «Не опрокидывай скалы!» Таким образом он возводил Жарнеса в ранг самого мощного вруна, а затем добил окончательно, будто сбросил с одной из этих самых скал. «Во времена Кавказской войны ты без штанов ходил», — заявил Атто и смело стрельнул в Жарнеса одним хихикающим глазом. Ну, такое и пророк Иса не мог бы

¹ Алпун — подушечка.

простить! В тринадцать лет ходить без штанов — нет пущего позора! Терпение Жарнеса окончательно лопнуло и, забыв о горестной судьбе Харуна, сына Ильяса, он решительно бросился защищать свою честь. «Это я-то без штанов ходил?» — спросил он угрожающе, но Атто невозмутимо добавил: «Да, ты еще перед женитьбой ходил без штанов!» Жарнес, уронив палку, вцепился в воротник Атто. Тут кто-то показался на дороге, и старики сделали вид, будто обнимаются, и так и обнимались, пока прохожий не скрылся за поворотом. Тогда Жарнес отпустил обидчика, огляделся, и убедившись, что поблизости никого нет, посмотрел на него в упор и сказал:

— Ты тоже враг народа! Только не арестованный!

Шли дни. Атто, сидя у забора, не вел им счет, но и он чувствовал, что идут дни быстрее, чем прежде, потому что люди в Жамауате теперь рано созревали, рано выходили на дорогу, но и рано исчезали. Вот и Жарнес, после того, как сказал: «Ты тоже враг народа», не приходил уже давно, больше трех дней, и Атто решил, что он исчез тоже. Про него, однако, Атто не мог сказать, что он исчез рано. Обычно Атто прислушивался к шуму реки Юрду, это утешало его, помогало коротать дни, а теперь и шум реки пропадал, и с высоких склонов за домом на него накатывалось черным комом одиночество. И либо черное одиночество стало невыносимым, либо обвинение этого Жарнеса растревожило душу, но Атто пугался теперь каждый раз, когда из-за поворота дороги появлялся всадник или двое пеших, не по здешнему одетых. Он начинал беспокоиться, смотреть по сторонам, как бы прикидывая, куда бежать, а когда всадник или двое пеших приближались вплотную, он начинал вдруг мелко трястись, суетиться и кричать: «Мадина! Ресицириуа!» Мадина, смеясь, прибегала и утешала его, но он продолжал поскуливать. «Не надо! Я не хочу! Я не враг!» У прохожих и без того бывало много забот с очередной кампанией, так что они шли своей дорогой, даже и не подумав успокоить старца. Мадина садилась рядом и долго успокаивала деда. В тот раз, когда Хаджибекир неожиданно вернулся, а через день началась война, Мадина плакала, плакал и он: странно так плакал — без слез, но со стонами и мелкой дрожью — все понимали, что Атто плачет не из-за сына, так быстро уходящего на фронт, а из-за внучки, которую любил больше сына. С тех пор, как умерла ее мать, первая жена Хаджибекира, он не расставался с нею. Когда Мадина находилась дома, занимаясь своими делами, он мирно подремывал у забора, но в часы

ее отлучек не в силах усидеть на месте, возбужденно ковылял между мостом и домом, и люди боялись, что он упадет где-нибудь. Потом, на исходе первого года войны, Мадина исчезла на несколько недель и Атто не ел, не спал, все норовил уйти на ее поиски, приходилось даже запира́ть ворота. Люди в Жамауате навсегда запомнили день возвращения Мадины,— Атто, много лет молчавший у забора, бросался каждому навстречу, кто приходил к ним в эти дни поздравить счастливую семью. «Мадина вернулась! — сообщал он свою радость.— Мадина вернулась живая»,— повторял он и из его жидких глаз текли слезы. После этого он передвинул свой пенек поближе к воротам, чтобы больше не упустить внучку. Но Мадина и сама уже не хотела никуда выходить: жизнерадостная прежде, она вернулась как бы потухшей,— домашние боялись за ее жизнь. Где она находилась больше месяца, никто не знал, расспросы ничего не давали. Наконец, жалея Мадину, ее оставили в покое.

А потом Атто видел отступающих советских солдат. Они были изможденные, давно не знавшие радости домашнего очага. «Наверное, люди ныне болеют неведомой прежде болезнью»,— подумал Атто.— Слава Богу,— сказал он почти вслух,— это только болезнь, а всякая болезнь проходит в свой срок. Тогда и Мадина станет по-прежнему веселой».— И Атто, переживавший за состояние внучки, успокоился.

После смерти Жарнеса Атто стал еще более одинок. В первое время он все спрашивал, где окаанный Жарнес, а ему отвечали, что он на войне. И это был опрометчивый ответ, потому что Атто стал требовать, чтобы и его отправили на фронт. Если женоподобный Жарнес воюет, то и он может! Так решил Атто и теперь непрестанно мучил Мадину и всех домашних своими бреднями.

Ранним утром 8 марта, ковыляя к своему пню, он натолкнулся во дворе на ишачий подседельник. Поднял его и заметил, что подседельник надорван. Атто потребовал шило и тиккич — тонко вырезанную из сыромятной кожи дратву.

Его родным было не до ишачьего подседельника—внизу уже грохотали машины, отовсюду доносились вопли и плач женщин, но Атто ничего не хотел слышать, требовал тиккич и шило. Наконец, нашли их, и Атто, похожий на эмегена¹, залатывающего прорехи земли, сидящий на коленях и согнувшийся в три погибели, аккуратно, словно имеющий

¹ Эмеген — великан.

ясное зрение, прокалывал шилом нужное место, продевал в дырочку дратву и ловко сшивал порванные края. Машины проезжали мимо, обдавая его пылью, а он не слышал ни гула машин, ни криков людей, ни испуганного мычания коров в загонах, — согнувшись почти до земли, Атто чинил ишакий подседельник...

Керим, промаявшийся всю ночь у постели больной сестры, спешил домой. Нелепо размахивая обрубком руки, он почти бежал. Ноги подкашивались, перехватывало дыхание, и он со стоном шарахался на обочину от каждой машины, пронесившейся мимо него. Возле дома Хаджибекира он перебежал через мост и увидел, что в его переулке остановилось несколько машин, а солдаты с автоматами спрыгивают из кузовов. Острая боль тревоги за семью окончательно обессилила Керима, но, проходя мимо Атто, он замедлил шаг, чтобы отдать салам старику. Керим открыл искаженный одышливый рот и осекся: Атто, как ни в чем не бывало, чинил ишакий подседельник. Не веря своим глазам, Керим замер на месте: не мерещится ли ему такое? Но он видел то, что видел — Атто чинил ишакий подседельник. Это потрясло и озадачило безрукого, с трудом стоящего на ногах Керима. У него вырвалось:

— Что ты делаешь, Атто? Что делаешь в такой час?

И зря Керим думал, что Атто никого не видит, не замечает, потому что старик, не поднимая головы и продолжая орудовать шилом, крикнул тонким голосом:

— Проходи, проходи! — Он зло кольнул шилом, засопел сердито и, набрав в легкие побольше воздуха, добавил: — Проходи, чтоб ты... — и стукнул кулачком по острой своей коленке.

Керим действительно прошел, вернее, пробежал дальше, словно подгоняемый нацеленным ему в затылок винтовочным стволом. На мгновение могло показаться, что он заодно с разбежавшимися по дворам солдатами. У дома Кушжетеровых Керим чуть замедлил шаг. Он увидел замерших, будто каменные изваяния, Хамзата, его внука и невестку, а Хорасан сидела на ступеньках с какой-то старинной книгой в руках и с хурджином — рядом. Обитатели этих крутых переулков, зажатых с двух сторон грубо сложенными каменными оградами, изрытых ливневыми потоками, утрамбованных копытами животных, изъезженных арбами, может быть, еще языческих пращуров, — обитатели этих древних переулков не знали, что совсем недавно они, потомки своих предков, были распределены по грузовикам: восемь-десять домов на один грузовик. Солдаты теперь без-

ошибочно отсчитывали дома в переулке, словно в академиях и училищах их командиров только тому и учили, как быстро и оперативно очищать древние долины от их исконных жителей. Прочувствовав это до глубинной боли души, Керим хотел донести крик своего сердца до Хамзата, давнего соседа и единове́рца, но ничего не вышло. Ему тогда казалось, что вместе с криком ушла бы из груди обжигающая, гнетущая боль, которая не давала ему дышать, но вместо крика или приветствия, пусть бы и похожего больше на вопль о помощи, получалось какое-то глухое, унижительное хныканье — стон не стон, плач не плач, — и все это либо в сознании, либо в бреду. И Керим опустил голову, не глядя больше на Хамзата, стоявшего на высокой, только что отделанной террасе своего дома, которую он все-таки называл совсем не балкарским словом «коридор». Хамзат пристальным, но каким-то неприкаянно-отчужденным взглядом наблюдал, как солдаты по двое, бегом, будто на приступ, заскакивали во дворы, еще с рассвета разбуженные и обескураженные зловещим ревом мощных моторов. Это было как последнее проявление той неумолимой неведомой силы, что последние годы витала над этими дворами. Хамзат наблюдал, как эти дворы, много раз усмиренные, много раз выхолощенные, выдохшиеся, согбенные той глубинной неведомой силой, но выжившие благодаря тому, что все жертвы приносились во имя счастливого будущего, отдаленное сияние которого освещали как слова карающие, так и слова возвышающие. Хамзат знал это и смотрел теперь, как они, эти дворы, изможденные войной и непосильным трудом, безропотно встречали вбегающих солдат, уже готовые примириться с любой уготованной им участью.

Керим, который лишь полгода назад лежал в госпитале в Чебоксарах с ампутированной рукой, Керим, который бежал по переулку к своему дому, чтобы покинуть его навсегда, заметил, что для солдат самой главной неожиданностью оказалось именно это смирение жамауатовских дворов. Женщины, старики, дети, безнадежно проливая слезы, выходили навстречу солдатам и стояли, прижавшись друг к другу, покорно ожидая, что будет дальше. Остановился и Керим; в эту минуту дать ему силу двинуться дальше мог бы только Хамзат, но он, пораженный всеобщим смирением, словно превратился в один из камней собственного двора. Керим больно зажал здоровой рукой тупой обрезок своей культи, и сквозь боль, затуманившую взор, увидел, как люди, подгоняемые солдатами, стали бросать наспех собранные пожитки в кузов машины. «Если я в сию же

минуту не двинусь дальше, мои ноги вrastут в землю», — подумал он. Хамзат все стоял, и Керим увидел, как офицер в чине капитана направился к нему в сопровождении худого смуглого солдата. Вот и все... Теперь Керим ничего не сможет сказать Хамзату. Керим повернулся — в самой верхней части переуллка, под горой, стоял его дом. Сейчас он пойдет мимо студебеккера, мимо хлопчущих дочерей Шоштара, соседа Хамзата, ушедшего вместе с немцами, мимо беседки, где обычно просиживали вечера мужчины из ближайших домов, сейчас он пробежит вдоль каменного забора, который сложили в тот год, когда в Жамауат приезжал рыжий долговязый ротмистр и забрал на японскую войну десять всадников, и Керим очутится дома. Но он не успел и шагу сделать, как его остановил солдат и дулом винтовки прижал к забору. Керим как-то беспомощно выставил вперед обрубок своей руки и, не успев ничего объяснить солдату, крикнул в гнетущее пространство:

— Я жив! Я здесь! Пусть не плачут дети!

Так он однажды кричал, орошая своей кровью рыжую глину Таманского полуострова, но солдат, прижавший его к забору, не понимал по-балкарски и потому мог подумать, что этот отчаянный горец, размахивающий обрубком руки, проклинает красноармейцев. Усталый, измученный трудной дорогой по ущелью, солдат мог бы застрелить мерзавца, вдруг решившего, как он догадывался, уйти в лес, убежать, скрыться, иначе куда он спешил, глядя в горы, но, по-видимому, не было приказа стрелять на месте. Но если и был бы такой приказ, вряд ли бдительный воин решился бы без команды пустить пулю в эту вздувшуюся грудь, в искаженное лицо, даже в эту руку, в обрубок руки, который так раздражал его, невыспавшегося, не евшего вот уже вторые сутки, лишенного возможности бить фашистов из-за таких вот мерзавцев-изменников. И, упираясь дулом винтовки в грудь Керима, солдат оглядывался, ожидая команды, но ее не было, потому что командир в этот момент снимал с Хамзата пояс, а точнее срезал старинный, с серебряными бляхами-подвесками пояс его же, хамзатовским, ножом, а Хамзат, онемевший, окаменевший, смотрел на командира невозмутимо, понимающе и строго смотрел, словно издали, с той высоты, где нет места мышинной возне и нечистым помыслам. Хамзат как бы отстранился от суетливой возни офицера и его смешного «бдения» насчет пастушьего ножа, висевшего много лет на этом старинном поясе. Керим не видел, тем более, не знал, с какой враждой этот офицер шел

к Хамзату: высокий, стройный, с белым красивым лицом, он шел, упоенный безграничной властью... Но когда он снял пояс с ножом, когда увидел прижавшегося к деду внучонка, когда, наконец, обновленная веранда дохнула на него свежим сосновым духом, отвергающим всякую вражду, он вдруг растерялся. Николай Крайнев, так звали капитана, любил родину, родина представлялась ему советской властью, советская власть — в облике Сталина. Еще в школе, когда ему приходилось слышать от учителей или самому читать о врагах советской власти, он переполнялся лютой ненавистью к ним. И когда ровесники мечтали стать летчиками, писателями, физиками, чтобы преобразовать родину, он говорил, что пойдет в военное училище и станет грозой классовых врагов. В школе его называли Коля-патриот, и он гордился своим прозвищем. В военном училище он носил портрет Сталина в кармане, и этот портрет питал и направлял его патриотизм; теперь для него мир делился только на тех, кто шел за его родиной, за его Сталиным, и на тех, кто тайно или явно не одобрял этого пути. Он был готов умереть за первых, но беспощадно уничтожать вторых.

Когда его вызвали и сказали, что предстоит выселить кавказских горцев и его рота направляется в аул Жамауат, он это принял как должное и несколько не усомнился в правоте такого указа. Ему, ранее никогда не бывавшему на Кавказе, люди гор казались жаждущими крови, готовыми причинить зло из-за пустяка, хотя бы из-за матерного слова. Так однажды и случилось на полевых учениях, когда лейтенант матерщинно выругал салагу-кавказца, а тот, схватив из кипящего котла мешалку, с размаху ударил ею в бок обидчика. Новобранец защищал честь матери, а офицер, бездумно, а может быть, и беззлобно выплюнувший привычные присловья, скорчился от боли — ребро оказалось сломанным. Николай Крайнев, тогда старший лейтенант, был готов тут же расправиться с диким горским волчонком, но сам пострадавший, видимо, понял что-то такое, о чем не думал никогда ранее, просил не поднимать никакого шума. С тех пор много воды утекло, многое изменилось в жизни Крайнева, а случай тот он помнил и, хотя себя трусом не считал, все же не позволял себе матерную брань при кавказцах, не касался священной чести их женщин. И странно как-то сочеталось в нем подозрительное отношение к горцам с беспредельной любовью к Сталину. И в это утро восьмого марта он не сомневался в том, что вершит правое дело. Когда он шел по двору, держа наган в руке, сердце колотилось не от страха, хотя он предполагал,

что какой-нибудь изменник, затаившийся за углом, мог бы и выстрелить, а от того, что старик не двигался, не изменился в лице, а смотрел на него в упор, и мерцающие зрачки его больших, строгих и скорбящих глаз тысячами игл пронизывали душу. Старик не шелохнулся и тогда, когда он вынул из ножен его нож, перерезал им ремень, хотя пояс можно было легко расстегнуть. Красивая молодая женщина дрожала, опустив голову; она пыталась совладать с собою, унять дрожь, но ничего у нее не получалось, и Коля-патриот, видя смятение изменницы, упрямо возвращал в себе чувство торжества — людей в этих местах постигала праведная кара, пусть трепещут и холодеют от ужаса — капитан Николай Крайнев этому только рад. Он отошел от Хамзата, сердце его успокоилось — дело шло как нельзя лучше: народец этот погружался в студебеккеры, ни каких ожидаемых стычек, никакого сопротивления, значит, знают, сволочи, за что их карают. Однако он уже не испытывал той озлобленности, которую чувствовал со вчерашнего вечера. Он ехал по страшным, нависающим над пропастями дорогам, колеса мощных студебеккеров не раз скользили по краю бездны. Ехали при потушенных фарах — таков был приказ. Капитана прошибал холодный пот, он уж не чаял живым добраться до этого аула в дебрях ущелья, чтобы загнать его жителей в машины, как убойный скот, и выдворить их вон, чтобы поняли, каково держать зло на советскую власть. Теперь, при светлом дне, все это казалось ему ночным кошмаром, его гнев шел теперь только от нервного напряжения, потому что трудно было обнаружить у этих людей хотя бы толику того зла, против которого он был так ожесточен заранее. Сейчас он уже иначе посмотрел на Хамзата: гнев как-будто отпустил его, тут же прихлынуло к горлу какое-то непонятное, похожее на стыд чувство, и он сделал еще два шага назад, еще пристальнее посмотрел на обезоруженного им человека, и белое его лицо залилось густой краской. Впервые в своей жизни он почувствовал себя обманутым и, все еще стоя с наганом в руке, все еще следя за солдатами, загоняющими людей в машины, засомневался в своей правоте: не он, капитан Красной Армии Николай Крайнев, а этот старик, камнем застывший на месте, совершенно, казалось, безучастный ко всему, что происходило вокруг, явно сознавал себя правым. Он — везучий Коля-патриот, капитан в двадцать пять лет, никогда не задумывался над тем, какой бывает правда, а в этот тяжкий час она, эта правда, поставила перед ним его деда, мельника Тимофея... Не какой-то горец стоял пе-

ред ним, а дед Тимофей, и не сломленная воля кавказца, а живой укор и осуждение деда лишали его прежней уверенности. Николай Крайнев содрогнулся от схожести этих взглядов и этих рук: руки деда всегда пахли свежим помолом, а эти — свежим сосновым духом. Глаза Тимофея под густыми седыми бровями так же пронзительно глядели на него, когда он декламировал новые стихи о любимом вожде. Мальчик обещал вырасти в сталинского снайпера, а дед хмурил брови. То ли пытаюсь заглянуть в нутро нынешней молодежи вообще, то ли дотошно оценивая успехи внука, Тимофей пронизывал его всего сверлящим взглядом, словно хотел вывернуть наизнанку. И этот горец тоже!.. Николай Крайнев закрыл глаза, провел рукой по лбу — что за наваждение! Он хотел взять себя в руки, но что-то в нем не срабатывало. Сейчас он был похож на новенькую винтовку, отлично подготовленную для решительного боя, но в час смертельной опасности давшую осечку. Разум, годами настроенный на рефлекторное выполнение приказа, судорожно дергал за спусковой крючок, а сердце выстрела — боек — был не в состоянии воспламенить порох. Солдаты, видя, как он после решительного обезоруживания старика вдруг замешкался на месте, точно прихваченный каким-то забытым недугом, тоже встали, не решаясь что-то предпринять; только тот худой, смуглый солдатик в поте лица тащил из дома Кушжетеровых все, что попадалось под руки, и бросал в машину. Он бежал мимо сидящей Хорасан, мимо стоявшего рядом с дедом Музафара, что-то говорил на ходу Лейле и ни на минуту не давал себе передышки. Казалось, этот смуглый парнишка понимал обуявшую капитана тоску или разочарование, потому что бежал и мимо него, не обращая на командира внимания, не боясь его и чем дольше капитан стоял в бездействии, тем больше смелел солдатик.

— Ты мельник, что ли? — спросил вдруг капитан Хамзата.

— Он мельник! — вскрикнул Музафар. — Он мельник, он мой дедушка...

Хамзат ничего не ответил офицеру, спустился во двор, жестом повелев жене и снохе последовать за ним, и пошел к машине, ведя Музафара за руку. Лейла сначала последовала за дедом, но вдруг побежала обратно: она еще с порога видела, как ее бурая большая корова с широкими дугообразными рогами металась в сарае, а в тот момент, когда они уходили, стояла, просунув голову сквозь пролом гезекеа — плетня. Лейла очень любила свою корову. Когда

доила ее, то всегда пела. Уходя, она хотела попрощаться с нею, погладить ее, но когда она подошла поближе, то увидела, как из ее больших грустных глаз катились слезы, шерсть под глазами была влажная. «Быстрой! Быстрой!» — звучала команда. Смуглый солдат волновался, потому что видел, как у машины, вырываясь из рук деда, плакал мальчишка. Он кричал: «Ой, келин!», а она плакала.

— Тут какой-то беглец, — наконец-то обратился к офицеру тот солдат, что прижимал Керима к забору.

— Да отпусти его, сукин сын! — вдруг заорал капитан.

Солдат убрал винтовку, но Керим вместо того, чтобы уйти, убежать, соскользнул вниз. Так он и сел, широко расставив ноги, откинувшись спиной к ограде. Мутные капли пота, рождаясь на его широком лбу, катились вниз по изможденному лицу; сокрушенный, он ни на кого не смотрел, часто дышал, и непонятно было, то ли силу набирал, чтобы встать, то ли хотел к забору прирасти. Потом он все же поднялся и уже как-то равнодушно, нехотя пошел в сторону своего дома. Между тем смуглый солдат вынес из дома огромный чайник, в котором хранилось топленое масло, и побежал к машине, чтобы вручить чайник кому-нибудь в руки. На полдороге он увидел Лейлу у сарая и вернулся к ней. Прижавшись щекой к голове коровы, Лейла плакала; он остановился, поставил чайник на землю, но подойти к женщине все же не решился. Он стоял и ждал. Еще суровее звучала команда, и уже Хамзат подзывал ее к машине. Поплакав, Лейла оторвалась от коровы и прислонилась к плетню, чтобы не упасть, а солдат открыл загородку сарая и отпустил корову. Она побежала вниз, ни на кого не глядя, как-то приглушенно, прерывисто мыча, тяжело качая большим молоконосным выменем. Хорасан из машины увидела, что корова побежала в сторону водопоя, а ее соседи вздыхали и хвалили корову, которая была породистая, удойная, спокойная, и все в округе стояли в очереди за ее потомством. Смуглый солдатик поднял с земли чайник с маслом, взял Лейлу под руку и повел к машине. Пройдет время, и этот чайник, а точнее, его содержимое, спасет жизнь Хамзата — кормильца семьи: в бесприютный и голодный год, первый после выселения, он заболеет тифом, и Хорасан будет поить его горячим топленым маслом — ежедневно по большой деревянной ложке, — и он преодолеет болезнь, скосившую многих его земляков.

По мере того, как машины заполнялись мешками, матрацами, тюками, железной и деревянной утварью, забрасы-

ваемых беспорядочно, в спешке, солдаты успокаивались, настроение их улучшалось. Некоторые из них, как тот смуглый солдатик, в поте лица тащили в кузова всякую всячину без разбора, другие, стоя у ворот с винтовками наперевес, грубо понукали и торопили людей, а люди, уже выходя, вдруг спохватывались, будто сейчас только осознали, что их бесповоротно отлучают от родных домов, и судорожно хватали напоследок что-то из дорогих сердцу вещей: кто под мышкой держал старое, потрескавшееся корыто, кто тащил свернутые в круг кожаные веревки — жантау, кто — керосиновую лампу... Потом, погружаясь в машины и теснясь, как овцы на мосту, они суетились и плакали, проклиная судьбу и молились Богу. Последними сели в машину Хамзат и его семья. Хамзат сел таким образом, чтобы между коленями держать Музафара, а через открытый зад кузова видеть земли Жамауата.

Капитан Крайнев уже вышел в переулочек со двора Хамзата. Он стоял у невысокой скалы и смотрел, как люди садятся в машины. Тимофеем то пропадал, то возникал вновь перед его взором, порой что-то говорил ему, потрясая в воздухе руками, осыпанными мукой. «К черту!» — прорычал капитан. Наконец он совладал с собою, отринул соблазн добра и воспоминаний и снова стал суровым, непреклонным солдатом, выполняющим свой долг. Он решительно оторвался от скалы, точно она приковывала его той минутной слабостью и, шагнув вперед, отдал команду солдатам занять свои места. Но теперь в машины садились только по двое солдат с винтовками, остальные построились в колонну и, когда командир сел в кабину и машина тронулась, пошли строем.

В нижней части переулочка погрузка еще продолжалась. Во всех дворах стояли солдаты. Когда их машина остановилась, Хамзат увидел внизу склонившегося над ишачьим подседельником Атто. Кажется, со стариком было что-то неладное: Атто совершенно не двигался. Насторожившись, Хамзат хотел его окликнуть, но видя как Хаджибекир и его жена Айшат бегали мимо Атто и бросали в машину свои вещи, Хамзат решил, что причин для беспокойства нет. Когда прозвучала команда на отправку, Хамзат еще раз посмотрел на Атто, который все еще оставался склоненным к самой земле, точь-в-точь языческий ритуальный камень. «Атто!» — крикнул тогда Хамзат, хотя и понимал, что его голос не пробьется сквозь глухоту старца. К отцу подошел сын и позвал его. Но Атто не откликнулся, оставаясь склоненным к ишачьему подседельнику. Только тогда Хад-

жибекир выронил из-под мышки поперечную пилу, и его ватный подбородок затрясся. Он приподнял отца и крикнул вне себя:

— Что ты, отец, надумал! Что надумал в такой час!

На крик раньше других прибежала Мадина. Увидев ее, Хаджибекир вдруг заплакал навзрыд, как женщина. Хамзат, не дав опомниться солдатам, выпрыгнул из машины и очутился у трупa. Мадина отступила и прижалась к забору, а Хамзат, опустившись на колени, стал выпрямлять покойного. Хаджибекир плакал, Мадина бессильно вжималась в ограду, словно хотела раствориться в камнях забора.

— К машине! — скомандовал капитан. Хаджибекир, ничего не помня, оттолкнул Хамзата, взял на руки тело отца. Он пошел к машине, неся труп перед собой. У борта он перебросил тело на левую руку, а правой попытался подтянуться в кузов. «Отставить!» — заорал офицер. Но Хаджибекир пытался взобраться наверх с мертвым отцом, Хамзат отчаянно помогал ему. «Снять покойного!» — приказал тогда капитан, вылезший из кабины. Музафар увидел, как Мадина сняла с забора камень и пошла к капитану. «Стерва!» — произнес тот, но видя неумняемое лицо девушки, отступил, хотя и держал в руках наган. Кто-то из неуспевших сесть в машину удержал Мадину, отобрал у нее камень и кинул в сторону; он же оттеснил девушку так, чтобы она больше не видела того, что творилось у заднего борта машины. В эту минуту Хаджибекир почувствовал чьи-то руки у своего бока и поняв, что с телом ему не подняться в кузов, решил подать туда сначала труп, а потом взобраться самому. Теперь люди наверху тащили труп в машину, а два солдата тянули его снизу за обе ноги назад. Капитан Крайнев со злостью выкрикнул:

— У вас и там будет достаточно мертвецов!

Солдаты наконец одолели подлых изменников, взяли Атто. Перед солдатами ясно, как живое, блеснуло языческое лицо старца; умиротворенный и просветленный, он вдруг слабо улыбнулся им, и они, усталые, измотанные, то ли опешив, как от чуда, то ли сплеховав, уронили его на землю. Атто упал не как мертвец, а как прыгун, стремящийся удержаться на узком горном карнизе, с широко раскинутыми руками и ногами, чтобы охватить как можно больше земли. Хамзат пытался уложить покойного нормально и закрыть ему глаза. Капитан Крайнев потребовал, чтобы он немедленно оставил покойного, а солдат направил на него ствол винтовки, но Хамзат ничего не слышал и не видел, пока не перевернул Атто на спину, не выпря-

мил тело и не закрыл старцу глаза. Тут Музафар увидел, что отпустили и Мадину. Она подошла к покойнику, встала над ним — смуглая, прямая, скорбная. Потом белая шаль соскользнула с ее плеч, она накрыла ею тело деда, и Музафар удивился тому, что она ни единой слезинки не уронила.

— Да не беспокойтесь вы, солдаты зароят его...

Но слова командира потонули в плаче женщин, в скорой, не организованной, но единой в сознании беды молитве мужчин. Потом завелись моторы, затрещали сигнальные очереди из автоматов, и люди, как затравленные звери, бросились по машинам. Хамзат вернулся на свое место, грузовик уже тронулся, но Музафар еще видел, как Мадина стояла над телом деда. Тогда он крикнул в страхе за нее «Мадина!», а к Мадине подошли два солдата, те, что роняли Атто на землю и, подхватив ее, как сноп ячменя, подбежали к машине и легко перебросили через борт.

Хамзат смотрел, как катились, оглашая долину истощенным воем, тяжелые машины по каменистой, выдавшей виды дороге Жамауата. Ему хотелось пересечь на тот грузовик, где сидел несчастный Хаджибекир, утешить его, но в этой машине горя было предостаточно. У выхода из села их машина неожиданно остановилась и пока шофер ковырялся в моторе, мимо них пронеслись крытые студебеккеры, он пытался уловить лица сородичей, сказать каждому что-то, но машины ехали быстро, лица односельчан исчезали, как ураганом уносимые. Теперь на той стороне, где жил аул Жамауат, не осталось ни души. Аул умер. Ощущение гибели села оставалось и тогда, когда мотор уже заработал, и машина пошла вдогонку за другими. Он сидел в задней части кузова, за спиной двух молоденьких солдат, и смотрел на дорогу, на обезлюдевшие тропинки и склоны. В этот час утра 8 марта 1944 года, в такой ясный прозрачный день, в небе умирающего села все же летали птицы, а на обочинах дороги грустно стояли ишачки. Хамзат увидел также абрикосовые деревья, необычайно рано зацветшие в этом году — в лучах восходящего солнца они сияли золотистым светом. За оградами чернели разбухшие в ожидании семян огороды потомков Жандара. Жизнь в долине продолжалась, она упорно убеждала в том, что нет беды необратимой, нет такой силы, которая могла бы остановить ее течение и ее способность сменять горе радостью. Только люди умели бы терпеть и все, как повелось тысячелетиями, начинать сызнова...

Хамзат крепче прижал к себе Музафара, ощутил его

тепло и ту несокрушимую природную жизнестойкость, которой обладают горные травы, и как молитву повторил прадедовское заклинание:

— Сохрани нас Аллах от пущего горя, когда мы переживем это!..

9.

Теперь студебеккеры оглашали своим надрывным воем кабардинские селения: они мчались, далеко разбрызгивая грязь из лужиц, на неровной дороге, от грохота звенели стекла в окнах ближайших домов — в пору было прятаться всему живому, но люди в безмолвной скорби стояли на обочинах. Хамзат видел, женщины плакали, кое-кто из сельчан пытался жестами подбадривать горцев, выразить сочувствие, недоумение и боль. Но студебеккеры мчались вперед, насадным грохотом оглашая селения, и люди, стоящие вдоль дороги, понимали, что нет сейчас силы, способной замедлить бег этих тяжелых и безжалостных машин.

Многим были связаны они, уходящие и остающиеся. Сколько раз они, привыкшие считать друг друга вековой опорой, переживали общую радость и общую печаль... Вместе они были сильны, а теперь теряли часть своей общей силы. Вместе с вековыми побратимами как-будто уходил чистый, живительный воздух белеющих вершин и горных лугов, и люди, стоящие на обочинах, всем своим существом чувствовали это и безысходно молчали, словно были виновниками несчастья. Хамзату хотелось разглядеть лица, но они быстро исчезали, как зарницы в просветах туч, и он, крепко прижимая к себе Музафара, закрывал глаза. Сотни раз он проходил и проезжал по этим селениям, не раз приходилось и останавливаться, ночевать у знакомых. По традициям рода Кушжетеровых, да и вообще, как водилось исстари в Жамауате, он не отделял свою судьбу от судеб этих людей, ведь по крутой стезе истории двум народам, как двум братьям, приходилось идти вместе. Многому в Жамауате учились у Кабарды, многое от нее перенимали, но и Жамауат дарил низинному соседу немало значительного и сокровенного. Потом и жизнь советская объединила еще теснее. Торжествовала воля победившего народа — на месте жалких лачуг вырастали белостенные дома, крытые красной черепицей, и в эти дома приходил ощутимый достаток. В быстром скольжении скорбной сте-

ны Хамзат вдруг различил Курацу. Пестрый платок ее соскользнул на плечи, обнажив седую голову. Слезы подступили к горлу Хамзата, — из рук матери этой женщины он ел хлеб-соль, когда приезжал к ним молодым всадником, солдатом, партизаном, скрывался и отдыхал; это был большой радостный дом, полный щедрости и достоинства. В одно время два брата Курацы оказались в одном полку с ним в Гражданскую войну, они и погибли в той войне. Еще один брат, самый младший в доме, вырос в крупного работника, стал наркомом просвещения, и Хамзат видел его на похоронах Гиса, отца Курацы, в конце тридцатых годов. Хамзат светло вспомнил ее девушкой — стройной, черноглазой, с двумя тяжелыми косами, с молочно-белым лицом. Какая она была жизнерадостная и умная, как танцевала! Хамзата всегда тянуло в этот дом. Подъезжая к воротам, он волновался, и Гис, лукавый дружелюбный человек, улыбаясь в густые усы, нарочно окликал свою дочь, сообщая ей о приезде гостя. Он, конечно, понимал чувства молодого человека, которого любил, как сына, выручал его какой-нибудь незатейливой шуткой, если ему бывало перед Курацей неловко. Кураца обнимала его как брата, и Хамзат терял голову. Иногда ему казалось, что Кураца, быть может, и отвечает ему взаимностью, потому что, оставшись с ним наедине, и она терялась, вдруг заливаясь густым румянцем. Но не суждено было им соединиться, ее умыкнули, и старики со стороны жениха сумели склонить Гиса на примирение. После этого, до самых похорон Гиса, он не видел Курацу, а на похоронах узнал, что у нее три сына и дочь — в точности, как у ее матери и как у самого Хамзата. Тогда война еще не начиналась, у всех дети были живые и здоровые, так что Хамзат удивился щедрости Аллаха, одарившего их обоих одинаково. «Теперь-то как она? — подумал Хамзат. — Живы ли сыновья ее на фронте?» Но ответа он не мог получить: за мгновение, в течение которого он видел ее, она плакала, возможно, вспоминая его, а может, успела даже заметить старого кунака ее отчего дома. Грузовик пронесся мимо, и Хамзат прижал лицо к спине внука, чтобы не показать людям в машине своего смятения.

Когда они приехали на станцию, там разгружалось несколько машин, прибывших раньше. «Белая Речка», — подумал Хамзат. Привокзальная площадь была оцеплена солдатами. Зеленеющее поле, пригретое утренним солнцем, слегка парило. За железнодорожной колеей паслись коровы, свиньи, ослы, а пара коз настойчиво устремилась к покла-

же, выброшенной прямо в грязную лужу. Женщина, прижимая к груди девочку, и не думала отгонять их. Хамзат, глядя на нее из своей только что остановившейся машины, слышал, как молодая женщина храбрилась и сквозь слезы успокаивала девочку, а козы между тем все пытались добраться до чего-нибудь, обнявывая тюки и пробуя их рогами. По-видимому, ничего съедобного здесь не оказалось, и козы деловито пошли дальше. Женщина озабоченно смотрела на вновь прибывающие машины: наверное, сестры или братья ее жили в других селениях. Поскольку машины заезжали на привокзальную площадь со всех сторон и поле по всему пространству быстро заполнялось людьми и вещами, то едва ли она могла увидеть кого-нибудь из своих.

По мере того, как выгружались машины, площадь гудела и стонала, колыхающийся скорбный поток простирался вдоль железной дороги, и солдатам приходилось так же растягивать свою цепь. Выгрузившись, Хамзат решил походить, посмотреть. По виду, поговору он узнавал, кто из какого селения, узнавал и немало старых женщин, из чьих рук в годы Гражданской войны пил воду, отведывал хлеб-соль. Но мимо них он проходил молча, с опущенной головой, потому что боялся вопросов, на которые невозможно ответить. Они могли и с чисто женской непосредственностью бросить ему в лицо горький упрек обманутых людей: вот она, завоеванная вами власть! Сначала забрала сыновей, братьев, мужей на войну, а теперь и нас самих выселяет из родных мест! Что он мог сказать им? Загнанный, лишенный разума, языка, уж сколько дней (а если разобраться, то, наверное, и лет!) находящийся в неведении?

Так он шел по площади, шел, не поднимая головы, шел мимо плачущих детей, согбенных стариков, мимо Бияслана, который метался в бреду. Он шел и всем своим измученным телом ощущал нескончаемый молитвенный стон все пребывающего люда. Ему казалось, что стонут и вздыхают не люди, а сама страждущая земля, сам этот мартовский воздух. И все-таки многие, несмотря ни на что, разгружали и заботливо складывали привезенный с собой немудреный скарб. Но многие другие дрожали в страхе, будто их привезли сюда закопать заживо! Хамзат подумал, у большинства взрослых должен возникнуть в памяти противотанковый ров, вырытый недалеко отсюда. Танки врага он не остановил, а пригодился оккупантам, чтобы в нем похоронить, зарыть заживо активистов Кабарды и Балка-

рин. В том рву были сыновья и тех, кого сейчас изгоняли с родной земли...

Морозным утром 4 января 43-го по этой площади шли обозы с телами замученных. (Хамзат узнавал сейчас и тех мужчин, у которых слезы в тот день замерзали на усах и бороде, когда они везли своих близких.) Хамзат вспомнил, как Жансарай и дочь ее Ауалиат везли председателя Харуна, в ледяном оцепенении еще не осознавали постигшее их горе. Харун был в том же своем изношенном бешмете, только теперь в пятнах крови и глины. Байчо тогда плакал над телом Азинат, своей старшей дочери, и не фашистов проклинал, а тех, кто дал ей орден за передовую работу в колхозе и завлек в активисты. Хамзат завидовал ему. Он надеялся найти Арийпу, не живой, конечно,— они с Хорасан уже смирились с ее гибелью,— но ведь для родителей найти тело дочери, чтобы похоронить, было теперь почти равносильно тому, что если бы вдруг она нашлась живой. Здесь, в противотанковом рву, не оказалось и Мухтара. Да, приходилось поверить в самое худшее — всех четырех мальчиков и Арийпу фашисты бросили в Тешиккая, и Шоштар уехал с немцами не зря.

К полудню на какое-то время на поле возле станции воцарилась тишина. Люди то ли смирились со своей участью, то ли в ожидании чего-то другого, хорошего или плохого, поуспокоились и притихли. Хамзат ощутил тяжелое давление в груди и не на шутку испугался, подумав, что лишился слуха. Нагнулся, взял камень и кинул его на рельсы. Камень разбился, а отдавшийся звон успокоил его. Тогда он решил подняться на пешеходный мостик над путями, который ржавыми покореженными частями торчал над пристанционной площадью и по которому после августа сорок второго никто не ходил. Хамзат медленно переставлял ноги с одной шаткой ступени на другую, цеплялся руками за уцелевшие остатки перил и, наконец, оказался наверху. Деревянный настил мостика сгорел, и можно было оставаться лишь на его ржавом железном скелете, да и тот мог развалиться в любую минуту. Хамзат обернулся назад и, держась за поручень, оглядел поле: он разом увидел весь народ! Всех живых, оставшихся во всех селениях всех пяти ущелий... Темной полосой тянулась безмолвная толпа, охраняемая со всех сторон солдатами, и Хамзат подумал о том, какой ядовитой, всепоглощающей силой должна обладать эта горстка людей, тесно сжатая на ничтожном пространстве земли, где не хватило бы места даже для одного селения,

если она, эта горстка людей, представляет опасность для необъятной страны, и верховная власть необъятной страны решила изолировать эту горстку людей, лишить ее родины и всех кровных особенностей национальной жизни! И когда Хамзат увидел вот в таком положении весь свой народ, все теснее прижимаемый солдатами к рельсам, вдруг непроизвольно поднял голову к небу, — оно по-прежнему оставалось безоблачным и бескрайним; Хамзат удивился его чистоте и близости. Но горцы не смотрели в небо, не видели его глубины и шири, потому что взоры их были прикованы к рельсам под изуродованным мостом, и люди уже не думали, не мечтали о спасении. А Хамзат смотрел в небо, смотрел, как пророк, ищущий спасения для своего народа и знавший, что в этот час, кроме как на небе, искать спасения больше нигде. А внизу стали тихо и сокровенно гудеть рельсы, и этот странный гул был похож на плач; рельсы будто знали о местах далеких и пагубных, где уготовано пристанище для этой горстки людей, называющих себя народом, но вмещающихся во взор одного человека! Хамзат стоял на изуродованном мосту и терзался мучительным вопросом — есть ли спасение для его несчастного народа, есть ли для него другая дорога? Теперь ему хотелось глубочайшей истовой веры в пророков, в ангелов небесных, в чудо божественное, ибо на земле уже не оставалось того, кому можно было поверить и кому имело смысл жаловаться. Он до боли в руках сжимал перила моста и молил Бога вознести этот народ на небо, потому что никаких других дорог для него не оставалось, никаких, кроме вот этой железной, которая уведет в даль невозвратную...

Хамзат расстегнул пуговицу на вороте рубахи, закрыл глаза, а потом ему вдруг померещилось небесное знамение, будто он должен крикнуть отсюда народу и криком своим оглушить всех видящих, всех слышащих и всех имеющих сердце. Он еще не знал, какое слово он должен крикнуть, но губы уже горели, а внутри рождалось то, что было необходимо сказать; он понимал, что если сейчас, отсюда, он не крикнет, не скажет о самом главном в их трудном пути, то он, этот путь, будет неизмеримо долгим и тяжким, и в бесконечном его продолжении иссохнет последнее семя. Хамзат ощутил в этот час, что оно, это слово, осенило его из той неоглядной выси, куда он с мольбой устремлял взоры, а потому представлялось настолько древним и безошибочным, что он сам, по мере того, как рождалось внутри него слово, взрастало подобно колосу из крохотного зерна и требовало выхода к избранным жаждущим душам,—

он сам в этот час становился пророком, а может, пророк, чья духовная сущность живет в веках, воплощался теперь в Хамзате. Ведь не случайно люди внизу разом повернулись в его сторону, словно знали уже об осенившем его слове. Люди ожидали чего-то от Хамзата или обращались именно к Богу — для Хамзата это было не суть важно, ибо он чувствовал себя сейчас слитым с Богом воедино. Испытывая благоговейный восторг, он еще раз не столько услышал, сколько почувствовал слово, ниспосланное ему из запретных высот бытия. И вот на мгновение притихло в груди и в сердце прозвучало: «Терпение»! И этот призыв, и утешение, и повеление приготовился он возгласить, но тут услышал угрожающий окрик, а затем оглушающе для его обнаженной души заклацали затворы двух или трех винтовок, и он увидел, что небо отдаляется от него, уходит, а люди внизу уже на него не смотрят, зато один солдат брал его на прицел, а другой резко махал рукой, требуя, чтобы старик немедленно спустился вниз. Хамзат не помнил, как он очутился на земле, на пробивающейся траве, и когда первый солдат властно указал, куда ему следует идти, а второй толкнул его в спину, он понял, что теперь ничего не скажет своему народу. Он также понял, что не имеет никакой обиды на солдат, они — что, мальчишки, они делают, что им приказывали, им так и положено, а он сам виноват — полез на мост, да еще выступать оттуда собирался. Могли ведь подумать, что к бунту хотел призывать, против власти решил что-то сказать... И он пошел с опущенной головой, словно боясь встретиться с кем-то взглядом, а дуло винтовки касалось его спины, там, где белогвардейская пуля отметину оставила. Он вроде двигался вперед, шагал, но казалось, что топчется на месте, скорее земля шла назад, а в спине, где ствол винтовки бережил старую рану, рождалась дрожь, отчего Хамзат стыдился людей вокруг, хотя вряд ли кто мог заметить эту его дрожь. И все-таки стыд пронизывал его до глубины души, опалял, казалось, бороду, и руки сами собой сжимались в кулаки. Что думали люди? Хамзат, поглупевший от неведения и растерянности, испытывал острое чувство вины, будто тяжкий грех совершил: о нем, которого считали ясновидцем Жамауата, могут подумать, что Хамзат вздумал убежать, а, может, мелочно прекословил солдатам, рискуя накликать на земляков, и без того убитых горем, новую беду. Если его расстреляют на месте, что ожидает остальных?! В мозгу проносились какие-то слова, он почти слышал их и, все еще чувствуя холод винтовки на спине, шел как во тьме,

точно по голой безлюдной степи, где-то на краю которой клубился густой туман и какая-то черная полоса двигалась ему навстречу.

«Ой кюнюм, ой мой день!» — услышал он наконец голос жены и почти одновременно с этим воплем отчаяния увидел Музафара, ухватившегося за полу его бешмета. Солдат, кажется, убрал ружье с его спины, но Хамзат не успел порадоваться этому, потому что другой солдат стал оттаскивать от него мальчика. Тогда Хамзат пришел в себя, стыд, так долго лишавший его слуха и зрения, отпустил его, и он одной рукой прикрывая внука, другой оттолкнул солдата. «Жалдат!» — крикнул он на своем языке, а солдат, решив, что старик злостно путает знаки различия, обиделся: «Я не солдат, я старшина!» Однако Хамзат, страшно испугавшийся за внука, повторил свое крутое слово, и на этот раз старшина понял, что старик бранит его, ибо сказав так, он полез грудью прямо на ствол и крикнул: «Стреляй, если ты жалдат, но не трогай мальчика!» Тут старшина догадался — «жалдат» на языке этих людей означает «палач». Он решил не связываться. «Ладно, ладно», — сказал старшина и убрал винтовку за спину. Он ушел, оставив Хамзата и его плачущего внука, а тут Хамзата стало буквально трясти, и Хорасан накинула ему тулуп на плечи. Тот самый тулуп, с которым она не расставалась с самого утра, словно в нем, в тулупе этом, хранилась надежда на благополучие в пути. Хорасан накинула тулуп на мужа, но его все равно бил озноб, и старик точно старался не окоченеть, все сильнее прижимал к себе Музафара. Так сидел он около получаса, а потом растянулся на тюках и уснул. Так быстро уснул, что Хорасан, испугавшись, потрясла его. Хамзат приоткрыл глаза, но, кажется, продолжал спать, только губы его прошептали: «Уцелели три ступеньки». Хорасан не поняла и, продолжая его трясти, спросила: «Какие такие ступеньки?» Но Хамзат лишь устроился поудобнее и закрыл глаза.

Его разбудил приближающийся гул товарного состава. Он вскочил, словно не спал вовсе, а ждал в нетерпении поезда. Густой черный дым поднимался над строениями по краю привокзальной степи и, гонимый ветром, тянулся впереди паровоза. Хамзат безрассудно пошел навстречу поезду, оказался на его пути, а затем, по мере приближения неумолимого состава, попятился назад, спотыкаясь о шпалы, но чудом оставаясь на ногах. Кто-то кричал, чтобы он ушел с рельсов, Хорасан звала его и ругала, а солдаты на этот раз молчали, не обращая на него, сумасшедшего, вни-

мания, а он пятился, казалось, замороженный огромной мощью и реальностью поезда. Обшарпанный и закопченный, как и мост над железной дорогой, он неумолимо надвигался, возвещая о своей готовности одним разом вообрать в свою утробу всю эту оцепеневшую в безысходной покорности толпу, заглотать, унести прочь со всем ее жалким скарбом, робкими надеждами и наивными мечтами, со всей ее животной привязанностью к горам и скалам.

Наконец Хамзат отскочил от рельсов, вышел на перрон, и состав теперь двигался мимо него, замедляя ход и распространяя сильные чужестранные запахи нефти, сахарной свеклы, кокса и свиного помета. Хамзат видел, что все на площади встали, прижимаясь друг к другу, да так и замерли, словно в ожидании взрыва. Между тем поезд остановился, и солдаты, стоявшие до этого кучками, покуривая, переговаривались о чем-то смешном, быстро разошлись по своим местам, заранее намеченным. Состав тянулся во всю длину площади. По второму пути приближался еще один поезд. Перед обескураженными взорами людей зияли темные проемы дверей. Хамзат снова вспомнил противотанковый ров, в который загоняли и старого и малого, и мужчин и женщин, но там были грузины, евреи, кабардинцы, балкарцы, русские, а здесь предстояло загнать в темные чрева вагонов одних балкарцев. Загонять должны были не немцы, а свои советские солдаты, — так было поставлено дело. Когда Хамзат искал во рву захороненных односельчан, когда оплакивал замученных, он думал, что жертвы эти бессмысленны, что враг отброшен и кровь не останется неотмщенной. Его воспаленное воображение находило сходство между темнеющими провалами противотанкового рва и сумракам товарных вагонов, готовых живо заглотать и старого и малого, и мужчин и женщин. Но тогда у огромной общей могилы было кому оплакивать погибших, а кто оплачет этих, вырванных с корнем из родной почвы? Так он стоял, пока не раздалась команда грузиться в вагоны. Солдаты стали все сильнее и сильнее напирать на лишенцев, требуя освободить площадь, и Хамзат увидел, как люди ринулись в открытые двери вагонов, беспорядочно бросая туда свои пожитки. Он стоял в пучине слепого людского потока, его толкали, задевали тюками, разными свертками, ругали мимоходом, откуда-то доносился родной крик — умом он сознавал, что его ищут, но не мог сдвинуться с места, не мог пошевелиться и не знал, куда идти, в какой стороне его родные. Растерянность сменилась страхом. Он, этот страх — чувство почти им

неведомое в течение долгих лет жизни, вдруг заполнил все его существо сверху донизу: где же его семья? Там, где он оставил своих совсем недавно, их уже не было! Похожее чувство он испытывал лишь однажды, в 19-м году, близ Екатеринославской крепости, когда отряд был разбит частями Краснова, и Хамзат с несколькими товарищами оказался в окружении. Но тогда он был на коне и верил в будущее, а потом понял, насколько велика сила человека, имеющего хорошего коня и непоколебимую веру. Сейчас у него не было ни того ни другого, и очень вероятно, что он попал бы в другой вагон, отдельно от своих родных, и даже мог бы совсем потерять последнюю надежду рода Кушжетеровых — Музафара, но ему повезло. Совсем юный солдатик с девичьим личиком настойчиво потянул Хамзата за рукав, что-то ему настойчиво втолковывая, а из ближнего вагона пронзительно и весело закричал Музафар. Хамзат удивился жизнерадостному возбуждению внука. Юный солдат с гладким девчоночьим лицом помог Хамзату взобраться в вагон и сам поднялся. «Я и келин все втащили сюда,— сообщил Музафар,— а мешок с кукурузой не смогли, и нам помог вот этот солдат». «Хорошо, сынок»,— сказал он мягко. Хамзат оказался между двумя охранниками, стоящими по обе стороны дверей вагона,— сержант занял свою позицию раньше, а другой, приведший его сюда солдатик, встал теперь. «Они нас будут стеречь»,— подумал Хамзат. Но надо было как-то устроиваться, и он посмотрел на сержанта, а потом — с теплотой — на юношу, будто выпрашивая у него место для себя. И то верно: внутри вагона некуда было ногу поставить: нары в два яруса набиты битком, люди вперемешку со своими пожитками занимали и весь пол. В дальнем углу нижнего яруса виднелась из-за тюков голова Хорасан, а невестки и вовсе не было видно. «Проходи к своим»,— сказал ему сержант. Но проходить можно было только по живым людям, и Хамзат в растерянности опустился на пол у дверей. Музафар, довольный тем, что находится в вагоне, и ему предстоит дальнейшее путешествие, ликовал и, держась одной рукой за рукав дедовского бешмета, другой норовил дотронуться до автомата сержанта и с восторгом поглядывал на медаль молоденького солдата. Он очень хотел сказать им, что медаль есть и у его отца, а может быть, теперь даже орден, ведь отец не катается на поезде, как они, а бьет Гитлера, и скоро срубит ему голову и вернется домой. «И правда!» — вырвалось у мальчика, а сержант, кажется, прочитав его мысли, не устыдился, но, сделав суровый вид, указал ему в глубину вагона, где си-

дели его бабушка и мать. Музафар сразу отметил для себя: сержант плохой, солдатик хороший. А Хамзат глядел на опустевшую площадь: трудно было поверить, что площадь, только недавно кишашая людьми, переполненная горами вещей, стонущая, молящаяся, проклиная и плачущая, так скоро опустела, притихла. Трудно было поверить, что все это скорбное становище вобрали в себя, поглотили два замызганных, обгорелых во многих местах товарных состава, похожих сейчас на двух обожравшихся удавов. Но на площади не было никого, кроме солдат, и только несколько облезлых дворняг рыскали в поисках пищи, подходили даже к вагонам и, жалобно поскуливая, выпрашивали какую-нибудь подачку.

Хамзат все еще сидел у дверей, он был благодарен охранникам за то, что они больше не гнали его и внука. Он сидел, скрестив ноги под собой по-азиатски, и смотрел вдаль. Низкий одноэтажный павильон вокзала не загораживал горы. Отсюда, из широко открытых дверей вагона, хорошо были видны обе вершины Мингитау — Эльбруса, сиявшие в ярких солнечных лучах алмазным блеском. Тени, лежавшие на вечных снегах, были иссиня-голубыми, а над скалистыми утесами держалась полупрозрачная нежно-алая дымка. В этих горах издревле рождались народные легенды, а теперь, когда народ уходил от них, они сами становились уже легендой. Что же останется этим горам? «Вечное молчание», — вырвалось у Хамзата со стоном, и солдаты, заинтригованные тем упорством, с каким старик вглядывался вдаль, тоже стали посматривать в ту сторону, но ничего там не видели.

День уже клонился ко второй половине, с Донгуз-Оруна наплывали черные ливненосные тучи, и Хамзат все больше уверялся в своей надежде, что состав держат именно потому, что в последний момент, как всегда, подоспело справедливое и мудрое решение Сталина оставить народ на своей земле, и вот-вот торжествующе прозвучит команда о возвращении людей по своим селам и домам. Но вместо команды на площадь выкатилась одноконная повозка, на которой сидели старая женщина с девочкой лет пяти на руках, старый человек. молодая женщина лет двадцати пяти и мужчина в армейской гимнастике с орденом Красной Звезды и медалями на груди. Ему было лет тридцать, но голова его уже была охвачена густой сединой. Когда повозка остановилась на площади, с нее первым слез, опираясь на костыль, человек в гимнастике, — сразу видно, что инвалид.

«Последняя балкарская семья, которую нашли где-то в кабардинском селении», — подумал Хамзат. Но человек в гимнастерке, помогая старой женщине сойти с телеги, говорил с ней по-кабардински. Молодая женщина не хотела слезать и все сильнее прижимала девочку к груди. Вооруженный солдат, который сопровождал телегу, торопил молодую женщину и даже грубо выталкивал ее из повозки. Тогда старик слез и что-то сурово сказал всем. Он мягко отстранил солдата, подал руку молодой женщине. Она сошла на землю, стала у телеги — высокая, стройная, с заплаканными и оттого ставшими еще выразительнее глазами. «Сэлам фэсхыжын хуейц»¹, — сказал человек в гимнастерке. Старая женщина заплакала и сказала: «Хэт и фІэц хъун ар?»² Но поверить надо было, потому что составы уже были загружены, паровоз уже два-три раза нервно свистнул, да и солдат, торопивший молодую женщину, подошел уже к вагону, где сидел и Хамзат, и спросил, можно ли поместить туда одну женщину с ребенком? Он поглядел назад, в сторону повозки, где стояли, прижавшись друг к другу, две женщины, и добавил:

— И муж хочет с ней, кабардинец, что ли! Его нельзя выселять, надо только его жену, но он не хочет со своей бабенкой расставаться.

— Тот инвалид, что ли? — спросил сержант.

— Да, он. Жалко, но что я могу сделать!

— Валяй их сюда! — разрешил сержант, и солдат вздохнул с облегчением. Он жестом позвал к поезду молодую женщину, но пошли они все впятером. У дверей вагона старый человек отдал салам Хамзату, и Хамзат кивнул ему головой.

— Я добьюсь правды, мы вернемся, отец, — сказал по-русски молодой инвалид.

Старый человек ответил по-кабардински:

— С войны дождались, но дождемся ли теперь... — Голос его дрожал, — он был подавлен неожиданно свалившимся на его дом несчастьем, но старался держаться при людях.

— Кончайте, — приказал солдат.

— Басир... — сказала старая женщина и пошатнулась. Опираясь на костыль, Басир придержал мать, а молодая женщина, кинув узелок в вагон, попыталась взять у нее дочку, но девочка, почувствовав, что ее разлучают с ба-

¹ Пора попрощаться (каб.)

² Кто поверит этому? (каб.)

бушкой, словно приросла к ее шее. Тогда солдат нервно шагнул к старой женщине, резким движением вырвал у нее из рук девочку и бросил ее, как поклажу, солдатам наверху. Пока молодая женщина при помощи старого человека и молодого солдатики наверху поднималась в вагон, девочка ревела и рвалась к бабушке, а Басир обнимал плачущую мать. Он, обеспокоенный состоянием матери, и не заметил, как солдат обошелся с его дочерью, а люди того и хотели, чтобы он ничего не заметил, и поскорее приняли к себе и обласкали девочку и ее мать в вагоне. Выселенцы, сидевшие поближе к дверям, как могли утешали бабушку с дедом.

— Беда, навещавшая балкарцев, никогда не обходила и адыгов,— сказал старик, тронутый сочувствием выселенцев.— Породнился я с балкарцами и вот разлучают.

Хамзат снова кивнул ему головой, но ничего не сказал.

У Басира потекли слезы, и он уткнулся головой в стенку вагона. Старый человек повернул сына к себе и сурово посмотрел ему в глаза, недовольный его малодушием, а югда тот, прощаясь, захотел его обнять, он не позволил ему сделать это при людях. Он похлопал сына по плечу, помог ему взобраться наверх и отошел от состава. Теперь старая женщина плакала, опустившись на асфальт перрона, причитая по-кабардински, а старый человек стоял рядом неприкаянно, не выказывая горя и не давая слезам, закипавшим в его груди, прорваться наружу.

Встав рядом с Хамзатом, Басир смотрел на родителей, а жена его силилась успокоить дочь. Когда девочка притихла, одна из женщин со второго яруса нар вдруг ахнула:

— Ты ли это, Ариужан?

Мать девочки подняла голову, но в массе людей пока не увидела ни одного знакомого лица и отвернулась. Со второго яруса снова донесся тот же голос:— Ариужан, неужели и Кабарду выселяют?

Ариужан не успела собраться с мыслями, чтобы ответить, как с противоположного угла вагона ответил теперь уже мужской голос:

— А как же! Выслав балкарцев, не оставят же кабардинцев! Решили, значит, весь Северный Кавказ очистить... Не забудьте, это стратегический район.

Хамзат узнал голос Хаджибекира, обрадовался этому, но другие не очень разбирались в военной философии говорящего и затаили дыхание в ожидании ответа Ариужан.

— Нет,— сказала она.— Кабарду, наверное, оставляют.

— А ты почему здесь?

— У нас в Куркужине искали балкарцев — мужчин и женщин. Нашли только меня.

— Как нашли? — возмутились выселенцы, позабыв о своем горе. — Ты, наверное, там замужем была?

Ариужан опустила голову. Дальше отвечать следовало Басиру, он и повернулся к людям на нарах, но тут сержант приказал прекратить разговоры.

Музафар смотрел на девочку, которая прижималась к матери и прятала лицо. Хамзат отметил про себя печальную красоту Ариужан. «Ее хотели вырвать из семьи и выслать вместе с ее народом, — подумал он, — но в семье решили иначе. Беда не смогла разлучить мужа и жену». И он с немым восхищением посмотрел на старика, который стоял на перроне: вроде бы неказистый, худой, но сколько благородной силы в нем было! И в его жене... Пройдут дни, будут многие беды, но в памяти Хамзата так и останутся эти старики — она, плачущая на опустевшем перроне, и он, одиноко стоящий рядом с несклоненной головой.

А поезда все стояли. В эти тяжкие часы к Хамзату настойчиво возвращалась его надежда на восстановление справедливости, но площадь молчала. По-прежнему там никто не появлялся, только псы рыскали в поисках пищи, да паслись в отдалении коровы и свиньи.

После полудня небо стало затягиваться тучами, подул холодный, пахнувший тающими снегами ветерок; по обеим сторонам поездов прошли солдаты, заколачивая окна вагонов: они забивали их толстыми досками, оставляя неширокие щели для просвета. Следом прошел дежурный наряд, проверяющий охрану и состояние вагонов. Всем стало ясно, что час отправления пробил.

Когда состав тронулся с места, разверзлись хляби небесные, и на бороду Хамзата капнули первые крупные дождевые капли. Еще было светло, он резко подался вперед, так резко, что юный солдатик схватил его за рукав. Хамзат закачался, его терпению пришел конец, и под усиливающимся дождем обильно потекли его слезы. Хамзат плакал, забыв, что он мужчина. Слезы его были так жгучи и безутешны, что юный солдатик, присев на корточки, тоже заплакал, по-мальчишески всхлиывая, уткнувшись лицом в свои острые коленки. Женщины в вагоне жалели не Хамзата, а его, солдатика, рукавом шинели вытиравшего слезы. Лейла передала солдатике белый платок, — самой выбраться из дальнего угла не было никакой возможности.

«Волчьей жилой называли Хамзата в партизанском отряде, но пришел день, когда и он заплакал», — сказал с

верхних нар Бияслан слабым голосом. Хамзат его не услышал.

Состав прибавлял ходу. Усиливающийся дождь хлестал по бокам вагона, из щелей вовнутрь проникала вода, и плачущий солдатик мок у дощатой стенки. Сержант, не только старший по чину, но и по возрасту, подтолкнул его прикладом автомата и матерно выругался. В крошечной тьме кто-то причитал слезно, кто-то молился, кто-то бормотал проклятия, а некоторые стали устраиваться на долгий ночлег.

— Надо терпеть,— сказал Хамзат заплаканным голосом.— Терпенье наш удел. Случилась беда, и лишь терпенье спасет нас.

Никто не ответил. Где-то далеко впереди провыл гудок паровоза, тащившего состав. Музафар бодрствовал, положив голову на колени деда. Его одолевали сотни вопросов, но после того, как дед заплакал, не стыдясь женщин и детей, он не стал их задавать. Что может ответить плачущий мужчина! Зато другой мальчик громко спросил сверху:

— Куда мы едем, аланы? ¹

Аланы молчали. По тому, как вздрагивали пальцы деда на его голове, Музафар понимал, что дед не спит. Музафар теперь смягчился: чувствовал, что руки деда, касаясь его горячей головы, искали поддержку:

— Скажи,— потребовал он.— Куда бы мы ни поехали, я обещаю быть тебе опорой, только ты скажи, куда мы едем?

Хамзат, растроганный обещанием внука, отвлекся от гнетущих дум:

— Лучше я снова расскажу тебе сказку,— отозвался он.— Пришло время укорачивать дорогу. Пришло...

Похоже, дождь прекратился или эшелон обогнал его — в вагоне стало светлее. Музафар увидел ту женщину с девочкой. Она устроилась тут же, у дверей, на соломе. В пролетах из щелей было видно, как они — мать и дочь — все сильнее прижимаются друг к другу. Музафар думал, что он один все это видит, но дед встал и, сняв с себя тулуп, прикрыл им мать и дитя. Затем снова опустился на пол и взял голову Музафара себе на колени...

¹ Так обращаются друг к другу балкарцы.

Книга вторая

Натужно кряхтел в ночи перегруженный товарный состав. По стенкам вагонов хлестал ливень. Где-то на краю земли гром взрывался с такой бешеной силой, что даже нары вздрагивали, а ослепительные вспышки молнии кинжальными остриями проникали сквозь щели и небрежно забитые окна, высвечивая на мгновение измученные, забитые, как те же окна, лица. Сквозь щели просачивались струйки воды, крыша вагона тоже протекала, но посторониться от упрямых капель было просто некуда, и сколько бы ни молились люди, от этого божья кара ни на одну каплю не уменьшалась. Только к полуночи прекратился дождь или, может, поезд вырвался из полосы ливневых туч, и в вагоне пронизывающий гремющий холод сменился удушливым затишьем. Молитвы и бессильные заклинания перешли в негромкие вздохи, постанывание, храп. Кто-то жалобно хныкал, бормоча невнятные слова, кое-кто вдруг ошалело вскакивал, а лежащий рядом, лишенный возможности даже шевельнуться в тесноте, пытался успокоить соседа, который судорожно дергался, исторгнутый из забытья черным кашмаром. Оконные проемы, забитые досками так, что между ними оставались просветы, были без стекол, но духота в вагоне усиливалась. Казалось, что крошечный мрак, окутывающий людей, был заполнен горячим пеплом. Казалось, эта длинная ночь не закончится до тех пор, пока живые существа, до отказа сдавленные в горячем пепельном мраке, окончательно не задохнутся.

Хамзат сидел на прежнем месте, спрессованный в глыбу шершавого камня. Тьма, колыхавшаяся от беспокойного прерывистого дыхания невидимых существ, язвила его черной солью. Она, эта черная соль, текла густыми струями из проеденных ею самую дыр огромного небесного мешка и, каменя, жгла, сковывала его тело: при совершенно ясном

уме он не мог шелохнуться, чтоб хотя бы пристроить поудобнее голову спящего на его коленях Музафара. Порой от него ускользала реальность бытия. Мерное покачивание, ритмичный перестук колес действовали одурманивающе; уснуть Хамзат не мог, но то состояние, в которое он переходил, не было похоже и на явь. Чудилось ему, будто поезд уходит в другое измерение, будто независим стал его путь от поверхности земли, и набирает их состав все большую силу и уверенную стремительность и уже не громыхает разболтанно на стыках рельс, не кряхтит натужно и не визжит несмазанными колесами. Поезд, похоже, уходил в просторные подземельные пространства, покидая жестокую твердь, над которой бушевали злые ветры. Находясь между сном и явью, Хамзат быстро терял осязаемую связь с тем, что оставалось позади, а точнее там, наверху, и обретал все более крепнущую надежду в другую жизнь, жизнь достойную и безмятежную. Он радовался этому вдруг открывшемуся пути, и чем дальше уходил поезд, чем он глубже прорывался в землю, тем светлее становилось в душе. В этом новом своем сознании Хамзат убеждал себя, что отныне из множества вероятных дорог — самой лучшей и верной для него и для этих низринутых в горячий удушающий пепел людей будет дорога в подземелье; из множества вероятных мест для пристанища — это чрево земли, когда-то породившее их, всех ныне живущих и так тяжело страдающих. Оно, чрево земли, будет лучшим пристанищем для них, ибо там никто уже не сможет их унижать, гнать и преследовать. И еще, думал Хамзат, потеряет силу этот необъявленный приговор на вечное несение жора — креста землеотступников, креста преданных проклятию. И вместе с этими думами, рожденными во мраке ночи и прохоте поезда, к нему приходило ощущение светлого милосердия и отзывчивости глубинного земного безмолвия. И это милосердие и это безмолвие были обусловлены полной безгрешностью тех, кого в своих разболтанных щелястых вагонах вез длинный состав. Да и какие могут быть грехи у женщин, стариков и детей, лишенных всех своих защитников по случаю необходимости защитить этими защитниками нечто более святое и вечное, чем они, — Отечество! Чрево земли, свободное от земных пороков и губительных поветрий, разверзлось перед безысходно гонимыми, готовое спасти их от злого ненасытного преследования.

Где-то к полуночи Хамзат окончательно утвердился в мысли о том, что земной тягостный путь его народа завершается как нельзя лучше и осудил себя за вечное упрям-

ство, всегда толкавшее его наперекор всем превратностям судьбы. Думалось ему легко. «Отчего же меня так раздражали слухи о том, что весь народ Жамауата будет вывезен на море и потоплен? Мыслимое ли это дело, покуда человечество в своем разуме, чтобы целый народ загрузили в товарные вагоны, доставили к морю и утопили!» Тогда эти слухи, ходившие с первого же дня, как только было сказано слово о выселении, нелепые, вздорные по сути, они, в трезвом осмыслении, могли только свидетельствовать об обратном: коль говорят о потоплении целого народа, значит, разговоры о выселении — действительно происки врага. Напрашивался вывод: если хотят уничтожить, то зачем выселять, тратить силы на то, чтобы везти народ к морю? Не легче ли сбросить эту горстку балкарских горцев со скал? Сколько зияющих пропастей у каждого селения, а для Жамауата одной Тешик-кая хватило бы с лихвой — эта бездна сожрала бы, а Жамауат канул бы туда и следов не оставил. Больше того — к чему затея с выселением, когда идет война? Каждый солдат нужен там и каждая машина! Так что раздражающие слухи о потоплении, а равно и прочие вздорные слухи, Хамзат вспоминал теперь чуть ли не с улыбкой. Сейчас он соглашался в мыслях с Жарнесом, который говаривал: «Если ветра нет, то и бури не будет!», а непонятливым разъяснял: «На пустом месте, язычники, и слухи не рождаются!» Но если вести о выселении подтвердились, не могут ли оказаться верными и слухи о потоплении? По тому, как загнали их в скотские вагоны, набили битком, заперли, замуровали, легко можно было прийти к выводу, что так задумано, что состав этот, spisанный как и его груз, будет мчаться без остановок до крутого берега моря, а там так и сверзнется в бездонную пучину. «И все равно не стоило раздражаться: что задумано, то неизбежно», — решил Хамзат. А дорога шла теперь в подземелье через бирюзовую глубь океана, и она светлой полосой пролегла перед Хамзатом, как перед пророком Муссой — Моисеем, спасающим свой народ от жестокого порабощения и преследования. «Аллах, оказывается, и это правда!» — тихо произнес он, и, наверное, получил ответ, глубоко его потрясший, потому что стал молиться гораздо усерднее и искреннее, чем обычно. Многие в вагоне слышали сквозь сон, как Хамзат горячо благодарил Бога, как ясно и четко сказал: «Утешены!»

Хамзат, очарованный легкостью и белизной дороги через морские глубины, еще всматривался вдаль, видел светлые прекрасные чертоги, когда с левого верхнего яруса до-

неся голос вдруг зарыдавшей женщины. Встрепенувшись, он разом утратил прекрасные виденья и, еще во власти сна и пророческих открытий, еще надеясь на возврат чудесной картины, рванулся в сторону голоса — при этом спящий на его коленях внук сполз на пол. Хамзат встал, но так и остался на месте, потому что ногой ступить было некуда. Женщина наверху рыдала и звала «Атто! Ой, Атто!» Хамзат узнал дочку Хаджибекира, хотел ей что-то сказать, но раздались возбужденно-испуганные голоса проснувшихся женщин. Мадина никого не слушала и, плача, зовя деда, пыталась куда-то идти по телам лежавших людей. Хамзат вспомнил день проводов Мухтара. Сам он тогда стоял среди своих сверстников, незаметно поглядывая на сына, а эта девушка все время была рядом с Мухтаром, которым попеременно завладевали то Музафар, то друзья, еще остающиеся дома. Когда двинулась колонна с новобранцами, дочь Хаджибекира шла возле телеги и плакала. Кто-то из соседей сказал: «У тебя будет хорошая невестка, Хамзат», — но слишком тяжек был день, чтобы загадывать на будущее и на что-то светлое надеяться. Теперь Хамзат удивлялся тому, что эти слова были им тогда, оказывается, восприняты, а теперь вспомнились, будто заново прозвучали в вагонной тьме, прозвучали так ясно и светло, что на душе сделалось как-то теплее, надежнее. А Мадина рыдала все безутешней и пробивалась к заколоченному вагонному оконцу. Люди просыпались, кто-то проклинал ее, кто-то старался успокоить, утешить. Перед Хамзатом выросла фигура юного солдатики, пробормотавшего: «Что она делает?» А Мадина уже дотянулась до стенки вагона и вцепилась в одну из досок, закрывающих оконный проем. Ей удалось отодрать доску, и теперь Хамзат увидел в неясных просверках лунного света, как Мадина пытается в образовавшуюся щель просунуть голову. Юный солдатик снова, уже громче, повторил: «Что она делает?» Кто-то тянул ее назад, кто-то колотил по спине, кажется сам Хаджибекир, но невозможно было ее унять; сквозь стон и плач она кричала: «Атто! Ой, Атто, я хочу остаться с тобой!» Люди уже поняли в чем дело и, не в силах чем-то ей помочь, тоже плакали. Потеряв надежду, что пробьется наружу через оконную щель, Мадина скатилась по телам лежащих на нарах людей вниз, упала рядом с Хамзатом и на ощупь добралась до дверей, стала в ярости бить кулаками по толстым шершавым доскам. Солдатик, видимо, был в растерянности, потому что сержант спал сном праведника, а без него трудно было решить, как поступить с беснующейся де-

вушкой, и он лишь беспомощно повторял: «Что делает-то!» Наконец проснулся сержант, сразу же заклацал затвор его автомата, и Хамзат увидел, как молоденький солдатик встал между автоматом и девушкой. Мадина успела чуть-чуть сдвинуть тяжелые двери, уже можно было протиснуться наружу, в беспредельное пространство, но солдатик удерживал ее, старался оттолкнуть от дверей, но она оказалась сильнее. В схватке они упали, и Мадина, очутившись наверху, вновь устремилась к выходу, но тут сержант схватил ее за волосы, рванул назад, и Мадина упала на грудь Хамзата. Хамзат сразу обнял ее, отвернул от сержанта, и когда тот, задвинув двери, сел на свое место, Хамзат тихо сказал ей: «Бедное дитя!» Он почувствовал, как горячий комок боли подступил к горлу. В бессилии и растерянности, он сильнее прижал ее к себе, пряча от беды. Мадина, потерпевшая поражение, обессиленная, притихла, и, убаюканная ласковым и родным объятием отца Мухтара, почти мгновенно уснула. Оставшуюся часть ночи Хамзат простоял на коленях, ни одним неосторожным движением не нарушив забытья измученной девушки. У ног его спал Музафар, сверху два или три раза донесся обеспокоенный ватный голос Хаджибекира, но Хамзат тихо передавал ему, что все хорошо, все тихо.

Наступило утро. Сквозь щели вагона стал пробиваться бодрый утренний свет, а когда проснувшийся сержант открыл двери, внутри стало совсем светло. Проснулась Мадина. Оглянулась, соображая, как она тут очутилась: больно было смотреть на ее исхудалое, обожженное слезами лицо, но Хамзат ободрил ее, мягко похлопав-погладив по руке. Мадина не отвернулась. Потерянная, виноватая, пошла обратно, наверх, осторожно ступая между людьми. Никто ни слова не сказал ей, не напомнил о ночном безумии.

Хамзат, освободившись от ночных видений и тяжелых раздумий, осмотрел вагон. Дети все еще спали, спали и некоторые молодые женщины. Хамзату стало интересно, и в этом интересе он ощутил искру надежды на выживание. В ярком утреннем свете ему вдруг открылась неистребимая, неподвластная никаким невзгодам изначально-глубинная сущность человеческой природы. В поезде, неведомо куда несущемся по холодным бесприютным пространствам, безмятежно спали совершенно здоровые мальчики и девочки, спали рядом, в обнимку. На лицах этих мальчиков и девочек Хамзат увидел не скорбь, не печать безысходности, а — наоборот — затаенную силу, сокрытую до поры до времени от глаз преследующего, но обещающую в одно-

часье опрокинуть все неправды земные и восстать из пепла! Именно из пепла, потому что любой жестокий огонь пожирает лишь живое, пожившее, превращая его в пепел, а пепел обогащает почву, из которой потом прорастает новый побег родословного дерева, которое не только восстанавливает, возрождает самое себя, свою природу, но и приобретает могучую плодотворную силу. Хамзат поглядел и на своего внука. Музафар растянулся на полу так, словно все тяготы земные, все распри житейские были для него нипочем, поскольку рядом с ним, положив голову на его пупок, спала Асият, дочка Ариужан и Басира — последний поселенец вагона. Воодушевленный своим открытием, Хамзат стал всматриваться в дальние углы: на верхнем правом ярусе нар устроились семьи Бияслана и Шоштара, а также еще три женщины с детьми. В самом темном углу Хамзат различил женщину, которую он видел на привокзальной площади с девочкой на руках. Вчера она стояла на площади, прижав к груди дочку, но теперь двое ее сыновей рядом. Одному было лет пятнадцать, другому десять, может, чуть больше, а девочке, наверное, годика три. В этот час наверху не спал один мальчик лет шести. Он припал к щели в заколоченном окошке, смотрел на степь, а его мать беспокоилась, будто ее одолело какое-то предчувствие, страх — как бы не расширилась оконная щель и мальчик не вывалился бы наружу. Голос ее дрожал, когда она окликала сына.

В той же части вагона на нижних нарах оказались секинцы. Хамзат узнал Аркеса Шаваева, в доме которого он короткое время жил в 19-м. Радуюсь, что увидел его живым, хотел поздороваться, спросить о житье-бытье, но Аркес, не поднимая головы, читал Коран, вдумчиво шевеля губами.

Слева по ходу поезда, наверху, устроились семьи Хаджибекира, Харуна и Байчо. Этому Хамзат тоже обрадовался. Еще недавно в голове все путалось — и ночные кошмары, и безумие, и вчерашнее его затмение, но теперь, в светлом дне, глядя на Хаджибекира, возвращаясь в обыденную привычную жизнь, он вспомнил, что в ауле слышал голос Хаджибекира, когда двое солдат, согнав его с моста, вели по переулку. И ведь Хаджибекир кричал тогда что-то важное, а что именно — Хамзат забыл. Он вообще забывал в последнее время многое, а то, что случилось вчера, вовсе теперь казалось ему сумасшествием. Да, он даже себя самого забыл, оторвался от земли, а потом, когда начался дождь, и поезд уже нескончаемо долго громыхал на стыках рельс,

перед ним возникло видение подземного мира, да еще какое реальное видение, да еще какого справедливого мира! Хамзат улыбнулся про себя, почесал в усах. Хаджибекир сидел угрюмый. Встретившись взглядом с Хамзатом, он изменился в лице. Хамзату передались его волнение и печаль, и он как-то попытался ободрить его приветливым кивком головы, но тут Хаджибекир неожиданно заплакал. «Как же так, я отца не смог похоронить!» — взвыл он, с трудом выпутывая слова из ватного подбородка. «Отставить!» — крикнул сержант, но Хаджибекир даже и не услышал его. Байчо положил руку на его плечо — говорить в подобных случаях он не умел.

— Крепись, Хаджибекир, — сказал снизу Хамзат. — Жизнь порой играет и не в такие игры. Будем молиться, чтоб хуже не стало.

— Что может быть хуже, что может быть хуже?! — пропитывал новыми слезами уже несколько дней не меняющуюся, пожелтевшую вату подбородка Хаджибекир. Он раньше менял повязку каждое утро, но с тех пор, как в Жамауате пошли слухи о выселении, а потом Бияслан получил сразу две похоронки, недосуг было ему заниматься собою. Так что Хаджибекир и без того чувствовал себя неловко от отяжелевшего комковатого подбородка.

— А что, Хамзат и дочку не похоронил, — нашел, наконец, что сказать Байчо. Он сидел среди своего большого семейства. После того, как Азинат была замучена, заживо погребенная в противотанковом рву возле Нальчика, и ухода старшего сына Хакима на фронт, у него оставались еще одиннадцать детей, оттого и выглядел он, как неандерталец-вожак среди своего племени. Как сел вчера Байчо, так и сидел, не шевелясь, не проронив ни слова, казалось даже, не дыша. Всегда молчаливый, в последние два года он вовсе умолк, точно давший обет молчания. Конечно, в Жамауате никто не связывал это с выстрелом, прозвучавшим в то раннее зимнее утро на повороте дороги из Чегета. Этим выстрелом был свален с коня Мачар, жамауатовский полицей, и мальчишки Чегета долго потом рассказывали, как конь полиция крутился на месте, а кровь Мачара, еще некоторое время державшегося на коне, обильная и черная кровь, брызгала во все стороны, а Мачар все хрипел: «Бач... бач... бач...» Когда конь заржал и понес уже почти мертвого всадника, он еще прибавил к своему крику протяжное и удивленное: «О-о... о-о... о-о...» Взрослые в то утро, случайно увидевшие кровавый танец на снегу, оторопело наблюдали, как заканчивал свои счета с жизнью неутомон-

ный Мачар, с юности жаждущий власти, богатства, но всегда получавший от жизни лишь унижение и нищету. Гарцуя на коне в то раннее зимнее утро, он действительно говорил: «Бач... бач... бач...», а потом, уже сползал с несущегося коня, добавил: «О-о... о-о... о-о...» Мальчишки, а тем более взрослые, не знали, как быть с этими звуками — то ли соединить их, чтобы попытаться угадать завещание Мачара, то ли принять их как стон, выражение боли, сожаления? Если соединить, то получалось нечто вроде Бачо, но ни такого понятия, ни такого имени в Жамауате не было; домыслить бредовый стон гадкого человека, да еще насильственно добавить туда недостающий краткий звук, приписав тем самым содеянное Байчо, никому не хотелось. Не хотелось по справедливости, ибо самой природой Байчо был создан для того, чтобы порождать жизнь, а не убивать ее. Во все времена в Жамауате случалось так, что и довольно очевидные вещи оставались как бы сокровенными с общего молчаливого согласия. Вот и этот случай с убийством, а точнее — отмщением, остался загадкой. Когда, бывало, обсуждали при Байчо загадку «бач» и «о», он растерянно глядел на спорящих, но ничего не говорил, а на прямой вопрос: «Кто же все-таки свалил его с коня?», он без толики сомнения отвечал: «Аллах!». Так что с догадкой жамауатовского кузнеца Ордана о том, что мстителем мог быть Байчо, ничего не вышло. Если, как уверяли мальчишки, Мачара настигла пуля подпольных мстителей, то удивляться здесь не приходится: уж слишком Мачар обнаглел и занесся, называя себя даже «Бачама» — вождь, главный. Если же, как толковали мужчины, Мачара убил Аллах, то само согласие с суждением Ордана граничило с кощунством — уж никак недопустимо считать Байчо олицетворением воли Божьей на том лишь основании, что всегда все дети от Аллаха, а Байчо по плодовитости своей почти сравним с создателем.

И от этих дум стало веселее Хамзату, хотя напоминание об Арийпе, оставшейся непогребенной, и разбередило незаживающую рану. Сейчас он спокойнее, как-то собраннее, что ли, поглядывал на просыпающихся, узнающих друг друга, смиряющихся с новым положением сородичей. Хорасан и Лейла, уже проснувшись, сидели в дальнем углу нижних нар. Молчали. Проснулись Музафар и Асият, но пока не вставали. Девочка по-прежнему лежала, положив голову на пупок Музафара, который чувствовал себя неловко от этого наглого соседства.

Внизу, под левым верхним ярусом, напротив Хорасан и Лейлы, была как бы ширма, устроенная из кусков гряз-

ного брезента и даже одной шинели, прожженной и пробитой осколками в нескольких местах. Что это была за ширма, никто не знал, пока туда не прошел сержант и не вернулся обратно, на ходу застегивая пуговицы штанов.

— Ничего, привыкнете, — сказал он.

После этого и сам сержант, и эта тряпичная загородка сразу стали ненавистны всем жителям вагона. Но нужда способна перебороть любую ненависть, а законы природы сильнее стыда. Вскоре это поняли жители вагона. Степное солнце поднималось, а поезд и не думал останавливаться, и от долгого терпения начиналась тошнота. Тогда исчезали лица, исчезал стыд, очередной мученик или мученица пробирался или пробиралась за ширму, а вот обратно приходилось идти, желая провалиться сквозь землю, вернее сквозь пол вагона.

— И это пришлось нам испытать, — сказал Аркес Шаваяев, и Хамзат обрадовался его голосу. Аркес, наконец, отложил Коран, и, тоже увидев Хамзата, привстал. — Да, Хамзат, сын Кушжетеровых, и такое пришлось нам увидеть.

Осторожно ступая между людьми, Хамзат пошел к нему и, волнуясь, крепко пожал ему руку. Сказал:

— Вот где мы встретились через двадцать пять лет.

Люди потеснились, выкроили местечко для Хамзата, он присел рядом с Аркесом и спросил:

— Как же из Секи спустили народ? У нас в Жамауате давно есть машинная дорога, а вас-то каким образом доставили к машинам?

2

Секи — один из самых высокогорных аулов Балкарии. — не имел даже приличной аробной дороги. Только в разгар лета удавалось секинцам добираться на арбах в низинные аулы и с трудом возвращаться обратно. Приходилось тратить большие силы на то, чтобы сделать дорогу сравнительно безопасной, а потом дожди заново смывали ее с кое-как подрезанных крутых склонов, и опять люди спускались и поднимались пешком. Можно было, конечно, и верхом на коне или на ишачке, но на рискованных спусках это не доставляло никакого удовольствия ни ездоку, ни тем более животному, так что проще и безопаснее оставалось пешее общение. А в тот вечер 6 марта отряд внутренних войск вошел в аул Секи не снизу по тропе, а спустился сверху через перевал. Утром 7 марта секинцы обнаружили себя окруженными со всех сторон, а на крыше мечети, там, где Кя-

зим стихи читал, стоял пулемет. Когда позднее солнце ущелья поднялось над склонами, через перевал опустилось еще несколько десятков солдат. Они-то и пошли по дворам...

— Выставили из жилищ, не дав собраться? — спросил Хамзат.

— Ты был счастливым человеком, счастливым и остался, — сказал Аркес почти весело.

Странное ощущение охватывало Хамзата: он страдал, всякие думы, одна страшнее другой, лезли в голову, надежда то умирала, то возвращалась вновь, а этот Аркес Шаваев говорил так, словно мысли свои на легкую прогулку выводил:

— Ха, собраться! Когда человек входит в твой дом с оружием в руках, он не о завтрашнем дне твоим думает, а как бы поскорее от тебя избавиться. Поскорее избавиться, другим передать — пусть другие гонят дальше или расстреливают. И хоронят пусть другие. А каждому из нас позволено было взять в руки, на плечи кто сколько мог, ну там ишачка навьючить... Да у нас в войну и ишаков-то почти не осталось. Так что приходилось в основном только на собственные силы рассчитывать и брать с собой самую малость.

— И не говорили ничего? Не объясняли? — это Басир включился в беседу.

— Они были солдаты, им было приказано, вот и выполняли...

— Дети, больные... — размышлял Басир.

— Беда не разбирает, кто могуч, а кто немощен...

К полудню всех жителей Секи пригнали во двор недостроенной школы — небольшого одноэтажного каменного дома, который строил Гугул Базов, будущий учитель. Каменщиками были односельчане, камни — из своих камено-ломен, а известь для раствора привозили летом на воловьи арбах из Тытырташа, где ее обжигали в двух печах, построенных еще в XVII веке русским умельцем, привезенным князем Айдаболовым из Московии. Работа шла споро, будущие ученики толпились вокруг днями и ночами, спорили в ожидании чуда учения в школе и помогали таскать камень, кто какой мог поднять. Но тут началась война, Гугула Базова призвали на третий день, и люди видели в то утро еще до рассвета, как он аккуратно покрывал верхи возведенных стен тонко расколотыми каменными плитами, чтобы кладку не размывали дожди. Потом он спрыгнул на косогор за будущей школой — 25 июня 41-го там трава еще невысокая была — так что женщины ахнули. Спрыгнув с

такой высоты, парень мог сломать ногу и тем накликал на себя беду,— ведь могли сказать, будто сделал он это специально, чтобы не идти на войну. Высокогорный Секи тоже не обошла новая революционная болезнь — заподозрить и арестовать. В сущности, никакой разницы между этими словами не существовало: заподозрить — это и означало арестовать. Можно было даже слова не сказать, а только подумать, и потом ожидать, что мысли твои будут кем надо прочитаны, и человек, спрыгнувший с каменной стены или натерший спину колхозной лошади, будет арестован. Поскольку арестованные редко возвращались домой, то люди и в этих местах очень боялись нестати сказанного слова, с которого, обычно начинались все беды. А здесь Гугул сам навел страх на женщин, его любивших,— ведь спрыгнув на косогор, он оставался лежать, распластавшись ничком на траве: то ли действительно ушибся, то ли прощался с милым сердцу косогором. Могло быть и то и другое — чудачеств у него хватало, как, впрочем, хватало чудачеств и у того русского книжника, в честь которого он и был назван Гугулом. Дело в том, что его сородич Чепеллеу Базов был человеком знаменитым, проникшим одновременно в черноту Корана и в русское письмо. Он в Мекку ездил со святым чувством в душе, в чалме хаджи оттуда вернулся; он ездил и в Терк-баши — Владикавказ, а после и в Петербург. Для чего — в Секи не знали. Вернувшись из главного русского города, он рассказывал о русских книжниках, как о мусульманских пророках. Смешанное чувство к нему испытывали в Секи — и уважали его и опасались. А он не только рассказывал об удивительных книгах, но и лечил травами. Люди к нему ходили с поклоном, многих детей он возвращал к жизни. В начале нового века, когда родился младший Базов, Чепеллеу уже был неподвластен ни духовенству, ни тем более князьям,— он жил интересной богатой жизнью — и с Аллахом ладил, и с русской грамотой дружил. В его библиотеке, не уступающей низинным княжеским, наряду с книгами Востока, рядом с тафсирами, было множество книг русских писателей. Но особенно он любил сочинения Гоголя. Чепеллеу рассказывал про нос, якобы сбежавший от своего владельца и запрятавшийся в большом русском городе, в котором жил этот книжник Гоголь. Проходу не было потом от аульчан. Чепеллеу одолевал и стар и млад, в особенности в зимнее время, когда секинцам нечего было делать. Они приходили и просили: «Расскажи, Чепеллеу-эфенди, как в большом русском городе потерялся нос!» Он рассказывал, люди смеялись, но на следующий ве-

чер снова приходили и снова требовали, чтобы Чепеллеу-эфенди рассказывал о приключениях носа в русском городе. Ученый Чепеллеу рассказывал и о других героях Гоголя, о людях неожиданных, похожих на джииннов, смешных, незадачливых, глупых, очень даже похожих на секинцев и оттого легко запоминающихся, хотя земляки требовали, чтобы он еще и еще рассказывал о сбежавшем носе. Были среди секинцев и очень наблюдательные слушатели, которые вдруг обнаружили у своих соседей-сородичей черты, похожие на те, что описывал Гоголь. Так был окрещен Плюшкиным достопочтенный секинец Мурат, который всегда отказывался жертвовать на ремонт дороги, а пользовался ею не меньше других. Кличка так прилепилась к Мурату, что тот был готов убить окаянного Чепеллеу и сжечь его библиотеку. Бедняга мучился, не зная, правомерно ли с такой кличкой вставать на молитвенный коврик и произносить имя Аллаха. Такая вот была обстановка в Секи, когда родился у Базовых мальчик, будущий Гугул. На портрете этот русский книжник очень был похож на Базовых, так что почему бы не наречь новорожденного его именем! Но имя Гоголь трудновато поддавалось произношению, особенно не поворачивался язык Салауата, деда новорожденного малыша, и тут кого-то из Базовых осенила мысль переименовать имя русского писателя на балкарский лад, и назвать мальчика Гугул. Всем понравилось новое редкое имя, в том числе и Чепеллеу, предсказавшему мальчику редкую и завидную судьбу. Так к тому и шло. Гугул подрастал резвым, любознательным человеком, и дальновидный Чепеллеу направлял его на путь знаний. В 31-м Гугул уехал в низинный аул Батырач, где к этому времени открылась советская школа. Он успешно ее закончил, и Чепеллеу отвез его в Ростов, где в то время готовились национальные кадры и где он сам не раз бывал участником совещаний по проблемам просвещения горских народов. Гугул Базов мечтал стать учителем, а потом писать, как Гоголь, — теперь он сам читал его и ощущал трепетное чувство открывателяклада, о существовании которого знал давно, а увидел это умопомрачительное богатство впервые.

По глубинной сути своей жизнь в горах была такой же, какую описывал Гоголь, и, овладев тайной сочинительства, Гугул мог также увековечить быт и характеры горцев — своих земляков. На этом они стоял, но вернувшись в 39-м из Ростова, не застал в Секи ни Чепеллеу Базова, ни его библиотеку: дядя его был заподозрен и арестован, а затем разоблачен и расстрелян. Библиотеку его сначала опечата-

ли, потом собрали все книги с арабской вязью в кучу и сожгли на площади перед мечетью. Русские книги увезли. Гугул полгода бродил в горах, уединялся, но потом начал строительство школы. Он возводил высокие, мощные, толщиной чуть не в метр стены, за которыми должны были разместиться четыре просторных класса. Гугул считал, что в Секи школу следует возвести в три приема — сначала такую, потом пристроить еще четыре класса, а когда проложат настоящую дорогу и в горы придет техника, то надстроить второй этаж, как в городе. Окрыленный мечтой, Гугул Базов смотрел на свой аул сверху, с противоположного склона, и воображал его белостенным! Из убогих каменных нагромождений вырастал маленький сказочный город, с возвышающимися среди зелени садов и красивых жилищ храмами культуры. «Эх!» — кричал он и, точно спеша осуществить мечту, спускался со склона бегом. Он будет тут жить, учить детей и писать о жизни своих соплеменников так же весело и умно, как Гоголь...

— Эх! — громко вздохнула одна из женщин, и Гугул Базов перевернулся на спину.

Женщины подступали так, что пора было кончать дурачиться. И он, перекувыркнувшись несколько раз на голубоватой траве, встал на ноги. «Вернусь, дострою!» — крикнул он, мечтательно глядя на удивительно прозрачную стремительную речку, текущую вниз. Но в полдень 7 марта 44-го он стоял во дворе недостроенной школы на костылях — левой ноги ниже колена у него не было. За спиной, вдетая в наплечные лямки, горбом бугрилась его ноша — постель на троих: рядом с ним стояла его жена с грудным ребенком на одной руке, в другой она держала фанерный чемодан. Люди сгруппировались семьями, родами; старики стояли в безмолвной отрешенности; несколько мальчишек с палками стерегли навьюченных осликов. Пулемет на плоской крыше мечети был повернут в сторону школы, и солдаты, кроме тех, кто еще обшаривал дальние сакли, стояли поодаль, ждали команду. Люди глядели на них с немим останавливающим кровью вопросом, но солдаты молчали, не желая или не имея права вступать с ними в разговор. И все же, когда Гугул Базов на костылях и с ношей на спине подошел к сфинксеру и спросил: «По чьей воле совершается незаконие?», тот, не глядя на него, даже отойдя чуть в сторону, ответил:

— Наше дело вычистить аул, а там... пусть хоть с кашей вас съедят!

Кто-то из тех, кто встал до рассвета, успел разжечь

огонь в очаге, и теперь этот привычный запах кизячного дыма сводил с ума и без того пребывающих в страхе и неведении горцев. И когда во двор пригнали последнего старика, Касболата Боттаева, упиравшегося, желавшего умереть в своем жилище, и был дан приказ, никто не сдвинулся с места: люди стояли, завороченные дымом, густо и спокойно поднимающимся над проклятой крышей чьего-то дома, люди стояли оцепенелые, немые. Но грохнул для острастки пулемет на крыше мечети, от гулко-го эха содрогнулись горы, и взвился к небу пронзительный женский крик, будящий оглохших аульчан. Тогда и двинулся народ по узкой пешеходной тропе над высокогорьем — женщины, дети, старики с палками, вернувшиеся с войны инвалиды, ишачки и солдаты с автоматами через каждую десятку. Только непонятно было, зачем автоматы, винтовки — толкни этих людей легонько с крутой тропы, и сами бы скатились по каменистому склону вниз, а там канули бы в пропасть. Но шла узкая скорбная колонна, то сучиваясь на особенно крутых поворотах, то растягиваясь в цепочку. Как бы ни торопили солдаты, быстрой ходьбы не получалось, потому что начался мелкий колючий дождь со снегом, и тропа раскисла. Гугул Базов шел где-то в середине колонны, за ним жена с дочкой на одной руке и с тяжелым чемоданом — в другой. Кто-то падал, приходилось его ставить на ноги, — и это тоже замедляло движение. Уже совсем не мог идти Касболат Боттаев, его поддерживали, почти несли на руках, а передохнуть солдаты не давали, все торопили: если б могли, то погнали бы бегом. Гугул останавливался, шапкой вытирал пот со лба и, сильнее опираясь на левый костыль, смотрел назад, на оставшуюся вдаль школу. Веки его распухли, правда, слез он никому не показывал; его преследовал запах кизячного дыма. Гугулу казалось, что и Касболат слабеет по мере того, как удаляется от этого родного с детства дыма. Аул уже скрылся из виду, а над склонами, как ни в чем не бывало, поднимался сизый спокойный дымок и ветер гнал его вслед уходящим. Когда Гугул Базов крикнул «остановитесь», тропа над пропастью кончалась и начинался крутой спуск, — уже за пределами земель Секи, со всеми его травянистыми склонами, оврагами, скалами, старыми кладбищами, каменистыми осыпями. Сюда уже не долетал дым родного очага. Аркес рассказывал, что это было единственным нарушением дисциплины с самого утра. Унылая и темная процессия остановилась над пропастью, а Гугул Базов крикнул еще оглушительнее:

— Если нас влекут на позор, то встретим его здесь! Если на гибель, то здесь и погибнем!

И он двинулся обратно. Старался покрепче упираться в землю костыль и потверже ставить ногу. На пути у него встал солдат, безмолвный, неумолимый. Держа автомат в правой руке, левой он попытался повернуть Гугула назад. Гугул Базов сказал солдату: «Не трогай!» Но солдат толкнул его еще грубее. Гугул Базов упал, а два других солдата быстро подняли его и уже хотели сами его повести, встав по обе стороны, но при костылях и тяжелой ноше на спине, взяться за его локти оказалось не просто, да и он сам не давался им в руки. Гугул Базов снова повернул назад, точно упругое деревце, пригнутое к земле, а затем отпущенное, и увидел перед собой уже два автомата, направленные ему в грудь, где под кожаной курткой на армейской гимнастерке висели два ордена. Тогда он упал и покатился вниз, — Аркес не мог точно сказать, то ли он сам этого хотел, то ли поскользнулся, ну да Бог тому свидетель, он упал, покатился вниз с двумя орденами, двумя костылями, двумя братьями, счастливо погибшими на фронте и еще с тяжелой ношей на спине. Свалившись с тропы, он катился вниз по скользкому крутогорью, как вязанка хвороста. Колонна остановилась в ужасе, а через мгновение подступила к опасному краю, как бы готовая последовать за Гугулом. Двое подростков сделали отчаянную попытку спуститься по склону, чтобы удержать, спасти человека, но затрещали автоматы, прозвучали крики родителей, и мальчики остановились в нерешительности. А тем временем Гугул Базов катился вниз по скользкой траве, жену его держали двое солдат. Все услышали как треснул, сломался костыль, а потом тяжелое падение внизу отдалось глухим эхом в скалах. Обезумевшая женщина рванулась, высвободилась из солдатских рук — сначала одно только желание было у нее — броситься вслед за мужем, но вдруг она застыла на долю секунды и, кинув ребенка на склон, вцепилась в одного из солдат, стала валить и тащить его с собой. Свалила, скатилась вместе с ним на несколько шагов вниз, но солдат оказался парнем проворным, сумел удержаться за камень и, разжав руки уже ничего не видящей женщины, выкарабкался наверх. Аркес не знал, не мог в точности сказать, стреляли бы в женщину, если бы она попыталась снова выбраться на тропу и потащить за собой в пропасть кого-то из солдат. Наверное, выстрел все же должен был прозвучать, иначе зачем в мирное селение приходят солдаты с винтовками, окружают его, ставят на крыше мечети

пулемет, а потом по одному, по двое выводят людей из собственных жилищ и гонят их по крутой тропе неизвестно куда и неизвестно за что.

— Конечно, застрелили бы! — сказала одна из женщин. — Но и здесь проявилось всевидение и всемирение Аллаха: женщина сама скатилась, сама упала в пропасть. Тогда мы спохватились и вспомнили о ребенке. Оно же, это хранимое Богом дитя, упав на куст можжевельника между двумя камнями, спало безмятежно. Взяв его в руки, мы подивились тому, как девочка оставшаяся круглой сиротой, не прожив еще годика на свете, круглолице улыбаясь во сне, была такая румянюнькая...

— Может, сам Аллах устроил таким образом, — предположил Аркес. — Что ждало безногого человека с женой и грудным ребенком на неведомом пути?

Нет, Аркес, — отозвался Хамзат после некоторого молчания. — Я тоже так думал... Был момент, когда мне показалось, что поезд идет в подземелье, что он выплюнет нас в море. Я радовался избавлению... Но нынче утром, как увидел детей, вот этих мальчиков и девочек... Нет, Аркес! Надо терпеть! И... беречь детей. Почему вы спасли ребенка? Я вижу, все секинцы заняты девочкой. Разве народ, который обречен, станет спасать своих детей?!

— Ай... — только и сказал Аркес.

К вечеру секинцев пригнали в долину хуламской Карасуу. Поляна была широкая, сырая от талых вод. Люди расположились цыганским табором: разводили костры, устраивались на ночь. Хотя и наступила весна, все же было холодно, так что и солдатам нелегко было стоять с оружием в руках, не смея ни присесть, ни прилечь: вдруг какой-нибудь мальчуган или мятежный пастух вздумает в лес удрать, а там ищи-свищи! Не к ночи будь сказано, убежавший и стрелять может... Солдаты, заранее враждебно настроенные к этим людям, были уверены, что никто из этого народа не воюет, не проливает крови — своей и вражеской, ни один мужчина не встал с оружием в руках за родину, а все скрываются по лесам, как волки, и только и делают, что стреляют в советскую власть.

— Да нет, не могли они так думать, — Хамзат все еще надеялся на неведение там, наверху.

— Ну да, меня гоняют за то, что борода моя запущена, — горько сказал Аркес.

— Верно! — поддержал его Хаджибекир.

— На следующий день, ранним утром 8 марта умер Касболат Боттаев, самый старший в роду Боттаевых, — про-

должал свой рассказ Аркес. — Счастливец тоже. Хадж совершил, уезжал и возвращался. До старости лет прожил и умер на своей земле... — Голос Аркеса задрожал, он потянулся за Кораном, снова оставил его и, сжав губы, просидел минуты две молча. — У дороги и схоронили его. Новое кладбище зачинали. Тут загудело ущелье, и вскоре появились машины. Слава Всевышнему, успели свершить последнюю молитву над могилой Касболата...

— Аркес... они остались непохороненными?

— Кто? — Аркес был слегка раздражен: ведь Хамзат спрашивал так, словно имел в виду всех непогребенных на этом свете.

— Гугул и его жена, — вздохнул Хамзат. — Может, они живыми остались на долгое мучение?

Одна из женщин рода Базовых заплакала, а Бияслан стал громко читать иманшагадат — предсмертную молитву.

Из всех бед, которые мог себе представить теперь Хамзат, самой жестокой казалась та, когда живые не могут захоронить своих близких; смириться даже с мыслью, что человек близ людских жилищ может остаться непреданным земле, было невозможно. Сколько войн он видел, сколько смертей, но ни разу не было так, чтобы люди проходили мимо лежащего на земле трупа, пусть бы даже трупа врага смертельного. На нелегком своем веку Хамзат часто оказывался свидетелем того, что человек, способный содейть зло, очень часто бывал и способен на великое участие в судьбе поверженного, пусть даже его собственной жертвы. Каким образом и когда совершается этот нравственный перелом в человеке, Хамзат не знал, но мысли о том, что человек, каким бы он ни был, может оставить себе подобного гнить на земле, он не допускал.

Смерть сама по себе не являлась для Хамзата концом света, наоборот, он считал ее естественной, необратимой, приходящей к каждому в свой срок, но вот оставить человека непогребенным — это казалось ему противоестественным, противным человеческой совести и праву человечества жить на земле. Потому и изменился он в лице, услышав, что люди прошли там по тропе торопливо, без передышек, точно спасаясь от землетрясения. «До чего довели людей, — подумал он. — А мы стадо и есть, давно уже стадо...» И ведь, верно, бежали по тропе люди испуганным стадом. Им, наверное, казалось, что Гугул с женой, сорвавшись с обрыва, оборвали и ту нить, которая связывала их с тем высокогорным аулом, где кроме камня и тяжелого труда ничего не было, если не считать этот некстати и злонамеренно вьющийся

им вслед кизячный дымок. И люди бежали, будто и впрямь сорвались с привязи, будто хотели поскорее отдалиться от своего порядком осточертевшего каменного становища. Бежали в паническом страхе, словно опаздывали, не успевали к ожидающим их небесным колесницам. «Но как же так,— думал Хамзат,— может, беда заставила нас считать благом то, что всегда считалось злом? Или мы просто потеряли разум? Стали неподверженными никаким земным переживаниям? Тогда были фашисты, и мы не могли взять у них тело дочери... Мертвое тело дочери... А тут? Свои же?! Живые, глядя на Атто, на его мертвое святое тело, забыли что мы люди! Поспешили забраться в машины? И вот секинцы... Что с нами стало, если из всех живых никто не мог поставить свою жизнь под автомат ради того, чтобы выполнить свой человеческий долг, оставить неумирающим хотя бы этот человеческий долг!» Истерзанный тяжкими думами, Хамзат воскликнул:

— В конце концов, там были солдаты... они обещали... Шаваяев не понял, спросил:

— Внизу, что ли? — Хамзат совсем замолчал, не зная, что сказать, а Шаваяев добавил,— накануне там были солдаты, внизу. Мы подумали, что они ищут беглецов... А беглецов-то из нашего села и не было. Может, были из других аулов, но из Секи никто не убежал, да и куда бежать и зачем?

— Нет, Аркес,— возразил Хамзат.— Мы все стали мертвыми, потому что потеряли память.— Аркес посмотрел на бывшего партизана с удивлением, но Хамзат продолжал: — Необходимо зарыть человека в землю, чтобы была могила, а над могилой необходимо поставить камень, чтобы живые говорили: «Вот это могила Гугула Базова». Иначе как сохранится память у людей? К памяти надо относиться бережнее, чем к бранным нашим телам...

Наверху плохо становилось Бияслану, Налмас просила воды, но воды в вагоне не было. «Хоть бы тряпку намочить, губы освежить больному»,— слова Налмас звучали, как молитва, не доходящая до Всевышнего.

А Хамзат твердил свое:

— Память должна быть бессмертной, ведь только ее мы можем завещать детям, и только память делает народ долговечным...

С возрастом Хамзат ощущал особую душевную обеспокоенность о последнем дне человека, о его похоронах. И чем дольше он жил, тем тревожнее становилось, потому что резкое улучшение жизни в горах совсем не свидетельствовало

об улучшении нравственного здоровья. Наоборот, обесценивались некоторые извечные, священные человеческие обязанности по отношению к своим ближним. Особенно это касалось воздаяния последних почестей умершему. Хамзат не устал говорить сыновьям, что это плохо — не молиться над умершими, не совершать над ними все ритуалы и обряды. Но после того, как по эшелону пронесся слух о том, что умерших оставляют на кратких стоянках и не дают хоронить, а то и просто выбрасывают на ходу, душевная его обеспокоенность особенно усилилась. Он вздрагивал от одной мысли, что и сам может остаться на поверхности земли, на растерзание хищным тварям. И хотя он понимал, что человек не всесилен, не все узлы, завязанные жизнью, он может распутать или разрубить, не всегда может идти той дорогой, по которой хотелось бы идти, но вот этот нынешний узел, завязанный не то чтобы жизнью, но какой-то тайной злойшей силой, представлялся ему вообще запредельным для разума людского, и он терял голову и отчаивался. «Суу! Капельку воды!» — стонала наверху Налмас. Со слезами смотрела на нее Мадина. Галдели и плакали дети, они просили еды, а у дверей с автоматом стоял сержант, тоже усталый, голодный и оттого ненавидящий всех: и тех, кого сопровождал, и тех, кто заставил его нести эту собачью службу.

— Советскую власть благодарите! Она вас к счастливой жизни ведет! — Это злорадствовала Марифа, жена полицая Шоштара.

Никто не ответил ей. Никто не выразил согласия, но никто и не возмутился.

— Ты плакал, Хамзат, — сказал Аркес, с трудом скрывая свое волнение. — Смягчил сердце слезами, чтоб легче было оторвать от... И я думал, все слезы мои высохли. Нет, не все...

Хамзат посмотрел на Дахий — гордая, веселая была женщина, смуглая красавица. Теперь хоть не гляди — груда скомканного тряпья затаилась в углу. Аркес и сам выглядел не лучше. Он был сравнительно молод, моложе Хамзата, а на вид совсем дряхлый. В 19-м партизанский отряд стоял в окрестностях Секи. Аркес подтаскивал к своему двору глыбы на волокушах — строил дом. В Секи только из камня и ставили жилище, а он был у секинцев в великом множестве — податливый и красивый. К тому времени родители захотели, чтобы Аркес выделился в отдельный дом, и молодой семьянин на краю села, у подножья крутого утеса, разровнял — выдолбил площадку, заложил фундамент.

Однажды Хамзат помогал ему. В тот день отряд должен был совершить переход из Секи через плато Иллячи в верховье Черекского ущелья, где ожидались решительные события, но разведка принесла данные, из-за которых выступление пришлось отложить. Отряд вынужден был остаться в окрестностях Секи еще на несколько дней, и Хамзат мог заняться в эти дни полезным делом. Он и пошел к своему кунаку, которого застал за работой. Весь день они раскалывали камни, тесали их. Им помогал сын Аркеса, лет десяти, или чуть старше, смекалистый, быстрый. Он поднимал камни не по возрасту, и Хамзат ругал мальчишку. Имелись ли тогда у Аркеса еще дети, Хамзат не знал — братья Шаваевы жили вместе, большой семьей, детей — полон двор, кто чей сын или дочь — не разобраться.

— Вижу, только Дахий да тебя... А тогда мальчишек полный двор джигитовало...

— Да, Хамзат, Аллах дал нам троих сыновей, да всех троих и забрал обратно...

Хамзат пожалел, что затеял этот разговор, будто своих сыновей приберег. Но Аркес сказал:

— Все поровну, Хамзат, и позор и слава...

— Как так?

— Тот, который в 19-м при тебе камни таскал... Таусо, старший... Лежит где-то на Украине. О нем писали, погиб как герой. Не знаю, какой героизм может проявить человек, который до войны и за порог дома-то своего не выходил... — Хамзат молчал. Он считал иначе: кто больше привязан к своему порогу, дому, тот как раз и может что-то проявить. — Второй сын, Чотай, пропал без вести, — сказал Аркес. — Может, попал в плен? — Хамзат опять не ответил, а лишь определенно как-то подумал: «А может, остался непохороненным»... — На всех нарах снова установилась гнетущая тишина. Только Дахий тихонько хныкала по-детски. — Но согнули нас не они... Не они, Хамзат, а младший. Наш мальчик сплеховал. Сбежал. — И Хамзат увидел в потускневших глазах Аркеса слезы. — Вскоре он воротился домой, но поймали его и расстреляли. Стыдно, Хамзат, но такой красивый мальчик был... — Аркес потянулся за Кораном, на этот раз раскрыл его, но, прежде чем приступить к священному чтению, сказал: — А то и правильно, что Таусо лежит в украинской земле, Чотай пропал без вести... К чему им было возвращаться домой? — И посмотрел прямо в глаза Хамзату. — Ну к чему было возвращаться Гугулу Базову на родину? — Хамзат положил руку на плечо Аркеса, а Хаджи-

бекир, глухо выговаривая слова в ватный подбородок, выдавил:

— Лучше бы все мы погибли на войне! Сожгли бы фашисты наши селения, уничтожили бы от малого до великого, как это делал хан Бату. Народ, погибший на войне, остается в памяти других народов. А что от нас останется?

— Лучше гибель от чужеземцев, чем истребление от своих! — согласился Басир.

3.

К ночи Бияслану стало хуже. Налмас попросила Хаджибекира быть рядом: в темноте нелегко было пробраться к ним, да он еще боялся оставить Мадину—вдруг в эту ночь она опять...— И все же он соскользнул с верхних нар, и люди почти на руках передали его сестре. Однако все были душою рядом с Биясланом — из взрослых мужчин никто в эту ночь не спал.

Когда снова наступило утро, и сержант открыл двери вагона, Хамзат увидел осунувшееся безжизненное лицо Бияслана: пред его усталым взором предстал измученный, нищий, слепой пророк... В ушах Хамзата звучало священное чтение, которое ни на минуту не прекращалось в эту ночь, и он вспомнил выжженную солнцем измирскую степь, только теперь там умирал не отец его, а некий мухаджир или мессия Мусса и умирал он в окружении своего затравленного племени, взывающего к возмездия...

«Надо записать имена,— вдруг подумал Хамзат.— Здесь собрались жители почти всех ущелий, так что надо записать. Кто знает, что нас ждет впереди...» Хамзат обратился к старшему сыну той женщины, которая приютилась с двумя сыновьями и девочкой на верхнем ярусе нар.

— У тебя бумага есть? — спросил он парнишку.

— Есть! — сказал он, словно ожидал такого вопроса, а потом и удивил Хамзата, будто прочел его мысли.— Я уже подсчитал: в нашем вагоне семнадцать семей! — Мальчик соскользнул вниз и достал из кармана сложенную вдвое школьную тетрадь.

— Запиши все подробно,— сказал ему Хамзат.— Перечисли каждую семью в отдельности, имена, возраст. И дальше все, что будет с нами в дороге... Как тебя зовут? — спросил Хамзат, а парень ответил «Али!» — И вот, Али, не потеряй эту тетрадь... — И шепотом: — Видишь, Бияслан умирает. Начни с него...

Пройдет тринадцать лет, и Музафар женится на сестре Али Фатиме. Она преподнесет ему густо исписанную, во-

бравшую всю историю не только 13 вагона, но и всего эшелона, тетрадь брата, преподнесет как свой свадебный подарок. Пройдет еще сорок лет, и тетрадь Али послужит основой трагической книги о тех страшных днях, которые будут потрясать всех живущих, покуда в душах людских сохранится способность к состраданию. А тогда он, семилетний внук Хамзата, с завистью смотрел на Али, который умел писать.

Разгорался день 10 марта. Поезд мчался на восток.

Было что-то священное, обнадеживающее в том, что делали Хамзат и Али. Все смотрели, затаив дыхание, называли себя, своих детей, близких, живых и мертвых. И было в этом еще что-то объединяющее, дающее им силу вынести любую дорогу... Вот они, первые страницы той школьной тетради:

1. Семья Кайбергеновых. Из Жамауата.
Бияслан, глава семьи, 74 года, болен.
Налмас, жена его, 68 лет.
Сыновья: Абу Кайбергенов, 36 лет, на фронте.
Ажок } близнецы, 30 лет, погибли на фронте.
Азгор }
Ако Кайбергенов, 28 лет, погиб на фронте.
Аубекир Кайбергенов, 25 лет, на фронте.
Аккуш Кайбергенов, 23 года, на фронте.
Ачах Кайбергенов, 20 лет, на фронте.
2. Семья Чаровых. Из Секи.
Кайыт, глава семьи, слепой от рождения, 57 лет.
Дарийна, его жена, 59 лет.
3. Семья Омаровых. Из Жамауата.
Харун, глава семьи, 42 года, замучен, заживо захоронен фашистами.
Жансарай, его жена. 42 года.
Дочь Ауалиат, 17 лет.
Сын Шакман, 14 лет.
4. Семья Рахаетых. Из Секи.
Сеит, глава семьи, 27 лет. Погиб на фронте.
Жансурат, его жена, 22 года.
Дочка Асият, полтора года.
5. Семья Рахаета Азаткула. Из Секи.
Азаткул, глава семьи, 31 год, на фронте.
Назифа, его жена, 30 лет.
Дочери: Саният, 4 года,
Сафият, 2 года.
6. Семья Рахаета Бекболата. Из Секи.
Бекболат, глава семьи, 58 лет, бессменный бригадир

колхоза «Светлый путь», участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Чукай, отец Бекболата, 86 лет приблизительно. Беззубый, сидит жует воздух. (Это добавил от себя Али). Жулдужхан, мать Бекболата, вторая жена Чукая, первая умерла.

Примерно 60 лет, а сама она сказала: «Спроси Аллаха!»

Анисат — жена Бекболата, примерно 50 лет.

Сайда — замужняя дочь Бекболата, 27 лет.

Хауа — дочь Сайды, 9 лет.

Хура — дочь Сайды, 7 лет.

Чаукаш — муж Сайды, зять Бекболата, пропал без вести под Смоленском.

Хаким — сын Бекболата. «Мичман! — сказал Бекболат. — Воюет на Балтике. Ему всего 25 лет, а он уже мичман!».

Акбийче — жена мичмана Хакима. Самая красивая женщина в вагоне. (Это тоже позволил себе вольность наш переписчик).

Шамиль — сын Хакима, 3 года.

Шамда — дочь Бекболата, 14—15 лет. (На нее Али посмотрел внимательно: «Имя-то красивое, но сама... худая, долговязая, как палка в платье». Пройдет время и Али с удивлением вспомнит этот день и то, как внимательно вглядывался он в каждое лицо из семьи Бекболата Рахаева, — ведь Шамда уже перестанет ему казаться долговязой и похожей на палку в платье).

7. Семья Базовых. Из Секи.

Чепеллеу. Глава семьи. Арестован в 1937 году в возрасте 58 лет. Расстрелян в том же году.

Шаухал — старший сын Чепеллеу, раскулачен в 1932 году и сослан с женой, двумя сыновьями и дочерью.

Шамайыл — глава семьи после ареста отца. Был старшим чабаном колхоза «Светлый путь». В 1939 году стадо, настигнутое бураном в горах, погибло, сам Шамайыл найден под заносом, еле живым доставлен в районную больницу, где вылечили и поставили на ноги. В 1940 году арестован и сослан в Сибирь на десять лет за вредительство.

Жансурат — жена Шамайыла, 37 лет. 23 мая 40-го на общем собрании колхозников «Светлый путь» ее ли-

шили права голоса и всех других прав, как жену вредителя.

Шейван — сын Шамайыла, 17 лет,

Жанхот — сын Шамайыла, 12 лет,

Сурат — дочь Шамайыла, 9 лет.

8. Семья Базова Гугула. Из Секи.

Гугул Базов, глава семьи, 28 лет. Погиб при спуске из Секи в долину.

Аминат, жена Гугула, 24 года. Погибла при спуске из Секи в долину.

Аманат, грудная дочь Гугула и Аминат. Это имя дали ей в вагоне, прежнее имя девочки никто не знает.

9. Семья Боттаевых. Из Секи.

Касболат, глава семьи, умер в пути в возрасте около 90 лет.

Кудас, жена Касболата, более 80 лет.

Шаваз, старший сын Касболата. В возрасте 40 лет в 1932 году раскулачен, сослан в Среднюю Азию с женой, тремя дочерьми, двумя сыновьями и девочкой-сиротой, которую воспитывал.

Шабатай, второй сын Касболата, 49 лет, на фронте.

Мажир, внук Касболата, сын Шабатая, 27 лет, на фронте.

Махит, внук Касболата, сын Шабатая, 24 года, на фронте.

Мисирхан, жена Мажира, 25 лет.

Ахмат, сын Мажира, 6 лет.

10. Семья Шаваевых, из Секи.

Аркес, глава семьи, 56 лет.

Дахий, жена Аркеса, 50 лет.

Таусо, сын Аркеса, погиб на фронте.

Чотай, сын Аркеса, пропал без вести при форсировании Днепра.

Чора, сын Аркеса, сбежал с поля боя, скрывался в горах, арестован в 1943 году, расстрелян в 18 лет, как предатель.

11. Семья Ышановых. Из Жамауата.

Хаджибекир, глава семьи, 59 лет, инвалид войны.

Айшат, вторая жена Хаджибекира, 51 год.

Мадина, дочь Хаджибекира от первой жены, 19 лет.

Чаукаш, сын Хаджибекира, 16 лет.

Тукум, сын Хаджибекира, 13 лет.

Азиза, дочь Хаджибекира, 11 лет.

Аслижан, дочь Хаджибекира, 8 лет.

Нальбике, дочь Хаджибекира, 5 лет.

12. Семья Чоттаевых. Из Жамауата.

Шоштар, глава семьи, 56 лет, полицей, ушел вместе с немцами.

Марифа, жена Шоштара, 52 года.

Светлана, дочь Шоштара, 24 года.

Люба, дочь Шоштара, 22 года.

Клара, дочь Шоштара, 20 лет.

Надежда, дочь Шоштара, 17 лет.

Лена, дочь Шоштара, 14 лет.

13. Семья Алатановых. Из Белой Речки,

Якуб, глава семьи, 42 года, на фронте.

Джюзюм, жена Якуба, 36 лет.

Али, сын Якуба, 16 лет.

Магомет, сын Якуба, 13 лет.

Фатимат, дочь Якуба, 4 года.

14. Семья Геузовых. Из Жамауата.

Байчо, глава семьи, возраст свой не знает, никогда не знал, неизменно отвечает: «Кто считал свои годы!» Примерно 60 лет.

Дауус, жена Байчо, примерно ровесница мужа.

Азинат, дочь Байчо, замучена, заживо захоронена немцами под Нальчиком в возрасте 23 лет.

Хаким, сын Байчо, 20 лет, на фронте.

Лазимат, дочь Байчо, 18 лет.

Разият, дочь Байчо, 15 лет.

Хасан } близнецы, 13 лет.

Хусей } близнецы, 13 лет.

Топас, дочь Байчо, 11 лет.

Тюйме, дочь Байчо, 9 лет.

Агвер } близнецы, 7 лет.

Ахмат } близнецы, 7 лет.

Шайтыу, сын Байчо, 5 лет.

Шамчырак } близнецы, 3 года.

Балчырак } близнецы, 3 года.

15. Семья Бирсовых. Из Куркужина.

Басир, глава семьи, 29 лет.

Ариужан, жена Басира, 22 года.

Асият, дочь Басира, 4 года.

16. Семья Кушжетеровых. Из Жамауата.

Хамзат, глава семьи, 58 лет.

Хорасан, жена Хамзата, примерно ровесница мужа.

Мусса, старший сын Хамзата, погиб в стычке с

вражеским десантом в 1942 году в верховьях Черекского ущелья, в местечке Тытырташ.

Мустафа, средний сын Хамзата, 31 год, на фронте. Арийпа, дочь Хамзата, 21 год, замучена фашистами. Мухтар, младший сын Хамзата, в неполные 17 лет ушел добровольцем на фронт.

Лейла, невестка Хамзата, жена Мустафы, 24 года. Музафар, внук Хамзата, сын Мустафы, идет 7 год.

17. Семья Мариям. Из Жамауата.

Единственная. Вся семья и дом погибли при бомбежке.

Поезд замедлял ход, сержант поглядывал вперед на дорогу, держась за поручни вагонных дверей. Когда состав наконец остановился, он сказал:

— Приготовить чашки-ложки, у кого что есть.

Наступил полдень. Дети уже давно плакали, прося еду. Делились всем, у кого что было, но ничьих запасов не могло хватить надолго. Так что призрак голода становился все отчетливее, и потому слова сержанта были единственной радостной вестью за все последние дни. Вскоре степной ветерок занес в вагон запах чего-то вкусного, горячего. На нарах зашумели, зазвенели мисками, ложками. Эшелон стоял у разрушенного вокзала. Умеющие читать пытались разобратся в буквах, уцелевших на карнизе павильона, но так никто и не смог разобраться, какой это был город. Между тем на привокзальную площадь на конных упряжках прикатали армейские полевые кухни, и солдаты, наполняя бачки чем-то жидким из котлов, стали бегом разносить их по вагонам. Это был борщ, он аппетитно дымился, но солдат наливал только по одному черпаку, какую бы посудину изгнанники не выставляли. Другой солдат разносил хлеб и выдавал на каждого по одному тонкому липучему ломтику.

4.

Через день я уже знал всех мальчиков и девочек в вагоне по именам. Уже было легче, не то что в первое время, — на нарах стало просторнее, мы могли переходить из одного места в другое. А после того, как на одной остановке сержант ушел куда-то, Мефодий, белобрысый, голубоглазый солдатик выбил по одной досочке из каждого окошка, стало светлее. Так что было даже весело. За эти дни мы обжили

вагон, как-то устроились по-домашнему, сошлись семьями. Это другое дело, а то страшно было даже смотреть на скучные и сердитые лица. Я тихонько спрашивал у деда, почему люди так горюют и плачут? А он удивился — почему я у него такой глупый! Ничего подобного, взрослые просто не понимают, какое это счастье сидеть у окна мчащегося поезда и видеть, как уплывают назад, будто по быстрой реке, поля и леса, болота и селения. Мы видели однажды составы, нагруженные новенькими танками! Вот это было зрелище! И столько танков. Мы даже спорили, сколько каждый наш танк может уничтожить вражеских «тигров». Да, я подружился с Ахматом, он, как и я, считает, что это хорошо ехать на поезде, пусть он и не такой красивый, товарный даже, все равно, хорошо, потому что это вроде бы как летишь! Мать Ахмата ни на шаг оначала не отпускала его от себя, чуть что, начинала звать и это очень нам мешало, особенно когда поезд останавливался и нам выпадал случай побегать вдоль состава. Поезд идет днем и ночью, один раз в сутки приносят нам еду, некоторые кое-что покупают на станциях, ну, там вареную картошку или буханку хлеба и раздают детям. В вагоне, но не во всем вагоне — он же большой, разделенный на четыре части четырьмя нарами, а я говорю о наших нарах — всегда все общее. У нас только семья Шоштара живет сама по себе. Марифа с пятью дочерьми завтракает и обедает отдельно, а ужинает после того, как все в вагоне засыпают. У них еда вдоволь, да и постель под ними мягче, теплее. Так говорит моя мама, но вообще даже на них не смотрит. И никто с ними не разговаривает. А вообще, чем дальше мы едем, тем разговорчивее и веселее становятся люди. Только одно плохо — болезнь Бияслана. Еще дома я слышал, что Бияслан стал болеть на второй день после того, как получил сразу две похоронки — на Ажока и Азнора, а дедушка говорил, что он еле держится на ногах. В тот день 8 марта в машине он оказался на продуваемом месте, никому ничего не сказал, не стал прикрываться чем-нибудь. На площади вокзала он уже был в жару, мутными каплями выступал пот на лбу, но хоть и опирался обессиленно на Налмас, опять не жаловался, молчал. А тут в вагоне его уложили на верхнем ярусе, укутали, подоткнули всем, чем могли, лечили всем, что имели, нашли даже медвежье сало и напоили им трясущегося, как в лихорадке, старика, но ему все равно с каждым днем становится только хуже. Я так думаю, в вагоне все уже знают, что Бияслан скоро умрет, только об этом не говорят вслух.

Еще что мы, мальчишки, открыли в эти дни, так это номер нашего вагона. Когда поезд замедлял ход, на изгибе дороги кому-то из нас удавалось просунуть голову в оконный проем и увидеть весь состав от первого до последнего вагона. Так вот, когда была моя очередь просунуть голову в окно, я так изловчился, — все были заняты Биясламом и на меня никто не обращал внимания, — так вот я почти до пояса высунулся наружу и увидел большую фанерную досочку, окрашенную в черный цвет, и на ней было начертано жирным белым мелом число 13. Не знаю зачем, но я крикнул: «ТРИНАДЦАТЬ!». Никто не догадывался тогда, что оно означало для нас, это число ТРИНАДЦАТЬ, поэтому удивило людей не число ТРИНАДЦАТЬ, а мой крик, — то ли испуганный, то ли восторженный, он, наверное, всполошил взрослых, потому что в следующую минуту меня кто-то затащил назад, а женщина внизу разразилась проклятьем:

— Чтобы язык твой отсох, чтоб крик твой заглох!

Было очень обидно, ведь ничего плохого я не делал. Слезы навернулись на глаза, и это число ТРИНАДЦАТЬ раздваивалось, расчленялось, пока не расплылось на всю длину поезда, и все вагоны вместе с паровозом, все овраги, поля, озера не оказались отмеченными этим числом, но теперь уже не мелом, а жирной черной краской, которая тоже расплывалась, растекалась по краям, струилась черными ядовитыми потоками по лицам обидевших меня людей. Потом я целый день молчал, ничего не хотелось ни делать, ни говорить, только думал все время — какая же огромная разница между взрослыми и мною... Даже дедушка, который всегда понимал меня с полуслова, здесь, в вагоне, повел себя как-то странно: молчал, вздыхал, а то что он, самый сильный, самый терпеливый среди всех взрослых Жамауата, вдруг заплакал — это Бог знает, какой был позор! Я не то чтобы высунуться в окошко до пояса, вообще готов был исчезнуть, провалиться через дыру в загородке, чтобы не видеть дедушку плачущим. К той обиде прибавилось и это, так что жить мне стало совсем не весело и не интересно. Мать привлекла меня к себе, и я так и уснул на ее коленях. Не знаю, много ли проспал, но меня вдруг разбудили звуки гармони. Я вскочил: это Мариям играла на верхних нарах. Мариям — одинокая женщина, никого у нее нет, ни родителей, ни мужа, ни братьев, ни детей. Я хорошо помню тот день, когда сидел на пороге и ссорился с бабушкой, потому что наступали немцы, а она меня не отпускала на улицу. Но когда самолет пролетел, и

бомба упала на нижней улице, я сорвался с места и побежал. Только воронку и грудку камней мы видели на месте дома, где жила гармонистка Мариям. Там погибли отец, мать, младшая сестра Мариям, сама же она ходила в тот день за своей гармошкой казанской, которая с весны еще оставалась у подруги в Ёзен-ауле. Бабушка, наверное, жалела Мариям, как-то заботилась, приближала к себе. Сама же Мариям не расставалась со своей гармошкой, будто приросла к ней. «Дура, только гармошку и взяла!» — так однажды сказала одна из женщин, но моя мать рассердилась: «А что она могла взять? Что ей оставили изверги?!» Это было, наверное, правдой, потому что после слов моей матери глупая женщина стыдливо приумолкла.

Так вот, на верхних нарах Мариям заиграла на гармошке. Это был, кажется, третий день пути, а Мариям возьми да сыграй! Что тут было! Со всех сторон на нее кинулись с упреками, такое горе, мол, а ты играешь! Словно мы на свадьбу едем! «От горя и играю!» — вот что она ответила. Очень красивая женщина Мариям, ну как моя мать! То, что молчаливая, так ведь пережила-то какое горе, это мне говорила бабушка. Мариям играла, даже стон Бияслана наверху прекратился, а дед с Аркесом молчали. Не то чтобы молчали, а здорово слушали. А когда Мариям отложила гармонь и с плачем упала на чью-то грудь, дедушка вышел на середину вагона и сказал:

— Спасибо, дочка! Успокоила нашу боль, утешила наши сердца! Очень это нужно в тяжком пути...— И, помолчав, обратился ко всем сидящим на нарах:

— Если не забудем, что мы люди, то все вынесем! Если не потеряем веру, то выживем! — И я запомнил эти слова, как и то число 13 на черной фанере. Люди так деда слушали, что я простил ему то, что он плакал на виду у всех. А дед еще подумал и добавил:

— И смерть не нова, и насилие не ново... В старых книгах написано, и пророк видел под солнцем... Искал он суда, а видел беззаконие, искал он правды, а видел ложь. Вот и мы тут... Надо благодарить судьбу, что среди нас есть Мариям. Она хорошо играет. Слушая наши родные напевы, мы сохраним наше здоровье, а оно необходимо нам теперь, как хлеб и вода...

Молодец, дедушка! В последние дни я его побаивался, особенно после того, как он вернулся из Гебчоры. Угрюмый какой-то, задумчивый. Я говорю, это же хорошо, другие земли увидим, а он: «Свою землю не увидишь!». Так он

никогда со мной не разговаривал. А теперь, когда он заступился за Мариям и вернулся на свое место, я обнял его за руку, дав понять, что я ему все простил, а он, оказывается, не забыл мои слова насчет других земель, потому что погладил по голове, как прежде, и сказал:

— Видеть другие земли хорошо, когда переполненный ими, возвращаешься на родину. А то, что ты говоришь, не путешествие, а наказание, пытка чужбиной!

И тогда закрался в мою душу этот страх. Не тогда, когда дед рассказывал, как он в молодом возрасте осмелился на побег с чужбины, а теперь, после его слов о наказании, о пытке, во мне поселился страх невозвращения домой! Такой страх, случается, одолевает, когда ты, поднявшись вверх по скале, вдруг обнаруживаешь себя будто в западне: вниз глянешь — в глазах темнеет, вверх помотришь — над тобою выступы недоступные нависают. Я помню, меня звала дорога, но чем дальше я уходил, тем больше я испытывал этот страх, что не смогу вернуться домой. Я вспомнил: такой же страх я испытывал в тот день, когда, услышав о том, что немцы вошли в ущелье, бежал к деду на мельницу, чтобы допытаться у него, правда ли это. Я был уверен, что дед, знавший всегда все, ответит точно и ясно и сразу скажет, что нам дальше делать. Когда я ворвался с этой вестью на мельницу, он, испачканный мукою, в кожаном переднике, над чем-то колдовал в корыте. Кажется, он даже не услышал мой крик, а когда я рванул его за передник, он и тогда не обернулся. Прибежали еще несколько взволнованных моих друзей, а потом кто-то из взрослых, но дед продолжал возиться в корыте, а когда мы, уже охрипшие, потеряли терпение, он встал и повернулся, осуждающе глядя на наши лица:

— Ну и что? — Он спросил так спокойно, что мы обомлели. — Идите и занимайтесь каждый своим делом. Жизнь пока не кончается.

Больше мы ничего не сказали друг другу. Когда вечером дед вернулся с мельницы, все в доме встретили его у порога — мать, я и Арийпа. Дед прошел к своему топчану, сел. Так и сидел, никто из нас не осмелился спросить хоть что-то, позвать на ужин, а он так и лег, не проронив ни слова. Утром, как обычно, он встал раньше всех, умылся у очага, и, совершив намаз, вышел доить корову. К этому времени я тоже успел встать и пошел за ним следом. Помню, стоял и палочкой отгонял телку, пока дед доил. В то утро я не чувствовал обычной сонливости и думал, что дед, оставшись наедине со мною, заговорит, наконец. Но и здесь он

ничего не сказал. Ведро наполнялось, поднималась пена. «На, возьми ведро», — сказал он, подоив корову. Я взял ведро, а он погнал корову в стадо и, не возвращаясь домой, отправился на мельницу.

Мельница деда находилась в ольховой роще у реки. Она была не самой близкой к селу из семи мельниц Жамауата, но то ли дорога к ней пролегла удобнее, то ли помол ее бывал помельче, не знаю, но завоз зерна на мельницу деда никогда не прекращался. Вдоль противоположной от жерновов стены гора мешков с кукурузой никогда не уменьшалась. Люди завозили зерно и оставляли, а дед, помолов, засыпал те же мешки мукой и складывал их под навесом. Чему я больше всего удивлялся, так это тому, как же дед не путает, где чей мешок: каждый хозяин находил свою муку всегда в одном и том же месте. Но главное было не это. О главном в Жамауате шутили: «Жернова других мельниц крутятся, говоря: «Завози мерке¹, уноси пуд», жернова Хамзата поют: «Зерно — мука, мельче, мельче... Зерно — мука, мельче, мельче...». Многие даже из низинных аулов, минуя другие мельницы, завозили зерно на хамзатовскую. Не знаю почему, но не раз я видел, как неприветливо здоровались другие мельники с дедом. Наверное, они не понимали, что к Хамзату идут и едут не только из-за хорошего честного помола, но и ради хорошей честной беседы. Взрослея, я понимал, что сидеть рядом, говорить о том о сем с Хамзатом всегда было одно удовольствие. Хотя мельница и принадлежала колхозу, люди говорили: «Мельница Хамзата». Однажды я спросил, почему это так?! Мне ответили, что не всегда были колхозы. Когда-то люди строили, мастерили, разводили скот для себя, а он взял и поставил в ольховой роще мельницу. «Кто же будет тесать жернова, если не я!» — говорил Хамзат. А когда стали призывать в колхоз, он и вступил в него вместе со своим хозяйством и мельницей.

Перед мельницей лежали два камня, привезенные для жерновов. Когда мельница работала нормально, дед обычно сидел на одном из этих камней. Иногда мне казалось, что он прислушивается к шуму бегущей по деревянным желобам воды, другой раз я думал, что он заморожен протяжной, бесконечно тяжелой песней крутящихся жерновов. Теперь, когда думаю о тех днях, то вижу, что он был взволнован крутым поворотом жизни. Лишь на склоне лет он освободился от войн и страданий, теперь приходилось начинать

¹ Мерке — мера веса зерна, примерно 18, 5 кг.

все сызнова, но уже другому поколению. Да, было деду моему о чем беспокоиться.

В доме часто вспоминали и о первых днях новой войны. Почти все услышанное впоследствии крепко врезалось в мою память, осталось в ней многое и из того, что я сам видел.

Сборы для отправки на фронт происходили у «Дома Советов» — так называли здание райкома и райисполкома. Слова «Отправка на фронт!» звучали для аульской ребятни празднично и завлекательно. Младшие отчаянно завидовали старшим. С раннего утра мы бежали на площадь. Что только не приходилось там видеть — играли на гармошках, танцевали, плакали, читали стихи, произносили речи, молились, а потом бежала мелюзга за телегами до самого конца селения и завистливыми взглядами провожала мобилизованных, пока они не скрывались из виду. Возвращаясь, мальчишки предполагали, что наши завтра же вступят в бой, а более старшие смеялись. Как же они, необученные, вступят в бой! Рассказывают, меня волновало и беспокоило то, что еще не всех из нашего дома «позвали на войну». Я видел, как другие отцы, дяди брали на руки своих маленьких и, подняв их выше себя, обещали, как взрослым, вернуться домой с победой. В такие моменты мне приходилось опускать голову и стараться никому не попадаться на глаза.

— А когда мы будем провожать? — Я не знаю, как это сорвалось у меня с языка, но по сей день помню, как все в доме посмотрели на меня. Никто не поругал, но во всех взорах отразилось какое-то тяжелое смятение, которое никто не сумел скрыть... Глубокий вздох вырвался у моей мамы. Она подошла к окну и стала пристально смотреть вдаль, на ту дорогу, по которой уезжали из Жамауата. После, когда мы остались одни, она вдруг залилась слезами и тихо проговорила: «Два моих брата уже на войне, теперь и твоего отца забирают, Музафар. Как-то мы будем жить без него?» Я слышал, как клокотала ее грудь, но только радовался, что отец, вслед за другими мужчинами Жамауата, уходит на фронт. «Он же вернется!» — убеждал я ее, но она плакала так безутешно и горько, что я и сам заревел. «Никому не говори, Музафар, ладно?» — просила она потом, стыдясь своих слез, но и без того понимал я, что нельзя болтать об этом. И дураку ясно, если женщина плачет, скрывшись от старших в доме, значит это тайна, а разве достойный человек может разглашать тайну матери? Потом она снова, немножко успокоившись, стояла у окна, тихо повторяя какую-то песню-молитву.

Очень скоро к нам прискакал Хромой Алибек.

— Мустафу отправляют. Он уже в военкомате, — сообщил он.

Дед собирался на мельницу. Он посмотрел на Хромого Алибека так, словно именно он начал войну. А когда Алибек виновато опустил голову, дед сказал:

— Человек должен отправляться в путь из своего дома!

Больше он ничего не сказал, ушел на мельницу. Конь Хромого Алибека топтался, грыз удила, пока озадаченный седок осознавал свою несуществующую вину перед Хамзатом, а потом, по-видимому, так ничего и не поняв, поехал дальше. Мы не знали, что делать: идти на площадь или ждать деда здесь, дома. Вот тебе и проводы! Я ждал их, как праздник, а тут такое!

— Я пойду на площадь, — сказал я.

— Нельзя идти без согласия на то мужчины, — сказала бабушка. Никто не мог дома переступить волю «мужчины», моего деда, но я считал, что в этот час все мои домашние неправы, я спешил на площадь увидеть отца, отправляющегося на фронт, и мне не хотелось соблюдать обычай, казавшийся сейчас пустым капризом взрослых.

— Я догоню деда и все ему объясню, — снова сказал я.

— Ладно, иди, — вдруг решила бабушка. — Иди, побудь с отцом.

Я не помню, как выскочил из дому, как пронесся вниз по мокрому от вчерашнего дождя переулку. Примчался на площадь перед райкомом и там, среди людей, увидел отца. Он стоял поодаль, но я не мог подойти к нему, потому что уже знал, нельзя при чужих людях подходить к отцу и отец не подойдет к сыну. Был случай, однажды отец возвращался из коша, а я, увидев его с высокого двора нашего дома, помчался навстречу, не чуя под ногами земли. Но когда я готов был прыгнуть ему на шею, он сделал вид, что вовсе меня не замечает. Мне стало так обидно, что слезы брызнули из глаз. Мне не хотелось возвращаться домой, — как же мог так поступить отец, которого я так любил и так по нему соскучился! Ведь целое лето его не было дома! Я так и остался в переулке. А когда отец прошел мимо, заплакал, уткнувшись носом в каменный забор. Не знаю, когда дед успел подойти, но я ощутил на плече его руку, он повернул меня к себе и прижал к коленям, — оказывается, он сидел во дворе и все видел.

— Глупый мой теленок! — Говорил он, ведя меня обратно за руку. — Кто же плачет из-за таких пустяков? Хо-

рошо воспитанный отец никогда не обнимет сына на улице. Вот останешься с ним наедине, тогда увидишь...

С тех пор я знал, что при людях отец никак не обратит на меня внимания. И все же в этот день мне хотелось все время быть с ним рядом, чтобы он брал меня на руки и чтобы все пацаны видели это. Конь Хромого Алибека был привязан перед зданием райкома, и мне думалось, что он там договаривается о том, чтобы прибывших прямо с кошей пастухов хоть бы на несколько минут отпустили домой попрощаться со своими близкими. Так оно, наверное, и было, потому что вскоре Хромой Алибек вышел из военкомата в сопровождении какого-то военного и, подойдя к толпившимся пастухам,— их было человек двенадцать, что-то оживленно сказал им. Призывники быстро разошлись, а когда отец поравнялся со мной, спросил, не глядя на меня:

— Как дела, джигит? — Точно, как у взрослого.

— Все хорошо, от дяди Муссы письмо получили. Он воюет в Киеве.

— В Киеве? Уже в Киеве,— задумчиво проговорил отец, все еще не глядя на меня.

Когда мы повернули в безлюдный переулок, он оглянулся по сторонам, быстро нагнулся и взял меня на руки. От непривычки я тогда не понял душевного состояния отца, теперь-то вижу, с каким чувством он лихорадочно прижал к груди и гладил голову! Сколько нерастратченной, нежной и в то же время суровой любви было в нем! Он ничего не говорил, а шел, все крепче и крепче прижимая меня к груди. Когда мы вышли на большую улицу, ведущую в наш переулок, он опустил меня на землю, и дальше мы зашагали рядышком.

— Ну вот, я уезжаю. Могут ли я надеяться, что ты никогда не будешь обижать свою маму? — Я удивленно посмотрел на него, а он растерялся, что ли, опустил голову. Так вот, шагая рядом, он еще сказал: — Я не говорю об отце и матери... Мусса на войне, я вот тоже отправляюсь... Как знать, может и Мухтару придется воевать... Так что, ты правильно меня пойми. Вся тяжесть в доме будет на тебе...

Между тем временем, когда дед ушел на мельницу, и тем, когда мы пришли домой с отцом, прошло всего несколько минут, и я ни за что бы не поверил, что дедушка успел дойти до мельницы и вернуться обратно. Но когда мы вошли в дом — отец впереди, я за ним,— дед сидел дома. Отец и сын поздоровались, не глядя друг другу в лицо. Тогда я принял это за излишнюю суровость отношений между ними, но теперь вижу, что каждый из них таким образом

скрывал свое волнение. Мой отец особенно был привязан к деду, при нем он всегда терялся, в его же отсутствие все свои дела оценивал его глазами. А если они задумывали что-то вместе, отец и сын, то обязательно испытывали — по всему было видно — счастливое чувство душевного единства. Я тоже мечтал о таком же единстве со своим отцом.

Дед вышел из дома, взяв кумган с водой для омовения. Еще не наступило время полуденного намаза, но он сказал, что хочет совершить молитву, покуда Мустафа дома. Тогда и пошел отец к бабушке. «Аллах пусть благословит твой путь,— шептала она.— Твоими спутниками пусть будут Хызыр и Ильяс¹... Пусть бережет Берегущий...» — И, поматерински нежно высвободившись из его объятия, пошла к очагу. Сказала, что перед дорогой покормит сына сама и испечет на дорогу лепешки. Оставшись с отцом и матерью, помню: я тоже засуетился, будто и у меня были какие-то дела. Но прежде, чем я успел выбежать из комнаты, мать заплакала, а отец подошел к ней и прижал ее к груди. Я никогда не видел, чтобы отец обнимал мою маму, это было впервые при мне, и потому, не зная, что делать, радоваться этому или огорчаться, я стоял и смотрел. Выручила, как всегда, бабушка. Она крикнула из большой комнаты, чтобы я принес дрова. Я побежал, а когда принес охапку березовых поленьев и высыпал их у очага, бабушка сказала еще, чтобы я пошел к соседям и попросил у них арауан². Я, наверное, очень спешил, потому что, прибежав во двор соседей, я забыл, за чем пришел, вернее, за чем пришел я помнил, но забыл название арауана и все говорил о каком-то Алаугане. Алауган был нартом-переростком, посмешищем нартских родов,— это я знал. Но Даус, жена Байчо, озадаченная тем, что не знает, какого Алаугана она должна нам дать, божилась и смеялась. В это время и вышла к нам Топпас, ее дочь. Она держала в руках как раз то, что было мне нужно. Я вырвал у нее из рук арауан и убежал. (Потом в вагоне Топпас меня дразнила: «А ну-ка, скажи, Музафар, как ты просил вместо арауана неженатого нарта Алаугана! Сам наверное останешься неженатым, как Алауган». Что с ней было делать — она старше на четыре года!) Когда я пришел, бабушка уже начинала лепить хичины и сказала, чтоб я поставил арауан на огонь. В другие време-

¹ Хызыр и Ильяс — в мусульманской религии святые или пророки — покровители путников.

² Арауан — железная подставка; плита с ручкой, на которой пекут хичины — тонкие пироги с разными начинками.

на, когда в отсутствие келин бабушка пекла хичины, она никогда не просила, чтобы я ей помогал, но в этот день она старалась все время держать меня при себе, хотя и знала, что мне очень хочется побыть с отцом. Дедушка вернулся, свершив намаз; бабушка испекла хичины, уложила их горкой на подносе и поставила поднос на круглый низкий стол. Вернулись Арийпа из райкома, Мухтар — из школы. Мухтар, по обыкновению, сразу же набросился на хичины, но Арийпа пристыдила его, и он вынужден был отойти от стола. Арийпа усадила дедушку, из отоу¹ вышла мать, а за ней отец. Она прятала заплаканное лицо от родителей. Все сели за стол. Один отец старался быть веселым, шутил, говорил о вещах, приятных для бабушки с дедушкой, ел с большим аппетитом. Бабушка все благословляла дорогу сына, а глаза деда были устремлены куда-то вдаль, на сына он поглядывал лишь украдкой.

— Кто в коше остался? — спросил он.

— Остался Байчо. Теперь он один за всех...

Потом дед встал, подошел к порогу и обратился оттуда к еще сидевшему за столом сыну:

— Не всякая дорога, даже военная, уводит человека навсегда. Судьба позволит — вернешься. Но где бы ты ни был, помни о роде своем, о племени. У тебя есть сын... — Дед вышел во двор, оставив нас всех в доме.

Я не видел, чтобы дед когда-нибудь обнимал своих сыновей, он не любил говорить всякие утешительные слова; даже со мной особенно не нежничал, а в том, что он меня крепко любит, я не сомневался. Бывало, я сильно ушибался, а ему хоть бы что. «Ну и хорошо, покажи, как умеешь боль превозмочь!» Ну, как тут было плакать? Приходилось кусать губы и проглатывать слезы, чтобы не потекли рекой. Но чтоб в такой день, когда сын уходил на фронт, не позвать ему хотя бы руку на прощанье — этого я не мог понять.

Зато я теперь не отлучался от отца ни на один сантиметр, пока его не посадили на телегу. Мать стояла среди женщин, держалась молодцом. А когда дали команду, и телеги пошли, мы двинулись следом и, как обычно, провожали их до околицы. Там, у слияния нашей дороги с большим Баксанским трактом в долине, обоз, как правило, останавливался, и отъезжающие, сойдя с подвод, прощались с нами. Не я один провожал отца, ведь все идущие на войну были односельчанами, все были детьми Жамауата.

¹ Отоу — убранная комната, здесь: комната молодых.

Возвращаясь, мы обычно обсуждали, как бы мы сами воевали с Гитлером. Конечно, наши средства обезглавливания фашистов бывали очень просты и эффективны, да и полководческие наши таланты оказывались незаурядными, только все это пропадало зря, потому что взрослых наши идеи ничуть не интересовали. «Ничего! Скоро сами станем взрослыми, тогда посмотрим!» — утешали мы друг друга.

Я сразу пошел на мельницу. Я был уверен, что дедушка сидит на камне, опершись подбородком на палку. Но дед с ломом в руках пытался сдвинуть с места камень, поставить его поудобнее. Рядом на траве лежали молоток и зубило. «Хорошо, что ты пришел, будем обтесывать жернова!» Вот что он сказал, как ни в чем ни бывало. «Хы, жернова обтесывать!» — недовольно буркнул я, а он, не глядя даже на меня, слегка улыбнулся: «Подложи булыжник. Вон тот». Я подложил, а он подsunул лом с другого края камня и снова приподнял его. «Теперь вон тот булыжник подложи». И опять я подложил. Камень лег ровно, а дед, отложив лом в сторону, взял штырь с веревкой и забил его в центре камня. Я увидел, что к концу веревки привязан наполовину обуглившийся кусочек дерева. «Держи штырь вот так, — показал он мне рукой, и я придавил штырь к камню, чтобы он, не очень крепко вбитый, держался ровно, а сам он, натянув веревочку, стал очерчивать круг по плоской поверхности камня. Я увидел ровный черный круг, а дед сказал: «Отсечем все, что снаружи, все, что неровно, и мы получим новый жернов!».

Не знаю, когда эти два огромных серых камня были привезены сюда. Дед говорил, что они — будущие жернова, но все никак не доходили у него до них руки. В те дни более громоздкий из этих камней казался мне наковальной Дебета, а сам дед — легендарным нартским кузнецом. Иногда мне казалось, что он прислушивается к шуму воды, бегущей по желобам к лопастям мельницы. Но эти минуты раздумья бывали непродолжительными. Посидев, дед снова возвращался к жерновам, пробовал муку на подушечках большого и указательного пальцев, что-то подправлял, что-то подлаживал, а потом уходил и занимался очисткой желобов, то увеличивал поток воды, то уменьшал. В такие минуты он и не замечал меня, а когда все же замечал, то говорил: «Ну что, примчался, да?» И рукой в муке гладил по голове. Я запомнил запах свежего помола; по сей день кажется, что волосы мои пахнут свежей мукой, а мир оттого прекрасен, что существует дедовская мельница...

С того самого дня, как до моего сознания дошло слово

«война», я, как и все мальчишки села, готовился воевать с фашистами, но что такое война я, конечно, не совсем понимал, потому что, вернувшись после проводов отца и застав деда за делом, которым он давно не занимался, я обеспокоенно спросил его:

— Деда, а что такое война?

— Что такое война? — переспросил он.

То ли дед не желал объяснять мне, что это такое, то ли просто тягостно было ему об этом говорить, не знаю, но он ушел от вопроса:

— Ты еще мал, тебе еще рано знать, что такое война.

Конечно, мне стало обидно до смерти. Никогда не думал, что дед меня может так обидеть. Потому, наверное, я вскочил на камень, который дед начал обкалывать по кругу, положил руки в карманы и, глядя на него вызывающе, злобно заявил:

— А я знаю, что такое война! Знаю не хуже тебя! На войне люди убивают друг друга! Стреляют из винтовок...

Дедушка, мне показалось, и удивился и разгневался — уж не по мне ли придется следующий удар молотка, мелькнула опасливая мысль. Я не струсил, но на всякий случай прыгнул с камня и отошел в сторону. Когда дед очень злился на меня, то обязательно что-нибудь хватал рукой, прицеливался этим предметом, но никогда не пускал его в ход. И теперь я знал, что дед не ударит меня молотком, и раз он не пожелал отвечать на мой вопрос, так он сам виноват.

— Мы подрастем и сами уничтожим Гитлера! — крикнул я.

— От вас и дьявол не уберется, — усмехнулся дед и снова принялся за дело.

Хотя я и сказал деду, что на войне люди убивают друг друга, самому мне в это не верилось. Мы, аульская мелюзга, мало ли сражались, разделившись на группы, на белых и красных, какие сражения разворачивались на поляне! Кто-то, конечно, притворялся убитым, это чаще случалось в стане белых, но и они потом целыми и невредимыми возвращались домой. Но вот однажды бабушка пришла заплаканная: Бияслан с Налмас получили «черную бумагу» о гибели Ако. Это была первая такая бумага в нашем ауле и, не знаю, как оплакивали Ако в его собственном доме, но я тогда впервые узнал, как один человек может страдать за другого, потому что, оказывается, жизнь имеет смысл только тогда, когда этот другой человек жив и рядом.

Белая, небесная моя тетя Арийпа таяла в эти дни, как свеча; забивалась где-нибудь в уголке сарая и плакала. «Я отомщу за него!» — вот что я сказал ей, а она повторяла имя Ако, как заклинание. Арийпа ходила в военкомат, просилась на фронт, я все это знал, хотел, чтобы она добилась своего, но почему-то ее не брали, а вести с войны шли одна горестнее другой... Конечно, после всех этих событий, у меня отношение к войне совершенно изменилось, теперь я понимал, что если Ако, такой сильный и добрый, погиб на войне, то там люди действительно убивают друг друга.

Кайбергеновы жили недалеко от нашего дома, я знал, что Ако работает учителем в нашей школе и, поскольку собирался скоро в школу, то у меня к нему было исключительное расположение. Кроме того, он был еще спортсменом, борцом. Говорили, что он чемпион района, а это среди нас, мальчишек, очень высоко ценилось. И мальчишки, живущие на той улице, вели себя чванливо, задирались, а мы, не то чтобы их осуждали, а даже завидовали.

Все еще сердясь на деда, я вдруг решил, что его опыт мог бы помочь в наших мальчишеских планах обезглавливания Гитлера. Возможно, он и сам так думал, потому что, обкалывая камень, он поглядывал на меня, и никакого укора в его глазах не было. Я стал убирать осколки. Мелкие кусочки щебня летели мне в лицо, но я терпел: пусть видит, что могу выдержать и не такое. А когда он присел на край валуна и вытер шапкой пот со лба, я сказал:

— Ты на трех войнах был! На японской, на мировой, на Гражданской! Так что, можешь говорить, я все знаю!

Дедушка как-то зябко передернулся, будто я нечаянно коснулся чего-то запретного. Положив молоток и зубило на камень, он пошел на мельницу, а я за ним. Там он поднялся наверх, занюс капчык¹ с кукурузой, засыпал в бункер зерно, затем спустился вниз, проверил помол, отрегулировал ссыпку и только потом посмотрел на меня. «Зачем тебе все это, Музафар?» — было написано на его лице. Но я упорствовал. Мне надо было, очень надо было знать, что такое война! Чего стоил человек, если он продолжал жить, как прежде? Даже я понимал это, а дед лишь укоризненно посматривал на меня. Где-то шла война, двое его сыновей уже вступили в нее, мой отец и мой дядя, а он ночами, я знаю, не спал; даже занимаясь мельничными делами, думал о них, находился там, где они воевали, а когда я забо-

¹ Капчык — кожаный мешок.

дел тем же самым, ему это не понравилось. Было из-за чего возмутиться и обидеться на деда! И я сказал:

— Как я могу, дедушка, жить прежней жизнью!

Он удивился еще больше, вздохнул и покачал головой. Да что тут было-то мудрить, разве я был не прав? А он:

— Никто отныне не живет прежней жизнью. Но ты ведь еще дитя!

— Сам же говорит «никто», а меня за младенчика считает,— я с обидой отвернулся.

— Мне скоро будет шесть лет. А кто говорил, что уже в пять лет пас козлят? Или ты мне тогда наврал?

Впервые за последние дни дед от души рассмеялся.

— Ну и внук у меня растет.

— Не хочешь, не говори, но лучше будет, если скажешь. Все другие болтают всякие глупости, а я хочу знать настоящую правду.— И мы вернулись к камню. Он стучал молотком по зубилу, я собирал осколки и относил в сторону. И слушал.

5.

В этой великой новой войне Хамзат остался не у дел, а точнее, вся его жизнь превратилась в одно сплошное нескончаемое дело. В те дни, придя на площадь перед Домом Советов и видя, какие люди уходят на войну, он с тоской глядел в сторону военкомата. Он еще чувствовал силу в руках, чтобы держать винтовку, но его не брали и тем самым, вместо одного конкретного дела, взваливали на него десятки других дел. Хамзат не отказывался, не жалел себя, но, как это всегда бывает с теми, у кого забот и хлопот множество, ни гордости, ни внутреннего удовлетворения он не испытывал. С удивлением открывая для себя, что и неустанная занятость может превратиться в будничную рутину, Хамзат не роптал, раз так случилось. Просто надо было снова затянуть ремень потуже, закатать рукава повыше и браться за все, к чему жизнь обязывает: заменить тех, кто ушел, и тех, кто уйдет позже, быть волом, тягловой силой. Надо пахать и собирать урожай, косить и свозить сено, ухаживать за скотом, таскать камни и пилить бревна — словом, поддерживать полнокровную жизнь в тылу. С каждым уходящим из Жамауата человеком от Жамауата отделялись, как от целостного организма, какие-то живые органы — крепкая мышца или сустав, частичка мозга или чувствительный нерв. Война только для несведущих идет

там, где люди стреляют. Истоки грядущей победы начинаются там, где человек умеет быть волом, камнем, деревом, где умеют пахать скудную землю, умеют родить и правильно воспитать детей. И что за окаянная судьба мне выпала, сокрушался Хамзат в поезде, уподобляя себя комку рыжей глинистой земли, скатившемуся с того каменистого косогогора, где Шонтук выбрал место для дома. Рыжий комок глины, скатившийся однажды с отцовского двора, так и катился до сих пор, никак не достигая той земли, того предела, где он должен был остановиться и слиться с новой почвой, а семья, заключенное в этом комке, взошло бы новым ростком, пустило корни и дало плоды. Но он все катился, по воле и по неволе, по знакомым и незнакомым взгорьям, по дорогам дальним и близким; катился, обрастая новыми слоями жизни и почвы, где-то задерживаясь на какие-то годы, где-то заблуждаясь и жестоко расплачиваясь за каждый свой неверный шаг. Жизнь играла с ним, не устывая, смеясь и капризничая, не жалея для него ни даров своих, ни бедствий, ставя его на краю смертельной пропасти, но и успевая в последнюю минуту посылать ему на выручку ангела-хранителя, который не только вытаскивал его из кипящего водоворота, но и одаривал новой жаждой жизни. Так было, когда он бежал по песчаным степям, задыхаясь от жажды и соленых ветров, теряя силы от голода, от полуденного зноя; так было, когда он шел на японскую войну, но уже не зной, а холод обжигал ему губы, обмораживал ноги. Невыносимо было видеть столько смертей, столько бессмысленных жертв и с тоской глядеть в ту сторону, где за сопками затерялась дорога домой. «Ангел хранящий, не покидай меня!» — молился он. Хамзат верил, что молитва и спасла его, ведь он вернулся домой, вернулся один из семи односельчан, вернулся по дороге, проложенной через ад, через его гнилые болота и кипящие котлы, вернулся, обманув тысячу чертей, рыскающих по всей земной поверхности. Вела его неведомая, рождающая саму себя, необоримая сила. Он смотрел на таких же, как и он, измученных, потерявших человеческий облик и надежду людей, говорящих на разных языках, творящих разные молитвы, и хотелось ему кулаками об землю бить. Ему потом часто слышались жалобные голоса и предсмертные стоны, шакалий вой и женский плач и еще один голос, настойчиво призывающий: «Дойти! Достроить дом!». Тот самый голос, который всегда поднимал его, когда Хамзат падал, потеряв все силы, когда хотелось не идти, а умереть, когда хотелось провалиться, свергнуться в подземелье. Через много лет к нему вернулось в

поезде это желание, и он вострепнулся от удивления — до чего живуча в человеке тяга к своей прародительнице, каким сильным бывает стремление укрыться в ее лоне от невыносимых невзгод и людского несправедливого суда. Но тогда, в час безысходной тоски, ему в лицо повеяло не степным соленым ветром, а ледниковой прохладой, ароматом стойких альпийских трав и высокогорного леса...

После русско-японской войны он пять лет батрачил, чтобы иметь что-то на жизнь, а потом засватал себе невесту и принялся достраивать начатый Шонтуком дом. Но и на этот раз судьба не позволила ни дом достроить, ни жену молодую в этот дом ввести. Новая, уже мировая, война призвала постоять за интересы Российской империи, а также добавит державного блеска русскому царю. Хамзат вступил в бой где-то в Малороссии. Израненный, он лежал на мокром от холодного дождя и продуваемом со всех сторон ветром поле, но могучее здоровье помогло ему выжить и снова оказаться в строю. На заболоченных дунайских берегах его подкосила малярия. На этот раз он лежал не на голой мокрой земле, а в лазарете под семью шинелями. Сверху ему еще кто-то накинул свою шубу, а он все равно бился в ознобе, просил, чтобы накрыли его чем-нибудь еще, спасли от жуткого холода. Раненый, заболевший малярией, он больше не был способен защищать империю, и стал ей не нужен, как становится не нужен хозяину старый вол, износившийся на пахоте и неспособный ходить под ярмом. Но слава Богу, можно вернуться, достроить свой дом, привести невесту, — ведь уже тридцать два года джигиту! В целительном горном воздухе Жамауата Хамзат очень скоро позабыл о ранах и малярии. Привез, наконец, в недостроенный дом Хорасан, дочку Гобара, и стал жить с ней во временно обустроенной части будущего большого дома. Молодоженам снился просторный светлый дом, с широким двором и оградой из красного кирпича. Но Хамзат и тут прогадал, настолько прогадал, что стал впоследствии суеверно бояться вынашивать какие-то планы насчет окончания строительства. Именно в тот день, когда он, окинув горделивым взором горы заготовленных камней и бревен, встречал «помочь» в лице славных каменщиков Жамауата, именно в тот день с утра прискакал Искандер Чалов, дядя Налмас по отцу, и сообщил, что Баттал Жандаров, красный комиссар, вступил в Жамауат с небольшим отрядом и в эти минуты устанавливает над правлением Жамауата красное знамя. Помощники Хамзата застыли на своих местах, каждый из них живо представил себе правление, где в разные годы

правили разные правители от Ерюзмека, так бесславно погибшего от руки собственного сына, до русского старшины и «пристопа», при которых много лет висел в правлении портрет царя, засиженный сотнями поколений бойких жамауатовских мух.

Конечно, в тот день никто никого не звал на войну, не требовал покончить с кровопийцами-князьями, но «помочь» Хамзата разрушилась. Славные каменщики, они тоже были людьми и, хотя и жили в стороне от магистральных дорог, вдалеке от всякой там политики и истории, не могли спокойно тесать и складывать камни, когда уходила одна власть и устанавливалась другая. Так что, отложив строительство на следующий день, они заспешили вниз по переулку. Сам Хамзат тоже. Однако в Жамауате хорошо знали, знал и Хамзат, что на отложенное дело падает снег. В сущности, так и случилось: на полувозведенные толстые стены дома Хамзата лег густой белый снег, а события, связанные с красным знаменем, водруженным над крышей правления, развернулись таким образом, что ни Хамзат, ни тем более Хорасан, не могли в ближайшие годы даже подумать о недостроенном доме.

Воспоминания о Гражданской войне отзывались в душе оссбой болью. Он был добросовестным солдатом, хотя никто бы не смог убедить его в необходимости этой войны. Она, эта война, представлялась ему бессмысленной, не оправданной даже справедливым стремлением сокрушить те сословия, что веками жили весело и жирно, совершенно не думая о том, как живут другие, выглядели красиво и благородно, нисколько не содрогаясь при виде других, униженных и изуродованных непосильным трудом. Хамзат принадлежал к этим другим, хотя род его был отнюдь не рабского происхождения. Он считал себя обязанным идти вместе с Батталом Жандаровым, не спрашивая даже у самого себя, насколько основательна правота комиссара. В пользу правоты комиссарской говорили, кстати, и раны, телесные и душевные, нанесенные на тех двух войнах. Если бы Хамзат не жалел внука, он мог еще рассказать о тех слезах, что обжигали его детское лицо в бесприютной степи, когда он раскаленной головешкой отгонял шакалов от полумертвого отца — это было пострашнее любой войны. Однако сейчас для внука было гораздо важнее, как его дед шел против белых. А шел он, не ведая страха, лишь беспричинные приступы тяжелой тоски бередили изредка его сердце. В партизанском отряде он считался самым отважным и толковым,

настоящим мастером военного ремесла. Пойти с ним в разведку, на самое трудное задание готов был каждый.

Иногда в солнечный теплый день Хорасан вынимала из сундука старую черкеску Хамзата с пятью дырами от пуль и четырьмя сабельными порезами. Музафар любил всовывать пальцы в дырки на черкеске и подолгу рассматривать посеченные клинками места. Хорасан вешала черкеску на солнце, чистила ее, берегла от моли так, словно спасла Хамзата в битвах не судьба — эта проклятая своенравная баба, — а именно эта черкеска, принявшая на себя девять смертей, девять роковых ударов, которых не смогли бы отразить ни стальная кольчуга, ни молитвенник с чудодейственными аятами. Вот так и знакомила Хорасан с этой спасительной реликвией сначала подрастающих — Муссу, Мустафу, Мухтара, — Арийпу даже со сладкими слезами, — а потом и внука. Для Музафара добавлялись новые подробности, ибо война уже настолько отдалилась, что в каждую дыру в черкеске уже легко помещалось не по одному, а по несколько подвигов, совершенных дедом Музафара. «Стыдись, женщина!» — говорил Хамзат, но комсомолка Арийпа мечтала: «Придет время, в Жамауате откроют историко-революционный музей, и черкеска отца займет в нем почетное место!». Музафар тоже ждал часа, когда черкеска деда, сабля его и седло, которые хранились в сундуке, украсят самый лучший из залов музея, живо описанного Арийпой. Но шло время, и все недосуг было советской власти открыть в Жамауате историко-революционный музей, а Хамзат, чем дальше отходил от тех военных лет, тем с большей горечью о них вспоминал. Он сравнивал Гражданскую войну с теми и другими войнами, в которых оказывался не по своей воле, и последняя теперь представлялась ему еще более несправедливой, чем русско-японская и Первая мировая. Ведь в тех, других войнах, люди воевали с чужеземным врагом, никого в лицо не зная, а тут приходилось биться со своими, вся вина которых была в том, что они не понимали или не хотели понять, о какой свободе говорят красные, и что означают, по сути, слова «Кто был ничем, тот станет всем!». И Хамзата, и тысячи людей, ему подобных, вела цель, не до конца осознанная, да и какие плоды созреют на древе победы, предугадать было трудно. «Да, трудно», — признавался Хамзат впоследствии, хотя и не жалел в общем-то о потерянных годах, которые и в самом деле могли стать основой невиданно прекрасного, честного и благородного человеческого бытия.

Жизнь шла, хотя и не совсем так, как говорили комис-

сары, а после — молодые агитаторы, но шла: обучались грамоте, строили дома и дороги. пели новые песни... Советскую власть сравнивали с весной человечества, но она не столько преобразовывала мир, сколько сокрушала его вековые устои. Путь ее для Хамзата был, скорее, похож не на восход солнца, как утверждали поэты, а на движение ледника, вызывающего оползни и обвалы. Хамзат, захваченный новым потоком времени, делал все, что велело это время, не щадил себя в упорных трудах. Были у него и недолгие счастливые годы, когда он достраивал родовой дом, а дети росли. Но к исходу первого десятилетия после окончания Гражданской войны сорвалась новая лавина: «В колхозы!» Хамзат принял и этот посыл судьбы, вступил в колхоз, а точнее, сдал свой скот, чтобы уберечься от пущей беды. Да, это было мудрое решение, потому что очень скоро сомневающийся стали «гнуть в бараний рог». Хамзат не хотел мелькать на поверхности этой жизни, на гребне новой волны. Он, если бы мог, держался в глубине холодной Юрду у бывшей своей, а теперь колхозной мельницы, но гул жерновов и запахи свежего помола по-прежнему действовали на него успокоительно и располагали к размышлениям. Часто он пытался «плохой сон истолковать по-хорошему», но чья-то черная рука все-таки заложила мину под скалами его мирной земли, и он предчувствовал неминуемую катастрофу. Позже, в 38-м, когда Хамзат сидел в одиночке, ожидая расстрела, он решил, что это скорее всего не мина, а разлагающий заживо яд — самое изощренное, самое коварное изобретение дьявола. «Не жизнь, а сплошное проклятье!» — сетовал он. А порой ему казалось, что жизнь, несмотря на все ее изломы, все же к нему добра. Но подобная мысль напоминала лишь затишье перед бурей; неистовый поток вновь подхватывал его и, ударяя об острые камни, вновь увлекал в непредсказуемое завтра...

Жернова крутились, а в верхнее окошко мельницы заглядывала вечерняя звезда.

— Пора домой, — сказал Хамзат. Тяжело встал, вошел в мельницу. — Последнее зерно давно упало в жерло. Вхолостую крутились жернова, как и думы мои... Беги, мой теленок, отведи воду, — обратился он к внуку.

И Музафар побежал, потому что знал, как отводится поток.

Когда они пришли домой, там еще никого не было. Все женщины обычно чуть свет уходили на работу, а возвращались поздно вечером. Иногда Музафар не видел мать неде-

лями: ложился спать, так и не дождавшись ее, а утром не успевал проснуться до ее ухода.

— Когда же эта работа кончится! — говорил он, чуть не плача.

— Видишь ли, Музафар, много наших мужчин воюет на фронте, вот и приходится женщинам трудиться за них, — объяснял Хамзат, обращаясь к внуку как к взрослому.

Слезы Музафара сразу высыхали.

А в сенокосные недели дед будил Музафара спозаранку и, посадив на ослика, увозил по темной еще дороге на верхние луга. Пока подспевали другие косари, Хамзат успевал отбить косу и пройти одну-две полосы, а Музафар досматривал свои сны на свежескошенном валке. Раньше в такие времена бывало очень весело, потому что собиралось много косарей; они работали играючи, подзадоривая и подгоняя друг друга. Музафар бегал по лугу, ловил бабочек. Случалось, из-под его ног выпархивал перепел, и мальчик с досадой глядел ему вслед, жалея, что не смог его изловить. Но теперь какое веселье на сенокосе, когда работают в основном женщины! Музафар еще не знал, кто как косит, но слышал однажды недовольное замечание деда в адрес Мухтара. «Келин лучше косит, чем ты!» — вот что он сказал ему. Конечно, Мухтар никак не мог работать хуже Лейлы и Арийпы, но Хамзат четко придерживался правила не хвалить своих сыновей, а, наоборот, поругивать и тем самым побуждать к более рьяной деятельности. И все же был день, когда Музафар сам пошел на сенокос и увидел, как мать его Лейла косит! Она вела свое звено из женщин, так его здорово она вела, что далеко опережала всех остальных.

Лейла была первая сноха в доме Кушжетеровых, хотя ее муж Мустафа имел старшего брата. Мусса в свое время не спешил жениться, а Мустафа, подпиривший брата, тосковал, не смея поторопить или упрекнуть Муссу. Хорасан не хотела обидеть Муссу и не разрешала Мустафе нарушить обычай и жениться раньше старшего. Но однажды Хамзат сурово устыдил ее и потребовал, чтобы сын немедленно привел в дом свою невесту. Лейла оказалась очень домашней и ее сразу полюбили в роду Кушжетеровых. Хамзат называл ее не просто «келин» — сноха, а ласково «келинчик», и Лейла этого заслуживала. Теперь, когда Мустафа ушел на фронт, в доме еще внимательней относились к ней, а Хамзат часто успокаивал: «Не горюй, келинчик, вернется Мустафа, счастье не обойдет вас...». — «Только ли о нем я ду-

маю...» — смущалась Лейла. И оттого, что в колхозе дел становилось все больше, она, казалось, не то что о муже, а о ребенке своем забывала.

Придя в дом Кушжетеровых очень молоденькой, Лейла как-будто переняла нрав Хорасан. Менее удачливые в замужестве ее соперницы то ли от зависти, то ли из уважения, замечали, что она так старается понравиться Кушжетеровым, что даже говор карачаевский у свекрухи переняла. Блюдных местах, на свадьбах, собраниях ее принимали за девушку, а парни всерьез искали с ней встречи, пока не узнавали с огорчением, что она замужняя женщина с ребенком. Обладая богатой душой, она редко смеялась; если же бывала весела, то радовалась как-то тихо, словно стараясь удержать эту радость внутри себя как можно дольше. Когда она смеялась, то ослепительно сверкали ее белые ровные зубы, вспыхивали черные глубинные глаза. В такие минуты Музафар со страхом смотрел на светлое выразительное лицо матери; его охватывало беспокойство, несвойственное для ребенка, — он боялся, что эту красоту кто-то отнимет, украдет у него. Этот страх особенно усилился после того, как Мухтар сказал однажды Арийпе: «Много есть зверей, готовых проглотить красивую женщину!» Музафар не знал, почему Мухтар говорит это старшей сестре, но подумал о своей матери. Как раз в этот вечер она так долго не шла домой, что Музафару даже плакать хотелось от беспокойства и страха. В те редкие вечера, когда Лейле удавалось вернуться с работы пораньше, ему хотелось подойти к ней, погладить по ее черным волосам, взять ее затвердевшие от тяжелой работы руки и прижать их к своей груди, где под тонкой кожей трепыхалось его сердечко. Он хотел сказать матери: «Прижмись щекой к моей щеке, как прежде! Неужели не понимаешь, как я целый день по тебе скучал!» Но что-то мешало Музафару это делать, подойти к матери, обнять и утешить ее сыновней любовью. Пройдет много лет, и Музафар, сидя перед матерью, так и поседевшей, не утратив своей девичьей стати, вспомнит эти дни начала войны и поймет, что не стыд, не робость, а суровая безжалостность времени не давала ему сказать матери о своей любви и тоске. Не было возможности и у матери, запряженной в тяжелую телегу стахановского движения, лелеять дитя свое, как это предписано природой человеческой. Материнская молчаливая любовь лишь तोпила сына расти побыстрее, стать ее защитником, точно тогда уже смутно предвидела тяжкий путь страданий и неизвестности. И глядя через много лет на седые волосы мате-

ри, он, Музафар, вспомнит случай, когда она сказала: «Проклятье! Отрезать, отрезать!». Мустафа резко повернулся к ней, и Музафар увидел побледневшее лицо отца. «Никогда! — сказал он. — Ты не волосы отрежешь, а мою гордость». — «Но они тяжелые, трудно ухаживать... Не видишь, как заставляют нас работать, — пыталась убедить мужа Лейла. — Светлого дня не видим, скоро вши заведутся...». — «Никогда!» — повторил Мустафа.

Музафар потом брал в руки косы матери, они действительно были тяжелые, а длиной до пят. И однажды, жалея мать, он тайно вытащил нож отца из ножен и чуть было не отрезал их. Музафар запомнил этот увесистый отцовский шлепок — единственный от всех взрослых мужчин в доме и оттого отозвавшийся долгой болью и горестными слезами.

— Запомни, сын, — сказал отец тогда Музафару, — волосы — ни с чем не сравнимая красота женщины! Хорошие волосы — это тот дар, который всегда сохраняет в женщине ее природу — женственность и неповторимость.

Музафар таращил глаза, полные слез, но Лейла-то понимала, что Мустафа говорит это для нее, а не для сына.

Мустафа тоже вспомнит этот случай, но только в лагере среди болот. Он ничего не будет знать о своем доме и домашних, ибо 511-й лагерь, запертый среди болот, обнесенный высокой оградой с электрическим током, защищенный псами, палачами, юными чекистами и лозунгами, оставался глухим ко всем событиям в мире, а он, Мустафа, убежавший от фашистов, из плена, добравшийся живым до своих, коснувшийся щекой земли освобожденный, недоумевал, за что же его сюда упрятали... Он видел, что уйти отсюда, как из фашистского концлагеря, никак не удастся. Однажды он увидел ее во сне, нет, ее он видел во сне часто, но на этот раз он увидел ее косы и долго ощущал на ладонях тугую их силу и тепло. Он скользил с какого-то обрыва, Лейла кричала ему сверху, подавала руку, но он все не мог до нее дотянуться. Тогда она догадалась опустить косы. Она встала на колени у обрыва, склонила голову, и косы потекли — потянулись по скале. Он поймал их, крепко ухватился, и косы медленно потащили его наверх. И вот он рядом с Лейлой, еще миг — и обнимет ее... Проснувшись, он долго лежал с закрытыми глазами и, преодолевая боль, силился продолжить свой сон...

Самыми болтливыми в доме были Арийпа и Мухтар. Они без усталости обменивались колкостями и спорили до хрипоты. Мухтар, хотя и был младше Арийпы, стремился

поставить себя выше, а это только смешило ее. «Что женщина может понимать!» — говорил Мухтар. Арийпа иронично парировала: «Уж немножечко больше, чем самонадеянные мужчины!». У нее были длинные ровные пальцы, и Мадина однажды сказала Мухтару: «У твоей сестры руки пианистки!». Откуда знала Мадина, обыкновенная сельская школьница, какие бывают руки у пианисток, Мухтар только диву давался, но из сказанного Мадиной сделал вывод, что это должны быть очень красивые руки, и он потом украдкой на них поглядывал, особенно, когда Арийпа вязала. Арийпа тоненькая была такая: стебелек чия¹, — ни с чем иным и не сравнить. «Ела бы побольше да спала бы нормально, а то что люди подумают», — сокрушалась Хорасан. Арийпа смеялась: «Не в заготскот же собираетесь меня сдавать!». Она работала в райкоме комсомола, учитель Ако сватал ее, и в Жамауате говорили о будущей счастливой паре.

И, наконец, Хорасан. К войне она уже раздобрела, тяжела стала на подъем, но в работе разгоралась, движения ее становились легкими, сноровистыми. Музафар знал, что его бабушка из Баксана. Рано овдовевшая мать Хорасан уехала к своей родне в Карачай и увезла с собою дочь. Но однажды Хорасан, уже взрослая, приехала в Баксан навестить родственников отца, тут ее и увидел Хамзат на свадьбе между двумя войнами — японской и Первой мировой. То ли потому, что была она похожа на мать, выросшую в Хурзуке, то ли было правдой, что Карачай образовался из баксанских переселенцев, словом, Хорасан говорила с ясным карачаевским акцентом, и к ней очень шел этот мягкий успокаивающий говорок. Когда она утешала, ласковые слова говорила или ругала — в любом случае звучала в ее голосе искренность, участливость, долготерпение, и это располагало к ней окружающих. Хромой Алибек, бригадир колхоза, тот вообще глаз не мог от нее отвести.

Такой знали в Жамауате семью Кушжетеровых, не самую знаменитую, но и не самую безвестную из девятист сорока шести семей долины Жандара.

— Займемся ужином, — сказал Хамзат.

Музафар принес охапку березовых поленьев, высыпал их у очага. Хамзат разгреб золу щипцами, открыл еще тлевшие угли, положил на них тоненькие сухие прутики, и огонь быстро разгорелся.

¹ Ч и й — камыш.

— Ты помой картошку и поставь на огонь, а я пока со-
вершу вечерний намаз.

— Хорошо,— сказал Музафар.

Он полез в погреб, набрал проросшей прошлогодней картошки и, подражая Хорасан, тщательно, по одному, промыл каждый клубень. Потом, наполнив чугунок водой и картофелинами, повесил его на очажную цепь. В повеселевшее пламя можно было теперь положить и березовые поленья.

— Огонь какой живой,— улыбнулся Хамзат, садясь у очага после намаза. Он глубоко вздохнул, приблизил внука к себе.— Садись рядом, я расскажу тебе, как наши предки поклонялись огню...

Уморившись за день, Музафар потихоньку засыпал. Только отдельные слова долетали до него, точно искорки разгоревшегося пламени. Он начинал видеть сон, в котором люди поклонялись огню, а огонь одарял их теплом и хлебом...

6.

— Да чтоб вам всем сгнить в болоте!

Кто тогда задел в темноте вагона старшую дочь Шоштара Светлану и вызвал поток брани из ее красивых уст, потом так и не разобрались...

Светлана была высокая и ладная девушка с необычными для долины Жандара золотисто-рыжими волосами, которыми она очень гордилась. Зато мать ее, Марифа, постоянно терпела по-жамауатовски колкие намеки на то, что приходилось ей, видно, ночевать на рыжей глине Нарсаны — Кисловодска, куда она знала дорогу хорошо и ездить любила. В те времена именно в Нарсане бурлил самый большой базар с соблазнительными городскими товарами, и Марифа совершала туда свои ежегодные вояжи с кошельком, туго набитым «краснушками», как называли тогда тридцатирублевки. А для жамаутчан, тонких знатоков искусства деторождения, ничего не стоило четко вычислить сроки зачатия и ношения плода, а затем смело сопоставить их хотя бы с русскими именами, которые получали дети грамотной Марифы. Ведь не случайно после Светланы последовали — Люба, Клара, Надежда и Лена. Вот так и выходило, что каждый ручеек шоштаровского дома имел исток в окрестностях Нарсаны, где-то на окружающих город живописных уютных холмах. Никакой родни у Марифы, по всем данным, в городе не было, вот и приходилось ей искать ночлега

на рыжей глине. Не зря же она восторгалась окрестностями этого чудо-города; с другой стороны, поскольку сам Шоштар никогда не ездил с женой на базар и не имел дело с теми, с кем Марифа вела оживленную и, надо сказать, успешную торговлю, то, естественно, кто-то должен позаботиться о прибылях Шоштара! Золотые времена Марифы, золотые времена Жамауата!.. Тогда о мужчинах, щедрых душой, веселых и отзывчивых, говорили: «Сердце его — как кошелек Марифы!». И никто не оскорблялся такому сравнению. Тот, о ком шла речь, лишь ухмыльнется таинственно, да бросит невольный взор в сторону шоштаровского дома.

Самому Шоштару от этого было радости мало. На ныгшах, по пути на сход или с работы кто-то как бы между прочим бросал: «Алан Шоштар, до чего же твои дочки похожи на русскую пшеницу!». И это вдвойне обидно, потому что несправедливо: на русскую пшеницу была похожа только Светлана, остальные четыре девицы Чоттаевых — совершенно разные. Люба, например, походила на осеннюю ольху, листья которой, прежде чем желтеть, белеют; Клара была темноволосая, смуглая, где-то отдаленно похожая на Шоштара; Надежда — копия самой Марифы — белокожая, с редкими крапинами светло-желтых веснушек, все ее лицо казалось вылепленным из одной улыбки — не зря в школе смеялись, когда Надежда плакала — она плакала, а лицо ее улыбалось, и класс, а потом коридор, а потом и учительская — смеялись; самая хорошенькая из пяти дочерей Шоштара, Лена, больше напоминала не пшеницу, а скорее белоствольную березку, если уж сравнивать ее с чем-либо русским, потому что была она и стройная, и светлая до прозрачности, и тихая, с мечтательной доброй душой. Светлана же, окончившая полную среднюю школу, успевшая несколько раз побывать с матерью в Нарсане, считалась грамотной, под стать матери. В ее сильной образованности обитатели 13 вагона убедились еще в начале пути, когда она успешно завоевала на нижних нарах довольно приличное жизненное пространство для своей матери и сестер. «Ну, Свет, как тебе не стыдно», — тихо корила ее Леночка, готовая, сгорая от стыда, забиться в самый дальний угол. После создания некоторых удобств Марифа и старшая ее дочь казались теперь не изгоями, а добрыми спекулянтами, едущими на большой базар, а сюда же, в этот товарный состав и в жалкую эту среду, попавшими случайно. Они нисколько не стыдились того, что из всех мужчин, не загнанных в этот поезд, только Шоштар, не слепой, не хромой, не увечный, но и не дурак, только он находился среди немцев, если

не считать убитого, как утверждает Байчо, самим Аллахом Мачара и погибшего при попытке уйти с немцами старосты села Жамауат Жабраила Локмановича, бывшего директора школы. Только он, Шоштар — живой, невредимый, ныне отступал вместе с немцами! Кто знает, может, именно потому, что он, живой и невредимый, шел рядом с немцами, его односельчане, гонимые на чужбину, неслись теперь в разболтанном составе вот так, страдая от жажды, от недостатка воздуха, от тесноты и голода? Но так могли думать не Марифа со Светланой, а другие, но и другие понимали, что поступками Шоштара управляли не Марифа и не его дочери. Если рассудить справедливо, то нельзя винить женщин Шоштара в том, что они не подсказали ему, как правильно себя вести, а — напротив — тихо радовались тому, что и во время оккупации он с ними рядом, он дома. Никто в вагоне не выдавал своей неприязни к семейству Шоштара, но Марифа и Светлана смотрели на весь вагон, как на враждебно настроенный мир. Он, этот мир, несомненно презирал их, считал предателями, хотя сам чем был лучше или умнее? Жамауатцы защищали советскую власть? Ха, а она защитила жамауатцев? Не Гитлер же высылает, Сталин! Все ближайшее, да и не только ближайшее, вагонное окружение Чоттаевых чувствовало исходящую от этой семьи враждебность и злое недоверие, особенно огорчительное в равной для всех беде. Они, Марифа и Светлана, ждали каждый день, каждый час какого-то наказания, возмездия, пусть даже символического словесного. Но вот уже четвертые сутки никто ничего не говорил, не напоминал о Шоштаре, никто даже не обращал внимания на то, что сидели они и ели обособленно — и это мучительной тяжестью ложилось на плечи двух взрослых женщин семьи. Наконец, Светлана вдруг сорвалась из-за какого-то пустяка и разразилась грубой бранью:

— Да чтоб вам всем сгнить в болоте!

А поезд уже несколько часов и в самом деле шел по болотистым низинам, и в вагоне пахло затхлой сыростью. Люди, правда, готовы были и болотную воду пить, припадая к ней жаждущей грудью, но состав двигался без остановок. «Да мы и так гнием!» — отозвалась с верхнего яруса Дарийна, жена слепого Кайыта. Светлана была девушка круглолицая, да и все части ее молодого тела были отнюдь не угловатыми, так что в иное время жамауатчане быстро нашли б слова, которыми легко заткнуть рот строптивой красоти, но сейчас, в этой скотской тесноте, жамауатчане, как они выражались, сами себя не любили, и потому

не поддержали попытку Дарийны устыдить дочь Шоштара. На этом все могло и кончиться, но ничто так не подогревает обозленную женщину, как равнодушие тех, кого она клянет. После короткой паузы, Светлана еще сильнее возвысила голос:

— Вы все тут смотрите на нас, как на преступников! А преступник тут один — Хамзат! — Но и это не взорвало озадаченную тишину в вагоне, Светлана услышала только вздохи, да невнятное перешептывание, зато перестук колесных пар стал еще отчетливее.

Хамзату почудилось, будто колеса утверждают: «Да, да!», и еще через секунду: «Да, да!».

— Да, да! — кричала Светлана. — Он и есть преступник! Он главный защитник советской власти! Немцы бы нас не выслали!

Вот и еще одну «награду» получил Хамзат на свою грудь, где и так была рана на ране. Нет, совсем не то, что сказала дочь Шоштара, совсем не ее слова нанесли ему очередной удар, а то, что никто в вагоне, даже Хаджибекир, даже Мадина, дочь его, которая почитала Хамзата наравне с отцом и была комсомолкой, и ни один из членов семнадцати семей, малых и больших, — никто не возразил Светлане, будто слово «преступник» вообще не произносилось. Вот что поразило Хамзата и что никак не укладывалось у него в голове. Ни тогда, в пути, ни после, до скончания дней своих, он не поймет суть этого тупого безразличия, коренную его причину. Зато он еще раз осознает непостижимость, противоречивость жизни, и перед ним вновь будет возникать образ глиняного комка, катящегося по склону. Правда, каждый раз этот комок обрастал новым слоем, но не тем слоем, который укрупняет и усиливает, а тем, что до боли сжимает прежние пласты и делает их неповоротливыми, скованными, неспособными к какой-либо жизнедеятельности. Теперь и эта ночь оказалась бессонной: Хамзат то и дело мысленно возвращался к Шоштару — или это сам Шоштар возвращался к Хамзату, пытаясь небесными ли предначертаниями, земными ли злыми силами, но оправдать, объяснить свое предательство.

На фронт Хаджибекир и Шоштар ушли в один день. Хамзат провожал их с завистью: он был всего несколькими годами старше Шоштара, но его не брали. А Шоштар уходил, освобождаясь от необходимости провожать на фронт близких и потом за них же трудиться. Сосед уходил в армию, и какую-то ответственность за благополучие его семьи брал на себя Хамзат. Шоштар и Хамзат не говорили об

этом, но разве о таких вещах надо говорить? Соседи, делившие много лет горе и радость, хлеб и воду, так и должны были расставаться в тяжкую годину, ведь испокон веков существует неписанный закон: вступающий на ратный путь оставляет свои земные заботы остающемуся.

Через неделю Шоштар написал из Краснодара не домой, жене или дочерям, а именно Хамзату. Он сообщал, что там их обучают строевой службе, а тем временем враг наступает, захватывая все новые города и земли, и настроение у него, Шоштара, не очень веселое. «Кажется, совсем безнадежное», — угадал Хамзат, слушая, как Арийпа читала письмо. Шоштар дважды повторил, что в Краснодаре он растался с Хаджибекиром и куда его направили, не знает. «Почему он это повторяет так настойчиво?» — подумал Хамзат. Прошел год, ровно год, потому что они с Хаджибекиром уехали 28 июня 41-го, а в конце июня 42-го Шоштар вернулся домой, точнее, его привезли на телеге. Во дворе из телеги его принимали четверо: Марифа со Светланой и Мухтар с Арийпой. Его понесли в дом, уложили, стонущего, в постель. Проведать Шоштара приходили всем аулом Кюнлюм. Его, покаленного на всю жизнь, прикованного к постели, искренне жалели! Вот что делает эта проклятая война! Если и не убивает, то своей жестокостью доводит человека до такого состояния, когда отнимаются у него ноги.

— С легкой раной позвоночника меня донесли до госпиталя. А тут беда такая, ноги отнялись, — так говорил Шоштар и ему верили.

Но потрясенные аульчане вскоре стали замечать, что Марифа вовсе не угнетена таким убийственным поворотом судьбы, — напротив, лицо ее снова обрело румянец, с каким в лучшие годы она, бывало, возвращалась из Нарсаны, чтобы через положенное число месяцев родить очередную дочку.

— Н-н... да-а..., — озадаченно покачивали головой соседи.

Хамзат, лишенный склонности придавать значение уличным пересудам, по вечерам приходил к Шоштару и подолгу просиживал у постели паралитика. Они говорили о войне, о сомнениях, почему все же враг так рвется вперед и не встречает достойного отпора? Однажды, вернувшись от соседа и присев у очага рядом с Хорасан, Хамзат сказал:

— Не нравится мне Шоштар! Не нравится! Снова он что-то перемурлил.

— Такое придумываешь, мужчина, — сказала Хорасан,

недовольная подозрительностью мужа.— Шоштар теперь не ребенок, а что было в юности, так по молодости кто не совершает ошибок?

— А почему он избегает смотреть мне в глаза?

— До твоих ли глаз человеку, мужчина. Калекой он вернулся. Что он теперь? Не живой среди живых, не мертвый среди мертвых. Тяжко ему.

Тут ее огорошил внук. Он возился рядом, увлеченный своими делами, и все слышал. Когда Хорасан сказала «тяжко ему», он подошел к деду, обнял его со спины и спросил:

— Дедушка, а правда, что дядя Шоштар днем лежит в постели, а ночью ходит?

Хамзата как громом ударило. Он не на шутку рассердился, сразу позабыв все сомнения.

— Ты болтать научился, теленок!

— Вовсе нет,— не смутился Музафар.— Шарау видел, как дядя Шоштар выходил ночью во двор.

Тут Хорасан набросилась на гадкого мальчика:

— Иди спать! Ныне дети обурами¹ рождаются!

Но Музафар не сдавался:

— Это кто обур — дядя Шоштар, который ночью рыщет, а днем спит, или я? Я днем хожу, а ночью сплю!

Ну что с этим мальчиком можно было сделать? Всей семьей осудили его и прогнали спать. Он, хотя и подчинился власти старших, остался при своем мнении, да еще и напоследок из другой комнаты бросил им горькую истину:

— А взрослые не любят, когда им говоришь правду!

Ворочаясь в постели, Музафар гадал, почему дед так волнуется за Шоштара? И почему Шоштар днем притворяется калекой, а по ночам ходит по своему двору? Загадка была неразрешимая. Так он лежал и думал, когда раздался скрип в дверях. Музафар понял, что вернулся Мухтар. В последние дни он приходил поздно: Лейла говорила, что комсомольцы по вечерам собираются, но что они там делают, она не знала. Конечно, догадывался Музафар, фашисты приближаются к нашим краям, и комсомольцы обсуждают боевые планы. Теперь, когда Мухтар пришел, Музафару еще тягостнее стало оставаться в постели. Он встал и тихонько прокрался в большую комнату, где сидела вся семья. Мухтар еще с порога сказал:

— Товарищ мельник (в последнее время он так обращался к отцу), что за собрание? Очередная обработка умов?

¹ Обур — злой дух, обладающий свойствами оборотня.

— Ты где так поздно ходишь! — набросился на него Хамзат. От непривычки и неожиданности растерялся не только Мухтар, но и все в доме. Притихли, насторожились. Удивились необычно строгому тону. — Как ты можешь вести себя настолько легкомысленно!

— Но мы, Хамзат Шонтукович, не в альчики играли, не легкими мыслями развлекались, — пытался еще храбриться Мухтар.

— И какие же тяжелые мысли родились в ваших головах? — смягчился Хамзат.

— В общем-то мы решили, что Гитлеру все равно не сносить головы.

— Ну раз вы так решили, — с легкой издевочкой согласился Хамзат, — то Гитлеру и в самом деле теперь конец. Где же вы его свалите?

— Думаем, что он поломает свой хребет на Кавказском хребте!

— На Кавказ вы его все-таки допускаете?

— Обстановка такова, что вполне может быть... — Он вдруг умолк, и все молчали тоже. Хамзат опустил голову, Арийпа — напротив — пристально вглядывалась в лицо брата. — В общем, не ругайте меня очень, не сердитесь... Просто не смог сказать... боялся. В общем... мне в райкоме помогли. Завтра я уйду на фронт... добровольцем.

Вот таким Музафар и запомнил его навсегда: Мухтар стоит, опираясь плечом о боковую стенку очага, и смотрит куда-то в сторону жалобно-просветленными глазами. Хамзат молчит, Хорасан и Лейла плачут, а он, Музафар, глядит на молодого геройского дядю с восхищением. Так длится недолго, и вдруг, то ли осознав всю тяжесть вины перед родителями, то ли испуганный собственной храбростью, Мухтар порывисто отворачивается к стене. Все последние дни он был весел и оживлен, перебирал свои рисунки, краски, кисти, увлеченно спорил со снохой, а тут, перед самым расставанием, не выдержал, дал слабинку завтрашний воин. Лейла подходит и обнимает его со спины, но плечи Мухтара продолжают мелко подрагивать. Лейла опускает голову на его плечо и тихо плачет. Все в доме понимают, что, плача, она думает не только о Мухтаре, она плачет по Муссе и Мустафе, от которых нет вестей уже три месяца. И никто не знал тогда, что в этот дом очень скоро придет горе, меру которого и войной не измерить...

Прощание с Мухтаром было тяжким для всех, и только Музафар расценивал ситуацию по-своему — негодовал из-за того, что в доме не радуются и гордятся, а стонут и льют слезы! Он слышал, как бабушкины губы шепчут: «Не отпускай! Не отпускай! Вот похороните меня, сыновья, потом делайте что хотите...». И когда уже все поуспокоились, примирившись с неотвратимостью разлуки, Хорасан продолжала причитать: «Из трех сыновей, наверное, хотя бы один должен принадлежать матери! Пусть меня спросят! Он же еще мальчик... Юрылья его не окрепли... Что это, детей не стали щадить?».

— Ну, пошумели, хватит, — сказал наконец Хамзат. — Если мужчина наметил себе путь, он пойдет. И не оплакивайте начавшего путь! Не оплакивайте! Смерть находит и тех, кто прячется в сундуках...

— Кто нас хоронить-то будет, мужчина? — Хорасан теперь уже рыдала вовсю.

— Почему ты думаешь о худшем, мама? Я вовсе не погибать еду...

Но Хорасан была безутешна:

— Ну кто возвращается? На пальцах перечесть! Да и те калеки.

— Бои идут на Дону... Куда вас поведут-то? — горестно гадала Лейла.

— Широка страна моя родная, — пропел Мухтар, чтобы как-то разрядить обстановку в доме. — Настоящие сражения еще впереди, келинушка...

Но от веселых слов Мухтара никому не стало легче.

— Какой женщине легко посылать на войну своих сыновей, — сказал Хамзат, сев поближе к безутешной жене. — Что делать? Вон Налмас семерых отравила. И род наш, дом и земля... тоже плачут... Чужеземный захватчик свирепствует, проклятый. Нельзя спастись от врага слезами. И если будет такой... задумавший выжить, спрятавшись... сын ли наш, брат ли... Разве хотела бы ты, дочь Гобара, быть в родстве с таким? А плачешь...

— Мусса пропал, нет вестей от Мустафы... Плохие сны я вижу.

— Крепись, женщина.

— Я вырасту, и я пойду, — сказал Музафар. Хорасан схватила щепку и кинула в него. Он спрятался за Мухтара.

— Надо готовить его в дорогу, — сказала Арийпа.

И верно, все дальнейшие слова и причитания были бы уже пустой тратой времени. Думать следовало о том, как бы достойнее проводить Мухтара. Когда провожали Мус-

су — он уходил еще до войны, — день был праздничным, на площади гремела музыка, до самого утра не прекращались танцы. И Мустафу успели проводить, как полагается, хотя времени для этого было очень мало. Теперь Мухтар, молодой да ранний доброволец, заслуживает не худших проводов. Да, сестра его Арийпа права, надо смириться, надо каждому взять себя в руки. Потом Музафар уснул и не помнил, что было дальше, а утром увидел, как в расшитый дорожный хурджин Мухтара укладывались носки, сорочки и другие вещи. Музафар очень захотел, чтобы у человека, идущего бить Гитлера, было что-нибудь и от него, только он долго не мог сообразить, какая вещь оказалась бы подходящей. Наконец, он решил подарить Мухтару три альчика, хотя и понимал, что на войне они вряд ли могут пригодиться. Однако желание не оставить добровольца без своего подношения было настолько сильным, что Музафар отогнал прочь все сомнения.

— Это от меня, — сказал он, вручая Мухтару альчики.

— Ты посмотри на этого мужчину, — обрадовался Мухтар. — Он подхватил Музафара на руки вместе с альчиками и поднял выше себя. — Альчики твои будут моими талисманами. Помни, если на войне со мною ничего не случится, то в этом будет заслуга твоих альчиков. И еще запомни: вернись, и первое, что мы с тобой сделаем — сыграем в альчики!

— Я тебя обыграю, — сказал ему Музафар сверху.

— Обыграть меня будет непросто, — ответил Мухтар. — Я ведь научусь бить без промаха!

— Я уже и сейчас так бью. Мне все проигрывают.

— Договорились, — Мухтар поставил племянника на пол. — Значит, мне — беречь твои альчики, тебе — мои рисунки и книги.

— Договорились! — согласился Музафар.

7.

Провожать Мухтара пошел и дед — чего он не делал, когда уходили старшие сыновья. Не только я, но и все взрослые в доме понимали, почему на этот раз дед поступил своими правилами — ведь уходил младший, совсем еще мальчик, еще не оторвавшийся от сердечной плоти. Я шел рядом, взяв Мухтара за руку. Арийпа несла хурджин, келин вела под руку бабушку. Дед шел как бы своей дорогой, словно не имея к нам отношения. Людей собралось на

площади неожиданно много, а провожали всего-то еще пятерых добровольцев, одноклассников Мухтара. Казалось, всем взрослым, собравшимся здесь, было неловко и стыдно от того, что воевать уходили совсем мальчишки. Чекке, дедушка Шарауа, так и сказал: «Еще вчера играли на улице, в долине боккабар¹ гоняли, на околице в гатрау² носились, а тут воевать отправляются». Мухтар обнялся со своим товарищем, — он часто приходил к нам домой, молчаливый такой, тяжелый, Абидином зовут. Он приходил с Мухтаром, и если в это время Арийпа оказывалась дома, то он сразу терялся, даже толком не отвечал Мухтару, но Арийпа делала вид, что его не замечает. Зато я видел, как она посмеивалась за стеной и мысленно говорил Абинину: «Если тебя обижают, не приходи!». Но Абинин приходил и бывал даже общительным в отсутствии Арийпы. Стоило же ей появиться, как Абинина охватывала дрожь, он начинал суетиться, а я снова говорил про себя: «Ну так, уходи!» Но он не уходил, и мне становилось смешно. Этот Абинин проигрывал каждый раз в гатрау и вот теперь вместе с другими уходил на войну. Мне казалось, что они уходят не на войну, а куда-то на праздник, олимпиаду в Нальчике, потому что все были такие веселые, возбужденные. Даже бабушка, которая дома плакала, не отпускала Мухтара ни на шаг от себя, здесь вела себя спокойно.

Осознавал ли я, что с уходом Мухтара уйдет от меня и весомая часть моего мира, мира, который помогал открывать мне и Мухтар. Я уже знал буквы, начинал понемногу читать, ну, а если попадется книга, как например «Путешествия Гулливера», подаренная Мухтаром, кто сможет так интересно и здорово объяснять мне удивительные картинки, переводить ее содержание и одновременно учить русскому языку? Но этого мало: когда у тебя есть большой и сильный старший брат или дядя, с тобой считаются даже самые задиристые ребята, никто не обзовет сосунком или сопляком. Конечно, если я и не осознавал, то остро чувствовал, что без Мухтара жизнь моя в одночасье обеднеет, и молча прижимался к нему, стараясь скрыть вдруг подступившие к глазам слезы.

— Ты что? — спросил Мухтар, а я всхлипнул, но промолчал. Он, наверное, понял мое состояние, потому что сна-

¹ Боккабар — тряпчатый мяч; балкарский «хоккей» на траве.

² Гатрау — бег наперегонки. Бегут крича: «Гатра-гау-гау, гатра-гау-гау!» Кто дальше пробежит на одном дыхании, тот и выигрывает.

чала прижал мою голову к животу, а потом вдруг резко взял на руки, высоко поднял, один раз даже подбросил, покрутил в воздухе, и, улыбаясь, опустил на землю. Сам тоже опустился на корточки предо мною и незаметно для других провел по своей груди двумя пальцами — большим и указательным — словно по краям широкой полосы. Я сразу понял, на что он намекает: у него будет, когда вернется, вся грудь в орденах! Я счастливо приник к его щеке. Когда к Мухтару подошли девушки, я уступил им его, а сам незаметно подмигнул ему и, как и он, двумя растопыренными пальцами прочертил широкую полосу у себя на груди.

Потом Мухтар и его товарищи чуть ли не целый час прогуливались с девушками по берегу Юрду, а мы ждали. Я злился на девушек, ненавидел их, особенно Мадину, которая все смотрела на меня так, будто я в ее портфель жабу подбросил. Наконец, ребята снова пришли на площадь, я побежал и сразу схватил Мухтара за руку:

— А когда я пойду на фронт? — Все рассмеялись. Ничего если б только парни, но первые подняли свои пискливые голоса эти бестолковые гордячки. Я хотел увести Мухтара, оттянуть его от них, но он не хотел, дурак тоже, как будто с этими долговолосыми интереснее.

— Никогда! — Решительно заявил Мухтар. — Ты не будешь воевать!

— Почему? — спросил я, чуть не плача. Неужели он не понимал, что творилось у меня в душе!

— А к тому времени, когда ты подрастешь, войны не будет.

— Ну почему?

— А потому, что мы всех фашистов уничтожим.

— А как же мы? Кого мы будем уничтожать?

— Зачем все время уничтожать? Строить тоже надо!

— Воевать — это мужество! А строить всякий может, даже они, — я презрительно посмотрел в сторону девушек. И Мухтар посмотрел туда же.

— Нет, Музафар. Для вашего поколения найдется более подходящее занятие, чем война.

Мысль о том, что мне не придется повоевать, огорчала до крайности. И я твердо заявил:

— Но и ты не намного старше меня. Что я, не вырасту, что ли?

— Ну, конечно, вырастешь, — ласково сказал он. — Конечно, вырастешь, и для тебя найдутся дела подстойнее войны.

— Ты меня обманываешь. Что может быть достойнее войны?

И тогда он показал рукой:

— Видишь, вон там стоит... Ты ее знаешь? Ну вот, она ждет меня. И то, о чем она сейчас думает, важнее всех войн на свете...— И он пошел к Мадине.

Тут я был совсем сбит с толку: чего же такое она, эта дуручка в юбке, может там себе думать! Мне не хотелось возвращаться к деду, а тем более к бабушке или матери. Я побрел к высоким тополям у «Дома Советов» и, представляя себе жизнь без отца и Мухтара, уныло слонялся вдоль забора, пока на площадь не въехала телега, запряженная сильными конями. Угол ограды выходил к Большому мосту, откуда я мог видеть Мухтара с Мадиной. Они стояли под берегом у самой опоры моста, где год назад стояли Арийпа и Ако. Точно так же теперь Мадина, уткнувшись лбом в каменную стенку, плакала, Мухтар, точно так же, как и Ако, стоял, ссутулив плечи, спиной к девушке. Мне подумалось, что, видно, влюбленные всегда ведут себя одинаково, это у них обычай такой. Так они стояли, будто сильно виноватые друг перед другом, а река Юрду, чистая, светлая, текла мимо, почти касаясь их ног. Тогда я что-то крикнул, и Мадина повернулась, наконец, к Мухтару. Он увидел меня и махнул рукой. Кажется, он хотел обнять ее, но меня, что ли, стеснялся? — и дурак дураком переминался с ноги на ногу. Я поднял камушек и кинул в сторону Мухтара, а он глупо рассмеялся и сделал знак, чтобы я ушел.

Ну, я и ушел. Не знаю, как там они прощались, но когда я опять вернулся, они уже вышли, держась за руки, из-под моста. Мухтар и Мадина глядели друг на друга, улыбались, и эти улыбки уже не казались мне глупыми. Потом, когда он с некоторым трудом высвободил свою руку из руки Мадины, соединился с товарищами, я стал сравнивать дядю с другими добровольцами. Конечно, он был самым видным, красивым. На нем — белая рубашка с закатанными рукавами, брюки из черной шерсти, купленные ему моей матерью в Нальчике, — их он одевал только по торжественным случаям, — ботинки, такие блестящие со шнурками, — все очень шло ему, делало солидным и немного праздничным. И я понимал гордость Мадины, ее нежелание хотя бы на минуту оставить его в покое. По сей день меня волнует то необъяснимое чувство, которое вело меня в тот день, заставляло смотреть и смотреть на Мухтара, запоминать все до мелочей, будто я должен буду потом по памяти

нарисовать Мухтара таким, каким он был, уходя добровольцем на фронт. Но что я тогда вынес из всех своих переживаний и наблюдений, так это то, что до этого часа он был для меня вроде приятеля-ровесника, я мог в любой час дня и ночи приставать к нему, спорить, ссориться или беседовать задушевно. А теперь он, прямо на глазах, отдалялся, становился для меня недостижимым, потому что между нами вставала не только война, но и Мадина, и я, еще не зная, к войне его надо больше ревновать или к Мадине, — еле сдерживал слезы.

Прозвучала команда, и родственники всех добровольцев завоновались, засуетились. Я бросился к дяде и мне пришлось протискиваться через густую толпу, которая плакала, молилась, благословляла. Когда я добрался до Мухтара, он обнимал мать, и на светлом его лице дрожали слезы. В последнюю минуту он был явно растерян, во всяком случае, когда он обнял меня и, как обычно, поднял выше себя, он ничего не мог мне сказать: в горле у него клокотало. Потом он неожиданно, стыдливо, что ли, вжался лицом в мой живот и замер на мгновение, а я держал руки на его голове, где жесткие черные волосы стояли всегда торчком, сколько бы он их ни старался приглаживать. Наконец, он медленно опустил меня на землю и сказал:

— Будь мужчиной! Мы все, твой отец и твои дяди, оставляем тебя и дом наш, и мать, и сестренку Арийпу, и, конечно, нашу любимую келин... Так что, будь мужчиной! Позабудь, что ты мальчик, ты мужчина...

Я не знаю, что со мною случилось, но я зарыдал, подпрыгнул и, намертво обвив его шею, стал кричать:

— Я хочу с тобой! Я хочу...

Кто-то тянул меня назад, плача, ласково уговаривая успокоиться, но я все плакал, брыкался ногами и повторял: «Я хочу с тобой!» Мухтар сел на телегу вместе со мной; а меня продолжали тянуть назад, что-то говорили, стыдили, я слышал и смех — это смеялись мои дружки, помнящие, как я провожал отца; я ведь тогда не то чтобы плакать, даже смеялся, был настолько счастлив и оживлен, что даже, наверное, было противно на меня смотреть. «Мухзафар, мне стыдно!» — это был голос деда, такой тихий, глухой, но в то же время такой суровый, что я мигом успокоился и отпустил Мухтара. Я соскользнул вниз, оставив на его рубашке пятна от слез. Сразу же и быстро двинулась телега, толпа застыла мрачной неровной стеной, а наверху, в желтых скалах, беспорядочно металось и уходило в небо эхо от бодрых прощальных выкриков добровольцев. Я вы-

рвался из рук Арийпы и побежал за телегой: «Я хочу с тобой! Я хочу!» Для меня весь мир стал быстро катящейся телегой, увозившей от меня не только родного человека, но и мое собственное детство, увозила раньше времени, не дав им как следует насытиться, насладиться. А потом я упал лицом на бугристую дорогу, да так и лежал, пока не подбежала Арийпа и не подняла меня. Пройдет много лет и я пойму, почему нашло на меня то наваждение горя и безысходной тоски — ведь я оплакивал все, что ожидало нас, — утрату отца, гибель Арийпы и друзей Мухтара, которых замучают в гестапо, свою злосчастную судьбу, которая предназначала мне в шесть лет стать врагом народа и познать горький привкус хлеба чужбины.

* * *

Мухтара провожали все пять дочерей Шоштара и сама Марифа. Лакумы испекли, вяленое мясо поджарили, две пары носков связали — все это, вопреки слабому сопротивлению Мухтара, втиснули в его и так уже переполненный хурджин. Круглолицая Светлана даже всплакнула, а Леночка, стоя в стороне, как-то обреченно смотрела себе под ноги — такая прозрачная, чистая, легкая, совсем не похожая на своих сестер. «Если б Леночка не была дочерью Шоштара и Марифы...», — сказал однажды Мухтар, и Музафар, каждый раз видя ее, спрашивал себя, почему же так сказал и вздохнул при этом Мухтар?

— Шоштар и сам очень хотел выйти провожать Мухтара, — сказала Марифа.

— Что, он уже ходить может? — насторожился Хамзат.

— Из твоих сыновей он особенно любит Мухтара, — продолжала Марифа. — Твой дом — наша надежда, Хамзат...

Но теперь Хамзату хотелось уйти с площади побыстрее, чтобы не выдать свое волнение. Тело возвращалось в дом свой, а душа катилась на телеге, где сидели шестеро добровольцев Жамауата и среди них — Мухтар, его последняя надежда. Он приостановился у Большого моста. Здесь же его дожидались Хорасан и Лейла. Хамзат увидел там же еще пять матерей, проводивших на войну своих мальчиков. Они стояли с одинаково потерянными лицами, похожими на их одинаковые лянляые платки и молчали. Как бы ни было велико горе мужчины, как бы ни было неотложно его дело, он не может не остановиться, не прервать бег свое-

го коня при виде женщины, которая нуждается в утешении. Хамзат всегда умел находить нужные слова...

Хромой Алибек въехал на мост и, не слезая с коня, сказал:

— Хамзат, придется закрыть мельницу и возглавить звено стариков на сенокосе.

Хамзат велел жене и снохе идти домой, и они с Алибеком уже приготовились обсуждать хозяйственные дела, когда увидели внизу на дороге грузовик, приближающийся к центру села. Он разминулся на окраине с телегой, увозившей добровольцев, и теперь, дряхлый, разболтанный, надрывно заывая на подъемах, чихая и кашляя измученным мотором, вез каких-то двух людей в пыльном кузове. Они стояли и держались за верх кабины. Хамзат судорожно ухватился обеими руками за железные перила моста, он сразу узнал сына! Вернее, не узнал даже — расстояние было еще велико, а угадал или голос услышал, словно благовест в душе прозвучал: «Сын! Сын Мусса!». Подтверждался сон, который Хамзат видел минувшей ночью: один из двоих в кузове грузовика мог быть только его сыном Муссой! Он очень был похож на самого Хамзата, но многие считали, что он точь-в-точь повторил Шонтука. Это еще много лет назад утверждал Атто, хотя Жарнес, разумеется, с ним спорил и доказывал обратное. Мырзакул, отец Керима, пользующийся непререкаемым авторитетом после того, как он положил на обе лопатки узденя Омара, доказывал, что парнишку не случайно назвали Муссой, — ведь он и в самом деле похож на пророка Муссу-Моисея, и никому в Жамауате не приходило в голову спрашивать, откуда Мырзакулу так хорошо знаком внешний облик пророка. Все это проносилось теперь в сознании Хамзата вместе с обрывками сна, виденного им минувшей ночью и другими ночами тоже, будто в степи к нему, трясущемуся от тифа, ползли степные змеи, а Мусса с горячей головешкой в руке отгонял их от него. День после того сна для Хамзата всегда бывал тяжким. А тут, на мосту, все это сходилосъ, и он безошибочно узнал, понял, поверил — это Мусса! Слабея, он оперся спиной о перила моста, — ему казалось, что река уносит его прочь, река растворила его в себе, и он с трудом повернул голову вслед жене и снохе, которые, не видя и не слыша грузовика, торопились в свой опустевший дом. Он попытался окликнуть их, но голос его пропал.

Уныло брели где-то в конце улицы Музафар и Арийпа. мимо которых проехал грузовик, обдавший племянника и

тетю густой пылью. Песок скрипел у них на зубах. Кто там ехал в кузове — они тоже не заметили.

Когда грузовик остановился на площади, подоспевший к нему раньше других Хромой Алибек крикнул: «Хаджибекир!». Крикнул так громко, словно увидел не живых земляков, вернувшихся с фронта, а бомбу, летящую прямо на «Дом Советов». Вторым криком: «Мусса!» он огласил желтые скалы над южным склоном и снова заговорило эхо, передавая радостную весть дальше и выше. Услышав имя своего сына, Хамзат еще тяжелее налег на перила, не было никаких сил двинуться, пошевелиться — хоть бы его слабость никто не заметил! Крик Хромого Алибека услышала Лейла. Она повернулась и, оставив мать, побежала, крича: «Уллу жаш» — «Старший парень!» Когда она бежала мимо Хамзата, Хамзат искал свою палку, которую он уронил некстати, а когда он ее уже поднял и оторвался от перил, его поддержала бежавшая следом за колин Хорасан. Хамзат что-то буркнул ей, точно она была виновата в том, что он уронил палку. Хорасан, как всегда, поняла его и уже больше не бежала — на виду у других женщин, у которых сыновья тоже на фронте, на виду у Налмас, которая уже оплакивала четвертого, а седьмого проводила, нельзя слишком бурно выражать свою радость! «Да, мужчина, ты как всегда мудр, знаешь наперед все, счастье тоже надо принимать с достоинством», — так думала Хорасан.

Хромой Алибек слез с коня. По утрам с помощью кюгонибудь из домашних он садился на лошадь, да так весь день и ездил верхом, потому, что спешиваться и снова садиться в седло ему было очень трудно; бывало, верхом и обедал, за что ехидные жамауатчане и прозвали его Лошадиным князем. А тут он даже спрыгнул с лошади, обнял Хаджибекира и заплакал. Хаджибекир был другом Хромого Алибека, его ровесником и почти опекуном. Все — женщины, мужчины, дети — все увидели, что за время, проведенное на войне, их земляки очень изменились, и дело тут не только в ватном подбородке Хаджибекира и раненой руке Муссы — они выглядели сильно постаревшими и бесконечно уставшими от самой жизни.

— Бедные, — сказала Даус, жена Байчо.

— Счастливые, — сказала Налмас, жена Бияслана.

Хамзат и Хорасан стояли в стороне. Мадина, дочь Хаджибекира, тоже ушедшая за телегой, видимо, разминувшись с отцом, поэтому из домашних Хаджибекира здесь никого не было.

Так потом и шли все тесным кругом по улице до Камен-

ного моста, за которым стоял дом Хаджибекира. Их спрашивали наперебой о своих близких на фронте, но ни о ком из Жамауата они ничего не знали, да и сами они встретились только в Нальчике. Когда они перешли узкий Каменный мост, Хаджибекир увидел отца у забора, сидящего на своем неизменном чурбане с апнуном, и вдруг разрыдался:

— Вот я и дома! Но разве я теперь человек?!

А одна женщина, глядя на растерявшуюся Айшат, сказала:

— Хоть бы туловище моего мужчины живым вернулось! Хоть бы без рук и без ног, но вернулся бы отец к своим детям... А тут...

Вторая, женщина, по-жамауатовски откровенная, сказала еще лучше:

— У мужчины есть и другие места, кроме подбородка, которыми он может осчастливить свою жену!

Хаджибекир стоял перед отцом, а ветхозаветный Атто сонным, потусторонним взглядом глядел на сына и не узнавал его. Старый человек пытался припомнить, где его видел, но так и не вспомнив, погрозил палкой:

— Щенок, при женщинах плачешь! Детей моих напугаешь!

Хаджибекир обнимал отца, вокруг него толпились дети, прыгали на него и на его вещмешок на спине. Чаукаш, 15-летний сын Хаджибекира, находился на сенокосе, Тукум, его младший брат, только что вернувшийся из леса с вязанкой дров, удивленно смотрел на ватный подбородок отца и на то, как не видя увечья отца, лезут на него Азиза, Аслижан, Нальбике — его сестры. Наконец, он снял со спины отца его вещмешок, а другие пошли дальше. Люди растекались по переулкам, желая долгой безбедной жизни Хаджибекиру и Муссе, желая Хорасан и Хамзату, чтобы и другие их сыновья вернулись живыми и здоровыми.

Конечно, приезд Муссы был праздником дома Кушжетеровых. После госпиталя он получил отпуск: долечит рану, поправит здоровье и вернется в свою часть. Но это уже должно было быть потом. К тому времени, когда он встанет на ноги, быть может, и война кончится, так что Хорасан возносила хвалы небу за своего сына.

— Надо пойти поздороваться с Шоштаром, — сказал поздно вечером Хамзат.

— Как же он... Не на войне, что ли? Мне писала Арийпа...

— Он вернулся... Ноги вроде отнимаются.

Но не успел Мусса собраться в дом Чоттаевых, как в

полночь к ним явился сам Шоштар. Он обнял Муссу, как сына, и долго не отпускал, все повторяя:

— Слава Богу! Слава Богу! Живым вернулся к родителям! — И обращался к Хорасан: — Какое счастье, сын твой живым вернулся домой.

— Садись, Шоштар, садись, — приглашал его Хамзат.

— Снова увидел я Муссу, — не мог нарадоваться Шоштар. — Рассыпали нас, как перья растерзанной птицы! Кто кого мог увидеть! — О чем эго он, Мусса не понял, а Хамзат подумал, что в первом же бою Шоштар был, вероятно, так ошеломлен и раздавлен страхом, что до сих пор не может опомниться.

Отец и сын молчали, а Шоштар, чувствуя какую-то вину за собой, все оправдывался.

— Был готов служить отечеству... такой... жестокий враг, — говорил он, а Хамзат утверждался в своей догадке. («Да, так оно и есть, убежал с поля боя! С ним это однажды было...») Шоштар продолжал: — Место, где нас обучали и формировали в отдельный дивизион, было очень болотистым, а у меня старая малярия... То ли сырость этой земли причиной, то ли что другое, у меня ноги стали отниматься... И в госпиталь положили, а я все рвался на передовую. Ну вот однажды в бою... так и упал, обе ноги отказали... а всего-то легкая рана в позвоночнике...

— Что поделаешь, — сказал Мусса. Отец его молчал. И чтобы как-то подбодрить соседа, кунака отца, сказал: — И тут дел неспор. В тылу не легче, чем на передовой.

— Это верно, — согласился Шоштар. — Но ведь душа горит, да не всем это объяснишь... Всякие, наверное, слухи обо мне ходят.

— Дочь Гобара, собери там на стол, — как-то нервно сказал Хамзат. — Мусса с дороги, сын Чоттаевых у нас в гостях.

— Но и думать, решать должны, — обратился Шоштар к Хамзату. — Если посмотреть без обмана... Я хочу сказать... Если судить по тому, как они идут...

— Ты это о чем? — вдруг насторожился Хамзат.

— Да вот думаю... Как нам быть, если война окажется здесь, у нашего порога? Я не знаю, о чем думает руководство колхоза, но... Надо обезопасить скот... Наверное, за гору придется его перегнать, в Грузию. — Тут он, то ли уловив настороженность Хамзата, то ли ожидая от него ответа, умолк. Так и сидел минуту-другую в глубоком раздумье.

— Да накрывайте же стол, что с вами сегодня! — почти

крикнул Хамзат в сторону женщин, и без того спешно занимающихся стряпней.

— Был у меня Самат, новый парторг,— продолжал Шоштар.— Предлагает прежнюю должность занять... Быть заместителем председателя по животноводству.

— Ты сильный бригадир. Но как же... как же с твоими-то ногами?

— Веришь ли, Хамзат, дома и здоровье возвращается! Вот своими протопал до твоего дома, хоть и нелегко мне двигаться. Думаю, если дело пойдет таким образом, болезнь отпустит. Хозяйка же у меня большая мастерица, травами лечит, медвежьим салом натирает.— И он встал.

— Садись, садись, куда ты,— засуетилась Хорасан.— Келин уже на стол собрала.

— Здесь и мой дом, но надо идти, уже время лекарство принимать.

Странно, Хамзат не стал его задерживать, охотно встал и раньше соседа пошел к выходу, чего он никогда не делал. Обычно он провожал Шоштара до переуллка, подолгу там разговаривал с ним, а тут вернулся прямо с порога и в сердцах спросил сына:

— И в самом деле, совсем уже близко?

— И не спрашивай, отец. Ближе некуда,— ответил Мусса.— Остановить его пока не хватает сил.

Хамзат присел у очага и надолго замолчал. Он чертил палкой на пепле какие-то знаки, обозначавшие, видимо, его тайные тягостные думы, и был сейчас похож не на отца, сын которого вернулся живым в свой дом, а на полководца, потерпевшего сокрушительное поражение. Наконец, он спокойно и даже почти ласково спросил:

— Дадут ли тебе долечить раны? Успеешь ли?

Мусса с трудом держал глаза открытыми: веки будто свинцом налились. Только благоговение перед отцом не позволяло ему прислониться к стене и уснуть. Лейла сказала:

— Поужинаем. Пусть уллу жаш¹ отдохнет с дороги.

Счастливая семья Кушжетеровых ужинала в глубоком умиротворенном молчании. Даже Музафар ни о чем не спрашивал.

8.

Снова шел дождь, безжалостно хлеставший по худой крыше вагона и по его щелястым стенкам. Люди сидели,

¹ У л л у ж а ш — старший сын.

укутавшись кто во что мог, с тупой покорностью судьбе, уже не надеясь хоть перед смертью свободно расправить занемевшее тело и вздохнуть полной грудью. Казалось, они просто ждали, когда свирепый весенний ливень захлестнет и потопит их маленький ненадежный ковчег. Однако этот ковчег настырно стремился к цели уже девятые сутки. Цель оставалась неведомой, но что там было гадать? Надо было только детей беречь, прикрывая собою, как от пуль. Еще берегли Бияслана, который больше не просил воды, больше не стонал так мучительно. Жизненные силы его были на исходе, и Хорасан, сняв с себя один из семи слоев белой ткани, приготовила саван для несчастного...

На левом верхнем ярусе, закутавшись в плед мачехи и посадив на колени младшую сестренку Нальбике, сидела Мадина. С той злополучной кошмарной ночи она вела себя смиренно, вернее, жизнь в ней замерла, а окружающая среда девушку не интересовала. Мадина наверняка не замечала, утихает ли дождь или хлещет вовсю, бежит ли поезд или стоит на месте, едят ли и пьют люди или забывают о еде и питье, как забывает она сама.

Из всех обитателей 13-го вагона один лишь Музафар знал о сердечной близости Мухтара и Мадины. Из-под теплой полы дедовского тулупа он часто посматривал в ее сторону, но взгляд ее все время упирался в темный угол вагона; она знала, что этот пытливый волчонок Музафар все время хочет заглянуть в ее глаза, подбодрить, заговорчески подмигнуть, дать понять ей, что Мухтар все равно ее найдет, на какой бы край света их ни завез этот скотский поезд! Но знала она и то, что Мухтар был страшно покалечен в одном из первых боев. Жалея и по-своему любя мальчика, она бы хотела именно ему рассказать, что сама видела Мухтара, собранного из разорванных мышц и раздробленных костей, но вместо этого она как бы вжималась душой в самый темный угол вагона, словно стремилась продавить дощатую стенку и вырваться наружу.

Из всех гонимых в неведомые края близких Мухтара одна лишь она видела Мухтара на волосок от смерти, когда терялась всякая надежда, и напрасно несмышлениш Музафар сулит ей светлый день. Было приятно, что мальчик верит в чудо, которое обязательно сбудется в дальней стороне, как только этот, протекаемый и продуваемый со всех сторон, товарный состав достигает последнего разъезда и оторгнет исхудавших, измученных изгоев. Однако Мадина

знала, что чуда не будет. Конечно же, Мухтар предан уже земле, и хорошо, что ее, Мадину, увозят подальше от тех мест, где много камней и деревьев, напоминающих Мухтара — на чужбине ей будет легче пережить утрату.

В то же время в двух укромных местах — в самодельном фанерном чемоданчике Хорасан и под кофточкой на груди у Мадины, на двух одинаковых газетных снимках победоносно и жизнерадостно улыбался молодой солдат. Для матери этот газетный лист с изображением сына был заветным талисманом, но для Мадины, как она считала, теперь уже только памятью. Снимок печатался в армейской газете: отличившийся в бою артиллерист Мухтар Кушжетеров был удостоен правительственной награды — ордена Красной Звезды. А в письме Мухтар сообщал Мадине, что ранен и лежит в госпитале в городке с малоизвестным адыгейским названием. Он просил не говорить об этом родителям, вообще никому, просил ее не волноваться — рана легкая, и он снова встанет в строй. Письмо обожгло Мадину не кровавыми от его ран строками, а тем, что было написано не рукой Мухтара. Хотя Мухтар клялся в письме, что почерк его изменился, так как он пишет раненой рукой, Мадина ему не поверила. «Все в порядке, — заканчивалось письмо, — жди с победой! Рана моя — только крещение!» Мадина не поверила еще и потому, что в словах и выражениях, не свойственных Мухтару, сквозило чье-то постороннее сочувствие. Письмо было явно написано не под диктовку Мухтара.

Остаток дня она ходила сама не своя, а ночью плакала. Ворочаясь в постели, она представляла его себе по-разному; смешались сон и явь, вера и суеверия, страх и надежда, а потом Мадина вдруг увидела горящие танки, а над ними стаю черных ворон, которые каркали «Гитлер-Гитлер!» Черный дым от горящих танков превращался в новые вороньи стаи, и небо содрогалось от их карканья. Там и тут лежали мертвецы, Мухтара нигде не было видно, и только на ветвях опаленного кустарника она заметила клочок его гимнастерки. Почему-то она точно знала, что этот клочок окровавленной ткани именно от Мухтаровой гимнастерки. «Погиб!» — подумала Мадина. — Но, может, это сон?» Она шагнула в сторону горящего танка, чтобы потрогать его: если рука ощутит огонь, то это не сон, а если ожога не будет — значит это сон, и надо помнить только, что никому нельзя его рассказывать. Но когда она подошла к танку, то на его месте увидела ишачий подседельник, а перед ним с шилом в руке деда Атто. Мадина обрадовалась и спроси-

ла: «Атто, Мухтар жив?». — «Да, — ответил старик, — Мухтар жив, он пошел за дровами». И тут она обнаружила, что горят не танки, а стога сена! Мадина вспомнила, что здесь косил сено и отец ее Хаджибекир, и отец Мухтара, и многие другие жамауатчане, а она в тот день копнила сено и пела.. «Эй, люди, стога горят», — хотела она крикнуть в бескрайнее поле, силились это сделать, но ничего не получилось, потому что голоса не было. Тогда Мадина сняла свою шаль и стала сбивать ею пламя. Это ей легко удавалось, и она сразу поверила, что с Мухтаром ничего не случилось, и он стоит где-то под деревом и посмеивается над ее стараниями. Затем она оказалась на краю поля и, оглянувшись, увидела, что все стога целы, а луга зазеленели свежей травой. «Надо вернуться к Мухтару», — решила она. Вернуться в тот день, когда она бегала и пряталась за стогами, а Мухтар, гоняясь за нею, все спотыкался о кочки и падал. Мадина смеялась на всю долину, и до того была счастлива, что превращалась в птицу с белыми крыльями! Она и взлетела бы в бездонную высь, если б только была уверена, что за нею последует и Мухтар. «Что будет, если поймает?» — подумала она и залилась краской. И надо же, замешкалась с этими своими думами, и не заметила, как к ней подкрался Мухтар. Он схватил ее за руку, а Мадина онемела от неожиданности. Она стала вырывать руку, но тут вдруг поняла, что Мухтар и сам смущен немало...

Проснувшись, она сидела в постели, обхватив под одеялом колени. Ясно было одно, сон явился к ней, как голос любви. Но кто бы в этом мире мог ее понять? Понять и благословить? Понять и одобрить ее решимость? То, что слышала Мадина — голоса эти, сны и знаменья, то, что она угадывала в письме между строк — было обращено только к ней одной и проникнуть могло только в ее душу и сердце. Никто другой не смог бы принять эти неуловимые сигналы. В доме Кушжетеровых была радость — они получили известие о сыне, знали, что он сейчас жив, получил награду за подвиг. Наверняка родители Мухтара спали в эту ночь спокойно. А вот Мадина предчувствовала угрозу большой беды. Теперь, сидя на постели и обхватив колени под одеялом, она чутко улавливала неслышимые ни для кого позывные, а из другой комнаты, где мачеха Айшат пекла чуреки, шел сильный и жизнеутверждающий хлебный дух, отметающий всякие недобрые предчувствия. И славный запах кукурузного хлеба словно укрепил ее силы, словно одобрил ее решение пройти такой нелегкий и даже опасный путь. Это тоже была война. Это была война, которую Мадина объ-

являла несправедливый, незаслуженно тяжелой судьбе. Война, которую тысячелетиями вели тысячи людей, выигрывая эту войну или терпя поражения. У каждого из этих тысяч была своя собственная война, и от нее нельзя было убежать и пересидеть ее в тихом укромном уголке. Мадина сейчас прекрасно это понимала.

* * *

Утром она была бледна, как покойник. На испуганное восклицание матери лишь всхлипнула, торопливо вышла из дому с ведрами и — пропала, точно рекой унесенная. В те дни бои приближались к кавказским краям, бомбы уже взрывались где-то в предгорьях, так что плач матери, потерявшей средь бела дня дочь, не вызвал в Жамауате обычную в таких случаях тревогу. Лишь соседи пришли во двор Хаджибекира, похныкали, попричитали и разошлись. Многие были склонны думать, что она, комсомолка, ушла в партизаны, а ставить об этом в известность родных не имела права. Это несколько утешало дом Хаджибекира, но все равно ее ждали к вечеру, потом к утру, потом со дня на день...

Мадина отправилась к Мухтару. Одно ведро было пустое, а в другом авоська с провизией на несколько дней, кое-какие денежки, пара чистого белья и рубаха для Мухтара, сшитая ею самой втайне от мачехи и остальных домочадцев. В Прохладной, на узловой станции, она надеялась сесть на какой-нибудь поезд. Эту мысль ей подсказал жамауатовский фельдшер Петро, к которому она украдкой забежала посоветоваться. Там, говорил он, поезда ходят один за другим, обратиться к любому проводнику или там военному — должны помочь. Мадина была благодарна Петру, который не только подсказал ей, как добраться до госпиталя, где лежит Мухтар, но и одобрил ее намерение. Старый русский фельдшер, еще «дореволюционный», даже смотрел на Мадину с восхищением, и она еще сильнее утвердилась в своей решимости и правоте.

До Баксана она добралась легко и быстро, в основном подсаживаясь на одноколки, везущие почту. На последней возчик оказался не только участливым, но и необыкновенно веселым и остроумным. Он острил по адресу Гитлера, называя его «эрейтором глупым», высмеивал немецких генералов, наделяя их хлесткими прозвищами. Один из генералов был Курорезом, другой фон Вором Старшим, третий был Зып-Зыпом, что означало Деру Дающий. Между разговорами и смехом Мадина нет-нет да и посматривала на возчи-

ка с подозрением: ныне все здоровые и молодые мужчины находились там, где шли жестокие бои, а этот, с виду такой розовощекий парень, лет под тридцать, на телеге разъезжает да шуточки шутит. Но когда они приехали в Баксан, и возчик сначала посмотрел на нее грустными глазами, а потом как-то неловко и тяжело прыгнул с телеги, чтобы помочь ей слезть, она увидела пустую штанину на левой ноге парня, загнутую с короткого обрубка и засунутую за пояс. Мадина покраснела и даже толком спасибо не сумела сказать, так и ушла, все убыстряя шаг и боясь оглянуться.

Под знойным июльским небом задыхались поля. Хватая сухим ртом горячий воздух, Мадина еле передвигала ноги. «Да, нет же,— вспомнила она,— дорогу осилит идущий». Далеко ли до Прохладной? Один-единственный раз в своей жизни она была в Прохладной — ездила на какую-то олимпиаду. Но тогда они ехали с гармошкой и песнями, даже и не заметили, как весело одолели весь путь. Теперь, шагая по пустынной и очень пыльной дороге, она смотрела по сторонам и удивлялась бескрайности полей. Мадина так бы и шла, изнывая от жары, но ее догнала обшарпанная полуторка. Шофер, очень худой и усталый человек, остановив машину, кивнул в сторону кузова, где двое стариков, такие же худые и усталые, держали под уздцы двух жеребцов. Поначалу Мадина испугалась, глядя в кузов, но опять остаться в одиночестве на дороге, не добраться вовремя до станции она боялась еще больше, и, стараясь не выдать своего волнения, взобралась наверх. Мадине очень бы не хотелось, чтобы старые люди вдруг начали расспрашивать, куда она собралась, такая двушка, одна, но попутчики не стали докучать ей своим любопытством. Машина подпрыгивала на колдобинах, жеребцы вели себя беспокойно, приходилось думать не о том, кто и куда едет, а о том, как бы уцелеть в этой поездке. Трудно было сказать, сколько они так ехали, час или полтора, прежде чем машина остановилась прямо на середине дороги, кажется, сама по себе, точно исчерпав все силы. Густое облако пыли, поднятое грузовиком, осело прямо на пассажиров. Мадина, как сквозь туман, увидела, что старики открывают задний борт и опускают на дорогу широкие сходни, лежавшие в кузове под ногами коней. Сначала один свел лошадь на землю, потом другой. Оставшись одна в кузове, Мадина увидела довольно далеко от дороги приземистую длинную конюшню с множеством окошек. Старики пошли туда, ведя за собой жеребцов. Она спустилась на землю, тихо пошла к кабине, чтобы

поблагодарить шофера и заплатить за проезд. Но он спал, опустив голову на баранку. Мадина бросила деньги через окошко в кабину и тихо отошла.

Мадина с тоской оглянулась на машину, ей хотелось спросить у шофера, далеко ли до станции, но как можно будить свалившегося от изнеможения человека? И она зашагала по дороге дальше.

До самых сумерек она не встретила ни человеческого жилья, ни самих людей. Ей уже становилось страшновато, и хотелось не идти, а бежать, как можно быстрее, чтобы страх остался где-то там позади и больше ее не тревожил. Дневной зной давно уже спал, но ее платье все так же было влажным от пота и неприятно липло к спине и плечам. Как бы ей хотелось теперь окунуться в свежую речную воду, так и бросилась бы в нее, не раздеваясь, сколько бы сил ей прибавилось! Недаром в Жамауате говорили: тот, кто искупается в реке перед дорогой, тот быстро достигнет цели.

Ячмень уже созрел и часть урожая была убрана. Заметив недалеко от обочины стог соломы, Мадина свернула с дороги и подошла к стогу. Тут было как-то по-домашнему уютно, словно и люди должны были вот-вот появиться. Она сняла с плеч авоську и свалилась на солому. Она лежала несколько минут без движения, но потом вдруг вскочила, огушенная криком Мухтара. Он звал Мадину с соседнего стога, смеясь и подшучивая над ее страхами. Но ударивший в душу этот крик тут же и рассеялся в ночной степи, как только она пришла в себя. На небе горели яркие-яркие и такие спокойные звезды! Если лежать, все время глядя на них, то можно ничего не бояться, можно даже говорить с ними. В соломе сновали мыши, и это тоже обещало мир и покой. Запах ячменной соломы снова навевал вещице сны, готовые вернуть ей тот радостный крик. Но Мадина походила вокруг стога, и в голове ее окончательно все прояснилось. Опершись спиной о стог, она стала смотреть в сторону дороги. Она знала, теперь основное движение на дорогах приходилось на ночное время, и вполне могло случиться, что кто-нибудь будет ехать на станцию. И еще она напрягала свой слух, надеясь, хотя и смеясь над этой надеждой, вновь услышать желанный крик, а если удастся, то и разглядеть лицо Мухтара. Главное, крик-то этот был криком совсем не раненого человека, а здорового и полного сил. Ее мысли прервало ржание лошади. Мадина рванулась с места вперед, но ржала одинокая лошадь не со стороны до-

роги. Мадина оглянулась и различила силуэт животного у соседнего стога.

Лошадь не зря заржала: на дороге появилась телега, и еще одна, и еще... Потом Мадина, выйдя на обочину, увидела девушек на ближайшей телеге. Возчик остановил лошадей, а девушки чуть передвинулись, высвобождая место для Мадины. «Как поздно с работы возвращаются,— подумала Мадина.— В поле надрываются от зари до зари, какие молодчины, а я...». Возчик помог ей взобраться на телегу, а девушка, рядом с которой села Мадина, сквозь усталую ленивую дрему почувствовала,— вероятно, по наитию, наощупь,— беззащитность и душевный непокой одинокой странницы, и приобняв Мадину за плечи, покровительственно прижала ее к себе. И возчик вспомнил о ней через некоторое время. Он спросил: «Кто тебя оставил ночью в поле?» Мадина ждала вопроса — хоть кто-то должен был из этих живых душ спросить, кто она, откуда. И она обрадовалась, услышав живой голос. «Я в Баку еду», — соврала она. «В Баку?» — переспросил парень. В его голосе чувствовалось не то чтобы удивление, а скорее досада, потому что нормальный человек в такое время не должен был, на его взгляд, разъезжать по стране. «В Баку! — повторила она еще увереннее, чем в первый раз.— Скажите, до Прохладной далеко еще?» — «Мне остается три часа на сон,— проговорил возчик, словно не слыша вопроса.— Я тут и бригадир, и учетчик, и «водитель» этой вот арбы». — «Какой молодец! — неожиданно весело сказала Мадина и сама удивилась своей фамильярности. Но она уже разобралась, что парень был моложе ее, хотя в темноте и не так легко было определить возраст.— И девушки такие славные,— искренне похвалила она.— Вон как устали на работе, спят сидя». — «Усталость не то слово,— солидно сказал юноша.— Но что делать — война! За Родину! За Сталина!» — «Да, да, конечно», — согласилась Мадина.

Въехав в темное село, парень стал останавливаться у некоторых дворов и, окликая по имени, будил одну или двух девушек. «Вы мне скажите, как дальше идти, и я пойду», — попросила Мадина. Но «водитель арбы» выехал на главную дорогу и сказал:

— До станции час езды, обратно — столько же. На телеге и вздремну.

— Что вы, я не хочу этого! Это будет нечестно,— запротестовала Мадина.

— Неужели вы думаете, что я могу оставить девушку на ночной дороге? Оставить девушку, чтобы поспать лиш-

ний часок? — Помолчав, добавил: — Я ведь казак! Терский казак! — Мадина не ответила, а юноша спросил: — А вы... горянка. Кабардинка или балкарка?

— Балкарка из Жамауата. Мадиной меня зовут.

Уже на привокзальной площади он сказал:

— Счастливо! Скоро и я пойду воевать, осталось полгода до призыва. Только к этому времени, наверное, товарищ Сталин уже разобьет Гитлера!

Мадина тепло поблагодарила хорошего парня, пожелала ему успехов и заторопилась на перрон: как раз к станции приближался какой-то состав.

Однако поезд этот состоял из одних цистерн и не остановился. Мадина стояла на перроне, и голова у нее кружилась от тревожного перестука и быстрого мелькания колес. Она не поверила бы, если б ей сказали, что поезда могут быть такими длинными. В тот раз, когда она приезжала сюда на олимпиаду, то видела на станции пассажирский поезд — такой красивый, с занавесочками на окнах, и состоял он всего из пяти вагонов.

Наступило утро, а затем и полдень, но больше никаких поездов не было. Она все ждала...

За оставшуюся половину дня лишь один товарный состав прибыл на станцию. Он стоял долго. При каждом вагоне было по два солдата в плащ-палатках и с автоматами. Мадина к этому поезду попыталась приблизиться, но ее не пустили. Из ее глаз потекли слезы отчаяния; хотелось лечь на шпалы и разом покончить со всеми мытарствами. Когда поезд отходил, солдатики задумчиво и грустно смотрели на нее.

Уже вечерело, когда она вспомнила о еде. В авоське, возвращенные в плотную желтую бумагу, лежали сыр и несколько кукурузных лепешек. И хоть она не ела уже два дня, особенного голода не чувствовала. Мучила ее только жажда. Она пошла в скверик за вокзалом и расположилась под старыми тополями. Здесь было прохладно, протекала по канавке чистая вода. Она могла освежиться — помыть руки, лицо, попить из арыка. Мадина так и сделала. Потом достала из сумки свою скромную провизию и, отломив кусочек лепешки, стала жевать ее с сыром.

Потом она чуть не уснула, опершись спиной о ствол тополя — измученное тело просило отдыха. Ее подбросил на ноги отдаленный паровозный гудок. Она помчалась на перрон босая, оставив под тополем всю свою поклажу и чумяки. Из-за поворота показался паровоз, высоко вздымающий над

собой столб черного дыма. Паровоз тащил за собой товарный состав. Мадина вдруг поняла, что обязательно уедет с этим поездом. Она вернулась в скверик, торопливо собрала свои пожитки и пошла к первым вагонам.

Некоторые вагоны стояли с раздвинутыми дверьми, и в их полутемных проемах виднелись ящики, бочки, штабеля каких-то досок. Мадина чувствовала запахи конского навоза, машинного масла, подгнившего картофеля. Она остановилась у вагона, где сидел, свесив ноги, человек лет пятидесяти, может, меньше; он был обросший, усталый, не ухоженный, с проседью в бороде, глаза только глядели ясно и остро. Мадина, собираясь его спросить, но никак не осмеливаясь, раз и другой прошла мимо. Мужчина (видимо, вольнонаемный) не обратил на нее внимания. Наконец, она решилась:

— Мне ехать до... — она сказала название городка. — Не стыдите, но...

Человек внимательно глядел на нее.

— Беженка, что ли?

— Нет! — И быстро: — Но я уже два дня в пути... В госпитале... мой брат! — Лицо Мадины горело, а человек все смотрел на нее и ничего пока не обещал. — Я заплачу вам...

Мужчина прыгнул на землю и, встав перед Модиной, жадно, тоскливо продолжал ее разглядывать. Мадина опустила голову и уже хотела уйти прочь.

— Помогу, конечно, — по-отечески ласково сказал мужчина, и Мадина остановилась. — Но почему ты такая испуганная? Кто-то обидел?

— Нет, — сказала Мадина. — Наоборот, мне очень везло в эти два дня. Вот только здесь задержалась. Очень надо... Не стыдите, что одна. У моего брата нет никого, кроме меня.

— Поднимайся в вагон и устраивайся, — он погладил ее по руке. — Если что, ты моя дочь! — И помог ей подняться в вагон. — Накроешься ночью, — сказал мужчина, бросив рядом с нею свою шинель.

— А сколько ехать? — спросила она.

— Завтра утром будешь на месте, — сказал он. — Если доедем благополучно...

— Почему «если»? — насторожилась Мадина.

— Если не будут бомбить...

На это Мадина ничего не ответила, чтоб не накликать беду: женщина в пути, говорят, всегда опасный груз,

не зря в Жамауате сравнивают такой груз с корзиной яиц, которую везут на старой арбе по колдобистой дороге.

Когда поезд тронулся и мужчина поднялся в вагон, она сидела, прикрыв ноги шинелью. Она ждала, что благодетель начнет расспрашивать и была готова рассказать ему о Мухтаре. Это, может, и не очень удобно, рассказывать старому человеку о своем парне, но ведь она ехала теперь не к жениху, а к раненому воину, это снимало ту неловкость, которую всегда испытывает девушка при разговоре о своем женихе. Но мужчина не собирался ни о чем спрашивать. Он повозился, повздыхал о чем-то и лег в другом углу, накрывшись куском брезента. Двухдневная усталость и равномерный стук колес убаюкал Мадину, и она крепко уснула, накрывшись шинелью.

...Мадина, пес Талар и красный вол отца возвращались с пашни. Они шли по земле, но казалось, будто все они едут на арбе, потому что всех троих сильно качало. Мадина обнимала шею Талара, а красный вол все норовил навалиться прямо на нее. Арба, наверное, ехала по каменистой дороге, потому что, как бы Мадина ни силилась освободиться от тяжести придавившего ее красного грубого вола, арбу от этого только сильнее раскачивало, казалось, она вот-вот перевернется. Так и случилось — арба перевернулась, и Мадина, отпустив Талара, попыталась подальше отпрянуть, чтоб не попасть под арбу. И тут она проснулась и обнаружила на месте красного вола навалившегося на нее вагонного проводника. Сгорая от стыда, она рванулась к стене вагона, а он, больно обхватив ее руками за пояс, продолжал подтягивать под себя. Она поджала колени, напряглась и сумела оттолкнуть его одновременно руками и ногами; он встал на колени, и, задыхаясь от досады и гнева, прохрипел:

— Глупая, идет война! Может, завтра живы не будем... Мадина поднялась на ноги.

— Бандит! Я думала, вы человек, а вы, оказывается, бандит! Иначе были бы на фронте...

— Брешешь, — сказал мужчина. — Я не бандит, и война у меня еще тяжелее. Потому и бронь!

— Видно, как вы воюете...

— Еще не видела, но увидишь...

Мадина попятилась к дверям.

— Если вы сделаете еще один шаг ко мне, я выброшусь из вагона! — Она успела взяться за поручни и отодвинуть двери. Но мужчина все же сделал еще один шаг к ней.

— Надо жить, пока живем... Или ты до того дикая...

Мадина спиной почувствовала, что снаружи моросит дождь. «Интересно, по какой местности поезд идет?» Тут она почувствовала, как рука мужчины коснулась ее груди, и как-то боком выпрыгнула из вагона.

— Дура! — пронеслось над нею.

Она упала на что-то сыпучее, покатила по откосу и оказалась в воде.

Она встала по колена в озерке или пруде — вода была теплой, стоячей. Шагнула. Вышла на влажный бережок, и вдруг ее пронзила острейшая боль в боку. Скорчившись, она упала на песок, перед глазами поплыли красные круги, и она стала звать давно умершую мать. А потом боль утихла, из озера поднялась фея воды и, взяв ее на руки, полетела над железной дорогой. Мадина еще помнила, что шла к земному человеку Мухтару, но фея несла ее в светлые небесные края, и не было сил сопротивляться.

Когда она пришла в себя, над озером поднималось большое красное солнце. Осторожно вытянувшись, немного полежала с открытыми глазами. Попробовала встать и вскрикнула от боли. «Вот чем заплатила за спасение!» — подумала Мадина. Да, зло подстерегает человека, но оно же и закаляет. С большим усилием Мадина села на песке, попробовала согнуть и выпрямить ноги, подвигала руками. «Что-то с ребрами, — прошептала она. — Ну, это не страшно, пусть себе. Наверное, сломано одно или два — чепуха!»

Мадина осмотрела берег, убедилась, что поблизости нет никого, и разделась. Прополаскала платье, выжала, вытерлась им же, затем снова прополаскала, отжала и одела. Держась за болевший бок, она вышла на железнодорожное полотно и пошла по шпалам...

Мадина не любила вспоминать о своем пути в Адыгею. Никто о ее странствиях так и не узнал. Вернувшись на двадцать третий день в Жамауат, она молчала. И молчала так, что ее боялись расспрашивать. По поводу ее траурного вида и неслышанного срока таинственного отсутствия, конечно, перешептывались, судачили, но подходящего объяснения той жуткой перемене, что произошла с Мадриной, найти не сумели. Айшат, заменившая ей мать, тоже ничего не могла от нее добиться, и тогда она высказала свою версию о подпольной работе, правда, до смешного неумелую и по-детски наивную.

После своего прыжка с поезда, к середине дня, она добрела до городка, где легко нашла военный госпиталь. Стоя у высоких, настежь раскрытых ворот, она, словно околдо-

ванная, теперь не могла и шагу ступить. Сильно жгло в боку, а страх, что не найдет здесь Мухтара живым или узнает, что его перевели в другой город, держал ее здесь. лишал силы войти во двор госпиталя. Когда к ней подошел санитар и спросил, к кому она пришла, она быстро ответила: «К Мухтару!». А когда тот засмеялся, уточнила: «К Мухтару Кушжетерову!».

— А,— сказал санитар.— Так он же... Откуда вы приехали? — Мадине не хотелось отвечать, разве это важно, откуда она приехала, скорей увидеть его.— Так он же не ходячий. Он же собран только...

Мадина не поняла, да и как она могла понять, что значит «собран».

— Если он жив, проводите меня к нему,— попросила она.

В скверике сидели и ходили раненые — кто с перевязанной рукой, кто на костылях, а кто просто с забинтованной головой. Они вошли в одно из зданий госпиталя и поднялись на второй этаж, где санитар указал ей палату. Оказавшись внутри, она увидела два длинных ряда кроватей. Она пошла, мельком посматривая на стонущих, спящих или читающих, сидя в постели, раненых, в дальний угол. Остановившись у предпоследней кровати, она ухватилась за ее спинку, чтобы унять биение своего сердца, чтобы устоять на подкашивающихся ногах. Здесь, здесь, здесь... Лицо человека, к которому она стремилась, было почти полностью скрыто бинтами, но она сразу и безошибочно его узнала.

— Мухтар!

Ответа она не услышала, да и вряд ли могла услышать. У него только одна рука и была свободна, и она судорожно скользнула вверх и вниз по забинтованной груди. Другая рука и обе ноги были в гипсе. А глаза его, как два маленьких родничка, выглядывали из-под марли, как из-под снега, как два родничка, что не замерзают даже в лютую стужу, потому что хранят в себе глубинное тепло земли. Мадина увидела, как они осмысленно и благодарно глядят на нее: он, возможно, и не узнавал ее, возможно, не знал, сон это или явь, но смотрел, собирая все оставшиеся у него силы. Смешанное чувство горести, радости, тревоги и надежды лишило ее дара речи. Она опустилась на колени у изголовья кровати и, дрожа, как в ознобе, лишь мысленно просила Мухтара произнести хоть одно словечко. Тогда перед ее помутневшим взором поднялась живая рука и обозначила в воздухе какой-то успокаивающий жест. Ко-

нечно, и рука была хорошо знакомой, носившей в себе знакомое тепло. Мадина бережно взяла ее в обе свои ладони и прижала к груди. Когда она встала с влажным от слез лицом, она увидела роднички закрытыми. Мадина положила руку Мухтара вдоль его тела. Она не знала, что делать дальше, но в это время подошел высокий пожилой мужчина в белом халате и очках. «Военврач!» — догадалась Мадина, а мужчина представился: «Семен Иосифович Машинский, военврач, майор». Мадина слегка растерялась и опустила голову — не знала, что сказать. — «Кто вы? Сестра? Невеста?» — голос врача звучал совсем не строго, но Мадина лишь прерывисто вздохнула. Сказать «невеста» стыдилось, сказать «сестра» тоже стыдилось, потому что в таком случае приходилось врать. «Хорошо, — согласился тогда Семен Иосифович Машинский, — сестра вы ему или невеста не суть важно. Ну, а откуда приехали?» Тут Мадина ответила быстро:

— Из Жамауата. Это в Кабардино-Балкарии...

— Знаю, замечательный край, — сказал военврач. — Был там в местечке Терскол до войны. В полевых условиях оперировал немецкого альпиниста, сорвавшегося в трещину на леднике.

— Немецкого альпиниста? — удивилась Мадина.

— Представьте себе, — вздохнул военврач. — Его так же, как и вашего жениха или брата, приходилось буквально собирать по кусочкам. Ну, а через год, в сороковом, он писал мне, что начал тренировки... А вы где остановились?

Мадина посмотрела на военврача непонимающими глазами и зябко передернула плечами — она и не думала об этом.

— Кстати, вы все жметесь на бок.. С печению что-то? — Но Мадина еще ниже опустила голову и промолчала. — Черт-те что, — рассердился военврач и озадаченно поискал глазами кого-то. У третьей от них кровати женщина ухаживала за раненым. — Жаниме, — обратился он к ней, — эта стыдливая горская княжна приехала издалека. Я тебя прошу, позаботься о ней. У тебя мало забот, добавь себе еще. — Он продолжил обход раненых.

Вскоре Жаниме подошла к Мадине и по-матерински взяла ее за локоток. Мадина повернулась к ней с мольбой в глазах: «Скажи, добрая женщина, он умирает или поправляется?».

Жаниме точно угадала ее немой вопрос:

— Он поправится, девушка! Руки нашего военврача волшебные, чудеса творят.

— А можно мне остаться здесь? Ну, буду вам помогать... Полы подметать, стирать белье... За... Ухаживать за ранеными.

— Семен Иосифович очень даже будет доволен. Рук у нас не хватает...

Жаниме привела Мадину к себе домой; они договорились: Жаниме и Мадина будут сменять друг друга в госпитале и дома. Будет помощь не только раненым, но и ей, Жаниме, потому что у нее двое детей — Исхак, сынишка неполных шести лет, и дочка Зурет, около годика — приходилось их таскать с собой в госпиталь. А так они с Мадиной будут сменять друг друга.

Супруг Жаниме был на фронте; последнее письмо от него пришло три месяца назад из-под Ленинграда, и с тех пор Жаниме ничего не знала о нем. В те короткие часы, когда им удавалось побыть дома вдвоем, она плакала, вспоминая мужа.

Рядом с Мухтаром Мадина приходила в себя; два ребра, сломанные во время падения, орастались здесь быстро под руками чудотворца Семена Иосифовича, а особых изменений в состоянии Мухтара пока не замечалось. Семен Иосифович говорил, что так и должно быть, потому что, подвергавшись на mine, он еще полз по полю, волоча за собой раздробленные ноги, потерял много крови. Иногда Мадине казалось, что он узнает ее: глаза Мухтара теплели, в них появлялся знакомый блеск. Иногда здоровая рука поднималась, что-то объясняя и показывая Мадине. Так проходили дни. Мухтару заменили повязку на лице, и там стало достаточно открытого места, чтобы узнать его могла не только любящая девушка. Однако он до сих пор еще не сказал ни слова. Видно было, как он порою напрягается, глядя на Мадину широко раскрытыми глазами, но скоро теряет силы и вновь впадает в забытие.

К исходу второй недели почти половина раненых, с которыми Мадина подружилась, выписались и разъехались — одни снова на передовую, другие в отпуск, чтобы подлечиться еще, третьи — по инвалидности — домой навсегда. У Мухтара все еще не было изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. Иногда по ночам он стонал, сжимая здоровой рукой спинку кровати, и исходил горячим потом. В последние ночи это повторялось все чаще, а Семен Иосифович говорил: приступы — признак возвращения жизни в поврежденную плоть. «Деточка, это срастаются кости!» — успокаивал он.

Однажды ночью Мадина проснулась от сильного грохота. Еще не соображая что к чему, присела на кровати. В следующее мгновение сильными всплшками осветились окна и посыпались стекла. Спросонья ей подумалось, что грохочет гром, но в следующее мгновение поняла: город бомбят. Жаниме была на дежурстве, и Мадине пришлось действовать самостоятельно. Путаясь, не попадая руками в рукава, Мадина, тем не менее, оделась быстро и стала поднимать сонного мальчика. Раздался новый грохот, с потолка посыпалась штукатурка, а по саманным стенам зазмеились трещины. Тогда Мадина схватила девочку в охапку, мальчика за руку и выбежала на улицу, где беспорядочно метались люди, захватившие с собой из домов, что под руку попало. Мадина не знала, куда бежать, где прятаться от бомбежки, но мальчик, к ее удивлению, стойко державшийся все это время, потянул ее за руку и твердо сказал: «В госпиталь!» Мадина спохватилась — как она сама не сообразила: ведь Жаниме была там, и Мухтар, обмотанный бинтами, прикованный к постели — тоже там. От гула самолетов, летевших низко, она не слышала ни голосов бегущих людей, ни плача девочки, которую крепко прижимала к груди. В той стороне, где находился госпиталь, пылали пожары. В темноте неба прямо над нею пролетел тяжелый бомбардировщик, и она, задыхаясь, теряя силы, опустилась возле какого-то забора, прикрывая собой детей. Грохот нескольких взрывов раздался совсем рядом, а затем наступила минута хрупкой звенящей тишины. Мадина спросила у мальчика: «Что будем делать, Исхак?» Он был мужчиной, а она еле сдерживала слезы и нуждалась в поддержке, совете. Исхак, хотя и был еще ребенком, соображал не хуже взрослых: «В подвал! — сказал он. — В госпитале подвал есть!» — «Ну, бежим туда!» — сказала она. Горели дома, выли собаки, проносились на телегах люди, а Мадина шла, не оглядываясь, не опуская головы, точно все это ее не касалось. Сейчас ни перед какой силой она бы не склонилась — она была с детьми и отвечала за их жизнь. Все остальное уже не имело никакого значения, даже разрушенный дом Жаниме.

Госпиталь, как видно, не пострадавший, был оцеплен. Солдаты выносили раненых и грузили в машины. Во дворе сутились медсестры и санитары. Мадина до хрипоты звала Жаниме, но ее не было видно. Исхак пролез сквозь прутья ограды и побежал искать маму. У ворот появился — уже не в халате, а в военной форме Семен Иосифович.

— Я Мадина! Где Мухтар? — быстро, как радистка, спросила она.

— Возвращайся домой, княжна! — сказал врач. — Жениха твоего увезли! Постараемся спасти!

— Спасти!! — только крикнула она, но у начальника госпиталя не было ни времени, ни сил ответить ей. Он валился с ног, двое солдат помогли ему сесть в машину, и он уехал.

— Мухтар! Ой, Мухтар! — кричала она, припав к прутьям ограды.

— Мухтара увезли, а матери нет, — услышала она под боком голосок Исхака. Мадина сползла вниз, да так и села, вытянув ноги и опираясь спиной об ограду. До этого часа она думала, что не потеряет рассудка, достойно примет любую беду, но теперь она ощутила такую пустоту, такое равнодушие ко всему, что ей даже стало легче. Все, что происходило с нею в последние дни, казалось неправдоподобным, а если что-то было, то настолько никчемное и напрасное, что в сердце с мукой рождалось безнадежное разочарование в себе самой и чувство вины.

Кажется, она либо забылась в минутном сне, либо обморок с нею был, но придя в себя, Мадина увидела перед собой Исхака и Жаниме. Девочка уже была на руках у матери.

— Увезли твоего, — сказала Жаниме.

— Увезли, — неопределенно и безучастно повторила Мадина.

— Увезли живого, — уточнила Жаниме. — Мухтар такой крепкий парень, он выстоит.

Мадина поднялась. Постояла, прижимаясь лицом к железным прутьям ограды, затем повернулась к Жаниме и детям и пристально посмотрела на них, точно стараясь запомнить их навсегда.

— Мне приснились лошади, — сказала она вдруг. — Сначала дерево, такое темное... А потом что-то звенит, огляделась, вижу — лошади. В темноте трудно было разобраться, поэтому я пошла к дереву, а там дорога такая широкая и белая... Вот там и увидела этих лошадей. Впереди шла белая лошадь, тихо так шла, а за нею другая, подпрыгивая, звеня железными путами... Оказывается, стреноженная. Она, наверное, хотела догнать ту, что впереди, и никак не могла. Понимаешь, Жаниме, звенели железные цепи, вот как сейчас слышу... Вот так они и шли по той белой бесконечной дороге...

— Наш городок, наверное, сдадут, — сказала Жаниме, помолчав. — Так что нет времени. Пошли.

— Твой дом разрушен, Жаниме. Я видела.

— У меня есть сестра.

— Спасибо, Жаниме, — сказала Мадина тихо. — Мне надо возвращаться домой.

— Нет дороги, девушка. С ума сошла...

— Теперь мне все равно, Жаниме. Пойду обратной дорогой... Мне бы гранату, хоть одного гада с собой унести.

Жаниме опустила свою дочку на землю, резко взяла Мадину за руку.

— Хватит нюни распускать! Не время для глупостей.

В затемненном доме родственников Жаниме в этот августовский день было тихо и не очень жарко. Мадина проспала целый день. Просыпаясь, она пила воду и снова впадала в забытие. Жаниме не мешала ей.

Так прошел день, еще вечер и ночь; где-то шли бои, грохотали взрывы, но враг в город не входил. «Может быть, остановят?» — надеялась Жаниме. Утром следующего дня, поднявшись с зарей, Жаниме не застала Мадины. «Ушла!» — сказала она со смешанным чувством. Жаниме понимала, что перед ее гостьей лежала тяжкая опасная дорога, но не очень беспокоилась за нее. Восхищаясь упорством Мадины, Жаниме говорила: «Пусть небо сжалится над девушкой!». Потом она ждала писем, но так и не дождалась. Мадина вспоминала ее с благодарностью, но не писала: жизнь казалась ей теперь и пустой и бессмысленной, хотя где-то в мире жила хорошая женщина — адыгейка Жаниме...

9.

Ровесница Мадины Надежда, чувствуя молчаливое осуждение всего вагона, вступилась за свою сестру Светлану:

— А что, скажете, Светлана не права? И нечего смотреть на нас как на прокаженных!

Ей никто не ответил, но все взоры были устремлены на Шоштарово семейство. Лица у всех — исхудалые, измученные, в глазах — усталость и отчаянная скорбь. В иное время эта скорбь могла бы вспыхнуть гневным пламенем и опалить воинственно ожесточившихся Шоштаровых женщин, но сейчас оставалась и бессильной и безмолвной.

И только Хорасан сказала свое короткое слово:

— Устыдись, Марифа! — строго обратилась она к молчавшей до сих пор жене Шоштара, возлагая на нее ответственность за поведение обнаглевших девиц.

Но тогда взорвалась и Марифа, давно уже трясающаяся от злости:

— Что ты, Хорасан, так властно на меня голос повышаешь? — подбоченилась она, сидя на месте. — У тебя муж рядом, тебе ли понять!.. Горе постигло меня! Моего-то Бог откуда призовет к себе? У Сталина собакой был, у Гитлера как проклятый носился... Где ему найти пристанище?

— Свиной будет пасти, если останется жив, — подал голос Али. Этот прямой, быстрый на язык парень начинал раздражать Шоштарово семейство, особенно невзлюбила его Надежда — четвертый кисловодский подарок Марифы.

С самого начала пути она избрала его своей мишенью и постоянно отпускала в его адрес наивно-злорадные шуточки, которые смущали стариков, а детей забавляли. «Ну, Надя, перестань», — краснела Леночка. Хрупкая, стеснительная, казавшаяся еще ребенком, почти все время она тихо плакала, и люди видели, как мать не утешает, а нещадно бранит ее.

— Насчет свиной, мальчик, не волнуйся, — сказала Марифа неожиданно спокойно. — Если у них даже свиной пасти, то там хуже не будет. Многие предпочли бы стать свинопасами в Германии, чем гнить в лагерях. Кое-кто видал и такую жизнь...

— Так говорил Шоштар? — вдруг вмешался в разговор Хамзат.

— Так и говорил, — ответила Марифа, не улавливая сути вопроса.

— И жил с двойным лицом?

— А ты, Хамзат? — встрепелась Марифа, и Хамзат пожалел, что ввязался в эту свару. — Ты с каким лицом жил? Молчал? И считаешь, что жил праведно? Ушел в свою мельницу, слушал только гул жерновов и думал, что живешь с чистой совестью? А то, я вижу, ты все таишь обиду на Шоштара. Он, во всяком случае, поступал по велению своей совести. Кто тебе поверит, что после 38-го, когда тебя держали шесть месяцев в одиночке, в ожидании расстрела, ты продолжал верить в советскую власть? Ты так искренне любил ее, что готов был, как прежде, в Гражданскую, идти на соседа с оружием?

— Так твой же мужик пришел с оружием, а не мой! — в сердцах возразила Хорасан. — Выстрел прозвучал в моем доме, а не в твоём... Я хорошо помню, я носила Мустафу...

В прежние времена женщины Жамауата старались не заводить с Марифой неприятные для нее разговоры, а

уж тем более попадать к ней в немилость. Односельчанки в ней нуждались: она привозила хорошие вещи, особенно мануфактуру, всякие платки, украшения, а кто не имел дочку в Жамауате на выданье! Ни одна женщина в своих свадебных мытарствах не обходилась без ее помощи и хорошо понимала, к чему привела бы ссора с нею. Марифа драла с соседок по три шкуры, но что делать, не каждая имела возможность ездить в Нарсану — Кисловодск, к тому же на том пути Марифа зарабатывала себе не только кучу денег, но и не очень лестную славу. Так что лучше было не ссориться с нею. Марифа не была бы первой и самой выдающейся спекулянткой Жамауата за все времена, если бы с завидной женской практичностью не освоила суровые законы аульской жизни и не пользовалась ими, как опытный стратег. Но теперь-то в поезде, в скорбном пути мухаджиров, шансы женщин вроде бы уравнились, — они могли припереть ее к стене, заодно и отомстить за многолетнее бессовестное обирание. Но оказалось, что гадкий этот микроб страха за будущую выгоду не гибнет даже в самых безнадежных ситуациях. Бедные женщины, изумляясь самим себе, вдруг поняли, что они поражены не наглым выпадом Марифы, жены полицая, зачавшей пять дочек вдаль от постели Богом данного ей мужчины, не выпадом против ничем не запятнанной семьи Кушжетеровых, а тем, что они, бедные женщины, все еще чувствуют свою подспудную зависимость от Марифы и потому не находят в себе решимости поддержать Хорасан.

Пройдет много лет, и Музафар, работая над авторефератом о психологии человека в экстремальных условиях, будет ломать голову над тем, почему люди, в данном случае женщины, на чьей стороне было преимущество и абсолютного большинства, и высокой нравственной правоты, вдруг отступили, побоялись даже слово сказать? Ведь хамство и несправедливость Марифы были очевидны! Она опошляла, прямо-таки втаптывала в грязь ту жизнь, которая казалась единственно честной не только в глазах самих этих людей, но и по всем писаным и неписаным, близким и дальним законам. Может быть, после смертельного напряжения, они расслабились? Может быть, люди в такой обстановке откликаются лишь на вечно неизменные родовые инстинкты, а на все остальное уже не тратят своих душевных сил? Как бы там ни было, но женщины отступили перед Марифой, так несправедливо, непочтительно отозвавшейся о Хамзате. Да, она не права, она — змея ядовитая, но как знать, что ждет впереди, как сложится жизнь, а Марифа найдет все

входы и выходы, она и в пустом бурдюке масло собьет, так уж лучше с нею не портить отношения...

— Выстрел, говоришь, прозвучал? — ничуть не смутилась Марифа. — Так это был заслуженный выстрел. Победила бы тогда Шоштарова сторона, а не Хамзатова, так, может, нас не гнали бы теперь на край света и из вагона никто бы не рвался на ходу выпрыгивать!

И тут такое гнетущее молчание воцарилось в вагоне, будто люди хоронили в душе не только подвиги Хамзата, но и все достижения советской власти, включая и то, что в последние годы Марифа не на тряских арбах добиралась до Кисловодска и обратно, а ездила на более современном и быстром транспорте.

Выстрел Шоштара, прозвучавший четверть века назад, Хамзат забыть, конечно, не мог. Со временем, после мучительных и долгих раздумий, он, если не простил, то хотя бы заставил себя понять, смириться с тем ударом, который нанес его дому бывший побратим, но забыть.. Забыть так и не удалось. Пуля тогда попала в чурек, пекшийся в золе очага, и разорвала его надвое. Чурек был из того же теста, что замешивала мать Шоштара, когда кормила осиротевших, вернувшихся полуживыми с чужбины Хамзата и Зулкарней, еще совсем юнцов безусых. Раппан, отец Шоштара, издавна душа в душу соседствовал с домом Кушжетеровых. Когда его друг Шонтук, подхваченный поветрием мухаджирства, отбыл, как ему казалось, в земли святые, Раппан ждал от него вестей. Однако Шонтук, выяснив, что святой может считаться лишь земля, где родились твои предки, был подхвачен уже другим поветрием — огненным тифом. Сыновья вернулись одни, и Раппан делил поровну между ними и Шоштаром все, что жарила, варила и пекла его жена Санже.

Вообще-то мальчишки старались много работать и жить самостоятельно. Хамзат еще и в медресе ходил, пока Зулкарней не нанялся в батраки к русскому помещику и не уехал в Святокрестский край. Зулкарней обещал приехать через год-два и забрать Хамзата к себе, но шли годы, Хамзат ел чурек, испеченный Санже, делал в доме все вместе с Шоштаром, а Зулкарней не появлялся. Хамзат тосковал по брату и ждал его, пока в Жамауат не приехал долговязый рыжий ротмистр набирать добровольцев на войну с Японией. Хамзат сразу решил: для него это было началом независимой взрослой жизни, началом зрелого мужского бытия. «Не знаю, отпустил бы тебя твой отец, — сокрушался Раппан. — Ответственность моя выше его, Богом

призванного, потому что ты еще не женат и дом отца твоего не достроен... Что обо мне подумают люди?» Всю ночь уговаривал его, не отпускал, а с рассветом созвал к себе домой старейшин нескольких родов и соседей, при них повторил все слова, сказанные им Хамзату наедине, а в заключение добавил:

— Жамауат, не думайте, что избавляюсь от сироты, от долга своего поженить его, выделить самостоятельным домом. Я не такой мудрый и зажиточный, но женить его и верно направить сумел бы...

Соседи сочувственно вздыхали, старшина Ёрюзмек поблескивал хищными глазенками, а восемнадцатилетний Хамзат держал за уздцы коня, который тоже принадлежал Раппану... Тогда, провожая побратима, Шоштар, бывший тремя годами моложе, плакал. И это понятно: росли вместе, одна женщина кормила, одевала их. Взрослея, дрались на одной стороне, сердечными секретами делились. Хамзат был рассудительным, тихим, как и должно быть сироте; Шоштар отличался горячностью, отчаянной смелостью, себя любил и хотел, чтобы все окружающие его любили не меньше, чем он сам себя любит. Хамзат нелегко мирился со стремлением побратима быть выше других, и это очень злило Шоштара. Хамзат, любя его, страдая за него, говорил, убеждал, что надо быть дружелюбным, терпимым. Однажды они о чем-то сильно заспорили,— было это как раз перед тем, как отправляться Хамзату на Первую мировую войну,— и в этом споре случилось такое, что потом два друга, больше — два брата, оказались по разные стороны невидимой, но непреодолимой стены, хотя в тот день, может, и не осознали этого.

— У тебя рабская душа! — сказал Шоштар.

Сказанное вырвалось, как пуля, и Хамзат был потрясен, как если бы эта пуля попала ему в самое сердце. Слезы навернулись на глаза от боли, но Хамзат взял себя в руки, повернулся и пошел. С тех пор словесный плевок Шоштара стоял между ними, как стена, прозрачная, но несокрушимая. Друг друга они видели, однако стену невозможно было ни обойти, ни перепрыгнуть, ни разрушить.

Набираясь житейского опыта, Хамзат впоследствии осуждал многие из своих прежних слов и поступков, но так и не нашел в своем прошлом ни одного слова или поступка, из-за которых его можно было бы сравнить с рабом. Не было в его поведении ничего рабского ни на войне, откуда он вернулся израненный и малярией измученный, ни в родном Жамауате. Вернувшись, он стоял у могилы

Раппана, читал «Ясин»¹ наизусть, а с Шоштаром близости былой не возникало. Жизнь шла стремительно, они почти не встречались. Хамзат строился, поглядывая в сторону дома Гобара. Слышал Хамзат, у Шоштара не было мира с красивой первой женой, потому что к исходу четвертого года женитьбы выяснилось, что она каратон — бесплодна.

Начиналась совершенно новая полоса в жизни Жамауата; никто толком не мог понять, что к чему, каждый действовал, скорее, по наитию, как Бог на душу положит. Хамзат стал догадываться, что не теперь, не после третьего своего тяжелого пути, обретет он, наконец, дом, покой и семью. И его опасения подтвердились. В жизни Хамзата начался его четвертый тяжкий путь, начался с того момента, когда Баттал, сын Жандаровых, водрузил над межкемой Ёрюзмека знамя революции, и Хамзат вступил в отряд Баттала. Третьим и вторым путем были, конечно, войны, а первым — те дороги измирской пустыни, на которые увлек его, малолетнего, отец. Да ведь и на другие пути его обязательно кто-то «увлекал». Если где и бывала видимость доброй воли, то лишь чисто условная.

Судьбе было угодно свести побратимов именно здесь, на перекрестке двух дорог, окрашенных временем в белый и красный цвета. Хамзату очень хотелось поглядеть на «Шоштара белого». И такой случай представился. Однажды они встретились на лесной тропе. Слезли с коней, посмотрели друг другу в глаза, а говорить оказалось не о чем. Это было странно — двум врагам не о чем говорить. Нет, они не растерялись, а еще глубже ощутили пропасть, лежащую между ними. Первым пошевелинулся Хамзат. Он, не спеша, сел на коня, тронул усы изгибом нагайки и сказал:

— Дурак ты, Шоштар! Сорок человек — в одну сторону, а кривой человек — в другую...

Его мог догнать выстрел в спину, но Хамзат ехал спокойно, не оглядываясь.

Шоштар еще долго стоял, нервно теребя повод уздечки. Надо было вскочить на лошадь, догнать и остановить обидчика, но, похоже, слова Хамзата прибили его к каменистой тропе. Да, они, эти слова, были остры, как гвозди, и больно ранили сердце Шоштара. А глубина сказанного Хамзатом раскрывалась постепенно, день за днем, одновременно с чередой гибельных неудач контрреволюционного движения. Чем хуже обстояли дела, тем яростнее закипала злоба в душе у Шоштара, и во всех бедах он винил своего побратима.

¹ Ясин — 52-я сура Корана, похоронная молитва.

И вот однажды, на исходе 1919 года, Шоштар, узнав, что Хамзат сейчас дома, крадучись вошел в его двор. Он припал к стене дома, заглянул в окно: Хорасан пекла чурек, Хамзат сидел у очага. Шоштар нацелил ружье в самый рот Хамзата...

Хорасан сказала:

— Я в тягости...— Хамзат посмотрел на жену так, словно она сказала: «Война кончилась!», а жена повторила: — Я в тягости, а ты все еще в огне...

Хамзат чинил свои чарыки. Он положил их на трехножку, ласково прижал Хорасан к груди. На полу хлопотал Мусса — вокруг него было рассыпано множество деревянных причудливых игрушек. Хамзат тихо произнес:

— Кончится война, заживем доброй жизнью...

Пальцы у Шоштара словно онемели, превратились в деревянные, — не мог нажать на курок. Шоштар был на три года моложе Хамзата, но теперь у Хамзата один сын играл на полу, и другого уже носила жена, а его женщина с красивым именем Маралхан, оставалась бесплодной, как сухое дерево. Шоштар вдруг вспомнил, как танцевал на свадьбе Хамзата с Хорасан; он был неотразим тогда, неиссякаем, блистал неумной фантазией; люди, не знающие о душевном разладе побратимов, воспринимали такое участие Шоштара с большим одобрением. Шоштар хотел на этой свадьбе опрокинуть стену, возникшую между ними, стену, которая с годами не разваливалась постепенно, как он надеялся, а, наоборот, становилась все прочнее.

— Покончим с белыми и станем мирным изобильным домом, — добавил к сказанному Хамзат.

Тут и прозвучал выстрел. Хорасан вскрикнула и упала на пол, прикрывая собою Муссу. Хамзат, еще не разобравшись, куда попала пуля, схватил ружье и проскочил к двери. Он ждал нового выстрела или выстрелов, но они больше не раздались. Хамзат локтем приоткрыл дверь и, перепрыгнув через порог, увидел прильнувшего к окну человека. Хамзат спиной прижался к стене, направил ствол на человека, но тот не двигался. «Мертвый?» — подумал он. Хамзат подошел ближе к человеку, но тот и теперь оставался неподвижным. Тогда Хамзат опустил ружье, взял человека за плечо, повернул к себе.

При свете луны он увидел искаженное лицо Шоштара.

— Ты?!

Шоштар с трудом произнес:

— Не вышло...

— Хайыуан!¹ — сказал Хамзат.

— Ты прав! Я побежден! Я кривой человек. Ты вправе убить меня...

— Уходи! — сказал Хамзат. — Проси Аллаха, чтоб он не свел нас за чертой Жамауата.

— Да! — сказал Шоштар. — Победенных не преследуют... Будь счастлив. — И он пошел, шатаясь, волоча приклад ружья по земле...

Впоследствии Хамзат терялся в догадках, что же его тогда остановило, почему к горлу подступил комок жалости, словно там, в его доме, была не Хорасан, полумертвая от ужаса, а Санже, мать этого бандита.

Он догнал Шоштара у ворот, остановил:

— Нет! — сказал Хамзат. — Так просто не уйдешь. Или дурь из головы вон, или не жить нам на этой земле рядом.

В это самое время и пришла в себя Хорасан. Она услышала спор или ссору мужчин, бросилась во двор.

— Ой, мой день! Что мне делать...

Но мужчины не дрались.

— Да, да, Аллаха ради, — пробормотала она, все еще дрожа от страха.

— Раппан, наверное, перевернулся в могиле, — сказал Хамзат. Шоштар отвернулся, закрыл лицо руками и заплакал:

— Что же эта окаянная революция с людьми делает!..

Но Хамзат молчал, жестом показывая, чтобы жена пошла в дом, но она не слушалась.

— Хамзат, ты уже третью войну воюешь, но не озверел, не ожесточился. А что со мной? — Шоштар трясся в истерике, но Хамзат не жалел его.

— Ты никогда не думал, прежде чем сделать шаг.

— Разве я один такой в этой войне?!

— Про других не знаю, — сказал Хамзат.

Хорасан металась между ними и домом — там плакал Мусса.

— Но ведь мы... Мы воюем со своими на своей земле, — сокрушался Шоштар. — И вы вроде защищаете свою землю и мы тоже... Моей вины не больше, чем твоей!

— Ты не прав, Шоштар. Да и какая правота могла бы заставить стрелять в дом, где беременная женщина... А вот большевики, безбожники, как ты говоришь, этого никогда бы не сделали.

¹ Х а й ы у а н — букв.: скотина; здесь: безмозглый, тупица.

Впервые за все это время Шоштар поднял голову и посмотрел на Хамзата, Хамзат увидел на его заплаканном лице страшную улыбку.

Хорасан встала между ними, обнажила голову, держа платок в руке.

— Идите по домам, мужчины,— властно сказала она.— В очаге пульей разрыта зола, чурек разорван надвое.

Хамзат отстранил ее и сказал:

— Бог тебя наказал, Шоштар. Я твоим отцом воспитан. Хлеб, испеченный твоей матерью, ел. А ты выстрелил в меня! Вон чурек... Мы дурили с тобой, но хлеб оставался между нами святым. Теперь ты выстрелом разорвал его.— Тяжко помолчав, добавил:— Но жизнь показала: не я, а ты раб в душе.— Хорасан посмотрела на мужа: стоит ли вспоминать в такой час старое...— Ведь жить нам в соседстве. Не вечно же будет война! Да, женщина права, нельзя смывать кровь кровью...

— Да, Хамзат, война многому учит. Я понял, ты мудрее меня. Но я не понимаю той мудрости, которая морочит мозги одной половине народа, а у другой — отнимает их напроць и делает людей кровожадными тварями!

— Ну и ну! — удивился Хамзат.— Да кто же на твой-то разум порчу напустил? Что непонятного в простой мысли: каждый отныне будет сам себе хозяином и работать только на себя?!

— И ты веришь, что так и будет?

— Народ никогда не отдает свободу, завоеванную кровью.

На минуту они замолчали, и это была та минута, в которую решалось — отринуть прошлое навсегда или оставить при себе как неотторжимое наследие.

В доме плачем исходил Мусса.

— Иди в дом! — Повысил Хамзат голос на жену.

Хорасан нехотя ушла.

— Если меня поймают красные... они меня расстреляют? — спросил Шоштар.

— Может быть,— ответил Хамзат.

— За что?

— За то, что ты — классовый враг. Хуже того — предатель! Вышел из народа и пошел против народа.

— Нет, я знаю, настоящий народ там, где я. А там, где ты — это сброд, темная масса, которая, как лавина сокрушает все на своем пути.

— Лавина? Может быть, — согласился Хамзат. — Вот и не пытайся ее остановить.

Сначала за ворота вышел Шоштар. Хамзат пошел его провожать, держа наготове заряженную винтовку.

— Ты выстрелил в мой дом, — сказал Хамзат. — Ты ранил сердце своей матери. Пусть Бог тебе будет судьей... Но уходи, уходи из той обреченной среды...

— Отречься? — спросил Шоштар. — Я побежден тобой, но этим сбродом — никогда!

Так они и расстались. Но прошло не так уж много времени, и Шоштар, неизвестно каким способом, раздобыл себе индульгенцию, оказался все же правоверным перед лицом новой власти и получил затем возможность успешно доить корову новой жизни, не слишком сильно утруждая себя уходом за этой советской коровой. «Верно сказано в народе, — думал Хамзат, — кто легко проливает слезы, тот недолго страдает... Да и в Коране та же мысль: кто легко разбивает видимые идолы, тот ненадолго уверует в невидимого Аллаха».

Потом они жили бок о бок. Казалось, отступила, ушла враждебная сила, преследовавшая дом Хамзата с того самого часа, когда рыжий долговязый ротмистр погнал его и девять всадников на японскую войну. Казалось, развеялись без следа и черные тучи над головой Шоштара: в 39-м его даже орденом наградили за успешную работу в колхозе. Никто не вспомнил о том, что в Гражданскую он некоторое время воевал против красных, хотя одного лишь кивка в его сторону было бы вполне достаточно, чтоб Шоштар сгнил где-то там, где зимние ночи тянутся по полгода. Хамзат и сам чудом избежал подобной участи. И все-таки враждебная сила просто затаилась на время. Она подстерегала оба дома; разница была лишь в одном — гибель Хамзата или его сыновей не опозорила бы дом Кушжетеровых, а гибель Шоштара? Хорошо еще, Бог не дал ему сыновей. Да, у него одни дочери, но ведь есть род, род Чоттаевых?

...В то августовское утро 1942 года Хромой Алибек прискакал на коне и сообщил, что в район Тытырташа выброшен вражеский десант. Мусса еще не оправился после госпиталя, нельзя было его брать, но тут решал он сам. В военкомате ему и винтовку дали. Выходя со двора, Мусса остановился, увидел отца, стоящего на высокой недостроенной веранде, хотел ему что-то сказать, но раздумал, резко повернулся и пошел. Хамзат тоже хотел сказать сыну что-то, потом он силенка вспомнить, что же он собирался ему

сказать, но не мог: слово горячило кончик языка, напрягало жилы сердца, а крикнуть то слово вслед сыну суеверно побоялся — плохая примета кричать вслед уходящему.

Облокотившись о свой каменный забор, за ними наблюдал Шоштар. Хамзат его видел, но не видел тревоги на его лице. Тут на нижней дороге появилась машина с бойцами НКВД, остановилась, резко посигналив Муссе, и Мусса побегал. Сын Хамзата заметно кособочился на правую сторону, а Шоштар глядел, загадочно улыбаясь неизвестно каким своим мыслям. Позже, когда Шоштар станет полицаем, Хамзат отчетливо вспомнит эту улыбку...

Через час или два после того, как уехали войска НКВД, а вместе с ними и Мусса, снова прискакал Хромой Алибек, на этот раз — сообщить о перегоне скота в Тауарты, как называли в Жамауате Грузию. Но Хамзат лежал в ознобе — то ли плохое предчувствие его свалило, то ли приступ старой придунайской малярии начинался — встать он не мог. Из переулка доносились громкие возбужденные голоса:

«Теперь уже не время о скоте думать...»

«А куда мы убежим, если долина отрезана со всех сторон...»

«Бой в Тытырташе, кровь льется...»

Хамзат слышал скрип железных ворот Шоштара — они всегда невыносимо скрипели, — затем и цокот копыт его коня. Хамзат с завистью отметил, что Шоштар поскакал в ту сторону, куда уехали солдаты НКВД и Мусса.

Долго трястись в лихорадке Хамзату не пришлось. После третьего за этот день нашествия Хромого Алибека, извечного глашатая всех дурных вестей — теперь тот сообщал о боях в верховьях Малки, — Хамзат подавил в себе хворь, заставил себя пойти в сарай и запрячь волов в арбу.

Он понукал невозмутимых животных, тянул изо всех сил за упряжь, впервые в жизни проклиная их природную медлительность и равнодушие. Душа его рвалась на склоны Тытырташа. Хамзат не видел сейчас ни каменистой дороги, ни благодатного августовского неба. Перед его воспаленным взором плыли зеленые травы, обогранные кровью, чьи-то неподвижные тела, а среди них и тело собственного сына. Он чувствовал, как шевелятся, будто вырастая на глазах, волосы в его бороде, становясь грубыми и колкими, как проволока, и никаким слезам отчаяния их не смягчить. И в то же время ему казалось, что впереди арбы бежит маленький Мусса, последовательно вырастая по пути из семилетнего парнишки в восьми-, девяти-, десятилетнего...

Когда он добрался до Тытырташа, солнце уже закатилось за горную гряду, но было еще светло. Оставив воловью упряжку внизу, Хамзат пошел вверх по склону, где была скошена трава и стояли копы сена. Сейчас он не чувствовал усталости, только одна мысль колотилась в голове: «Успеть! Успеть!» Хамзат бежал, спотыкаясь, видел кровь на земле, пару брошенных парашютов, стреляные гильзы, еще какой-то хлам, но трупов не было ни своих, ни чужих. «За этим бугром стоит кош,— подумал Хамзат.— Надо идти туда».

Когда он пришел, Мусса еще был жив. Пастух, совсем подросток, который ухаживал за раненым, уступил место Хамзату, и отец, опустившись на колени перед сыном, вытер рукой кровь с его губ. Мусса, часто дыша, открывал глаза, но, не узнавая отца, бредил: «Муст... Ар... Ай... шшш...» Он звал Мустафу, просил воды. «Пуля пробила легкие»,— донесся голос до Хамзата. «Да тут не одна пуля»,— подумал он, глотая горячие отцовские слезы. Но, надеясь на чудо или, может быть, на волшебство отцовского голоса, звал: «Мусса... Ой, Мусса... Бедное дитя... Открой глаза... Скажи что-нибудь...» Мусса о чем-то шептал, все силился достать руками что-то у себя под боком, искал это и на груди, но слова его были бессвязны, а движения рук произвольны. Он промучился до полуночи и умер. «Бой шел недолго,— рассказывал пастух.— Немцы тут не ожидали встретить наших, вот и подставились на открытом месте. Трое или четверо могли бы еще скрыться в лесу, но там нарвались на ополченцев из Сауту или Шаурдата. Я видел, как один из немцев уходил, волоча ногу, во-он в ту лощину, и тогда твой сын начал его догонять, хотя тоже хромал, и уложил одним выстрелом. Потом и сам попал под автоматную очередь... в самую последнюю минуту... Погибли трое солдат, один ополченец, да вот... сына твоего оставили здесь... Все трупы увезли на грузовике. Немецкие не увезли, в теснину сбросили. Нельзя трупы на пастбище оставлять, а то скот потом пастись не станет... А энкаведешники дальше поехали, бросят машину, где дорога кончается, и, наверно, ну, я не знаю, в Баксанское ущелье перевалят...»

— У меня арба внизу,— сказал Хамзат.

Юный пастух Рамазан, не ожидая прямых указаний, сразу же побежал к арбе, чтобы доставить ее к кошу. Потом юноша устелил дно арбы толстым слоем сена, помог Хамзату поднять и уложить сына, а затем накрыл тело старой буркой.

Хамзат шел рядом с арбой, положив руку на перекладную, и разговаривал с Муссой. Дул горный прохладный ветерок, и Хамзат оставил лицо сына открытым; лица отца и сына были почти рядом, вровень, но отец лишь на мгновение бросал взгляд на сына и тут же отводил глаза. Сын будто бы с готовностью отвечал на каждый мучительный вопрос отца, на каждый его горький немой упрек. «Да, виноват!» — говорил Мусса, а Хамзат глотал горячую, иссушающую грудь боль и тихо, чтоб никто не слышал, оправдывал его: «Ты же не знал!» А потом оба умолкали. И все-таки Хамзат не выдерживал и начинал снова: «Сколько раз я просил, передавал через родню — женись, женись!.. Ты же без конца откладывал, каково нам теперь?» Мусса опять соглашался, признавал свою вину, а Хамзат, молча выдержав очередной взрыв боли, перевел разговор на другую тему: «Братья твои на войне... Сноха твоя тут, сестра и племянник... а враг, вон, наступает...» На это Мусса отвечал быстро и смело: «Отец, войну ты знаешь лучше... Ты живым вернулся из трех войн, а я и одной не выдержал... Но совсем другое дело, когда война приходит к порогу твоего дома: тут она определит точную цену каждого. Находятся и такие, что встречают врага хлебом-солью. Однако это единственный случай, когда хлеб теряет свою святость и не роднит». Хамзату вдруг почудилось, что лицо сына на секунду ожило под призрачным лунным светом, ожило и дрогнуло, и Хамзат бессильно припал к нему, оглушая собственную душу отчаянным беззвучным воплем...

Он снова шел. И волы шли. И губы его шептали то слова молитвы, то слова какой-то жалобной песни, и опять он обращался к Муссе — то с упреком, то с утешениями. А Мусса снова появлялся впереди на дороге семи, восьми, девяти, десятилетним мальчиком, либо пешим, либо верхом на ослике, один или с друзьями. Иногда он и рядом шел, но уже взрослый — крепкий такой, с черными усами, смуглый, здоровый, рассудительный... При виде его, сильного мужчины, Хамзат вздрагивал и произносил: «Ай, харип. — Ай, бедное дитя!» А в это время другой Мусса, с бледным неподвижным лицом, спокойно и безучастно лежал на сене в арбе, напоминая косаря, уснувшего после тяжких трудов. «Спи, дитя! К рассвету я доставлю тебя матери...» Хамзату тоже хотелось покоя, хотелось уснуть и ни о чем не знать. Но скрипели колеса старой арбы, и волы везли его сына, и надо было жить, хотя бы для того, чтобы достойно предать земле погибшего взына.

Хамзат поглядывал на тускнеющие звезды: он рассчи-

тывал выйти из ущелья к рассвету. Когда перед ним открылась долина, утро уже наступило, и Хамзат слышал издали голоса людей, гнавших скот к перевалу. Хамзату не хотелось сейчас ни с кем встречаться, и он свернул по пологому спуску к реке, где решил переждать в зарослях облепихи. Там, ни для кого не видимый, он вдруг отчетливо различил бодрый голос Шоштара:

— Счастливого пути! А мы, если сумеем, уйдем в партизаны.

Люди ушли, но Шоштар пока не спешил вернуться в Жамауат. Он слез с коня возле озера под скалами, которое из-за малого размера и черной воды называлось «Бараний глаз». Теперь Шоштар топтался вокруг озера, как в юности, когда он украдкой учился здесь танцевать на пальцах. Наверное, он сейчас обдумывал какое-то важное решение, и был в это время так близко от Хамзата, что тот обязательно слышал бы его, если б Шоштар размышлял вслух.

Где-то недалеко взорвался снаряд. Тут же послышался топот копыт — Шоштар поскакал в сторону села. Снова раздался грохот, на этот раз совсем близко. Вверху на скале воспламенился куст можжевельника. Вокруг беспомощно кружилась птица. «Горит гнездо с птенцами,— подумал Хамзат.— Аллах, сколько горя на нашу землю... Ну что ты так выворачиваешь душу, глупая птица! Ты не одна на свете...»

Рядом, в прибрежных скалах, была просторная пещера с родником внутри, издавна используемая пастухами как убежище от непогоды. Сюда и загнал Хамзат своих волов. Догорал куст можжевельника на скале, птицы не было. «Бросилась в огонь,— подумал Хамзат.— Погибла вместе со своими птенцами...» Потом Хамзат подумал о том, что нельзя привозить сына к матери в окровавленной одежде. Нельзя и надеяться на то, что в селе удастся провести обряд похорон, как положено. И он решил совершить здесь хоть омовение.

В пещере было несколько плетней, которыми пастухи загораживали вход, если случалось загонять сюда овец и другую живность. Хамзат вымыл подходящий по размеру кусок плетня, положил его на землю и застелил сверху сеном. Известно, что покойника трудно и вчетвером поднимать, но Хамзату ничего не оставалось делать, как справиться одному. Это было необъяснимо, но он даже не почувствовал тяжести мертвого тела. Уложив Муссу на сене, Хамзат стал снимать с него окровавленную одежду. Разуме-

ется, отцу не положено видеть взрослого сына нагим, не положено совершать и омовение умершего сына самому, но здесь он поступал перед Богом честно — ведь могло случиться худшее: шальной снаряд мог разорваться у входа в пещеру, а могло разорваться прежде времени и сердце отца, и тогда покойник остался бы брошенным...

Сначала он тщательно, с песочком, вымыл руки, затем закатал рукава еще выше и приступил к делу... Он омывал тело Муссы и видел сына живым; он обижался на сына, ругал его и хвалил, успокаивал и напутствовал, и почти все время плакал. Закончив омовение, Хамзат накрыл тело буркой, собрал одежду Муссы в охапку и погрузил ее в воду. Занимаясь стиркой, он опять что-то беспрестанно шептал про себя и пытался утирать слезы мокрой рубахой сына. Повесив на борту телеги отжатую одежду, Хамзат поднялся к обочине дороги, чтобы осмотреться. Два-три десятка людей спешно уходили вверх по ущелью. «Активисты, — подумал Хамзат. — Аллах им поможет», — и вернулся в пещеру. Когда через час или полтора Хамзат вывел упряжку на дорогу, он встретил еще небольшую группу беженцев. Хамзат не поднимал головы, да и беженцы, казалось, его не замечали, и только один знакомый голос прозвучал сквозь слезы:

— Куда ты, Хамзат, куда, скажи на милость?! — Кажется, это был голос Хромого Алибека.

Перед спуском в село Хамзату встретился Шоштар, появившийся неизвестно откуда верхом на своем коне. Он, конечно, спешил и очень старательно выговорил все необходимые слова, и его сочувствие выглядело вполне искренним, но чувствовалось, что мысли Шоштара были совсем не о том. У Шоштара, как догадался Хамзат, сегодня кончалась одна жизнь и начиналась другая.

— Мне пора, Шоштар, — сказал Хамзат. — Волы так медленно двигаются, а сегодня очень жаркий день...

— Бои идут совсем рядом, — сказал Шоштар. — Поскачу в Жамауат, может, в «Домсовете» еще есть... — что там «есть», он не договорил и сел на коня. — Как думаешь, Хамзат, чья сторона, в конце концов, пересилит?

— Враг придет, враг уйдет... — пробормотал Хамзат и озабоченно посмотрел на небо: над горой Жанбаш клубились свинцово-серые облака, и очень скоро мог пойти проливной дождь.

Шоштар еще некоторое время молча ехал рядом, потом извиняющимся тоном сказал:

— Ну, твой путь неторопкий, Хамзат, а мне надо спешить. Д-а, трудно идти с топором против наводнения!

— Ай, Шоштар, встретить гостей здесь или в ауле — какая для тебя разница?

Но Шоштар, уже прищпоривший коня, думал иначе. Разница была большая: дома он был обыкновенный человек, мог выйти навстречу, а здесь... ненароком его могли принять за партизана и пристрелить. Так что он должен был спешить в Жамауат.

Только потом Хамзат вспомнил, что на Шоштаре была его лучшая одежда: новая коричневая рубашка с перламутровыми пуговками и высоким воротом, отделанные коричневым сафьяном галифе, на ногах — хромовые начальные сапоги, а на голове — добротная каракулевая шапка...

Уже на самой окраине села, там, где была развилка дорог, по одной из них в Баксанское ущелье ушли отступающие советские войска — Хамзат и увидел тех двоих. Оба солдата лежали шагах в двадцати от дороги, в углублении между большими валунами, их и заметить-то было мудрено. Хамзат как бы угадал их присутствие, а может, это волю угадали еще раньше него и почти остановились. Один из солдат лежал, выпрямившись, на спине, другой — на боку, подогнув колени к подбородку. «Аллах, и с ними ты свел меня!». Он постоял, словно собираясь с силами, затем опустился на колени перед солдатом, лежавшим на боку, и стал выпрямлять его. Этот оказался полегче Муссы, зато с другим пришлось изрядно помучиться, прежде чем Хамзату удалось взвалить его на арбу. Теперь Мусса лежал бок о бок с еще двумя павшими в эту войну защитниками их общего отечества, а Хамзат сказал: «Вот так же и в земле будете лежать рядом». Он тщательно замаскировал тела сеном и торопливо погнал волов в селение.

Он не хотел останавливаться, даже когда увидел немцев. Зато они его остановили. Кто-то стал оттеснять его от арбы, но Хамзат еще сильнее — даже обеими руками — вцепился в ее борт. Арбу окружили парни с закатанными рукавами, молодые, веселые, — они смеялись, а он, глотая горькую слюну, пытался отстоять арбу, волов, мертвых под сеном. Немцы, к счастью, не лезли в арбу, не разбрасывали сено, они будто играли с ним, с одиноким, выжившим из ума стариком. Но вот он увидел, как немец, стоящий поодаль, направил на него автомат. Хамзат не испугался, он хотел лишь успеть подготовиться к смерти — это было сейчас для

него важнее всего — успеть хотя бы прочесть иманша-адат — посмертную молитву. И солнце, и ветер, и шум реки за спиной в ущелье, и гогот иноземцев — все растаяло словно в густом тумане. И только окончив молитву, он увидел, как из туманного небытия стали вновь появляться фигуры прищельцев, он услышал звуки окружающего мира, но ожидаемого выстрела не было. Среди иноземных солдат, вдруг присмиревших, появилась новая фигура, видно, их командир. Он подошел к быкам; сначала он смотрел на них то ли с тоской, то ли оценивая их продовольственную ценность, а затем стал гладить их головы и шеи. Вот он резко выкрикнул что-то, и солдаты отошли от арбы. Хамзат решил, что Бог услышал его молитву — прислал спасение в лице завоевателя, который вдруг вспомнил деревенский отчий дом в далекой Германии...

...На старом жамауатском кладбище они так и легли рядом, как говорил Хамзат: Мусса посередине, а два русских воина — по бокам. И когда Хамзат в предрассветных сумерках поднимался на кладбище, чтобы прочесть молитву, он не разделял этих троих ни в религиозных чувствах своих, ни в мыслях.

10.

Бескрайняя степь, по которой тащился поезд, цвела терпко и жадно, ее пряные запахи просачивались сквозь щели дряхлого товарняка, обволакивая измученных теснотой детей и женщин, стариков и старух. Все пребывали в каком-то полудремотном состоянии, хотя по-настоящему спать, да и по-настоящему есть, никому из взрослых, а тем более — старых, давно уже не хотелось. Бесконечной казалась дорога, тринадцать суток шел поезд и не ускорял свой ход, а тащился все медленнее, ленивее, то и дело останавливался у каждой стрелки и разъезда. Когда эшелон останавливался ранним утром, люди слышали клекот степной птицы, стрекот кузнечиков, видели сочную весеннюю травку. Пробуждающаяся в степи жизнь вызывала неодолимую тягу к земле. Им грезились, оставленные дома лопаты, мотыги, подвешенные к балкам сараев початки кукурузы, отобранные осенью на семена. Бывало, за железнодорожным полотном обходчик копал свой огород или сажал что-то, а в вагоне у людей от тоски закатывались глаза. «Наверное, и у нас солнце греет», — глухо бросал кто-то, и в ваго-

не воцарялась долгая гнетущая тишина. Тоска по весенней земле передавалась и детям; им тоже мерещились солнцем согретые склоны, по которым можно было бы сейчас бегать босиком, и часто тот из малышей, кто еще не понимал зависимости людей от капризов судьбы, начинал терзать свою мать:

— Я хочу домой! Не хочу больше поезда! Я хочу домой!

Но поезд упрямо шел по рельсовому пути, делящему бескрайнюю степь на две необозримые части. Однажды сквозь приоткрытые двери вагона горцы увидели вдали большое стадо сайгаков. Грациозные животные в восторженно-бешабашином вольном порыве неслись, как на крыльях: только такая скорость и подходила для их немеряных пастбищных владений.

К тринадцатым суткам пути измаялись и охранники тринадцатого вагона. С самого начала враждебно настроенный сержант теперь равнодушно глядел на все, только матерился лениво, не стесняясь ни детей, ни женщин. Прежний пыл его, напор вроде бы угасли, их сменила тоска. Если удавалось достать на станциях какое-то пойло, хотя бы скверный самогон, а то и денатурат, он потом уже не выпускал фляжку из своих рук, заставлял чуть не силой пить и Мефодия, похожего на лубочного ангела. Захмелев, Мефодий брал дочку Басира на колени, играл с нею, и, не обращая внимания на сержанта, поругивал вслух высокое начальство. Сержант, уже пьяный, терпел эту крамолу, но изредка, словно пробуждаясь, прислушивался к словам солдата и приходил в изумление: «Ты че?!» — вопрошал он, испуганный дерзостью подчиненного, а тот храбрился: «А разве это по-человечески?» — и указывал на нары. «Не твоего ума дело!» — сержант трезвел, обкладывал по черному рядового солдатика и даже закатывал ему оплеуху.

Как-то после полудня эшелон остановился у одного крошечного поселка. Станция — не станция, — покосившийся глиняный домик, хилая водокачка, подле которой щипали пыльную траву тощая коза с двумя козлятами, а рядом, опираясь на длинную палку, стоял такой же тощий, высушенный на солнце старичок, явно принадлежавший к одной из азиатских наций.

— Салам алейкум, — крикнул через дверной проем Али. Он был самый неунывающий, самый любознательный в вагоне. — Да умножится ваше стадо! — Губы старика дрогнули — то ли отвечал «Алейкум салам», то ли говорил сам с собой — в вагоне не разобрались. Али крикнул второй раз: — Какая станция? — Старик как бы очнулся и пошел

в сторону приземистого глиняного домика. Он скрылся в доме и, пока он там вспоминал, какая это все-таки станция, поезд стоял, словно без его ответа не мог двинуться дальше. Старик вышел с ведром в руке, пошел, по-прежнему шевеля губами, к водокачке, наполнил ведро и направился к 13-му. Он подал ведро воды наверх и только потом сказал:

— Станция Теренозек, Кызыл Орда.

Вода была чистая, холодная, — может быть, впервые после Кавказа они пили такую воду.

— Можно, я сбегаю, наберу еще, — обратился Али к сержанту, который первый протянул к ведру свою фляжку.

— Нет, — сказал он. — Поезд сейчас тронется.

Али вернул пустое ведро старику, и старик понял, что жажда в вагоне осталась неутоленной.

Старик снова направился к водокачке, но тут он увидел, что дело не в одном вагоне: из щелей и дверных проемов множества других вагонов тянулись сотни и тысячи рук и сотни и тысячи приглушенных голосов сливались в единый стон, в мольбу, в которой звучало совсем казахское слово «су».

— Су! Ой, муслиман адам, су! Воды! О, божий человек, воды!

И тогда старик понял в чем дело, потому что из вагонов никого не выпускали, а вдоль состава ходили солдаты. Уронив палку, он побежал в свой глиняный домик, вскоре вышел оттуда с двумя детьми, мальчиком и девочкой, у которых в руках тоже была посуда — у девочки большая кастрюля, у мальчика деревянная бадейка, — и они стали бегом, как заведенные, таскать воду в вагоны. Старик, выжженный степным солнцем до сухарной хрупкости, преобразился на глазах, став таким подвижным и гибким, что можно было подумать, будто он вовсе и не старик, а языческий воин, танцующий какой-то охотничий танец. Пока одни люди пили воду, другие — чтоб не терялось драгоценное время, бросали своим благодетелям кружки, ковшики, а кто-то кинул даже свою войлочную шляпу, — и даже в ней девочка догадалась принести воду. Пока старый казах и его малолетние внучата спасали людей от жажды, черная тарелка-репродуктор, установленная на высоком тополе, захрипела, прокашлялась и — с полуслова — началось вещание. Сначала передавалось какое-то важное победное сообщение, — оно тоже оборвалось на полуслове, — затем тарелка завывала, как буксующая машина, вырвалась, наконец, из полосы помех и начался веселый концерт. Исполнялись русские частушки.

*Сарафанов нонь не носим,
Нам от них убыточек:
Надо восемь метров ситцу,
Три катушки ниточек.*

Этот шедевр деревенского творчества сопровождался бодрыми переливами разухабистой гармошки.

*Эх, яблочко,
На четыре части.
Хорошо живетсЯ нам
При советской власти!*

Между тем старик, девочка и мальчик таскали воду в вагоны, там ее переливали кто во что мог, стараясь побыстрее освободить посуду, и три нетрудоспособных местных жителя снова бежали к водокачке и опять к вагонам, а черная тарелка, словно подбадривала их, пела:

*Наварила кулешу —
Получилась каша.
Сколько Гитлер не воюет,
А победа наша!*

Эшелон был ненасытен, как и война, и сколько бы ни таскали ему живительной влаги — все было мало. Три слабые существа выбивались из сил...

Над степью неподвижно висело тяжелое серое небо; кое-где высвечивалась голубизна, и через одно из таких окон проглядывало солнце и бросало пучок жарких лучей на высокие тополя за станцией и черный диск репродуктора, повторивший еще раз, видно, по ошибке, уже спетую раньше частушку:

*Эх, яблочко,
На четыре части.
Хорошо живетсЯ нам
При советской власти!*

Машинисту дали отправление. Паровоз дал гудок, внизу под рельсами закричали шпалы, и эшелон отошел от станции. Музафар навсегда запомнил стоящих у железнодорожного полотна старика и его внучат: старик посередине, с шапкой и ведром в руках, девочка справа, в помятом, криво висящем на ней стареньком платье, а чумазый босой

мальчик, ровесник Музафара — слева. Они провожали поезд, словно теряли нечто важное и дорогое, и в глазах у них была печаль.

11.

Через час эшелон неожиданно остановился среди голой степи. По крышам вагонов бежал солдат и, наклоняясь над дверьми, кричал: «Обход!». Один раз такое уже было. В поселке Челкар пять или шесть очень серьезных офицеров прошли тогда вдоль всего состава. Они задерживались у каждого вагона и коротко спрашивали, как чувствуют себя люди, нет ли больных, зараженных тифом или другими различными болезнями. Никто не жаловался, и лишь «пассажиры» тринадцатого на минуту задержали дыхание, думая о Бияслане. На исходе этой минуты как-то странно прозвучал из глубины вагона дрожащий голосок Лены, младшей дочери Шоштара. «У нас нет больных», — сказала она по-русски, и весь вагон повторил ее слова, а затем кое-кто осмелился даже спросить у серьезных начальников, скоро ли поезд прибудет на место назначения. Военные даже не переглянулись, пропуская большой вопрос мимо ушей, и продолжили свой обход. Это было впервые и неожиданно, и потому никакие другие важные вопросы не успели прийти людям в головы. За последующие же четыре дня они передумали о многом и намеревались многое выяснить, а наиболее дерзкие хотели даже потребовать к себе человеческого отношения, если их еще считают людьми. Но вот эшелон неожиданно остановился в степи, и над дверями пронеслось: «Обход!» Теперь надо было ждать, пока инспекция дойдет до тринадцатого вагона.

— Можно, наверное, выйти, поразмяться, — сказал Бекболат, бессменный бригадир колхоза «Светлый путь» со дня его основания. Сразу же встрепнулся его дряхлый отец: «Жетмейбизми? — Не доезжаем ли?» Еще он, как всегда, просил чтобы его немедленно вывели на воздух и поставили лицом в сторону Кавказа. «Я болен! — капризничал он. — Мне оттуда в лицо подует ветер и меня исцелит! Я мог бы стать здоровым, если бы вы меня почаще выводили из поезда и поворачивали лицом к Кавказу». Однажды, оставшись на какое-то время без присмотра, он свалился с верхних нар прямо на Кудас, которая приходилась ему двоюродной сестрой. Кудас оплакивала своего мужа Касболата, умершего в пути, и потому почти не спала. Это и пре-

дотвортило в ту ночь очередной переполох: Кудас слышала, как он, ее двоюродный брат Чукай, хнычет и называет имена давно умерших земляков, в том числе и ее мужа Касболата, захороненного у дороги. Она уже привсталала, собираясь утешить его, и именно в эту минуту Чокай сорвался вниз. Кудас приняла престарелого брата в объятия, и тихо, чтобы не разбудить спящих, сказала:

— Чукай, успокойся, бедный! Что хорошего мы видели на Кавказе?

— Там наши кладбища! — стонал старик. — Кладбища же, дура! — И вдруг начал ее ругать на чем свет стоит, словно она была виновата во всем — и в том, что его не выводили на воздух, и в том, что выпали зубы и стали плохо слышать уши, и в том, что не говорят толком, куда везут, когда он хочет быть похороненным в Секи.

Бекболат, сам уже немолодой, беспокоился за отца, хотел вывести и поставить «лицом к Кавказу», если сержант позволит ему и другим выйти, поразмять ноги, вздохнуть полной грудью. Однако сержант никаких указаний на этот счет не имел и только рявкнул:

— Сидеть!

К тринадцатому вагону подошли трое: мрачноватого вида военный в чине полковника и, к полной неожиданности всех, два земляка — балкарца: Исмаил Орманов и Итлук Китаров. Хамзат внимательно поглядел сначала на Итлука — особых изменений в его облике не было заметно. Он оставался таким же розовощеким, благополучным и сытым. В том же неизменном черном блестящем плаще, в белой рубашке с галстуком, в темно-синем коверкотовом галифе и до блеска начищенных сапогах, он производил впечатление преуспевающего чиновника, командированного по важному делу в другую область. Потом Хамзат посмотрел на Исмаила Орманова, и, сам того не сознавая, насторожился: узнать его было трудно! Хамзат помнил этого человека хорошо, это был старый большевик, занимавший в одно время, кажется, и в войну, важный пост в облисполкоме. В былое время он возглавлял партизанский отряд в Хуламо-Безенгийском ущелье, и Хамзат не раз убеждался в те годы, что Исмаил Орманов человек суровый, но предельно честный, справедливый. Когда Хамзат был арестован и сидел в одиночке шесть месяцев, то единственно к кому он хотел обратиться, так это к нему, Орманову. Хамзат хотел как-то дать ему знать, что его фронтовой товарищ арестован. Оказалось, однако, старый соратник в это время занимал не кресло в облисполкоме, а нары в одном из сибир-

ских лагерей. Узнав об этом, Хамзат смирился с судьбой, потому что, если уж и Исмаила Орманова арестовали, если и его заподозрили в измене, предательстве, то, значит, не оставалось уже на этой земле ни одного человека, не питавшего вражды к советской власти. Хамзата и подавно должны были уничтожить: по крайней мере, он был против насильственного объединения людей в колхозы. Через год после своего освобождения Хамзат узнал, что Исмаил Орманов жив, вернулся, даже занял свое прежнее место в обл-исполкоме.

Впереди стоял полковник, тоже, как и Орманов, седой, уставший человек. В глазах его можно было заметить тоску и виноватую печаль.

— Скоро мы прибываем на места расселения, — сообщал полковник. — Эшелон на хорошем счету, дисциплинированный. За тринадцать суток никто не нарушил порядок. Вот так же надо себя вести и в оставшиеся дни...

— Все ли вместе будем? — спрашивали его. Полковник сбрался за переводом к Орманову, но вперед высказывал Итлук Китаров.

Полковник ответил:

— Будете жить в соседних республиках.

Какие это соседние республики — выселенцы не понимали, хотели выяснить, но тут произошло такое, чего ни представители властей, ни обитатели вагона совсем не ожидали.

Итлука Китарова знали хорошо и отношение к нему было особое, а вот Орманова уважали по-настоящему во всей Кабардино-Балкарии. Полковник, чувствовалось, был важной персоной. Итлук же явно не имел никакого веса, вот и вести бы ему себя поскромнее. Однако Китаров держался с начальственной вальяжностью, поглядывал на земляков покровительственно, свысока, хотя и стоял внизу. Казалось, он вот-вот произнесет, продекларирует какое-то важное сообщение, словно он, Итлук Китаров, добился от советской власти крутой перемены в судьбе своих соотечественников. И он высказался. Только сказал совсем не те слова, которые соответствовали бы его бодрому и сытому виду, его холеной до неприличия внешности:

— Лучше бы я умер, чем увидеть свой народ таким униженным...

И он вытащил белоснежный носовой платок, поднес его к сухим глазам и картинно отвернулся, будто пряча от людей свои слезы. Тут уж он, конечно, не мог не привлечь к себе внимания. Жансурат, жена Шамайыла Базова, арес-

тованного в 40-м «за вредительство», встала, шагнула из глубины вагона к дверям, взяла у кого-то пустую деревянную чашу, сделала еще один шаг вперед, ближе к дверям. Перед нею встал сержант, потому что вид разъяренной женщины обеспокоил его. Жансурат крикнула:

— Итлук, ты ли это плачешь в шакальей степи?

Китаров, не ожидая никаких сюрпризов, посмотрел на женщину, пытаясь узнать ее, а Жансурат повторила свой вопрос и кое-что к нему добавила:

— Ты ли плачешь, Итлук, чтобы кости твои псы сибирские растаскали! — И через руку и автомат сержанта запустила в Китарова деревянную посудину. — Чтоб жизнь твоя такая же пустая была!

Итлук не успел увернуться, и чаша угодила ему в лоб, куда и метила Жансурат. Чаша раскололась, а Итлук Китаров как ни в чем не бывало обратился к полковнику:

— Дорога тяжелая, люди сходят с ума... Кого же они будут винить, если не нас... руководителей?

Полковник ничего не ответил, а только посмотрел на него и устало улыбнулся: на лбу у Китарова вспухала большая лиловая шишка. Исмаил Орманов шепнул ему побалкарски, что будет лучше, если он тихо-мирно уйдет. Итлук Китаров, собиравшийся по привычке обрушить свой гнев на женщину, — улыбка полковника его взбесила — раздумал и принял совет Орманова.

— Чтоб собственные кости он грыз! — кричала вслед ему Жансурат. — Чтоб дети его так же плакали, как мои дети.

— Успокойся, Жансурат, — негромко сказал Исмаил. — Время было тяжелое, все мы ошибались...

— Ошибались?! — Теперь Жансурат напустилась на Исмаила. — Ошибались, говоришь? Губили ни в чем не повинных людей, а теперь их детей рассеиваете по миру?! — Исмаил Орманов молчал; стоя рядом с полковником, он все ниже опускал голову, а казалось, будто вращается в землю перед судом этой женщины. Не в первый раз его судили, и не самый страшный был этот суд. А был еще и другой, постоянный и мучительный — тот, которым он судил самого себя. Незаживающая рана не давала покоя, и что слова Жансурат по сравнению с теми словами, которыми он клепал и проклинал самого себя!.. А Жансурат не унималась:

— Чтоб вам, головным людям земли нашей... чтоб вам в собственном дерьме раствориться! Чтоб тот хлеб, которым вы сыты, прорвал вашу утробу! Вы еще людьми себя считаете, когда над вашим народом измываются, как хо-

тят?! Вы еще смеете спрашивать, как мы тут умудряемся не околеть... Едем-то мы куда, вожди наши, чтоб вы сгнили в болоте? Едем-то мы куда? — Молчали внизу полковник и Исмаил Орманов, молчали наверху старики и дети, а Жансурат еще не все сказала, она остановилась на секунду — перехватить воздух — и пошла дальше:

— Вы еще людям в глаза смотрите... Вон, Кабарда! И у них есть головные люди. Они ведь сумели защитить свой народ! Честь и хвала им, пусть здравствуют долго... Но вы, вы чем занимались?

Наконец ее убрали, оттащили, назад, а когда она еще пыталась выдвинуться вперед, Шейван обнял мать и не отпускал. Полковник с Исмаилом, видимо, решили дальше не продолжать обход, повернулись обратно и ушли. Хамзат глянул им вслед и увидел, как пошатывался, идя за полковником, Исмаил Орманов. Хамзату было жаль его, чем же он был виноват? Но ведь и Жансурат права, в ее словах — истинная правда. О, Бог ты мой...

— По местам! — скомандовал сержант, посчитав, что обход окончен. Он наглухо закрыл двери вагона.

Мерцающие зрачки больших черных глаз Хамзата скользили в полутьме вагона по скорбным призрачным лицам. Он хотел сказать, что тяжело и Орманову, ему еще горестнее, чем всем другим: теперь он понимает, что проливал кровь, мечтая совсем не о такой жизни. Однако Хамзату пришлось помолчать, потому что Жансурат завелась снова:

— Аллах, за что же ты обрушил гнев свой на дом Базовых, чтоб твои пророки свиней пасли? Отца расстреляли! Одного сына раскулачили, сослали шайтан знает куда, другого сына, смерть одолевшего, в тюрьму посадили... Аллах, чтоб твой Сталин двойной смертью умер! — Вот до чего додумалась женщина за тринадцать суток молчания. — Аллах, и этот гаденыш жив, ходит по земле этот Итлук Китаров! Люди, он у невинной девушки серьги с кусками мяса выдирал! У Саудат нашей срывал серьги золотые и в карман свой окровавленными совал...

Уже не раз случалось, когда одна из женщин, доведенных до отчаяния плачем голодных детей или скорбными воспоминаниями, начинала среди ночи или днем биться в истерику, ее рыдания будоражили ближайших соседок, затем этот плач подхватывался, как заразная хворь, остальными женщинами, горестные вопли бывали услышанными в соседних вагонах, подхватывались и там тоже, и наконец

весь поезд начинал выть, стонать, вопить, и тогда заглушался и стук колес, и гудки паровоза, и все прочие шумы. Вот и сейчас какой-нибудь степной житель, увидев пронесшийся мимо поезд, был бы поражен и напуган непонятным тысячеголосым воем, которым жуткий этот товарняк оглашал всю округу.

Аркес и не думал успокаивать землячку. Он уткнулся в Коран и, казалось, забыл обо всем на свете. На самом же деле не арабскую вязь видели его глаза, а тот день, когда Итлук Китаров бесчинствовал во дворе Чепеллеу Базова. Накануне был сход, где отмечали успехи сплошной коллективизации, но больше клеймили единоличников, саботажников и всяких других тайных и явных врагов народа. Вопрос ставился круто — вычистить советский Секи от кулаков, подкулачников и всяческих уклонистов. Что это за уклонисты, Аркес не понимал, да вряд ли разбирались в подобных тонкостях и сами сельские «комиссары». Однако решение было принято единогласно. Председатель сельского Совета Уртай Кемкулов, бывший батрак князей Шакмановых, прочитал составленный тройной список и поставил на голосование; Итлук Китаров, уполномоченный ОГПУ, держа руку на маузере, глядел каждому секинцу в лицо и каждый опускал голову и поднимал руку. Как тут не проголосуешь! Четырнадцать семей подлежало раскулачиванию и утром следующего дня их собирались увозить из села.

Наметилась новая традиция — устраивать после столь успешных сходов торжества с танцами. Особое уважение оказывалось гостям из области, любимым вождям революционно обновленного края. На танцы приглашали самых красивых девушек, а главного гостя сажали так, чтобы он мог хорошо их видеть. Конечно, в Секи понимали, что Итлук Китаров не тот журавль, что тянет на подобные почести, но ведь то, что делают головы, ногам тоже известно, к тому же Итлук Китаров представлял областное ГПУ, а с этим нельзя было шутить. И два руководителя Секи, два головных человека — председатель совета Уртай Кемкулов и комиссар, как называли секретаря партячейки Жанузак Саттаева, не договариваясь, созвали на танцы лучших девушек села и посадили гостя на почетном месте. Уполномоченный мог оценить должным образом и уважение к нему местных руководителей и то, что Секи, хотя и находится далеко от области и в стороне от магистральных дорог культуры, имеет свои достоинства. Оценивал он веселье в Секи с этой стороны или нет, но танцевал он без устали. Видный, статный,

не лишенный чувства юмора,— в общем, жених завидный,— он пользовался успехом у девушек. К концу торжеств все заметили, что областному уполномоченному приглянулась Саудат, дочь Шаухала. Эта была редкой красоты девятнадцатилетняя девушка. Два головных журавля Секи поняли, что она обречена. Но кончились танцы, и появившийся неожиданно Шамайыл, младший брат Шаухала, взял племянницу за руку и увел домой. Тогда головные журавли революционно обновленного Секи поняли, что обречена вся семья Шаухала Базова.

В опустевшем доме Уртая Кемкулова, а это был дом одного из братьев Шакмановых, уничтоженных кровопийц трудового народа, и лучший дом в Секи,— так вот в опустевшем доме Шакмановых — Кемкуловых Китаров нервно ходил взад и вперед по комнате, как полководец, потерпевший поражение. Головные журавли сидели, бессильно опустив крылья. Китарову уже было известно, что Шаухал Базов не захотел вступать в колхоз.

— Кто этот Шаухал? Почему его нет в списке?

— Так ведь он...— попытался разжать уста Жанузак Саттаев.

— Что «он»? — рассвирепел Итлук Китаров.— Почему он по сей день не колхозник?

— Не огорчайся, сын Исхака,— Жанузак Саттаев еще надеялся отвести беду от дома Базовых.— Я пошлю к нему Жорту...

Решимость Китарова в какой-то мере ограничивалась драмой, вспыхнувшей недавно в другом ущелье. После такого же схода и танцев высокому гостю из области была подставлена на ночь девушка, которая так же приглянулась ему на танцах. Ее попридержали и, отпустив всех, заперли вместе с героем классовых битв. У девушки были братья, которые не желали идти в колхоз, и потому значились в черном списке. Аркес хорошо знал, что многие девушки из состоятельных семей и высших — а ныне униженных — слоев жертвовали (или их заставляли жертвовать) своей честью, чтобы сохранить жизнь своим братьям, родителям. Но здесь был другой случай. Ни девушка, ни ее гордая семья честь свою не продавали. Здесь произошло гнусное пьяное насилие, хотя представитель новой аристократии считал свои ночные действия продолжением классовой борьбы. Только «оружие» мести было уже другим. Но месть вызывает к мести, а поруганная честь женщины останется несмываемым позорным пятном на лице рода, если посягавший на нее уйдет от возмездия. На другой день жители

ущелья увидели результат страшной казни. Братья девушки, ждавшие в засаде обидчика и его спутников, остановили их у реки и не просто убили, но и отрезали их новое классовое оружие и вложили его в их собственные рты. Сам Итлук Китаров занимался делом убийства верного соратника товарища Сталина, но бандитов, как именовались честные братья, отомстившие за честь сестры, поймать не удалось, зато весь род той девушки жестоко расплатился за сокола революции, «убитого из-за угла» недобитыми врагами советской власти.

Итлук Китаров улыбнулся бескровно:

— Я ведь могу на ней и жениться!

Жанузак Саттаев вызвал сельисполнителя Жорту Избаврова и послал его в дом Шаухала. Приглашали девушку в сельский Совет, но от имени Уртая и Жанузак Жорту должен был просить, чтобы отпустили ее одну. Бывший домашний раб князей Шакмановых пришел к Шаухалу и сообщил, что Саудат понравилась дорогому гостю и он хочет с ней поговорить. Шаухал сказал бывшему рабу Шакмановых следующее:

— Ты был рабом князей, Жорта! Теперь ты раб бывшего раба Уртая!

— Я гражданин советской власти,— сказал Жорта. За короткое время своей службы в сельсовете он усвоил истину: делай все от имени советской власти и ты будешь неуязвим.— Так что,— сказал он,— тем, что оскорбляешь меня, ты оскорбляешь советскую власть. Так и передам товарищу Китарову.

— Передай хоть Кагановичу! — крикнул Шаухал.

Возглавлявший тогда «Колхозцентр» Каганович был на устах у всех.

В оставшуюся часть ночи Шаухал сидел у порога своего дома с топором в руках, а Итлук Китаров в правлении требовал расправы над антисоветским гнездом в Секи. «Идет борьба за большевистскую идею, а мы тут либеральничаем с врагами системы», — распалял он самого себя.

— Успокойся,— говорил Жанузак Саттаев,— если девушка тебе понравилась, ты ее добьешься. К чему спешка? — Он был противником всяких расправ по личным мотивам, тем более не хотел зла уважаемому дому Базовых. Искал примирения.— Семья Шаухала не значится в списке, подлежащих раскулачиванию. Базовы — очень трудовые люди.

— Не-ет, Саттаев! Нет и нет! Ты не скроешь от меня, от недремлющего ока советского чекиста, скрытых врагов.

Не помогут тебе всякие там слова о трудолюбии. Не трудолюбивые, а верные нашему строю требуются прежде всего! А тут, в Секи, я вижу, забыта эта истина! — Головные журавли молчали. Тучи, клубившиеся над домом Базовых, могли оказаться и над их головами. — Так что я уничтожу вашего Базова, как бы он дорог вам ни был! Уничтожу с его дочерью и всем тем чем он кичится. Будет у него время в Сибири показать свое трудолюбие. — И он занес в список фамилию Шаухала.

На следующий день тройка в сопровождении двух милиционеров и сельисполнителя Избаирова раскулачивала объявленных кулаками секинцев. Мало кто знал в Секи, почему Итлук Китаров, уполномоченный ОГПУ, так жестоко обошелся с семьей Шаухала Базова, ведь накануне он не был объявлен кулаком. На глазах у растерянных секинцев он вырвал из ушей Саудат серьги и грубо толкнул ее к обочине дороги. Отцу ее он не разрешил взять с собой даже то, что брали другие. Все видели, Шаухал не склонял головы, не просил, не спорил. Шаухал покидал собственный дом непокоренным, готовым к новым, пусть более жестоким ударам судьбы.

Итлуку Китарову он сказал на прощанье:

— Спасибо и тебе, сын Исхака, и советской власти, что не отняли у меня руки. А с моими руками я нигде не пропаду!

12.

Я видел, как раскололась чаша на лбу у Китарова. Все мальчишки в вагоне переглянулись, но рассмеяться или выразить свой восторг никто не осмелился: мы еще не знали, как взрослые это расценят. Потом, когда сержант прикрыл двери вагона, и мы остались в полутьме, а тетя Жансурат, удерживаемая Шейваном, все еще клокотала проклятьями, я сидел рядом с дедушкой и внимательно слушал. Я живо представлял себе Саудат, ее кровоточащие уши и удивлялся, как это взрослые такое могут терпеть!

— А мы увидим их? — спросил я тихо у дедушки.

— Кого?

— Ну вот тех, про кого тетя Жансурат говорит... Их же тоже выслали?

— Может быть, и увидим...

Эшелон шел дальше. Люди на верхних нарах смотрели через оконные щели на бесконечные просторы. Степь казалась безжизненной, но по ночам, прямо у железнодорожного полотна, порой раздавался заунывный плач шакалов. Обескураживало, ввергало в черную тоску и то, что ни одного деревца, ни одного камня на всем глазом видимом пространстве не было. Взрослые говорили, что горец в степи погибнет, как рыба на суше. А я понимал: человек, если он вольный, нигде не погибает, дед давно объяснил мне это. Но если мы подъезжали к новым местам жительства, то неужели придется все-таки жить на голой земле, без единого деревца и камня? Меня это тоже никак не устраивало.

Изредка, в основном по ночам, составы с переселенцами догоняли друг друга, становились порой рядом на каких-то разъездах, и невольники успевали перекинуться через окна одним-двумя словечками. Разные были слова, разные голоса, но путь для всех был предначертан один. Осознание ли этой жалкой участи или призрачные мечты, но именно здесь, как потом мне рассказывал дед, людей стало будоражить какое-то неосознанное беспокойство, странные какие-то ощущения. И вот догадались: по этому же скорбному пути уже прошли многие сородичи, заподозренные, разоблаченные, раскулаченные. Это их горести и мучительные раздумья витали над железной дорогой, это их стоны и проклятия были растворены в степном воздухе. Людям становилось жутко до дрожи, и они сильнее тянулись друг к другу, старались теснее смыкать свои родовые круги.

Несколько суток мы ехали по территории Казахстана. Не разбираясь в новом содержании старых географических названий, большинство сидящих или лежащих людей в вагоне повторяло их так, словно плывущий к берегу пловец, теряя силы, благословляет любой клочок суши, каким бы он потом скверным ни оказался. В мыслях наши горцы уже обживали новые берега, заранее воспринимая их как спасительные и потому желанные. Это я понимаю теперь зрелым умом, а тогда глядел в рот деда и донимал его своими расспросами. Поскольку сержант запрещал нам переговариваться с людьми в параллельно идущих поездах, то приходилось прибегать к жестикулляции. Случалось, сержант исчезал куда-то, и тут начинался оживленный разговор, обмен невеселой информацией. Мефодий, голубоглазый наш любимец, не только не мешал, но еще шире раздвигал двери. Теперь к нашим географическим познаниям прибавлялись понятия Киргизия, Узбекистан, Норильск, Якутия — ведь речь шла не только о балкарцах. Говорили еще о неве-

домых мне калмыках, чеченцах, ингушах, курдах. Ну, о карачаевцах я, конечно, знал.

Разумеется, всех интересовали и события на фронте. Война шла уже у самых границ страны и скоро должна была перекинуться за пределы Советского Союза. Вот только никаких подробностей изгои не знали и немного могли сообщить друг другу.

Редкие смельчаки выпрыгивали из вагонов и с криком пробегали вдоль состава — они искали родственников, это повторялось каждый раз, когда поезда стояли рядом. При выселении и погрузке в поезда многие оказались в разных эшелонах — дети и родители, жены и мужья: не все ведь в роковой день сидели у родного очага. Так что с одной стороны кто-то выкрикивал имя сестры, с другой — спрашивали о дедушке Аслане или дяде Бекмырзе. Бывало, что родичи находились, но им не разрешали соединиться, все должны были оставаться на своих местах, если даже в соседних составах оказывались родители и дети... Через день пути вагоны с выселенцами начнут отцеплять и направлять по разным адресам, и найденные вновь потеряются, вновь они будут искать друг друга, и многие так и умрут в разлуке.

По мере того, как мы отдалялись от родных мест, у людей постепенно притуплялись страх и боль. Дедушка говорил, что надо свыкнуться с новым нашим положением и, исходя из него, думать о будущем. Отныне, говорил он, каждый балкарец должен осознать себя топором, закаленным в огне! Топор построил дом, но остался на улице. Ему останется только построить новый дом. Перед суровым ликом общей беды народу необходимо ощущать себя единым и неразрывным. Без этого единства на чужбине не выжить.

Мне нравилось считать себя топором. Я должен быть твердым, выносливым, острым, готовым встретить любой удар! На тяжком пути нашем смешались не только разные аулы, но и разные народы. Вот, например, среди нас семья Басира, кабардинца. Будут еще и другие семьи. Но они, говорил дед, составляют сейчас с нами одно целое. Нетрудно себе представить, как бы они себя чувствовали, если бы оставались одинокими, никому не нужными!

Семья Басира так и прижилась у самых дверей. Ариужан долгие часы простаивала на ногах. Казалось, и спит она стоя. Басир обычно сидел, вытянув ноги и опершись спиной о стенку вагона. К ночи он укладывал дочку на колени — так и спали — девочка на коленях отца, а он полулежа, в неудобной позе. На костылях Басиру было трудно

выходить из вагона, поэтому на остановках выходила Ариужан, покупала или выменивала какую-то еду, из которой им мало что выпадало: рядом всегда оказывалась наша ребятня, бессовестно пялившая глаза на ее добычу. Она тихо улыбалась, что-то говорила мужу по-кабардински и раздавала нам изрядную долю съестного.

Я уже рассказывал, что мужское население вагона уже давно как бы разделилось на две части — на стариков и на мальчиков. Старики делали вид, что этого не замечают, и нас это вполне устраивало: какое может быть согласие между взрослыми и детьми, если взрослые одно только знают — запрещать! Если бы не болезнь дедушки Бияслана и частый плач безымянной дочки Гугула, мы бы чувствовали себя гораздо вольготнее. Но дедушка Бияслан мучительно страдал, девочка беспрестанно плакала, хотя почти все женщины в вагоне не оставляли ее ни на секунду, и нам приходилось умерять свой пыл, свои неумемные фантазии. А если честно, то к этому времени я уже понимал, что не мы едем, а нас везут. Да, разница между тем, когда едешь сам и когда тебя везут становилась для меня все яснее. Проходят годы, и я, будучи московским студентом, однажды в кругу однокурсников заговорю об этом своем открытии, и меня выслушают с интересом, но не более, не поразятся. Возможно, и для меня мое еще детское открытие не оказалось бы тогда столь скорбным, если бы не пропал Ахмат. В тот день мальчишки из моей компании сразу повзрослели. По крайней мере, я уже не жил прежней беспечной жизнью.

— Два хромых уroda поступались к нам одновременно, — скажет дед на следующий день после похорон Бияслана. — Эти два хромых уroda так потрясли и ранили мою душу, как не приснится в самом страшном сне.

Бывали дни, когда за целые сутки ни разу не останавливались, а в тот день эшелон то и дело стопорился, как тяжелая арба на крутом подъеме. Не успели мы прийти в себя после бунта Жансурат, как поезд опять стал. У нашего сержанта целый день было плохое настроение. «Выпивка у него кончилась», — шептал Али на ухо Шейвану, а тот сверлил пальцем свой висок, мол, что поделаешь... Сержант выругался, раздвинул двери — солнце красным шаром висело на самом краю неба. В степи не шевелилось ни одной живой твари.

— Можете выходить, — неожиданно сказал охранник. И сам спрыгнул и зашагал к голове поезда.

Через минуту народ со всего эшелона вывалился на землю, и поле вдоль железной дороги скоро стало похожим

на базарную площадь. Наш мальчишеский отряд сразу же помчался в степь. Кто-то крикнул: «Змея!» Все рассыпались в разные стороны, ног под собой не чуя. Только один из нас оказался смелым — Ахмат, сын тети Мисирхан. Он побежал к железной дороге, нашел там несколько больших кусков щебенки и, быстро вернувшись, запустил в змею одним камнем, затем другим. Змея высоко подняла голову, нам показалось, что она бросится за нами, и мы отбежали еще дальше. Не убежал один Ахмат. Когда мы опять подошли поближе, змея лежала клубком еще живая, но почти разорванная пополам. Я посмотрел на Ахмата с восхищением — какой он сильный и бесстрашный парень!

— Побежали до конца поезда! — Крикнул он и понесся впереди.

Мы бежали за ним вдоль откоса. Я мог его перегнать. Думаю теперь, и другие могли, но сознательно не перегоняли, потому что он был герой. Добежав до хвоста эшелона, мы увидели нечто вроде коридорчика у задней стены последнего вагона, там был пулемет и солдатик при нем.

— Вот как здорово нас защищают! — сказал Ажок, один из близнецов Геузовых.

— Дурак! Не защищают, а стерегут, — поправил его Ахмат.

Наверное, я тоже дурак, подумалось мне. Я ведь тоже считал, что нас защищают. Да, Ахмат был явно умнее нас с Ажоком, хотя и на полгода моложе.

Взрослые все больше толпились у вагонов, а мы, мальчишки, играли, спорили, искали что-то в степи, и было нам очень весело. Не знаю, сколько времени стоял поезд — мы времени не замечали, потому что нас переполняли новые впечатления, и мы вместе с детьми из других вагонов незаметно отделились от поезда на приличное расстояние. За играми и не заметили, как состав тронулся. Не могу по сей день припомнить, предупреждали нас о том, что эшелон трогается или нет, но когда мы опомнились, то увидели — поезд уходит, а наши родные кричат и мечутся между откосом и нами. Мы бросились к эшелону. Тут уж кто в какой вагон попадет! Нас было четверо бежавших впереди — близнецы, Ахмат и я. За нами бежали сестрички Мадины — Азиза и Аслижан. А у вагонов была давка: состав медленно откатывался, люди, как стадо на мосту, теснили друг друга. По сей день не могу понять, почему дали отправление, когда люди не сели? Зачем же тогда стерегли их с пулеметами? Кто-то стоял внизу, кажется, это был Шейван, рослый, сильный парень, он подхватывал детей и за-

брасывал в вагоны. Шейвану уже приходилось проделывать все это на бегу, потом он и сам едва успел заскочить в вагон.

Тетя Мисирхан вскоре обнаружила, что Ахмата в вагоне нет. Она стала кричать и бить кулаками о стены вагона, а я, не зная почему, вдруг сказал:

— Да он же залез в другой вагон!

Но Мисирхан все кричала и билась о стены вагона, платок ее сполз на плечи, обнажилась ее голова, но бедная женщина этого не замечала. Там, в глубине нар, плакали прабабушка и бабушка Ахмата Кудас и Миналдан. А тетя Мисирхан зывала:

— Люди, что я скажу его отцу? Что скажу, когда он вернется и спросит: «Где мой сын?!».

— Там тоже детей бросали в вагоны, — сказал Шейван.

— Прекратить! — рявкнул сержант.

Никто не обратил внимания на его окрик.

— Успокойтесь, милая, — как-то неловко, неумело старался утешить несчастную тетю Мисирхан Мефодий. Он переживал так же, как и все, и силился убедить нас в том, что Ахмат не остался, что непременно залез в другой вагон. Но тетя Мисирхан ничего не слышала. Она кричала:

— Люди, остановите поезд!

Люди молчали, а сержант сказал:

— Никто вам не остановит поезд. Не надо было отпускать пацана.

Тогда она взяла меня за плечи, стала трясти;

— Где ты оставил Ахмата?! Где оставил?

Никогда не забыть мне ее искажившееся, залитое слезами лицо. Но что я мог сказать? Ведь только в вагоне и обнаружилось, что Ахмата нет среди нас. Он все время бежал впереди, а когда Шейван стал нас кидать наверх, его рядом никто не видел. Куда он мог деться — ни куста, ни камня в степи, разве только прорытые ливнями овражки? Не мог же Ахмат свалиться в какую-то пропасть. Нет, думал я, он непременно залез в другой вагон. Мефодий, всхлипывая, приобнял за плечи тетю Мисирхан, и она, послушно расслабившись, перестала кричать. Мефодий отвел ее на место и сказал:

— Успокойтесь, тетя. Я найду вашего сынка. Найду и приведу.

Солдатик приоткрыл двери вагона и полез на крышу. Никто не произнес ни слова, и сама Мисирхан притихла. Муж ее Мажир воевал, воевали свекор и младший брат Мажира Махти. Может, кто-то из них уже лежал в земле, а

может, и все они закончили путь земной, так что роду Ботаевых в любом случае следовало готовиться к тяжким утратам. Напряжение в вагоне было такое, что многие ни сидеть, ни лежать не могли. Увидев отчаянное горе на лице женщины, можно было только стоять в скорбном молчании.

Часа два, а то и больше, Мефодия не было. Я представлял себе, как он ложится поперек вагонной крыши над дверьми каждого вагона и кричит, спрашивая о мальчике. Кричит изо всех сил, ведь свистящий встречный ветер уносит его голос в степь, люди что-то слышат, но не могут разобрать его слов. Мефодию приходится повторять, и не раз, пока, наконец, ему не ответят, что в вагоне такого мальчика нет. Тогда Мефодий встает, идет дальше по крышам, снова ложится над вагонными дверьми, а этих дверей столько же, сколько и вагонов — больше восьмидесяти...

Когда Мефодий вернулся и стал спускаться с крыши, все мы затаили дыхание. В сумраке вагона я видел глаза тети Мисирхан, как они страшно изменились! Не зная почему, то ли в страхе за нее, то ли боясь за себя, я прижался к деду, который уже понимал, что случилась беда. Мефодий спустился один.

— Нет его нигде, — глухо сказал он.

Но теперь тетя Мисирхан не рвала на себе платье, не кричала, а как-то странно бормотала непонятные слова. Смешно так говорила, но людям было не до смеха. Дед тяжело вздохнул:

— Материнская душа не выдержала...

Молчание длилось. И тогда тетя Мисирхан стала мягко и бережно тормошить людей, будто поднимала их ото сна, но будить их ей было жалко:

— Люди, вставайте... Остановите поезд! Неужели вы не слышите голос плачущего ребенка?

Но люди молчали. Они всей душой воспринимали и плач женщины, и плач ребенка, но помочь ничем не могли.

— Нет, не могу! — сказал Мефодий. — Да разве это по-людски? — Он пошатнулся — то ли ветер, прорвавшийся из приоткрытых дверей толкнул его в спину, то ли сержант ударил — но устоял на ногах. — Я не могу. Я останавливаю любой встречный поезд, поеду искать мальчонку в степи... — И он выпрыгнул из вагона.

— Ничто теперь не поможет матери, — сказал мой дед. — Если даже найдется ее сын, она уже не обретет самое себя...

К полуночи Бияслан едва дышал. Женщины нарочно окружали умирающего плотным кольцом, громко разговаривали, чтобы его стонов охрана не слышала. Наверх, к последнему слову умирающего позвали Хамзата, но Бияслан так и не пришел в себя. Он вспоминал Абу, несколько раз четко произнес имя младшего сына Ачаха, и к рассвету 22 марта его не стало. Когда дыхание больного угасло, Хамзат закрыл ему глаза, выпрямил руки, ноги. Женщин, сидевших у стенки, он заставил отодвинуться, чтоб не закрывали щели, откуда хоть чуть-чуть сквозило свежим воздухом. Люди на верхних нарах расселись так, чтобы тело Бияслана все время было закрыто от охраны. Никто не рыдал, не причитал: с самого начала людей не то страшило, что Бияслан умрет, — теперь эти люди смерти вроде бы не боялись, — а то, что может остаться незахороненным. После случая с Атто и трагедии на тропе возле Секи такая участь могла угрожать любому «спецпереселенцу».

Над степью поднялось большое белое солнце. Идеально гладкая равнина, без единого куста или деревца, быстро прогревалась. Ветер доносил издалека то жаркое дыхание песков, то запах плодородной земли. Однажды промелькнуло кочевье овцеводов, и новой тоской загорелись глаза жамаятцев.

К полудню стало ясно, что в битком набитом вагоне, душном не только от дыхания песков, но и от безысходного людского горя, долго оставлять труп невозможно. Кто-то шепнул: «Если бы льда немного!» — «Ну да, прямо, с ледников Мингитау!» — горько усмехнулся Шейван. Этот разговор никто не поддержал: людей сковывал страх, — как бы не узнала охрана о том, что на верхних нарах лежит труп, всем тогда достанется, а тело выкинут на ходу, в лучшем случае оставят на разъезде. Этот давний страх усугублялся вместе с духотой в вагоне. Тлетворный запах уже доходил до нижних нар, сержант морщился, пока еще не догадываясь, в чем дело.

Надежда начинала покидать горцев: этот проклятый поезд шел и шел — конца пути не было видно. И все страдали не от горя по поводу бесславной смерти славного человека, отца большого семейства, а от того, что не имеют возможности предать его земле своими руками.

Поезд сделал минутную остановку на пустынном разъезде. Никто не шевельнулся. В вагоне — вот уж поистине — мертвая тишина. Сержант даже удивился обще-

му равнодушию людей. Казалось, они и не замечают, что поезд стоит.

Но через час пути в глубине тех нар, где лежал Бияслан, возникло сначала безмолвное, но гнетущее, как перед грозой, напряжение, а еще через час не выдержала Жюзюм, мать троих детей. Кто мог осудить ее? Ехать с детьми в такой тесноте и таком зловонии! Хотя Хамзат сначала и бросил было на нее предупреждающий строгий взгляд, но быстро отвел глаза. В этой слабой изможденной женщине с помертвевшим лицом вдруг пробудилась великая сила гневного протеста, отмечающая любые доводы благоразумия, осторожности и трезвого рассудка. И Хамзат понял, что крепость, воздвигнутая людьми в час единения, веры и решимости, в час, когда скорбь одного человека становится общей скорбью, — эта крепость не устоит. От нее камня на камне не останется. Только это будет означать не сдачу на милость победителя, не капитуляцию, а отчаянную дружную атаку с решимостью победить или умереть. Да и в каких правилах допускается, чтобы умершего столь долго не предавать земле! Такое решение очень рискованное, подумал Хамзат, но благородное — противопоставить жестокому самодурству властей не попытку украдкой провести труп, а требование пристойных похорон. Надо сохранить свое достоинство перед лицом беды: или предать земле своего умершего или умереть самим! Впервые за последние недели он, кажется, вздохнул облегченно, даже ощутил чувство радости и, окинув всех ясным подбадривающим взглядом, понял, что все пойдут на такую жертву.

А Жюзюм давала волю своему возмущению:

— У меня дети! И у всех у нас... Я не хочу, чтобы они, лишенные дома своего, лишились и разума! Чтобы зараза их скосила! — Она соскользнула с верхних нар и пробилась к дверям вагона. — В вагоне покойник! — кричала женщина. — Уже сутки, как человек умер. Остановите поезд! Надо похоронить покойного.

Хамзат почувствовал к ней уважение: она требовала не убрать труп, а похоронить его.

— Да, пусть Бог доволен будет тобою, женщина, — сказал он и встал рядом с нею.

— Покойник в нагоне, его надо похоронить, если вы не фашисты! — крикнула Жюзюм еще раз.

С крыши вагона спустились: сначала свой охранник, за ним еще один солдат. (В последние теплые дни им больше нравилось ехать на крыше).

— Где покойник? — спросил сержант, стоя у дверей.

— Вон там,— указала Жюзюм, не сходя с места.— Остановите поезд!

— Поезд вам никто не остановит,— сказал сержант, брезгливо глянув в ту сторону, куда показала Жюзюм.— Надо его выкинуть! — И он взял в руки автомат.

Вопль страха и негодования потряс вагон. Жюзюм была в таком состоянии, такая решимость читалась на ее изъеденном слезами лице, что Хамзат не на шутку испугался за ее судьбу, и сержант испугался: эта одержимая и убить может, и он направил на женщину ствол автомата.

— Не смеее! Не смеее!— кричала Жюзюм. Непонятно было, что сержант не смеет: стрелять в нее или выбрасывать мертвое тело.

— Мы переселенцы, но мы еще и люди — спокойно сказал Хамзат.— Мы должны похоронить человека по всем обычаям.

— Война, старик,— процедил сквозь зубы сержант.— И не на курорт вы едете. Пора понять: чем скорее избавитесь от трупа, тем лучше.

— Этого мы не сделаем,— твердо сказал Хамзат и стал между Жюзюм и сержантом.

— Сообщите в штаб, пусть останавливают поезд,— так же твердо сказал Басир. Он решительно встал, подхватил костыли и выдвинулся вперед, к Хамзату.

Сначала от него тоже скрывали болезнь, а потом и смерть Бияслана, потому что он находился рядом с сержантом. Теперь же, когда увидели в нем поддержку и даже — больше того — решимость принимать на себя первые удары, жамауатцы едва ли не готовы были причислить его к лику святых, а себя почувствовали гораздо увереннее и смелее. Сержант, озадаченный напором Басира, умолк. Это был единственный случай, когда он отступил. И это тоже увидели наши мухаджирь. Увидели, что их требование может иметь какую-то силу.

— Чего задумали,— усмехнулся сержант чуть позже.— На поле боя солдат погибших оставляют непохороненными, а тут, подумаешь, какой-то...

Басир не дал ему договорить:

— Я такого не видел. Может, ты видел, а мне вот не приходилось. Мы под пулями выносили своих погибших...

— Подумаешь, какой-то старый хрыч...— Сержант, наконец, неплохо знал воинский устав, но человеческий был ему не ведом.

— Это не какой-то хрыч, а уважаемый человек Жамауата,— с нар соскочил Хаджибекир.— Он ударником

колхозного труда был. Награды имел. А на фронт он отправил семерых своих сыновей...— Он долгим взглядом посмотрел сержанту в лицо.— И эти семеро не такие, как ты! — Хаджибекир встал рядом с Хамзатом.

— Ничего не знаю, будет остановка — там его и оставите.

— Не будет этого! Мы сами должны его похоронить!

К площадке у дверей теперь подступали женщины, мужчины, даже дети. Казалось, эта угрюмая, плохо управляемая сила сейчас выдавит из вагона обоих солдат и сама под нестройный хор возмущенных выкриков выплеснется наружу.

— В случае малейшего сопротивления мне дано право стрелять без предупреждения! — Сержант вскинул автомат и прижался к стене.— Я знаю, кого везу, церемониться не стану!

— Нам дано право принять любой удар во имя долга и чести...— сказал Хамзат.

— Какое право? Откуда у вас какое-то право!

Но теперь сержанту никто не отвечал. Неприкаянные, готовые идти на последнюю жертву, они вставали все плотнее друг к другу; мужчины — впереди, заслоняя женщин и детей. На ярусах плакали малые дети. Сержант смотрел на людей с ненавистью, и ему очень хотелось нажать одеревеневшим пальцем на спусковой крючок автомата: ситуация складывалась совсем уж невыносимая.

— Надо доложить, товарищ сержант,— робко сказал солдат.

— Так беги! — быстро ответил сержант. В его тоне прозвучали злорадные нотки.— Беги, докладывай! — Он как бы давал понять, что солдат принесет приказ о расстреле, вот тогда у него попляшут.— Скажи там, что в тринадцатом бунт настоящий! — крикнул он вдогонку солдату, уже вскарабкавшемуся на крышу.

Сколько долгих минут протекло, столько и беспокойных дум пронеслось в том напряженно гнетущем ожидании. Когда поезд остановился в степи, и солдат вернулся в сопровождении долговязого рыжего капитана, сердца людей сжались в тревоге, но никто не проронил ни слова раскаяния.

— Так вот, значит,— начал рыжий долговязый капитан, оценив ситуацию.— Предписание такое. Умерших, своей ли смертью, в попытке ли сопротивления и бегства,— передавать на остановках станционным властям. Никаких других разговоров на сей счет ни сейчас, ни впредь...

О той мертвой тишине, которая установилась в вагоне после этих слов, Музафар вспоминал в последующей своей жизни с содроганием: все вдруг — взрослые и дети — увидели какая бывает минута, когда не над человеком одним, а над всем родом его нависает опасность гибели!

— Тот, у кого конь унесен водой, не плачет по плети, — прозвучал, наконец, голос Хамзата. — Родину мы потеряли! Честь и достоинство наши попорчены! О чем жалеть? Так что решение наше правильное. Умрем, но не отдадим наших покойников! Аллах, да пусть рассудит и заберет наши души к себе! — И он подошел к ярусу, где лежал Бияслан и где над ним корчилась Налмас.

— Подайте его мне, — и возвел вверх свои слегка дрожащие руки.

Шайван и Али вскочили на нары и передали ему завернутого в войлок покойника. Хамзат удивился его легкости. Он жил с Биясланом в добром соседстве: здоровый, жизнерадостный был человек. Еще четыре его сына воевали где-то, и Налмас, жена Бияслана, надеялась, ждала их. Пока Хамзат держал труп Бияслана на руках, картинки его жизни возникали перед взором памяти. Бияслан был таким сильным в лучшие свои годы, что выпив гоппан¹ бузы, мог взвалить себе на плечи быка. На свадьбах весело отплясывал лезгинку, взяв на каждую руку по девушке. Однажды Бияслана, вопреки его воле, заставили побороться с каким-то уже известным борцом, приехавшим на праздник в Жамаут из низинных сел. Бияслан так быстро уложил его на землю, что тот от неожиданности чуть рассудок не потерял. Посмеялись бы, позабыли, но посрамленный борец, придя в себя, снова напросился, а Бияслан, который не желал тягаться с кем-либо силой, так рассердился, что поднял его, пронес по площади и перекинул через забор «Домсовета». С того праздника Бияслана называли Бияслан-силач, но никогда никто не видел, чтоб он кичился этим и показывал свою силу без особой на то необходимости. Но вот он на руках Хамзата, легкий, словно его могучие кости превратились в сухие тростинки, словно в туго завернутом войлоке вовсе не он был, а охалка прелого сена.

Никогда после Хамзат не мог восстановить в памяти подробности того, как люди вываливались наружу, спотыкаясь и падая, как его с Биясланом на руках буквально вынесли из вагона, как услышал он, наконец, плач женщин, так долго сдерживавших слезы по его, Хамзата, требова-

¹ Гоппан — большая деревянная чаша.

нию. Теперь они могли вволю наплакаться. И выли они в степи так, словно оплакивали не только Бияслана, но еще и тех, кого придется хоронить в будущем — и себя в том числе, чья участь печальнее тех, кто уже погребен.

Из первого вагона, из того единственного пассажирского светло-зеленого вагона, где разместился штаб и где, по слухам, ехало бывшее руководство балкарского народа, как наверное, решила высокая власть, степенно высадились начальственная группка и осталась там, в голове эшелона. Начальство ждало, конечно, с рапортом капитана, но он пошел за этой беспорядочной погребальной процессией, пошел устало и молча, и получалось, что капитан рисковал, не выполняя приказа. Аркес, Хаджибекир и Байчо шли впереди, втроем неся тело Бияслана — они переняли его у уставшего Хамзата; за ними все остальные — женщины, рыдая и причитая, но крепко держа детей за руки или на руках. Шли мальчики и девочки постарше, которые могли уже представить себе страшные последствия своего отчаянного вызова властям, но ни о чем не жалевшие. Музафар оглядывался назад на приумолкший в осознании своей несправедности поезд. Из щелей заколоченных окон, из проемов приоткрытых дверей выглядывали измученные, заросшие щетиной лица мужчин, вытягивались тонкие женские руки, будто о чем-то просящие. На крышах вагонов — в начале и конце состава — были установлены пулеметы. «То мы видели один пулемет, а теперь их целых два», — подумал Музафар. Когда рыжий капитан с наганом, сержант с автоматом, а еще другой солдат с винтовкой пошли за ними, Музафару казалось, что их подведут к какому-нибудь обрыву или оврагу и перестреляют. Он так думал, но почему-то не боялся. Зато теперь, когда увидел пулеметы, направленные в их сторону, ему стало страшно. Он крикнул: «Пулеметы!» и побежал к матери. Мать только молча прижала его к себе. И никто не ответил на его крик. Тогда он осмотрелся и увидел, что никто даже не оглянулся, Музафар понял, что взрослые давно знают о пулеметах, а главное, они их не боятся. Ему стало стыдно за свой крик, и чтобы как-то загладить свой позор, он решил, что даже не пикнет, когда выстрелят в него. Он и не застонет и не заплачет, как бы ни было ему больно.

Скорбное шествие остановилось шагах в полтораста от железнодорожного полотна. Аркес, Хаджибекир и Байчо опустили на колени, положили тело на землю. Старика — их было пять — Хамзат, Аркес, Хаджибекир, Бек-

болат и Байчо — встали на джаназы¹, а женщины и дети отошли в сторону.

— Это же бунт, товарищ капитан! Это же дикий саботаж! — кричал сержант, а долговязый капитан стал отряхивать рукава и штанины: когда люди из вагона хлынули наружу, он был сбит с ног и чуть не затоптан.

— Да заткнись ты! — крикнул он сержанту. — И ангелов небесных можно до бунта довести! А тут живые люди...

Пять мучеников молились в степи, — они не были про-роками — Хамзат, Аркес, Хаджибекир, Бекболат и Байчо, — но были мучениками. Солнце жгло, оба пулемета были направлены на них, но они спасались в молитве; народ молчал в ожидании то ли чуда, то ли гибели...

— К черту! Сволочи! — ругнулся капитан, не уточняя в чей адрес направлены его слова. — Оставайтесь здесь, — приказал он сержанту и солдату, — не дергайте людей, похоронят и успокоятся. — И направился в сторону головного вагона поезда.

Музафар запомнил навсегда, как вернулся к ним рыжий долговязый капитан, неся несколько лопаток с короткими ручками, такие он видел, когда в Жамауате стояли части Красной Армии. Капитан шел с наганом на правом боку, а к левому боку прижимал обеими руками новенькие лопаты. В первую минуту, у вагона, он казался злым, бездушным человеком, а вот надо же, подумал Музафар, поезд остановил, людей отпустил, а теперь лопаты несет, чтоб люди смогли копать землю.

А люди, кстати, только теперь вспомнили, что у них не было ничего, даже ножа, чтобы вырыть могилу. Читали погребальную молитву, а как Бияслана земле предать, даже не подумали — вот что было поразительно! А рыжий капитан подождал конца молитвы, затем подошел к группе, где стояли Шейван, Али и другие их родственники, и высыпал перед ними лопаты. Хамзат тоже взял лопату, выбрал место для могилы и сказал: «Бисмиллахи!» Покуда мужчины копали могилу, женщины, сбившись в кучу, тихо плакали. Аркес и Бекболат раздели Бияслана, выпрямили и, за отсутствием воды, совершили омовение песком — как и предписывает Коран. Потом Хорасан отдала им один из семи слоев савана, которые она держала при себе, и Бияслан был облачен в свое последнее одеяние. Капитан держался поодаль; зная нетерпимость ислама к другим религиям, в особенности при погребальных обрядах, он и солдатам под-

¹ Дж а н а з ы — общая погребальная молитва.

ходить близко не позволил. Бияслана опустили в яму и наполовину ее засыпали, когда могильщики увидели Алию, сгибавшегося под тяжестью подобранной где-то старой шпалы. Каково было удивление, когда народ скорбящий увидел это — парень нес дерево для надгробья! Он же успел вырезать перочинным ножом надпись:

КАЙБЕРГЕНОВ БИЯСЛАН, ДЖУНУСА СЫН.

1868—1944

БАЛКАРЕЦ ИЗ ЖАМАУАТА

И когда в ровной степи вырос могильный холмик, а над этим холмиком встала надгробьем старая шпала, люди, столпившись вокруг могилы, отдали Бияслану последнюю дань. Капитан и здесь им не помешал. И когда люди потянулись назад, на горячий холмик бросилась Налмас. Люди восхищались ее выдержкой — с самого первого дня пути она ни словом, ни слезинкой не выдала себя. А тут со страшным криком бросилась на свежую могилу и зарыдала. «Как же ты, мужчина, так поступил! — причитала она. — Как же оставил меня, старую, одинокую? Кому поручил молиться за меня? Семерых моих сыновей на войну отправил! Ни дома, ни еды, ни поддержки... О, мужчина, сгнувшийся в безымянной степи!... Сыновья вернутся, спросят, где могила отца? О, что я им скажу, мужчина! Хоть один-то твой сын останется жив? Что я ему скажу?» Женщины снова завывали, и не находилось среди них ни одной, кто нашел бы в себе силы утешить, поднять вдову со свежего холмика и повести с собой. Наконец, одна такая нашлась — Мисирхан. Она сказала:

— Не плачь, Налмас. Бияслан знает дорогу, не заблудится... — Она собрала одежду Бияслана, аккуратно сложила все в старый его бешмет с книгой стихов Абу во внутреннем кармане и положила сверток у могилы. Мисирхан держала руки на свертке так, словно вдыхала в него жизнь или заговаривала его. Так все и подумали, содрогаясь, потому что безумная шевелила губами, шептала что-то, а люди стояли и смотрели, ни единым звуком не мешая ей. — Когда вернется, он оденет это, — сказала Мисирхан. — Оглянитесь же, нигде нет укрытия! — Встала и, как бы веля другим следовать за нею, пошла к поезду.

Люди, возвращаясь к своим нарам, очень жалели и рыжего долговязого капитана, потому что и он молчал по-

давленно; казалось, и он был выселенец, потому что во многом был бесправным. Парни, слабые от недоедания, с трудом вырыли могилу, и теперь, возвращаясь по своим местам, еле волокли ноги. Капитан тоже пошатывался, как от смертельной усталости. Наверное, ему тоже хотелось распластаться на теплой земле и не вставать до второго пришествия...

14.

Вернувшись на свое место, Хамзат ощутил успокоение, как будто в вагоне наступило другое время; вся вагонная семья не то чтобы притихла, а умиротворилась, как женщина после родов. Хамзат не мог объяснить это только тем, что покойник ушел, и люди, выполнившие перед ним свой долг, успокоились. Еще ведь и рана незаживающая оставалась. Боль не утихала с того мартовского рассвета, когда в тесных переулках Жамауата появились крытые зеленые машины, а псы, завывавшие всю ночь, разом кинулись в горы, словно спасаясь от чудовищного землетрясения. Люди в горах знали, что собаки воют к беде, и то, что они оставляли людей, хозяев своих, казалось предвестием самого худшего несчастья, представить которое не смогло бы даже самое безумное воображение. И в вагоне, через много-много дней пути, боль была та же, только немного к ней притерпелись. А сейчас они притихли, возможно, в предчувствии конца пути, ощущая всем существом приближение к тем местам, где они должны будут вбить первый кол в землю, если там растут деревья, установить первый камень, если там имеются камни. Но им не говорили ничего; вагоны отцепляли, и они исчезали, а оставшиеся в тупиках закрывались на замок. На коротких остановках не открывали двери вагонов, но до людей доносились разные названия — Арысь, Талдысу, Кызыл-кия.. Ад ждал их там или рай? Чтобы попасть в один из этих Богом уготовленных для рода человеческого небесного или подземного обиталища, прежде всего, надо быть погребенным. Станным, непостижимым казалось и то, что об этом думали теперь и дети. Юные души, устремленные, по закону природы, только к жизни живой, познали и опасения, свойственные только зрелым людям. Сегодня в глазах какого-то подростка можно было прочесть скорбную тревогу: «А что со мной будет, когда я умру?» А может, так оно и должно было быть, потому что одним из потерянных в пути оказался

маленький Ахмат, которого тоже считали умершим? Предполагалось даже, он умер страшной и долгой смертью: мальчики потом рассказывали, как они бежали, как перепрыгивали через глубокую узкую промоину — в общем выдали секрет... Теперь взрослые не сомневались в гибели Ахмата, хотя никаких доказательств не было. Так вот и пришли к горестному итогу: из пятерых умерших один лишь Бияслан захоронен, да и то в неизвестной стороне, а четверо остались брошенными — Атто, Гугул, его жена Аминат и мальчик. Оставшийся в степи Ахмат все будил своих сверстников криком, догоняющим эшелон. Крик догонял поезд, но остановить его не мог. А скрежет и лязг разболтанных вагонов становился все сильнее, и сквозь щели проникали чьи-то тоскливые стоны и причитания, в том числе и того старика из Теренозека, который, таская им свежую воду, вселял надежду на то, что и в дальних краях растут деревья — есть из чего вытесать колья, и камни имеются, которые можно положить в основание дома или под ними лечь в свой последний день.

И надежда эта вызывала зуд нетерпения — поскорее доехать, поскорее ступить на незыблемую твердь земную. Однако поезд, укоротившийся уже втрое, все еще продолжал бежать по рельсам. Даже Али, который всегда все видел, успевал что-то услышать, сориентироваться, ничего не знал. Музафар старался быть рядом с ним.

Не отрывая головы от оконной щели, Али возвестил: «Чийли!» Чем-то родным и близким повеяло от такого названия. «Чийли? Так это же по-балкарски!» — отозвался Байчо. «Ну, конечно! — ответил ему Шейван почти весело. — Нам Шамайыл писал, что казахи — это такие же мусульмане, как и балкарцы, и язык у них почти такой же...»

Здесь, в Чийли, они впервые почувствовали вкус настоящей еды, и это, может, оттого, что кормили их не солдаты. Три круглолицые смуглые женщины шумно обслуживали вагон — носили в ведрах наваристый, по-домашнему вкусный суп с мясом и обильно наполняли чаши изголодавшихся людей. Одна из женщин все повторяла: «Ой-бой, баурым-ой, бедные, родные...» И это тоже, как и хорошая еда, возвращало людям надежду. Она и спрашивать успевала, и наливать, и жалеть... Похоже, суп варили тут же в степи, под открытым небом, и лепешки пекли поблизости: из-за продолговатого низкого, как конюшня, здания станции шел щедрый запах тандыра¹, а поверх крыши подни-

¹ Т а н д ы р (казах.) — печь.

мался прозрачный дым — топили, наверное, соломой или кураем².

— Изобильные, видать, места, но суждено ли остаться нам здесь? — сказал Бекболат.

— Многие остаются, Бекболат, — ответил ему Басир по-русски. — В нашем поезде, видишь, сколько вагонов теперь?

В полночь их вагон дергали на узловом разъезде то вперед, то назад, переводя с одного пути на другой. Сквозь щели вагонов просвечивались редкие тусклые огни станции, слышались и русские слова, особенно явственно долетала до «пассажиров» 13-го ругань человека, который, по-видимому, командовал. Настолько этот начальничек привык к языку материцыны, что не разбирался кто или что объект его внимания — машинист или стрелочник, женщина или мужчина, одушевленный ли предмет или какая-то цистерна — он всех и вся припечатывал одним универсальным словом, только подбирал к этому слову разные эпитеты и разные направления.

К полуночи вагоны с переселенцами прицепили к составу, который вез на восток какие-то просмоленные бочки, поезд тронулся, и нескончаемая боевая ругань затихла вдали.

В оставшиеся часы до места назначения — это жамауатчи думали, что часы, потом решили: сутки, — им уже не сидится, не спится, нет охоты говорить. На нарах — затишье, и каждому хочется прильнуть к любой щели. Пустынные степи кончились, теперь за щелями мелькают деревья и деревни, ручейки и речки. В светлое время дня до них долетают голоса спешащих на работу людей. Как и везде, и в этих местах, конечно, идут весенние полевые работы. К следующей ночи их вагон опять отцепляют, в тупик, и в огнях уже большой станции видно, как медленно скользит мимо длинный состав из одних только платформ с непонятным грузом, накрытым брезентом. Состав скользит и исчезает во мраке ночи, а на станции горит всего один прожектор, который почему-то все время мигает — то ли столб, на котором он установлен, шатается, то ли где-то электролинию замыкает. Свет оттуда сиротливо падает на загнанные в тупик вагоны, из которых только что ушли охранники, заперев двери на замок. Переселенцы уже знают, что опять обречены на долгое забвение. Прошло около двух суток после станции Чийли, где они пообедали

² Курай (казах.) — сухой бурьян.

сытно, как дома, и благодарно запомнили трех круглолицых смуглых женщин.

А утром они смотрели, как охранники убивают время, собравшись на лужайке со свежей травкой. Голодные горцы с тоской наблюдали, как расправляются солдаты с своим далеко не жирным пайком. Они мало ели, зато у солдат хватало выпивки, и, подняв свой боевой дух, они пели:

*В бой за Родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага.*

Музафар помнил обещание, данное самому себе, когда шли хоронить Бияслана, — не кричать и не плакать, даже если будет очень больно. Сейчас ему было не так уж и больно, только посасывало внутри от голода, но почему-то плакать хотелось больше, чем есть. Музафар все сильнее упирался головой в дедушкин бок, словно хотел спрятаться от собственных слез. Дед положил большую спокойную — бесконечно спокойную! — руку на его голову, и он заснул.

Когда Музафар проснулся, они ехали. Поезд шел медленно, двери вагона были распахнуты и, если бы не кружилась так голова, можно было бы подставить грудь утренней прохлады — такой мягкой, зовущей она была. Музафар запомнит и этот последний день пути, 26-го марта 44-го, когда ленивый товарный состав, везущий лес на восток, остановится на изгибе дороги, а затем, как ящерица, отбрасывающая свой хвост, встрепетается и пойдет дальше, оставив на рельсах обрывок эшелона в семь вагонов. Переселенцев охватило странное оцепенение. Они стояли, прижимаясь друг к другу, боясь пошевелиться. В вагоне не было охранников, некому было приказывать, и двери открыты, а люди, не смея сдвинуться с места, толпились у дверей; словно овцы у моста... Так прошло около часа, а потом заблудившийся в голой степи обрывок состава догнал дождь, тот самый дождь, хлеставший поезд 8-го марта, в день отправления. И вдруг Мисирхан, растрепанная, с обнаженной головой, выпрыгнула из вагона, подняла мокрое лицо к разверзнувшимся небесам и завопила:

— Гитлер проклятый, Сталин треклятый! Ты никому не верь, Ахмат!

И она побежала вдоль вагонов, сначала по ходу поезда, потом обратно, и пошла дальше по шпалам. Криков ее уже

не слышали, только видели в переливах белесых струй полупрозрачный колышущийся силуэт. Кто-то из старейшин рассердился:

— Чего стоите? Ловите ее, верните в вагон!

Двое из 13-го — теперь он был головным — попрыгали в дождь и побежали за ней. Али и Шейван. Мисирхан, казалось, что-то кричала, но, то ли крик ее растворялся в шуме ливня, то ли голос пропал, — ребята не слышали ни слова. Мисирхан иногда останавливалась, пристально смотрела по сторонам, вглядывалась в даль и снова продолжала путь, словно плывя в потоках дождя. Когда Али и Шейван предстали перед нею, она нисколько не удивилась, кажется, даже обрадовалась, потому что спросила:

— И вы решили идти до конца?

Шейван и Али потом рассказывали: они до того растерялись, что ничего не ответили Мисирхан. Она же, радуясь еще больше, подала руки обоим:

— Ну, так пошли же! Возьмемся за руки и пойдем. День — месяц, и за двадцать шесть месяцев мы дойдем до дома. Теперь нам дети показывают путь. Взрослые показали нам неверный путь, вот дети и хотят исправить ошибку. Пойдем же по пути, указанному детьми! Не стыдите, но первый из этих детей — мой Ахмат!

Что они могли? Взялись за ее руки и некоторое время шли, подавленные ее правотой, ясновидением и упорством. Али потом рассказывал, а Шейван подтверждал, что в эту минуту они усомнились в том, что это действительно Мисирхан, до того она была нетелесная, неподвластная никаким земным тяготам или соблазнам. В бессилии Шейван и Али оглянулись назад. Этого они не говорили, но, наверное, оглянулись, потому что шагать неизвестно куда с тронутой женщиной, да еще в такой ливень, было жутко. Надо было вернуть ее «домой» — в вагон.

— А как же другие?

Вот что их спасло! Скажи тогда Али другие слова, ну, вроде: «Не дури, вернемся назад!», пришлось бы им силой тащить ее, но с Мисирхан юноши вряд ли смогли бы справиться — силы в ней, да еще вдобавок безумного упрямства, могло оказаться побольше, чем у двух тощих ребят. Но Али сказал: «А как же другие?», — и Мисирхан задумалась.

— Там бабушка, пробабушка Ахмата! Что мы ему, Ахмату, скажем, если спросит?

Так они и вернулись. Не только Музафар, но и весь

обеспокоенный народ запомнил то, что в распахнутых дверях вагонов солнце и Мисирхан появились одновременно. И это было первое впечатление на чужбине: там, на их оставленной родине, после такого ливня, по крайней мере, полдня бы потребовалось, чтоб солнце вновь согрело землю. Здесь же степь сразу задышала испарениями. От сильного запаха разнотравья кружилась голова: через несколько минут и следов дождя не осталось, земля поглотила всю влагу до последней капли.

— Какое обилие лопуха! — сказал кто-то таким восторженным голосом, каким произносят слово «Спасение!»

И в общем, это было вполне оправданно, потому что корень лопуха не раз спасал горцев в голодные годы. Жаммаутчане и вовсе считали этот корень своим открытием и с гордостью доказывали, что поговорка «Для одного раза и лопух еда, что надо!» родилась в долине Жандара.

Вскоре люди стали спускаться на землю. Некоторые падали. Немногие находили в себе силы помочь другим, но остальные поддерживали слабых, брали детей на руки. Всем захотелось пройти вдоль железнодорожного полотна по заросшей лопухами и весенней травой пустоши. Через некоторое время издали их можно было принять за пасущееся стадо, потому что они рвали траву, опустившись на четвереньки. Ели коренья сами и собирали для тех, кому не хватало сил копать в земле. За какой-то час лопуховая поляна была изрыта и общипана, и только теперь люди растерянно переглядывались, наконец-то узнавая друг друга. По лицам у некоторых текли тихие стыдливые слезы.

Единственный из охраны человек сидел на крыше 13-го, свесив ноги. И это был тот рыжий долговязый капитан, которого хорошо знали в тринадцатом вагоне. Сильно похудевший за время дороги, он, казалось, сидя так, засыпал, голова его свисала на грудь, и Музафар, изредка поглядывая в его сторону, думал, что капитан вот-вот свалится. Но в последний момент он вздрагивал и просыпался. Вероятно, поезд, который тащил сюда эти семь вагонов, был единственным на линии, иначе как могли оставить вагоны на пути? Но об этом кто думал? Поев травы и кореньев, люди пошли к речке, которая протекала шагах в тридцати от железной дороги. Она была тихой, ленивой, мутноватой. Берега ее заросли ивняком, чуть выше кое-где багровел, распространяя сильный приятный аромат своего цветения карагат — барбарис; к западу от реки простиралась пустыня, где уже округлялись кустики перекаати-поле.

Удивительно, как река помогает каждому вновь почувствовать себя человеком, помогает вернуть свои привычки и потребности. Впервые почти за месяц люди разделись, разулись и с наслаждением вымыли ноги, дали им отдохнуть. Тут, правда, зачесалось во всем теле: потерявшие всякую бдительность за долгую неподвижность жертв на нарах, разжиревшие от пота и безнаказанности, вши разгуливали, не таясь, по одежде, по волосам, а то и по голым костлявым спинам. Люди, однако, не стеснялись, не ощущали неловкости друг перед другом. Все они были в одинаковой степени угнетены давнишним врагом, появление которого становилось неизбежным, когда человек опускался и ослаблялся, терял всякую свободу и надежду на избавление...

После полудня со всех сторон стали подъезжать телеги и люди верхом на лошадях. Тут и раздался долгожданный приказ капитана:

— Раз-гру-жать-ся!

Телеги останавливались поодаль, а всадники неторопливым шагом проезжали мимо вагонов, пристально, оценивающе вглядывались в лица, и вражды в этих взглядах не было. Между тем, к переселенцам подходили парни из прибывших на подводах и помогали разгружаться. Вскоре по краям изрытого и общипанного поля, как на крестьянском торжище, непрерывной цепью встали телеги, а перед ними толпились со своими пожитками, как 8-го марта на привокзальной площади в Нальчике — дети, женщины, старики... Выяснилось, что всадники — это руководители колхозов и совхозов, где предстояло жить и умирать, а на то и другое зарабатывать переселенцам. Важные хозяйственники поглядывали, прикидывали ценность тех или иных рук, но в разговоры не вступали. Хамзат в это время решал судьбу не только собственной семьи. Еще в вагоне было решено, что опеку о слепом Кайыте Хамзат возьмет на себя. «Хамзат, не оставляй меня. Возьми туда, куда самого поведут», — просил с самого начала Кайыт, и Хамзат отвечал: «Да, Кайыт, будем вместе!» Он горестно глядел на слепого, уже старого человека и, хотя обещал ему общую судьбу, не знал, как она там сложится. Он и о Налмас думал. Как быть ей, хотя и есть рядом брат, однако он инвалид, да еще с кучей детей малолетних. Но Хаджибек-кир говорил: покуда не вернутся сыновья, хотя бы один из них, она будет с его семьей. Теперь Хамзат должен был осуществить одно зародившееся в его душе намерение насчет крошечной дочки Гугула. Природа, Бог, чудотворность

женского начала — Хамзат не мог бы сказать что именно стало причиной, но, на второй день пути, жизнь обернулась еще одной удивительной стороной — высохшие груди его снохи Лейлы налились молоком. Хотя среди женщин имелись матери, еще кормящие грудных детей, дочка Гугула, вопреки здравому смыслу, а может, подчиняясь какому-то высшему смыслу, выбрала себе в матери Лейлу. Лейла назвала девочку Аминат. Сегодня пути обитателей 13-го вагона расходились, род девочки, Базовы, могли оказаться совсем в другой стороне. Так что Хамзат должен был определить ее судьбу и на уровне родовых отношений. Он подошел к самому старшему из мужчин Базовых, к Шейвану, подвел его к Аркесу Шаваяеву, старейшине села Секи, и сказал:

— Бог решил за нас, дитя слышало материнский зов моей снохи. Теперь я и перед Богом беру ответственность за ее судьбу. Воля моя будет передана роду моему.

Аркес и Шейван долго молчали. Один был слишком юн, поэтому поглядывал на женщин — как они? Другой — слишком дальним к роду Базовых, чтобы сразу ответить. Но и женщины молчали — дело решалось на уровне родов, и они не хотели вмешиваться и тем самым унизить Шейвана. Лейла стояла рядом и, отвернувшись от мужчин, кормила Аминат.

— Что я скажу, — отозвался наконец Шейван. — Если так суждено, значит, суждено.

Аркес облегченно вздохнул. Хамзат сказал:

— Девочка будет воспитана в любви к своему роду. Но если на чужой стороне нам не позволят оставаться людьми, и мы пропадем раньше, чем умрем — так то беда общая, этой участи никому не миновать.

На том они и распрощались.

То, что происходило дальше, Хамзату напомнило измирский невольничий рынок. Он побывал там в возрасте своего внука Музафара. На мгновение он ощутил себя тем семилетним мальчиком, который, вцепившись в отцовский рукав, с изумлением смотрит на цепи, обвивавшие руки, ноги мощного красивого парня, на девушек, нанизанных, как бусинки, на крепкую длинную веревку. Подходят богато одетые, бородатые мужчины, рассматривают парня, о чем-то спрашивают. Потом один, очень толстый, отстегивает от пояса кисет, отсчитывает деньги и уводит закованного парня. То же самое чуть позже происходит с кучкой девушек, нанизанных на одну веревку. Хамзат спрашивает у отца:

— Кто это?

Отец сразу не отвечает, они еще ходят по рядам, и только потом, когда покидают базар, обменяв нехитрое серебряное украшение на кукурузу, он говорит:

— В кандалах был раб. Его сегодня продали.

Но это не совсем понятно Хамзату, и Шонтук объясняет усталым надтреснутым голосом:

— Раб — это тот, у кого нет своего дома, своей земли. И племя его сокрушено враждебными силами. Такого можно покупать и продавать...

Здесь тоже как на настоящих торгах: здоровые, трудоспособные долго не задерживаются — их увозят быстро. Хамзат стоит у железнодорожной насыпи и смотрит, как укатывают телеги на восток и запад, на север и юг. Теперь на поляне оставались семьи, которые могли быть только обузой — его семья с дочерью Гугула, жена Харуна с детьми, слепой Кайыт с женой. Еще он видел семью Рахаева Азаткула, погибшего в 42-ом под Сталинградом: Назифа с двумя детьми — четырехлетней Саният и двухлетней Сафият. Одну девочку она держала на руках, другую — усадила поверх поклажи. Еще Хамзат видел семью Басира, кабардинца, на несчастье свое женившегося на балкарке. Он стоял тяжело опираясь на костыль и успокаивал плакавшую жену. Дальше, на том краю поля, были другие семьи, состоявшие в основном из стариков, детей и калек.

Были и телеги, еще не нагруженные, ожидавшие указаний своих начальников. Хамзат видел, как один из аробщиков, вероятно, уже отвоевавший солдат, частенько посматривал в их сторону. Он переводил долгий взгляд с одного на другого, особенно задерживаясь на слепом Кайыте и его жене. Смотрел и что-то говорил мальчику, у которого только голова торчала из дощатого нудова телеги. Наконец, он на что-то решился и, резко дернув вожжами, направил телегу в их сторону.

— Ассалом алейкум, карья¹, — сказал он, ставя телегу так, чтобы удобно было грузить ее.

— Алейкум салам, — ответил Хамзат. — Вижу, мусульманин. Какой народ?

— Киргиз, — сказал тот. — Из Чуя. Имя мое Рыскул.

— Скажи, Рыскул... Мы уже окончательно прибыли на место расселения? Не знаешь?

— Нам сказано встретить вас и развезти по своим аулам. Ничего больше не знаю.

Хамзат не все понял из сказанного Рыскулом, тому ме-

¹ К а р ы я — (кирг.) — старик, аксакал.

шали различия в балкарском и киргизском языках. Так что оба оставили до поры до времени все вопросы и занялись делом. Но прежде, чем начинать грузить вещи, Рыскул все же высказал просьбу, а может, не просьбу, а сожаление — разобраться Хамзату было трудно.

— Карья, скажи своим родственникам, пусть не обижаются. Идет война. С нас тоже кожу сдирают, но не хватает и кожи. Нужны рабочие руки...— Хамзат согласно кивнул головой, а Рыскул, успокоившись, продолжал: — У нас земли много, воздух чистый. То, что даровано Богом, будем есть вместе.

Последние слова Хамзат понял легче и сказал с удовлетворением:

— Сколько дней ехали, через столько земель прошли, а приехали, вроде, к своим.— Он повернулся к слепому Кайыту, сообщил: — На нашем языке говорят! У них тоже су — вода, хауа — воздух...

Кайыт, очнувшийся от раздумий, закивал головой:

— Род человеческий един... И язык един... Он, наверное, турок? — Кайыт всю жизнь пытался выбраться из потемок.

Хамзат сказал:

— Киргиз. Имя его Рыскул.

— Да будет Аллах доволен им! — сказала Хорасан.

Рыскул, не слушая их, грузил вещи на телегу.

— Побыстрей, Мукаш,— поторапливал он мальчика лет десяти.— Поможем, а то они настолько истощены, измучены, что еле разговаривают.— Мальчик старался изо всех сил, но порой, глядя на пришельцев, забывался.

— Нисколько они не людоеды,— сказал он, скорее для себя, чем для Рыскула. Рыскул, занятый делом, только сердито сплюнул насбай¹.— А сколько говорили: убийцы, изменники, бандиты...

Музафар, держась рядом с Мукашем, бросал на телегу нетяжелые вещи, но больше смотрел на Мукаша.

— Эмине кёрдюнг? Что увидел? — спросил, улыбаясь, Мукаш, а когда смущенный Музафар опустил голову, спросил: — Ты карачай?

— Я из Жамауата,— сказал Музафар.

— Это что?

— Мы там жили.— Трудно было и им объясняться на своих языках.

¹ Н а с б а й — табак, специально приготовленный, его кладут под язык.

— А мы живем в Кегети. Это в горах.

— И Жамауат в горах.

Погрузив вещи, Рыскул посадил женщин и Кайыта на телегу. Мукаш занял место аробщика.

— Остальные пойдут пешком,— сказал Рыскул.

Когда они повернули телегу по южной дороге, которая поднималась по пологому склону над расщелиной, промытой паводками, их нагнал всадник.

— Сын придурка! — набросился он на Рыскула. — На что пригодятся эти полуживые существа? Это — старик, это слепой, — он тыкал камчой в грудь каждого, — вот выжившие из ума старухи, а это — дети. Соблазнила тебя, значит, хорошенькая женщина? Так ведь у нее грудной ребенок! Если ты не ишак, то должен знать, что нам не рты, а руки нужны, — он так размахивал плетью, что женщины на телеге вскрикивали, а слепой Кайыт, ничего не видя, но будто зрячий, держал на весу палку между всадником и пешеходом. Всадник выбил камчой палку из рук слепого и, соскочив на землю, стал выкидывать вещи из телеги.

Но Рыскул помешал ему, решительно оттолкнув в сторону. Хамзат, предчувствуя недоброе, взял за руку Рыскула.

— Ты еще меня, солдата войны, решил унижить! Нет, Кочкорбай, тебе это не удастся! — Рыскул стал складывать вещи обратно. — Твоя воля — не принять их в колхоз, но я везу их в свой дом. Распоряжаешься колхозом, так распорядись, но не тронь мое жилище!

— погоди, я тебя проучу, — сказал ему Кочкорбай. — За них будешь пахать и жать! И налоги платить.

— Буду! Если надо, буду!

Кочкорбай сел на коня и, резко хлестнув невинное животное, пустил его вскачь.

— Совести у тебя нет — Кричал ему вдогонку Рыскул. — Совести у вас, у всех начальников, нет. В этом я убедился окончательно.

Вечерело. Одинокая телега, за которой тяжело шагали путники, сливалась с быстро густеющими сумерками...

15.

Из четырех дорог, расходящихся в разные стороны, самая счастливая была та, что вела на юг. Она тянулась вдоль пашен, где густо зеленели озимые, и земля здесь казалась щедрой, плодородной, а вдаль просматривалась в лучах заходящего солнца горная гряда, увенчанная золо-

тистыми снежными вершинами. Часть полей, отведенных для весеннего сева, еще была не вспахана, и на одной загонке припозднился крестьянин с парой быков, впряженных в плуг. С ним был мальчик лет десяти, который бросил повод и подбежал к дороге, чтобы посмотреть на конный обоз с неожиданными гостями, а пожилой человек, стоя боковыми ногами в борозде, тоже устало вглядывался в проезжающих. Подальше, за широким полем, виднелось нечто похожее на людское поселение — без деревьев, без всяких изгородей, с вросшими в землю глинобитными хибарами. «Акбешим» — пояснил Рыскул. Хамзат не понял, то ли аул так называется, то ли местность, но переспрашивать не стал. Пахотные поля перемежались с обширными пространствами такыров — сухими солонцеватыми землями, где попадались только кустики карагата, да редкие колонии тикена — верблюжьей травы. Негодные для пахоты такыры, по-видимому, ранней весной могли служить временными пастбищами во время перегона скота на альпийское нагорье. Так подумал Хамзат, когда увидел вдаль отару овец и круглый домик, оказавшийся, как опять пояснил Рыскул, походной войлочной юртой — «боз-юй». Рыскул сказал, что эти земли принадлежат колхозу «Аксай», а главное, в этих местах проходило детство Манаса. «Эр Манаса!» — добавил он. Хамзат понял, что речь идет о нартском герое киргизов. Дорога шла на подъем. Наступили сумерки. Серые унылые такыры теперь простирались до горизонта, и не было видно ни одного деревца. «Как резко меняются тут земли, — подумал Хамзат. — Плодородные поля и безжизненные пустоши...»

— Через час пути будем в наших краях, — сказал Рыскул. — Там уже и воздух чист, и небо доброе, и трава не такая колючая... И будет наш айыл Кегети...

В Кегети они прибыли в полночь. Телеги остановились у большого саманного дома. Под светом луны за широким пустырем виднелись силуэты приземистых жилищ поселка, а вдоль улицы — два ряда высоких тополей. «Кегети мекемеси», — сказал Рыскул. Дом разделялся на две половины: одна сторона, похоже, служила клубом, а другая — конторой. Над дверями висели вывески: на одной написано «Колхоз «Бурана», а на другой — «Кегетинский сельский совет». Кочкорбай молча ходил туда-сюда вдоль утомленного обоза и ничего пока не говорил. Люди тоже молчали — одни сидели на телегах, другие сгрудились рядом. Телега Рыскула как шла позади обоза, так и осталась в самом его конце; он не стал подгонять лошадей ближе к

мехкеме — конторе, потому что здесь ему надо было только отметить, а затем он увезет своих пассажиров в свой дом, он это решил еще утром, еще до того, как столкнулся с председателем Кочкорбаем. Наконец, колхозный вождь разверз уста:

— Пока будете жить так. Одни в клубе, другие в сараях. Так будет, пока всех не распределим по колхозу. — Он сел на коня и ускакал.

Из распахнутых дверей клуба несло запахом прелой соломы и конского пота. Хамзат перешагнул порог и ступил на сыроватый земляной пол, сквозь который кое-где пробивались чахлые зеленые ростки пшеницы или ячменя. Это было довольно просторное помещение, высокое, с продолговатыми окнами под самым потолком; в глубине — нечто похожее на сцену — пол приподнят на толщину одного самана. В углу этой «сцены» стояло запыленное знамя, а посреди задней стены висел плакат, где на золотых колосьях бескрайнего поля было написано по-русски: «До последнего зернышка — фронту!» Хамзат оглянулся и увидел за собой Рыскула.

— Осенью здесь храним зерно, — сказал он, заметив удивление Хамзата. — Это у нас и кампа. — Хамзат не понял, хотя по проросшему зерну можно было сразу догадаться, что клубу приходится служить и амбаром. — Протекает, — пояснил Рыскул. Он вспомнил, что Хамзат все же еще не киргиз, и перевел слово «кампа» на русский язык. — Амбар, амбар, кампа — это амбар. — А люди уже втаскивали сюда свои вещи, устраивались, — Бывает, привозят кино, и народ сидит на зерне, смотрит его, — продолжал Рыскул.

На душе Хамзата становилось спокойнее. В том, что земля, где им предстояло жить, рождала хлеб даже внутри старых построек, он воспринял как доброе знамение.

— Кел, пошли, — сказал Рыскул. И, не дожидаясь Хамзата, вышел из клуба. Хамзат последовал за ним. Мукаша, своего помощника, Рыскул отпустил домой, а вести лошадей доверил Музафару. Теперь Музафар стоял в телеге во весь рост и, подражая Мукашу, несмело, но старательно управлял лошадьми.

Жена и дочь Рыскула — Айна и Чинар — встретили их во дворе.

— Бечаралар!¹ — Это было первое слово, которое бал-

¹ Бечаралар — горемычные.

карцы слышали в этом доме. Хотя смысл его и оставался непонятным, Хорасан поняла, что это было слово участия, искреннего сочувствия беде.

— Жена моя Айна,— сказал Рыскул.— А это дочь Чинар.

Девочка лет шести уставилась на Музафара, а тот, степенно отложив вожжи, спрыгнул с телеги.

Во дворе в наскоро сооруженном очаге горел огонь, и что-то булькало в черном чугуне. Кайыт, сидевший на телеге, незряче уставился на котел; Айна растерянно металась между дверями жилища и телегой, а Рыскул не распрягал лошадей, потому что надо было доставить телегу в хоздвор и сдать лошадей конюху. Он помог оцепеневшему от запаха еды Кайыту сойти с телеги; слезла и Лейла с девочкой. Когда Айна взяла из ее рук спящего ребенка, Лейла с Дарийной стали быстро разгружать телегу.

Глиняный домик Рыскула состоял из двух смежных комнат. В каждой комнате по два оконца — одно во двор, другое, совсем маленькое, — в огород. К дому со стороны огорода примыкал коро — сарай.

— Здесь будете жить, покада не будет своего дома,— сказал Рыскул, втаскивая большой тюк в одну из комнат.— Семья наша небольшая, места хватит всем, лишь бы здоровье было.

В нише между комнатами горела керосиновая лампа. Айна подняла фитиль, стало светлее, но не так, чтобы можно было ясно видеть лица друг друга.

— Вы тут располагайтесь, а я сдам лошадей и быстро вернусь.— Рыскул вышел, повернул утомленных лошадей со двора и погнал телегу в хоздвор.

Девочка все спрашивала «Былар ким?»¹, но ее мать, занятая усталыми людьми, не отвечала ей, а только восклицала: «Бечаралар!» Только потом, когда в комнате растелила войлоки и усадила гостей, она сказала:

— Айдалгандар — гонимые... Будут жить с нами.

— И девочка? — спросила Чинар.

— И девочка,— ответила Айна.

Айна сняла с кемеге² казан. Сильный аппетитный запах проникал в дом. В предвкушении вкусной, и, наверное, сытной еды, все притихли: больше всего боялись выдать свое нетерпение. Даже Хамзат прятал свое лицо.

Вскоре вернулся Рыскул. Как вошел он в дом, так и

¹ Былар ким — Кто они?

² Кемеге — очаг.

сел у порога, а жена попросила чтобы он оставил ей проход, потому, что казан оставался во дворе; она наливала там в чаши и приносила. Это была жарма — густая кукурузная похлебка. Айна разломилла большую пшеничную лепешку ровно на столько кусков, сколько людей сидело за досторконом. Не забыла и девочку на руках Лейлы. Сказала: «Сют болот» — молоко будет.

— Бысылла! — сказал Рыскул.

Ужинали молча.

16.

Хамзат и Рыскул проговорили всю ночь. И чем дальше, тем легче понимали друг друга. Они поделили дом не по семьям, а на женскую и мужскую половины. Уходя, Айна постелила мужчинам на полу. Дарийна помогла мужу раздеться и уложила его. Только потом последовала за женщинами. Когда под утро Рыскул, утомленный с дороги, забылся в коротком сне, Хамзат не стал ложиться — все равно бы не уснул — а вышел на улицу. Утро рождалось похожим на то, последнее, в Жамауате. Он пошел по тропинке вдоль огорода и оказался на взгорке, откуда хорошо просматривались соседние дома. Все они были одинаково убогие. Хамзат перепрыгнул через арык, и тропинка вывела его на центральную улицу села. Она была продолжением дороги, которая связывала Кегети с низинными аулами и, возможно, с районным центром. Она же четко разделяла село на две равные части — на восточную и западную. Начиная от клуба и конторы, дорога становилась узкой, ухабистой и вела вверх, в сторону гор. В этот рассветный час стояла глубокая тишина; сначала Хамзат хотел заглянуть в клуб, посмотреть, как там устроились его земляки, но передумал — зачем их беспокоить! Он пошел дальше. У невысокой гряды, встающей над селением как бы оградой, дорожка разветвлялась. Теперь вели вверх уже несколько тропинок. Хамзат избрал ту, что была покруче и напоминала ему каменистые тропы в верховьях долины Жандара. Поднявшись на косогор, Хамзат оказался на краю огромной равнины между двумя высокими горами — крутыми на западе и холмистыми, с широкими луговыми склонами — на востоке. Дальше, у подножья хребта, равнина сужалась, как бы переходя в устье полноводной широкой реки. Пахло свежими лугами и веяло прохладой дальних ледников. В утреннем безмолвии этот за-

пах и это дыхание гор как бы уносили его в родные края. Замирало сердце, кружилась голова, и Хамзат прикрыл глаза, пытаясь избавиться от наваждения.

Это была прекрасная долина. «Наверное, очень-очень давно тут живут люди, и земля здесь щедра и плодородна», — подумал Хамзат.

Сразу же с гребня начинались зеленые всходы. Присев на корточки, Хамзат погладил ростки ячменя и прошептал слово короткой молитвы. Он решил идти дальше, до конца равнины. «Богатые сенокосные угодья», — радовался он, глядя на восток, но и западная сторона, со множеством ложбин и холмиков, обещала быть милосердной для бездомных переселенцев. Аробная дорога шла мимо ячменного поля, а в конце равнины спускалась к реке. Перед Хамзатом открылась широкая пойма, по середине которой протекала темная, спокойная река. Хамзат сразу вспомнил Юрду, потому что река была похожа на реки кавказских предгорий. На берегу он увидел четыре мельницы. «Та, которая внизу, точно, как моя, — подумал он. — А вдруг можно будет поставить пятую?» И, позабыв обо всем на свете, он стал искать глазами, где было бы поудобнее, при случае, поставить свою мельницу. «Да тут где угодно можно, на каждом метре реки», — решил он. Хамзат спустился вниз по косовету, перешел дощатый мостик и оказался во дворе мельницы, верхней по течению реки. Первое, что он услышал — это хрюканье свиней, и он непроизвольно отступил назад. Но в следующую минуту все-таки шагнул вперед и подошел к дверям мельницы. Она не работала, вода была отрезана. Заглянул через дверную щель во внутрь, там зияла пустота. «Нет зерна!» — отметил Хамзат. Он повернулся к домику и сел на бревно перед мельницей. «Живет тут и жернова крутит, счастливый» — позавидовал Хамзат. Ему пора было возвращаться; верхние части скал на горном хребте уже озарились солнечным светом. Дома, наверное, все встали и беспокоятся. Но было любопытно, очень хотелось встретиться с мельником, поговорить, спросить о здешней жизни. Тем более, что если мельник русский, то непременно тоже переселенец. Из дома вышла старая женщина. Не заметив сидящего перед мельницей человека, пошла в сарай, выпустила кур. Их оказалось великое множество. Возбужденные чистым воздухом и волей, они разбежались в разные стороны. Хозяйка ругала и звала их, бросая им корм. Потом она вынесла две тяжелые кадки, выложила из них в длинную кормушку какое-то месиво и выпустила свиней. Их тоже оказалось немало. «Кулак!» — подумал

Хамзат, почему-то радуясь этому слову. В долине становилось все светлее, река обрела серебристо-голубую окраску, но мельник все еще не появлялся во дворе. «Хозяйством, по-видимому, занимается женщина, а мужик любит поспать»,— решил Хамзат и встал. Но перейдя мельничные водоотводы, он увидел человека верхом на коне — похоже, возвращался домой. Подъехав к Хамзату, всадник сказал по-русски:

— Здравствуйте, ранний человек!

— Здравствуйте,— ответил Хамзат.

— Здешних людей я всех знаю,— сразу сказал мужчина, спешиваясь.— Вы же и ранний и не знакомый...

По виду он был ровесник Хамзата, но густая курчавая, совершенно темная еще борода молодила его.

— Мельник... Наверное, мельник,— пробормотал Хамзат.— Русский человек...

— Как вы сюда попали все-таки? Точно ночевали здесь!

Хамзату вдруг стало неловко, он опустил голову. Не подумал ли мельник, что он забрался сюда, чтобы украсть чего-нибудь?

— Сам не знаю, как попал сюда. Увидел мельницу и не удержался...

Но мельник уже почувствовал душевную смуту Хамзата, и пригласил его в дом.

— Значит, вас уже привезли...— приглушенным голосом сказал мельник.— Давно шли разговоры — бандитов, изменников, врагов Советской власти привезут... Значит вы и есть эти враги? — Хамзат молчал. Мельник зло бросил: — А настоящих-то бандитов пока не высылают!

Хамзат, не желая вступать на опасный путь, смолчал: нетрудно было догадаться, кого имел в виду его собеседник.

— Меня Макаром зовут,— сказал мельник.

Хамзат назвал себя, пояснил какого он роду-племени. Макар удивился — почти земляки ведь! Его выслали из казачьей станицы близ Армавира.

— Меня раскулачили из-за мельницы, а здесь я поставил целых четыре,— сказал он.

Хамзату хотелось признаться в том, что и он мельник, но решил отложить до другого раза: сегодня они и без того сошлись во многом, пора было уходить...

Когда он вернулся, все его обеспокоенное семейство тосковало во дворе, а Рыскул успел уже сбежать в клуб, думая что Хамзат пошел к своим. И вот он появился — с хоро-

шим настроением, с улыбкой, которую на его лице не видели уже так давно.

— Земля здесь очень богатая, а люди... почему люди так бедны?

Рыскул никак не среагировал на это и тоже, как будто о радости сообщил:

— Всех переселенцев созывает комендант. Люди уже собираются на площади. Надо похлебать малость жармы и идти.

Айна расстелила на полу досторкон и подала завтрак. Переселенцам непривычно было сидеть на полу. Хамзат рядом с Рыскулом был похож на необученного ездока. Гости устраивались вокруг досторкона кто на коленях, кто на корточках, особенно трудно приходилось полной Хорасан, и она в конце концов уселась, вытянув ноги в сторону и почти спиной к досторкону. По киргизским обычаям это считалось неприличным, но Айна, видя как Хорасан муается, сказала:

— Отура бер — сиди как удобно.

Лейла убирала в комнатах. Покуда Хамзат сидел за завтраком, она не могла присоединиться к столу.

Хамзату было не по себе и по другой причине: он знал, что там, в клубе, люди легли на пустой желудок, а они тут и хорошо поужинали и теперь завтракают.

— Здесь, у киргизов, никто с голоду не умрет, — сказал Рыскул, словно угадав мысли Хамзата. — Да, бедно живем. Что поделаешь — война. Но пока живы и, даст Бог, будем и дальше жить.

— Всех ли созывает комендант или только мужчин? — Хамзат отставил свою пиалу, не доев жарму до конца.

— Мужчин-то сколько у вас? — с досадой буркнул Рыскул. — Всё женщины и женщины... Сказано явиться всем.

Когда они пришли на ачык — так назывался пустырь за клубом, — все определенные в это село переселенцы были уже там. Солнце начинало припекать, люди рассаживались на травке. Комендант в звании капитана, высокий, рыжеватый мужчина, ходил взад и вперед, заложив руки за костлявую спину. Вид у него был устрашающий. Хамзат со своей семьей встал позади, крепко держа за руку Музафара, который все норовил убежать к мальчишкам.

— Я комендант Юдин, — вдруг, без предисловий, начал комендант. — Ваш народ выслан сюда и в другие районы Средней Азии по решению Верховного Главнокомандования. — Он достал из планшета бумагу, пробежал ее глаза-

ми. После посмотрел на собравшихся так, будто хотел убедиться, все ли на месте.— Я сейчас зачитаю список достигших возраста четырнадцати лет. Все означенные переселенцы обязаны один раз в месяц явиться на расписку и не отлучаться за все время жительства в этих местах дальше пяти километров от места заселения. Ваше местопребывание определяется границами данного колхоза. То есть, присутствующие здесь переселенцы определены в село Кегети Чуйского района, закреплены в комендатуре сорок седьмой, без права выезда из села. Без пропуска коменданта или особого распоряжения переселенческого отдела НКВД вы не имеете права переходить из одного селения в другое. Таково положение.— И комендант Юдин зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР от восьмого апреля сорок четвертого года. Этим Указом ликвидировалась национальная автономия Балкарии; она обвинялась в том, что в период оккупации немецкими фашистами территории Кабардино-Балкарии в основной массе изменила родине...— Сердце Хамзата кольнуло так сильно, что он, побледнев, склонился к Хорасан: «Бедный Бияслан! Хорошо, что ты помер!» — вырвалось у него. А комендант Юдин продолжал читать обвинительный акт.— Балкарцы вступали в организованные немцами вооружённые отряды, вели подрывную работу против частей Красной Армии, оказывали оккупантам помощь в качестве проводников на кавказских перевалах, а после изгнания фашистов с Кавказа вступали в организованные немцами банды для борьбы против Советской власти...— «Бедное дитя, Мусса горемычный, перевернись ты в своей могиле, перевернись же!» Но комендант Юдин, не слыша немых воплей отчаяния и гнева, дочитал указ, а затем стал знакомить переселенцев с положениями РЕЖИМА. Режима, утверждённого там же, в Президиуме Верховного Совета, где восседал Калинин, соратник Ленина. Голос коменданта постепенно крепчал и становился всё торжественнее, словно этот рыжий начальник рассчитывал сорвать в конце речи бурные аплодисменты. «Ни разу не обратился к нам «граждане», «товарищи» или просто «люди», — подумал Хамзат.— Может и клеймами станут нас прижигать, как скотину?» Юдин продолжал:

— Неповиновение режиму, самовольный выезд и бегство, а также попытка скрыть малейшее нарушение режима другими переселенцами приравниваются к государственной измене и уличенные в таковых преступлениях будут приговорены без суда и следствия к заключению на срок от десяти до двадцати пяти лет. Переселенец имеет право об-

ращаться за пропуском в комендатуру. В особых случаях, если на то будет необходимость, комендант может выдать пропуск на срок до двух суток.

Люди на площади молчали, кажется и не слушали его, потому что уже не было сил ни слушать ни понимать его.

— Нам ещё остаётся выбрать десятников,— объявил комендант через некоторое время.— На десять семей надо одного осведомителя. Мне бы хотелось видеть среди вас добровольцев...— Зловещим казалось и это сообщение Юдина. Солнце, поднимаясь выше, придавливало и без того обессиленных людей, они молчали, не зная, не понимая, что ещё от них требует комендант, и потому, наверное, добровольцев не находилось.

— Ну что же,— с презрением сказал комендант.— Не хотите, значит, Советской власти помочь. Оно и понятно.

Только теперь, кажется, кто-то понял, чего от них требует комендант, и человек лет сорока или чуть постарше, предстал перед Юдиным.

— Я могу помочь Советской власти,— сказал он на ломаном русском языке.— Я и на Кавказе помогал Советской власти, помогу и здесь!

— Кто такой? — небрежно спросил комендант.

— Жорта меня зовут. Фамилия моя Избаиров. Бывший сельисполнитель.

— Хорошо, переселенец Избаиров. Ты назначаешься десятником и тебе поручаются следующие десять семей для осведомления об их поведении за время между расписками.— И он зачитал фамилии десяти семей, среди которых оказалась и семья Хамзата.

Теперь комендант стал ждать появления очередного помощника Советской власти и ходил, как и раньше, взад и вперёд. Его сапоги с высокими голенищами блестели на солнце и солидно поскрипывали. Так ходил, бывало, по сцене жамауатского клуба Итлук Китаров. Хамзат вспомнил именно его и сравнил его с комендантом Юдиным. «Интересно, где Итлук теперь?» — подумал он. В одночасье рыжий взгляд коменданта встретился с не менее рыжим, даже золотистым взглядом в толпе и, как-то загадочно улыбнувшись, Юдин позвал:

— Вот вы, рыжая... нет, золотистая девушка...— Хамзат удивился, что комендант то ли случайно, то ли подбрав, обратился к девушке по-человечески.— Вот вы, вижу, грамотная и, наверное, комсомолка... Не могли бы вы взять на себя эту почётную обязанность?

Светлана Чоттаева встала, вышла вперёд и, оказавшись рядом с Юдиным, на мгновение то ли растерялась, то ли стыдно ей стало, но опустила голову, а комендант уже сурово сказал: «Ну?»

— Я и грамотная, я и комсомолка... была, во всяком случае. Но...— Светлана говорила по-русски безупречно, и смягчившемуся коменданту, очевидно, стало очень любопытно, что она скажет дальше.— Но идти к вам... шпионить... Ищите других!

Это тоже не всколыхнуло принижённых людей на пустыре, хотя слова Светланы и звучали, как выстрелы. Только Кочкорбай, стоящий поодаль со своими бригадирами, подтянулся, даже подался вперёд, будто в ожидании, что комендант выстрелит в дерзкую девушку. Комендант действительно дотронулся до кобуры пистолета, но сделал он это чисто инстинктивно. А в следующую секунду слепой Кайыт подал голос:

— Я могу десятником, если желаете...— Не зря говорили в Жамауате, что слепые предчувствуют беду. Все поняли, что Кайыт выступил, прикрывая собой Светлану.

Когда комендант обнаружил, что человек, изъявивший желание быть десятником, слепой, ему стало весело. Да этот народец еще не знал всей безысходности своего положения, еще пытался сопротивляться и даже острить. Да, было весело. Вдали от войны, когда каждый день погибали люди, сотни, тысячи людей, он был обеспечен гарантией на жизнь. Хотя судьба и загнала его в эту глухомань, но здесь была безопасность, горный воздух, сытая жизнь для его жены и двоих детей и неограниченная власть над множеством семей. Так что не стоило осложнять свою жизнь выстрелами. Девушка, как бы ни дерзила, станет послушной, готовой к любым его капризам. И он почти весело посмотрел на старого Кайыта.

— Да ты же слепой!

— Я хорошо вижу, когда люди делают дурное дело.

Смысла философии Кайыта комендант Юдин, конечно, не понял, но ответ ему понравился. Чтобы ещё немного потешить душу, он спросил:

— Ну да, а как мы с тобой сработаемся?

— А мы равны: у тебя пистолет, у меня палка!

Комендант Юдин расхохотался. Его веселье передалось и Кочкорбаю. Председатель тоже смеялся вместе со своими бригадирами. Молчал только Рыскул.

— А как твоя фамилия,— спросил Юдин, глядя не в сторону Кайыта, а в свою бумагу.

— Фамилия моя Омаров. Я из Секи. А зовут меня Кайыт. Я малосемейный. Только жена, Дарийной зовут.

Комендант нашёл его в списке, отметил и кивнул головой:

— Ну хорошо, переселенец Омаров. Но если ваша палка не будет также бдительно стоять на защите порядка, как и мой пистолет, то я не посмотрю на вашу слепоту.

— А Советская власть давно не смотрит на мою слепоту,— сказал Кайыт.

— Ну и правильно! — комендант Юдин и на этот раз не понял всей глубины мысли старика. Он повернулся к Светлане Чоттаевой. — Ваша фамилия? — спросил он её уже совсем другим тоном, не обещавшим ничего хорошего.

— Чоттаева! — бесстрашно ответила Светлана.

— Так вот, переселенка Чоттаева, относительно шпиона разберутся в другом месте. — Он спохватился, снова раскрыл планшет и достал бумагу. Пробежал глазами, поймал там что-то и злорадным взглядом окинул девушку. — А-а, вон оно что! Конечно, дочь изменника! Иначе и быть не могло! Ещё комсомол оскверняла.

— Я читала слова Иосифа Виссарионовича Сталина о том, что дети за родителей не отвечают. Так что вы меня не пугайте. А что касается моего нежелания быть вашим осведомителем, так я — девушка, а вы — капитан, и как мужчина, должны это понимать, не цепляться за слово. Чем же будут заниматься ваши десятники, если не шпионить? — и Светлана пошла на своё место.

Капитан смотрел ей вслед — стройные прямые ноги, пленительный стан. Ему ещё льстило то, что она сказала «как мужчина» и, наверное, в этом был намёк, приглашение к «дружбе». Так что, думал Юдин, слаще будут ему объятия девушки, а не отправка её в тюрьму.

— Хорошо,— сказал он, убирая бумагу в планшет. — Я сегодня добрый, но в следующий раз...

— Теперь о том, как будете жить,— продолжил капитан. — Все взрослые переселенцы механически становятся членами здешнего колхоза и, следовательно, все обязаны работать в колхозе. Впрочем, обо всём этом расскажет товарищ Алиев, председатель колхоза.

Кочкорбай выступил вперёд и, глядя вверх, будто люди стояли на земляной крыше сельского клуба, спросил:

— Больные есть? — люди молчали. Лучше было спро-

сидеть есть ли здоровые, способные слушать и понимать. Но он и не ждал ответа, сам ответил: — Значит, больных нет. Это хорошо. Значит, так. Слушайте меня внимательно. Колхоз наш «Бурана» — передовой в районе. В прошлом году мы заняли первое место по выращиванию сахарной свеклы. В этом году увеличили посевы на двадцать гектаров, хотя рабочая сила уменьшилась намного. Но вот теперь вы займете место тех, кто ушел на фронт или погиб на войне. Женщины все должны взять по гектару и больше, мужчины пойдут поливальщиками.

— А дети будут учиться? — крикнул кто-то из толпы.

— Пока мы такого указания не получали. Вы переселенцы, осужденные. Это должны помнить... — Кочкорбай помолчал: на него смотрели и голодные дети. — Может быть, нам разрешат потом открыть отдельную школу, не знаю... Надо хорошо выращивать сахарную свеклу! Этому требуют от нас фронт и лично товарищ Сталин! — Это было любимое присловье председателя: а впрочем, любой начальник на любом собрании неизменно, как молитву, любое дело связывал теперь с фронтом и товарищем Сталиным. Дальше он говорил спокойнее, даже сочувственно: — Мы тоже люди, понимаем... Разместим вас по бригадам. А с завтрашнего дня все как один выйдете на полевые работы...

Село Кегети состояло из четырех бригад и, как потом узнали переселенцы, каждая бригада представляла отдельный аул, где еще сохранились родовые, племенные традиции. Комендант разделил свой список соответственно на четыре части, дал переписать каждому из бригадиров свою часть и те начали разводить закрепленных за ними переселенцев по своим аулам.

Семья Хамзата попала в первую бригаду, которая называлась Боссеки, но Рыскул, бригадир третьей бригады, которая называлась Карабулак, договорился с комендантом и поменял семьи. Рыскул старался уже не без корысти. После того, как он узнал, что Хамзат плотник и столяр-краснодеревщик, а содержимое того тяжелого ящика, который они с трудом грузили в телегу на железнодорожном разъезде, составлял добротный инструмент, он понял, с каким ценным мастером имеет дело. Теперь Рыскул стоял за Хамзата горой, потому что мысленно видел его во дворе бригады в кожаном фартуке, взявшим на себя все «деревянные дела» карабулакского племени. Рыскул утратит нос другим бригадирам! Конечно, Рыскул будет делиться с

Хамзатом всем, что у него есть, но как бригадир и хозяин карабулакского айыла он не мог не рассчитывать и на весьма весомую выгоду.

На следующий день всем женщинам были выделены свекловичные участки, примерно по гектару на каждую. Имея в виду Хорасан и Музафара, Лейле выделили гектар с четвертью. То, что на руках у нее был ребенок грудной, никого не волновало. Хамзата определили, как и намечал Рыскул, в плотницкую мастерскую.

Начиналась новая жизнь, жизнь на чужбине...

Книга третья

1.

В тот спокойный день, 12 апреля 44-го, старший лейтенант Абу Кайбергенов читал армейскую газету «Сын отчества». Его удивило странное сочетание имени и фамилии командира роты, совершившего подвиг в боях за Одессу два дня назад: старший лейтенант Владимир Кушжетер! В горячем боевом репортаже описывалось, как рота Владимира Корнеевича Кушжетера, отразив три яростных контратаки, первой ворвалась на городскую окраину и, преследуя врага, уничтожила более двухсот гитлеровцев. За проявленное личное мужество в бою за освобождение Одессы командир роты представлен к званию Героя Советского Союза. «Кушжетер, Кушжетер...» повторялось в мозгу Абу Кайбергенова. Кушжетеровых в Жамауате он, конечно, знал, особенно сыновей Хамзата — Муссу, Мустафу и Мухтара; были и другие Кушжетеровы в Жамауате, но, напрягая память, он не мог вспомнить, кого бы могли назвать в Жамауате Владимиром, да еще и Корнеевичем! Ошибка в газете или какое-то совпадение? Он снова и снова вглядывался в газетный снимок старшего лейтенанта с орденом Боевого Красного Знамени и медалями на груди. Очень кавказское лицо. И вдруг его охватило желание увидеться с этим человеком. В последние месяцы он очень тосковал по своим землякам. После тяжелого ранения в ноябре, в жаркие дни Керченской десантной операции 43-го, он почти каждый день писал письма. И не только на Кавказ, но и по полевым армейским адресам. Посылал и стихи в Нальчик, по редакциям газет, но, хотя и пролежал в госпитале почти три месяца, ни ответов от родственников, ни писем из редакции так и не получил. Раньше ему не приходилось ждать номеров газет со своими стихами более двух-трех недель, а тут словно все сговорились и приняли обет молчания...

Вернувшись в свою часть к концу февраля, он не застал тут и обоих земляков: они погибли при форсировании Сиваша. Абу Кайбергенов горько переживал гибель однополь-

чан — кабардинца Абу Жангериева и сородича из Баксанского ущелья Тахира Альчагирова. Он часто доставал фотографию, на которой они были запечатлены фронтовым корреспондентом: Абу Жангериев, улыбаясь во все лицо, обхватил руками за плечи двух балкарцев — Абу и Тахира. Это было после совещания командиров как раз перед Керченской операцией. Слезы капали на фотографию... Абу решил обратиться к командиру с просьбой отпустить его на несколько часов в соседний 179-й гвардейский полк, где служил Владимир КушжETER.

Командир десантного полка подполковник Иосиф Львович Геллер не только хорошо знал Абу Кайбергенова, но и относился к нему с особой симпатией. Кажется, он и сам грешил поэзией, и однажды проговорился в том смысле, что вот, мол, кончится война, и он, Геллер, посвятит себя творчеству.

Геллер встретил Абу на этот раз не то что сурово, а с какой-то хмурой печалью и растерянностью. Когда Абу вошел и отрапортовал, командир лишь мельком взглянул на своего любимца и торопливо отвел взгляд. Потом неловко завозился с какими-то бумагами на столе. Наконец Геллер сдвинулся с места, подошел к Кайбергенову, усадил его на табуретку у стола и сам сел рядом. Порывался что-то сказать, но, видимо, не находил подходящего слова и с досадой грохнул кулаком по столу. Абу вскочил, а Геллер, точно опомнившись, сказал:

— Да садитесь, садитесь... Это я так... Черт знает что происходит!

Абу протянул командиру номер «Сына отечества» и сухо «доложил» свою просьбу.

Геллер надел очки:

— А этот, как его... — он посмотрел на газетную полосу, — КушжETER... Он кто, родственник вам?

— Нет, я его не знаю, товарищ подполковник. Фамилия балкарская.

— Фамилия балкарская... — повторил Геллер. Нервно встал, повернулся лицом к окну. — Зачем это? Вы письма от родственников получаете?

— Нет, товарищ командир. Я из госпиталя писал, стихи отправлял... Ни слуху, ни духу! Очень беспокоюсь.

— Да... — протянул командир и резко повернулся к нему. — Я могу разрешить вам съездить в полк, но советовал бы этого не делать. Готовится очень серьезная операция. Необходимо сохранить душевное равновесие...

Подполковник Геллер обычно смягчался, даже чуточку

робел перед Кайбергеновым. Раньше это льстило самолюбию поэта, но сейчас растерянность командира его тревожила.

— Если что-то не так, товарищ подполковник...

— Да не в этом дело! — Прервал его подполковник. — Не в этом дело, друг мой Абу... Ладно, я отпускаю тебя до шести часов вечера. Как вернешься — сразу ко мне. Иди.

2.

Когда Абу разыскал Владимира Кушжетера в 179-м полку и увидел перед собой копию Муссы Кушжетерова, ровесника своего, он чуть не вскрикнул от удивления. Как же это так могло случиться, что Мусса переименовался, стал Владимиром? Но все еще сдерживая себя, он представился, как положено в армии, улыбчивыми глазами смотрел в лицо земляку, ожидая, что тот сейчас рассмеется и бросится к нему в объятия. Однако герой позавчерашнего боя не стал раскрывать объятия, а лишь деловито спросил:

— Балкарец?

— Да, конечно, да. Но ваша фамилия Кушжетер, и я подумал...

— Да, я тоже балкарец, и я тоже горюю...

Абу не понял и в досаде повторил слова командира:

— Черт знает что происходит!

— Вот именно, — сухо согласился Владимир Кушжетер.

— Я приехал поздравить тебя! Ведь ты представлен на Героя! Я взял с собой спирта. — И пристально поглядел на него. — Но почему «Володя»?

— Но я и русский. Наполовину балкарец, наполовину русский... Но как могло такое произойти с балкарцами?

— Что произойти? Они отлично воюют. Некоторые даже на Героя представлены! — Абу добродушно усмехнулся. — Ты будешь вторым Героем Советского Союза. После Алима Байсултанова, сокола Балтики, как окрестили его на Ленинградском фронте. Для нас пока и двоих немало. А война идет, для новых звезд есть еще время. — Абу знал, что родина его полностью освобождена от захватчиков, а теперь и весь Северный Кавказ возвращался к мирной трудовой жизни. И, хотя он ничего не знал о судьбе своих родителей и трех братьев, он верил, что мать и отец живы, а три брата — Ажок, Азнор и Ако — честно выполняют свой

солдатский долг. Так что Абу Кайбергенов мог смело смотреть в глаза кому угодно. А теперь еще он узнал, что герой, освободивший Одессу, его сородич! Так почему бы ему не пребывать в приподнятом настроении! И он весело предложил,— пойдём, посидим где-нибудь на травке.

Они устроились на опушке небольшой рощи. Абу выпил за подвиг и отвагу Владимира. Передал ему флягу.

— Мы тут спирт глотаем, а балкарцев в ссылку погнали!..

Если бы в эту минуту рядом взорвалась бомба, она также бы оглушила Абу. Он вскочил, метнул убийственный взгляд на Владимира:

— Что ты болтаешь! Как это «балкарцев в ссылку»...

— Вот так, взяли и выслали. Спрашивать у них согласия не стали.

Абу сразу вспомнил странное поведение Геллера. Вспомнил и ходившие в госпитале слухи о выселении чеченцев и ингушей, карачаевцев. Но то были слухи, которым Абу не доверял, и, по возвращении на фронт об этом вздоре он просто забыл. Неужели... правда?

— И куда же выслали нас?

— Этого я не знаю. По всем частям, соединениям и фронтам есть секретный приказ особо не доверять представителям высланных народов.

Абу Кайбергенов, уже укрощенный, опустился на колени перед Владимиром Кушжетером. Поник головой, как в трауре.

— Что же могло там стрястись? Весь народ пошел против Советской власти? Ты слышишь меня, Володя?

— За встречу! — сказал Владимир и выпил. — На, облегчи душу. — И вернул ему фляжку.

Абу выпил, не стал закусывать, только замотал головой.

— Не верю! Там лишь старики да женщины...

— Я могу повести тебя в особый отдел. Там мой друг Гела Сичинава. Он покажет этот секретный приказ.

— И ты хочешь сказать мне, что моих родителей, вырастивших нас семерых, проводивших всех нас семерых на фронт, успевших получить похоронки на троих, согнали с родной земли?

— Да, наш народ в период оккупации изменил родине, вел подрывную работу против частей Красной Армии. Так написано в постановлении ГКО.

Абу повалился в отчаянии на землю, зарылся лицом в траву и долго молчал. Потом приподнялся на локте:

— Как можно эти гнусные обвинения предъявлять моей матери! Ведь нас было семеро братьев, всех семерых она отправила на фронт и никто не слышал от нее ни слова протеста. Как можно...

— Надо взять себя в руки. Тебя, как и всех балкарцев, отныне не пошлют на ответственное задание...

Абу Кайбергенов встал во весь рост.

— Я застрелю того, кто скажет мне это! Я застрелю каждого, кто выразит хоть малейшее сомнение...

— Ну, это было бы глупостью. Народ наш терпит бедствие, он оклеветан, опозорен, унижен... И нам нельзя распускаться. Наоборот, надо вести себя достойно. А выразят недоверие — придется стиснуть зубы, терпеть...

— Но... кто же ты, Кушжетер?

Владимир Кушжетер достал бутылку водки. Он наливал несчастному Абу Кайбергенову, пил и сам. Но хмель их не брал.

— Отец мой не Корней, а Зулкарней. Но так удобнее по-русски...

В Жамауате уже не помнили Зулкарнея, потому что Хамзат никогда не говорил о своем старшем брате. Отправившись в 1900-м батрачить к помещику Турганову, он так и не вернулся. С детства он был каким-то замкнутым, холодным, не похожим на всех Кушжетеровых. Вернувшись с японской войны, Хамзат искал старшего брата, но, побывав почти во всех помещичьих хозяйствах Ставрополя, Хамзат лишь однажды вышел на слабый след Зулкарнея. Несколько лет он работал у Турганова в местечке Святокрест, а потом, в год кровавого николаевского воскресенья, неожиданно поднялся и ушел, а куда — Турганов не знал.

Дальнейшие события разворачивались таким образом и с такой быстротой, что Хамзату уже некогда было думать о новых поисках. Он смирился с горькой мыслью, что нет теперь у него брата; жив он или мертв — все равно его нет.

А между тем Зулкарней был жив и вполне здоров. Женившись на русской девушке, он обосновался в казачьем хуторе Онхазар. Зулкарней был человеком работающим, как и все Кушжетеровы, и к тому времени, когда на Дону окончательно установилась Советская власть, он был уже довольно зажиточным хуторянином. В политические события он не вмешивался, ни на какой стороне не воевал, был занят только своим хозяйством. К этому времени у него уже рос сын Владимир, нареченный так в честь тестя, и дочь, которую называли Нальмас, в честь матери Зулкарнея.

А погиб он почти случайно: банда грабителей напала на хутор, стреляла просто для острастки, но одна пьяная дурная пуля угодила в хозяина. Умирая, Зулкарней завещал сыну, тогда восьмилетнему Владимиру, загладить его, Зулкарнея, вину перед младшим братом. Ведь он оставил Хамзата еще неокрепшего, все ждал лучших времен, чтобы навестить и помочь, но лучшие времена все никак не наставали... Вот Бог теперь и наказал — он умирает вдали от рода своего... И еще просил отец сына: «Когда найдешь свой род, приди потом, крикни мне в могилу! Тогда мне станет спокойнее, легче...»

Абу Кайбергенов, вспомнив стихотворение Кязима Мечиева «Завещание», сказал Владимиру:

— Твой отец словно из стихотворения Кязима вышел...

Владимиру имя Кязима не было известно. И сейчас он думал не о поэзии:

— Теперь я должен искать свой род в среднеазиатских степях... Но если суждено будет выжить в этой войне, я, конечно, выполню волю отца, найду свой род. После того, что произошло — тем более обязан. Приятель мой Гела Сичинава просит меня не распространяться о том, что я балкарец... Знаешь, раньше я как-то равнодушно относился к этому, какая разница, а сейчас... Нет, не согласился, никогда не соглашусь...

— Что? — рассеянно спросил Абу.

— Он хочет мне добра... Ну, может быть такое... В наградной комиссии ГКО могут отклонить... Ведь я теперь представитель изолированного народа! А если переменить национальность, ну, скажем, совершенно законно стать русским...

— Можно! Мать же у тебя русская, чего тут!.. — В сердцах сказал Абу. — Ты и так русский, языка нашего не знаешь, никогда не бывал у нас.

— Зачем так? В этом моей вины нет. А если думаешь, что из-за звезды я предам отца...

— Нет, нет, прости Володя... Я схожу с ума! Я кто? Кто я теперь? Я нищий! — Он содрал с головы пилотку. — Вот, поставлю перед собой и буду собирать милостыню... на песках азиатских пустынь...

Вернувшись вечером в полк, он не пошел в назначенный час к подполковнику Геллеру. Ему хотелось умереть! Завернувшись в свою плащ-палатку, он затаился, как раненый зверь, тихо стонал и никого не подпускал к себе. Только в полночь он встал и отправился в штаб полка, где вопреки негодованию дежурного, разбудил Геллера.

— Мне больше не к кому идти, товарищ подполковник... Не у кого и совета попросить... Застрелиться мне, как офицеру, или все это ложь, провокация?

Подполковник Геллер, наконец, проснулся, присел на краю топчана, надел очки. Он окликнул ординарца, потребовал чаю.

— Черт возьми! — нервно воскликнул он. И вдруг: — Ничего больше всем порядочным людям не осталось, как застрелиться!

Абу Кайбергенов встал в положение «смирно», но Геллер махнул рукой:

— Отставить!

Он подошел к Абу, усадил на ту же табуретку, что и утром, поднял фитиль в керосиновой лампе.

Ординарец принес чаю.

— Да, брат, — мягко заговорил Геллер. — Странные времена мы переживаем. Война — войною, но ведь рядом идет какая-то другая война, чудовищная тайная война с людьми, с народами... — Он пристально взгляделся в слабо освещенное, сильно за день исхудавшее лицо старшего лейтенанта. — Но сыну своего отечества не смерти следует искать, а правду! Искать правду и оставаться самим собой. Иначе будет хуже... Хуже чем выселение. Что же касается твоей офицерской чести... то будь уверен, покуда я в полку, никаких изменений в отношении ни к тебе, ни к другим представителям оклеветанных народов не будет.

Вскоре начался штурм Сапун-горы, и Кайбергенову действительно никто не сказал, что нельзя ему доверять взятие этой крепости. Он воевал как прежде, может быть, еще ожесточеннее, а в это время по разоренному кавказскому краю блуждали, не находя адресата, еще две похоронки: Ачах, самый младший из семерых, погиб при форсировании Днепра, а Аубекир, воевавший на Волховском фронте, погиб пятым под Ленинградом, как и родился пятым в семье.

Абу, конечно, не знал о них, как не знал о том, какая участь постигла его родителей в пути. У него оставался в живых только один брат Аккуш, сражавшийся, как он знал, на Белорусском направлении. Но когда он шел на штурм, он просил Бога сохранить не его, Абу, а Ачаха, самого младшего, всеобщего любимчика. Его всегда баловали и, как и все избалованные мальчики, он не умел ничего делать. Абу мерещилось, что пуля настигает братишку в самой безобидной ситуации. Но зря старший брат так ду-

мал, потому что война очень скоро вытряхнула из Ачаха милые полудетские привычки и отношение к жизни как к праздничному лакомству. Ачах очень скоро стал настоящим мужчиной и умелым воином. И погиб он достойно... Сапун-гора была взята, и десантный полк готовился к новым боям, когда очередная новость как бы подтолкнула Абу к мысли, что, мол, пора честь знать, самое время застрелиться.

Его вызвали в штаб полка. В блиндаже его встретил не дружелюбный интеллигентный Геллер, а суровый, холодный человек с каменным лицом:

— Вы балкарец? — спросил он.

— Так точно, товарищ майор!

— Командир полка, — поправил его майор. — Почему вы до сих пор не уволены?

Абу на секунду замешкался, не зная, что сказать, тут же взял себя в руки, ответил довольно дерзким тоном:

— А почему я должен быть уволенным?

— Потому что ваш народ изменил Родине! — повысил голос новый командир полка. — Потому что нация ваша стерта с лица Кавказской земли! Потому что нет доверия ко всем вам!..

В глазах Абу с самого начала было темно. Потолок блиндажа давил на голову. Отчаянный, горячий, храбрый, он так и не смог никогда понять, что его удержало! Сокрушить бы гада и застрелиться! В последние ночи ему все снился Ачах, а в тот момент, когда он, уже не помня себя, двинулся на майора, перед ним вдруг возник Ачах. Брат обнял брата, и Абу, ослабев, застыл на месте. Опомнился он только тогда, когда у него забрали оружие. Он выходил из штаба, и в его воспаленном мозгу гулко бились слова майора: «Вы уволены! Вам отказано в доверии! Если этого не сделал враг народа Геллер, то мы исправим ошибку...»

Потом он узнал, что подполковник Иосиф Львович Геллер осужден военным трибуналом на восемь лет лишения свободы с поражением в правах на пять лет, с конфискацией имущества, с лишением воинского звания и наград. В полку шептали разное: и антисоветской агитацией он занимался, и постановление ГКО о нейтрализации некоторых народов Кавказа осуждал, и старые грехи открылись — преступные высказывания о разгроме крестьянских хозяйств, о перегибах в борьбе за чистоту рядов партии и прочие вредоносные мнения.

Абу Кайбергенов чувствовал себя ходячим мертвецом...

Теперь он знал, что на родине его никто не ждет, но не мог себя побороть — его тянуло в Жамауат. Ему снились тесные кривые переулки на каменистых склонах; со стороны мельничной долины шел запах свежего помола, Бияслан, полулежа на стог сена, улыбался ему...

Позже, в попутном товарняке, ему порой становилось страшно, как дезертиру, ежечасно ожидавшему неминуемой кары за то, что оставил товарищей на поле боя; поддерживала лишь надежда хоть напоследок увидеть отчую землю, родной дом, пусть даже его встретят там гнетущее запустение и мертвая тишина. Изредка посещала его и более светлая мысль: какая бы горькая беда ни стряслась, а родина бессмертна — она будет вечно жива в душе и памяти всех грядущих поколений. Но, может, не стоит хоронить надежду, может, еще нынешнему поколению доведется... Тут новый страх леденил сердце Абу: а что если вина была, было предательство? И тогда, при появлении одинокого изгоя — поэта, не содрогнутся ли склоны и камни, веками впитывавшие пот и кровь его предков, не низвергнутся ли на седьмое дно земли кладбища, вобравшие в себя еще со скифских времен множество верований, табу, мудрых воззрений и глупых заблуждений! Могут быть глупые заблуждения, могут быть сомнительные обычаи, но и за тысячу лет не может возникнуть в народе верование или нравственный закон, который хотя бы на один день оправдывал измену своему роду, своим соплеменникам, своей земле.

О, род Кайбергеновых! Единственный в долине Жандара! Твои дети ощущали на своих широких плечах прикосновение крепких рук древних охотников. Путь твоих удачливых детей благословлял божественный Кайберген — покровитель и хозяин лесных зверей. И как ценили в Жамауате этот род, осененный половецкой луной! Ценили за жизнестойкость, независимость и верность. Неужели теперь конец всему, о могущественный Кайберген! Неужели конец племени, зачинавшему себя с Алтайских гор, с самого Огуза, в жилах которого текла кипучая кровь гордого Аспаруха, Великого Булгара, кровь степной вольницы алан и кипчаков! В самом ли деле закатилось наше солнце над теснинами Балкарии?

Так изнывала его душа; забывая о еде, он менял все, что мог, на табак, закуривал сигарку от сигарки. В долгом пути бывали разные попутчики, разные встречи, но

он ни с кем не говорил, никого не слышал, а если и слышал, то не понимал о чем идет речь, потому что из всех осиротевших и покалеченных людей, мечущихся по обожженной, развороченной войною земле, он был самым униженным и потому самым несчастным. О, веселый искрометный поэт Абу Кайбергенов, унаследовавший и свой род и имя рода от божества лесной вольницы, от горного козла Кайбергена, что же ты табаком обжигашь себя, прыгай с поезда, останься в степи, как остался там Бияслан, твой отец...

Но об отце он не знал. Если б знал, то не имел бы права распоряжаться своей жизнью — теперь он был главным в семье.

4.

Нальчик жил своей обычной жизнью. Сойдя с поезда, он побродил по привокзальной площади; поднялся и на разбитый бомбежками виадук над железной дорогой, — он оставался таким же, каким был 8-го марта, когда на него поднимался Хамзат. К центру города он шел по широкой Степной улице, где в этот предвечерний час паслись коровы, бродили ишаки и всякая мелкая домашняя живность. С гор дул легкий июльский ветерок, и хотя город лежал в развалинах, люди ходили по улицам, как прежде. Спешили куда-то, встречались, расходились. Теперь он понял, почему сразу не уехал в Жамауат — вышел бы на дорогу, а там подобрала бы его какая-нибудь попутная подвода — нет, ему хотелось попасть в Ленинский учебный городок. Здесь он учился и помнил, как там собиралась вся интеллигенция города. Он ускорил шаги, но когда оказался вблизи разрушенного здания учебного городка, резко остановился. Он понял, что если бы даже здание уцелело и из его окон лился бы сейчас теплый и радостный свет, он все равно не смог бы встретиться даже с самыми задушевными друзьями. Его придавило к земле жестокое ощущение собственной отчужденности, бесправности. С двумя орденами на груди — Красной Звезды и Александра Невского, с медалями, а на погонах со звездочками старшего лейтенанта, он стоял, как нищий, искавший ночлега. Абу Кайбергенов повернулся и пошел обратно. Он знал теперь, что никого в этом городе у него нет, надо уйти, уйти подальше, потому что, если здесь и жили его коллеги и друзья, то его, Абу Кайбергенова, отгораживает от них некая постыдная пре-

града. И хорошо, что на город уже опустилась ночь: в непроглядной тьме никто не встретится на пути, не придется ни перед кем опускать голову. За городом он шагал вдоль дороги и говорил себе, что будет идти всю ночь, а когда настанет утро, спрячется где-нибудь в овраге, в кукурузе, если кабардинцы живы — они, конечно, посадили кукурузу, и она должна быть уже достаточно высокой.

К рассвету он оказался у того селения, где бывало, останавливались родители по пути на баксанский базар. Его друг, кабардинский поэт Кургоко Ашмах, был из этого селения. Приехав однажды к нему в гости, Абу жил здесь целую неделю. Сестра Кургоко — светлая, нежная Хабсима, играла на гармошке, а он танцевал на сельской вечеринке. Трудно потом он расставался с Хабсимой! В то утро он, — Боже мой! — чуть было не выкрикнул во дворе: «Хабсима! Выходи за меня замуж!» А ведь она бы наверняка согласилась... Скоро началась война. Летом 43-го Абу получил от Кургоко письмо, где, между прочим, он сообщал, что адрес Абу написала ему сестра, которая теперь учительствует в селе. После он ни разу не получил от Кургоко весточку, хотя сам Абу писал ему довольно часто. Не называя имени его сестры, он все расспрашивал о домашних. Хабсима тоже ни разу не ответила Абу. Он терялся в догадках, почему Хабсима, сообщившая брату его адрес, не отвечает ему на письма?

Он перешел речку вброд и поднялся на холм. Отсюда был хорошо виден дом Кургоко. Но что он там высматривает? Хабсиму? Зачем он ей? Без племени, без права, без родины! За это время между ними разверзлась пропасть. И все же он не мог отвести от дома Кургоко своего усталого и тоскующего взгляда. Вон, во дворе женщина сбивает перину. Это, наверное, бабушка Хабсимы. А на улицах было тихо, безлюдно. Потом появился одинокий всадник, да какой-то немощный старик медленно плелся в сторону кладбища; вон и продолговатый дом конторы колхоза, но там — ни одной живой души. Абу еще долго следил за двором Кургоко, но больше никого не увидел. Он поднялся, обошел село, облюбовал местечко в тени карагача, растянулся на траве и уснул.

Странно, как у человека вырабатывается психология отшельника, беглеца, невольного абрека. Проснувшись, он посидел, размышляя, как дальше быть. Вот уже второй день он ничего не ел. Очень хотелось курить, но кончился табак; голод еще можно было превозмочь, а отсутствие курева чуть не сводило с ума. Он спустился к реке, попил воды

и пошел по берегу. Изредка попадались кусты барбариса. Абу ел зеленые плоды вместе с листьями, это прибавляло ему сил. Оказалось, можно идти вдоль реки до самой долины Жандара,— может, именно по этим местам проходил и сам Жандар, открывший долину Юрду?

Чем ближе он подходил к Жамауату, тем сильнее билось сердце. Так бывает во сне: когда человек видит страшный сон и в то же время помнит, что это сон, что все пройдет и он останется как прежде, целым и невредимым. Абу казалось, что он видит сон, и в нем трепетала жалкая, чуть живая надежда, что вот он проснется и увидит отца и мать, всех своих братьев и все свое село, полное обычной жизненной суеты, точно такое же село, как в тот летний вечер, когда он вернулся на каникулы из Москвы... Но Жамауат лежал перед ним, как мертвое городище. Его поразила тишина: остановилось все — солнце, течение реки, ветер; ни птиц на небе, ни животных на земле! Абу Кайбергенцов шел по главной улице Жамауата мимо знакомых домов, мимо первого жамауатовского ликбеза, разрушенного черепично-кирпичного завода, мимо старинного уцелевшего каменного дома Мырзакула, через каменный мост... Нет, он остановился на середине моста и стал всматриваться в горбатую свою улочку. Перед домом Хаджибекира, у забора, он заметил холмик земли — если было бы надгробие, можно было принять его за могилу. Дальше, прижавшись к каменному косогору, стоял его осиротевший дом. Перед отправкой на учебу он ездил в Большой Карачай, а там, в верховьях Хурзука, он видел древнее, сгинувшее от чумы селение Куудун. Огромные каменные могильники-склепы сохранились по сей день. Абу спускался в эти склепы, мерил их собою — ложившись, сидя, стоя, чтобы испытать чувство сродни тому, что испытывали предки, которые еще заживо спускались в свежестрытые могилы и замуровывали себя изнутри вместе со страшным поветрием, уже наложившим свою гибельную печать на их тела. Сосны, выросшие в этих местах, теперь были в человеческий обхват, иные каменные гробы сравнялись с землей, другие проросли лесом, травой, но рядом жило село. Потомки тех, чьи кости лежали в глубине склепов, все-таки вцепились в эту землю и никуда не ушли, даже чума не могла их разогнать. А что же там теперь? И что теперь здесь... Он стоял на мосту, точно каменное изваяние. В полинявшей гимнастерке, в истоптанных сапогах, с орденами Красной Звезды и Александра Невского на груди, с двумя ранами на ногах и

тяжелым сердцем. Воды в реке, кажется, прибавилось, и она стала солоноватой на вкус.

Когда Абу перешел мост, он понял, что поросший травой холмик под забором — чья-то могила. Рядом валялся опрокинутый ольховый пенек, выгоревший на солнце аппун и ветхий ишачий подседельник... Через открытые ворота он вошел во двор Хаджибекира; двери дома тоже были распахнуты настежь; он опустил вещмешок на землю и поднялся на веранду. Абу здесь бывал часто; Бияслан наставлял сыновей навещать этот дом, помогать многодетному Хаджибекиру, да и сам Хаджибекир души не чаял в племянниках. Кое-что из домашней утвари еще валялось на полу, но это был разграбленный дом. Хозяева, как бы ни уходили в спешке, дом свой так не оставляют, подумал Абу. «Ой, Хаджибекир, где же ты!» — крикнул он как в детстве. Уходя, он закрыл двери, закрыл и ворота; поднял и поставил на место ольховый пенек с аппуном, а ишачий подседельник даже перенес в сарай. Поднимаясь по переулку выше, у изгиба дороги он увидел на крыше дома Хамзата двоих людей, разбирающих черепичную крышу. Поднявшись еще выше, увидел и арбу во дворе, запряженную двумя волами. Первым его побуждением было — это бежать туда и застрелить обоих мародеров! (Он сохранил зачем-то трофейный пистолет, хотя это было весьма рискованно). Он, кажется, и побежал. Но через минуту осадил себя, выругав матерщинно: да ведь и его сородичи точно так же бы поступили с оставленными жилищами. Так устроен человек и с этим ничего не поделаешь. Те люди заметили бегущего к ним человека и как-то замерли, притихли. Затем один из них поспешно соскользнул вниз, и его уже не было видно. Абу пошел к своему дому.

Из соседнего дома выбежала облезлая собачонка; увидев его, она прижалась к забору и, позабыв свой собачий долг, грустно уставилась на Абу, наострив ушки. Он позвал ее. Собачонка легла на землю и доверчиво поползла к нему, а он опустил на корточки и погладил ее по головке. Позабывшая человеческую ласку осиротевшая собачка заскулила, и даже слезы выступили на ее глазах.

Абу уже смирился, принял беду окончательно. Да, дом стоял на месте; и сарай, за которым отец заставлял Ачаха читать книжечку Абу от ее названия до выходных данных. Но и этот дом хорошо был очищен грабителями.

Теперь, обдумывая свою судьбу и тяжкий путь в Среднюю Азию, он сидел на бревне у ворот, на котором любил вечернею порою посидеть Бияслан и его собеседники,

Абу рассеянно глядел на пустынные дома и заросшие бурьяном огороды, и это чувство... Оно приходило к нему снова и снова, он опасливо оглядывался, словно кто-то заметил, как он достает маленький немецкий пистолет из кармана. Честь офицера всегда была выше жизни, чего медлить? Вообще, стоило ли возвращаться на поруганную землю? Унизили, оскорбили, а ты ничем не можешь себя защитить. Так что нечего и откладывать! Он смотрел помутневшими глазами на нижнюю часть села — отсюда она хорошо просматривалась. Он видел пустынную дорогу, по которой летом приезжал на каникулы. Вспомнил, как перевернулась почтовая телега на этой дороге. Интересно, жили тот почтарь, который так боготворил вожда, что от страха потерял рассудок? Прошло еще несколько минут. Абу посмотрел на свой пистолет. Да, надо решаться! Хотя и старший, хотя и долг перед младшими, но вынести такое свыше всяких сил! Один лишь выстрел — и все забудется...

И вздрогнул он не от выстрела, а от прикосновения чего-то мягкого, жалобного. Перед ним стоял серый ослик, весь в репьях, с опустившимся животом. Приблизив морду к коленям Абу, он обнюхивал его и слегка подталкивал, точно нищий, просящий подаяние. Пистолет выпал из рук. Абу обнял ослика за шею и зарыдал.

5.

Не знаю, как взрослые, но мы, дети, на следующий же день познакомились со всеми сверстниками из соседних домов. На нашей улице моими ближайшими соседями оказались Сатыбек и Абасбек. Потом я узнал, что Абасбек имеет и прозвище Момун, потому что был очень тихим, молчаливым мальчиком. Он ходил во второй класс. Сатыбек Алиев, большой вун и выдумщик, любил рассказывать всякие небылицы. Иногда мы ему верили и очень даже внимательно выслушивали. Предметом страшной зависти всех ребят на нашей улице была «капитанка» Сатыбека — потрясающая морская фуражка с лакированным козырьком, которую он носил с небрежной лихостью и шиком. Очень скоро из всех из нас образовалась шумная уличная вольница, а верховодить довелось, конечно, обладателю магической капитанки, хоть сам он был маленького роста, щупленький, правда, живее и находчивее всех. Никто в точности не знал, где он раздобыл эту редкость. В разные дни объяснял это по-разному, и один рассказ был причуд-

ливее другого: в наших ушах и в воображении раздавался грохот пушек и рев бури. Первый владелец капитанки был отчаянным героем. Еще двое ребят — Эрнис и Мелис, походили друг на друга, как близнецы. Их обоих, таких аккуратных, всегда хорошо и чисто одетых, мы сначала сторонились, молчаливо презирая как буржуев. Сатыбек так и говорил: «Хандар!» — ханы. Никакого повода для презрения они, конечно, не давали и были они не менее храбры, чем Сатыбек. Мелис знал много сказок; говорили, что у него даже прабабушка жива, что она и живого киргизского хана видела. «Не только видела,— обижался Мелис,— она была родной сестрой хана Арстанбека, ей больше ста лет и она замечательно поет...» Мелис обещал меня повести к ней, чтобы и я послушал ее сказки.

Нас же, переселенцев, на нашей улице оказалось трое — Ачей, Бапына и я. Ачей был старше нас. Он редко выходил играть. Поскольку был старшим и в семье, он имел много обязанностей: ходил за кураем в степь, носил воду, помогал матери полоть свеклу. Иногда я тоже бывал с бабушкой и матерью в поле. Они брали колыбель Аманат и чуть свет уходили. А когда попозже появлялся я, то они меня представляли к колыбели смотреть за девочкой. Но я рвался работать в поле, пропалывать свеклу. Мы с Бапыной тоже ходили за дровами, приносили курай, но в основном играли. И вот однажды Мелис повел нас, меня и Бапыну, к своей бабушке. Не знаю почему, но увидев ее, я отступил — на толстом ковре — Мелис называл его шырдак — сидело сказочное существо, с огромным белым тюбаном на голове. Старуха, не обращая на нас внимания, тихо сидела посредине полутемной комнаты, губы ее шептали что-то. Перед ней на белом досторконе дымил самовар, рядом стояли красивые чашечки, а на плоском пестром подносе пахучей горкой лежали румяные боорсоки — маленькие хлебцы. И самовар тот блестел, и чашечки были такие красивые, и боорсоки были такие соблазнительно-дразнящие, и старая женщина так была похожа на картинку из книги волшебных сказок, что я с благоговейным страхом посмотрел на Мелиса — да настоящее ли все это?! А Мелис улыбнулся и сказал: «Моя прабабушка Сайкал». Вскоре вошла другая женщина с девочкой. Девчонку я знал — это была дочка Жюзюм — Фатима, а женщина оказалась бабушкой Мелиса. Ее звали Карылгач. Она пригласила нас к досторкону. Карылгач наливала чай и подавала нам. Сидя на полу, мы все глядели на прабабушку, которая спрашивала о чем-то у Карылгач. Слушая дочь, Сайкал кивала головой, шлепала

губами и говорила «Бечера!» Дочка Жюзюм тихонько таскала с подноса боорсоки и пыталась прятать их в своем рваном платице. Потом Сайкал усадила ее рядом с собой и сама засунула ей в кармашки несколько хлебцев. Прабабушка Мелиса в тот день, конечно, не собиралась рассказывать нам сказки, но она и сама была для нас сказкой, потому что нигде, ни в одном доме, где нам приходилось бывать, никто не сидел так и ни у кого не было накручено на голове такой белоснежной большой повязки. После этого моя дружба с Мелисом еще больше укрепилась. Я не знаю почему, но всегда хотелось пройти мимо его дома, посмотреть, даже постоять у арыка, опершись о дерево: это бывало когда Мелис находился в школе. А во дворе я часто видел Фатиму. Она мне сильно не нравилась. На лице у нее было множество угрей. Я бы с радостью отлупил ее, если бы не боялся ее старшего брата Магомета. Да, поколотить ее стоило. Хотя бы за жадность, с которой она тогда набросилась на боорсоки.

Иногда я сопровождал Мелиса до школы — длинного одноэтажного дома с большими окнами на пустырь и на улицу, с крыльцом и парадными дверями. Я останавливался напротив и смотрел, как ребятня шумно толкалась у дверей, как красиво одетые учительницы деловито входили в школу. Мне очень хотелось войти вовнутрь и просто посмотреть, какая она, школа. Если не учиться — высланным детям учиться не разрешали — то хоть посмотреть...

Я знал алфавит, считал до ста и без ошибок писал имена всех домашних. Мне снились по ночам красивые классы и очень-очень красивая, похожая на мою маму, учительница. Но я знал, что я переселенец и мне в школу ходить запрещено. Я знал, что другие дети выше нас, они могут ходить в школу, а мы — я, Бапына, Ачей, Азрет, Кайсар, Аюб — не имели права ходить в школу, ведь наш народ был врагом какого-то народа. Мы этого народа не знали, да никто и не пытался нам объяснять, какой это народ, где он, но мы точно знали, что мы враги народа, и, кажется, тот народ жил в большом городе. Стоя на противоположной стороне улицы, я глядел в окна школы, видел детей, которые читали или писали, и над ними склонялись учителя, а в другом классе дети выходили к доске и отвечали на вопросы. От зависти и тоски на глазах у меня наворачивались слезы. Нет, я не плакал, совсем не хотел плакать, но ничего не мог поделать со слезами, они шли вопреки моей воле, они даже мешали мне разглядеть мальчишек, отвечающих урок, а так хотелось узнать, догадаться о чем они

там говорили! Потом я уходил, шел по обочинам и по сто раз перепрыгивал туда и обратно арыки, чтобы отвлечь себя от тягостных переживаний.

Однажды после того, как Мелис ушел в класс, я, покрутившись вокруг школы и постояв на улице, пришел к матери на свекловичное поле. Женщины копошились под знойным солнцем — рыхлили междурядья, разреживали всходы. Аманат в тени ивы у арыка тоже пыталась на четвереньках идти куда-то. Я ее терпеть не мог, за что меня ругали, а дедушка даже качал головой, что было для меня самым суровым осуждением. Я сознавал, что это нехорошо, что девочку надо любить и нянчить, как сестренку. Нянчить, когда ее оставляли на мое попечение, я не отказывался, но теплых чувств к ней у меня никак не прибавлялось. А в тот день, увидев меня, Аманат заорала, будто ее змея ужалила. Слезы, которые я по пути сюда подавил с трудом, снова подступили к горлу. Но теперь это были слезы уже не тоски, а бессильной злобы — придется ведь брать ее на руки, поить водой, развлекать. А мне хотелось пойти к матери, побыть с нею, хотя я и знал, что ей некогда заниматься мною. Свекловичное поле верхом на лошади объезжал бригадир. Он кричал, торопил женщин и не давал им передохнуть, на секунду выпрямить спины. Я не знаю, везде ли так было или только наш «свекольный полицай», как окрестили его женщины, оказался таким безжалостным, но он до вечерней звезды не сходил с коня и никого не выпускал с поля.

На крик девочки прибежала мать. Увидев меня, она посмотрела то ли удивленно, то ли озадаченно.

— Ты, наверное, голодный... — Я молчал. — У меня еще остался глоток жармы... для Аманат. Поделю между вами...

— Я не голодный. Я был у Мелиса. Они меня покормили.

Лицо матери посветлело. Она взяла Аманат на колени, покормила ее остатком жармы. Она как-то затравленно поглядывала то на меня, то на девочку. Качая ее, она пела колыбельную песенку, но казалось, что качается и сама то ли от усталости, то ли от голода. Веки ее смежались.

— Дай, мама, я понянчу ее...

— Унеси ты ее домой... Ой, бригадир увидел! Боже, сейчас набросится...

Она кинула девочку мне на руки и, как-то непривычно сгорбившись, побежала по полю. Оставшись с девочкой, я

еще долго стоял и смотрел вслед матери. Я радовался, что бригадир все же не увидел ее или сделал вид, что не заметил ее оотлучки. Когда она дошла до своего участка и, встав рядом с бабушкой, начала быстро полоть, я пошел домой, неся на руках Аманат...

Я очень жалел маму. Она часто плакала по вечерам. Не было никаких вестей от отца, но мать не знала еще, куда попали ее мать, отец, сестра, которой было девятнадцать лет. Два ее брата тоже находились на фронте, от них тоже не было вестей. Мать еще на Кавказе запрашивала об отце, но не получила ответа, так что иногда, поплавав, шептала: «Осиротели мы с тобой. Нет уже в живых твоего отца!» Потеряв надежду на то, что мой отец жив, она тосковала по своим родителям. Она спрашивала коменданта, как узнать, куда попали ее близкие. Комендант грубо отвечал, что не знает, но другие говорили, что если ему дать ултха¹, он все в точности сообщит. Мать снова плакала. Однажды Али, сын Якуба, пришел к нам ночью и сказал, что через друга, студента, который учится в городе Фрунзе и который по его просьбе был в переселенческом отделе НКВД, узнал, куда попали наши родственники. Он достал бумагу и прочитал адрес ее родителей — моих бабушки и дедушки по матери.

— Живы ли они, живы ли? — спрашивала мать у Али. Но Али только пожимал плечами: «Напишите!» Когда он ушел, мать взяла амбарную книгу, которая висела на стене в верхнем левом углу, вся засиженная мухами, пожелтевшая, полистала ее, нашла чистый лист, и, присев на топчан, стала быстро писать...

Дедушка уходил на работу раньше всех: во всяком случае я редко заставал его дома по утрам. Все уходили на целый день, и жизнь моя снова продолжалась на улице. Мы, мальчишки, только на улице и встречались, избегая ходить в гости друг к другу. Все мы были голодны, а пойти и застать за едой друга — это ведь мука и для того, кто ест, и для того, кто не вовремя явился. Мы прибыли в это село в конце марта, а в начале апреля была комиссия из района, которая ходила по домам и выжимала хлеб для фронта. Я, Мелис и Сатыбек ходили за уполномоченными и глядели, как они переворачивают дома вверх дном. Мы только хотели посмотреть на что же похожа настоящая пшеница, но увидеть тогда нам ее не удалось. Только в одном доме комиссия обнаружила полмешка кукурузы, на-

¹ Ултха — взятка.

писала какую-то бумагу, положила этот мешок на телегу и увезла. Потом мы долго стояли под деревьями и видели, как женщина в том дворе плакала, а четверо маленьких детей цеплялись за ее подол. Мне очень-очень хотелось вернуть ей полмешка кукурузы, а Сатыбек, обладатель блестящей капитанки, предлагал совершить такой подвиг — догнать телегу с милиционером, арестовать его, объявить врагом народа, а кукурузу вернуть женщине. Мы побежали вниз, к нижним пшеничным полям, которые огибала дорога в район, а потом так и сидели в засаде, пока телега районной комиссии не появилась на повороте. Мы напряглись, приготовились к нападению, но когда телега приблизилась к нам, мы увидели на ней уже не полмешка кукурузы, а целых семь мешков. На мешках сидел тот милиционер с винтовкой, а лошадьми правил еще один блюститель закона. Мы переглянулись. Сатыбек кивком головы дал знак уходить, но мы только привстали и смотрели вслед телеге. Мешки с зерном вырастали перед нашими помутневшими от голода взорами до невообразимых размеров. Теперь мы просто завидовали тому парню, который вел телегу. «Все это на фронт!» — успокоил нас Сатыбек, и нам стало стыдно, что мы хотели отнять зерно у тех, для кого оно предназначалось.

Айна молола кукурузу на ручной мельнице, варила жарму на молоке и мы не распухали от голода, как бывало в других домах. Но к исходу июня опустел тот мешок кукурузы, который бросил в машину смуглый солдатик, а потом с железнодорожного разъезда привез на телеге Рыскул. К тому же и корова Рыскула оказалась стельной, и мы остались без зерна и молока. Все, что было пригодно для продажи, бабушка доставала из сундука, передавала Рыскулу, а тот уходил в город Токмак и к вечеру приносил что-то съестное, что помогало дожить до следующего базарного дня. Но скоро не с чем стало ходить на базар. Айна варила траву, со всякими кореньями, а бабушка доставала из укрытия тот заветный зеленый чайник, который берегла лучше глаза, извлекала из него одну ложку топленого масла и сдабривала им травяную кашу.

— Уже ячмень созревает! — сообщил однажды Рыскул, а дедушка, пряча от нас глаза, глухо сказал:

— Что толку, что ячмень созревает... За один колосок можно сесть в тюрьму...

Рыскул промолчал, словно притворившись глухим.

Не знаю, как добирались на работу мама, бабушка и Айна, как они там пололи и поливали свеклу, не знаю, как

Рыскул с дедушкой справлялись со своими делами, но мне было тяжело и на улицу выходить. Не приходили за мной и Сатыбек с Мелисом. Лучшее положение все же было у Мелиса — у него мать работала учительницей, да наверное, у прабабушки и бабушки были какие-то запасы. Правда, Мелис несколько раз приносил нам немножко муки, один раз даже пшеничной. Но теперь и он не приходил. Айна сказала: «И у них все кончилось!» Мы ели траву, знали, что в каждом доме едят траву, но как и животные, об этом не говорили. Для меня это и по сей день странная тайна — почему люди стыдились признаваться, что едят траву?

И вот когда мы уже потеряли всякую надежду на то, что откуда-нибудь придет спасение, я лежал, бездумно смотрел на стену, обмазанную глиной, и вдруг увидел на штукатурке стены пшеничное зерно! По сей день у меня волосы встают дыбом и не могу понять, откуда нашлись у меня такие силы, чтобы я, совсем ослабевший, уже несколько дней не бывавший на улице, вдруг так заорал:

— Буда-ай! Зер-но-о! Я увидел буда-ай! — кричал я, но встать и показать его не мог.

Мать, наверное, подумала, что со мной что-то случилось, побледнела, опустила предом мной на колени и сказала:

— Успокойся, сыночек... Успокойся...

Она положила руку на мое лицо. Я поймал ее руку, попытался поднять ее на то место, где я видел пшеничное зерно.

— Вот, будай,— сказал я.— Я нашел пшеницу, вот она. Наконец и мама увидела пшеничное зерно на штукатурке. Еще ничего не понимая, она попыталась успокоить меня, уложить нормально.

На мой крик прибежала Чинар. Я обратился к ней:

— Чинар! Гляди, пшеничное зерно! А мама не верит. Чинар сразу догадалась. Она провела руками по стене, и так же, как и я, крикнула:

— Вот еще зерно, вот! И это тоже будай!

Мама успокоилась и открыла двери комнаты, чтобы стало светлее. В толстой глиняной штукатурке дома оказалось много-много пшеничных зерен, потому что дом был оштукатурен еще в те времена, когда люди жили в достатке и ели сытно, и пшеницы в колхозе было немеряное количество. Вот тогда в полоче, добавляемой в глину, попадалось много зерен. Вскоре мы взялись все вместе обдирать штукатурку: ковыряли стену руками, ножами, концами лопаток. Собирали по зернышку, однако наполнили зерном

большую миску. Это было неслыханное богатство! Она, эта миска пшеницы, может быть, и спасла нас, потому что Айна, добавляя по горсти из нее, замечательно готовила сытное варево из трав и корней.

6.

Жюзюм с двумя сыновьями — Али и Магометом и дочкой Фатимат была определена в дом Исаковых, под горой, рядом с родником Карабулак. Ей очень повезло, потому что семья эта была небольшая и старинная, с традициями киргизского гостеприимства. По существу жили там две древние старухи и Мелис, а сноха этих старух Бегимжан с сыном Сайдином жила во Фрунзе. Она была учительницей истории и географии, а Сайдин учился в педагогическом институте.

В тот день в начале июня, как раз перед экзаменами, когда Сайдин приехал, Али входил во двор с вязанкой дров на спине. Али шатался под тяжестью сырого хвороста карагача. Когда Али лег на спину и освободился от наплечных лямок, Сайдин увидел, как пот струился по лицу незнакомого парня. Теперь они смотрели друг на друга: Али — лежа на вязанке хвороста, а Сайдин — стоя над ним.

— Это ты учишься во Фрунзе? — спросил Али как взрослый у младшего.

— Да, — робко ответил Сайдин, хотя года на четыре был старше своего постояльца. — А ты карачай?

— Я из Ак-Су, балкарец, — сказал Али. Он встал и подал горячие руки Сайдину. — Меня зовут Али.

— Я Сайдин! — Он попытался приподнять связку хвороста, но едва оторвал ее от земли. — Тяжелая! — сказал он, покраснев.

На следующий день за дровами они пошли вместе, но уже не за хворостом, а за кураем, в сторону Бураны — так называлось средневековое разрушенное городище с башней — минаретом. Оно находилось на холме, посреди бескрайних полей, и холм этот с крепостными валами летом обрастал густым бурьяном. К осени трава высыхала, становилась крепким кураем, который можно было использовать как топливо. Али не признавал курай за дрова, но пошел с Сайдином потому, что очень хотелось поговорить, да еще и спросить о Буране. В ясные дни он видел башню, торчащую посреди вспаханных и зеленеющих полей, но ему пока не пришлось посмотреть на нее с близкого рас-

стояния. В Кегети ходила, правда, легенда о том, что городище охраняется змеиной ордой, которая не прощает тому, кто осмелится перейти границы городища. Действительно, холм кишел змеями и дети не очень рвались туда, хотя городище со своими развалинами было очень притягательным. И вот Сайдин сказал: «Пошли в Бурану за кураем». И Али, ни слова не сказав, вышел с веревкой в руках. К ним присоединились Мелис и Музафар.

Али понял потом, что Сайдин не зря учится в педагогическом на историка. По дороге к холму он рассказывал историю караханидов — основателей крупнейшего феодального государства Средней Азии и Казахстана. Сайдин не скрывал свою гордость тем, что по материнской линии он унаследовал кровь племени чигили, выходцами из которого являлись караханы.

— Но дело не в самих караханидах, — сказал Сайдин у подножья башни. Али трогал ладонью шершавые камни: за ним стояли притихшие Мелис и Музафар; мальчики невольно прижимались друг к другу, потому что им мерещились змеи, бесшумно скользящие в бурьяне. Музафар уже полюбил Сайдина, потому что юноша очень ему напоминал Мухтара, был чем-то похож на него. «Совсем даже похож!» — сказал себе Музафар, а Сайдин продолжал: — Моя гордость и гордость всех киргизов в том, что здесь родился поэт, ученый и мыслитель Юсуф Баласагуни. Он родился в этом месте и похоронен здесь. — Сайдин взял Музафара за руку и повел его на холм. Мурашки бегали по всему телу мальчика, он озирался по сторонам, но шел, не упираясь.

Когда Сайдин остановился у грубой, со многими трещинами каменной плиты, Музафар даже выступил вперед и пощупал ее рукой. Сайдин прочитал надгробную надпись сначала на киргизском, а потом точь-в-точь перевел на русский язык: «Это могила славнейшего шейха-имам; благородства верующих, гордости спорящих, венца поучающих, прозываемого Мухаммадом, сыном законоведа ал Умара ал Баласагуни, да озарит Аллах ложе его. Аминь!»

— Город, наверное, монголы разрушили? — спросил Али, не отрывая глаз от ушедшего наполовину в землю замшелого камня.

— Нет, — сказал Сайдин. — Монголы даже переименовали город Баласагун. Они называли его Гобалык, что означает «Хороший город». В тринадцатом — четырнадцатом веках он еще процветал, но в следующее столетие, пишут ученые, блеск его начинает тускнеть... А затем, где-то в на-

чале пятнадцатого века, произошло сильное землетрясение, которое и разрушило город. Трещина, вдоль которой мы шли,— это память о том землетрясении.

— А змеи? — сказал Музафар.

Сайдин положил руку на его плечо:

— А ты змей боишься?

— Нет,— сказал Музафар, пугливо глядя под ноги.

Но как бы Сайдин не успокаивал мальчиков, видно было, что развалины городища ими воспринимаются как законные владения всякого рода ползучей твари — недаром тут и норы попадались на каждом шагу. Но уходить Музафару не хотелось, потому что вокруг было множество интересных камней — жернова, остатки надгробий, осколки плит с резным узором.

Сайдин решил повести мальчиков в самый центр Бураны, и вдруг, поднимаясь по древним гранитным ступеням, он увидел дым, идущий из-под земли. Сайдин вздрогнул, отступил назад. «Глядите!» — закричал он. Все застыли — ни живы, ни мертвы. Через некоторое время, одолев первый страх, Сайдин сказал неуверенно:

— В разрушенных городах иногда загорается вековой мусор...

— Смотрите, там и могилы есть! — крикнул Музафар. За дымом чернели два свежих холмика.

— Может быть, это нарыли суслики... — пробормотал Али. Ему приходилось видеть нечто подобное в верховьях Ак-Су. Они сделали еще пару шагов вперед и увидели там, где кончались ступеньки, недавно протоптанную тропинку в высокой траве. Сайдин посмотрел на Али. Али его понял и сказал:

— Не знаю... Хозяин ты!

Сильно билось сердце Сайдина. Но стыдно было отступать.

— Пошли, посмотрим,— сказал он.

За древним валом тропинка повела вниз по косогору, где был вход в какое-то подземелье. Здесь резко запахло князьим дымом. Шедший впереди Сайдин дал знак рукой. Все остановились, затаили дыхание: слышались приглушенные человеческие голоса — то ли жалобные причитания, то ли молитвы. Даже бесстрашный Али замер от страха. Подались назад. Никто из них не помнил, как бежали обратно и как оказались на холме. Сайдин и Али, задышавшись, смотрели друг на друга, оглядывались на тропу, ведущую в подземелье и потихоньку приходили в се-

бя. Мелис и Музафар, готовые заплакать, крепко держались друг за друга.

— А тропа натоптана, туда ходят люди,— сказал Али.

— Или звери,— неуверенно сказал Сайдин.

— А если люди там живут? — Али подбивал Сайдина идти туда.

Видно было, как испуганный и озадаченный не на шутку Сайдин колебался между страхом и любопытством:

— В подземелье?! Но там ни света, ни воздуха... Живыми в могилу что ли?

— Во всяком случае, это укрытие от дождя и холода. Сколько переселенцев на вашей земле...

Долгое молчание.

— Нет, это голоса заживо погребенных...

— Ты что, веришь такой чепухе?

— Голоса заживо погребенных — это не чепуха. Мне прабабушка не раз говорила, что привидения предков всегда возвращаются, особенно когда трудно потомкам. Теперь же война... И переселение,— сказал Сайдин после паузы.— Переселение... прабабушка считает, что переселение хуже войны. Она сама испытала это в шестнадцатом.

— А что было в шестнадцатом году?

— Она говорила, что тираны и завоеватели всех времен одинаковые. Из-за тирании русских императоров многие киргизы бежали в Китай.— Али помолчал, подумал.— А еще землетрясение... Может, еще тогда были заживо захороненные. Вот они и зывают...

— Или переселенцы...

— Переселенцы? — переспросил Сайдин. По рассказам дяди, в доме которого он жил с матерью во Фрунзе, он много слышал о трагической судьбе переселенцев. Дядя его возглавлял какой-то отдел в НКВД.— Да, мне дядя Мукай говорил, что люди иногда устраиваются даже в склепах на кладбище.

— Так что, давай возьмем палки и пойдем.

— Погоди...— Сайдин еще не решился. Он заново прокручивал рассказы Мукай, и с трепетным волнением думал: «Неужели там и в самом деле переселенцы?»

— Ты совсем растерялся, Сайдин,— сказал Али, когда молчание товарища затянулось.

— А что? Может ты и прав... Пошли...

Они выломали палки в ложбине и вернулись к подземелью. Там они снова слышали человеческие голоса; из глубины пробивался слабый свет. Они с опаской двинулись вперед по узкому проходу.

— Дед мне рассказывал...— Музафар хотел что-то сообщить шепотом.

— Тише! — сказал Сайдин и сделал еще несколько шагов.

— Что рассказывал дед? — спросил Али у мальчика.

— Я говорю, что может быть тиф...

— Тиф? — Сайдин резко повернулся к Музафару. Это меняло дело. Он слышал от того же дяди, что на Иссык-Куле и на Сыр-Дарье свирепствует тиф, что им охвачены не только переселенцы, но и сами киргизы, казахи, узбеки...— Вернемся! — твердо сказал он.— Здесь действительно может быть тиф и люди прячутся. Дело не только в нас самих, мы можем перенести заразу.

— Но мы не знаем! — упрямо сказал Али.

Сайдин заколебался.

— А дед рассказывал, что все в мире повторяется,— разговорился Музафар.— Он в моем возрасте в Измире...

— А это где? — перебил его Мелис.

— Это в Стамбуле,— уверенно сказал Музафар.— Да, это в Стамбуле. Когда там был тиф, деду моему было семь лет. Теперь мне семь... Но тогда дед мой не заболел, а вернулся в Жамауат и достроил дом своего отца.— Музафар протиснулся вперед и, к удивлению старших, пошел дальше.— Я тифа не боюсь.— Юноши не успели ему и слова сказать, как Музафар очутился на пороге подземного жилища, напоминавшего грот или пещеру со сравнительно ровными стенами из старинного кирпича и отверстием в центре покатого потолка, кое-как собранного из заплесневелых бревен и жердей, а снаружи, видимо, покрытого дерном. В середине помещения было грубое подобие каменного очага, от которого вилась к потолку струйка кизячного дыма. На глиняном полу лежал труп, накрытый грязноватым одеялом, рядом сидели две женщины и не то чтобы плакали, а как-то тихо подвывали хриплыми голосами. У стены стояли три босые девочки в рваных платяцах и были они такими тощими и жалкими, что казались неживыми. Когда ребята вошли, одна из женщин, не поднимая головы, равнодушно проговорила:

— Оставил нас, проклятый! — И вдруг упала на мертвое тело — то ли сознание потеряла, то ли решила помолиться таким образом.

— Как вы сюда попали? — не к месту и как-то неуверенно спросил Сайдин, а Али молча оттянул женщину от трупа.

— А куда нам было попасть? Нет жилья для нас на земле...

— Но...

— Наверху много готовых ям. Они для всех нас заранее заготовлены. Умирая, мы поднимаемся выше.— Женщина, которая говорила это, была, как понял Сайдин, совсем еще молодая и образованная, только согнутая горем и изъеденная сыростью и голодом.— Не спрашивайте ничего у тех, кто заживо спускается в подземелье.— Она поднялась, пошла в угол. Сайдин увидел перед нею нечто вроде сундука. Она достала оттуда кусок белого материала и молча передала его Али.

Али обернул труп этой тканью.

— Надо зарыть его наверху, в провалившейся старой могиле...— Молодая женщина, сказав это, прижала к себе плачущую родственницу.

— Держи, Сайдин, вынесем...— Сайдин удивился тому, что Али, такой еще юный, обращается с трупом без страха, привычно, как взрослый. А он дрожал.— Не оставлять же труп женщинам. Поднимай!

— Мы вдвоем уже двоих зарыли... Отца ее и моего ребенка. А это ее муж.

Али и Сайдин несли труп по темному узкому проходу, за ними шли две женщины и Музафар с Мелисом...

Девочки, которые стояли у стены, точно комки голода и страха, там и остались — в обезлюдевшем темном и холодном гроте они действительно казались привидениями. Музафар поразился тому, что за все это время они даже не шевельнулись, не подали голоса, только оцепенело поглядывали то на мертвого человека, то на пришельцев.

— Ударник был. В тридцать девятом на съезд ездил, в Москву. Орден имеет...— рассказывала женщина.

— Имел! — сердито сказала жена умершего. Она сгребала землю в яму руками.— Но что он стоил, этот орден? Куска хлеба за него не дали! Вот, похороните его вместе с ним! Она достала из складок платья орден и бросила его на труп. Музафар шагнул вперед и увидел орден — красивая была вещица и ему стало ее жалко.

— Это развалины старинного городища Баласагуни,— Сайдин неуклюже пытался вернуть несчастных женщин к жизни.— Оно было разрушено землетрясением...

— Землетрясение...— повторила молодая женщина равнодушным голосом.— Тогда оно, наверное, пощадило людей, хотя бы половину из них... Наверное, не совсем лишило их крова.— Сидя на коленях, она выровняла руками мо-

гильный холмик. В каждом роду хоть кто-то остается и после землетрясения. А выселение... Это сталинское землетрясение кого оставит? Кто из нашего рода выживет? Вон, мои девочки... Они еще не в могиле, но уже мертвые. Да мы и поселились в подземелье не ради того, чтобы выжить... Когда умрет последняя из нас, смрада не будет...

Тяжело потом они возвращались. Но не вязанки курая давили им на плечи. К земле мальчиков пригибал призрак великой людской беды, который они были теперь обречены носить в своих душах и памяти до конца дней. Какие бы дороги ни вели по жизни этих четырех будущих мужчин, они, эти дороги, всегда будут проходить через руины старинного городища Баласагуни.

7.

Только шоштарову семью оберегал Бог от всех напастей. Для Марифы с ее выводком переселение не обернулось бедой, оно было неизбежным следствием шоштаровых деяний, и Марифа, готовая ко всему, приняла новое бытие с легким сердцем. Почва киргизского аула Кегети оказалась для нее вполне приемлемой, и она принялась на ней, как живучий саженец ивы. То, что дочери вынуждены работать вместе с другими — так это ничего, ведь и в Жамауате они не могли бы отсиживаться дома, пришлось бы трудиться в колхозе. Главное, они и здесь выходят из дома сытыми, хорошо одетыми, защищенными от холода, зноя и людских пересудов... При всем при том Марифа, может и сама Светлана, склонили коменданта к тому, чтобы он разрешил ей, Светлане, служить в конторе. Тут, конечно, сыграла свою роль не доброта коменданта, даже не страсть его к золотистой девушке, а нужда в грамотном человеке, хорошо владеющем русским языком и способном составлять бумаги для районного начальства. Это понимали все, но Марифа лукаво твердила об исключительной человечности Юдина и даже преподнесла ему красивую бутылку греческого коньяка, добытую ею в сорок третьем году у немцев и с тех пор хранившуюся на дне сундука. Стать секретарем сельсовета переселенке, да еще дочери полиция, само по себе являлось неслыханным достижением. Но мало того — к августу 44-го Марифа уже имела постоянный пропуск на поездки в город Токмак, где были магазины и большой базар, а главное, там проходила железная дорога, по которой шли поезда с запада на восток и с востока на

запад. Во время коротких остановок поезда кое-что вываливали загребушие руки набравшего силу черного рынка. Город лежал вдоль реки Чу, где на той стороне, за ивовой рощей, начинался Казахстан, и на токмакский базар стекались лихие коммерсанты из двух республик. А добыть здесь можно было что угодно, начиная от американской тушенки и кончая финским ножом.

За Любой, Кларой, Надеждой и Леночкой было закреплено по гектару свеклы. По утрам три сестры — Люба, Клара и Надежда — выходили вместе, а Лена вставала чуть свет и исчезала раньше них. Марифа со Светланой поднимались не спеша, завтракали, тоже не наспех. Потом Светлана приводила себя в порядок у зеркала, а Марифа собирала товар на продажу. Около девяти Марифа аккуратно заводила золотые швейцарские часы — от греха подалее, она носила их в сумке — и вместе со Светой выходила из дому. Светлана отправлялась на службу в контору, а Марифа — на свой торгашеский промысел.

Изо дня в день продолжался тот незримый, обычно безмолвный конфликт между Леной и всеми остальными, считая и отсутствующего главу дома Шоштар. На чужбине он продолжался с новой силой, и каждая сторона была непримирима. Злая судьба заставляла их жить под одной крышей, садиться за один обеденный стол, и даже по вечерам что-то говорить друг другу. Когда грянула война, и Шоштар однажды решил, что новый немецкий порядок принесет ему более жирную жизнь, чем Советская власть, Марифа, накопившая к тому времени изрядное количество денег и ценностей, уже не во сне, а почти наяву видела себя помещицей, одевалась как княгиня и старалась быть на виду у немецких офицеров. Принимая их у себя дома, она, подражая русским женщинам в гостинице «Нарсана», ходила в атласном халате, совершенно не подозревая о том, что у просвещенных немецких офицеров это вызывало лишь смешливое презрение к туземной темноте и дикости. Гости, конечно, притворялись неизменно любезными, но желанного внимания с их стороны к своему пока еще налитому соками жизни телу она не замечала. «Ах, какая генерала!» — говорила она любому ефрейтору и даже при взрослых дочерях не стеснялась своего вожделения. Однако они, эти подлые немцы, не только не принесли богатства дому Шоштара, а едва унеся ноги, оставили после себя не изобилие, а мерзость запустения, да горе в каждом доме. Вместе с ними ушел и сам Шоштар, который всегда искал высокого положения в обществе, но каждый раз после, ка-

залось бы, плодотворных усилий, вновь и вновь скатывался в зловонную выгребную яму.

Будучи сама сильной натурой, Марифа, вопреки очевидности, видела в слабостях своего мужа силу, а его шархания из стороны в сторону объясняла не безволием Шоштара, а неудовлетворенностью тем, чего он достигал. Когда дочери пытались выразить недовольство жизнью отца, она убеждала их, что только сильные мужчины никогда не смиряются с тем, что есть, а идут дальше, оттого и кажутся излишне суетливыми.

— Ну уж, служить врагу не является признаком силы! — Не выдержала однажды Леночка.

Ее дерзкое заявление было воспринято матерью и только что спорившими с матерью сестрами как предательский выпад, и все дружно заорали хором:

— Не твоего ума дело!

Лена не считала, что это не ее ума дело, и обет молчания, данный себе в ту ночь поблизости от Тешик-Кая, нет-нет да и нарушался, когда запах кровавой грязи, занесенной в дом ее отцом, становился особенно нестерпимым. Она тогда что-то выкрикивала в лицо сестрам и матери, а те, пораженные ее смелостью, сначала затаивали дыхание, а потом взрывались злым смехом и с нарочитой циничностью ковырялись в смердящей отцовской нечисти. А Лена мечтала о чистом воздухе, потому что только в чистом воздухе люди могли светло смотреть в глаза друг другу. Мечта, однако, представлялась недостижимой. И причиной здесь, наверное, была та роковая ночь, когда она увидела отца, едущего верхом на коне впереди пятерых молоденьких подпольщиков со связанными за спиной руками, да еще соединенных вместе одной веревкой. Она невольно вскрикнула тогда, но отец ее не услышал и только зло бросил пленникам по-балкарски «атлагъыз» — быстрее! Лена никогда никому не рассказывала об этом случае: так бывает, когда человек боится рассказывать о встрече с нечистой силой или кошмарным привидением. Да, привидением, потому что после этого ночь так и осталась для нее ночью, утро не наступило. Она давно вернулась, стояла во дворе, ходила. Затем продрогла — в ноябре в легком плаще было холодно, но в дом войти боялась: вдруг он уже вернулся и, обнаружив ее отсутствие, ждет? Ждет не для того, чтобы видеть дочь — он давно ее не видел, он никогда не смотрел ей в лицо, а для того, чтобы, не глядя, спросить: «Где была?» Боялась, что не выдержит бессильной ярости, а, может

быть, позора, унижения, стыда и бросит отцу в лицо: «Я видела!» Это было бы концом, открытым разрывом на веки веков. Внутренне они уже давно не были отцом и дочерью, не были ими с самого рождения Лены, а уже после того, как он явился домой с белой повязкой на рукаве, с немецким автоматом и в немецких сапогах, она уже и не могла считать его отцом. Все в доме — Светлана, Люба (Клары не было дома, она гостила у тетушки) и Надежда рассматривали его блестящие сапоги, а он говорил матери: «Немцы принесут нам порядок и изобилие!» Лена прошла мимо. Кажется, Люба крикнула ей: «Гляди, какие сапоги у отца!» Но Лена споткнулась о порог внутренней комнаты и едва удержалась на ногах.

В «девичьей» комнате Светлана с Надеждой спали на тахте, Люба и Клара — на широкой деревянной кровати, а Лена одна — на узеньком топчане, доставшемся ей в наследство от бабушки Раппана. Сестры шушукались, хихикали, говорили немыслимые непристойности, от которых Лена краснела под одеялом. Лена никак не могла понять своих сестер — они были неподвластны никаким девичьим, что ли, законам. Сама же Лена для них оставалась такой недоразвитой куклой, с которой можно иногда позабавиться, потом забросить в темный угол, а если понадобится, то опять извлечь на свет Божий.

Взрослея, она с особой женской интуицией предчувствовала свою будущую жизнь и готовила себя к испытаниям, не рассчитанным на ее слабые силы.

Марифа носилась между Жамауатом и Нарсаной. Отец редко бывал дома. На дальних фермах, на отгонных пастбищах все заслуживал награды и поездки на разные съезды и выставки. Когда бывал дома, он, казалось, избегал встреч с дочерьми, а Лену он и вовсе не замечал: с пустым местом встреч не избегают. Она не помнила, чтобы он ее брал на руки. Старшие сестры, как замечала Лена, тоже не бросались отцу на шею, хотя и не видели его месяцами. При всем непокидающем ее страхе, Лена когда-то мечтала побегать ему навстречу, обнять его, заплакать и... все бы образовалось! Все бы образовалось, только бы он взглянул на нее. Ничего бы не сказал, а просто взглянул и этим взглядом выразил что-то отцовское, пусть суровое, недовольное, но отцовское! Но он упорно не глядел в лицо младшей дочери, и младшая дочь, бестолково трепеща перед ним, теряла всякие надежды, уходила и больше старалась не попадаться ему на глаза.

То что случилось потом, в сентябре 53-го, ровно через

одиннадцать лет после того, как она **УВИДЕЛА**, могло бы случиться гораздо раньше, если б немцы ушли, а отец остался. Но с немцами, вернее, с их жалкими остатками, ушел и отец. Это продлило ее жизнь. Или ее мученичество, правда, уменьшив его ровно на столько, сколько места занимал отец в ее душе.

В первое же лето на чужбине ее настиг еще один удар, который тоже надо было хранить в тайне, запрятать в ту же безмолвную глухую глубину, куда она запрятала **УВИДЕННОЕ** между мельницей Хамзата и Тешик-кая. Этот удар ей нанесла Светлана вместе с комендантом Юдиным. Она мучительно терпела его семь лет, семь бесконечных лет одиночества. В долготерпении она лишь сильнее становилась. Женщины на свекловичных плантациях поражались ее выносливости. Казалось, у Лены свои особые счета то ли с этой проклятой жизнью, то ли с этой высасывающей все соки свеклой. Здесь женщины не зря ходили горбатыми в тридцать лет, на них страшно было смотреть, но их еще понукали, гнали, унижали, да еще заставляли с просветленными от счастья лицами петь хвалу вождям, ведущим их в светлое будущее. Лена, казалось, желала себе участи еще более тяжелой — приходила на поле раньше всех, а уходила позже других. Она ни с кем не разговаривала, не смеялась, не шла с женщинами, когда те, спасаясь от полуденного пекла, прятались под тенью ивняка в овраге. Под изнуряющим зноем азиатского солнца в поле маячила одинокая фигурка Лены. В ее яростном упрямстве угадывалось отчаянное сопротивление, единоборство с каким-то заклятым врагом — похоже, с внутренним загадочным недугом, и этому единоборству она отдавала все непонятно откуда берущиеся силы и доводила себя чуть ли не до последнего издыхания. Женщины звали ее, жалели, ругали, но она лишь в конце дня, опаленная зноем, плелась к ручью, протекающему по дну оврага и, не снимая платья, бессильно плюхалась в воду и лежала в воде, пока не приходила в себя.

В тот день она проснулась, будто свинцом налитая, и не смогла встать, как обычно, чуть свет, не смогла пересилить себя и позволила себе поспать еще немного. Когда она снова проснулась, трех сестер уже не было дома, только «начальница», как звали Светлану теперь, сидела у зеркала и наводила красоту. «Заболела что ли, душечка?» — спросила не оборачиваясь Светлана. Тугая золотистая ее коса уже была заплетена, а на белые ножки надеты туфли. Свет-

лана единственная ходила в туфлях на высоких каблуках в этом высоком ауле Кегети, и это блестящее дополнение к ее изысканному городскому платью делало гордую девушку еще привлекательнее, еще ярче выделяло ее и среди балкарок и среди киргизок, не умеющих «подавать себя» ни с помощью одежды, ни с помощью кокетливых манер.

Лена молчала, и Светлана повторила:

— Заболела, душечка? — Ее излюбленное словечко звучало больше как «дурочка», независимо от того, к кому она обращалась — мужчинам или женщинам, старым или малым. В ее тоне всего было понемногу — и чувства превосходства, и презрения, и ехидства.

— Нет, сейчас встану, пойду на работу. — Лена поднялась, прошла мимо сестры во двор, а чуть позже, когда Светлана уходила, она сидела под тополями в тени, обливаясь холодным потом.

— Сегодня комиссия. Районная комиссия, нельзя оставаться дома.

— И не думаю, — ответила Лена, собрав все силы.

Через несколько минут она пошла к арыку, который протекал по краю двора, умылась, вытерлась, но вернувшись в дом, не смогла одеться, нельзя было даже устоять на ногах — кружилась голова, свинцовой тяжестью давила боль в груди. «Тиф!» — эта страшная догадка окончательно обессилила ее, и Лена не легла, а прямо рухнула на свою постель и забылась.

Когда она снова проснулась, был уже полдень. Ей стало гораздо легче. Надо бы скорее в поле: если придут и застанут ее дома — конец, могут арестовать, а в лучшем случае к ее гектару свеклы прирежут еще десятую, а то и две. Она быстро встала, умылась еще раз в арыке, оделась. Затем, уже направляясь к дверям и уже не помня ни о каком тифе, через маленькое окошко она увидела ИХ. Светлана шла впереди, комендант Юдин — за нею. Первое, что Лена испытала — это ужас. Нет, не страх, а ужас! Как затравленная, она металась по комнате, хотя и думала при этом: «Пусть арестуют, пусть! Зато не увижу больше этих!..» Между тем Светлана, по-видимому, испуганная тем, что двери дома не заперты, замешкалась во дворе. Это пока и спасло Лену: она сообразила, что можно спрятаться от коменданта под старой железной кроватью, добытой матерью на токмакском базаре. Под эту кровать запихивали всякий хлам, домашнюю рухлядь, а часто и грязное белье. Не станет же комендант копать при девушке в этом барахле! Лена протиснулась под низкую, покрытую большим изношенным

одеялом кровать, а Светлана, дернув двери, убедилась, что она не закрыта и на крючок изнутри. Но прежде чем войти в дом, она осмотрела еще раз двор и только потом вошла. «Младшая у нас такая безалаберная, часто оставляет дверь незапертой» — сказала Светлана, а комендант весело успокоил ее: «Я не видел ни в одном киргизском айыле, чтобы дом на замок закрывали...— А потом, уже в доме: — Эти бараны не умеют даже замками пользоваться...» Ну, на такие шутки Светлана умела отвечать. Она сказала: «У этих баранов ничего нет, чтоб держать под замком, а у нас есть...» — И голос ее вдруг стал томным. Комендант промолчал, но Лена услышала, как его китель, звеня медалями и металлическими пуговицами, упал на табуретку. Затем стукнулись о пол сброшенные сапоги. «Аллах, — взмолилась Леночка, — да неужели сестра, еще незамужняя, может такое себе позволить?» На мгновение она открыла глаза и сквозь отдушину в тряпье, которым была прикрыта, увидела волосатые ноги коменданта и молочно-белые ноги сестры. Создавалось такое впечатление, будто комендант принес какой-то подарок Светлане, какую-то игрушку, и теперь, чтобы продлить удовольствие, он поддразнивает ее, держа свой подарок в поднятой руке, а Светлана тянется вверх и даже подпрыгивает, пытаясь достать игрушку. При этом она тихо стонала, а комендант часто дышал, точно зверь, настигший свою жертву. И одновременно, прямо у кровати, падали на пол части одежды — сначала женской, а потом и мужской.

— Я постелю, — шепнула Светлана.

Платье прилипало к телу Лены. Она лежала, крепко прижав сведенные кулаки ко рту, моля Бога превратить ее в такую же старую рухлядь, которая валялась под кроватью, и смешать ее со всем этим хламом.

Комендант сказал сиплым голосом:

— Сойдет и так.

Узкая железная кровать над Леной заходила ходуном, застонала, закрипела, как несмазанная телега. Знойный вихрь ворвался в дом, ударил в стены, смешал пол с потолком, и Лене казалось, что это продолжается бесконечно долго и бесчинству знойного вихря не будет конца. Но вдруг несмазанная телега остановилась, пол и потолок тихо вернулись на свои места, стены перестали дрожать.

Через несколько минут Лена услышала, как во сне:

— Ты чего это не сказала? Я и не думал...

— Сомневался, душечка... Придется отвечать.

Комендант молчал.

— Душечка, а скажи, я тебе нравлюсь? — вкрадчивым тоном спросила Светлана.

— Опыта маловато, — ответил Юдин. — Вот когда наберешься опыта, равных тебе не будет.

— Только и всего? Женись, и опыт скоро появится.

— Дура! Если жениться на каждой, с которой бываешь теперь...

— Ладно! — Перебила его Светлана обиженным голосом. — Там видно будет.

— Услышала бы тебя моя баба!

Светлана хихикнула и уже весело сказала:

— Вот именно баба. А тебе нужна такая девушка, как я.

— Ну уже теперь девушка... — Тут снова закрипела кровать, и вихрь, точно спохватившись, ожил заново. Тугая Светина коса свесилась с кровати и закачалась, забила над полом, словно змея, схваченная за глотку.

Наконец кровать, грозившая развалиться и обрушиться на Лену, застыла в изнеможении, и голые ноги Юдина опустились на пол. Снова послышался спокойный голос Светланы:

— Вот именно — баба... А ты бери меня и будешь сильнее, богаче всех других мужчин.

— А я и так сильнее всех мужчин, — сказал комендант. Его жилистые покрытые рыжеватой порослью ноги поддвигали к себе одежду. По-видимому, Светлана его обнимала или просто придерживала, потому что он сказал: — Довольно, отпусти. Таких, как ты, ныне хоть пруд пруди. Счастлива будь, что имеешь мужчину. — Он, наконец, вырвался из рук утомленной девы и стал натягивать бязевые кальсоны со штрипками.

— Вот сестра твоя... как ее зовут?

— Клара... Я знаю, когда она приходит расписываться, ты с нее глаз неводишь. Но не надейся, она не такая дура, как я...

— Пропадет же середь бела дня... Нет же мужчин, способных... Я могу облегчить ее жизнь, как и тебе. Если бы не я, и ты пеклась бы на свекле, как и все. Поди, погляди на этих женщин...

«Аллах, если ты есть, дай мне бомбу, Аллах, если ты есть, дай мне взорвать их», — молилась Лена.

— А ты и в самом деле мерзавец, — сказала Светлана и заплакала. — Когда-нибудь я сделаю так, что ты сильно пожалеешь...

— Да я пристрелить тебя могу, девка! Или запрятать туда, где ты увидишь настоящих мерзавцев. Я тебе добро делаю! Думаешь, твоя туземская задница многого стоит? Или хотела, как там, у вас на Кавказе, говорят, чтоб и шашлык поджарился, и вертел не закоптился?

Светлана перестала плакать:

— Ты прав, душечка. Забудем этот неприятный разговор.

— Так-то будет лучше.

Они оделись. У дверей еще раз обнялись, поцеловались. Потом Светлана взяла его под руку и они вышли из комнаты.

Да, теперь не было сомнения, что над Леной продолжает довлеть рок, избравший ее своей жертвой еще в утробе матери. Еще с того дня далекого тридцатого года, когда ее будущий отец нещадно избил сельского дурачка Абей, который при людях заявил Шоштару: «Я хочу спать с твоей женой!». Дурачок Абей всем это говорил, но все только смеялись и обещали ему скоро это устроить. Шоштар отнесся к притязаниям Абей по-зверски потому, наверное, как догадывались люди, что глиняная пыль Кисловодска у него тоже в носу свербила. Иначе зачем избивать дурачка кнутом до крови! Люди поздно застали эту расправу и не успели предотвратить позора. Правда, Хаджибекир вырвал у Шоштара кнут и наставил ему синяков под глазами. Дурачок Абей плакал. Мужчины возмущались, пока женщины не увели блаженного, чтобы умыть его и накормить сладостями. Абей почитался, как и все дурачки на свете, святым и неприкосновенным. Обидеть левца или блаженного означало накликать беду на все селение, а то и на весь народ, а Шоштар, ожидавший со дня на день рождения нового своего ребенка, с этим не посчитался. И кнут Шоштара, как лет десять спустя толковала одна заумная старуха, оказался накрепко связанным с судьбой Лены. И Лена чувствовала, что это так и есть: роковой кнут еще не раз пройдет по ее жизни и обрушит на нее такие удары, какие только она одна и сможет выдержать. Удары, от которых любая из ее сестер рассыпалась бы, как песчаная баба. Впрочем, ее сестры были защищены хотя бы тем, что каждая по-своему, но в точности, повторяла свою мать. Так что открытой, незащищенной, но именно поэтому самой сильной и стойкой, готовой даже свою жизнь во имя помысла святого отдать на закланье, была только Лена. Да, по существу она и родилась для этого — сколько раз Марифа хотела сделать аборт, ездила и по докторам в Нальчик, и с по-

мощью знахарей жамауатских пыталась выхолостить свое нутро, но плод упорно развивался, ждал во чреве своего часа. Может, уже тогда готовился к злосчастной своей судьбе, ибо во тьме материнской утробы предчувствовал, что, родившись нежеланным, не сможет наслаждаться радостями светлого мира.

— Если сын будет — твое счастье! — говорил Шоштар многозначительно, и слова его четко, как вырубленная на камне скрижаль, чеканились в крохотном мозгу еще не родившегося ребенка.

Когда она выскользнула мокрым слизистым комком на свет Божий, дом Шоштара огласился дружным воплем разочарования повивальных бабок:

— Опять ты, Марифа, принесла кырык¹!

Бедняжка, впервые в жизни подавшая свой голос в этом мире, вдруг оборвала свой крик, увидев осуждающие взоры женщин. Так и пошла потом жизнь: отец не глядел в ее сторону, мать проклинала... Бывало, она надрывалась в мокрых пеленках, но никто в доме не оставлял ради нее своего дела. Если кто и подходил, то лишь нервно качал колыбель, чтобы поскорее уснула. Да, ни ласки, ни тепла она так никогда и не узнала, хотя неизбывная мечта быть обласканной родителями и самой чем-то их радовать в ее душе никогда не умирала. Родители, однако, и не подозревали о том, какую душу сумели породить в своем доме. Зато чужие люди со временем это поняли и поговаривали: — Аллах, Марифа напоследок ангела породила!

Только в школе она жила достойной жизнью. Учебка настолько легко давалась ей, что казалось, будто она не сама учит уроки, а за нее кто-то учит, кто-то отвечает, получает неизменные пятерки. Кто-то следил также за ее красотой, расцветающей подобно нежному застенчивому цветку. Она и стеснялась своей красоты, стеснялась даже своих безупречных ответов на уроках. Ее почему-то сторонились сверстницы.

Да и сама Лена никому не набивалась в подруги, словно запоздалое, нежелательное рождение заведомо обрекало ее на одиночество. Одиночество — до того рокового часа, когда отец вернется из лагеря и принесет с собой крепкую бечевку...

¹ Кырык — выдолбленная из ствола дерева колода — водоотвод; здесь: девочка.

«Встань!» — приказала себе Лена, как могла бы приказать «Умри!» Затем она и впрямь подумала: «Умереть?» Но все же нашла в себе силы усмехнуться над собой и решить: «Теперь уже нет. Раз так — теперь уж ни за что!» Она подползла на четвереньках к своей соломенной лежанке, стоя на коленях, развернула убранный постель, легла в нее и мгновенно уснула.

Лена проспала до вечерней звезды; ее будили, тормошили, а она лишь пыталась перевернуться на другой бок и спрятать голову под одеялом или подушкой. Женские негодующие голоса сливались в одно монотонное жужжание — дура, вставай, умерла, что ли, сонной смертью... Она уже проснулась, но чего-то ждала, очень ждала, не догадываясь сначала чего именно. Потом, различая голоса сестер, она поняла, что Светлана тоже дома. «Хорошо!» — подумала Лена. Она поднялась, вышла на улицу, уже третий раз за день умылась в арыке, на звезды поглядела — большие, низко над землей висят и такие безмятежные... Когда вернулась в комнату, все сидели за столом: по одну сторону — Светлана, Люба и Клара, по другую — мать и Надежда. Лена села напротив Светланы и украдкой поглядывала в ее лицо: никаких изменений, та же надменность, то же снисходительное презрение по отношению к окружающим. Лене очень хотелось швырнуть тарелку с похлебкой в это спокойное лицо, обрамленное светящимся в лучах лампы золотистым ореолом, но не поддавалась искушению. Она встала — думать о еде было тошно — и пошла в свой угол.

— Что это с ней? — спросила Люба.

— У нее, наверное, это самое... — решила Клара. — Трудно переносит.

8.

В феврале 45-го в Чуйской долине Киргизии стояли лютые морозы. Аксакалы Кегети не помнили такой зимы — приземистые глиняные домики едва виднелись из-под снега, а чтобы ходить куда-то, надо было рыть траншеи. Жизнь села, и без того оторванного от большого мира, словно замерла; лишь чахлые дымки поднимались над плоскими земляными крышами.

Зато в марте солнце так резко набралось сил, что в несколько дней покончило с этим заснеженным безмолви-

ем. Днем и ночью по обочинам дорог бурно текли талые воды, узкие улочки айыла превращались в реки, и дети, стоя по разным берегам, весело перекрикивались друг с другом, а самые отчаянные шлепали прямо по воде босыми ногами, теми, выдавшими виды ногами, что уже не будут знать обуви до будущей зимы. К середине марта снега как не бывало, в межах зазеленели ростки лопуха, а девочки ходили с приколотыми в волосах пучочками подснежников. С верховий дул уже не колючий, а легкий ласковый ветерок, но взрослое население Кегети радовалось мало: продовольственная комиссия, совершившая свой последний набег в январе, была гораздо суровее зимы. Люди из района опять переворошили все в домах и увезли все, что только могли выскрести. Теперь начинался настоящий голод.

О Международном женском дне в Кегети помнили, но праздником его не считали. А для переселенцев день этот вообще был траурной датой — женщины готовили и жарили лакумы, чтобы помянуть умерших в пути родных и близких. Такие поминки устраивали и в доме Хамзата.

Хамзат считал, что может благодарить Бога — для его семьи год прошел удачно. Правда, не было весточек от двух его сыновей, зато он сумел уберечь от голода Муза фара, ради которого, казалось, только и жил теперь. Остатками кукурузы из того мешка, что бросил в кузов «студебеккера» смуглый солдатик, Хорасан засеяла огород, и кавказское зерно дало такой сильный урожай на непривычной для него земле, что его хватило бы семьям Рыскула, Кайыта и Хамзата хоть как-то дотянуть до нового урожая, однако лихая январская комиссия внесла свои поправки в скромные расчеты этого дома, как многих других домов. И сейчас у истощенных, еле живых людей, мало радующихся наступившей весне, все еще звучали в ушах слова: «Скоро война кончится, наши части уже на подступах к Берлину! Отдавайте для фронта все, до последнего зернышка!» В незатейливых глиняных домах киргизов прятать что-либо было негде, да они этого и не умели делать. И зря члены комиссии переворачивали в жилищах жалкий семейный скарб, стояли с оружием у дверей: у всех все было на виду — и последнее зернышко, и тоска, и голод...

Но дни шли. Хорасан снова копала корень лопуха, умудрялась что-то состряпать из него, но семья по-настоящему голодала. Страх за жизнь внука снова тревожил Хамзата. Мальчик слабел, еле переставлял ноги, хотя и, подражая взрослым, не жаловался. Хамзат в отчаянии обра-

щал к Небу свои взоры, с болью и обидой взывал к милосердию, но кончался март, и никаких надежд на манну небесную не оставалось.

— Люди говорят, что в Покровке русские на серебро и золото меняют зерно,— сказала Хорасан однажды вечером.

Недавно кончилось ведро ячменной муки, которой ода-рил их мельник Макар. Этот раскулаченный русский поче-му-то особо был расположен к слепому Кайыту и его жене Дарийне. Кайыт с упрямством слепого повторял: «О Стали-не я песни пел, а он мне не помог, про кулаков ничего не пел, а Макар мне помогает...»

Хамзат посмотрел на жену со стыдливой обреченностью. В их сундуке оставалась единственная ценность — это га-зыри Мухтара, купленные ему Муссой на базаре в Дагеста-не. Шестнадцать газырей из черного серебра с позолочен-ными колпачками, на которых были начертаны святые имена Хызыра и Ильяса — покровителей путников в их дальних и опасных странствиях... Пока они лежали на дне сундука, Хамзат и Хорасан с молчаливой надеждой гляде-ли на дорогу: все-таки у них был талисман, который, воз-можно, оберегал и Мухтара. В самый трудный первый год они сумели уберечь газыри, а теперь, похоже, пришел черед расставаться и с ними.

На следующее утро Хамзат сказал:

— Достань их, дочь Гобара, достань... — И чтобы не за-плакать он встал у единственного оконца спиной к сун-дуку.

Музафар проснулся, присел на постели.

— Аппа! — сказал он. — Мне приснился Мухтар...

Музафар понимал положение в доме и догадывался, на какой тяжкий шаг решился дед. Никакого сна мальчик не видел, но по-детски наивно хотел утешить деда. А дед воспринял это как плохое знамение — то, что являлось неприкосновенным, приносилось в жертву! Он не ответил внуку, взял сверток из дрожащих рук жены и пошел как во тьме, будто ничего не видя перед собой.

— Аллах поможет, я принесу пуд кукурузы,— сказал Хамзат. Но это было бы слишком хорошо, как в сказке...

Он сделал пару шагов по двору, и вдруг словно кто-то невидимый, дерзкий, враждебный резко остановил его. Хамзат растерялся, попятился назад, оглянулся, как бы ища помощи. Вот тогда он и увидел эту прислоненную к стене палку, будто кто-то заранее приготовил ее для Хам-зата, чтобы он мог в минуту испытания получить неожи-данную опору. «От голода!» — подумал он, чувствуя голо-

вокруге и дрожь в ногах. Еще немного, и он бы повалился на землю; в страхе он быстро протянул руку к палке и схватил ее. Когда он ощутил рукоять в ладони, то удивился ее подогнанности и надежности. Она прослужила ему восемь лет, и Хамзат никогда не переставал теряться в догадках, кто же вручил ему, да еще так вовремя, эту палку, кто выстругал ее с таким знанием дела из рябины, такую красивую, с бугорками, с утолщением кверху и слегка загнутой удобной рукоятью? (Уж не была ли она ниспосланием свыше? Хотелось, по крайней мере, верить в это). Почти восемь лет она служила ему, послужила бы и дальше, если бы в тот день, стараясь успокоить себя, он не ударил ею изо всех сил о землю, и твердый рябиновый посох не разломился надвое.

Русское село Покровка стояло километрах в тридцати от Кегети. Дорога все время шла под уклон, но Хамзат продвигался с трудом. В ногах постоянно ощущалась слабость, на лбу выступала нездоровая испарина. Порой начинала кружиться голова, и тогда дорога дергалась, извивалась перед глазами, как раненая змея. Чтобы не потерять равновесие, он твердо упирал палку в землю, как будто вбивая ее, и стоял, пока дорога не переставала бугриться и уходить из-под ног.

Иной раз он садился на придорожный камень или на кочку и сидел, поставив палку между ног и цепляясь руками за ее верхний конец, так удерживал на весу свое тело. Его тянуло ко сну: весеннее солнышко расслабляло и манило растянуться на земле, да так и остаться лежать в бездумном оцепенении. Не будь Музафара, он бы, наверное, не устоял перед искушением, только свернул бы с дороги да спрятался бы где-нибудь в камнях, как уходящая умирать собака. Но с того самого дня, а точнее, часа, когда капитан Крайнев снял с его пояса нож и загнал его вместе со всеми в крытую зеленую машину, он помнил лишь одно: Музафар! Нельзя умирать, покуда внук не станет на ноги! И на этом тяжком пути к русскому селению Покровка, где, по разговорам, меняли драгоценности на хлеб и где жили состоятельные люди, он думал прежде всего о Музафаре и — даже больше того — о продолжении рода. В кошмарный первый год, когда голод не обходил ни один дом, Хамзат, скупое тратя все, что было ценного, сумел спасти семью.

Конечно, помогло и общение с Макаром, который знал цену переселения, утраты отчего крова. Макар не был кулаком, и ссылатъ его было не за что, если не считать его

упорного отшельничества на мельнице и явного нежелания участвовать в глумливых шабашах активистов. Вот это ему и припомнили, когда погромы — «уничтожение кулачества как класса» — достигли запредельной подлости и жестокости. Макар обрисовывал Хамзату такие картины, каких в горах видеть не приходилось.

От того же Макара Хамзат знал, что Покровка — селение, составленное из разноплеменного гонимого люда, где можно встретить кого угодно, начиная от еврейского портного и кончая армянским архимандритом. Селение представлялось Хамзату приветливым, утопающим в садах. Он представлял себе трудолюбивого русского крестьянина, не подавленного превратностями судьбы, сохранившего лучшие свои качества. Добрый человек отсыплет ему зерна побольше, наверное, чем ныне стоят газыри его сына, а если и возьмет их вообще, то лишь затем, чтобы не ставить Хамзата в унижительное положение человека, просящего подаяние...

Хамзат остановился, чтобы перевести дыхание, и в это время увидел чуть в стороне от дороги серый шевелящийся бугорок — человек, животное?.. Хамзат выпрямился, посмотрел внимательнее. «Человек!» — содрогнулся он. Но как-то странно вздрагивал этот человек. Хамзат подошел поближе: на земле корчился одноногий калека и грыз кость, сдирая кожу с подмышника. Хамзат узнал его! «Басир!» — крикнул Хамзат, но несчастный даже не повернул головы. «Басир...», — шепнули губы Хамзата. Но Басир не смотрел на человека, склонившегося над ним, и пытался подальше отползти от дороги, все время отталкиваясь ногой в худом сапоге и упираясь в землю острыми локтями, торчащими из продранных рукавов. Когда Хамзат дотронулся до него, Басир пробормотал по-кабардински: «Начихытх — в субботу?...» Хамзат, конечно, знал, что начихытх — это ритуал приезда гостей со стороны невесты, и ответил Басиру по-кабардински, что гости обязательно будут. Басир напрягся, уставился на Хамзата ничего не видящими глазами и прошептал: «Ей-зо, начихытх в субботу, а Тлепшуко умер...»

— Басир, возьми себя в руки! Давай, попробуем встать, пойдем вместе, — говорил Хамзат по-кабардински.

На дороге появилась телега. Хамзат пошел ей навстречу, качаясь от слабости. Возчик чуть приостановил коней. Хамзат указал на человека, судорожно корчившегося на влажной земле и хриплым голосом сказал:

— Голод!

Возчик ничего не ответил, тряхнул вожжи и поехал дальше.

Стоя на обочине, Хамзат глядел попеременно то вслед телеге, то на грызущего опять костыль Басира. Он не осуждал возчика, но и не знал, как быть с умирающим Басиром. Чем он может помочь? Лучше всего было идти скорее в Покровку, до которой оставалось уже совсем немного, и там искать спасения для Басира. Эта мысль погнала его по дороге так, что Хамзат уже не чувствовал прежней усталости. Он торопливо шагал и думал все время о костыле Басира, словно этот костыль поминутно грозил обрушиться на его плечи.

Хамзат слышал, что Басир со своей семьей попал в киргизский айыл Кереге-таш, примерно в пятнадцати километрах ниже Кегети. Там находилась МТС, и взрослые ребята ходили туда учиться на трактористов. По-видимому, и Басир шел в Покровку, потому что к костылю был привязан тряпичный мешочек; что в нем было — Хамзат рассматривать не стал, надо было спешить.

На окраине Покровки его встретила матерая свинья. Хамзат испуганно воззвал к Аллаху и погрозил ей палкой, потому что свинья вдруг пошла прямо на него. Палка ей не понравилась, и она уступила дорогу. Покровка, казалось, дремала в полуденном сне, — нигде, ни в одном дворе не было видно ни одной живой души. «Все в поле! — подумал Хамзат. — Но ведь и детей не видно?» Он шел дальше и надежды его таяли как мартовский снег. Нет, Покровка оказалась такой, как он себе ее представлял: высокой стеной стояли могучие тополя, под ними в глубоких арыках протекала чистая вода; всюду крепкие ограды — из глины, камня, но в основном из акнуратно выкрашенного штакетника. Он стучался в калитки и, не дождавшись отклика, шел дальше. Затем он устало присел у арыка и попил воды. И вот тут перед ним появился, наконец, человек. Сначала Хамзат увидел блестящие сапоги, потом, когда поднял взгляд, увидел военного в чине майора, с портупеей и наганным на боку, с орденами и медалями на груди. Майор еще ничего не сказал, но Хамзат попытался встать. Майор помог ему подняться и спросил:

— Вы откуда?

— Голод... — пряча глаза, пробормотал Хамзат и, вытащив газыри, пояснил: — Хочу на зерно обменять... Если можно...

Майор не обратил внимания на газыри в руках Хамзата и повел его к ближайшему дому:

— Зайдите ко мне.

Хамзат с присущей ему природной застенчивостью поблагодарил и сказал:

— Помоги, если можешь. Чистое серебро, с позолотой...— И вдруг срывающимся голосом:— Ни разу не пришлось ему носить!..

Майор, наверное, понял все, не стал спрашивать, кому не пришлось носить газыри, и молча потащил Хамзата в дом.

Дома у майора оказалась мать. Она не очень радостно встретила чужого человека, но тяжело вздохнула:

— Боже, что с людьми делают...

Хамзат сидел, опустив голову; трудно было поверить, что есть еще на земле жилище, где вот так, входя в него, сын может просто сказать матери: «Мать, покорми гостя!»

Гостеприимство майора пробудило в нем надежду.

Он ни на секунду не забывал о Басире. «Надо сказать!» — стучало в мозгу, а между тем на столе появилась тарелка с тонко нарезанными кусками ржаного хлеба и глубокая миска с горячим супом.

— Не стесняйтесь — сказал майор.

Хамзат сел за стол, но боялся смотреть на еду. Запах наваристого горячего супа вызывал сладкую боль под ложечкой, а перед глазами вставали то Музафар, то Басир, чаще даже Басир...

Майор пододвинул миску супа к Хамзату.

— Это все мне? — еле слышным голосом спросил Хамзат.

— Вы голодны, надо покушать.

Хамзат взял ломтик хлеба, зачерпнул ложку супа, поднес ко рту — и даже в глазах у него помутилось. Он съел всего с десяток ложек:

— Спасибо, мне достаточно...

— Что так? — спросил майор. — Мать, еще чаю, или что у тебя там?

— Майор... помогите обменять серебро на муку или на зерно. — И, боясь, что майор откажет, Хамзат быстро добавил: — Там, на дороге, умирает солдат. Кабардинец Басир...

— Умирает с голоду?

— Сейчас многие умирают с голоду. Но Басир... он ведь не переселенец. Он из-за жены... На свое горе женился на балкарке. Вот и...

Майор опустил голову, с минуту подумал. Потом обратился к матери:

— Мать, тут человеку надо помочь. У него серебро, кра-

сивые такие штучки... Не знаешь, кто может обменять ему это на зерно?

— Да ты что, сынок! Кто же теперь живое на мертвое меняет? — Она подумала немного. — Разве только Расторгуева жена?

— Сходи, мать, — попросил майор. — Тут человек очень устал, и он, видать, очень стесняется своего положения. Давай поможем. — И он молча взял газыри из рук Хамзата и передал их матери. — Сходи, пожалуйста...

Мать неохотно взяла газыри и пошла. Майор сказал Хамзату:

— Война на исходе. Хлеб этот — мой солдатский паек. На литры свои подкормил и мать. — Он взглянул на часы. — Мой поезд подходит к станции через час. Возвращаюсь в свою часть после госпиталя, но доеду ли до нее раньше, чем Гитлер капитулирует, не знаю. Так что очень жаль, что не смогу пойти с вами. Другой поезд только через сутки. — Хамзат молчал и смотрел в окно. — А вы ешьте. Приканчивайте суп.

— Не стыдите, но эти куски хлеба я взял бы для кабардинца...

— Ешьте суп. — Майор встал. Хамзат видел, как он заворачивал в бумагу целую буханку, но думал, что берет в дорогу. А он положил сверток на колени Хамзата. — А теперь доедайте суп, я приказываю!

Хамзат доел суп.

Мать майора вернулась ни с чем. Возвращая газыри Хамзату, она сокрушалась.

— Разжирела Расторгуиха! Меняет вес на вес, говорит. Совести нет у людей.

«Вес на вес! — чуть не вскрикнул Хамзат. — Как же это?!» Но все равно надо было менять. Он прикинул, что зерна, полученного за шестнадцать газырей, хватило бы, по крайней мере, на три дня жизни, как этого не понимает русская женщина! Но вслух он только поблагодарил майора и его мать за неслыханную щедрость и вышел со двора, крепко прижимая к груди буханку хлеба. Хамзат думал о том, что теперь, если даже не поменяет газыри на зерно, он все же спасет Басира. Но сначала пойдет в дом Расторгуевых, получит «вес на вес», а хлеб отдаст Басиру.

Ощущая заметный прилив сил, он бодро шел по улице и спрашивал дом Расторгуевых. Он нашел этот дом и предстал с газырями в руках перед легендарной Расторгуихой — непомерно толстой молодой женщиной, напоминав-

шей ту домашнюю животину, что встретила Хамзата на околице.

— Надо было сразу, — сказала она. — Уходи, я передумала.

— Я... я... — пытался Хамзат объяснить, но женщина не захотела его слушать.

— Уходи, а то собаку натравлю!

Теперь надо было поскорее вернуться к Басиру. Целая буханка хлеба вселяла надежду. Какая же сила заключалась в этой буханке, если с ней мир казался гораздо приветливее, а голод словно отступал повсеместно и его призрак уже не представлялся таким страшным! И Хамзат торопился. И своим боком он чувствовал ободряющее, воскресающее тепло этого куска древней, ничем не заменимой человеческой еды — кусок самой жизни нес Хамзат под мышкой! Ему стало даже верить, что за время его отсутствия что-то хорошее произошло и в Кегети — Хорасан и Айна как-то сумели обмануть голод, изгнать его назойливый призрак из глиняного дома Рыскула.

Вернувшись к тому месту, Хамзат увидел, что Басир лежит без движения, а костыль валяется шагах в десяти от него. Он лежал на боку, поджав ногу, будто просто отдыхал на голой весенней земле. Когда Хамзат подбегал к Басиру, перед его глазами на мгновение, как вспышка, промелькнул склон Тытырташа и распростертое тело Муссы. Они были почти ровесники — Мусса и Басир, они были офицерами, настоящими воинами. Они оба заслуживали и равных наград и равной участи, но сын Хамзата оказался счастливее — умер на родной земле, да еще в бою! Басир же не умер, горевал Хамзат, а пал, как загнанный конь.

Когда Хамзат опустился перед ним на колени, то увидел, что поверх залатанной гимнастерки Басира бегали большие желтые муравьи, а в складках рубахи обреченно притаились вши. Хамзат сильнее втягивался в землю, между мертвецом и его коленями на сведенных руках покоилась обернутая в газету «Сталинский путь» буханка хлеба. Посидев несколько минут, Хамзат отложил хлеб, завернутый в газету, и выпрямил мертвое тело. Нельзя оставлять покойника одного, надо дожидаться людей.

День уже клонился к вечеру. «Аллах, пошли хоть кого-нибудь!» — молился он, но дорога оставалась пустынной. В бессильной тоске смотрел он и в ту, и в другую сторону, но, как назло, на всем пространстве этой широкой ското-прогонной пустоши не появлялось ни души. Больше он ждать не мог. Но, слава Богу, в сотне шагов виднелись вы-

сокие кусты, а в кармане был складной нож — можно сделать волокушу. Когда он вернулся к Басиру, стало уже почти темно. Хамзат снял рубаху, накрыл ею лицо покойника и переложил труп на волокушу. Басир весил не больше подростка — кожа да кости, но если бы не майорский суп...

Он достиг окрестностей Кереге-таша только к утру. Здесь ему встретился человек, оказавшийся трактористом из МТС. Мужчина молча впрягся в волокушу...

После похорон Хамзат молча посидел рядом с Ариужан. Дочка ее как-то странно глядела на Хамзата — то ли пыталась вспомнить, где его видела, то ли безмолвно упрекала в чем-то. Он развернул буханку хлеба, вручил ее девочке. Ариужан в тупом оцепенении смотрела на голые стены, на девочку, которая старалась удержать буханку хлеба в тонких, как прутики, руках, на таких же, как она, оцепеневших соседских женщин. Хамзат вышел, не прощаясь.

9.

В тот день во двор рыскуловского дома вслед за дедушкой, может, через час после его возвращения, въехал всадник с притороченными к седлу хурджунами. Айна бросилась ему навстречу со словами: «О-о-й, Жапар-аке!», а тот, спешившись, обнял Айну. Дедушка с дороги лежал. Все мы в каком-то полубреду глядели на него, не веря, что он, через сутки, вернулся ни с чем. Дедушка прятал лицо и закрывал ладонью глаза. И голос Айны мы услышали, я помню, как сквозь густой белесый туман. Чинар и я взяли за руки и вышли. Через много лет Чинар мне говорила, что взяли мы за руки, чтобы не упасть от слабости. «Это мой аке, башкарма в Кочкоре», — говорила Айна срывающимся от возбуждения голосом. Между тем усатый дядя снял хурджины, поставил их у дверей. Айна нетерпеливо открыла их и... мы УВИДЕЛИ! Сквозь белесый туман, что маячил у меня перед глазами, белая пшеничная мука показалась ослепительным чудом, волшебным наваждением. У меня подкосились ноги и закружилась голова. Чинар рассказывала потом, что Айна подхватила меня и усадила рядом с хурджунами. В моей же памяти навсегда остался невообразимо восхитительный вкус чего-то кисло-сладкого, молочно-жирного. «Это был курут — киргизский сыр или сушеный творог, — вспоминала потом Чинар. — У дяди Жапара в хурджунах, кроме пшеничной муки, был

курут, сушеная конина и топленое масло! И еще отрез на платье для мамы. Мы не знали об этом, а мама, оказывается, написала дяде Жапару о наших бедствиях — ведь он в Кочкаре башкармой был, председателем колхоза. Вот он и примчался с полными хурджуинами.— Чинар смеялась.— А я помню, как ты ел курут, и личико у тебя было серьезное, усталое, как у старичка»...

Так мы были спасены от голодной смерти. А вскоре кончилась война, и я запомнил день, когда вернулся Мухтар. В тот год июнь и июль, наверное, поменялись местами, потому что после необыкновенно знойного июня последовал необыкновенно дождливый июль. Ливням конца не было. Кукуруза в огороде полегла и приходилось в короткие промежутки между дождями поднимать каждый стебель и уплотнять землю вокруг корневищ. И вот, пережидая дождь, мы сидели однажды дома — дедушка с бабушкой, мама, Аманат и я. Выглянуло солнце и все мы вышли во двор. Дедушка сокрушался, глядя на огород, бабушка его успокаивала. И вдруг к нам во двор завернул незнакомый солдат — весь мокрый, в заляпанных грязью сапогах, с вещмешком за спиной и пилоткой в руке. Он подходил к нам, как-то неуверенно замедляя шаги, пока не остановился в странной растерянности. (Я тогда подумал, что солдат стесняется своего лица, обезображенного жуткими шрамами). И в этот момент раздался крик моей матери:

— Кичи жаш!¹ Это же кичи жаш! Отец!

Дедушка удивленно посмотрел на сноху. Бабушка встала с Аманат на руках. Только я шагнул навстречу солдату, но не потому, что узнал его, а чтобы разглядеть поближе и опровергнуть нелепую ошибку своей матери: разве мог такой урод, старый и неуверенный, быть Мухтаром! Я и теперь продолжаю удивляться, почему не мать, не отец, а только сноха, чужая жена, узнала Мухтара?! Неужели потому, что родители не могли представить себе своего мальчика изуродованным? Ну, конечно, они отправили на фронт юношу неполных восемнадцати лет, а теперь, если б он был ИХ Мухтаром, он должен был выглядеть двадцатидвухлетним парнем. Но этот солдат, мокрый от дождя, со шрамами на лице и сединой в волосах, выглядел на все сорок. Когда он, шагнув мимо меня, приблизился к матери и посмотрел на нее полными слез глазами, она опустила, словно подкошенная, на ступеньку.

¹ К и ч и ж а ш — букв. младший парень; у горцев сноха не производит, по обычаю, имен братьев мужа.

— Мухтар! Жашчык! — закричала моя мама и бросилась к нему.

Дед произнес шепотом:

— Бедное дитя!

А в моем воспаленном мозгу звучали слова, тайно сказанные мне Мадиной еще несколько месяцев назад:

— Мухтара нет! Он умер в госпитале... Только ты никому не говори! Не говори, пока не кончится война и мы снова не вернемся на родину.

Я, конечно, втайне оплакивал Мухтара, но твердо держал свое слово и никому не говорил о его гибели. Теперь я стоял, прижавшись к стене дома и глядел на него. Оторвавшись от плачущей снохи, Мухтар бросил на землю свой вещмешок и опустился перед матерью на колени. Он принял головой к ее груди и тихо зарыдал. Аманат смотрела на все это, засунув палец в рот и не зная, пора ей уже заплакать или немного подождать. Дедушка все это время стоял посреди двора и обескураженно глядел на сына. Казалось, он безмолвно вопрошал Бога, верить ли своим глазам или нет, и ожидая ответа, застыл как гранитное изваяние или глиняный идол, похожий на те, что встречались в степях южнее Бураны.

От матери Мухтар перешел к отцу, встал перед ним с опущенной головой.

— Прости, отец! Вот и встретились...

Не знаю, за что он просил прощения. Может, стыдился своего вида, а может, долгого своего молчания — ведь как давно не давал о себе знать... Он, конечно, понимал, что родители его не ждали, похоронили мысленно, как похоронила его невеста. А в общем-то куда ему было писать, ведь, и то, что он сумел найти свою семью, было большой удачей.

— Бедное дитя, все же нашел нас? — Дедушка тоже вдруг прослезился, опустив голову на плечо сына. Теперь и Аманат заорала, прижавшись к бабушке. Только я один держался стойко: все думал, как же он теперь, такой искалеченный, встретится с Мадиной? Вообще, поверит ли она, что этот солдат и в самом деле Мухтар? У нас вдоль двора под тополями текла вода; после дождя она была мутная, но постепенно, буквально на глазах, опять становилась прозрачной. Глядя на нее, я вспомнил, как Мадина провожала Мухтара на фронт и они стояли под мостом на берегу чистой и прекрасной Юрду...

Лицо Мухтара сейчас походило на шершавый серый камень — из таких были сложены опоры моста через Юрду.

Мне очень хотелось пощупать его, погладить и узнать, не стало ли и его лицо таким же твердым, как тот камень.

Потом мы сидели всей семьей во дворе на низких табуреточках и молчали. Каждый боялся о чем-то спросить. Мы-то знали, что Мусса погиб, и от Мустафы нет никаких вестей вот уже три года, а он искал глазами своих старших братьев, останавливал на каждом из нас свой вопрошающий взгляд, да только мы отводили глаза, — никто первым не осмеливался сообщить ему о гибели Муссы.

— Я вижу... я первый возвращаюсь...

Когда все молчали, вновь переживая гибель Муссы, я не выдержал и сболтнул:

— Как, ты разве не знаешь? Дядя Мусса погиб в Ты-тырташе!

Серое шершавое лицо Мухтара побелело, он опустил голову, и я только теперь до конца осознал, что это — Мухтар. Живой Мухтар.

Мне почему-то казалось, что он перво-наперво спросит о моем отце, я думал, что о гибели Муссы всему свету известно, и, конечно, Мухтар должен прежде всего спрашивать о среднем брате. А когда ему сказали, что мой отец, а его брат Мустафа, пропал без вести, он это воспринял не так уж остро. Вскоре, правда, выяснилось, что Мухтар не успокоился: через неделю он исчез из дому на сутки, а вернувшись, сказал:

— Мустафа жив, он в лагере.

— В лагере? — Дедушка изменился в лице так, словно Мухтар сообщал о гибели брата.

— Да, отец, — Мухтар тоже говорил упавшим голосом. — Он был в плену. Бежал. Его арестовали и посадили на десять лет.

— И где же это? — спросила келин.

— Никто не знает. В нашей стране так много лагерей, что...

— Тише! — шикнул на него дед. — Не тебе считать эти лагеря!

— Чего бояться! Хуже не сделают... Сволочи!

Ясно было, за эти сутки Мухтар наслышался такого, что от унижения и гнева места себе не находил.

Да, это был июль!.. Дожди все не прекращались и работы в поле почти не велись. Множество народу со всей округи — киргизы, карачаевцы, чеченцы, курды, ингуши, балкарцы — приходили поздравлять дедушку с возвращением сына. Это было время, когда почти каждый день кто-то возвращался с войны. Мы и представить себе не могли,

что так много людей из этого тихого скромного селения было, оказывается, на фронте. «Эй-и, а сдюлько их погибло!» — вздыхала Айна, а Рыскул выплевывал насвай и горестно изрекал:

— Лучшие остались там. Никогда уже не вернутся.

Но из переселенцев наш дом считался самым счастливым, потому что Мухтар был пока единственный, кто вернулся живым, хотя и не сказать — невредимым. В Кегети насчитывалось семнадцать балкарских семей, и только к исходу 45-го, декабрьским вьюжным днем, вернулся Малик на костылях, без одной ноги. Теперь в нашем селе стало два одноногих — учитель Чолук Садыков и Малик. Они были постарше Мухтара, но выглядели гораздо моложе: веселые, светлые лица. Странно было видеть этих парней на костылях.

К исходу июля дожди прекратились. Сразу же начался сенокос. Дед достал со дна своего ящика для инструментов мухтарову косу. Он долго смотрел на нее и удивленно покачивал головой. Тогда я не понимал, чему он радуется, а позже догадался: ведь продавая вещи одну за другой, меняя их на хлеб, он как-то упустил из виду две косы — Мухтара и Мустафы. Добрая примета: может, и Мустафа вернется! Дедушка взял косу с собой на работу, а вечером принес ее с новой ручкой.

Летом Мухтар редко возвращался домой. Иногда я носил ему что-то из домашней еды. Однажды я не застал Мухтара в бригаде косарей. «Разве он не дома?» — спросили меня. Я не знал, что ответить и, неопределенно пожав плечами, сказал:

— Он вернется.

До вечера я дожидался его. Бегал по лугу, собирал цветы, гонялся за бабочками. Утомившись, заснул под кустом ивы, а когда проснулся, солнце уже клонилось к закату, а косари огибали склон, оставляя за собой длинные неровные валки. К вечеру я должен был вернуться домой и побежал, словно кто-то подталкивал меня в спину. Мухтара не оказалось дома. Я ничего не сказал домашним, а когда бабушка спросила: «Как он там?», молча показал ей большой палец. На следующий день мне очень хотелось снова подняться на плато Тайпак, узнать, вернулся ли Мухтар, но мать попросила помочь ей полоть свеклу. Только через три дня меня послали на Тайпак. Мухтар встретил меня весело и так подбросил кверху, что я даже испугался.

— Где ты был? — спросил я напрямик.

— На другом берегу реки! — тихо смеясь и прикладывая палец к губам, ответил Мухтар.

— Зачем?

— Хотел посмотреть, какие там, в Казахстане, земли.

— Ну и что ты там видел?

— Видел твоего друга Тукума... Ты помнишь его?

— Тукума?

— Да.

— Так и скажи, ходил к Мадине! Думаешь, не знаю?

— Откуда знаешь? — Мухтар удивленно поднял брови.

— Я знаю даже, как она ездила к тебе в госпиталь!

— Да что ты говоришь, Музафар?!

— То, что слышишь! Ну, скажи, Мадина тебя узнала?

— Узнала!

— Честно, честно, узнала?

— Узнала! Сначала испугалась, смотрела, как сумасшедшая... А когда я сказал: «Мадина, здравствуй!», она так и рухнула прямо на табачное поле. Они там табак выращивают. Я ее поднял, а люди стали бежать к нам со всех сторон...

— Что она сказала?

— Сказала: «Неужели это правда!».

— А ты?

— Я — что! Рассказал все как было. Эвакуировали госпиталь, а я оказался живучим. Через несколько месяцев вернулся в свою часть. Опять воевал, но смерть меня уже обходила стороной...

— А ты помнишь ее в госпитале?

— Конечно, помню. Я боялся, что она попала под бомбежку...

— Она в Жамауат вернулась. Ни слова никому не сказала про тебя. Только мне одному. Действительно тебя собирали из кусков?

— Мадина преувеличивала...

— Я тоже так думал. Женщины всегда преувеличивают.

— Музафар, скажи... когда ехали в эшелоне... она плакала?

— Все боялись, что Мадина сошла с ума. Но потом она притихла, так и ехала всю дорогу. Ты женишься на ней? — Мухтар грустно вздохнул, и это меня разозлило. — Скажи, женишься? — Мне кажется, я был тогда больше на стороне Мадины и считал женитьбу на ней Мухтара единственной платой за все ее страдания.

Мухтар вдруг помрачнел и, положив руку на мое плечо, сказал:

— Какой из меня теперь жених?.. Видишь, каким «красавчиком» вернулся! Война растоптала мои мечты...

— Не ври! — сказал я, сбросив его руку со своего плеча. — Говорил же, Мадина узнала и даже сознание потеряла... Ты такой же, как и прежде. — Я повернулся к нему спиной.

— Какая сейчас женитьба? Куда я ее приведу? Вот будет у нас свой дом, тогда, может быть... Если, конечно, Мадина согласится...

— Согласится! — быстро сказал я. — Только ты почаще ходи к ней.

— Нельзя, Музафар. Это очень опасно. Узнают, что без разрешения перешел «границу», сразу арестуют.

— Ты же солдат... Вот у тебя какие ордена!

— Ладно, Музафар, разберемся. Ты у меня умница. Теперь иди домой. — Он вынул оселок и стал точить косу. Я возвращался домой в радужном настроении.

10.

Поздней осенью Мухтар перешел на работу в керегеташскую МТС. Точнее было бы сказать, его передислоцировали, узнав, что он бывший танкист. Директор МТС Левон Мкртычевич Посулян сам приехал в Кегети и увез Мухтара из-под носа Кочкорбая в своем обшарпанном «Виллисе». Всю зиму с первыми петухами он вставал на работу и возвращался поздно вечером. А весной в МТС доставили три гусенечных трактора НАТИ. Среди трактористов, уставших от старых немощных «универсалов» и ЧТЗ, сразу же началось паломничество в кабинет директора и отчаянные схватки друг с другом. Мухтар даже не мечтал о новом тракторе. Он с тоской поглядывал на эти мощные гиганты издали и видел, как из-за них спорили. Однажды Левон Мкртычевич вызвал его сам. Когда Мухтар вошел в кабинет директора, там уже сидели трактористы и местное начальство. Мухтар настороженно огляделся и, терзая свою промасленную кепку в руках, встал у дверей.

— ...В Барнауле шел чемпионат по стрельбе, — рассказывал Посулян. — Собрались лучшие стрелки. И вот соревнуются: что ни выстрел, то «десятка», а чукча презрительно посмеивается: «Разве так стреляют?» — «А как еще можно?» — возмутились стрелки. «Я вам сейчас покажу», —

говорит чукча. «Покажи!» — «Поймайте мне комара». Ну, в Барнауле комаров много, быстро подловили окаянного, посадили в спичечный коробок и подносят чукче. «Жужжит?» — спрашивает чукча. «Да, жужжит». «А теперь подбросьте коробку вверх». Подбросили. Чукча выстрелил, а когда коробку подобрали, то увидели, что хотя она и была пробита, но комар продолжал пищать. Стрелки обрадовались: «Не убил комара — жужжит». А чукча им говорит: «Жужжит-то жужжит, но жениться не может!»

Не ожидавшие такого поворота трактористы взорвались громким хохотом. И сам Левон Мкртычевич смеялся от души, хотя и рассказывал этот анекдот сотни раз. Механизаторы его очень любили, и он сам стоял за них горой. Он был из раскулаченных армян, хорошо знал, что почем в этой жизни. Оказавшись в этих местах поневоле и на пустом месте, его отец очень скоро наладил огородное дело, заложил персиковый сад. На третий год своей высылки стал председателем колхоза, а еще через три года вывел колхоз в миллионеры. В окрестных деревнях завидовали крестьянам керегеташского колхоза, потому что Мкртыч Гайкович умудрялся и в самые крутые годы, под угрозой обвинения в укрывательстве хлеба, а значит в государственной измене, — сберечь для нужд колхоза и колхозников хоть что-нибудь из урожая, спасая своих людей от тех унижений и бедности, каких сполна нахлебались жители соседних айылов. Мкртыч Гайкович умел даже из камней извлечь пользу. Истинный армянин, он обнаружил залежи туфа в ближних горах и обучил нескольких местных парней ремеслу каменотесов. Он построил дом для семьи первого председателя здешнего колхоза, которого в 30-м на глазах у детей зарезали басмачи. Пятеро детей, самому старшему из которых было тринадцать лет, и мать их, посевшая в тридцать, молилась на Эрмен-кулака, как называли Посуляна киргизы в древнем Керегеташе. Такого дома в этих местах не видывали: сложенный под расшивку из пиленого, красного туфа, с большими окнами, он выглядел просто сказочно. Многие киргизские парни потом сами просились в бригаду каменщиков. К началу войны было проведено электричество. Легально или по блату — этого никто не знал в колхозе, — но Мкртыч Гайкович провел электричество и на туфовый карьер, а к исходу лета 40-го привез из Ташкента две камнерезные машины. Прибыльное предприятие Эрмен-кулака стало еще прибыльней, и колхоз богател. Ну, и как тут было не найтись бдительному партийцу, уличившему Посуляна в том, что председатель

незаконно производит туф и загребает большие деньги! Его арестовали. Тракторист Кожонов Абакир, добрый сильный человек, рассказывал Мухтару, как люди дневали и ночевали на майдане, ожидая вестей о своем Эрмен-кулаке. Три месяца разбиралось его «дело», и в течение трех месяцев ежедневно после тяжких трудов собирались люди на майдане и ждали, ждали... «После Манаса киргизы так никого не любили и никому так не верили», — говорил Абакир. И вот в мае на той же одноконке, на которой его увезли, он вернулся, как ни в чем не бывало, и пошел не к себе домой, а в контору. У подбежавшей к нему детворы он спросил, как идут весенние работы, все ли живы в айыле? Лишь одна женщина по имени Уулкан умерла в его отсутствие, и он сразу же пошел выразить соболезнование ее родным. Вечером собралось все село возле конторы — это было похоже на праздничное торжество...

Киргизы в Кереге-таше многому научились от этой армянской семьи. И жена Посуляна была сильная, даровитая женщина. «Беримдю», — говорил Абакир, и балкарцы хорошо понимали это слово, ведь «беримдю» по-киргизски, а «беримли» по-балкарски означало «дароносящий». Левон — старший сын, до обеда ходил в школу, а после — бегал на туфкарьер, работал там до темноты. После семилетки он закончил в Томске техникум. Абакир очень любил ученое слово «стажер»: у него оно было всегда связано с именем «Левон». Абакир гордился тем, что будущий директор в свое время был у него, Абакира, стажером.

Мухтар вспоминал все услышанное от Абакира, с которым у него были доверительные отношения, и, стоя у дверей, так волновался, что до него не дошел смысл анекдота про комара и чукчу. Но вот директор отсмеялся и заговорил о деле:

— Товарищи! Мы получили три новых трактора. Знаю, желающих, и, кстати, заслуживающих работать на новой технике много. Но мы с главным инженером остановились на таком варианте: два тракториста на трактор! Сами понимаете, такие машины должны работать по 24 часа в сутки. И старые тракторы нужно использовать на всю катушку, но эти многосильные не должны простаивать ни минуты. Решайте теперь, как вы хотите распределиться? Кто с кем?

Первая пара возникла сразу же — Шейван и Рамазан. Оба они жили в Кереге-таше, начинали вместе в одной бригаде. Шейван сказал:

— Рамазан без меня пропадет!

Левон Мкртычевич усмехнулся:

— Да, ты привык таскать его на спине! Не вздумай это делать вместе с трактором!

У всех было свежо в памяти, как Рамазан однажды в праздник, чрезмерно угостившись бузой, лихо буянил и порывался немедленно бежать на Кавказ. «Хочу пасти овец в Тытырташе!» — кричал он. Его заперли в коровнике, но он там так плакал, что Шейван не выдержал, пошел к нему, тоже поплакал за компанию, а потом, легко водрузив его на свои могучие плечи, отнес домой. Шейвану, высокому мощному парню, досталось, видно, по оплошности природы, нежное девичье сердце. Среди трактористов бытовало сравнение: когда попадался податливый рассыпчатый чернозем, они говорили: «Земля, как сердце у Шейвана». Сам Шейван, когда его хвалили, конфузился, злился и даже потел. Рамазан вообще-то был себе на уме. Большой работага, он, казалось, ни о чем другом не думал, кроме трактора. Еще он отличался невероятной аккуратностью, к нему ни пятнышка грязи не приставало. Однажды проникательный Левон Мкртычевич опростоволосился, приняв с иголочки одетого Рамазана за празднующегося на полевом стане. Директор спросил сердито: «Ты что, Чимазов, на прогулке, что ли?». Рамазан, ковыряясь в карбюраторе своего ЧТЗ, ответил: «Да нет, работаю». — «Да ты как жених, а не тракторист!» Рамазан молча запустил мотор и поехал. Директор виновато передернул плечами: его явно озадачила такая опрятность в работе. «У тебя кошачьи повадки», — беззлобно подшучивали над ним в бригаде. Рамазан шутки принимал, но, в отличие от своих верхнебалкарских сородичей, славившихся остроумием, сам остряком не был.

— Я беру в напарники Мухтара, — сказал Абакир.

Мухтар быстро посмотрел на Левона Мкртычевича — не возразит ли директор?

Директор не возражал:

— Все ясно. Шейван с Рамазаном направляются в колхоз «Бирикген», Абакир с Мухтаром — в колхоз «Бурана».

Мухтар пропустил мимо ушей имена счастливых хозяев третьего трактора. Он выскочил из конторы и помчался к новеньким машинам, стоявшим в дальнем конце обширного эмтезсовского двора. Он радовался, как малый ребенок, получивший большую красивую игрушку. Когда подошли остальные, Мухтар уже сидел в кабине облюбованного им трактора.

Солнце перевалило за полдень. До вечера никаких осо-

бых дел не предвидилось, и Мухтар решил срочно поделиться своей радостью с Мадиной. Он мог сходить к ней и благополучно вернуться к полуночи. Всего-то прошагать шесть километров, перейти реку — и он там. Побудет с полчаса и вернется.

— Абакир, если можно, отпустите меня на сегодня. Мне надо... очень.

Он не был похож на солдата, вернувшегося с фронта, хотя все еще ходил в гимнастерке. Орден Красной Звезды и две медали — «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина» — он не носил, но трактористы знали о его военных наградах и с уважением к нему относились.

Абакир задумчиво посмотрел на него:

— Ну, если не терпится...

Таким уж везучим был этот день, что Мухтар думал, не снится ли ему все это. За воротами МТС он подсел на «студебеккер», груженный лесом. Мухтар проголосовал просто так, от хорошего настроения, но машина остановилась, обдавая и его и себя густой пылью.

— Куда тебе, парень?

— А мне в Конакты...

Шофер свистнул:

— Аж в Казахстан!

Мухтар рассмеялся.

В кабине сидели еще двое, и шофер, улыбаясь, рукой показал вверх. Мухтар кивнул и забрался в кузов. «Студебеккер» ехал быстро, а ветер дул сзади, и, когда машина притормаживала на колдобинах, пыль накрывала его густым облаком. Приходилось закрывать руками лицо, кашлять и отплевываться, но это ничуть не портило ему радости от предвкушения встречи с Мадиной. Многие переделано за долгие зимние месяцы, пора, наверное, договориться всерьез о женитьбе. Он искупается в реке Чу; вода, конечно, еще холодная, но это не страшно — он окунется, приведет себя в порядок и пойдет. Он откроет калитку чужого дома, неожиданно предстанет перед матерью Мадины Айшат, — язык не поворачивался назвать ее мачехой, — сначала обнимет ее, а потом сдержанно поздоровается с Мадиной. Айшат придумает для себя неотложное дело и уйдет. Раньше он прятался где-нибудь на задах, посылал кого-нибудь из уличной детворы за Мадиной и ждал. Так было до тех пор, пока Айшат однажды не увидела, как они стояли по разные стороны штакетника, и он держал ее руки в своих руках.

— Глупая,— ругала она Мадину.— Почему же украдкой, на улице... Пригласи туда, где живешь. Не надо стыдиться, у кого ныне свой дом?

После этого Мухтар приходил к ним домой. Надо было, правда, опасаться, чтоб не заметил всевидящий глаз коменданта Юдина, чтоб не заметил он, как Мухтар переправляется через «пограничную» реку. Бывало и так, что Мухтар подкатывал к речке на тракторе (если пахал поблизости) и ждал. Вскоре на том берегу появлялась Мадина. Они перекликались, стоя на разных берегах. Бывало, Мадина, отчаянно надеясь, что бригадир не заметит ее, переходила реку, и тогда он усаживал ее с собой рядом в кабине трактора, и они пахали вместе. Мадина нежно прирагивалась к горячим, потным шрамам на лице Мухтара и вспоминала свою страшную поездку в госпиталь, военврача и удивительную адыгейку Жаниму...

Резкий толчок вывел Мухтара из мечтательного полубытья. «Студебеккер», переезжая реку, задел тяжелый подводный камень, машину немного развернуло и потянуло на более глубокое место. Вообще в этом месте всякие полуторки застревали часто, но чтоб так оскандальиться мощному «студебеккеру» — этого танкист Кушжетеров никак не мог ожидать. Шофер, молодой веселый парень, давил на газ, не жалея машину, а она еще глубже оседала. «Чтобы тебя в твою американскую жо...», — услышал Мухтар ругань из кабины. Мухтар хотел уже спуститься, но тут водитель в отчаянии направил машину по течению речки, и, к удивлению Мухтара, она пошла. Но ведь это было безумством — дальше начинались крутые берега. «Погубит машину», — решил Мухтар, но шофер, хохоча во всю глотку и ругая всю Америку, с разгона вывернул к берегу, и «студебеккер», с тяжелым грузом, опасно раскачиваясь и яростно ревя, выполз на узкую и с уклоном отмель, за которой возвышался метров на пять градусов под сорок сухой глинистый берег. Шофер и его попутчики выбрались из кабины, закурили. Мухтар спустился на землю и, глядя снизу вверх на эту громадину с лесом, вспоминал переправу в Карпатах. Берег там был настолько крут, что танк его раз за разом сползал вниз, но Мухтар чувствовал силу мотора. «Вперед!» — кричал он, как в атаке, глаза заливало потом, но вытянул он тогда танк. «Ну, и этого можно вытянуть», — подумал Мухтар. Он вышел на косогор, обследовал берег. Вернувшись, сел в кабину и, подав чуть-чуть назад, с разгона направил машину чуть наискосок по косогору. «Студебеккер» выл, как раненый зверь, но брал высоту!

«Да здравствует американский пролетариат!» — крикнул Мухтар, когда вывел грузовик на ровное место. «Ну, ты даешь! — удивлялся благодарный шофер. — Мне бы такого опыта! Спасибо тебе».

— Тебе спасибо, — сказал ему Мухтар. — Ты довез меня. Селение совсем близко. Счастливо доехать...

В доме, кроме старой хозяйки-казашки никого не оказалось. Мухтар знал, что Хаджибекир работает на отдаленной ферме, остальные, в том числе и дети, в поле. Очень поздно они возвращаются, сказала хозяйка дома, где семья Хаджибекира занимала одну комнату. Мухтар присел рядом с бабушкой во дворе. Она по-доброму относилась к нему. В другие дни рядом с нею обычно сидела Налмас, но теперь не было и ее.

— Сын увез. Приехал и увез.

— Жив значит! — обрадовался Мухтар. — Кто-то из братьев жив! — Не помните, как звали?

— Как же, Абу. Абай — каждый казах помнит.

Помолчали. Потом он встал, решив идти на табачное поле. Вечерело.

— Я пойду им навстречу, — сказал он.

Бабушке это понравилось. Она сказала:

— Иди, иди, да не мешкай. Дочку Айши преследуют... красивая потому что. — Мухтар остановился, повернулся к ней. — Увези, джигит, свою невесту. — Много бывает охотников завладеть драгоценной жемчужиной.

Тревожное предчувствие подгоняло его по пыльной улице казахского поселка Конакты — Гостеприимного, а затем заставило почти бегом бежать вдоль реки Чу к табачным плантациям. Сумерки сгустились, уже трудно было различить грядки, но женщины продолжали работать. Он шел, тяжело дыша, сердце глухо колотилось под беспокойно-тоскливым гнетом. Наконец, он ее увидел. Чуть подалее Мадина полола табак Айшат с дочерьми Азизой и Нальбике. Стоя на меже, он с минуту наблюдал за Мадиной, за девочками, за Айшат. Казалось, что все они, все разом, вот-вот рухнут на землю и больше не поднимутся. Он подошел к Айшат, стал рядом с нею. На ее изможденном лице, кожа, казалось, присохла к костям. Она с трудом узнала сына Кушжетеровых.

— Мухтар... — Она не удивилась, не обрадовалась, просто дала понять, что видит его. Мухтар ее обнял, мягко отобрал мотыгу.

— Как ты устала, Айшат! Если еще надо работать, то я тебя заменю, а ты отдохни.

— До самой ночи не отпускают,— пожаловалась Айшат.— Но ты иди, Мухтар, поздоровайся с Мадиной.

— Успеем,— пробормотал Мухтар.

Пока он полол, она отдыхала, сидя на куче сорняков. Наконец из темноты прозвучал голос бригадира:

— Болды, хватит!

Женщины побрели к дороге. Никто никого не ждал, не окликал; каждая шла, как могла и, только выйдя к арыку, умывшись и переведя дух, они начинали потихоньку узнавать друг друга.

Пошла и Айшат с дочерьми. Мухтар шел, поддерживая ее под локоть, а Мадина ждала их на краю своего участка. Она, конечно, давно узнала Мухтара, тихо радовалась, но при матери лишь сдержанно пожала его руку. Шли молча. Девочки старались бодриться, но Мухтар видел, как они чуть с ног не валятся. Придя домой, Айшат села во дворе на низенький стульчик. Мадина занялась стряпней. Мухтару хотелось войти в дом и, помогая, поговорить с Мадиной. Но Айшат этого не предлагала — то ли забыла от усталости, то ли не хотела, а Мухтару было неудобно самому войти в дом вслед за своей невестой. Так он и стоял в нерешительности, а женщины — Айшат и хозяйка — молчали, точно оглушенные дурной вестью.

— Он снова приходил в поле — наконец проговорила Айшат.— Житья от него нету...

Мухтар и без того терзался недобрыми предчувствиями:

— Да что случилось, Айшат?! Говорите, все сразу!

— Да знаешь... Вам надо решить свои дела с Мадиной поскорее...

Мухтар подошел к ней ближе, присел на корточки:

— Что-то тут неладно, Айшат? И Мадина нервничает...

— Привязался один к Мадине, преследовать начал.

С комендантом даже приходил. Старше лет на тридцать, толстый такой, сытый. Не пожалеете, говорит, сытыми будете, и крыша над головой будет... С войны вроде вернулся, но не похож на воина....

Мухтар вспомнил свой первый бой, когда рядом оглушающе взорвалась бомба... Он проскочил в дом, схватил Мадину за руку. Она поняла, что мать все рассказала.

— Жить не хочется... Откуда люди такие берутся? Угрожает, проходу не дает... А все не его, а меня осуждают. Ну, в летах человек, теперь кто на это смотрит? А еще переселенка, Бога благодарить должна... Вот как рассуждают. А он на каждом углу хвалится, что отрезы на платьях

для будущей жены из самой Германии привез. К нам домой с чемоданом приходил, нитки, иголки показывал, духи, всякое такое... Отец, конечно, прогнал его. Но легче от этого не стало, потому что на следующий день отца вызвал комендант и предупредил: если он еще нагрубит советскому человеку — комендант так и сказал «советскому человеку», будто отец мой не советский человек, — так вот, если он еще раз проявит свой бандитский характер, то кончит дни на каторге! А дочку, кричит, отдавай, нечего столько баб в доме держать! Как быть отцу? Ведь ясно, комендант не оставит нас в покое.

«Увести этой же ночью! Увести!» — стучало в голове Мухтара, хотя он в то же время трезво осознавал гибельность столь скороспелого порыва. «Посадят моего отца», — плакала Мадина, а Мухтар метался по комнате и бил кулаком о ладонь.

— Продержитесь неделю, — твердо решил он. — Я увезу тебя! Мы поженимся, и в тюрьму нас за это не посадят. Ни в одной стране за это не сажают.

Мадина пошатнулась. Мухтар понял, что ей плохо и усадил на кровать.

— Нельзя! Надо держаться! Надо держаться! — повторял он.

11.

На что Мухтар рассчитывал, когда просил Мадину выдержать неделю, он пока и сам не знал. Да, времянку они построили, отделились от Рыскула, но хотя бы угла для новобрачных здесь не выгородишь. Гыты-хижина их состояла из двух смежных комнатушек. В одной спал Мухтар с родителями, а в другой — Лейла с двумя детьми — Музафаром и Аманат. Аманат уже бегала, становилась чудесной девочкой, и вся семья души в ней не чаяла. Так что привести невесту в этот дом Мухтар никак не мог. К тому же начинались полевые работы, и он на новом своем НАТИ будет пропадать в поле и днем и ночью. Однако он сказал Мадине: «Продержитесь неделю». Теперь он должен хоть разорваться на куски, а найти какой-то выход. Вернувшись домой за полночь, он сразу лег, но хотя и чувствовал себя смертельно усталым, не мог и глаз сомкнуть. Он ворочался в постели, садился, снова ложился, пока, наконец, потревоженный Хамзат не спросил:

— Ты чем это, младший, так обеспокоен?

— Да все в порядке, отец,— ответил Мухтар.— Мне новый трактор дали. Завтра выходим на пахоту.

— Так отчего же у тебя душа не на месте? Какие заботы спать не дают?

Мухтар закрыл глаза, подумал: обычай обычаем, но ближе отца никого нет! И сказал:

— Надо поставить отоу... Саманы я найду в долг.

Отец ничуть не удивился, словно ожидал подобной новости, и заговорил сразу по делу:

— Еще холодновато с раствором работать. И глину как следует не замесишь — все же март на дворе.— И вдруг с откровенной прямоотой: — Не приведешь ведь ее в дом, где даже стены глиной не обмазаны.

— Надо, Хамзат Шонтукович! — так же прямо сказал Мухтар. Он встал, оделся, вышел.

Следом прошел и Хамзат.

Еще с зимы он делал заготовки для окон и дверей будущей комнаты Мухтара. Теперь надо собрать рамы, отделать, как положено. Малыш очень торопится, значит есть причина...

Чуть брезжил рассвет. Мухтар вышел на окраину Кегети, где переселенцы строились, обживались. Он шел вдоль неогороженных участков, мимо низеньких домов, высматривал, где и у кого заготовлены саманы. Он остановился около крохотной одноглазой хибарки и окликнул хозяев. Вышла женщина, он узнал ее. Как и другие домики, этот тоже стоял в поле, не огороженный ни с одной стороны, а рядом возвышался внушительный штабель самана.

— Доброе утро, Джюзюм,— сказал Мухтар.

— Доброе пусть сопутствует тебе.

— Дома Али?

— Дома. Как твои? Все живы?

— Живы, живы. Я по делу.

На разговор вышел Али.

— Ты должен одолжить мне саманы до первых жарких дней,— сказал Мухтар сразу.— Верну и встану рядом с тобой и Магомедом, когда начнете поднимать дом.

Джюзюм ушла в огород, а сонный Али, соображая, почесал в затылке.

— И сам должен мне помочь, потому что дело такое, дружище! За неделю отоу должен быть сложен, а раствор высохнуть. Иначе будет сыро.

Али перестал чесать в затылке, потому что понял в чем дело. Он ухмыльнулся:

— Не сдержался до свадьбы? Пожар в штанах?

Мухтару захотелось вклепить затрепину этому пошляку, еле сдержался:

— Мы тут от бесправия задыхаемся, а ты зубоскалишь! — Теперь ему не хотелось брать у Али саман. Он повернулся и пошел.

Али догнал его, обнял со спины.

— Ладно, Мухтар! Я пошутил, прости. А что, саман сейчас начнем перевозить в твой двор?.. — Помолчав, добавил: — Вообще-то ты занимайся другими делами, я сам все организую.

— Спасибо, Али! — сказал ему Мухтар.

Потом он вернулся в дом Рыскула. С порога сказал Айне:

— Такое дело... мою девушку хотят отнять. Тогда выжил, а теперь не знаю, выживу или нет...

— Ой-зей, — воскликнула Айна по своему обыкновению. Чинар глядела на Мухтара своими жгучими черными глазами — ей только шел одиннадцатый год, но это была уже настоящая девушка, уже получившая от природы почти все, что ей полагалось. — Чем я могу помочь?

— Надо бы сварить бузу.

— Бузу? — улыбнулась Айна... — Да это мы играючи! Сегодня же поставлю два казана.

— Ракма¹, — сказал он.

Чинар и Айна пытливы, по-женски проникновенно смотрели на него, и Мухтар почувствовал, как краска заливает его лицо между шрамами. На разговоры, на вежливые слова не было времени, и он, сделав дружеский знак рукой, торопливо вышел.

Остановившись на полпути к правлению, он думал: идти или не идти к Кючкорбаю, просить, чтоб выписал барашка или нет? Нет, решил он, просить не надо, придется как-нибудь обойтись.

Когда он вернулся домой, все были на ногах. Лейла нежно улыбалась ему; Хорасан деловито распоряжалась; Музафар, выйдя ему навстречу, ухмылялся по-свойски.

— Посмотрю, как ты покажешь себя, — сказал ему Мухтар.

— А что я буду делать?

— Ты давай собери своих дружков, надо перевезти сюда из дома Алатоновых саман. Али попросит арбу.

— Мадина знает? — Он догнал Мухтара, взял его за руку. — А когда за невестой пойдете, меня возьмете?

¹ Ракма — (кирг.) — спасибо.

— Возьмем! Лучше не терять времени.

Это было в четверг, а в пятницу много молодежи — киргизов и переселенцев собралось во дворе хамзатовской гыты. Одни месили глину, другие складывали фундамент из камня, причем без раствора — просто так, как складывали на Кавказе каменные заборы. Получался очень даже прочный фундамент. В один день подняли стены, сложили печь, перекрыли и засыпали крышу землей. На другой день уже собрались женщины, чтобы обмазывать стены глиной; топили печь круглые сутки, чтобы глина быстрее высыхала. Мухтар не принимал во всем этом никакого участия, он все время работал на пахоте. Только ночами ходил к Мадине. Да, был страх: коменданты с той и с этой стороны могли его сурово наказать, но, может, поймут его по-человечески — дело ведь святое...

— Родители волнуются,— говорила ему Лейла.— На дворе весна, старое на исходе, новое еще не поспело, и хоть бы что-то у нас было четвероногое...

— Будете угощать чистой водой,— сказал Мухтар.— В древности такое существовало.

Никто в Кегети не знал, как и с кем Мухтар приведет невесту, а он напрямик отправился к Левону Посуляну и рассказал ему все как есть. Директор МТС посмотрел на возбужденного тракториста изучающе и, прежде чем что-то сказать, позвал бухгалтера и стал что-то быстро писать на листе бумаги.

— Вот приказ,— сказал директор, когда бухгалтер вошел.— Наш танкист женится, надо же помочь. Это ему премия за хорошую работу...— Мухтар даже вспотел от радостного волнения.— А машина моя сломана. Вон стоит под навесом... Конечно, не в самый подходящий момент ты затеял, надо бы осенью, но будь счастлив,— Посулян встал и пожал Мухтару руку.

— Спасибо, Левон Мкртычевич.

Под утро пролился сильный дождь, приходилось ждать, пока земля подсохнет, и трактористы, как обычно, резались в карты. Навстречу Мухтару поднялся Андрей, русский парень из Покровки:

— Ну как, нашел машину?

— Нет, директорский «Виллис» не на ходу. Придется искать телегу.

— Мне в голову пришла грандиозная мысль,— сказал Андрей.— Мой «Универсал»! Чем не машина? Правда, на

¹ Гыты — лачуга.

нем не очень-то разгонишься, а зачем нам, собственно, разгоняться? Тише едешь, дальше будешь! Это же здорово — трактористы привезли невесту на тракторе!

— А что, вполне в духе времени,— вставил Сафар, дальний родственник Мухтара, приглашенный Мухтаром на «умыкание». — «Универсал» при хорошем настроении дает двадцать километров в час. Так что ничего не надо искать, поедem на тракторе, с прицеппой тележкой.

Мухтар засомневался. А вдруг задержат с трактором? Это же еще та статья — увели трактор с поля! Бог знает, чем можно поплатиться!

— Нет,— сказал он решительно.— Нет, Андрей, я рисковать друзьями не могу. Давайте придумаем что-нибудь другое.

Сафар смотрел на него и негодовал:

— Ты же знаешь Андрея! Раз он задумал что-то, значит сделает. Лучше соглашайся.

— Нет! — еще решительнее сказал Мухтар.— Может Кочкорбай даст мне пароконную.

— Хо-хо-хо,— поддразнил его Сафар.— Тогда уж обратиться прямо к коменданту! Вот смеху будет!

— Давай, танкист, не суетись,— серьезно заявил Андрей.— Март не июнь, быстро темнеет, а нам еще тележку надо помыть, да постелить там что-нибудь...

— Правильно,— согласился Сафар.

Когда ночью они подъехали к Чу, семь дружных звезд Большой медведицы стояли над горой, а луна, полная и светлая, висела над серебристой рябью реки... Андрей даже на переправе не сбавил хода, окатив друзей в кузове тележки обильными брызгами. Не доезжая до села, Мухтар спрыгнул на землю и крикнул Андрею, чтобы он остановился. Надо было быть осторожным. За ведро керосина, за вспашки огорода колхозника сажали, а тут такое дело... Они завели трактор в рощу, и огородами, задами пошли в село. И к дому, где жил Хаджибекир со своей семьей, «подкрались с тыла». Мухтар тихо зачирикал воробьем. Мадина сидела в темном углу, с узелком на коленях и дрожала от страха. Услышав «воробушка», она вздрогнула, вскочила на ноги. Все спали. «Хызыр, Ильяс, стерегите нашу дорогу», — взмолилась Мадина. Когда вышла из дому, Сафар вытащил белую шаль с бахромой и накинул ее на голову невесты. «Закон гор! — сказал он.— И на чужбине мы не должны забывать свои обычаи». Потом они с Андреем подхватили ее с обеих сторон и повели. Мухтар шел следом.

Хамзат сидел за столом со своими кунаками Якубом, Рыскулом, Кайытом, вел неторопливую беседу на отвлеченные темы. Он приглашал и Жорту Избаирова, но тот не явился. Музафар со своими друзьями нетерпеливо ждал «абреков» на окраине села.

Сначала они услышали гул, затем в синем предутреннем сумраке сначала показалось белое полотнище на длинном шесте, прикрепленном к кабине трактора, а потом и сам трактор. «Универсал!» — крикнул один из мальчиков. Первым догадался Музафар: «Ну и Мухтар! Жену себе на тракторе везет!». Мальчики крикнули «Ура!» Музафар, до сей минуты ждавший свадебную процессию почему-то на лошадях, собирался первым бежать на суюнчюлюк — доставить радостную весть, но когда он узнал стоявшего в тележке Мухтара, позабыл обо всем и помчался навстречу трактору, а сообщать радостную весть наперегонки понесли в село Сатыбек с Малисом. Мухтар спрыгнул на землю, высоко поднял племянника и перекинул его через борт тележки. «Дальше уже твое дело, — сказал он ему. — Проводи невесту, а мне надо в поле. Сегодня день будет погожий — только пахать и пахать».

На улицах Кегети появились люди. Они присоединялись к необычному свадебному поезду и шли к дому устак¹, как уважительно называли здесь Хамзата. Ближе к дому кто-то запел «орайда» и эта балкарская свадебная песня, может, впервые звучала на необъятных просторах Средней Азии и Казахстана, где были рассыпаны горсточки горских племен. И пелась она, становясь увереннее и громче по мере того, как светлее становилось утро, и утверждала, что род человеческий продолжается и что этому роду не должно быть конца. Всем становилось хорошо и легко от восходящего солнца и от входящей в дом невесты в то мартовское утро, случайно совпавшее с днем выселения 8 марта. Люди в это утро еще раз убедились в правоте предков, сказавших «Керек жокну тапдыыр». Смысл этого изречения сводится к тому, что необходимость, нужда заставляет найти даже то, что казалось несуществующим. Казалось чудом, что в доме Хамзата было все: и шкура жертвенного барашка под ноги невесте, и конфеты вперемежку с медными и серебряными монетами для того, чтобы осыпать ей голову, и даже мед — помазать ей губы, чтоб из ее уст исходили только

¹ Устак — (кирг.) — мастер.

сладкие речи. Узнав о том, что сын устаке женится, никто в Кегети не остался равнодушным: люди несли муку и масло, дрова и керосин, лампы и соль, яйца и картошку... Баранов оказалось даже два: и Кочкорбай выписал для Хамзата, и Рыскул где-то раздобыл. Когда стали накрывать столы, Хорасан даже растерялась — такое обилие напоминало лучшие довоенные годы.

12.

Жорта Избаиров страдал: уличить своих сородичей в грехах против режима никак не удавалось, и комендант был недоволен. Когда Хамзат сказал ему о женитьбе сына и пригласил на свадьбу, Жорта обрадовался: уж теперь-то он докажет коменданту свою преданность. Правда, мучился всю ночь: как быть — сначала сообщить и сразу пойти к застолью или подождать появления крамольной невесты? Он трижды подходил к дому Хамзата, слышал свадебный шум, веселые разговоры гостей, — так хотелось посидеть, попить бузы! Но вдруг кто-то другой, более проворный, раньше Избаирова сообщит коменданту о злостном нарушении режима! Нет, раз комендант выбрал его десятником, он должен стоять на посту. И только утром, когда жители Кегети встречали необычную свадебную процессию, Жорта поспешил в Чапаевку, где жил комендант Юдин.

А в полдень, в самый разгар свадьбы, когда собравшиеся наконец уговорили станцевать Хорасан и Хамзата, и они, после стольких лет испытаний и горестных утрат, сняв траур, пошли танцевать, вот в этот момент и обрушился, как лавина, комендант Юдин с двумя милиционерами. Все застыли на своих местах: хлопающие в ладоши — с разведенными руками, гармонистка — с растянутыми мехами своего инструмента, а танцующая пара — Хорасан и Хамзат — окаменели в полшаге друг навстречу другу. Что испытывал в этот момент Хамзат, так никто никогда и не узнал. Хорасан же, как заметили многие, была к новому испытанию подготовлена лучше мужа: Хамзат пошатнулся, а Хорасан поддержала его. Да, она мягко дала ему понять, что и это испытание нужно встретить с достоинством. А ведь она, Хорасан, по-матерински предчувствовала беду. Была неспокойна даже в тот момент, когда главный религиозный авторитет аила¹ мулла Маамыт заключил мусуль-

¹ А и л — (кирг.) — село.

манский брак, а затем секретарь сельсовета писал свидетельство о браке. Даже и тогда Хорасан поглядывала на дорогу. Предчувствие грозящей опасности не давало ей испытать радость в полной мере. А сейчас она лихорадочно думала: за кем же на этот раз пришла беда — одного ли Мухтара увезут или еще кого? О невестке она и не думала, просто представить себе не могла, чтобы юную новобрачную схватили. Да, Мухтар нарушил закон, но очень жаль, если вместе с ним пострадают Сафар и Андрей. И она ждала решения коменданта и, наверное, в ожидании лицо дрогнуло, из-под седых волос проступила испарина, а когда и она пошатнулась, кто-то подбежал, поддержал ее. Вывели из круга и посадили. Хамзат, уже овладевший собой, выступил чуть вперед и обратился к народу:

— Что встали? Пригласите гостей в дом...

Но комендант Юдин, сверля толпу стальным своим взором, приказал:

— Выведите нарушительницу!

Тишина по-настоящему воцарилась только теперь. Некоторые уже успели сообразить, что кто-то серьезно проштрафился, но не думали, что это имеет отношение к невесте.

Андрей, назначенный по воле Мухтара улан нёгером¹ товарищем жениха, — все это время находился в отсу. Теперь он выбежал во двор и предстал перед Юдиным:

— Чем вы недовольны, товарищ капитан?

— Занимайтесь своим делом, гражданин!

— Я как раз и занимаюсь своим делом. Если пришли на свадьбу, добро пожаловать, проходите! Даже танцевать можете, у нас первоклассная гармонистка...

— У меня нет времени на праздные разговоры, гражданин! — Он отстранил веселого Андрея рукой, снова приказал: — Выведите нарушительницу! Девушка нарушила предписание, перешла не только границу села, а даже республики! — И крикнул: — Она понесет наказание!

— Минуточку, товарищ капитан! — не унимался Андрей. — Так вы пришли не на свадьбу?! Вот так номер! — Казалось, он хотел превратить все в шутку. — Разрешите, товарищ комендант, вопрос... Выходит, переселенцам не разрешается жениться?

— Я вас предупреждаю, не вмешивайтесь! Вы кто? Переселенец или... или гражданин?

— Именно гражданин, товарищ командант! И все мы

¹ Улан нёгер — дружок жениха.

здесь граждане... И вообще, покажите мне бумагу, где переселенцам не разрешается жениться? — Лицо Андрея посерьезнело.

— Прекратите балаган, иначе мы вынуждены будем вас изолировать! — Выступил вперед один из милиционеров. — Отойдите лучше в сторону.

— Я тракторист! — крикнул Андрей. — Это я привез своему товарищу, солдату, трактористу, его невесту! Вы что, решили тут беззаконие учинить? Я буду писать! Я напишу товарищу...

— Сталину, хотите сказать? — с издевкой продолжил его мысль милиционер.

— А что, и напишу! Как вы тут над трудовым народом измываетесь...

Но спор этот не мог прийти к мирному окончанию. Хамзат понял, они и Андрея не пощадят и никого другого. Он подошел, взял парня за локоть, оттащил назад.

— Что суждено, то и увидим, — сказал Хамзат.

Мальчики полезли на деревья и уже оттуда смотрели на то, что происходило во дворе. Они сидели и видели, как за окошком, в новом отоу, метались женщины. «Она потеряла сознание», «Су, су, вода» — доносились голоса из комнаты. Лейла понесла воду в отоу. Андрей опять рвался вперед, а слепой Кайыт преграждал ему дорогу своей знаменитой палкой.

— Но вы... вы не позволите себе этот... этот бесчеловечный, позорный поступок, — выдавил со стоном Андрей.

— Я нахожусь на службе, — по-прежнему непоколебимо сказал командант.

— Но здесь свадьба, особый случай! Вы... капитан Красной Армии, неужели не ведаете, что творите?

— Вполне! С врагами народа надо поступать так, как учит товарищ Сталин!

— Неужели вы... забыли, что вы... еще и человек!

— Бросьте! Я комендант!

— Тогда арестуйте и меня! Ведь это я привез невесту на своем тракторе!

— Вы ответите за свой поступок. Кстати, за сочувствие к врагам народа тоже.

Андрей почти плача:

— Какого народа? Такого, как вы?

— Хотя бы, — сказал комендант. — И милиционерам: — Да выведите же наконец беглянку!

Милиционеры направились в дом. И тогда Рыскул схватил костыль Малика, чуть его не свалив, и встал перед ми-

лиционерами. Держа костыль наперевес, он стал оттеснять блюстителей закона, а заодно и пытавшегося его удержать Хамзата.

— Я демобилизованный солдат! — выкрикивал Рыскул, задыхаясь. — Был дважды ранен. Я сражался с фашистами. И здесь никому не позволено обижать и без того обиженных. — Оставив милиционеров, он бросился с костылем на коменданта. — Таких дезертиров, как ты, гнать надо! — Неожиданно он ткнул Юдина костылем, а потом, отбросив свое оружие, сгреб коменданта за шиворот и стал выталкивать со двора. Комендант, обескураженный действиями Рыскула, сначала даже не сопротивлялся, но через секунду выхватил пистолет из кобуры.

— Я застрелю тебя, как укрывателя врагов народа, сволочь!

— Стреляй! Ты не русский, ты фашист! — Рыскул в гнев рванул рубаху, выставил грудь со шрамами от ранений. — Ну, стреляй, тыловая крыса!

Музафар, плача, спустился с дерева и взял деда за руку.

— Я позову Мухтара, — сказал он. — Деда, я побегу за Мухтаром.

— Нет, Музафар, стой здесь. Стой и гляди.

Между тем два милиционера вынесли еще не пришедшую в себя Мадину и положили ее в телегу.

— Расходитесь все! — Приказал комендант. — Каждый переселенец строго ответит, почему он в ясный рабочий день, оставив все дела, прохлаждается на этом сборище!

— Ответит так ответит, — со вздохом произнес Якуб. — Тот, кто потерял коня, по плетке не плачет.

Но комендант вздоха не услышал, грозно пошел к телеге, а когда уселся, то один из милиционеров взял вожжи и погнал лошадей. Окружившие телегу женщины отступили, а Лейла, вцепившись обеими руками в задок телеги, побежала.

— Мадиночка, родная, я буду с тобой... Я не отдам тебя этим... бездушным зверям... — Лейла пыталась на ходу взобраться в телегу.

Комендант приостановил лошадей.

— Переселенка, освободи телегу!

Лейла не слушала его и, рыдая, вытирала заплаканное лицо Мадины.

— Басмачи! — кричал удерживаемый соседями Рыскул.

— А с тобой разберется тройка! Особое совещание! —

кричал ему в ответ комендант. — Здесь дело посерьезнее, чем я думал. Заговор! Дело не обойдется арестом одной беглянки. Ладно, разберется энкаведе!

— А когда разберутся с вами.. тогда вы удивитесь! — Сквозь слезы, как заклинание, бросила Юдину в лицо Лейла. Тогда комендант вырвал кнут из рук милиционера и стал бить им по рукам женщины. По рукам, по спине, по голове... Лейла упала на дорогу, а затем, приподняв свое помертвевшее, все во влажной пыли, лицо, прошептала:

— Фашисты! Проклятье вам, проклятье...

* * *

Уже в дороге за селом Мадина пришла в себя; она привсталала, в испуге посмотрела на человека, который сидел рядом с ней. Мадина вдруг вспомнила тот далекий день, когда она ехала в товарном поезде в тот адыгейский городок. Профиль милиционера напоминал похотливую харю того насильника в вагоне, но на этот раз ей не придется выпрыгивать на ходу. Да, ей не хотелось никакого спасения...

13.

Вечером соседи и сородичи сидели в опустевшем доме Хамзата; ни у кого из них не было слов, чтобы утешить потрясенную семью. Андрей, отобрав коня у первого попавшегося всадника, помчался на полевой стан к Мухтару. Трактористы оставили работу и пришли в дом Хамзата, как на похороны.

— Я убью этого коменданта! Трактором раздавлю его дом! — клялся Мухтар.

Несчастная Хорасан строго предупреждала:

— Не теряй голову, сын. Погубишь себя, а делу не поможешь.

— Ну, а зачем жить, зачем жить, люди?!

Потом, успокоившись, они с Андреем направились в район искать справедливости в НКВД. Шло время, ночь клонилась к рассвету, а они не возвращались. Люди, сидевшие тесным кругом, как на похоронах, не знали, что говорить друг другу.

— Правда ли это, Якуб? — Хамзат прикрывал ладонью покрасневшие глаза. — Неужели могло с нами такое случиться?

Но Якуб только опустил голову и сердито засопел.

— Издевательство над святым девичьим выходом замуж — позорнее и бесчеловечнее, чем изгнание целого народа... — убежденно изрек мулла Маамыт.

Но и ему никто не ответил.

В душе Хамзата воцаряется гнетущая тревожная тишина. В глазах темнеет, и когда он уходит в забытие, откуда-то тихо доносятся обрывки стародавних наигрышей гармошки, пастушьей дудочки. Чем гуще сумерки в душе, тем сильнее звучит музыка и, кажется, она приближается именно по той дороге, по которой укатила повозка коменданта. «Мухтар, яблоко хочу», — где-то слышится лепет Аманат. Лейла кидается во двор, а Хамзат все это как будто видит во сне. Но не слышится шагов в темноте. Лейла бродит по двору, как привидение. Забытие Хамзата продолжается: музыка постепенно переходит в бравурный походный марш, слышны далекий конский топот и возбужденные крики. Во дворе бродит привидение; мулла Маамыт перебирает четки и говорит: «Ла илла-ха-иллалах».

— Возьми себя в руки, — говорит Хамзату кто-то, но он еще охвачен своим сном наяву. Сидящие рядом видят, как двигаются его руки, меняется лицо.

— Возьми себя в руки! — еще громче говорит ему суровый голос, а Хамзат бормочет: «Бедный мальчик! Ни разу не показывался за все время, с тех пор, как окровавил траву на Тытырташе...».

Хамзат, наконец, приходит в себя, стряхивает сонное наваждение:

— Да, зря жили, зря старались...

— Нужно терпение, Хамзат, — все тот же голос в полутьме. — Ты сам говорил, что нас только терпение спасет в этой беде.

Кто-то из сидящих бормочет, не считаясь с присутствием Маамыта:

— Когда над твоей матерью глумится мулла, жаловаться кому будешь? Только и терпеть!

Начинает рассветать.

— Спасибо, дорогие, — говорит Хамзат своим кунакам. — Отдохните, день светлый, может быть, принесет удачу.

Люди расходятся, так ничего и не посоветовав и ничем не облегчив судьбу Кушжетеровых.

Тогда Хамзат будит своего внука, как в тот день 7-го марта, берет его под руку, выводит на улицу и по рассветной земле Кегети молча с ним бродит. Так же молча он

возвращается с ним, сажает его перед собой во дворе и говорит:

— Аллах пожалеет тебя и спасет. И запомни...— И медленно, так, словно высекает на камне, произносит имена.— Абу из Кайбергеновых... Род этот берет свое начало от Огуза, отца древних турков... Гезох... Его так и запомни, одно слово Гезох! У пророков бывает только имя, а он пророк, потому что знает все песни... Исмаил из Ормановых... Истоков этого рода не знаю, сам узнаешь. Батыр из Адеевых... Он тебе родственник по матери. Еще. Ерту из Чегемовых... Он, по-видимому, из аланских узденей... Запомнил?

— Запомнил,— отвечает Музафар.

— Повтори!

И Музафар повторяет имена точь-в-точь, как их произносил дед.

— Это достойные люди, они знают мой род. Если живы, то не сидят сложа руки. Если вдруг Мухтар не вернется... я не вернусь...

Музафар молчит. В утренних лучах солнца дед кажется ему неправдоподобно старым; ему на память приходит тот далекий вечер, когда они возвращаются из Тагылы-кола.

— Теперь я отправляюсь в путь. Беру палку и отправляюсь. Если жив буду, я их найду, наших предводителей...

Музафар вдруг обнимает деда и говорит:

— Дедушка, я не хочу чтобы ты умер!

— Мир велик и дорога вечна,— произносит Хамзат неопределенно, и Музафару эти слова кажутся заклинанием сказки.— Идем, проводишь меня до края села.— И они идут, взявшись за руки.

На краю Музафар стоит на пригорке и смотрит как шагает его дед с палкой в руке. Дед идет искать правду...

14.

В Карагачевой роще под Фрунзе весна, входившая в силу, творила чудеса! Какие только птицы здесь не пели, какие травы не росли! В каких праздничных цветастых нарядах щеголяли деревья! Всем своим щедрым жизнелюбием весна старалась помочь людям позабыть о той великой беде, которая пронеслась по всей земле. Уже слышался смех, после работы и выходные дни горожане стремились сюда, чтобы отдохнуть душой — Карагачевая роща как бы символизировала широту души киргизов — тут было всем

хорошо, благополучным и обездоленным, своим и чужим. Изредка можно было встретить здесь чеченцев, ингушей, карачаевцев, а также кулацкий «элемент». Бывали тут и кабардинцы, потому что не один Басир пустился в скорбный путь, не желая разлучаться с любимой женой. Случалось, наведывались с далекого Кавказа и кабардинские родственники балкарцев. В конце концов не партийно-чиновная накипь определяла глубинную близость двух наций, а сами народы, малые численностью, но великие в высоком нравственном достоинстве, из века в век были опорой друг другу. И постигшая балкарцев беда острой болью отозвалась в душе каждого истинного адыга. В самом Фрунзе и в окрестных селах жили целые семьи кабардинцев, имевшие с балкарцами не только общих детей, но внуков и правнуков, так что вынужденными добровольными переселенцами оказывались очень многие небалкарцы, и строгие коменданты их тоже брали на строгий учет.

И вот однажды Ерту Чегемову пришла в голову мысль провести маевку в Карагачевой роще. К исходу четырехлетия пребывания на чужбине в городе Фрунзе и его окрестностях обосновалась почти вся интеллигенция высланных народов и, когда выпадал случай, представители этой загнанной интеллигенции собирались у кого-нибудь, обсуждали положение своих народов, делились осторожными мыслями по поводу возможных перемен к лучшему. Конечно, настроение у всех было подавленное. Если до 48-го еще теплилась надежда и они продолжали верить, что Сталин, завершив войну победоносно, показав миру великую монолитную силу СССР, вернется к судьбам несправедливо обиженных, непременно покарает виновных в этом беззаконии и вернет изгоев на родину, то теперь, после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года все иллюзии лопнули. Жизнь переселенцев не облегчалась, а, наоборот, ужесточалась. Указом узаконивалось то, что делалось до сих пор молчаливо, но непреклонно. Теперь каждый умеющий читать сталинский букварь мог лично убедиться: народы высланы навечно, без права возврата к прежним «местам жительства».

— Не родина, а «место жительства»! — Абу Кайбергенов бил по бездушной бумаге кулаком, а подвыпив, швырял газету с Указом на пол и топтал ее ногами. Устанавливалась уголовная ответственность за самовольный выезд из мест поселения: мера наказания — 20 лет каторжных работ. Люди, сочувствующие нарушителям переселенческого режима, тоже могли жестоко поплатиться. В Указе говори-

лось: «Лица, способствовавшие побегу или укрытию выселенцев, подвергаются лишению свободы сроком на 5 лет». Комендатурам и органам НКВД предоставлялись чрезвычайные полномочия. Если до этого Указа за отлучку от места жительства или переход из одного селения в другое полагался штраф или пятидневная отсидка, то теперь отправляли на каторгу. Сам комендант уже не имел права выдавать увольнительную. Все поезда, рейсовые автобусы, автомашины и даже гужевой транспорт по всей территории мест расселения тщательно проверяли. Комендант или постовые переселенческого управления МВД у шлагбаума останавливали обыкновенный автобус с пассажирами: «Есть чужие?» Слово «чужие», конечно, звучало как «враги». И все-таки изгнанники пытались наладить свою жизнь, не жаловались — их терпение было бесконечным. Местные жители, уже присмотревшиеся к новым соседям, к их характеру, душевному облику, просто диву давались, как они умудряются выдерживать все эти издевательства и оставаться уравновешенными, трудоспособными, доброжелательными.

Когда Ерту Чегемов высказал мысль о маевке и пригласил на праздник балкарцев, это взбудоражило переселенцев, уже давно позабывших о всяких праздниках. Немаловажным для бесправной и почти безработной балкарской интеллигенции являлось и то, что предложение исходило именно от Ерту Чегемова, человека среди них самого авторитетного, поскольку он был близок к правительственным кругам Киргизии. До выселения он служил в органах НКВД и МГБ. Чегемову, высокообразованному сильному работнику, человеку честному и смелому, на родине прочили лидерство в своем народе. Здесь он занимал пост директора типографии, и это давало ему возможность иметь связи в довольно высоких кругах. Так что, если он затеял какое-то свободное собрание — пусть оно называется «маевка» — то, наверное, знал, что делал. Указ указом, но за истекшее с ноября время могло многое измениться, и может, Ерту Чегемов мог чем-то обнадеежить земляков? По существу это был первый, робкий и неуверенный, зов радости и надежды за все мучительные годы.

День 2 мая 49-го выдался светлым, безоблачным; кругом слышались взволнованные голоса. Жизнь шла вперед, люди сбрасывали с себя тяжкое наследие войны, оправлялись от ран и, хотя все еще очень скромно, но все же одевались празднично. Зеленый уютный город Фрунзе, подкрашенный первомайскими флагами, оживленно шумел ве-

селем говором толпы, бравурной медью духовых оркестров, обрывками песен, зазывными криками уличных торговцев.

К середине дня в Карагачевой роще собралось много людей с Кавказа: чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы... Вместе с Чегемовым пришли его друзья — Иван Ильич Егоров, редактор издательства, киргизский поэт Алыкул Османов, который недавно опубликовал свой вольный перевод «Витязя в тигровой шкуре», и ныне вся Киргизия зачитывалась знаменитой поэмой. Пришел Залимгери Алиханов, пришел с новой женой Лиуазой; она была известной гармонисткой и считалось, будто ее гармонь так и выводит в танцевальном ритме: «Залимгери, Залимгери». Самые осведомленные утверждали, что именно этим она увела его от первой жены. Алиханов был партийным работником; в период оккупации Кабардино-Балкарии он находился в Грузии, выпуская там подпольный листок газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария». Исмаил Орманов пришел без супруги — она болела. Единственный его сын погиб на войне, а дочь жила с мужем в Кустанайской области. Исмаил хлопотал о переводе ее семьи во Фрунзе, но пока без результата. Двое из прибывших на маевку были из «старых врагов народа» — Рачикау Шакманов, сосланный еще в 29-м, и Кайыт Арынчиев, репрессированный в 37-м за попытку убийства Калмыкова. Будучи в ту пору председателем сельсовета в Чилмасае, Арынчиев приехал в Нальчик на республиканское совещание руководителей горных селений. После совещания он оказался слишком близко от вождя кабардино-балкарских коммунистов, да еще засунул руку в карман. Оружия, как выяснила охрана, там, правда, не оказалось — наверное, забыл дома, но бдительности никто не отменял, и Кайыт загремел на десять лет в лагерь. Потом он вернулся, но жил одиноко, потому что семья его — отец, мать, двое незамужних сестер, жена и двое детей были расстреляны фашистами — младший брат Кайыта Аскер Арынчиев был секретарем райкома партии и с горсткой райкомовских сотрудников нанес в ущелье большой урон гитлеровцам.

Заметным было появление писателя Отара Уркаева с женой, дочерью, двумя сыновьями и сестрой жены Думасарой, которая жила у них. Влюбчивый Абу Кайбергенов сразу пленился родственницей Уркаева, но сама Думасара, девушка лет двадцати, смущалась и прятала глаза. Большеносый Яндиев, ингушский поэт, подтрунивал над Абу; его сестра Мака, входящая в пору цветения, обещала стать необыкновенной красавицей, и Шейхи прочил ее за «бал-

карского абрека», как называл он Кайбергенова. Когда пришел Шейхи, все дружно загалдели, закричали «ура», потому что его любили за веселый неукротимый нрав. Абу называл его «большой выпивоха», и, несмотря на то, что Яндиев, напившись, становился трудным — плакал, кричал, понося всех вождей и трезвенников последними словами, его всегда желали иметь в компании. Абу связывала с ним большая дружба и Абу неспроста посвятил ему трогательные строки:

*Не плачь и постарайся, друг,
Спокойным быть, как облака,
Что в небе плавают вокруг:
Кого не бьет беды рука?*

*Чернее быть не может дня,
Потеря — больше. Ты не прав:
Будь мудр — кто потерял коня,
Не плачет, плетку потеряв!*

Последними пришли два русских зятя: веселый художавый карачаевец Бийногер Алиев с русской женой Катериной и Итлук Китаров, но он, как обычно, явился один. Никто никогда не видел, чтобы он в гости или на праздники приходил с женой. Всегда щегольски одетому, холеному, ему нравилось быть у женщин в центре внимания.

Столько оказалось выпивки и всевозможных домашних яств — никто бы не поверил, что только недавно люди умирали от голода. Когда все разложили по разостланным на траве скатертям, и самый младший в компании Залимгери Алиханов налил, а самый старший Рачикау Шакманов встал, чтобы произнести тост, появился Гезох! Его так и называли в народе Гезох-жырчи¹; многие не помнили его фамилию, но где бы ни появлялся Гезох-певец, стар и млад стояли и молчали, пока он не сядет и не скажет слово. Так и теперь, все застыли, никто из присутствующих не знал о его судьбе после переселения, куда он попал, жив ли вообще, и теперь глазам своим не верили. Он был одет по обыкновению, как пастух: лохматая изношенная шапка, рубаха из домотканной шерсти, полинялая, с двумя заплатами, подпоясанная кожаной веревкой; грубые шаровары да примитивные чабуры на ногах. Все это он носил уже

¹ Жырчы — народный поэт-песенник, то же, что акын или ашуг у других народов.

давно, только новый коричневый башлык выпадал из общего ветхозаветного ансамбля, который дополнялся старым испытанным посохом. Гезох и выглядел, словно древний мудрец из нартского эпоса или ожившее на время допотопное каменное изваяние.

Абу, выронив стакан, кинулся ему навстречу. Обнял и заплакал. Он целовал его в бороду и бормотал: «Ты видишь, что с нами сделал этот мерзавец!» Гезох молчал, через плечи Абу светло смотрел на собравшихся, а те разомкнули круг, освободили для него место.

— Не подобает так мужчине, Абу, — тихо сказал Гезох.

— Гезох! Голос моей земли! Живой голос! — ликовал Абу.

— Не подобает так мужчине, — повторил Гезох, и когда Абу оторвался от него, по-отечески погрозил ему палкой и шагнул к обществу: — Салам алейкум! Да будет еда сладкой.

— Жууук бол, добро пожаловать! — ответили все в один голос.

— Гезох, неужели мы видим тебя живым? — радовался Ерту, обнимая старика.

Однажды в 38-м Гезох был арестован. Вернувшись с какого-то задания, Ерту увидел знаменитого жырчи в изоляции. От смущения и стыда он дар речи потерял. Гезох не знал этого сотрудника НКВД, смотрел на него, как смотрел на всех — с полным безразличием, как и смотрят старшие на необязательных, невоспитанных, способных на низость молодых людей. Ерту ушел, ничего не сказав арестованному, но, рискуя собственной карьерой, написал два письма — народному комиссару внутренних дел и самому Беталу Калмыкову. К восторженному изумлению и безмерной гордости молодого сотрудника его отчаянные доводы были услышаны, и певца освободили. Если б только и всего!.. Сам вождь артистично спустился к певцу в подвал, извинился перед ним и поручил Ерту Чегемову проводить Гезоха до его селения, лично встретиться с семьей и старейшинами аула, передать им извинения товарища Калмыкова. Подобное опереточное самоунижение отнюдь не наносило ущерба авторитету вождя, а наоборот — еще больше этот авторитет возвышало: бывал повод с новой силой восхищаться с газетных страниц, митинговых трибун великодушием и прозорливостью народного героя, а в том, что он герой — в этом Калмыков не сомневался.

Гезох так и не узнал правды о том, кому он обязан своим освобождением, а может, и жизнью.

Вернувшись тогда в Нальчик, Ерту решил разобраться, как могло такое случиться, что Гезоха, любимца народа, воспевшего революцию, красных комиссаров, вдруг арестовали, обвинили в антисоветской пропаганде. Оказалось, заслуга в этом — Итлука Китарова. Командированный «наводить порядок» в Эл-журту, он выступил на сельском собрании, и с изумлением увидел, что его речь не вызвала горячего одобрения у Гезоха.

Гезох так и заявил при всем народе:

— В последнее время каждому, кто приезжает из области, мерещится враг из-под каждого камня в Чегеме! Вот и ты, сын Китаровых, так говоришь, словно до тебя в этих местах никто не жил. Если будет война, что же, народ есть народ, он встанет, — эти скалы не одну войну видели на своем веку! Не ищи врагов, ищи единомыслие, тогда победишь.

Итлук хорошо знал славу певца, и ему хотелось, чтоб Гезох добрым словом отозвался о молодом поэте Китарове: знал же Гезох, что и Китаров пишет стихи, хотя и работает в органах. Так велит время, надо работать, защищать советскую власть, но и поэзия Китарова — кровное дело. Вот и книжка вышла у него, и название такое удачное: «Красное утро». Но Гезох словно и не подозревал об этой способности важной персоны из области, — встал и давай учить его! Будто камни кидал в лицо!

Ерту Чегемова поразила самоуверенная откровенность Итлука:

— Ты понимаешь, — признавался уязвленный стихоплет, — накануне я Гезоху сигнальный экземпляр своей книги подписал. Как отца просил его посмотреть и... А он с упреком: «Врагов ищешь!» Разве так может поступить человек, если он сам не враг? — Ерту молчал, а Итлук распалялся: — Я там важное мероприятие соввласти осуществляю, ведь война на носу! В Эл-журту архиплохое патристическое воспитание. А тут... Я, как попрошайка, глядел ему в глаза, молился, можно сказать, а он... «Ищи единомыслие!» Я ведь знаю, он сочиняет антисоветские песни! Я записал их. И свидетели есть. Но, клянусь своим партбилетом, хотел скрыть это. Сам посуди, ради чего после всего этого я должен щадить его? — Логика у Китарова была довольно своеобразной. — У меня слишком доброе сердце, быстро забываю зло, — тут он чуть не всплакнул от умиления. — Поверишь ли, всю ночь уснуть не мог. Встал и попросился на прием к товарищу Калмыкову...

— Даже так? — удивился Ерту, а про себя подумал: «Сначала засадил, а потом пошел выручать?»

— Великий он человек! — в верноподданническом восторге воскликнул Китаров. — Освободил певца!

Больше они к этому разговору не возвращались. Но, видно, Итлук не простил Чегемову его «вмешательства» в судьбу Гезоха, а значит, и своего, в какой-то мере, посрамления. Здесь, на маевке, Итлук чувствовал по отношению к себе плохо скрытое отчуждение. Никто вроде и не смотрел на него косо, никто худого слова не сказал — кстати, чужбина примиряет даже врагов, но, мнительный от природы, в каждом взгляде, в каждой невинной шутке он видел тайный смысл, коварный намек, — словом, стремление унижить его достоинство. А свое достоинство, он как человек болезненного самолюбия, ставил очень высоко.

С появлением Гезоха маевка приобретала символический характер: как певец и мудрец он мог сказать слово надежды и подсказать более определенный взгляд на день нынешний и день грядущий. Всех мучила одна бесконечная боль — останутся ли балкарцы народом или это конец? Рассеянные по городам и весям азиатских республик, на что могут рассчитывать они в обозримом будущем?

Гезох не вещал, подобно оракулу, а говорил спокойно, рассудительно, будто с соседом беседовал о будничных делах:

— ...Случившееся с нами — нас не убило. То, что еще придется испытать — выдержим. Когда людям приходится покидать отечество, они уносят его с собой в своих сердцах. Когда людям приходится умирать, они завещают свою родину детям. Вот и я, изгнанный певец своего племени, у которого немного осталось дней, хочу оставить свой завет вам, соплеменникам, — будьте с Родиной в душе и тогда вы достигните желанной цели. — Через некоторое время, когда и выпили и закусили изрядно, Ерту, сидевший с Гезохом, обнял его за плечи, тихо попросил:

— Гезох, спой, а? Дай ты нам хоть на минуту снова себя народом почувствовать.

— Птица в клетке не поет, певец на чужбине безгласен... — помолчав, ответил Гезох. — Я дал зарок в тот день, когда меня вывели из моего дома и загнали в крытую машину... Песня во мне умерла. Она возродится, когда я вернусь в свой дом.

— Выходит, и песню у нас отняли! — сказал Алиханов.

— Но вы веселитесь, танцуйте! — призвал Гезох. Харам¹ — это мне! А вы помогайте себе песнями.

Лиуаза взяла гармошку и заиграла.

Абу встал, приосанился и пригласил на танец стройную, как тополь, Маку. Одолев некоторое смущение, она пошла танцевать. Все встали, захлопали. Гезох сидел на своем месте, смотрел с умиротворенным видом. Со всех сторон стали стекаться люди, чтобы посмотреть на танцующих «спецпереселенцев». Лиуаза играла, как бы утоляя жажду, все напористее, задорнее, и люди, пришедшие посмотреть, тоже хлопали в ладоши, весело поддерживая танцующих...

К Карагачевой роще неожиданно подкатила крытая зеленым брезентом машина, из кузова которой вывалился спецзвод войск НКВД во главе с капитаном. Шустрые ребята мгновенно окружили этих обнаглевших кавказцев и капитан стал проверять документы. Солдаты стояли с автоматами в руках. Подал документы и Отар Уркаев, с трудом поднявшись на костылях. У него на лацкане пиджака висел орден Славы за бои на Дуклинском перевале. Там от батальона осталось всего одиннадцать человек, и они еще удерживали позицию девять суток. Этими одиннадцатью командовал сержант Уркаев. Подошел, готовый наброситься на капитана, Абу Кайбергенов, десантник, с двумя орденами — Красной Звезды и Александра Невского на груди. Застыл на месте Гезох, привыкший ко всем капризам судьбы; он смотрел на эту сцену с пророческим спокойствием, Лиуаза застыла с гармонью в руках; грациозная ингушка Мака прислонилась плечиком к дереву. Две русские женщины — жены Алиева и Егорова — попытались было возмутиться, но капитан быстро осадил их.

Проверив документы и не найдя ничего такого, к чему можно было бы придаться, капитан скомандовал:

— Отобрать музыку! — Он так и сказал — «отобрать музыку».

Лиуаза прижала гармошку к груди. Два солдата НКВД подошли к гармонистке с двух сторон. Перед капитаном встал Егоров:

— Не имеете права! — сказал он. — Здесь маевка! Никто не запрещал...

Чуя недоброе, Гезох подошел поближе, а капитан объяснил Егорову:

¹ Харам — запрет, «табу».

— Никто не разрешал им играть здесь бандитскую музыку!

Все мужчины-переселенцы напряглись. Невыносимое оскорбление привело бы к безумному порыву — уже Абу оттеснил Егорова и схватил офицера за гимнастерку — но Гезох бросился к Абу, оттолкнул его от капитана и даже ударил палкой по плечу. Он встал между капитаном и разъяренными мужчинами:

— Офицер выполняет службу, его надо уважать! — И погрозил посохом: — Сломаю палку на голове у того, кто посмеет вести себя недостойно!

Все притихли перед Гезохом, отступили. Капитан повторил свой приказ: «Отобрать инструмент», — и тогда солдаты вырвали гармошку из рук Лиуазы.

— А теперь всем р-азойтись! — гаркнул капитан. — После праздника разберемся кое с кем!..

Да, не следовало переселенцам забывать о своем месте под солнцем великой державы...

15.

Гезоха и Исмаила Орманова Ерту повел к себе. Пусть Гезох отдохнет, переночует в доме, где еще витал дух Чегемова старшего. Поужинав, они проговорили до полуночи, уже собирались лечь спать, но в это время постучали в дверь. Ерту и Исмаил напряженно переглянулись: в такое время стучали в дверь не к добру и не соседи. Гезох встал, взял палку, — из-за него славный человек Ерту мог пострадать. Замешкавшись с минуту, Чегемов пошел открывать, открыл, а там, держа бутылку высоко над головой, стоял ликующий, хотя и чуть смущенный, Абу Кайбергенов, за ним притаился Залимгери. Ерту произвольно выругался и вышел за дверь.

— Мы тут еще не все, — сказал Залимгери, — остальные там, за деревьями.

— Кто?! — со стоном вскрикнул Ерту.

— Мы это... Сидели у Отара, вот и к тебе собрались. Подойди к ним, а то они стесняются...

Ерту пошел за деревья и насчитал восемь человек.

— Вы что, с ума сошли! Больше трех собираться запрещено, — испугался Ерту, — Могут обвинить в тайном сговоре... — И выругался еще раз.

Но в мастерстве ругани непревзойденным чемпионом был Адеев, так что Ерту тут же пожалел, что с языка сорва-

лось невольное бранное слово, потому что Батыр, не дав ему закончить, разразился таким искусным монологом, посвященным роду Чегемовых до седьмого колена, что Ерту почувствовал себя мальчишкой и спрятался за спину Ракая Тебердиева.

— Мы не по тебе соскучились, хотим послушать Гезоха,— закончил Батыр примиряюще.— Пошли, горемычные!— Войдя в дом, он поставил на стол бутылку.— Пусть келин сварит нам камни. Они будут долго вариться, а мы успеем поговорить. Спешить не будем. (Батыр Адеев уходил в армию из аспирантуры, был образованнее других. Через неделю он напишет товарищу Сталину большое страстное письмо, еще через неделю его арестуют, продержат в цинковом гробу трое суток, а потом отправят в лагеря на двадцать пять лет. Но в тот вечер он был так весел и оживлен, что гости Ерту забывали о своем положении несчастных изгоев).

Универсальная приемная, как называл свое жилище Ерту, чуть не разваливалась от тесноты, но крамольные гости, собравшиеся побыть с Гезохом, не чувствовали неудобств,— стояли, сидели, нависали друг над другом. Уморившаяся за день, Кудас, жена Ерту, молчаливо доскребала в доме последние остатки того, что годилось для стола. Когда гости кое-как расселись, Абу сказал:

— Тринадцать мужчин. Тайная вечеря... Кто же из нас Иуда?

Это была не слишком деликатная шутка. Правда, не все поняли, на что намекает поэт. Во всяком случае Итлук Китаров, убежденный безбожник, считавший всякое религиозное учение мракобесием, слыхом не слыхивал о заповедях Иисуса Христа, тем более о предательстве Иуды. Но по своей мелочно мнительной природе, он, конечно же, усмотрел в этой шутке Кайбергенова злой умысел, направленный, прежде всего, в адрес... кого? Ясное дело — в адрес Итлука Китарова.

Первый бокал выпили молча, как всегда, после переселения. Выпив, закусили и как-то затихли, словно выпитое могло оказаться ядом. Неловкую продолжительную тишину за столом нарушил все же хозяин:

— А ведь Сталин считает себя верным учеником Ленина,— сказал он, не поднимая головы, ни к кому не обращаясь.

— Учение Ленина, мучение Сталина,— срифмовал Залимгери.— Ленин бы никогда и никому не позволил издеваться над целыми народами...

— Но ведь и он...— вдруг несмело заговорил Рачикау Шакманов.— Вспомните его телеграмму в Реввоенсовет Кавказского фронта..

— А что там? — удивленно поднял брови Ерту.

— Вот что он писал. И мне, как заклинание, запомнились слова... «Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно проявлять максимум доброжелательности к мусульманам. Всячески демонстрировать и притом самым торжественным образом симпатии к мусульманам, к их автономии, независимости и прочее...»

— А что, прекрасно! Ленин требует хорошо к людям относиться,— поспешил предотвратить опасное толкование слов вождя Итлук Китаров.

— Верно, но разве вы тут не улавливаете хитрую тактику? Ведь своим среди своих отцы таких наставлений не делают. А здесь торжественно декларируется то, что является временным, что необходимо для достижения ближайшей цели. Так хитро, я думаю, и умно, поступили большевики однажды с шариатистами на Кавказе. Гибкие в политике, они сумели повернуть силу и влияние этого мощного религиозного движения против Деникина. Я не думаю, что это нравственно, но подобная политическая изощренность достойна восхищения.

Отношение Ерту Чегемова к Рачикау было непростым: как ортодоксальный коммунист, он испытывал классовую непримиримость к бывшим угнетателям народа, но не мог отдавать дани блестящему уму и высокой просвещенности этого отпрыска раздавленного княжеского рода. Да ведь и жизнь здесь, вдали от родных ущелий, где Ерту сам оказался в положении Рачикау Шакманова, раскрывала перед ним свои совершенно неожиданные закономерности. И с князем он познакомился здесь. Отношения между ними, личностями сильными, были уважительными, но сдержанными. Прислушиваться к мнению друг друга, находить пищу для ума в своем общении — это они могли, но подлинной доверчивости, близости пока не возникало. Да, жизнь опять показывала убежденному коммунисту Ерту Чегемову, что какие бы грозы ни проносились над ущельями, судьба родов, обживших в незапамятные времена горные долины, остается единой, что нет высших или низших родов, а есть высшие и низшие цели, к которым стремятся люди. Он и раньше знал, что Рачикау Шакманов не простой человек, но то, что бывший князь так глубоко изучил историю гражданской войны на Кавказе и мог наизусть цитировать Ленина, Ерту и представить себе не мог. В его глазах Рачикау вы-

рос еще больше, и это поразило и испугало его, Чегемова Ерту, воспитанного на трудах Сталина! Да неужели они пришли не к тому, во что так упрямо верили, подумал он со страхом. Есть иная мысль, иное чтение? Он попытался стряхнуть с себя это наваждение. Конечно же, Рачикау, хотя и свой, но как представитель другого класса ищет другой смысл в словах вождя. Надо бы произнести хорошую отповедь, а не размякать, как воск.

Ерту дал знак младшему из апостолов — Бабугею Саханаеву — наполнить стаканы и заговорил спокойно, рассудительно:

— Давай, Рачикау, не будем Ленина трогать. Я читал высказывание какого-то философа — дайте ему право по-своему толковать Библию, и он докажет, что ее написал еретик! Ленин не мог относиться неискренне ни к одному народу. Другое дело, кто как его понимает... Ты человек умный, отлично образованный, но Ленина тебе не понять. — Ерту хотел указать Шакманову на его классовую природу, но воздержался, не желая обидеть гостя, и нашел более мягкое объяснение: — Ты человек других убеждений, и поэтому иначе воспринимаешь некоторые наши понятия... Давайте, выпьем за Гезоха! За то, что он жив и находится среди нас! Пусть судьба побережет тебя для нас, — обратился он к Гезоху, сидевшему во главе стола. — Пусть то, что отнято у тебя злым роком, вновь к тебе вернется, и мы увидим тебя поющим на своей земле!

Все встали и выпили.

— И все же, хотя Ерту и недоволен таким... поворотом моих мыслей, — сказал Шакманов, — но то, что происходит сейчас в нашей стране, очень похоже на осуществление тех идей, которые высказывал господин Карцев в «Петербургских ведомстях». Русский царь, превративший, по определению Ленина, русскую империю в «тюрьму народов», не мог бы, я думаю, позволить себе делать то, что Сталин делает с такой легкостью...

— А кто это был господин Карцев? — спросил Ракай Тебердиев и Гезох укоризненно посмотрел на него как на человека, допустившего бестактность: погоди, не высказывай, имей терпение. — А Рачикау продолжал: — Господин Карцев видел причины стычек на Кавказе в том, что туземцы, то есть кавказские народы, были волками, а русские солдаты и колонисты — овцами. Чтобы избавить «овец» от «волков», следовало переселить туземцев на обширные пустынные пространства Средней Азии. И в этом Карцев не видел никакой несправедливости: ведь кавказские горцы,

считал он, все равно выходцы с Востока! Сравните Указ 8 апреля, сотворенный не царем, а Верховным Советом СССР, с идеями Карцева! Господина Карцева осуждали просвещенные русские, дворяне, а кто из просвещенных коммунистов высказал хотя бы тень недовольства разбойным Указом? Указом, который ставит знак равенства между горскими народами и стаями рыскающих в горах волков! И это уже не больное воображение буржуазного писателя, а реальность. Дорогой Ерту и все вы, коммунисты, неужели не видите, что Сталин, перед которым вы преклоняетесь или преклонялись, превратил страну в концлагерь! При царизме пресса открыто вела разговор о том, как уничтожить туземцев и сделать Кавказ цветущим культурным краем, а при советской власти печать помалкивает, зато политика уничтожения проводится на практике. Несчастные изгнанники, вы еще пытаетесь истолковать плохой сон в лучшую сторону...

— Нет, Рачикау, ты только одну сторону знаешь, а не всю правду,— устало возразил Ерту.— А правда в том, что Ленин в своей работе «Переселенческий вопрос» камня на камне не оставил от всех этих шовинистических теорий. Потрудишься, почитаешь,— сказал он.

— Вот именно,— сказал Залимгери Алиханов.

— Читал и перечитывал— спокойно ответил Рачикау.— Могу на память процитировать многие места, если хотите. Ведь я понять хотел... Бог знает, какие ярлыки на нас вешали, продолжается это и теперь... Ну, да Бог с ними, с ярлыками, не в них суть. Мы ведь оставались людьми, а людям всегда свойственно думать, стремиться понять. Ну и я стремился. Читал Ленина, Сталина, других марксистов... Правда в том, что гнетущее давление началось сразу после Октября. В ту пору партийные журналисты с тупым упорством подгоняли все жизненные явления под уже готовую примитивную схему, снабженную раз и навсегда прилепанными ярлыками. Гнетущее давление не прекратилось с ликвидацией дворянского сословия. Ярость диктатуры перекинулась на состоятельных, затем на зажиточных, дальше — на оппозицию, на «скрытых врагов»... Теперь, как видим, «огонь революции» не пощадил и целые народы... Тридцать четыре крохотных балкарских аула ныне рассеяны по всей Средней Азии, Казахстану, Сибири... Какой тиран до Сталина смог бы решиться на такое?

Исмаил Орманов вдруг ощутил страшную усталость. Он встал, закрыл окно, плотно сдвинул шторы. Он хотел что-то сказать, но осознание того, что Шакманов, этот осколок

разбитого вдребезги аристократического класса, превосходит по умственному развитию товарищей Исмаила по партии, лишало его уверенности. Всегда готовый идти ради идеалов партии на смерть, он сейчас ничего не мог противопоставить доводам Рачикау. Да, продолжал думать Исмаил Орманов, жизнь не щадила его, бросала из огня да в полымя, как гласит русская поговорка, но оставляла не только глубокие шрамы — еще и уму-разуму учила. Однако на многое, что было прежде для него неоспоримым, раз навсегда данным, истинным в высшей степени, он смотрел теперь иначе. Он теперь сомневался и, сомневаясь, страдал. Чувство лидера, особенно обострившееся здесь, на чужбине, заставляло его пропускать все, связанное с его народом, через собственную душу, через собственный ум и сердце. Вот и теперь, в эту ночь, Шакманов, к удалению которого из общества Исмаил тоже приложил руку, не стеснялся говорить то, о чем думал и что странным образом совпадало с сомнениями самого Орманова и о чем Орманов боялся говорить самому себе. Теперь Орманов сам находился в той же яме, куда в свое время он спихивал таких, как Рачикау. Но князь, находясь в яме, видел больше и дальше его! Если по совести, то Орманов, считая Ленина действительно вождем всех обездоленных, не мог бы привести на память ни одной цитаты, а уж о том, какие страсти кипели при царизме вокруг «кавказского вопроса», он и не подозревал.

— А декларации Ленина по национальным отношениям так и не стали законом, — заключил Рачикау.

— Верно! — крикнул Кайбергенов, уже разгоряченный. — Нет законов в этой стране! И еще долго не будет!

— Однако национальный вопрос, как показывает весь ход истории, предстает перед нами в исключительной сложности, — попытлся как-то мыслить масштабно Исмаил Орманов. — Разве могли мы предполагать, даже перед войной, что Ленинские принципы национальной политики — всего лишь величальные песни революции, что они так и не будут воплощены в реальной жизни... — Наверное, он сам чувствовал, что говорит расплывчато, неубедительно, и потому помрачнел еще больше.

Рачикау улыбнулся про себя, но ничего не сказал.

— А я думаю, политические спекуляции в верхах не очень-то отражаются на истинных межнациональных отношениях, — сказал Отар Уркаев. — Наверное, природа этих отношений все-таки социалистическая, иначе мы, изгой,

не имели бы такой поддержки, не увидели бы такого доброго сочувствия со стороны народов Средней Азии и Казахстана. Они ведь не поверили мифу о нашем якобы предательском поведении!

— Но почему это случилось, когда прошло больше года после оккупации, когда мы громили врага так далеко от Кавказа? — Бабугей Саханаев впервые вмешался в разговор. Выпускник ГИТИСа, он успел лишь полгода провести на сцене, а потом ушел на фронт. На «театре военных действий», как шутил Бабугей, он дослужился до капитана. — Кому это понадобилось? Вот великая тайна!

Рачикау отвечал Бабугею, но глядел на Исмаила Орманова:

— Нам доподлинно известно о присоединении Приэльбрусья к Грузии...

— Неужели?! — удивился Ракай Тебердиев.

— Усатый и Четырехглазый все могут!.. — Батыр выразил свой гнев такой виртуозной бранью, что даже Гезох не выдержал, рассмеялся.

— Так что никто из вас не виноват в том, что случилось, — сказал Рачикау. — Безвинно страдали по прихоти тиранов и народы во много раз многочисленнее. Однако, вглядываясь в прошлое, мы вряд ли обнаружим такое обилие великодержавной лжи, которая цветет у нас пышным цветом. В истории обычно бывает все понятно: один празднует победу — другой терпит крушение. А тут, выходит, Сталин использовал войну для очищения земель на Кавказе, но поставил дело таким образом, будто крайняя мера вызвана необходимостью защитить безопасность страны! Подданные государства, которые изменяют родине в войне, всюду караются по всей строгости закона. Вот почему даже цивилизованные нации считают меры Советской власти если не правильными, то вполне объяснимыми. Уж в мудрости и коварстве Сталину не откажешь.

Итлук Китаров молчал. Исмаил изредка бросал в его сторону настороженный взгляд, но тот ничем себя не выдавал: в его не тронутом ни малейшей тревогой лице нельзя было заподозрить злой умысел.

— Кстати, диктаторы всех времен и народов с виду, как правило, бывали кроткими, даже по-детски симпатичными, — сказал под конец Рачикау. — Будь он безобразным злодеем, ему непросто было бы организовывать массовые «расстрельные кампании» и создавать каторжные лагеря.

Все это время Гезох слушал, как слушал он в первом

году нового века, в возрасте двадцати семи лет, рассказ вернувшегося из странствий по Востоку Кязима Мечиева, а потом Солтанбека Абаева, который бывал во многих местах, в том числе и в столице России Петербурге, где учился в консерватории. Для певца Гезоха эти рассказы звучали, как легенды о пророке Нухе, который спас жизнь на земле во времена всемирного потопа.

Гезох всегда относился к образованным людям с почтением, верил им, но то, что происходило на его глазах, и то, как это объясняли образованные люди, его смущало. Он не раз слышал, как образованные люди оправдывали бесконечные аресты и суды, а потом сами попадали под суд, и уже другие образованные люди утверждали, что их бывшие соратники получили по заслугам. Теперь, слушая Шакманова, он, как и Орманов, в душе соглашался с ним, но легче на душе у него не становилось.

Когда уже было изрядно выпито, и все чересчур расхрабрились, готовые немедленно вступить в единоборство с «четыреглазым», Гезох испугался за «апостолов»:

— Довольно, джигиты,— сказал он.— С какой бы стороны к нашей беде ни подойти, выяснится, что она рождена ложью и насилием. С тех пор, как я живу в новое время, ну с того дня, когда в теснинах начались разговоры о светлой жизни, я наблюдаю, что люди в своих поступках жестоки, даже беспощадны. Еще хуже — они пытаются оправдать собственную жестокость благородными целями. Я что хочу вам сказать? Наверное, не то главное, что изгнано несколько малых наций, а то, что все народы попали в сети, хитро сплетенные, еще хитрее расставленные. Сети лицемерия, насилия и лжи искусно плетутся: паук-царь хорошо знает свое дело.— Гости Ерту, одиннадцать апостолов и притаившийся Иуда, слушали проповедь Учителя, а тот, чем дальше говорил, тем все больше казался древним пророком.— Но гнилое семя не даст урожая даже на почве людской темноты, бесправия и доверчивости. Придет время, и сумерки растают в свете нового дня. И этот светлый день — истинный, а не ложный, наступит неизбежно. Вот мои сомнения: окажетесь ли вы готовы тогда возродиться из пепла? Заблудившиеся охотники, найдете ли дорогу обратно? Нет толку от того, что вы сегодня будете искать виноватого, клеймить его, разоблачать... Да и нет смысла искать следы медведя, когда он сам на виду.

— Но что нам делать сегодня, сейчас? — спросил Йсмаил дрогнувшим голосом.

— Прежде всего, вам, предводителям народа, надо покаяться! Многие годы вы правили несправедливо.

Исмаил Орманов положил сразу две таблетки под язык и опустил голову.

— Ну а нам? Нам что делать, не предводителям? — спросил Бабугей Саханаев.

— Рассказывайте детям о названиях родины. Каждое название должно западать в душу каждого ссыльного ребенка, как лучик надежды. Как звезда, которая дорогу указывает. Ну, конечно, не забывать ни одной сказки, ни одной песни! Хорошая народная песня стоит всех ваших обвинительных речей и гневных разоблачений. Берегите песни — старые и новые. Они помогут выстоять, а детей научат любить родину! Переписывайте песни и передавайте тем, кто по молодости не знает. Вы лишены свободного передвижения. Спирайтесь на друзей — русских, киргизов, казахов... Надо переписать все районы, села, города, железнодорожные разъезды, где живут наши соплеменники, в каких детских домах оказались сироты — их тоже надо внести в списки. Надо наладить помощь нуждающимся — ныне сорок девятый год, а не сорок четвертый, теперь почти всех можно спасти, объединить... И тогда вы однажды скажете: «Мы выстояли!» От тех, кто выживет, пойдет народ более здоровый, памятный, духовно сильный. — Гезох немного помолчал, изучающе, пытливо глядя в лицо каждому. — Да, при любом пауке-царе есть и другая сила, она учит правде и спасает. Вы тут вспомнили: если над матерью твоей надругался мулла, то кому пойдешь жаловаться! А вы не жалуйтесь! Еще бережнее относитесь к матери. Она ни в чем не виновата... Я устал. — Гезох еще помолчал и, как-то неуверенно засунув руку в недра старого бешмета, вытащил сложенный вчетверо лист пожелтевшей бумаги. Держа лист в руке, как талисман, и не отрывая от него взгляда, сказал: — Все вы тут, вижу, связаны воедино, как бы в одну человеческую душу... Так вот, я передаю вам эту бумагу... В тяжкие годы я сумел сохранить ее. Однажды, по чьей-то милости, был арестован — боялся, не узнали бы об этой бумаге, но слава Богу, пронесло, и я был рад. Молил Аллаха потом, пусть любой каре меня подвергнет, но даст донести эти... буквы, начертанные рукою Кязима до того времени, когда людей не станут преследовать за их убеждения... Мне недолго осталось жить, боюсь, что не сумею и далее так держаться. Это — рука Кязима, след его сердца! Прочитайте и увидите: он был встревожен тем, что происходит в стране. Пусть сохранит кусочек кязимовской души тот,

кто не побоятся ради одного... стихотворения рискнуть головой. Сейчас нужны поступки, а не размахивание кулаками на кухонных посиделках. Терпение и верные поступки! Теперь я пойду. Скоро утро, мне пора идти.— И Гезох положил на стол развернутый лист бумаги.

Абу, склонившись над рукописью, позабыл обо всем на свете и, только прочитав ее, обнаружил, что в комнате никого нет. Все вышли провожать Гезоха.

Когда они снова вернулись, Абу Кайбергенов встал посреди комнаты и срывающимся голосом прочитал написанные в тридцать восьмом году стихи:

Ай, незабвенный Хаджибекир!
Какая беда на тебя свалилась!
Ты — наша опора и ты — наш кумир,
За что же тебя схватили?

Кто выше гор возносил тебя,
Горы лжи теперь изрыгает.
На край света гонят тебя,
Злоумышленно очерняя.

Ай, горемычный Хаджибекир!
Жребий твой тяжек и страшен:
Короток век, но обширен мир —
Это ты знал и не знал страха.

Со мною ты тихий держал совет,
Улыбаясь огню моей кузни.
В далеком краю увидишь ли свет,
Заклейменный позором узник?

Верно сказано, что героя
Убивают трусливо и подло,
А народ страдает от горя,—
Торжествует чад подколотный!

Тот, кто первым провозгласил
Советскую власть в ущельях,
На наших глазах низвергнут был,
Словно лавиной снежной.

Лучших из лучших, всех поголовно,
Грязью облив, прочь изгоняют.
Кто же так низко, так вероломно,
Верный путь людей извращает?

Лихие джигиты, чья громкая слава
Вчера была в песнях воспета,
Сегодня исчезли, бесследно пропали,
И их имена под запретом.

Бедный Кязим, в душе онемелой,
В обугленном сердце своем,
Ты понял, что черное стало белым,
Неправое — правым, а ночь — ясным днем.

Искатель правды, Кязим неудалый,—
Душа твоя скорбью полна,
По душу Кязима всадник ненасытный
Уже седлает коня.

Оставшиеся двенадцать человек встали в тесный круг, обняли друг друга за плечи и склонили головы над рукописью Кязима.

После некоторого затишья Абу Кайбергенов сказал:
— Всадник ненасытный каждое утро седлает коня по нашим сердца и души. Но мы выдержим!

— Выдержим! — ответил за всех Залимгери.

Помолчали. Разомкнули круг.

— Подлинник Кязима останется у меня! — заявил Абу.

— Кязим считал меня надежным человеком, — попытался возразить Отар Уртаев. — Ты все же... все же...

— Не думай, Уртаев, будто одни трезвенники надежны. — По лицам товарищей Абу увидел, что они склонны передать святой подлинник Отару. Тогда он быстро сложил лист по бывшим изгибам и лихорадочно засунул во внутренний карман. — Не отдам, даже не мечтайте.

— Пусть каждый из нас перепишет текст, выучит его наизусть, а список сожжет, — предложил Ракай Тебердиев, карачаевец.

Они так и сделали, — в ту же ночь переписали, выучили, сожгли, — а потом положили на середину стола истертый по изгибам подлинник Кязима — смешанная с персидским письмом арабица — и до утра тихонько пели и плакали...

16.

У Китарова это была последняя попытка возвысить себя, прокладывая путь навверх по костям своих ближних. Он сразу понял, что просчитался. Да, его похвалили: «Мо-

лодец, оперативно!», однако похвала прозвучала в каком-то раздраженном тоне. Выйдя в коридор, он даже оглянулся — не пристроились ли двое по бокам. Выработанный годами инстинкт самосохранения, тонкий нюх хищника впервые подвел его. Итлук стоял в нерешительности у массивных дверей МГБ Киргизии, куда он входил каждое утро, подтянутый, энергичный, краснощекий, в безупречно выглаженном костюме, в белой рубашке и галстуке, и так же деловито, с чувством исполненного долга выходил поздно вечером. Он считался аккуратным и преданным делу сотрудником. По вечерам он любил звонить женщинам и вести с ними игривые «разговорчики». Тоскующие «послевоенные» бабенки легко шли на сближение: их приводили в восторг и банальные шуточки Китарова, и его беспомощные стишата, с грехом пополам переведенные на русский язык самим краснощеким автором.

Просидевший всю ночь на сборище, названном Кайбергеновым «Тайная вечеря», а теперь напуганный суровой холодностью начальника оперативного отдела, он чувствовал смертельную усталость. У Чегемова он, затаив дыхание, слушал жуткие антисталинские выпады и, если не уходил, то только потому, что там могли догадаться о его намерении. Так бы и сказали: «Пошел доносить!» Не доложить, не обезвредить, а именно «доносить!» Поэтому и пришлось ему оставаться до конца. А начальник оперативного отдела, тоже бодрствовавший всю ночь, оценил выдержку Итлука по-своему:

— Ты так и терпел до утра? Не вступил в борьбу?

Помявшись, Китаров ответил:

— Мне хотелось узнать мысли всех! Да к тому же...

— Ладно, — перебил начальник. — Иди! Отдыхай сегодня.

Итлук Китаров посмотрел на грозного шефа виноватыми собачьими глазами, но тот, казалось, уже забыл о его существовании. Китаров не знал, какой национальности подполковник Шарапов. Этого в министерстве почти никто не знал, зато всем была известна особая жестокость Шаропова по отношению к переселенцам. «И зачем их везли сюда, за тридевять земель? Почему не потопили в море?» Подполковник сказал это сегодня, не глядя в лицо Китарова, однако не принять его слова и на свой счет Итлук не мог. Неужели он, преданный сотрудник Китаров, уже списан? Неужели он сам, в собственных зубах, принес в МГБ свой приговор?

Впервые в своей жизни он не знал, куда идти и бестолково топтался у массивных дверей министерства.

А Шарапов, выставив Китарова из кабинета, привел в движение всю разветвленную, безупречно действующую оперативную службу и, пока Китаров шел от его кабинета до парадных дверей МГБ и еще какое-то время задерживался у выхода, одиннадцать из тринадцати участников вечера были уже арестованы. Один из двоих оставшихся на воле, Итлук Китаров, стоял на ступенях у парадных дверей МГБ, словно прикованный к ним невидимой цепью, а второй — сам Учитель, как окрестил Гезоха Абу Кайбергенов, шел по кряжистым холмам Курдая, между Фрунзе и Алма-Атой. Он странствовал в поисках дочери, не зная, жива она или нет. Ее муж, единственный зять Гезоха, погиб на Дону, когда 115-я кавалерийская дивизия, созданная наспех из пастухов, необученных и немолодых горцев, была брошена против танков. Его зятя, как рассказывали уцелевшие, попросту задавил танк вместе с конем.

Итлук проклинал сейчас Абу Кайбергенова. Не выдумай он, проклятый, эту «тайную вечерю», и еще он, сволочь, не раз вопрошал: «А кто у нас Иуда?», и все посматривал в сторону Китарова. И пить, подлец, не умеет. Плачет, песни поет жалобные и поносит «усатого» самыми последними словами. Конечно, Абу вытворял все это, чтобы унижить Китарова, которого за поэта не считает, унижить и оскорбить за то, что Китаров и теперь продолжает работать в органах. «А кто у нас Иуда?...» Китаров понятия не имел о христианской истории, а потому думал сначала, что этот болтун, баловень Жамауата, вытаскивает эти слова из буржуазной литературщины, из какого-то гнилого стихотворения русских дворян или оппортунистов. Но что-то зловещее крылось в поведении Кайбергенова, потому что он поддакивал враждебным словом не только в адрес Иосифа Виссарионовича, но и Ленина. Он повторял: «История над нами подшучивает — нас тринадцать! И Учитель у нас есть, и мы будем преданы». Орманов его успокаивал: «Зачем же ты так?» А стихоплет знаменитый упорствовал: «Один из нас Иуда, он предаст и даже тридцати серебрянников не возьмет...» — «Оставь, Абу, — обращался к нему Чегемов, — не приставай к Итлуку». Даже этот хвастунишка адъютант Саханаев просил унять пьяного стихоплета.

— Ерту, скажи, как тебя арестовали? — Спросил тогда Кайбергенов. — Кто заложил тебя в том самом марте?

Мало кто знал, что в ту самую ночь на 8 марта Ерту был изолирован и сидел в камере весь следующий

день. И уже, конечно, никто не знал, что эту услугу ему оказал все тот же Китаров. А Китарову не было обидно за недоверие министра? Почему о предстоящем выселении балкарцев Чегемову сказали заранее, а от Китарова скрыли? Почему люди склонны переоценивать одних и не видеть беззаветное рвение других? Почему, стараясь изо всех сил, делая свое дело лучше других, ему приходится все время защищаться? Почему о предстоящем выселении Китаров узнал от Орманова, а не Орманов от Китарова?

Вскоре ему представился случай отплатить за обиду. Однажды, после собрания в Жамауате 6 марта, на котором Китарова освистали, он позвонил в Нальчик и доложил: «Народ в Жамауате взбудоражен, а провокационные слухи о выселении распространяет в народе Ерту Чегемов». Ерту тоже находился в командировке, только в другом районе, его отозвали и посадили. Догадываясь, что на него «стукнул» Итлук, Ерту предпочитал не распространяться на эту тему.

— Успокойся, Абу,— говорил Ерту, волнуясь.— Нас уже выслали, заперли в резервации. Посажённых не сажают.

Тут и спросил Итлук — что это за «тайная вечеря» и кто такой Иуда?

Абу расхохотался:

— Ну и ослотоп! — кричал он.— Об одном только думает: в ком бы еще заподозрить врага! Милая профессия! А он еще стихи пишет,— Абу опрокинулся на грудь Отара Уртаева, изнемогая от смеха.— Итлук, мой племянник, пишет стихи и не знает, кто был Иуда!

— И я не знаю, кто такой Иуда,— Отар, конечно, хотел выручить Итлука, смягчить напряжение, но Абу не унился.

— Все они такие! Иуды! Кто предал Учителя, не ведают...

Если бы кто осадил этого пьянчугу, возомнившего себя великим поэтом, этого националиста и троцкиста, Китаров пошел бы домой и спал бы безмятежно. Но оскорбленное достоинство не позволило ему идти домой — и вот результат. А тогда Итлук не потерял самообладания. Розовощеко улыбаясь, внимательно выслушал Кайбергенова. Иуда, оказывается, был учеником Иисуса, этого мракобеса и обманщика, а он, Абу Кайбергенов, вражья морда, сравнил его, беззаветного бойца Советской власти с какой-то продажной шкуррой! Стерпеть такое унижение и оскорбление хотя бы даже на чужбине? — Не-ет! И он, оставаясь спо-

койным, решил их участь: ладно, сказал он себе, терпение лопнуло. Если кто и Иуда, так это прежде всего Абу Кайбергенов, потому что своим поведением, безудержным злословием, именно он предал себя и всех остальных «апостолов». Ведь как бы он, Китаров, ни искал возможности упечь одного Кайбергенова, сделать так, чтобы он один был арестован и уничтожен, а другие не пострадали, ничего не выходило. Правда, Итлук никак не предполагал, что в числе этих «других» окажется и он сам...

17.

Если бы Гезох обладал еще и остротой зрения, равноценной остроте его ума, он заметил бы в густых сумерках человека, шагающего по шпалам — их пути чуть было не пересеклись в Чуйской долине. Хамзат, как и Гезох, днем прятался в зарослях, а по ночам шел. Шел в тот город, который покинул Гезох, направляясь в Казахстан. Через несколько дней они встретятся, но та встреча будет малорадостной, потому что произойдет внутри пространства, ограниченного колючей проволокой. Там они, конечно, вспомнят о том далеком дне, когда Гезох приезжал в Жаммауат, а Хамзат принимал его с не меньшим почетом, чем столетия назад князь Айдаболов принимал грузинского царя Теймураза I. То были счастливые времена на родине, когда один вдохновенно пел бессмертные песни, а другой вдохновенно сооружал мельницу. А пока они, до своей невольной встречи, оставались в положении беглых нарушителей закона: один искал свою дочь, другой — справедливости.

Дорога от Кегети до Фрунзе составляла дважды по тридцать километров, и Хамзат рассчитывал одолеть ее за две ночи. Шагая по железной дороге, он молился и призывал себе на помощь святых Ильяса и Хызыра, — покровителей путников, а перед глазами все время стояла Мадина — бедное дитя, где же она теперь?

За ночь проехал лишь один поезд на запад, а под утро другой — на восток. Утренний был товарняком, но, похоже, битком набитый людьми: в мелькании мелких зарешеченных окошек угадывались чьи-то бледные лица. Стоя у насыпи за кустом, Хамзат от волнения кусал губы: Боже, все везут и везут... До скончания века будут перевозить, перемалывать, перемешивать?..

Он пошел вдоль насыпи. Места оказались болотистыми,

трудно было идти по кочкам. Пробежала лиса, выпорхнула птица. По той, холмистой стороне железной дороги, начался какой-то овражек, он перешел туда. По дну овражка струился тонкий ручеек темной воды. Хамзат пошел по бережку и немного отдалился от дороги. Он нашел удобное местечко под кустом краснотала, снял обувь, опустил ноги в воду, отдышался. После совершил омовение и утренний намаз. Теперь можно было и поспать. Но прежде чем лечь, он решил все же оглядеться: есть ли поблизости найденные тропы,— ведь его могли обнаружить. Нет, никаких следов Хамзат не заметил. Успокоившись, он пошел обратно, но тут на железной дороге появилась странная фигура. Солнце еще не вставало и трудно было разглядеть, что за человек, но, кажется, это была женщина. Неожиданно раздался пронзительный крик, и Хамзат вздрогнул. Голос показался ему знакомым. «Да неужели?» — подумал он и пошел к дороге. Женщина остановилась. Его охватило волнение: да, так и есть — это она, горемычная Мисирхан! Теперь он был рядом с нею, она могла бы узнать и его. Изможденное постаревшее лицо, беззубый рот, волосы совсем белые, ноги обмотаны тряпьем, на голове тот же полинявший черный платок, в руках авоська и палка. Она разговаривала сама с собою, речь ее была невнятной, лихорадочной. И вдруг она громко рассмеялась. «Мисирхан, дочка!» — вырвалось у Хамзата. Она услышала его, повернулась и долго смотрела ему в лицо безумным взглядом. Она прикрывала рукой беззубый рот, подавалась к нему, снова отступала. «Мисирхан, дочка, ты меня не узнаешь?» Мисирхан оглядела его с ног до головы и захихикала — то ли потому, что увидела старика босым, с закатанными штанинами, и это ее очень позабавило, то ли вспомнив что-то. Потом она уверенно пошла задом наперед. Хамзат испугался, что она упадет и умрет на месте, тогда придется копать еще одну могилу в степи. Но Мисирхан не падала, она шла задом с привычной уверенностью, будто другого способа ходьбы и не знала. «Ой, ради Бога, Мажир! — говорила она, и на миг перед взором Хамзата открывалось другое лицо, молодое, светлое, полное жизни.— Ой, Мажир, ради Бога, если ты потерял дорогу, так и скажи, чего молчать! Я тебе покажу! Я теперь всем показываю дорогу! Всем! Потому что я живу на дороге! — И, стоя на шпалах, показывала на запад.— Иди вот так, иди и иди, никуда не поворачивая, все время иди, туда и обратно, туда и обратно, только берегись поезда! И не верь, когда он останавливается, это обман, поезда никогда не останавливаются, они все время идут...

А, вспомнила, ты любишь отвлекаться... — Она пристально посмотрела на Хамзата. — Ой, Мажир, ради Бога, не притворяйся! Я же знаю, ты все время преследуешь меня! А когда вот так попадаешься, ты притворяешься старым, босым, с обнаженной головой... Да, я виновата, шапка твоя потерялась, не уберегла...» — Она захныкала, опустила прямо на шпалы, села, вытянув ноги, а Хамзат, застыв перед нею, боялся пошевелиться: степь закружилась, дорога стала выгибаться дугой, а вместо одной Мисирхан оказалось сразу три — расплывчатых, но одинаково ухмыляющихся жуткими беззубыми ртами. Хамзат непроизвольно оглянулся — за что бы ухватиться, чтоб устоять на ногах. Тут Мисирхан резко встала и плюнула ему в лицо. Из его глаз брызнули слезы, и степь перестала кружиться. А Мисирхан испуганно поглядела на старика, словно пыталась осознать, что же она сотворила. Удаляясь, она становилась все меньше и все темнее, и даже лучи восходящего солнца, казалось, светили мимо нее, нелепой, бестелесной, неземной, а два бесконечных щупальца железной дороги постепенно втягивали ее то ли в поднебесье, то ли в преисподнюю...

Хамзат вернулся к своему «логову» в кустах краснотала, почти бесчувственно свалился на землю, и губы его, сведенные судорогой, с трудом могли выговаривать слова молитвы.

Ночью он снова шел и, казалось, крик Мисирхан преследовал его — крик, плач, безумный хохот — вся ночь была переполнена ими. Звезды на небе, шпалы под ногами... Он слышал вой и визг дерущихся шакалов, звонкий голосок мальчика, которого звали Ахмат, и торопливые шаги безумной женщины, навек обреченной скитаться по железным дорогам мира...

На следующий день рано утром он уже вступил на улицы города и спрашивал Дом правительства Киргизии. Он знал, что больших начальников охраняют милиционеры и боялся их больше, чем начальников. И все же шел, вызывая к Богу, и когда ему показали Дом правительства, он спросил: дежурит ли там, внутри, милиционер? «Да, а как же иначе?» Сомнения одолели его с новой силой. Он отступил от большого, утопающего в зелени, дома, опустился на лавку в сквере. Судьба любит подшутить над родом человеческим — и более всего странными, необъяснимыми совпадениями: как раз в эту минуту мимо Хамзата проехал «черный ворон», в котором сидели двое «апостолов» — Рачикау Шакманов и Арынчиев, и в ту же минуту Итлук Китаров все еще стоял у парадных дверей МГБ Киргизии.

Над городом поднималось солнце, сам же город был похож на просыпающегося зверя — разминался, сопел, перебирал ногами. Подгоняемый этим шумом, Хамзат тоже встал и направился в Дом правительства: как Бог рассудит, так пусть и будет. Он снял шапку. Проходили серьезные, хорошо одетые люди и исчезали за массивными дверями. Хамзат смотрел каждому в лицо, но лица у всех были напряженные, чужие. И когда он сделал еще один шаг к дверям, по-крестьянски застенчиво сказал: «Салам алейкум!» казалось, голос его ушел в пустоту. Лишь один человек услышал его и остановился:

— Что вы хотели, аксакал?

— У меня прямо со свадьбы арестовали невестку, — сказал Хамзат быстро и без предисловий. Схватил киргиза за руку. — Помоги, и Аллах тебе поможет!

Киргиз, вероятно, понял по лицу старика его отчаянное положение и, как все киргизы, переполнился участием, — не смог пройти мимо. Он взял его под руку, отвел в сторонку и сказал:

— Здесь у вас есть сильный человек — Ерту Чегемов. Он большой начальник. Поможет.

— Ерту знаю, — признался Хамзат. — Знаю Исмаила Орманова. Они смогут, наверное, помочь.

— Я вас поведу к Ерту, а он решит, как быть дальше.

Они пошли по узким улочкам к дому Ерту. Это было утро 3 мая. Люди после маевки, веселые, жизнерадостные, спешили на работу. Они видели, как молодой круглолицый киргиз, с папкой под мышкой, вел под руку усталого человека. Возле дома Ерту киргиз, уже опаздывавший на работу, быстро попрощался и ушел, а Хамзат, войдя в дом, разгромленный оперативниками, застал только плачущую Кудас. Она не знала Хамзата. Он постоял рядом с горевавшей женщиной и, попятившись, вышел. Но плакали и в доме Исмаила Орманова. Единственной надеждой оставался Абу, сын Бияслана, который почитал Хамзата наравне с отцом. Хамзат побудет у Абу и его матери Налмас до вечера, а ночью двинется обратно. Сын Бияслана, конечно, дружит с киргизскими писателями и с их помощью постарается вернуть его невестку в дом.

Хамзат лишь к полудню нашел на окраине города ветхое жилище Кайбергеновых. Низенькая комнатка с маленьким окошком, две узкие железные кровати, стол, печь и вся кухонная утварь тут же, у печи. Возле окна — столик, две табуретки — и все. Налмас была рада Хамзату; плакала и рассказывала... Шесть сыновей погибли, Аллах вернул

ей Абу, но и с ним не все благополучно: тоскует, пьет, а сегодня и не ночевал дома. Хамзат просидел с Налмас целый день. Говорили, вспоминали, молились. Хамзат утешал ее как мог. Абу так и не появился, а к вечеру прибежала жена Залимгерия Алиханова и сообщила, что Абу тоже забрали.

Хамзат видел перед собой железную дорогу и тающую вдаль фигурку Мисирхан. Она тоже шла в надежде встретить сына, мужа, добрых людей. Но только черные бездушные рельсы тянулись перед ней в бесконечную даль, и даже лучи восходящего солнца светили мимо нее.

Все ниспосланное судьбой приходилось принимать так, как есть...

18.

Наступал второй рассвет, а Гезох еще оставался на свободе. Теперь перед ним простиралась безмолвная сухая степь. Когда-то по ней ходили караваны — Гезох представлял себе и древних певцов и древних невольников... На заброшенных дорогах встречались мазары, развалины древних каравансараяв, изредка в дрожащем мареве возникали допотопные каменные истуканы. Как давно живут люди на земле, думал он, сколько же тысячелетий добро борется со злом... Он шел, опираясь на палку и ветром по степи разносились слова не песни его, а молитвы. А в это время переворачивались вверх дном дома его «учеников» в городе и за чертой города, где по спискам комендатур жили переселенцы. Если б его нашли, то с арестом Итлука Китарова повременили бы, но места жительства Гезоха никто не знал, да и, как утверждал потом Итлук, не было у певца этого места жительства. Все «апостолы» дружно твердили, что не знают, да и в самом деле не знали, где живет Гезох, а двое из них — Шакманов и Арынчиев, говорили, что не знают даже его самого. Тогда пришлось взять и Итлука. Но, к своей беде, он ничем не мог «помочь следствию». Он даже не сумел объяснить цели появления «опасного врага» в городе. Все это было воспринято органами, как попытка прикрыть этого самого «врага», а он, Итлук Китаров, хорошо понимал, чем это может ему грозить.

Его посадили в карцер. Итлук, конечно, и до этого часа чувствовал подозрительное отношение к себе со стороны Шарапова. Начальник оперативного отдела не раз грубо обрывал его, но младший по чину Итлук смиренно переносил.

сил все унижения. Теперь, размышляя в карцере о своей работе и о своей жизни, он, естественно, не восхищался, как прежде, твердой волей и железной непримиримостью подполковника Шарапова. В каменном мешке чуть больше метра шириной и окошком под потолком, его розовые щеки так же быстро тускнели, как и его вера в святость той незыблемой власти, перед которой он так рьяно выслуживался. Единственным утешением могло быть только то, что в любом случае его не будут держать здесь до заморозков, а если не отпустят, то наверняка не расстреляют, а отправят в лагерь. Через несколько часов его стало тянуть к полу. Клокочущее от дикой несправедливости сердце утомилось, ноги стали ватными. Его одолевало желание опуститься на пол, пусть он цементный, пусть вреден для здоровья, но нестерпимо хотелось подремать, забыться хотя бы на часок. Но в тот момент, когда Итлук уже опускался, двери карцера отворились, и тюремщик струей холодной воды из шланга залил весь пол, причем досталось и самому узнику.

— Что вы делаете! — заорал Китаров. — Я работник МГБ! Я тут по ошибке!

Но тюремщик лишь глумливо ухмыльнулся.

Стоя в воде по щиколотку, Итлук Китаров почему-то вдруг вспомнил Соудат, ту непокорную девушку из Секи, из ушей которой он тогда с кровью выдрал серьги. Да, Соудат ее звали, сказал он почти вслух. Соудат! Будь ему присуще чувство раскаяния, он не удивился бы тому, почему вдруг так живо представился ему этот образ именно сейчас. Ведь никогда больше не думал он о ней, даже через месяц, когда дарил ее серьги женщине, лицо которой он тоже давным давно позабыл.

Итлук Китаров, привыкший к чистоте, с омерзением посмотрел на выступающее торчком из каменного пола бревно-сиденье, грязное, заплесневелое и сырое. Но выбирать не приходилось. Брезгливо устроившись на нем, он попытался уберечь ноги от ледяной воды. «Проклятья, — подумал он. — Сколько их приходилось слышать... Особенно от женщин. А раньше я только смеялся в ответ на эти проклятья...»

О нем позабыли на целые сутки. Ни еды, ни воды не приносили. Потом вызвали на допрос, и снова допытывались о местожительстве Гезоха. Итлук Китаров теперь сам себя проклинал за то, что на том вечере не узнал о планах Гезоха. И вот приходилось расплачиваться. Первым ударил тот, который стоял справа, а когда Итлук упал, вроде бы поднимая его, скрутил руки на спине так, что кости затре-

щали. Ему вспоминались люди, которых он передавал в лапы гзбэшных мясников. Сам он не бил, но с интересом присутствовал при пытках. Сейчас, когда он сам получал то, на что обрекал других, он сокрушался не о своей былой жестокости, а о том, что был по отношению к своим жертвам... недостаточно беспощаден. А еще мелькали в мозгу, как в детском калейдоскопе, лица Гезоха и «Усатого», Абу Кайбергенова и Шарапова, Ерту и «Четырехглазого», проносились обрывки красных лозунгов, красных звезд и красных знамен — все это, не колеблясь, он уничтожил бы, сжег, утопил в дерьме за один лишь выбитый свой зуб, за один синяк под глазом, за один вывихнутый сустав. Итлук пытался свалить всю вину на Абу, это он созвал всех, он начал разговор, но между мордобоями ему напоминали, что Абу Кайбергенов не несет ответственности за безопасность страны, а он, Китаров, работник госбезопасности, проявил неслыханную слепоту, мягкотелость — и это неспроста! Через несколько дней его перестали бить, как бы забыв о нем, и он понял, что Гезох наконец найден и взят.

* * *

Никто из них не знал, какие силы вмешались в их судьбы, не знали и то, что арестованы все одновременно, покуда их не свели на очную ставку. На очной ставке и отдельных допросах спрашивали всякое, но главный вопрос был один: где то антисоветское стихотворение, которое написал холуй пантюркизма и арабского национализма Кязим Мечиев? На это все в один голос твердили, да, мол, мы читали и перечитывали стихотворение Мечиева, но это — вдохновенные строки о любимом вожде, а рукопись — у Абу Кайбергенова. Кстати, Кайбергенов на первом же допросе вынул из кармана сложенный вчетверо листок с собственноручным текстом Кязима.

— Да, — сказал он, — старый певец Гезох сохранил эти строки, а в тот вечер передал мне на хранение... Но это как раз не то, о чем вы говорите, а одно из лучших стихотворений нашего классика, который, как и Горький, был глашатаем революции. Он написал лучшее стихотворение о Ленине, а это оригинал его стихотворения «Сталин». Мы думали, что авторский текст безнадежно потерян, но нет, благодаря Гезоху, сохранился.

Бумагу передали на экспертизу, а узников оставили в

покое до окончания анализа. Пройдет много лет, и Музафар в день торжественного возвращения балкарского народа на родину встретится на вокзале с Абу Кайбергеновым и, смущаясь, спросит у него, как объяснить то, что находясь в разных камерах, одиннадцать человек говорили одно и то же, на очной ставке совпали все их показания, а в кармане Абу оказался оригинал совсем другого стихотворения Кязима? Как могло свершиться подобное чудо, спасшее «апо-столов»?

— То было одно из худших творений Кязима, созданное им в годы всеобщего затмения, — охотно ответил Абу. — Я носил его в кармане, как паспорт: меня могли в любой день по любому доносу задержать, арестовать, потому что я безоглядно ненавидел «Усатого», его холоуев и не всегда умел скрывать свои чувства. В этом случае верноподданническое стихотворение могло смягчить мою участь, да и донос я мог бы смело опровергнуть. Примерно так тогда и случилось. — Помолчав минуту, Абу добавил: — Мои друзья знали об этом моем чуде, а Китаров не знал. Мы ему не доверяли.

— Пытали?.. — Это был даже не вопрос, а страстное стремление хоть часть боли, пережитой старшими, принять на себя.

— Они пытали нас тринадцать лет... Нет пытки страшней и горестнее, чем клевета на твой народ. — Абу тяжело вздохнул — Тогда нас всех отпустили, потому что донос посчитали мелким и вздорным... Но Гезоха осудили на десять лет за «побег» в другую республику...

19.

Менее чем через неделю и Хамзат отправился по стопам Гезоха...

Хорасан, как и все годы, приходила иногда за щепками в хамзатовскую плотницкую. А в тот злосчастный день она столкнулась с незнакомым всадником у ворот хоздвора. Склонившись под тяжестью мешка, набитым щепками, она не могла бы разглядеть мужчину, если бы даже тот был своим. Всадник не уступал дорогу — он словно нарочно останавливал ее. Хорасан растерялась, прижалась к глиняной стене сарая. Не зная, как быть — пройти или вернуться назад — она замешкалась. Но тут мужчина начал заталкивать ее грудью коня назад, в хоздвор. Ошеломленная, Хорасан опустила мешок с щепками на землю и, точно ули-

ченная в краже, еще сильнее прижалась к стене. Между тем всадник нагнулся с лошади, легко взял мешок и провез обратно в хоздвор. Хамзат набивал обруч на колесо, вокруг него было еще несколько мужчин, и он ничего пока не замечал.

— Чей мешок? — слышали люди злобный голос.

Но Хамзат продолжал возиться с обручем. Только тогда, когда увидел рядом с собой растерянную жену, а злобный голос повторился, он поднял голову, перед ним на рыжем коне восседал Жоро Култаев, недавно избранный секретарем парткома колхоза «Бурана». До этого Хамзат видел его несколько раз — он приезжал из района, как-то даже в легковой машине; невысокого роста, щедедушный, суетливый человек, приезжая в колхоз, он учил, указывал, ругал, а с ними, с переселенцами, вовсе не церемонился. Хамзат замечал, что он и своих не жалует, точно они были перед ним поголовно в долгу и долгов не возвращали. Только сегодня утром в хоздворе говорили, что его сняли за какой-то проступок с работы в райкоме и направили в Кегети секретарем парторганизации.

— Салам алейкум, чон Жоро, — попытался успокоить его Али, хозяин телеги, колесо которой ремонтировал Хамзат.

Но руководитель кегетинских коммунистов уловил иронию.

— Я не мулла, — сказал он, туго подтягивая повод уздечки и тем заставляя коня крутиться на месте. — Я никому не позволю растаскивать колхозное добро.

Хамзат все еще был занят колесом.

-- Но сначала создают добро, — вступил в разговор Рыскул, сердито глядевший на парторга. — Надо иметь что-то, что можно было бы оберегать. Ты-то какое добро имеешь?

— А, Рыскул! — Жоро объехал вокруг Рыскула, примериваясь кнутом. — Напоминаешь мое бедняцкое происхождение, значит?

— Рабское! — поправил его Рыскул.

— Да, я горжусь своим происхождением! Для тебя я, может быть, и раб, но для партии я пролетариат! Оттого-то она доверила мне руководство! Несмотря на то, что я...

— ...проворовался, да? — Рыскул сплюнул насбай и взялся помогать Хамзату. — Уходи, оставь людей в покое.

— Ты и на собрании против меня выступил, — напомнил Култаев. — Против голосовал. Я учту.

— Не пугай, пришелец! Не из пугливых. Ты не пахал здесь, не сеял.

— Если ты прикрываешь врагов народа, Рыскул... Врагов народа и бандитов...

Хамзат замер, словно его ударили по голове. Железные щипцы с длинной деревянной ручкой соскользнули с обруча. «Все! — решил он. — Все, больше нет сил!» И выпрямился.

— Что, Жоро, — спросил он, все еще пытаюсь сдержать себя. — Так нас снова хочешь выслать? Или в мешке нашел голову своего отца?

Али взял за повод коня парторга, попытался отвести его. Жоро резко вырвал у него повод, но почти рядом с собой увидел Хамзата с щипцами в руке. И, как это бывает у всех трусливых людей, распалил себя до истерики:

— Воровать колхозное добро?! — визжал он на весь двор. — Кто тебе позволил разбазаривать древесину!

У Хамзата в глазах потемнело. Оказывается он, Хамзат, не только бандит, не только враг народа, но еще и вор! Вот почему его старуха Хорасан сиротливо жмет к людям, а мешок ее валяется под ногами, как его труп! Огонь, медленно горевший у него внутри все эти дни, после Фрунзе, вдруг вспыхнул ярким пламенем, и Хамзат замахнулся на Жоро щипцами. Аробщик Али успел перехватить хамзатовское оружие сзади, а женщины, уже прибежавшие из амбара, с двух сторон обняли старика. Али вырвал щипцы из рук Хамзата, отбросил их в сторону. Жоро почувствовал себя в безопасности и снова обрел свое обычное хамство:

— Довольно! — при этом он поднимал коня на дыбы. — Люди топят соломой, кураем, кизяком, а ты — дровами. Привык колхозное добро жечь! Я уничтожу твой род! — И, повернув коня, поскакал в контору.

Вокруг Хамзата собралась толпа — мужчины, женщины, — в тот день на хоздворе было много женщин — перебирали семенную картошку. Хамзат часто дышал, хватался за голову.

— Люди, да посмотрите же! — Он высыпал содержимое мешка на землю. Кроме мелкой щепы и крохотных обрезков там ничего не было.

— Да мы, что, не знаем, что ли, — сказала Карылгач. Она взяла мешок из дрожащих рук Хамзата и стала снова собирать в него щепки.

— Как же это... бандитами обозвал, ворами...

Хорасан боялась за Хамзата. После всего, что произошло, он был в таком состоянии, будто ждал лишь какого-то определенного часа, случая, чтобы свести счеты с жизнью. Последние дни он избегал даже встречи взглядом с кем-

либо в доме, тяжело задумываясь, почти ничего не ел. Хорасан не помнила, чтобы с того самого часа, когда Мухтар вернулся в полночь и объявил о своей женитьбе, Хамзат хотя бы один раз уснул спокойно. Теперь он вскакивал по ночам и бормотал в полубреду: «Куда идти? Кому сказать?..» Никакие слова, никакие уговоры на старика не действовали, так и приходилось ей встречать вместе с ним бессонные рассветы...

Сейчас, на хоздворе, она сказала ему:

— Положение у нас такое... Надо смириться. Надо о Мухтаре думать, о Музафаре...

— Да, да, конечно,— поддержала ее рассудительная Жюзюм.— Так им, этим мелким поганеньким начальникам, сверху дозволено.

Но Хамзат сидел, точно окаменев, и слушал слова отрешенно, будто они доносились откуда-то издалека и обращены были совсем не к нему. Когда он встал с места и пошел, женщины, перебирающие картошку, поняли, что он пошел вслед за Жоро. Быть беде, если не остановить его.

Хамзат почти бежал по улице в сторону конторы. Рыскул шагал рядом, с трудом поспевая за ним; он пытался поймать его за руку, но тот, отталкивая его локтем, повторял: «Нет, надо спросить, почему он назвал меня вором? Почему!» Толпой шли и женщины. Они, скорее, не успокаивали Хамзата, а подбадривали: «Почему парторг назвал уважаемого аксакала вором, бандитом?»

Когда вслед за Хамзатом люди гвалились в контору, они увидели такую картину: за столом председателя сельсовета сидел комендант Юдин; перед ним прямо на столе, накрытом неопределенного цвета тканью, сидел Жоро; сбоку стола устроился Жорту Избаиров и, напрягаясь, пишет что-то; рядом с комендантом стоит Светлана Чоттаева и, отвернувшись от него, тихо плачет. День был не комендантский, переселенцы это знали, а потому попятились назад, увидев Юдина. Если Юдин прибыл неожиданно и скрытно, а секретарь сельсовета плачет, что-то случилось, надо бы убраться. Но отважная Жюзюм, показывая на Жоро, попыталась объяснить коменданту, почему они ворвались:

— Комендант, вот этот человек...

Комендант встал, грубо перебил ее.

— Выйдите! Выйдите немедленно.— И, вытолкнув их всех на улицу, захлопнул двери.

Комендант Юдин, наверное, не считал Култаева и

Жорту чужими, потому что и при них не стеснялся выяснять отношения со Светланой.

— У меня не может быть ребенка от шлюхи! — Процедил он сквозь зубы.

— Я шлюха? И это говоришь ты?! — Ты! — вскрикнула Светлана. — Первый и единственный мужчина у меня!

— Все равно! — сказал Юдин. И, помолчав, вскипел: — Родить решила, дура! Чтобы я от суки-переселенки ребенка имел! Да иди ты... не хнычь здесь! Не хнычь, а то... — И он грубо затолкал ее в смежную комнату, где было ее рабочее место. — Помалкивай, а то... отца пойдешь искать по лагерям... — Он снял с гвоздя свой китель, одел его и направился к выходу. Его остановил Култаев.

— Тут твои люди на меня нападают, — сказал он на плохом, почти невыносимом русском языке. — Вот спозаранку один чуть не убил, с железными щипцами набросился. А все за то, что я его уличил в воровстве.

— Кто это? — Юдин остановился.

— Я его не знаю, не успел. Но он плотник.

— А, Хамзат Кушжетеров, — подсказал Жорта Избаиров. — Кстати, его целых четыре дня не было в селе. Вот и бумагу об этом я вам написал. — И вручил капитану листок бумаги, над которой только что трудился в поте лица.

Юдин, озадаченный дурью своей кегетинской наложницы, быстро уловил в сообщении «своих чучмеков» повод для нового устрашения переселенцев, а заодно и возможность прекратить всякие пересуды о нем и Светлане Чоттаевой. Он повернул свой возмущенный лик к Жорте Избаирову, и для порядка, видно, напустился поначалу на своего верного осведомителя:

— О чем ты тут лепечешь, собака?

Жорту прижало к стене и совсем не уязвлено, а преданно, как и подобает собаке, ласково-тихо повторил:

— Я стараюсь, товарищ капитан. Но в дни исчезновения Хамзата вас не было в Чапаевке. Жена сказала, что вы в отъезде.

Юдин в те дни действительно ездил к родителям в Чимкент.

Он вернулся, сел за стол и приказал:

— Зови сюда народ.

— Оставьте Хамзата в покое! — крикнула плачущая Светлана.

Юдин смотрел на свою женщину через открытые двери: если б люди в селе не знали, что она беременна от коменданта!..

Первой в контору снова ворвалась Жюзюм.

— Комендант, парторг колхоза совершил неслыханное надругательство над нами. Бандитами, ворами обозвал.

— Неправда! Я никого не называл бандитом.

— Так значит мы еще и лгуны? — Хамзат, оттеснив Жюзюм в сторону, встал перед Култаевым. — Скажи, кто вор?

— Я поймал твою жену, когда она уносила краденную древесину в мешке.

— Но это же неправда, — сказала Карылгач, а Рыскул, боясь, что Хамзат не выдержит, ударит парторга, встал между ними.

— Извинись, Жоро, извинись! — Кричал он.

— Оставь, Рыскул, все переселенцы — бандиты...

Четыре года потом размышлял Хамзат о том, мог ли он выдержать и этот плевок в лицо? А выдержав, ходить по одной улице со своим обидчиком. Ответа он не знал, как не знал, куда исчезли в тот момент все люди, бывшие в конторе, куда пропала сама контора и почему смолкли все звуки... Реальной была крепкая палка в его руке, реальным был и треск перебитой плечевой кости парторга. Потом Хамзату показалось, что на полу корчится не Жоро Култаев, руководитель кегетинских коммунистов, а призрак всего того зла, что выпало на его долю. Мужчина стонал, как женщина, и он видел страдальческий искаженный лик той силы, которая преследовала его всю жизнь. Кажется, он попытался было вытащить поясной нож, но его ударили по руке, оттащили к стене и прижали к ней. Когда его глаза снова начали видеть, перед ним оказался комендант с побитой злобной физиономией и люди, поднимавшие Култаева с пола. Руки Хамзата, задубевшие от долгой работы с деревом, тряслись, как тонкие былинки под степным ветром. Он понимал, что сотворил, но ничуть не раскаивался в содеянном. Сейчас он ждал решения коменданта, а в памяти его прокручивался арест 38-го. Он даже чувствовал затылком холодное железо пистолета, видел непроницаемое лицо оперативника, только ни страха, ни жалости к себе не было. Одно лишь удивление — как же это он не смирился до сих пор, не понял, в каком мире живет? Он, как заложник из старой притчи, вбитый по пояс в землю, все пытался себе дорогу наметить. Когда он шел сюда спросить с парторга за нанесенную обиду, спина его была мокрая, а теперь в сыром правлении рубаха будто твердела, сдавливая его тело. Жоро, слегка опомнившийся, скулил при каждом скрипе дверей — заходил новый чело-

век, и он испускал страдальческий стон. Хамзат все уходил в те черные дни затмения: и тогда и теперь он никак не мог взять в толк, каким это образом оказался портрет бачамы — вождя за той мишенью, в которую его заставляли стрелять на учениях? Между тем комендант Юдин, закончив писать бумагу, молча протянул ее Хамзату. Хамзат без слов взял ее из белых бескровных рук коменданта и, подписав, вернул ее. Юдин спрятал бумагу в планшет, повесил его через плечо и, насмешливо посмотрев на Жоро, вышел. Хамзат думал, что он позвонит по телефону и дожидется прибытия милиции, но он ушел, ничего не объясняя.

Рыскул продвинулся вперед и, теребя в руках свою изношенную, неизменную зимой и летом ушанку из овчины, сказал:

— Дурной человек впервые сел на лошадь и род свой позабыл...— Люди молчали.— Но если ты, Култаев, пойдешь в суд на устаке, тебе не жить в этом ауле! Так и знай, не жить!

— Он меня искалечил! Он поднял руку на партию!

— Если и в 49-м партия состоит из таких, как ты, ее надо, как худую траву,— с поля вон!

— Люди, вы слышали, что он говорит! — заорал Жоро, позабыв о боли.— Не говорите потом, что не слышали! Вот оппортунист, шпион, враг партии!

— Теперь уже и шпион! — зло бросил Рыскул.

Но Хамзат не слушал их; той весной одиннадцать лет назад его, а вместе с ним и многих других мужчин, обязали пройти кавалерийские курсы. Это был очередной «ликбез», полезный для необученных, но и его, можно сказать, жизнь проводшего на коне и в войнах, гоняли, как последнего новичка. Ниже каменного моста, там, где Юрду, огибая развалины старого городища, вырывалась из теснины, был обширный пойменный выгон, сразу же названный военкомом Чилмаевым солидным словом «полигон». Сюда и сгоняли всех мужчин Жамауата от шестнадцати до пятидесяти лет. Хамид Чилмаев самолично отобрал сорок лошадей из колхозного табуна и теперь самозабвенно, как прирожденный полководец, проводил кавалерийские учения. Забавно было наблюдать со склона, как лихие джигиты скакали по долине и рубили на скаку ореховые прутья, воткнутые в землю. Если всаднику удавалось перекосить все орешины, его хвалили, называли истинным патриотом и прочили ему героические подвиги в будущей войне. А вот того, кто оказывался недостаточно ловким, без оглядки объ-

являли космополитом, носителем чуждых элементов, гемуевцем. В ту пору слово «гемуевщина» звучало еще страшней, чем антанта. Гемуевщина почти приравнивалась к буржуазному национализму, его жуткого смысла в Жамауате никто не понимал, — тем страшнее было попасть под подозрение, и незадачливые рубрики лозы старались вовсю, ставили чучела из соломы. Заставляли самих обучающихся приносить старую одежду, набивать ее соломой, а вместо головы приделывать тыкву или еще что-то круглое. Лихие кавалеристы шли в атаку и отважно протыкали штыками воображаемых врагов! Во время учений с чучелами и произошло то, что потом обернулось для Хамзата настоящей бедой. Он заспорил с начальниками:

— Аллах чтоб меня под корень срезал, враг-то, он ведь не будет стоять, подставив грудь? Он же, наверное, предпримет какие-то действия? Как же тогда молодые люди, с торгом колящие этих кукол, будут защищаться от сильного, хорошо обученного врага?

На него посмотрели с такой враждой и желанием расправиться, что здравый смысл должен был бы заставить его замолчать. Но он, желая уберечь молодых жамауатчан от легкой жизни на войне, продолжал:

— Военный инструктор должен хорошо понимать вздорность учения, когда здоровые парни борются с тряпучими куклами.

Сам комиссар Чилмаев находился на смотре в Ростове, куда собрались все военачальники Северного Кавказа. Хамзат это знал, потому что для этого случая Хамид Чилмаев одолжил у него башлык и бурку.

— Не тебе рассуждать! — отрезал инструктор, набитый до отказа инструкциями высокого начальства.

Учения продолжались; вернувшийся со смотра с каким-то незнакомым значком на груди, Чилмаев командовал с еще большим рвением, но возвращать занятые башлык и бурку хозяину он и не думал.

И все же дома у Хамзата надеялись, что как пришел Хамид Чилмаев за буркой и башлыком, так придет и с ними. Но дни летели, а военный комиссар и не думал, что он чем-то обязан Кушжетеровым. Тогда Хорасан пошла с Мухтаром к Чилмаевым и забрала «дорогие вещи мужа». На следующий день Хамид Чилмаев вспомнил «антисоветский выпад» Хамзата, о котором ему доложил инструктор.

— Если ты сомневаешься в верности советских военных учений, то с тобой, Кушжетеров, разберется ОГПУ!

— Вроде бы неглупый парень, а как разговариваешь со старшими!

— «Старший» у нас — только партия, Кушкетеров! Только партия! И мы все только ее почитаем!

Хамзат ушел с тяжелым сердцем, мысленно прощаясь с берегами Юрду. В полночь постучали в двери, и когда Мустафа открыл их, то увидел двоих. Пока они сухо разговаривали с Мустафой, Хамзат оделся и, стоя у порога, мысленно готовил себя к долгой, трудной, а может, невозвратной дороге. Он лишь боялся за Мустафу, потому что не прошло еще года, как он женился. А ведь еще вчера, тайком поглядывая на стан своей снохи, он преисполнялся тихого восторга: в семье ожидалась прибыль.

Вечером того же дня зашел человек в милицейской форме, вернул пояс Хамзата с ножом, но сообщил, что арестованный просит передать ему бурку и башлык. Хорасан не решалась, а милиционер стоял у дверей и ждал. Хорасан поняла, что милиционер не уйдет, пока не получит просимое, и, отдавая бурку и башлык мужа, Хорасан думала, — пусть, пусть, лишь бы мужчина вернулся в свой дом живым.

Три дня он сидел в одиночестве, а на четвертый двери с лязгом отворились, и два милиционера повели Хамзата к следователю. Он шел, держа руки за спиной, хотя такого приказа не давали. Один конвоир шагал впереди, другой — с пистолетом у хамзатовского затылка — позади. Поднявшись по выщербленным ступеням, они оказались в просторном помещении, в дальнем углу которого сидел за столом человек в военной форме. Справа у стены стояли двое бритоголовых громил в такой же форме. Конвоиры поставили Хамзата перед столом и удалились; те двое оторвались от стены и молча встали по бокам арестованного, готовые скрутить тада, если ему вздумается выкинуть какой-нибудь номер. Но Хамзат, как все невинные люди на свете, бесстрашно глядел на всех, он видел тонкие сухие пальцы сидящего за столом: был он худой, нездешний, почти неживой, но тем зловещее казались силы,двигающие сейчас его руками. Когда он писал, губы его чуть заметно подрагивали, — наверное, повторял то, что писал, а писал он, несомненно, то, что должно было решить судьбу не только одного Хамзата, но и всей страны. Хамзату было любопытно, как этот молодой человек, — лет двадцати пяти, не больше, — успел преисполниться убежденностью в том, что только он и ему подобные могут решать, кто прав и кто виноват, что хорошо для государства и что плохо, правильно ли

ведет себя целый народ или в корне неверно. Массивная чернильница из черного камня, со стаканчиком для карандашей, издавала тихий глухой стон каждый раз, когда он со стуком обмакивал перо, привязанное нитками к деревянной вставочке. Густые чернила, оставляя след на бумаге, как фиолетовые кровавые слезы, долго не сохли, что несколько раздражало худого бескровного человека, хотя в общем он весьма одобрительно посматривал на свою жирную писанину. На какой-то миг он даже светлел душой, но стоило ему поднять голову и взглянуть на арестанта с отросшей бородой и такими невинными спокойными глазами, как тот мимолетный свет тут же и угасал.

Когда он, наконец, исписал два листа тетрадной бумаги, и, скрепив их с другими листками, лежавшими тут же, спрятал в сейф, два молчаливых охранника подтолкнули Хамзата вперед.

— Как фамилия? — спросил худой.

— Если фамилия моя вам неизвестна, то откуда знаете, что я враг? — спросил Хамзат.

— Молчать! — крикнул следователь, и его бескровное лицо сразу же покраснело. Он вышел из-за стола и, вплотную подойдя к Хамзату, прошипел: — И фамилию скажешь, и скажешь, кто велел тебе стрелять в портрет товарища Сталина! Сначала ты затеял антисоветскую пропаганду, попытался опорочить сталинскую военную науку, а затем выстрелил и в портрет вождя.

— Это комиссар Чилмаев и инструктор Петров ведут антисоветскую пропаганду, — сказал Хамзат. — Такое учение, какое они проводят в Жамауате, может привести только к поражению. А портрета вождя я не видел. Может, они сами его подсунули.

— Так ты еще честных людей хочешь оклеветать! Опорочить советские кадры!

— Ты спрашиваешь, я отвечаю. Обвинять меня во вражде к советской власти могут только ее истинные враги, скрытые...

— Молчать! — взвизгнул в бешенстве чекист.

— Отпустите меня к моему делу. Все это — пустое...

— Не-ет, — помахал следователь поднятым кверху длинным худым пальцем. — Не-ет, ты больше не вернешься в красный Жамауат. Там и без тебя построят коммунизм!

— Что же тогда говорить... — смирился Хамзат и, посчитав свою судьбу решенной, отступил на шаг назад.

— Отведите его в седьмую, — приказал чекист.

Молчаливые охранники пришли в движение, и Хамзат

заметил, как один из них успел вытащить свой пистолет, а другой жестом приказал следовать за ним. Когда Хамзата привели в седьмую камеру, он увидел там много людей и обрадовался. Теперь он не один, и кто бы ни были эти люди, среди них можно спокойно умереть. Когда охранники ушли, оставив его здесь, он, постепенно приходя в себя, стал разглядывать сокамерников. Они были подавлены, как-то обреченно и равнодушно молчали. Никаких признаков дружелюбия, участия или хотя бы любопытства они не проявили. Это удивило Хамзата, потому что в камере сидели мусульмане, его земляки,— он мог безошибочно определить: вот чеченец, а это—балкарец, вон в том углу—кабардинец... Хамзат спросил: «Тут есть кто-нибудь из Жамауата?» Сидящие в камере зашевелились, задвигались, и вдруг Хамзат увидел Филимонова, командира партизанского отряда, своего кунака и верного товарища в годы гражданской войны. «Сергей,— крикнул он вне себя,— Сергей, чтоб дом твой сгорел, почему ты здесь?» — «Здесь, Хамзат, здесь,— безнадежно горестным тоном сказал Филимонов, и Хамзат, словно провалившись в черный омут, задохнулся. Кто-то поддержал его; удалось отдышаться и Хамзат снова услышал голос Сергея Филимонова, отважного и умного командира: «Мы заболели давно, Хамзат,— говорил он,— только всю глубину нашей беды мы сознаем, лишь опустившись в эти подвалы...— Хамзат хотел поддвинуться к старому товарищу, но так плотно лежали и сидели люди на полу, что нужно было лезть по их головам.— Но и это не вся трагедия,— продолжал свои горькие признания Филимонов, и Хамзат чувствовал, Сергей напрягает силы, чтобы говорить.— Мы умираем сломленные... Мы умираем сломленные...»

В последующие дни и месяцы, а потом и возвращаясь домой по амнистии, Хамзат постоянно слышал этот голос: «Мы умираем сломленные...» Содрогаюсь, он не мог не согласиться. Выкарабкавшись из того черного омута на свет Божий, он ощущал не столько облегчение и прилив сил, как должно было быть, а сколько неуверенность и беспокойство. Здесь, наверху, по-прежнему звучали веселые песни о свободе и счастье, но и они не облегчали его подавленности. Наоборот, слушая их, он погружался в свои скорбные мысли, острее чувствовал свою сломленность...

Картинки былого промелькнули в его памяти, как ускоренные кинокадры, и он вновь вернулся в год сорок девятый, в злосчастное утро очередной своей беды.

— Ладно, Кочкорбай что-нибудь придумает...— Хамзат

встрепенулся, услышав голос Рыскула. Он стоял рядом и теребил за локоть. — Пошли на работу, там тебя люди ждут.

— Стоит ли? — глухо отозвался Хамзат. — Лучше пойдешь домой, побуду со своими, покуда не явится милиция.

— Все подлецы, все мерзкие люди! — Светлана Чоттаева, разрыдавшись, выбежала из кабинета.

Хамзату не хотелось ни о чем говорить. Он потер ладонь о ладонь и молча вышел на улицу. Люди, стоявшие там и тут, повернулись к нему, но он прошел мимо них с опущенной головой, не зная, куда девать виноватые руки.

* * *

На следующий день по пыльной улице Кегети катилась одноконная телега районной милиции. В ее продолговатом, похожем на гроб кузове, какие делают в Киргизии для перевозки рассыпной пшеницы, сидел Хамзат. Он держался руками за борта кузова, над которыми была видна только его голова. Рядом с телегой ехал милиционер верхом на лошади, а возчик восседал на доске, поставленной поперек кузова. По обочинам пыльной дороги еще долго бежали люди, всю ночь просидевшие с семьей Хамзата, а он, арестованный, то слышал киргизское сердечное слово «Апий» — «О Боже», то крики босоногих мальчишек: «Милица, милица, не уводи устаке!»

Взрослые постепенно отставали, а мальчишки были понастырнее; они все бежали и впереди телеги, и рядом, и позади. Музафар бежал так, чтобы все время видеть лицо деда, постоянно обращенное к нему. Когда телега с конвоем подошла к БЧК — Большому чуйскому каналу — и кони остановились пить воду, мальчишки водрузились на шлюз канала, точно галки, прилетевшие из пыльных степей. Хамзат все смотрел на внука, и Музафар чувствовал в его взгляде желание подбодрить, заставить верить в лучшее. Если бы не верховой милиционер с винтовкой через плечо, Музафар прямо со шлюза прыгнул бы к деду в телегу. Но вот лошади напились, возчик тронул вожжи, и в этот момент Хамзат как-то вздрогнул, попытался даже привстать и крикнул, не отрывая взгляда от внука:

— Вернитесь, мальчишки! Растите дружными!

Шли они обратно молча; мальчишки попеременно брали Музафара за плечо, а Музафар иногда останавливался и смотрел вслед телеге. Наконец, он разрыдался и упал ничком в густую пыль дороги. Мальчишки, не зная, что де-

лать, потерянно стояли над ним, а Мелис кричал на Музафара, бил по спине, пока сам не заплакал.

Когда они вернулись в село, Музафар не хотел идти домой — ведь он обещал вернуть деда, а пришел один. Он топтался вокруг ивы у дома Исаковых, опускался на землю, снова вставал, и это было похоже, как если бы он искал дупло в дереве, чтобы забиться в него, не показываться бабушке. «Телега переехала канал, а потом исчезла за поворотом дороги», — вот и все, что могу сказать ей, — бормотал он.

— Ничего, он еще вернется, вот увидишь, — уверенно повторял Бапына.

— И Манаса, бывало, одолевали враги! — назидательно сказал Мелис.

20.

В те дни село Кегети чувствовало себя как бы виноватым за то, что произошло с устаке. Хамзат вошел в жизнь киргизского аила так прочно, что его арест отозвался болью в каждом доме. В том числе и в доме Кочкорбая, давно уже понявшим, что имеет дело не с преступными изгоями, а нормальными, трудолюбивыми, советскими и бесконечно терпеливыми людьми. Заканчивался май, и окрестные склоны расцвелись алыми и желтыми тюльпанами, зеленели огороды и сады, но людям чего-то не хватало, не было привычного радостного подъема. Наоборот — пробуждались поутихнувшие на какое-то время тоскливые подспудные страхи, люди ощущали чувство беспомощности и незащищенности от неожиданной и незаслуженной беды. И нельзя было жаловаться на судьбу — разве что исходить тайными слезами... Кочкорбай угрюмо молчал, ничего не обещал Мухтару, но все знали, что председатель не раз ездил в район, старался не довести дело Хамзата до суда, бывал у Жоро Култаева в больнице. Вернувшись, он хмурил брови, отводил взгляд при виде молчаливого, убитого горем Мухтара, и легко было понять, что он так ничего и не добился у районного начальства. Знали только, что Хамзат еще содержится в районе. Рыскул носил ему передачи.

Жоро Култаев лежал в районной больнице. «Чтоб он там сдох», — совсем не по-религиозному говорил мулла Маамыт, а Кочкорбай, уязвленный еще и тем, что не может «развязать узел, завязанный этим пришельцем», как он выразился однажды, ругал парторга вместе с райкомом, при-

славшим своего проштрафившегося «кадра» на его голову. Да, хотя Жоро и был родом из соседнего аила, в Кегети его считали чужаком, а такое у киргизов встречалось редко. И чем дольше тянулось дело Хамзата, тем больше проклинали Култаева.

Но выписавшись из больницы в конце июня, Жоро Култаев повел себя еще жестче. Он не был похож на жестоко избитого, справедливо наказанного человека; скорее, он считал себя победителем — ведь он на коне, а Хамзат в тюрьме! Оттого и говорили: новый глава двенадцати кегитинских коммунистов ведет себя, как курбаши двенадцати басмаческих отрядов, взявших село.

И все же Хорасан, поддерживаемая Айной, решила просить у него прощения. Что-то надо было предпринять, найти выход. И однажды вечером они пошли к нему — Хорасан, Айна, Лейла. Жоро Култаев сидел в чапане, пил чай из самовара. Выслушав женщин, он долго молчал. Потный от чая, он сопел, отдувался, разминал отекавшие от долгого сидения ноги, — кажется, специально томил просительниц. Наконец, заговорил:

— Я собираюсь жениться... Мне токол¹ нужна...

Айна догадалась в чем дело и с изумлением посмотрела на Жоро. Хорасан с Лейлой ничего сначала не поняли, но когда Жоро посмотрел на Лейлу, и глаза его похотливо сощурились, Хорасан чуть не вскрикнула от ужаса.

— Побойся Бога, ара²м! — сказала Айна. — У тебя же семья...

Лейла стояла у дверей, содрогаясь от жадного липкого взгляда хозяина.

— Пошли, мама, — сказала она, поняв, что кроме огорчения, этот приход сюда ничего им не сулит. И выскользнула за дверь. Хорасан еще не теряла надежды.

— Байке!¹ — пыталась смягчить Култаева Айна. — Не пристало тебе, большому человеку, извлекать выгоду из людского несчастья.

Но Жоро гнул свое:

— Ныне моей семье нужны молодые здоровые руки, надо и постель мне обновить... Так что, от ссоры перейдем к родству. Пусть ее сноха пойдет за меня.

— Нехорошо, байке... при живом муже. Бог не простит.

— Живые давно вернулись, — грубо оборвал ее Култаев. — Если ее муж и жив, — он там, откуда уже никогда

¹ Токол — вторая, «младшая» жена.

² Арам — злодей.

¹ Байке — уважительное обращение к старшему; старший брат.

не вернется. — Он вытер худую потную шею полотенцем. В тусклом свете керосиновой лампы Жоро казался хищным прожорливым зверьком. — Я не отступлю от задуманного, эта женщина мне приглянулась, и я ее возьму!

В последующие годы Айна не переставала удивляться тому, что новое неслыханное глумление Култаева не прибило Хорасан окончательно к земле, а как бы преобразило ее. Она встала, черный платок ее соскользнул на шею, обнажив седую голову. Айна вздрогнула, когда Хорасан стоя у порога, сказала:

— Пусть змеи обовьют твою шею до того, как моя сноха выйдет за тебя замуж!

Когда она, непокорная, вышла вон, Жоро прохрипел ей вдогонку:

— Выйдет! Не змеи, а ее руки обовьют мою шею!

Пройдет несколько лет, и Жоро Култаев, читая решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 53-го, уснет на току в соломе, прикрыв лицо газетой. Его ужалит гюрза, и он умрет от ее яда. Но в Кегети людей потрясла не смерть парторга, а то, что сбылось проклятье женщины. Мулла Маамыт не раз назидательно припомнит этот случай в своих проповедях.

А тогда, шагая домой, Хорасан спотыкалась, ругала себя за то, что затеяла это посольство. Лейла молчала. Не впервой она ловила на себе ищущие взгляды мужчин. В последние годы эти вечно голодные, неухоженные мужчины как только не приставали к ней! Лейла держалась, старалась никого не обидеть, но и не позволяла никому посягнуть на свое достоинство, достоинство замужней женщины. Из-за этих приставаний она порой неряшливо одевалась, и, как могла, пыталась спрятать свои волосы. «Мама, давай, отрежу их!», умоляла она. Хорасан, не догадываясь об истинных причинах ее желания избавиться от кос, напоминала ей слова Мустафы. Да она и сама прекрасно помнила эти слова, но что делать, куда деваться от докучливых мужчин, ничего не желающих понимать... Даже комендант, свинья настырная, и тот открыто ее донимает!

— Мама, не горюй так, от осла ослиные слова только и услышишь.

— Прости, келин. Я виновата, не надо было мне вести тебя к этому мерзавцу.

Потом Жоро проезжал мимо их дома на рыжем коне, молодецки гикая. Люди понимали, почему он каждый день совершает этот ритуал, выглядевший в его положении и наглым и смешным. Они ненавидели чужака-всадника, но

боялись. Култаев тоже это знал, потому и не стеснялся преследовать свою жертву. Только Музафар не знал. Поэтому когда Култаев приехал однажды ночью к ним на свекловичный участок, он бесстрашно встал ему навстречу.

— Сегодня наша очередь. Мы поливаем,— сказал он.

Култаев не ответил мальчику. Спешился, и, отпустив коня, подошел к Лейле.

— Дай сюда чекмен,— сказал он.

— Кет — уходи,— сказала Лейла. И отвернувшись, направляя воду в новую грядку.

Музафар встал рядом с матерью.

— Дай чекмен, я приехал тебе помочь. Я тоже человек.

— Нет! Зря не тратьте времени. Убить можете, но силой не возьмете.— Култаев попытался вырвать у нее из рук чекмен, и тогда она пригрозила: — Если не перестанете преследовать, я скажу чеченцам...

Музафар взял в руку камень.

— Что мне ваши чеченцы?

— А вы сами знаете...

Култаев молчал. Музафар радовался находчивости матери и ждал, как подействуют ее слова на этого нахального Жоро.

И вдруг Жоро резко взмахнул кнутом, и Лейла согнулась под ударом. Музафар бросил камень и, кажется, промахнулся. «Нет, ты его ударил,— успокаивала его мать потом.— Камень попал ему в бок, и после он уже не мог сильно бить. Ни разу он не смог ударить меня больно, потому что ты ему мешал...» А тогда Култаев наносил удар за ударом и приговаривал: «Вот тебе чеченцы! Вот тебе твоя непокорность! Вот тебе еще, стерва переселенческая!» Музафар бил его кулаками, ловил за руки, подставлял себя под его удары, цеплялся за ноги, чтобы свалить на землю. Потом они сидели — Музафар и Лейла — прямо на земле между грядками. Он хныкал, а Лейла молчала, как молчала все то время, пока Култаев стегал ее кнутом.

— Чеченцы убьют его,— сказал Музафар.

— Нет,— сказала Лейла. Она сбняла Музафара, как обнимала его в те далекие дни, когда он был маленький, и они жили на Кавказе.— Никто не должен знать об этом. Ни чеченцы, ни Мухтар, ни мать... Когда вернется твой отец — и он знать не должен. Ведь узнав, они снова пойдут наказывать Култаева. И снова это обернется тюрьмой. Как для дедушки... Я не хочу новой беды.— Помолчав, добавила: — Мы переживем, Музафар! Вытерпим! И плакать

не будем! И не всегда же над всем народом будет поднят култаевский кнут...— В лунном свете Музафар видел лицо матери,— оно выражало не жажду мести, а призыв к стойкости и упорству.— Я всего лишь хотела попугать его чеченцами, но, как видишь, только хуже получилось.— И она еще крепче прижала к себе сына.

21.

В 49-м Кегети уже не был заброшенным, далеким от большого мира глухим аилом. Через Кегети уже проходила автомобильная трасса в верховья, где, по слухам, нашли золото, а Сатыбек Алиев опасно шептал даже про легендарный уран, из которого делают атомную бомбу. Все это поднимало дух у кегетинцев, вселяло надежды на изобильную жизнь, какой они никогда в жизни не видывали. Пока же, в реальной жизни, по селу вверх проезжали порожние студебеккеры, а вниз они возвращались груженные лесом и, кроме густых облаков пыли, ничего кегетинцам не оставляли.

В кузове одного из таких лесовозов они и приехали. Машина остановилась у конторы. Сначала слез молодой мужчина чуть больше тридцати, с орлиным носом. Он помог спуститься на землю своему попутчику — элегантному мужчине, старше его лет на пять, но отлично сохранившемуся; видно было, что человек этот заботится о себе, следит за своей внешностью и — по тому, как шел впереди товарища в контору, — так же было ясно, что он знает себе цену. Потом они помогли выйти из кабины высокого студебеккера красивой молодой женщине, у которой волосы были совсем седые, будто она специально их выкрасила в такой цвет из-за минутного каприза. Машина укатила дальше, а они, постояв у обочины, оставили женщину под деревом, а сами пошли в контору. Войдя в сельский совет, они застали там золотоволосую молодую женщину с изрядным животиком. Женщина узнала их, но то ли стеснялась своего положения, то ли по женской кокетливости не торопилась с проявлением радостных чувств, вида не подала.

— Залимгери Алиханов, мой друг, — весело сказал молодой человек с орлиным носом. — Женат второй раз, но миссия его благородна: он входит в Совет по выживанию балкарского народа на чужбине. Да, сестра моя, есть такой совет и он работает...— Светлана, не будь она в тягости, бросилась бы навстречу Абу Кайбергенову, обняла

бы его как сестра, но сейчас она лишь стыдливо кивала головой и приглашала сесть. — Меня же вы и так знать должны, как не знать бедного стихотворца из Жамауата! — Светлана улыбнулась, сильнее прижалась к стене. — Да, мой друг Залимгери приехал по делу переселенцев, изучать их положение...

— Ладно, садись, Абу, — сказал Залимгери. Но Абу не стал садиться, а встал у окна. Алиханов продолжал: — Мне бы хотелось записать всех наших переселенцев и особым списком — учащихся. Потом, если вам не будет трудно, проводите меня по домам.

Светлана, обрадованная неожиданными дорогими гостями, все пыталась перевести разговор на Абу Кайбергенова. Совсем недавно в газете «Советский Киргизстан» она прочитала его стихи и ей хотелось спросить, как это удалось напечататься поэту опального народа?

— Такая радость... стихи ваши... как указ на возвращение... Сколько могла, столько и достала номеров газет. Теперь в каждом доме ваши стихи!

Абу Кайбергенов глядел через открытое окно на горы, восторгался ими. Он, казалось, и не слышал слов Светланы.

— Как адайские склоны в Чегеме, — волнуясь, сказал он, повернувшись к Алиханову.

Но усталый Залимгери был недоволен тем, что поэт своими восторгами отвлекает их от дела. Светлана диктовала по хозяйственной книге, он записывал.

— Есть ли фамилии умерших? Много ли умерло?

— В первый год умерло много. Не от голода, от тифа. Есть тут у нас один парень, Али Алатонов. Он все записывает, кто от голода умер, кто от болезни, кого забрали...

Залимгери записал фамилию Али, обвел ее красным карандашом.

— Дети как? Есть ли в селе дети-сироты?

— Да, семеро. Трое мальчиков и четыре девочки. Девочку, Хочуеву, удочерили киргизы, двое — мальчик и девочка, дети Мырзаевых, живут сами, девочка большая. Им люди помогают. Два мальчика — пастухи, они постоянно живут в кошарах. Двух девочек увезли родственники.

— Куда?

— Точно не знаю, кажется, в Кустанай.

— А эти, что в селе, учатся ли?

— Да, ходят в школу.

— Как тут Кушжетеровы? — наконец-то втиснулся в разговор Абу Кайбергенов.

— Кто они вам, родственники? — насторожилась Светлана.

— Хамзат — ровесник отца, его друг. Его невестка, которую вы дали арестовать, моя двоюродная сестра по матери...

— У них новая беда... Такое невезение...

— Что, умер кто-нибудь?

— Не лучше. Хамзат избил тут одного дурака. Но нынче и за дурака спрашивают.

Абу Кайбергенов опустил на табуретку, загрустил:

— Сколько может человек терпеть! Такой выдержанный, и то сорвался. А я хотел его обрадовать... Ведь мы вернули его сноху.

Нет, недаром Хамзат ходил в столицу. На другой день после своего освобождения «апостолы» узнали от матери Абу о том, чем кончилась свадьба в далеком горном селе-нии Кегети.

— Вернули?! — обрадовалась Светлана.

Абу вместе с Исмаилом Ормановым был у министра внутренних дел. Тот, пообещав помочь, через несколько дней сообщил, что «ничего невозможно сделать».

Сидя в тесной конторе кегетинского сельсовета, Абу Кайбергенов заново переживал сумасшедшие дни начала мая, когда он испытывал те же чувства, что и при увольнении из действующей армии: нет смысла жить, творить, любить, терпеть — все святыни поруганы, втоптаны в грязь свинцовоглазой чиновничьей иерархией. Он хранил свой трофейный пистолет у Алыкула Османова, которого, как и Кязима, любил беззаветно. К нему и пришел, решив поставить окончательную точку...

— Алыкул, дай мне пистолет.

Поэт, больной, в постели, насторожился.

— Зачем? — Уже обреченный Алыкул посмотрел на друга влажными глазами.

Абу был готов разрыдаться, но держался этаким бод-рячком:

— Хочу сходить в лес... пострелять.

— Акмак¹ — рассердился Алыкул. — Ты ведешь себя, как трус.

— Ну что мне делать? Что делать, Алыкул? Как жить там, где влюбленных разлучают? За переход через речку сажают в тюрьму? Где даже министры не могут ничего ре-шить?

¹ Акмак — дурак, недоумок.

— А что министр?

— Вот, погляди, ответ твоего министра внутренних дел,— Абу вручил ему казенную бумагу.

Алыкул быстро пробежал ее глазами. Там было, в частности, написано: «В связи с нарушением переселенческого режима... выход замуж без разрешения в другом селе... виновница подлежит осуждению по всей строгости Указа...»

— Да, новое заточение Нестан-Дареджан... Но где Таризл с Автандилом? — Алыкул скомкал бумагу...

— Я объявлю голодовку...

— Да?! Настоящий батыр! Но спешу тебя огорчить — это далеко не подвиг Автандила! — Алыкул полежал с закрытыми глазами, потом уже серьезно сказал: — Кого напугаешь? Усовестить «Усатого»? Друга своего «Четырехглазого»?

Абу откинулся назад, уставился на низкий потолок Алыкулова жилища. Там все еще стояла дата, начертанная нервной рукой Абу: «45 — апрель — 20» — год и день его знакомства с Алыкулом. Пять лет назад, когда Абу Кайбергенов приехал во Фрунзе, он сначала познакомился с сатириком Мидином Алыбаевым. Мидин, его ровесник, был человеком безоглядным, смелым, знал толк в вине, и они быстро подружились. Бывало, не расставались по целым дням, а самые откровенные беседы вели, когда шли в обнимку по ночному обезлюдевшему городу, и их языки заплетались.

— Я бездомный нищий, и водка меня согревает,— говорил Абу.

Мидин подтверждал:

— Да, да, Абуке, водка всем страждущим подруга, только неверная.

— Гадкая,— соглашался Абу.— Но и сама жизнь гадкая штука.

— Нет, Абуке! Жизнь, как и солнце, светла. Только, знаешь, арба наша перевернулась.

Абу замолкал надолго, потом, как бы вспомнив, спрашивал:

— А ты, Мидин... ты почему пьешь?

Мидин отвечал:

— Почему пью? — Он долго обдумывал этот непростой вопрос, соображал. И, остановившись, объявлял: — Я зрячий! Я бездомных нищих зрю! А помочь им... у меня денег нет... А такой дувал вокруг них обнести... ну, как кременгер¹

¹ К р е м е н г е р (кирг.) — мудрец, вождь.

Сталин... мудр-р-ости нет. Вот и... Знаешь, Абуке...

— Что?

— Знаешь, какая беда для человека самая большая?

— Какая?

— Да! — неприкаянно отвечал Мидин. — Вот самая большая беда — это когда поэт зрячий! Сердцем зрячий!

— А я зрячий? — вопрошал Абу.

Мидин переводил разговор на другую тему:

— Вот когда закончат строительство Аламединской ГЭС, я там утоплюсь.

— погоди, до этого еще далеко. Мы еще своего не выпили. Ты скажи, я зрячий поэт?

— Ты? — переспрашивал Мидин. — Абуке, ты же поэт другого народа, как я могу знать. Вот наш Алыкул... Он — зрячий! Ему глаза Бог открыл!

— Алыкул?

— Да, Алыкул. Пошли, Абуке, к нему. Он что-нибудь нам поставит.

Так в полночь они пришли тогда к Алыкулу. После этого Абу душою привязался к нему. Алыкул был молод и талантлив. Но в своем народе он тоже был гоним и трудно жил. В добрые дни Абу говорил ему: «И Борис Пастернак гоним, Алыкул! И Овидий. Его тоже преследовали, заставили умереть на чужбине... Наш Кязим... лежит в земле Казахстана... Тираны любят бездарных...» Добродушный, доверчивый, как ребенок, но звенящий как комуз, Алыкул не всегда воспринимал беспощадно хлесткие эпитеты своего кунака по отношению к властям, но слушал его всегда внимательно.

— Древняя мудрость учит: из любой ситуации всегда есть выход.

— В нашей стране даже два выхода: или сам застрелись или тебя расстреляют. Дай мне пистолет.

Алыкул повернулся к нему и долго смотрел на его исхудавшее, обросшее дикой щетиной лицо.

— Ты же знаешь, я обречен. На кого ты меня оставишь? На Мырзабая Тейтокова? — Был такой посредственный поэт в ту пору и он, будучи еще и чиновником, безжалостно травил Алыкула Османова. Его имя наравне с «Усатым» и «Четырехглазым» приводило Абу в бешенство. Алыкул это знал. — Кто поплачет над моей могилой? Тойтоков?

Сидя на краю невысокой кровати больного поэта, Абу Кайбергенов положил голову на его грудь и зарыдал:

— Над твоей могилой будет плакать Руставели! Слы-

шишь, Руставели! Вся Грузия над твоей могилой будет скорбеть! Алыкул, брат мой, вечно живые Тариэл и Автандил заговорили на твоём языке лучше, чем на любом другом языке в мире! Ты не умрешь! А если умирать, то умрем вместе — два гонимых поэта, одинаково знавших и землю и солнце...

— Но я не хочу, чтобы ты застрелился или умер от голода... Подумай, что скажут о киргизах? Сгинут с земли твоей «Усатый», «Четырехглазый» и всякие там тойтоковы... Все забудется — и горе, и горький хлеб чужбины, а поэты останутся... Мы с тобой останемся.

— Да, Алыкул, ты останешься. Мырзабай будет забыт раньше, чем умрет, а ты останешься. Твоей тропой пойдут поколения поэтов.

— Ладно, Абуке, — перебил его Алыкул. — Ты в Союзе писателей был?

— Был.

— Ну и что?

— Аалы Токомбаев обещал сходить к Первому секретарю ЦК Киргизии.

— Ну вот. Не надо отчаиваться. У Аалы большое влияние наверху.

Абу Кайбергенов не знал, как дальше разворачивались события, но через неделю после того, как поэт Аалы Токомбаев побывал у Первого, Абу вызвали в НКВД. В кабинете, куда его направили, кроме пожилого капитана милиции сидела совсем молодая, но седая женщина. Когда он вошел, она встала и с криком бросилась ему на шею.

— Абу, родной! Брат!

Рано уехавший из села, Абу не помнил свою двоюродную сестру, но и Мадина лишь один раз видела его — это когда он приехал в то лето, и Бияслан, со всеми сыновьями, отправился на сенокос. Но ей сообщили, кто ее встретит и будет провожать домой.

— Вашу сестру освободили по личной просьбе товарища Раззакова, — сказал капитан милиции. — Вот предписание, впредь не нарушайте переселенческий режим и... гарантия с вашей стороны. Подпишите.

Абу быстро и злобно подписал бумагу. Сказал:

— Спасибо вашему Первому!

— Если вопросов нет, вы свободны.

Так Абу Кайбергенов возвращал Мадину, свою двоюродную сестру, ее мужу. Сейчас она томила под деревом, — что-то они там задержались. А им теперь не так радостно было идти в дом Хамзата — радость возвращения Мадины

омрачалась новой бедой. Вот уж действительно подавившего еще и бьют по спине! Но надо было идти.

— Давай так, Залимгери,— сказал он,— ты пока записывай, а я поведу свою сестру в дом ее мужа, который и мужем-то стать не успел.

— Хорошо,— сказал Залимгерий.

Хорасан не сразу узнала свою сноху,— так она изменилась за два месяца тюрьмы,— кожа да кости, совсем поседела. Она опустилась на кушетку, как подкошенная. И Абу долго не мог и слова сказать, потом лишь повторял одно и то же: «Худо нам, Хорасан, худо!». Но Хорасан и сама знала, что худо, только вот как выкарабкаться из этого худа!

— Аллах пусть твою дорогу благословит,— сказала она, преодолев слабость.— Ты не сноху нам, а надежду вернул.— И, обняв Мадину, заплакала.

Очень скоро вся семья была в сборе. Абу уже знал о гибели Арийпы. Мадина, только одна знавшая всю правду, рассказала все Абу и его матери Налмас. Мухтару она ничего не открыла — ведь Шоштарово семейство жило рядом с Кушжетеровыми. О гибели Муссы Абу знал от матери. Хорасан, в свою очередь, вспоминала братьев Абу — Ажока, Азнора, Ако, Аубекира, Аккуша, Ачаха... Она помнила каждого. Спрашивала о Налмас.

Глядевший на гостя во все глаза, Музафар вдруг заявил:

— Если бы вы, взрослые, победили бы всех злодеев, то никого бы не арестовывали.

Абу Кайбергенов долго поправлял усы. Сокрушительная правда мальчика лишала его какой-либо стройной мысли.

— Нет, Музафар, все это очень не просто...— Его осенила идея.— Хочешь, я тебе объясню, в чем дело?

— Хочу,— восторженно воскликнул Музафар.

Но тут Лейла поставила на стол еду, и Хорасан сказала:

— Абу, чтобы я твоей жертвою стала, поешь с дороги. Что делать, пусть Аллах нам хоть Музафара сохранит...

Но кусок не шел в горло. Абу выпил айрана, отставил трехножку с едой. Встал.

— Мать очень скучает по тебе, Хорасан.— Единственное, что мог проронить Абу. При всем своем независимом гордом характере он был человек мягкосердечный и мог легко прослезиться...

— Аллах пусть бережет тебя,— сказала Хорасан на прощанье.

Музафар долго шел за Абу: они так и шли по главной улице аила — Абу впереди, борясь со своим волнением, не оглядываясь, почти бегом; Музафар — позади, как песик, преданный своему хозяину. И когда они вышли за пределы нового балкарского квартала Кегети, Абу остановился у косогора и взял Музафара за руку:

— Я хочу походить по горам, пошли.

Они долго бродили по южным склонам. Абу, изредка останавливаясь у какого-то камня или крутого подъема, шептал похожие на молитву слова. А потом они поднялись на вершину ближайшего отрога, за которым, сверкая ледяными шлемами, высились скалистые громады. Они сели на густую альпийскую траву, и тогда Абу заговорил спокойно и просто:

— Самый главный злодей и насильник обычно имеет облик доброго и справедливого отца. Людям кажется, что он творит самые благородные и героические дела. — Абу на секунду задумался. — А то, что нам кажется насилием, — это будто бы совсем не насилие, а, наоборот, деяние во имя счастливого будущего народа. Вот скажи, как поднять руку на такого отца? Его детей? Детей его детей? Многие ли поймут и одобряют такую «победу»?

Музафар задумался и не ответил. Абу понимал, что при всей упрощенности объяснения, он задал мальчику не очень простую задачу.

На южных склонах луга переливались радостным разноцветьем. Солнце стояло уже низко и обещало необыкновенно прекрасную вечернюю зарю. Музафар видел, как Абу Кайбергенову не хочется покидать эти места.

— Когда очень трудно, Музафар, надо посмотреть на горы, — сказал он. — Они видели больше того, что мы с тобой. Какие бури прошли над ними, а посмотри, какими они остались! Учись, дружок, у гор. И ты одолеешь все горести в своей жизни. И дед твой вернется. И отец. И дух семьи воспрянет... Покуда стоят такие горы, человек должен быть способен преодолеть все!

На следующий день все переселенцы, и взрослые и дети, собрались на сход. Залимгери Алиханов рассказал им о работе Совета (пока неофициального) по выживанию балкарских горцев на чужбине, сообщил много интересного о местах расселения народа, говорил о ближайших целях Совета, об учебе и здоровье детей, о языке... Абу Кайбергенов читал стихи. Здесь, в Кегети, такое было впервые и воспринималось как праздник. Люди на какое-то время

снова почувствовали себя людьми, и мечта о возвращении на землю предков сегодня им не казалась несбыточной.

22.

Пора уже было идти к коменданту. Идти с поклоном. Хорасан испекла лакумы, поймала курицу; уложив корзинку, присела у порога. Лейла стояла уже одетая. В последующей своей жизни она не раз возвращалась к этому дню, да так и не смогла понять, почему захотелось ей тогда для этого случая вымыться с ног до головы и заплести свои богатые волосы в две тугие косы, как в девичестве. С вечера, когда Хорасан сказала: «Надо идти», она согрела воду, искупалась за домом, погладила платье, а на рассвете принарядилась так, будто собиралась встречать на станции Мустафу. Хорасан, сидя у порога, думала. По слухам, комендант не принимал людей с пустыми руками, а то, что она собиралась нести в корзине, было лишь угощением, но не ценным подарком. Люди рассказывали, что комендантова жена любит старинные вещи из серебра или золотые безделушки. Единственной ценностью в доме, уцелевшей, как Хорасан говорила «в пожаре», оставались газыри Мухтара. Но теперь, на чужбине, они были не просто дорогой вещью, а представлялись залогом еще живой связи рода Кушжетеровых с их родной землей, на которую они надеялись вернуться. Да, газыри были родовым талисманом. И все же Хорасан понимала, что память, как бы ни была она сильна, но превратности жизни гораздо сильнее. Когда нет выбора, приходится идти на жертву. Но ведь не все жертвы бесполезны, есть и спасительные?..

— Достань, келин, из сундука газыри Мухтара.

Теперь пригорюнилась Лейла. Она ждала этого, боялась, но старалась думать о материале на платье жене коменданта. Но мать приказала достать газыри, а не отрез для жены коменданта. Тут и боль за Мухтара остро отозвалась в душе снохи. Мухтар вырос при ней, она играла с ним, спорила, ссорилась, стирала и гладила ему рубашки, а он, веселый и добрый мальчик, относился к ней как к родной старшей сестре.

— Газыри? — с дрожью в голосе переспросила Лейла.

Хорасан любила сноху глубокой материнской любовью, Лейла отвечала дочерней...

— Пора идти, доставай.

До Чапаевки, где жил комендант, было километров во-

семь. Хорасан шла чуть впереди, Лейла, неся корзину, чуть позади, слева от нее. Шли молча. Солнце поднималось, и день обещал быть жарким. «Как же это... Неужели комендант, советский офицер, возьмет газыри?» — думала Лейла. «Аллах, пусть серебро затмит глаза насильника, и он даст нам разрешение сходить к бедному мужчине», — молилась Хорасан.

Одна единственная улица разделяла Чапаевку надвое. Собственно, называть-то ее улицей нельзя было — широкое пространство от начала и до конца селения; дома построены в два ряда по краям этого раздолья, где паслись свиньи, ходили стаями гуси, играли дети. Хорасан, увидя свиней, растерянно посмотрела на сноху. Но что Лейла могла сказать матери? Свиньи как свиньи, это было русское селение, и, наверное, сам комендант свиней держал. Лейле стало даже немного смешно, потому что Хорасан, брезгуя и зывая к Богу, зря беспокоилась: свиньи — такие же животные, как и коровы, ослы, овцы, и если Хорасан, с Аллахом в душе, вынуждена идти на поклон к гяуру, то ведь с его, Аллаха, ведома! Но, глухая к разумным доводам снохи, Хорасан продолжала вымаливать прощение у Всевышнего. Приближаясь к дому коменданта, они замедляли шаги: обеих охватывало волнение, которое они безуспешно пытались скрыть друг от друга. За забором большого комендантского дома они увидели злобного пса. Через звено его цепи была пропущена проволока, длиной во весь двор. Пес гулко лаял, прыгая на штaketник; огромный, сильный, он, казалось, вот-вот разорвет цепь и повалит ограду. Девочка лет двенадцати появилась в открытых дверях застекленной веранды и тут же исчезла. Через минуту вышла женщина в шелковом халате с цветастым полотенцем на голове, закрученном в виде шахской чалмы. Лейла поняла, что женщина только что вымыла голову. Хозяйка подошла к забору, но прежде чем спросить о чем-то, внимательно оглядела их лица, руки, корзину. Потом придержала пса за ошейник, и, открыв калитку, сказала: «Проходите». Хорасан и Лейла вошли во двор, полумертвые от страха и унижения; девочка снова появилась на веранде, звонко хихикнула и пробежала мимо них. Хозяйка заперла пса в сарае и ушла в дом, оставив просительниц во дворе. Стоя в ожидании коменданта — они и не думали, что их пустят в дом — они увидели женщин, окучивающих картошку в огороде. Доносились отдельные слова на карачаево-балкарском. «Будто крепостные!» — Подумала Лейла с горечью. Здесь, в Чапаевке, жили в основном карачаевцы, значит, комендант при-

гоняет сюда их женщин, заставляет работать на себя. Если окучивают, значит они же и землю копали, и сажали, и пололи...

Но к ним вышел не комендант, как они ждали, а его жена. Она позвала их в дом. Пройдя веранду, они оказались в большой прохладной комнате. Женщина усадила их. Сильно пахло чем-то соленым, незнакомым и оттого почему-то казавшимся нечистым и греховным. Через минуту из внутренней комнаты к ним вышел сам комендант, без кителя, в одной майке, и просительницы поспешно встали, по привычке, оказывая мужчине почтение.

— Садитесь, садитесь, — сказал комендант. Но сам не сажился, а потому женщины не знали как быть: нельзя садиться, покуда мужчина стоит. Комендант, кажется, это понял и, улыбнувшись снисходительно, сел на стул перед ними.

— Айт, скажи, — повернулась Хорасан к Лейле.

Лейла почувствовала себя так, будто пол под ней проваливается. Ей надо было достать газыри и вручить их коменданту, а она не знала, как это сделать. Голос коменданта прозвучал будто из дальнего угла дома:

— Я слушаю вас...

— Бабушка очень переживает... Надо бы передачу отнести...

— Нельзя! — Это прозвучало, как выстрел.

Лейла опустила голову. Лицо ее стало горячим, вот-вот воспламенится.

— Хамзат Кушжетеров будет осужден! — еще суровее сказал Юдин. — Он поднял руку на партийного руководителя. Подумать только, при мне! — Комендант Юдин встал и четко, словно в строю, зашагал к дверям внутренней комнаты.

Из других дверей, как по команде, в комнату вошла хозяйка. Безошибочным женским чутьем Лейла поняла, что жена коменданта, только она одна, и может им помочь.

— Можно с вами поговорить минуточку? — спросила Лейла.

— Пожалуйста, — сказала Юдина. Она была в хорошем настроении и, как показалось Лейле, не одобряла излишней жестокости мужа. — Пройдите в эту комнату.

Лейла быстро взяла корзину и вслед за хозяйкой вошла в ее спальню. Там она быстро развернула сверток:

— Чистое серебро, черненное кавказскими мастерами.

Но Юдина не обратила внимания на газыри. Пухлой рукой тронула косы Лейлы.

— Боже мой, какие у вас волосы... Свои?

Лейла растерялась, а женщина пощупала ее голову, слегка дернула за косы.

— Свои, окаянные! — Воскликнула она и, сразу же перейдя на ты, пристала. — Зачем они тебе? — Лейла посмотрела на нее с испугом и увидела жиденькие рыжеватые кудельки, выбившиеся из-под «чалмы» на голове Юдиной. — Зачем тебе такие косы? Отдай их мне! — Не дожидаясь ответа, она схватила ножницы и, увлекая за собой Лейлу, пошла к мужу. — Сережа! Посмотри, какие косы у этой переселенки! Я хочу взять их себе. — Комендант, видно, не одобрял поведение жены или вообще не одобрял ее всю целиком. Он махнул фрукой и хотел уйти, но жена властным движением остановила его, а Лейле сказала: — Отдашь косы, будут тебе увольнительные! А эти бирюльки оставь себе.

— Что ты надумала, дура! — возмутился даже Юдин.

— Косы! Как я мечтала, чтобы у меня были косы!

— Они же чужие...

— Все, что мы навешиваем на себя, — чужое. Когда-то было чужим. Тем слаще мне будет: то, что не дал мне Бог, я взяла сама!

Лейла стояла с газырями в руках. Не веря своим ушам, она смотрела на комендантову жену, а Хорасан, не понимая слов, с благодарностью думала, что женщина уговаривает мужа помочь бедным женщинам.

— Милая, зачем они тебе? — Вошла в раж Юдина. — Чтобы вшей разводить? — И поднесла большие черные ножницы к волосам Лейлы.

Лейла произвольно отпрянула, а Хорасан крикнула: «Кой! — не трогай!» Тут комендант вступился за жену.

— Еще никто ни в чем не отказывал моей жене... — При этом Юдин жадно глядел на Лейлу, прилипал к ней глазами.

Лейла смирилась. Опустила плечи, слабо развела руками.

— Мама, я и без того хотела отрезать волосы... Они не хотят газыри. Им женские косы нужны...

— Аллах, тебе осталось только ослепить меня!

— Волосы еще могут отрасти, а отца, может, и не увидим больше, не надо их жалеть, мама!

Рьяно заработали ножницы в руках комендантовой жены; через несколько минут с головы Лейлы соскользнули два увесистых узла, связывавших ее с прежней жизнью. Она слушала Юдину с закрытыми глазами.

— Он даст вам разрешение, даст,— говорила комендантша, а в ее руках извивались две черные змеи.— Пошли. Пошли, я покажу тебе нашу гостиную.— Она потащила Лейлу под руку, и когда Лейла подняла наконец голову, то уже не видела своих волос, а увидела только богатое убранство комнаты: на стенах висели войлоки балкарских мастериц, на них — серебряные и золоченые кинжалы, пояса и нагрудники; на задней стене поверх дорогого персидского ковра — белая бурка с башлыком.

— Как, нравится?

— Очень красиво— сказала Лейла.

— У нас почти кавказский дом...— У Лейлы капали слезы, и женщина то ли пожалела ее, то ли совесть в ней заговорила, призналась: — Я, может быть, это зря... Но так они околдовали меня, твои волосы...

— Дед наш уже не молодой,— пытаюсь остановить слезы, сказала Лейла.— Внук его, мой сын, все время плачет, вскакивает по ночам, кричит...

Комендантша заставила мужа выписать им разрешение на поездку в районный центр. Когда они вышли из дома, женщины на огороде еще окучивали картошку, а дочь коменданта играла с соседней девочкой в классы. Она снова увидела горемычных женщин и хихикнула. Девочка, игравшая с ней, спросила:

— Кто они?

— А, наверное, приходили просить. К нам всегда приходят просить...

“ 23.

Рыскул объяснил им, как найти в районе тюрьму, а когда ночью они собрались, он еще раз пришел и даже изобразил простенькую схему на бумаге. Планы свои они тщательно скрывали от Музафара, чтобы уберечь его от тяжелой дороги, но каково было их удивление, когда выйдя на улицу, они увидели его уже одетым и с палкой в руке. Лейла тут только вспомнила, что в спешке она даже не взглянула на топчан, где Музафар спал. Но в ту ночь Музафар и глаз не смыкал, а сразу после полуночи тихо встал, оделся и вышел.

Теперь они шли: Музафар впереди, как и подобает мужчине, потом бабушка, а последней Лейла. На востоке полнела и наливалась ярким белесым светом утренняя звезда

Чолпон; кавказцы замечали, что в этих местах звезды ближе к земле и горят ярче. Музафару хотелось снять узелок с передачей со спины матери, но Лейла тихо отстранила его руку. Они шли быстро, — надо успеть к утреннему разводу, говорил им Рыскул, а расстояние в тридцать километров не просто преодолеть, особенно бабушке. Но и бабушка двигалась бодро, нисколько не отставая от Музафара, даже подбадривала его, какие-то притчи вспоминала об умении сократить дорогу. Музафар немного злился на бабушку: должна же она, наконец, понять, что ее внук уже не ребенок, а мужчина!

Когда они пришли в районный центр, только начало рассветать. Солнце еще появлялось, но было видно, что день обещает быть жарким. Они остановились у прозрачного арыка, попили воды, пополоскали ноги. В тени могучих топей Хорасан совершила утренний намаз.

Легко нашли тюрьму. У высоких железных ворот стоял один охранник: молодой киргиз. Музафар подошел к нему и по-киргизски спросил:

— Менин чон атамды таныйсынбы? — Знаешь моего де-душку?

Тот посмотрел на мальчика удивленно и пожал плечами. Музафар пошел вдоль высокого забора, как бы ища лазейку, и тогда охранник заговорил, но почему-то по-русски:

— Отходяй, малчик!

Музафар хмыкнул, потому что знал русский язык лучше охранника.

Охранник обиделся и отогнал их подальше от ворот. Теперь они, в ожидании начала работы тюремного начальства, сидели на цементной приступочке железной ограды и каждый раз, когда мимо них проходил мужчина, вставали. Так они просидели долго, солнце поднялось высоко, молодого охранника сменил другой, более взрослый и, как решил Музафар, очень злой. На женщин никто не обращал внимания: люди торопливо проходили мимо, а те, что были в форме, останавливались около охранника, показывали ему какие-то книжечки, а тот притягивал к себе какую-то железку в своей будке, и железные ворота раздвигались, как в сказке. Пришедший исчезал там, а створки ворот смыкались снова. Так бы они и просидели весь день, если бы «злой» охранник не подошел к ним и не спросил, кого они ждут. Потом он провел их через маленькую железную дверь в воротах и показал окошечко в стене, за которым сидел человек в форме. Тот, в свою очередь, позвонил куда-то, взял передачу, а когда к нему пришел какой-то солдат, он

передал ему узелок. За всем этим зорко следил Музафар; он запоминал лица людей, и по ним определял, плохой человек или хороший. Больше он не хотел ошибаться: вот решил же, что новый охранник тюрьмы злой, а тот оказался вовсе не злым, даже добрым, положил руку на плечо Музафара, что-то сказал ему, то ли ласковое, то ли шутливое, а он, дурак, от волнения ничего не понял. Похоже, им разрешили свидание и теперь вели по длинному темному коридору — такое было впечатление, будто это ход в подземелье. Однажды у него уже возникало такое чувство — когда он с Сайдином Исаковым и другими спускался в подвалы Бураны. Они вышли, наконец, на просторную площадь, обнесенную высокими глухими стенами; это был лагерь, расчерченный правильными квадратами зон, обнесенных колючей проволокой, и с высокими караульными вышками по углам. Музафар так и застыл на месте, жадно вглядываясь в группы людей, занятых в своих зонах всякими работами, но конвоир подтолкнул его и подвел вместе с матерью и бабушкой к другой какой-то двери, за которой опять оказался коридор, только еще более узкий и темный. Человек в форме пошел медленнее, точно боялся пропустить нужный поворот. Затем они поднялись вверх по щербатым каменным ступенькам, снова через несколько десятков шагов спустились вниз и через скрипучие двери попали в какую-то новую зону, где стояли рядами обшарпанные одноэтажные бараки с узкими продольными окошечками под самой крышей. Здесь человек в форме усадил их на скамеечку и ушел. Вскоре он вернулся с Хамзатом. Он был в той же, сшитой Хорасан из бязи натальной рубашке, в тех же брюках-шароварах из домотканной шерсти, с сафьяновыми заплатами на коленях. Хорасан встала было, но опустилась, слабея и теряя равновесие; Лейла зарыдала и бросилась на шею Хамзата; Музафар ждал своего часа с достоинством. Когда Лейла, еще плача, отпустила его, Музафар подошел к Хамзату, и, вытянувшись перед ним, совершенно повзрослому сказал:

— Дедушка, не огорчайся, и Ленин сидел в тюрьме!

Он готовился сказать это заранее. Музафар знал из учебников, да и учитель рассказывал, что и Ленина арестовывали, но всякий раз он или бежал сам или его выручали товарищи. Музафар знал своего деда, тот бежать не станет, но ведь могли и выпустить, так что тот милиционер, который ехал рядом с телегой, зря думал, что стережет опасного преступника. Хотел тогда Музафар ему сказать, что он все равно вернется, и скорее сам милиционер будет бе-

жать и прятаться, чем дед его станет преступником или врагом.

— Как ты вырос за эти дни,— сказал Хамзат, улыбаясь в бороду.

Музафар и повел себя так, словно действительно вырос. Он подошел к матери и потянул ее за рукав.

— Хватит... Нам плакать нельзя! Слышишь, нам плакать нельзя!

Потом они сидели и молчали. Как-то не было слов, не выходило: на выгоревшей земле не прорастала трава.

— Горемычный... Бияслан был более счастлив, чем ты. Он не испытал всего этого.

— Я даже отдохнул здесь,— бодро сказал Хамзат. «Да уж, конечно,— подумала Хорасан, уже успевшая заметить, как он сдал за эти дни.— Слепому видно, как ты тут отдыхаешь...» А Хамзат говорил уже Музафару:

— Худо было бы нашим женщинам без тебя.

— Чем кормят? — спросила Хорасан.— Дают что-то съедобное? При твоих бронхах...

— Очень даже сытно кормят,— поспешил Хамзат успокоить жену.— Три раза в день. А бронхи... здешний воздух, наверное, целебный, легко дышится по ночам, ни разу не кашлял. «Все меня успокаивает,— думала Хорасан.— С трудом дышит, по ночам, наверное, кашель его душит, а он, горемычный...» Хамзат повернулся к жене, взял ее руку: «Дочь Гобара, не изводи себя, не дай беде подавить нас. Мы не одни, есть люди более нас обездоленные... Правда, тебе мы много горя причинили, я и твои сыновья...»

Обратная дорога была гораздо тяжелей. Раскаленная от дневного зноя дорожная пыль не давала дышать, но они шли, стараясь не останавливаться. Надо было дойти до дома живыми и ждать, ждать...

Книга четвертая

1.

На исходе тихого сентябрьского дня у ворот зерноприемного пункта сидел человек, не очень старый, но преждевременно изношенный. Он сидел прямо на земле, вытянув ноги и спиной упираясь в глиняный забор. Рядом с ним в пыльной пыли, густо выросшей у ограды, лежал хурджин, даже не хурджин, а скорее ветхая нищенская сума, тощая, как и ее хозяин, по-видимому, совсем не обременительная. Человек курил махорку и поглядывал в сторону проходной. Когда из ворот выезжала какая-нибудь подвода, он вскакивал и, одной рукой таща свой хурджин, другой цеплялся за край телеги и спрашивал: не в сторону ли Кегети? Усталый возчик отрицательно качал головой, а человек возвращался на свое место. Золотистые лучи предзакатного солнца мягко озаряли дремотно-тихую улицу, пахнущую пшеницей, конским потом, колесным маслом. За день лишь две машины подъехали к зерноприемному пункту. В полдень — полуторка, надрывающаяся от непосильного груза, а через пару часов — «студебеккер» с установленным на нем самодельным бункером из досок. Машинам тоже было не по пути. Неудачливый путник сидел в бурьяне, устало прикрыв глаза, когда к воротам подошел почтенного вида пожилой мужчина, аккуратно одетый и с добротным хурджином за спиной. Держался он спокойно. Подойдя поближе, он обратил внимание на дремавшего сидя человека. Сделав еще шаг, он вздрогнул: «Неужели он?» — пронеслось в голове. Он стоял, как вкопанный, и смотрел, а тот дремал. «От усталости всякое мерещится», — подумал он, а все же наклонился и посмотрел внимательнее. Тот открыл глаза неожиданно, будто притворялся спящим, и хотел схватить за руку того, кто к нему притронется. Хамзат резко выпрямился и отступил назад, а Шоштар вскочил на ноги и кинулся к нему с распростертыми для объятий руками:

— Хамзат! Родной!

Хамзат стоял, ни живой, ни мертвый, будто вновь превратился в серый глиняный ком, скатившийся невесть откуда к этим воротам.

— Хамзат! Что ты молчишь! Да взгляни же! Я Шоштар! Я вернулся из ада!

Но Хамзат не потому молчал, что не узнавал его, а потому, что узнал. Брезгливо отстранив его руки, он отошел в сторону.

— Хамзат я расплатился за все свои грехи! И немцы истязали, и красные измывались. Свои и чужие... А теперь ты!.. Не истязай хоть ты меня своим молчанием!

Хамзат хотел было пойти прочь, но тут из ворот выехала телега, на которой был установлен специальный кузов, — один из тех, что делал Хамзат для рассыпной пшеницы, кузов со съёмной дверцей на боку. Эти кузова были очень удобны для вывоза зерна с комбайна на ток, с тока на элеватор. Хамзат делал их с наклонными наружу бортами и сиденьем для возчика в передней части; разгрузить такой кузов даже один человек мог в считанные минуты. Хамзат узнал свою работу. За четыре года кузов, конечно, износился, но все еще служил исправно.

Подъехав к Хамзату, аробщик, парень лет восемнадцати, резко остановил лошадей и крикнул:

— Устаке! Хамзат-ата! Устаке! — Он спрыгнул с телеги и обнял его, как сын. — Кандай — как дела? Живы возвращаетесь, устаке! Я получу суююнчю!¹ — И Хамзат узнал парня — это был Мукаш, который в марте 44-го вез его в свой аул вместе со своим отцом Рыскулом. — Садитесь, устаке! Вы совсем не изменились.

Хамзат, не оглядываясь, как-то излишне торопливо влез на телегу, но, пока Мукаш снова садился на свое место и трогал лошадей, Шоштар успел бросить свой хурджин в кузов, а сам уже на ходу взобрался наверх. Мукаш гнал лошадей и рассказывал Хамзату обо всем, что происходило в селе за время его отсутствия. Летом Музафар работает в лесхозе, сообщает он, сажает лес в Карагайлы. Все живы, здоровы. Да, у Марифы внук родился. Говорят, от коменданта... — Сказав это, Мукаш опустил голову и покраснел, сообразив, что сболтнул лишнее. Хамзат спиной чувствовал дыхание Шоштара, он, по-видимому, не разобрался в сообщении Мукаша, но пытался вклиниться в разговор. Хамзат, чтобы не давать ему этой возможности, задавал все новые вопросы.

¹ С ю й ю н ч ю — подарок за сообщение приятной вести.

— Ну как, справляется ли Музафар?

— Ну да, — обрадовался Мукаш. — Он и трактор умеет водить, Мухтар научил. Прошлым летом он водовозом был в тракторной бригаде. Вот и научился. А что в этом году они ушли в лесхоз, так это понятно...

— Что Мукаш? Что за лесхоз?

— Устаке, вы же не знаете... Решили пустошь превратить в лес! Там такая работа кипит, уже деревья подрастают... Сосна, клен...

— Мукаш, ты не слышал о Могучей Сосне...

— Могучей Сосне? Это где? Нет, не слышал...

Хамзат видел, что Мукаш, сидя на доске, поставленной поперек кузова, начинал уже клевать носом, терять нить разговора; ясно было, что за изнурительный долгий день он смертельно устал.

Солнце зашло, и с гор сразу же повеяло свежим дыханием.

— Мукаш, я ведь очень соскучился по вожжам... — сказал Хамзат. — Уступи мне их, дай почувствовать бег коней по горной дороге. А ты полежи, поспи. Я спал четыре года в лагере...

— Устаке... — только и сказал Мукаш. Он передал вожжи и кнут Хамзату, тут же свалился на дно кузова, и через секунду спал сном праведника.

Хамзат не гнал уставших лошадей, и лишь когда Шоштар сел рядом, нервно передернув вожжами, прикрикнул: «Но, но, окаянные...»

— Нам помирать скоро, — заговорил Шоштар.

— Но, но, окаянные, — повторил Хамзат еще громче. Он боялся, что не совладает с собою и заговорит.

— Нельзя смыть кровь кровью на чужбине... — Что он хотел этим сказать, наверное, и сам Шоштар толком не понимал, он лишь понял, что пробить хамзатовскую броню ему не удастся и чуть ли не взвыл от отчаяния.

— Ну почему ты всегда оказываешься прав, — а я — в дерьме по самые ноздри!

Хамзату тоже хотелось кричать, оглашая долину гневом и болью: «Замолчи, Шоштар! Умолкни! Не заставляй меня на старости лет еще раз поднять руку на человека!» Но молчал, держа себя в узде, а вожжи придерживали его руки.

Годы шли. Что было — то прошло, раны сердца заживали, но вот на тебе, в самый момент, когда душа примиряется с судьбой, эта нечисть вдруг является, садится даже на одну телегу вместе с тобой... Как человек, заблудившийся

ся в лесу, возвращается туда, где уже был,— вот так и время заблудилось?

Да, старость примиряла его со всеми превратностями судьбы; теперь лишь одного он хотел — не ворошить старое, жить уже тем, что оставило ему напоследок Небо. Ведь уже не оставалось сил, чтобы через кровоточащие раны памяти пропускать все былые невзгоды, унижения, мерзость лжи и яд предательства. Зачем он явился, этот выползок из шайтанова зада — опять вторгаться в душу, требовать, клянчить, хныкать, взывать к милосердию?! Возвращаясь домой, Хамзат считал, что отбытый срок — это последнее из испытаний, ниспосланных ему безжалостным и глумливым его жребием. Это было последнее странствие по земному аду, ограниченное дорожным указателем под названием «Амнистия». Ему хотелось безмятежной старости, хотелось быть спокойным, насколько это возможно, созерцателем страстей человеческих, сует земных, и, если Аллах прервал вереницу его жизненных бед, то успеть еще срубить Могучую Сосну и поставить новый дом на новой земле, чтобы и эту землю сделать своей. Дом и могила — две необходимые вещи для того, чтобы считать землю своей. Но нет, верно говорил Гезох-жирчи, куда жив человек, не уйти ему, не убежать ни от старых страстей, ни от новых сует...

Теперь, встретив неистребимого Шоштара вновь, Хамзат понял, что однажды нанесенные душевные раны никогда не заживают полностью, а остаются с человеком до конца дней. Нет, видно, и старость не будет безмятежной,— придется до гробовой доски вести спор с бессмертными демонами людского зла, коварства и лжи, придется терпеть ноющую боль старых ран и получать новые раны...

— ...Ты не пережил того, что я пережил,— скулил Шоштар.— Ногами не измерить, глазами не оглядеть. Во всех моих бедах ты тоже виноват...— Камень мог бы заговорить, расколотся, но Хамзат выдержал и это.— Да, ты во всем виноват! Твое издевательское недоверие, затаенное презрение! Да ты просто глумился надо мной в душе своей! И это толкало меня на роковые шаги.. Я шел наперекор судьбе! Вот смотри, видишь эти деревянные бирки? Их цепляют покойникам лагерным на ноги. Я прихватил их на память. Только случайно они не оказались и на моих ногах...

Хамзат облегченно вздохнул. Внутренний голос, принесший ему это облегчение, напомнил о том, что люди и прежде пытались взвалить ответственность за свои позорные по-

ступки и на Бога, и на дьявола, и на ближнего своего. И редко они винули в своих грехах собственную разнузданную плоть или собственный растленный алчностью и завистью разум. Интересно, чем занимался Шоштар в лагере? Готовил деревянные бирки на ноги умершим? Шел он там наперекор судьбе или хотя бы последней гниде из уголовной шпаны?

...В тот вечер, четыре года назад, Хамзат лежал на нарах, подложив руки под голову и думал. Авоська с передачей лежала рядом, но есть ему не хотелось, как не хотелось и спать. Хамзат догадывался, что за той стойкой, по соседству с ним, лежит чеченец или ингуш, потому что переворачиваясь и приподнимаясь, сосед спрашивал: «Нохчи?» Наверху, на третьем ярусе, лежал совсем еще юнец. Он скрежетал зубами, и это было невыносимо. На нижнем ярусе спал молодой русский парень. Во сне он часто бормотал двусложные, похожие друг на друга слова. Он говорил: «За...», потом шипел что-то сквозь зубы, и только потом заканчивал: «...лог» или «...мок» или «...рок». Хамзат, узнавший бессонницу с тех пор, как он избил Жоро Култаева, лежал на спине и прислушивался к ночным голосам тюремного мира. На дальнем конце барака кто-то плакал, — Хамзату хотелось встать и подойти к нему, но еще не зная лагерных порядков, не решался.

А на другой день, толкая перед собой тачку с глиной, Хамзат вдруг наткнулся на Гезоха, у которого была такая же тачка...

— Гезох, ты ли это? — горестно прошептал Хамзат, не веря своим глазам. — Неужели и ты здесь?!

— Да, все мы здесь, — спокойно сказал Гезох. — Мы все в тюрьме. Разница только в том, что здесь мы видим колючую ограду, а там, — он сделал широкий жест рукой, — там ее не видят. Мы все в тюрьме, и останемся в ней навсегда.

— Как?! — У Хамзата в горле пересохло. — Как это «Навсегда»? Неужели это говорит Гезох?

— Это говорит Сталин! — довольно громко сказал Гезох, и Хамзат невольно оглянулся, волосы его встали дыбом.

— Не губи себя! — По-братски взмолился Хамзат. — Ты любимец народа, ты должен жить. Сталин, может быть, и не знает...

Гезох тогда ничего не ответил.

И без того тоскливые вечера Хамзата превратились в адскую муку. Гезох сторонился людей, ни с кем не общался.

Но однажды в час отдыха Хамзат все-таки поймал его, усадил рядом.

— С живыми людьми всякое бывает... Ты не должен так замыкаться...

В отличие от многих агитаторов нового мира, Хамзат считал, что народ и в прошлом жил достойной жизнью. Жизнь сама по себе никогда, ни в какие века, не бывала только мрачной или только праздничной. Во все времена случалось, что певцам затыкали рты, изгоняли из общества, но Хамзат ни от кого не слышал, чтобы к певцам плохо относились в горах. Наоборот, они были неприкосновенны. Даже князья, против которых они иногда выступали, пытались откупиться от недоброй славы. Теперь же певец сидел в тюрьме. И это выглядело как новое надругательство над целым народом.

— Крупно они взялись за нас, если и тебя упрятали...

— В Коране сказано, — отозвался Гезох, — надо бояться огня, уготованного неверным, огня, чье топливо — люди и камни. Не тот ли огонь теперь разгорелся, Хамзат?

Ночью в бараке Гезох вполголоса напевал стихи-зикри¹:

С каждым днем воспоминаний
Я возрождаюсь для новых страданий.
Слезы струятся из глаз моих —
Хватило бы их, чтоб оросить
Сады родной земли.

Следующие строки перекликались с пророчеством небесного оракула:

Один ли я страдаю безвинно?
Слез всех невинных
Сполна бы хватило, чтобы залить
Адскую бездну и в ней потопить
Всех злодеев земли.

Хрипловатый голос Гезоха звучал проникновенно, завораживающе, и потихоньку все больше каторжников подсаживалось поближе. Почти никто, конечно, не понимал слов молитвенной песни, но она проникала в измученные души, умиляла, умиротворяла и заставляла грезить о чем-то возвышенном, о чем-то более святом, нежели каторга, освящен-

¹ З и к и р — жанр молитвенной поэзии, сродни псалму.

ная грозным режимом. В одну из таких ночей двери барака резко распахнулись, и несколько вооруженных людей подошли прямо к Гезоху. Никто на нарах не пошевелился: теперь страх был сильнее любого чувства. Только не у Хамзата. В бессильной ярости он соскользнул с нар, схватил за рукав одного из чекистов: «За что? За что вы певца?..» Вместо ответа он получил удар по голове и, когда очнулся на полу барака, Гезоха уже не было.

На следующий день в углу лагерной территории прямо на снегу сидел на коленях человек в высокой каракулевой шапке, в легком бешмете, с длинной, как у Шамиля, бородой и с четками в руках. Он читал зауспокойную молитву. Перед ним также прямо на снегу лежало выправленное, но ничем не покрытое тело Гезоха. Шагая в колонне под конвоем, Хамзат узнал того, что на нарах по-соседству с ним переворачивался и вскрикивал: «Ножчи, ножчи...». К ногам покойника были привязаны деревянные бирки, такие же, как показывал ему Шоштар...

— ...Ты не считал меня достойным соседом, — продолжал причитать Шоштар. — Бог с тобой, если не считал братом, хотя бы соседом признавал. Когда Хаджибекир избил меня, избил за дурачка Абей, ты был рядом, но ни слова не проронил... Или ты не был мне братом в юности? — Шоштар произвольно постукивал мертвецкими бирочками, которые все еще держал в руках.

Если бы Хамзат заговорил, он сказал бы ему: «Значит, ты мстил нам всем? Из-за мести ты обрек парней на страшную смерть?» Но он не говорил; заговорить с Шоштаром означало признать его, поставить вровень с собой. Пришлось бы считаться и с его дзводами, — ведь нет на свете преступника, который не соорудил бы себе оправдания из красноречивых и трогательных, способных вызвать сочувствие, объяснений. В чем-то он, конечно, и вину свою признает и покается, но опять же сошлется на бескорыстные свои заблуждения и злобные козни дьявола.

И Шоштар, этот боккабар¹ дьявола, набитый завистью, злобой и тщеславием, не является исключением. Он мог бы даже оправдать себя за то, что не спас Арийпу, дочь Хамзата, что сам казнил сельских парнишек. На нем ведь были немецкие сапоги, которые жали ему ноги. Попробовал бы Хамзат дойти в таких сапогах до самых карпатских гор! Дойти с немцами, а потом, чуя позорную гибель на той стороне, бежать обратно, не успев снять проклятые сапоги, которые никак не изнашивались, а наоборот, с каждым ме-

¹ Боккабар — тряпичный мяч для игры в хоккей на траве.

сяцем жали все сильнее. А ведь мечта освободить ноги и отмыть их в воде реки Юрду порой сводила его с ума! В феврале 44-го он лежал, как затаившийся зверь, в болотистом лесу, и его хлестал холодный дождь. И сквозь завесу этого проклятого дождя, залившего, казалось, не только все Карпаты, но и всю землю, Шоштар видел лицо Хамзата. Теперь оно казалось не таким упрямым и острым, как в 19-м, но глаза Хамзата глядели на него так же сурово, хотя и не говорили ни «да», ни «нет». А еще через месяц, в марте 44-го, Шоштар однажды завопил, как безумный: «Хамзат, чтоб ты свиной пас, что мне делать?!» Но на этот раз Хамзат не представился его мысленному взору. В это время Хамзата везли неведомо куда в продуваемом ветром товарняке среди плачущих от голода и жажды детей.

Чуть позже Шоштар, наконец, снимает сапоги, так больно жавшие ему ноги, сбрасывает с себя шинель с белой повязкой, топит автомат в болотной воде и пускается в обратный путь босиком. Да, можно было бы признать скорбность и его пути, хотя эта скорбность совсем иного рода: одно дело страдание невинного, совсем другое — расплата за бесчеловечную низость и мерзость собственной натуры. И эта низость, и эта мерзость почти неизбежно приводят к опошлению морали, к осквернению родовых обычаев, к положению шлюхи перед теми, кто топчет и хочет поработить твою родную землю. Но в сентябрьскую ночь 53-го, приближаясь к новому дому своего семейства, Шоштар горевал совсем не о позорных свойствах собственной натуры.

— Тебе всегда везло, а мне не везет... Вот и весь Коран! Потлядел бы я на тебя, Хамзат, если бы не Советы, а немцы взяли верх...

Хамзат уже поворачивал лошадей в темный переулок на краю села. Шоштар стучал бирками, как ладонями:

— Мы метались по берегам одной реки! Ты на одной стороне, я — на другой. Мы оба потерпели поражение... Мы оба возвращаемся из лагеря к своим затерянным на чужбине семьям.

На этот раз душа Хамзата едва стерпела, он уже набрал побольше воздуха в грудь, чтобы крикнуть: «Нет!». И все же устоял и на этот раз. Он остановил телегу у неогороженного двора, в глубине которого стоял приземистый дом. Шоштар догадался, что телега стоит у жилища его семьи, но ждал, что Хамзат хоть на этот раз что-то скажет. Не дождавшись, прыгнул с телеги и повторил свои слова:

— Да, мы оба потерпели поражение...

Хамзат тронул лошадей. И даже тогда, когда он разбудил Мукаша и вручил ему вожжи, ему хотелось кричать: «Нет! Нет! Нет!»

2.

В то лето мы работали в лесхозе — в горах, выше нашего села, на склонах Карагайлы копали лунки для посадки леса. Здесь были некогда богатые сосновые боры, вырубленные впоследствии подчистую. В тех же местах где лес сохранился, заготовка древесины продолжалась. Теперь спохватились, стали думать о будущем. Под новые посадки отвели и огромный пустырь, где мы раньше играли в кач-матоп, нечто вроде регби. Для нас, мальчишек, это была нелегкая работа, но мы успешно с ней справлялись. Лесник Иван Петрович подъезжал к вечеру, слезал с коня и лункомером — палкой в метр длиной — начинал проверять и считать наши лунки. Высокий, молчаливый, он, наверное, был и добрым, но, несмотря на то, что мы были почти дети, никаких поблажек нам не делал; если лунка хотя бы на сантиметр не соответствовала норме, ее следовало доделать, докопать. Правда, случалось это редко, мы уже на глаз научились определять точные размеры, а если ошибались, то обычно на крутом склоне, где почва бывала каменистой. Приближаясь к нам, Иван Петрович опускал глаза; они у него почему-то слезились — болели, наверное, и нам было жалко лесника. Он ни разу не сказал нам ни одного грубого слова, даже когда обнаруживал несколько нестандартных лунок. Промаргиваясь, Иван Петрович смотрел в наши испуганные лица и глухо говорил: «Надо доделать, ребята!»

Старшим среди нас был Ачей, еще до выселения он ходил во второй класс, а здесь, пережив первый страшный год, он снова пошел во второй класс, но уже киргизской школы, и учился отлично. Тогда мы, Ачей, Кайсар и я, мечтали вступить в комсомол. Первым осмелился Ачей. Школьная организация его приняла, а теперь мы с волнением ждали, как он пройдет на райкомовском бюро. Это было в апреле 52-го. Урюк расцветал вовсю, и ветер приносил из ущелья упоительные запахи дикой смородины и барбариса. Я помню, каким длинным был тот апрельский день и как мы, ожидая возвращения ребят из района, гуляли до поздней ночи, а потом дежурили у въезда в село до первых петухов.

...Ачей прошел мимо нас, молча, все убыстряя шаг, словно боялся, что мы его задержим. Мы с Кайсаром сразу поняли — оправдались наши самые худшие опасения. Ребята и девчонки, с которыми он ездил на утверждение, были какие-то скучные и раздраженные.

Мы пошли за мрачным Сайдином Исаковичем, теперь учителем местной школы, в надежде все же узнать, в чем дело. Только у своего дома он сказал:

— Чепуха все это, недоразумение... Один дурак сыграл злую шутку.

Все киргизы и один русский — Тимоша — вернулись с комсомольскими билетами, лишь один Ачей, сын Даута, погибшего на фронте в тех местах, где Павел Корчагин строил узкоколейку, вернулся не только без билета, но и как бы с позорным политическим клеймом. И кто бы мог подумать, что всему виной непроницаемость в нашем, да и в киргизском языке, звука «В» перед звуком «О»! Вручение комсомольских билетов приурочивалось к смотру художественной самодеятельности, посвященном дню рождения Ленина. На свою беду, Ачей любил петь и пел хорошо. На смотре он даже солировал — спел на чистом киргизском языке шуточную песню «Девушка и парень». Он вообще и сам на киргиза был похож: круглолицый, с чуть раскосыми глазами и очень жесткими черными волосами. Русским он тоже владел достаточно, чтобы запевать в хоре песню «Широка страна моя родная». Девочки рассказывали, как сначала все хорошо и весело шло. Кегетинцы имели самый большой успех. Кстати, из всех делегаций высокогорных киргизских школ только они пели на русском языке, и это должно было прибавить им особый балл. Но произошла форменная катастрофа. Вот Ачей вдохновенно начинает:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так больно дышит человек...

— Токто — стоп! — закричал культмассовик райкома — строго одетый молодой киргиз. — Поптори! — потребовал он.

Ачей, ни о чем не подозревая, решил повторить песню сначала:

— Широка...

— Нет, нет, последняя строчку, — говорит культмассовик, владевший русским не лучше Ачая.

Ачей, соображая, что снова забыл про мягкий знак в

середине слова «вольно», поет еще старательнее:

...Где так *больно* дышит человек...

Тогда культмассовик, повернувшись к Сайдину Исаковичу, спросил:

— Кто он?

Сайдин Исакович ответил:

— Ученик восьмого класса Ачей Балаев...

— Нет, нет, по национальности?

— А... балкар...

— Переселенец! Понятно, почему он так поет, понятно! — Культмассовик встал.

— Что — понятно? — встревожился Сайдин Исакович.

— Под вашим носом враги народа превращают известную советскую песню в антисоветскую, и вы ничего не видите? Да еще такого в комсомол предлагаете! — И он подлетел к Ачею и схватил его за ворот рубашки. — Больно дышит, да? — говорил он, задыхаясь и коверкая русские слова. — На комсомол хотиль пролизть, да? — И вытолкнул его вон со сцены.

— Так он не может выговорить «в», как и все мы, — закричал Сайдин Исакович. — Вы что делаете, товарищ?

— Сегодня на бюрой пойдет разговор ни только о попытке переселенческого убулюдка переименовывая советскую песню, но и о политической близорукость учителя Исакова. Об этом подумай!

Сайдин Исакович был не из трусливых.

— Зря ты бодаешь воздух! — сказал он при полном зале, сравнив тем самым ретивого патриота с бараном.

Сайдин Исакович побежал за Ачеем. Ребята нашли их у арыка, где Ачей стоял, уткнувшись бледным лицом в ствол тополя, а учитель просто был рядом...

На бюро райкома комсомола не все одобрили поступок своего работника, ведавшего культмассовой работой; иные даже посмеивались над ним, но они уже не раз бывали свидетелями того, что если человека однажды заподозрили в политическом грехе, то будь он мал, этот грех, или велик, а пятно уже не смывалось никакими средствами. Сайдин Исакович не побоялся назвать культмассовика олухом, позором для комсомола, но тот свое дело сделал, и члены бюро побоялись проголосовать за переселенца, осквернившего святое советское слово!

Ачей Балаев и школу после этого бросил. И мы никогда больше не слышали, чтобы он пел.

Здесь, в Карагайлы, он был у нас за бригадира, и робкие переговоры с Иваном Петровичем всегда вел он. Ачей,

конечно, не отваживался вступать с лесником в споры, но если Иван Петрович был чрезмерно строг, и мы в отчаянии сбивались в кучу, Ачей, позабыв свою робость, говорил:

— Камень, все камень... Склон крутой! — продолжал он свое объяснение.

Иван Петрович, конечно, и сам видел, что склон крутой, что много пеньков и камней, что копать очень трудно, но упрямо помаргивал слезящимися глазами и так же упрямо повторял: «Надо доделать, ребята!»

Мы смотрели ему вслед — шинель его касалась земли, мокрые от росы полы ее бились о кирзовые сапоги и даже тогда, когда он садился на свою коротконогую кобылку, нам казалось, что он шагает своими ногами, а коня просто держит между ног, чтобы не поскользнуться на мокрой дорожке.

Кроме будничной мечты о больших заработках, у нас была и мечта заветная: подготовить спектакль и сыграть его перед своими соплеменниками. Я не помню, кто из нас первым высказал эту мысль — Кайсар или я, но она зародилась после спектакля какой-то приезжей киргизской труппы. Самодеятельный был тот коллектив или профессиональный — кто тогда из нас в этом разбирался! — но сам спектакль взбудоражил наши души до полного смятения. Это была сказочная пьеса, ее название — «Отправляйся в добрый час, возвращайся живым». Герой должен был освободить любимую девушку от захватившего ее в плен чудовища. С невероятными трудностями добирался он до владений этого монстра. Чудовище, этакая помесь дракона с крокодилом, занимало почти всю сцену. Мы смотрели на ожесточенную схватку героя, красивого молодого парня, с чудовищем, затаив дыхание. Батыр ослабевал, падал, но в момент, когда он вот-вот должен был стать жертвой дракона, лакомым куском, откуда-то доносилась песня, батыр узнавал голос любимой и, вновь обретая силы, вставал и яростно бросался в бой. В конце концов батыр прикончил этого крокодила-дракона, и из распоротого чрева чудовища взошло солнце родной земли, залившее ярким чудотворным светом все окрестности и дорогу, по которой батыр пошел вместе с освобожденной возлюбленной навстречу своему счастью.

Это было первое представление в нашем селе, и наш клуб едва не развалился, переполненный множеством восторженных зрителей. Мы с Кайсаром стояли в углу сцены и видели, как за опущенным занавесом занесли чудовище на сцену, как его двигали. Как хотелось дотронуться до

него руками! Но когда началось действие, мы позабыли, что перед нами бутафорское чучело. Мы так воспринимали сказку, словно это была чистая правда о нас самих. В зале то и дело слышались всхлипывания.

По дороге домой дедушка Ануара, Кади, читал стихи из поэмы Кязима Мечиева «Раненый тур»:

Не хлеб ты вкушаешь, а горе,
Мой раненый тур, мой народ.
Но где же средь наших нагорий,
Охотник, что жертву спасет?
Ты бедствий изведаль так много,
Как много в ущельях камней.
Скажи мне, чья горше дорога,
Скажи мне, чья доля трудней?

...Предстояло лето 1953 года, и мы уже знали, что опять пойдем в лесхоз, чтобы в октябре, как обычно, вернуться в школу. Мы выросли, острее сознавали свое положение. «А ты плакал», — сказал мне Кайсар. Это был упрек, он не прощал мне моих слез в тот самый день пятого марта пятьдесят третьего! Кайсар, круглый сирота, один из семей, оставшихся без крыши на чужой земле, был всего на год старше меня, а понимал жизнь гораздо глубже.

— Давайте летом и мы сыграем пьесу... — Мы лежали на траве, было уже за полночь, где-то на другом краю села киргизская молодежь пела песню из популярного тогда спектакля «Алтын кыз», и эти слова — «Давайте летом и мы сыграем пьесу», — прозвучали как знамение. Кто же их сказал, эти слова? Наверное, мы в эту ночь настолько одинаково чувствовали, настолько одинаково воспринимали мир, что сказать их мог любой из нас.

— Нас будет семь человек в бригаде, — сказал Кайсар, помолчав.

Я понял, что он уже думает о какой-то пьесе и даже роли между нами распределяет заранее.

— Но все мы парни, а разве можно обойтись без девушек? — засомневался Азрет.

— А что? Иногда и мужчины могут играть женские роли. Да у нас в пьесе их, может, вообще не будет.

Я привстал на колени и тронул лежащего Кайсара за плечо:

— А ты давно об этом думаешь? — Мне по сей день кажется, что в ту минуту я испытал чувство, похожее на ревность.

— Да,—сказал он.—Давно мечтаю. Только раньше не знал, как подступиться к этому делу, а теперь, после приезда к нам артистов...

— Теперь знаешь?

— Теперь знаю. Только вот... не знаю, как выразить...

— Что? — Я стоял перед ним на коленях, и под мягким серебряным светом луны его лицо казалось мне очень взрослым.

— ...тоску по родной земле.

Я не помню, сколько времени мы молчали, но все это время черные глазища Кайсара в пол-лица смотрели куда-то в небо, и в них то ли слезы поблескивали, то ли звезды отражались. Старший из семерых детей, оставшихся без отца и матери, он, казалось, осознавал себя старшим из всех остальных сирот, рассеянных по чужбине. Он острее и мучительнее остальных бредил возвращением на родину, будто считал, что родина, кроме всего прочего, спасает и от сиротства.

— А мне дед рассказывал такую быль... А точнее спел однажды, когда мы возвращались из Тагылы-кола.

— Какую? — Кайсар живо повернулся ко мне.

— Давным-давно в горах жило гордое независимое племя,— начал я, подражая деду и живо представляя его таким, каким он был, когда напевал мне эту быль или легенду.— Мужчины занимались охотой, овцеводством, а женщины пряли шерсть, валяли войлоки и мастерством в этом деле превосходили женщин низинных земель. Но вот однажды на это племя напали враги, разрушили их жилища, а здоровых мужчин и мастериц угнали в рабство. Но законный в цепи старейшина велел соплеменникам взять с собой по пучку травы со своих лугов и беречь эту траву, как зеницу ока. Люди племени не понимали для чего это нужно, но брали, ибо слово старшего было для них свято. А старейшина, умирая в дороге, говорил, что пока запах травы сохранится, родина не будет забыта. Помните, говорил старец, когда человек теряет уверенность в том, что может защищаться, он гибнет. Даже оставаясь живым, он — не лучше мертвого. А трава бессмертна, потому что прорастает в любую погоду, переносит любые невзгоды и запаха своего не теряет... На чужбине была объявлена смертная казнь за хранение этой травы, но люди шли на казнь, а чудодейственную траву скрывали от насильников. Новорожденному первым делом давали вдохнуть ее запах, и ребенок, подрастая, искал, просил и требовал дать ему еще и еще подышать этим запахом. То поколение, которое было

сокрушено врагом и согнано с родной земли, давно вымерло на чужбине, но вырастали новые поколения, они, благодаря запаху сохраненной травы, знали и помнили землю предков. И вот однажды отважный потомок того старца, что умирал в цепях, собрал дружину и перебил своих насильников. По запаху той травы он повел свое племя на древнюю родину...

— Вот он, наш спектакль! — вскричал Кайсар. — Какой урок нам преподавал Хамзат! — Он схватил меня за плечи и стал трясти. — У тебя же готовая пьеса в голове была! Тут и сочинять-то почти ничего не надо!

— Да ну! — не поверил я, хотя, рассказывая легенду, я и сам уже прощупывал стержень будущего спектакля.

— В общем, пусть это будет сюрпризом для наших. Никому ничего пока не будем говорить, а как только каникулы — так сразу и начнем.

Он проводил меня до дома, — так он поступал всегда, если мы где-то задерживались.

Но уже в Карагайлы, когда мы просиживали долгие вечера на травке перед шалашом, поставленным над обрывом бурной реки Аксай, мы поняли, что сочинять пьесу не такое уж простое дело. Раскинутые для полета наши крылья опустились и мы, слегка поругавшись с Кайсаром, бросили карандаши. Выход подсказал тогда Аюу — самый сильный и рослый среди нас. Отец его считался пропавшим без вести в войну, жил Аюу с матерью и сестрой, в школу не ходил: сначала не в чем было ходить, а потом стал переростком. После голодных 44-го и 45-го вымахал в такого медведя, что мы, позабыв его настоящее имя Ануар, называли Аюу — медведь. Он был молчун, но говорил прямо, резко, как и думал. Мы хотели поручить ему роль злодея, но он не соглашался. Аюу-Ануар мечтал вернуться на родину, потому что он верил, что отец его жив, что он вовсе не пропал без вести, а вернулся на родину, и, не желая покинуть ее, ждет своих детей там. Это настолько крепко в нем сидело, что мы с Кайсаром сразу сдались и пообещали ему роль именно того, кто должен был в пьесе указать путь к освобождению, роль Адамея, старейшины. Злодея решил-ся, окерпя сердце, сыграть Кайсар. Тогда Аюу и сказал:

— Это же сказка! Нам должны верить просто так! Зачем вы хотите все по-настоящему делать на сцене?

Мы с Кайсаром сразу забыли о ссоре и переглянулись, предчувствуя, что нас вот-вот осенит верное решение.

Но раньше нас высказался Ачей:

— Надо показать правду!

— А что, в сказке нет правды? — Возразил Аюу.

Не знаю, как Кайсара, но меня это потрясло. Оказалось, что парень, не прочитавший ни одной книги, не знавший, что такое пьеса, объяснил нам главный закон сцены — художественную условность.

Так началась работа над пьесой. Предлагались разные названия: «Травы Родины», «Завещание», «Помнить обратный путь»... Остановились на «Завещании». Когда были определены действующие лица и содержание трех актов пьесы: изгнание — жизнь на чужбине — восстание и возвращение, — сразу же распределили роли. Получалось следующим образом:

ЗАВЕЩАНИЕ

Трагедия в 3 актах

Действующие лица и исполнители:

Адамей — старейшина племени (Ануар)

Канамат — правнук Адамея, предводитель племени (Музафар)

Азнаур — друг Канамата, воин (Ачей)

Келдикыз — мать Канамата (Азрет)

Айсурат — невеста Канамата (Бапына)

Бериян — предводитель злодеев (Кайсар)

Авакай — шпион Берияна и палач (Сафар)

Банда злодеев, согнанный народ, вешатель и повешенные.

Несмотря на то, что почти все дети переселенцев возвращались с каникул с опозданием на месяц, а то и больше, мы были в школе важными шишками. Кайсар — председатель учкома, я возглавлял совет дружины. К тому времени мы оба играли на комузе, пели из Токтогула. Особенно любили в селе, когда Кайсар пел великую песнь запрященного поэта Молдоклыча Шамырканова «Будайык». Мы и сами сочиняли айтышы на злобу дня — хвалили отличников в школе и ударников в колхозе, клеймили позором лодырей, всякого рода жуликов, обманщиков и прочее. Мы сочинили сатирическую песню о Жорту Избаирове, о коменданте, и на разных торжествах в селе нас всегда просили спеть эти песни. Мы с Кайсаром выступали, как за-

правские акыны; слушатели покатывались со смеху, просили повторить. Не знаю, доносили на нас Жорту или коменданту, но мы благополучно пережили 52-й, к осени 53-го готовили спектакль. Да, к этому времени мы уже не чувствовали себя чужими в Кегети, а других мест мы просто не знали.

Первая половина лета в этих местах — время таяния высокогорных снегов, и Аксай, конечно, разливался во всю ширь своей поймы. Вернувшись с работы потные, грязные, мы прыгали с обрыва в реку, стирали одежду, плавали, а потом по двое приступили к своим обязанностям: Азрет с Аюу ходили за хворостом, Бапына и Сафар стряпали, я и Кайсар садились за пьесу. Только Ачей оставался один: он как старший исполнял обязанности бригадира, учетчика, — ему приходилось возиться с бумажками. Повара пекли кукурузные лепешки и кипятили воду; иногда варили суп из картошки и дикого лука, росшего на склонах.

Работая над пьесой, мы на слух проверяли реплики, пробовали сыграть какую-то сценку, а потом утверждали ее или отвергали. К исходу июля пьеса была завершена, а тексты ролей переписаны всеми участниками. Мы и на работе теперь вживались в свои образы. Я уже не был Музафаром, а воображал себя Канаматом, Бапына привыкал к своей женской доле. Он был действительно очень красивый мальчик, и голос у него был нежный, так что мы уже заранее предвкушали его успех на сцене.

Изредка на наших репетициях присутствовал Иван Петрович и, сидя над обрывом, покачивал головой. Вначале мы его стеснялись, прекращали репетиции, но потом привыкли, старались даже при нем играть лучше, не баловаться, а он молча кивал головой, что-то про себя шептал и его впалые щеки, подслеповатые, словно плачущие, глаза, обвисшие плечи выражали страдание, и теперь он для нас олицетворял собою весь зрительный зал. С наступлением темноты он садился на свою коротконогую лошадку и уезжал. Мы смотрели ему вслед, и в наступивших сумерках он казался нам со спины сказочным существом с лошадиными ногами — его собственные ноги были полностью закрыты полами шинели. О мифических кентаврах мы тогда еще ничего не знали.

К середине сентября мы завершили работу в Карагайлы, но уходить из урочища не спешили, потому что хотели окончательно отладить свой спектакль. Можно было вернуться в село, репетировать уже в клубе, в костюмах, но мы боялись, что повседневные домашние дела помешают

нам, и продолжали оставаться в шалаше на крутом берегу реки Аксай.

Скот еще не начинали перегонять с летних пастбищ в низины, стояли ясные теплые дни, в лесу — изобилие ягод. Аксай — светлый, умиротворенный, уже не рокотал, как в половодье, а добродушно ворчал. Хорошо нам было в горах! Правда, по ночам мы слышали волчий вой, и честно говоря, немного побаивались, и потому на ночь уже не гасили костер, а — наоборот — разжигали еще один или два. А утром наступал новый чудесный день, и отступали ночные страхи вместе с кровожадным зверьем и кошмарными привидениями, которые обязательно должны были водиться в горных лесах.

Когда мы спустились в село, нашего энтузиазма, с которым мы готовили спектакль, заметно поубавилось — ведь никаких изменений в жизни села мы не почувствовали. У нас и раньше были опасения — а вдруг взрослые запретят нам играть, памятуя о других, слишком хорошо известных запретах! Хотя Сталин и умер, а Берия — объявлен врагом народа, комендант — верный посланник и Сталина и Берии, продолжал свою службу. Взрослые, наученные горьким опытом, не могли забыть строгие указы о запрещении собираться вместе, петь песни, иметь книги, учебники на своем языке. Эти указы пока еще никто не отменял. Да и мы, ребята, хорошо помнили, как комендант Юдин шарил по нашим временным жилищам, сараям, изымал учебники, обрывки газет, книги, чудом уцелевшие в тяжелой дороге. Несколько дней мы боялись даже намекнуть нашим родителям о своей, написанной на родном языке, пьесе. Дело сдвинулось благодаря болтливости Азрета, который умом не блистал, но роль матери Канамата, мудрой и терпеливой женщины, играл в спектакле превосходно.

— Если наш спектакль пройдет успешно, то в этом, в первую очередь, будет заслуга Азрета, — говорил Кайсар. Азрет не скромничал:

— Конечно, все хорошее на свете от матери, — отвечал он, будто этой матерью и в самом деле был он сам.

Так вот, этот наш Азрет, уже чувствуя себя звездой сцены, похвастался своими грядущими лаврами в школе, а школьники разнесли новость по улицам и дворам. Каково же было наше изумление, когда мы, вместо ожидаемого нагоняя и запрета, получили одобрение и хвалу. Мать услышала об этом на свекловичном поле, а вечером, валясь от усталости, все-таки проявляла неподдельный интерес:

— Целый спектакль на своем языке?

— Да,— отвечал я скромно.

— И ты играешь? — У матери такие были глаза, словно из Карагайлы я принес весть о том, что скоро вернутся отец и дедушка.

— Стараюсь, мама! — Это был первый случай в моей жизни, когда я сказал ей «мама».

— Скорей надо показать его всенародно,— сурово заявил Мухтар. И, немного подумав: — О чем это?

— Дедушка рассказывал мне легенду о племени... В Тагылы-коле.

— А, знаю...

— Жаль, что дедушка не посмотрит... — Я с самого начала думал об этом. Меня очень огорчала мысль, что дедушка не увидит, как мы оживили рассказанную им легенду.

— Может, и дедушка успеет вернуться? Ты разве не знаешь, что объявлена амнистия?

— Но там о переселенцах даже не упоминается.

Мухтар опустил голову, ничего не сказал.

Все, что было в наших переселенческих домах из старинной одежды, мы собрали, подобие каких-то декораций соорудили. Совершенно неразрешимой представлялась для нас проблема занавеса. Столько ткани ни в одном доме не могло быть. Что делать? Мы сидели на полу клуба, устланном соломой, и нам хотелось взвыть во весь голос, но разве это могло помочь?

— Надо обратиться к Кочкорбаю! — Аюу, этот бесцеремонный, безоглядный сын пропавшего без вести Шамсудина, раздражал нас своей наивной прямолинейностью. Как это председатель колхоза в такую страдную пору, когда он раньше птиц взбирается на крышу конторы, и как муэдзин на молитву, призывает народ на работу, потом до ночи носится между полями, токами, сенокосами, фермами, бросит все и начнет искать занавес?

Мы что-то заорали на Аюу, а он упрямо добавил:

— Вот увидите, Кочкорбай поможет.

— Во всяком случае, не я буду его просить об этом,— сказал Кайсар.

— Я попрошу! — так же простодушно заявил Аюу. — Что тут такого? Попрошу.

На следующий день, когда Кочкорбай поднялся на крышу конторы, Ануар-Медведь ждал его там. Сидел на крыше и ждал председателя. Увидев его, он вскочил.

— Эмне? — буркнул Кочкорбай.

Дедушка рассказывал мне, что суровый этот человек те-

ряется при виде переселенцев; вся его строгость пропадает, будто он в чем-то виноват перед нами. Я это вспомнил, когда Аюу рассказал, как они встретились на крыше конторы.

— Эмне — что? — услышал Аюу еще раз, но он стоял растерянный, позабыв, почему он встал раньше хозяина и раньше него поднялся на крышу. Но вдруг почувствовал на своем плече руку Кочкорбая. Голос председателя был такой участливый, точно не чужой вовсе это был человек, а совсем близкий. «Айт», — сказал он, а рукой ободряюще похлопал по плечу. Когда Аюу поднял голову, глаза его были полны слез, а Кочкорбай рассердился — он не терпел слез — и рывкнул:

— Айт, айт, иттин баласы! ¹

Именно эта жесткость и отрезвила Ануара, вернула ему обычное состояние и он четко сказал на киргизском языке:

— Тоодо оюн салдык. Элге коёлу десек, кошого жок. Кошого таап бер! ²

Кочкорбай отпустил его. И, будто совсем позабыв о нем, стал кричать:

— Эй, боссеки, бол! Болгула! Эй, желекчи, кюн чыкды! ³

Потом он вспомнил об Ануаре, внимательно на него посмотрел.

— Бар, болот ⁴.

Как я потом выяснил, в тот момент, когда у ворот зерноприемного пункта остановилась телега, и мой друг Мукаш узнал моего деда Хамзата, а потом на телегу сел и Шоштар, отец Лены, мы с Бапыной подвешивали занавес в клубе. Кайсар, Ачей и Азрет скирдовали сено на плато Тайпак, Аюу с Сафаром были делегированы в соседние села, чтобы пригласить людей на наш спектакль. Последнее было нашей ошибкой, потому что людей оказалось гораздо больше, чем мы ожидали, и клуб наш опять лишь чудом не разваливался на куски.

Спектакль начинался с песни. Пел Ачей за сценой, мы все подпевали, а когда открылся занавес, Бериян и его пришешник Авакай вели закованного в кандалы старейшину Адамея (Ануара) к виселице. Других женщин и мужчин, тоже закованных в цепи, гнали по степи кнутами чужезем-

¹ Говори, говори быстрее, собачий сын.

² В горах спектакль придумали. Надо народу показать, но нет занавеса. Найди нам занавес.

³ Эй, боссекинцы, поторапливайтесь! Эй, желектинцы, солнце взойшло.

⁴ Иди, будет.

ные насильники,— это были наши одноклассники, приглашенные на массовки. Перед виселицей Адамей обращался к народу с такими словами:

Пройдут года, а может быть, века,
И потухший очаг травой прорастет
На нашей опустевшей родине.
Берегите в колыбели младенца,
И не шепотом расслабляющим, нежным,
Слова его матери пусть в сердце живут,
Но бушуют огнем мятежным.
И то молчание, которое страшнее вопля,
В сердцах своих сохраните,
Сберегите траву, что сорвана у порога —
Она путь обратный укажет младенцу...

Когда Ануар заканчивал эти слова, мы за сценой должны были изобразить плач женщины, олицетворяющий плач родины, но мы не успели: плач раздался в зале. Дальше угнетатели во главе с Берияном должны были убить Адамею и угнать народ в рабство. На сцене должна была появиться колыбель с младенцем, и Азрет, играющий роль матери, должен был качать колыбель. Но мы не могли продолжать действие, пока женщины в зале плакали, а некоторые мужчины всхлипывали. Адамею приходилось долго умирать, повторяя:

Пусть осеняет всех живых
Запах трав родной земли...

Азрет и все, кто был за кулисами, вдруг тоже заплакали.

Но тут кто-то из привлеченных на массовку ребят заметил наше замешательство и быстро закрыл занавес. В зале — неистовые аплодисменты. Затем нам удалось продолжить.

Спектакль длился уже около часа. Когда я — Канамат — выросший из младенца, лежавшего в начале спектакля в колыбели, шел на последний бой с неуязвимым Берияном, который не старел и не насыщался кровью своих жертв, а только обновлялся с каждым новым поколением, я услышал крик в зале: «Устаке!» Тысячи игл одновременно пронзили мое тело. Я подался вперед и за бледными пятнами людских лиц разглядел лицо деда! Я не имел права отвлекаться, я должен был внимать доносившейся из-за кулис

песне Айсурат — эта песня влила бы в меня богатырскую мощь и помогла одолеть громилу — Берияна. А пока чудовищный громила (Кайсар) бросился на меня со своей чудовищной секирой и нанес очередной удар. Тут мне надлежало рухнуть на сцену, а я все не падал. Кайсар, отчаявшись, взревел:

— Ах, ты не падаешь, невольник жалкий!..

Когда я все же упал, послышалась песня Айсурат, призывающая меня встать и защитить ее. Одновременно в моих ушах все еще стоял крик «Устаке!». Этот ликующий крик меня и по-настоящему сраженного поднял бы на ноги. Но прежде, чем бежать к деду, я должен был убить Берияна, освободить дорогу. И я это сделал. Кайсар потом рассказывал, что я кинулся на него как бешеный, больно колотил деревянным мечом, да еще приговаривал: «Ты еще деда моего хотел уничтожить! А он вернулся! Вернулся!» Таких слов в пьесе не было, и озадаченный Кайсар тоже, как минуту назад и я, все никак не падал, и только мычал что-то непонятное. Зато мне бодро и радостно отвечали из зала: «Да, да, вернулся твой дед! Вернулся, Музафар! Пусть возвращается и твой отец!». Все-таки мы с грехом пополам закончили спектакль и, счастливые, принимали восторги благодарных зрителей. Наконец, я стал продираться к дверям, где стоял с хурджином на плече мой дед, успевший увидеть битву Канамата с жестоким злодеем.

3.

Такой веселой, счастливой ее никто никогда не видел. Дождавшись Кайсара и Бапыну, с которыми жила по-соседству, она шла домой вместе с ними. «Знаете,— говорил Кайсар на следующий день на кладбище.— Она даже пританцовывала и все хвалила нас, какие молодцы!» А Бапына вспомнил, как она вдруг задумчивой стала, остановилась, взяла обоих за руки, как-будто искала спасения, и спросила:

— А будет у вас еще спектакль? Вот если бы главной героиней была бы девушка! Я бы сыграла... Честное слово! Вот если бы девушка в новой вашей пьесе очень любила... страшно любила, но была бы безнадежно несчастна...

— Зачем же мы отпустили ее?! — сокрушался Бапына. — Ведь попозже мы снова собрались и всю ночь ходили, пели. Разве нельзя было взять ее с собой?

— Мы же не знали, что вернулся Шоштар,— вздыхал Кайсар.

Из вещей, которые привез Шоштар из своих странствий по лагерям, был и моток веревки, сплетенный из суровых ниток. Лена смотрела на отца как бы со стороны и к вещам, которые он раскладывал перед матерью, оставалась равнодушной. Но когда он достал со дна хурджина этот моток веревки, она тихо вздрогнула, и в глазах ее появился какой-то странный огонек. Отец сказал: «Крепкая! Износу не будет». Марифа согласилась: «Нужная вещь», он добавил: «Людей выдерживала!» Лена быстро отвернулась — веревка, вдруг показавшаяся ей красной, потащила ее назад, сквозь все страдания, сквозь годы жуткого одиночества. Станным образом эта веревка тянулась и тянулась, безжалостно и хищно захлестывая все новые жертвы во времени и пространстве. Свитая на какой-то краснопролетарской фабрике, она предназначалась для белокупольных парашютов, но находила применение и для других целей.

...Они ожили снова, эти бесконечные жестокие сны, и навалились на ее душу разом, всей своей совокупной тяжестью, сны, в которых Лена спрашивала Махти Магомедовича, почему он не взял ее тогда с собой. Просыпаясь по ночам, она плакала не от того, что Махти Магомедович не отвечал ей во сне, а потому что не бросилась однажды под копыта отцовского коня. Замерев от ужаса, следила она, как пятерых человек, нанизанных на одну веревку, привязанную к седлу, тащил отец к месту их казни в сопровождении нескольких немецких автоматчиков. А сегодня, каких-то четверть часа назад, Лена еще ожидала, надеялась, что отец посмотрит на нее истосковавшимися глазами. Надеялась и почти верила, что в этих глазах отразится и радость встречи, и боль многолетнего покаяния, и свет обновленной души. Возможно, Лена не смогла бы устоять, сделала бы шаг отцу навстречу — и пусть развалится эта стена ненависти и непримиримости. Пусть эта стена хотя бы начнет разваливаться, потихоньку, камень за камнем; ведь отец проживет остаток своей жизни в честных крестьянских трудах, очищаясь и замаливая свои грехи. И пусть все видят, что страдания Шоштара глубоки, а раскаяние чистосердечное. Но в первые же минуты Лена увидела, что Шоштар остался прежним, он и не думает о каком-то покаянии, и остаток жизни собирается проводить не в страдальческом очищении от тяжких грехов, а в довольстве и чревоугодии. Со старшими сестрами он обнимался, Лене лишь подал руку и сказал:

— А эта меня не любила...

Да, блудный отец был все тот же, нисколько не изме-

нился, не постарел даже, как-будто одиннадцать лет, которые пролетели с тех пор, как он ушел с отступающими немецкими частями, были короче, чем веревка, которую он привез. Да, уходил, оставляя плачущую жену и дочерей, которые тоже вроде бы плакали, но Лена-то понимала, что не от разлуки с отцом: им жаль было разгульных вечеров с патефонной музыкой, вином и галантно-нахальными кавалерами в красивой немецкой форме. Тогда Лена, еще двенадцатилетняя девочка, забивалась в угол и смотрела со страхом, а может, и с ненавистью на гордых и развязных завоевателей. Ее сестры неумело топтались в вальсе танго, не стесняясь прижиматься грудью к своим партнерам. Светлану уже прочили в жены не меньше, чем генералу (но не из тех, конечно, кого называла Марифа «ах, какая генерала!»). Лена кое-что понимала в разговорах этих заклятых «гостей». Она изучала язык не потому, что всерьез им заинтересовалась, а потому, что Он посоветовал. «Изучай немецкий,— сказал Он. — В будущем нам придется с немцами иметь большие дела — война ли это будет или мир...» Уже в пятом классе, в 41-м, Он стал для нее светом вселенной, к которому она тянулась, как цветок к лазурному небосводу. С каждым разговором, с каждой коротенькой беседой о прочитанной книге, которую ей давал Учитель, душа ее расцветала, обретая одновременно необоримую земную силу и прозрачную небесную чистоту. В свои двенадцать — о, Господи, всего двенадцать лет! — она так жадно впитывала все прочитанное, с таким азартом хваталась за новую книгу — и все потому, что получала эту книгу от Него, Учителя, обожаемого Махти Магометовича. Она не пропускала в тексте ни одной строчки, ни одной мысли, будто и автором каждой строчки и каждой мысли был Он.

Иногда Махти Магометович, чуть смущенно улыбаясь, спрашивал, не в ущерб ли урокам зачитывается Чоттаева книгами? Она мучительно краснела — при желании Учитель мог бы увидеть, как по ее жилам струится кровь, настолько кожа ее была нежна, бела до прозрачности — краснела и заверяла клятвенно, что нет, конечно совсем не в ущерб другим урокам!

Прижавшись к холодной глиняной стене во дворе, она ждала, пока все в доме уgomонятся и уснут. Ждала, чтобы взять незаметно веревку и уйти в сарай. Болтовня сверхживучего Шоштаря с женой и дочерьми затягивалась, и Лена волей-неволей продолжала переживать заново все то, что ею уже было пережито тысячу раз...

Вот Он, строгий и добрый, кладет ей ладонь на голову: «И откуда ты такая взялась?..» А она от счастья жмурит глаза, и ей кажется, утопает в душистой теплой траве. Откуда она взялась? «Из воды...», — шепчет Лена.

Так уж, наверное, заложено в природе человека со дня его сотворения: ему дано однажды, в светлый миг истины, понять и открыть для себя другого человека, созданного во вселенском пространстве одновременно с ним и для него — только на земле оказавшегося чуть раньше или позже. Ей было двенадцать, а ему двадцать три, и в реке жизни она оказалась недалеко от истоков, а он уже плыл по большой воде. Но она ему сказала: «Я вас, Махти Магометович, догоню.» Вот и догнала... Через одиннадцать лет...

Он ушел на войну в 41-м, через год вернулся на костылях. Потом с палкой ходил, сильно хромал. Вернулся в школу, где она продолжала учиться истории и географии и — сверх программы — читать книги из библиотеки Учителя и вызубривать ежедневно по несколько немецких слов.

...Потом весь август 42-го в горах шли бои. Вскоре стоявшие в Жамауате части Красной Армии ушли через перевалы.

Махти Магометович сказал ей:

— Я в тебя очень верю, Лена... — И от этих слов она как бы вырывалась из мелководья, от истоков — на большую воду.

— Я всегда знал, что ты сильная девочка, — продолжал Учитель. — Так вот, слушай. Там, где речка Маралсай впадает в Юрду, недалеко от мельницы Хамзата, есть скрытая тропа, которую никогда не заметишь, если ее тебе специально не покажут. Она ведет к небольшой пещере. Так вот, слушай внимательно. После прихода немцев меня и еще кое-кого в селении не будет. А ты каждую пятницу с наступлением темноты будешь приходить туда и я буду давать тебе некоторые поручения. Сможешь? — И он, как в тот раз, положил ладонь на ее голову.

— Я смогу!

— Я верю! — еще раз сказал Махти Магометович. — Но все же, как ты еще... — он поискал слово и нашел неизбежное... — какая ты еще юная!..

— Я вас догоню, Махти Магометович.

В последующие дни трое парней — Зейтун, Мажид, Курман и одна девушка — Арийпа, переносили краску, бумагу и типографские кассы районной газеты «Красный Эльбрус» в грот за мельницей Хамзата. Это была потаен-

ная, с очень узким входом пещера, о которой даже в самом Жамауате почти никто не знал. Только Хамзат иногда поднимался к заросшему кустарником входу, просиживал часок здесь и с благодарностью гладил стены пещеры, спасшей ему жизнь в гражданскую, когда он, раненый, приполз сюда и отлеживался несколько дней. Это Арийпа предложила использовать отцовскую пещеру. Махти Магометович сначала возражал: ему казалось, что и Шоштар знает о ней. Но Арийпа настаивала: да, мол, Шоштар дезертировал, но ведь не пойдет же он на предательство! Потом Лена каждую пятницу с наступлением темноты приходила в назначенное место и ждала Учителя. Иногда приходилось ждать долго, и она, дрожа от холода и страха, сжималась в комочек. Шорохи, непонятные звуки, грохот водопада внизу — все было рядом и все проникало в ее кровь, но она была кулачками о камни, чтобы успокоить себя, не выдать Учителю свою слабость. К его приходу она одолевала все страхи и встречала его так, как будто ей все нипочем, а он молча доставал пачку листовок, затем деловито, по-учительски объяснял, где и как их распространять. Потом он провожал ее вдоль речки Маралсай, выводил на дорогу, хотя она и очень просила не провожать ее. Расставшись с Учителем, она шла по обочинам к каменному мосту, входила во двор Хаджибекира и тихо стучала в окно Мадины. Та выходила одетая, как будто и не ложилась, молча брала стопку бумаги и, словно видя ее состояние, говорила шепотом: «Ничего не бойся, только тепло одевайся». Лена не знала, что делала Мадина со своей стопкой, свою же она расклеивала на заборах и столбах, а часть относила на окраину соседнего селения и оставляла там под камнем около родника, как и говорил ей Учитель.

...Вот и догнала она Махти Магометовича. Ей теперь двадцать три, ровно столько, сколько и ему тогда было. Спит Шоштарово семейство, и веревка уже в руках у Лены. Такая же, наверное, веревка, с какой Шоштар появился в ту ночь 42-го у пещеры.

Лена взяла веревку и табуретку, пошла в сарай. Но прежде чем перекинуть веревку через балку и надеть петлю на шею, она села на табуретку. И Он пришел. Она вздрогнула от прикосновения Его руки. Он сказал:

— Не надо этого делать! Ты слышишь меня, не надо этого делать!

— Да,— сказала она.— Но палач вернулся. Палачом он и остался. Даже веревку сохранил...

— Бессмысленно это! — Учитель зажал в ладонях ее пылающие щеки.

— Да,— повторила она.— Я вас догнала, и теперь бессмысленно жить! Догнала...

И тогда Он убрал ладони от ее щек и исчез.

6.

Неожиданно я совершил дурной поступок. Все последующие дни мне было не по себе, я прятался от людей. У всех было праздничное настроение, а я головы не мог поднять. А ведь как все прекрасно начиналось! Утром вывесили новый номер стенгазеты, а потом я еще писал большой лозунг к годовщине Великого Октября. В полдень началось общешкольное собрание с приглашением родителей, где предстояло награждение отличников. За столом сидели учителя, директор школы Чолук Садыкович, а на столе перед ним возвышались две большие стопки книг, предназначенных для вручения лучшим ученикам. Поскольку я был круглым отличником, то надеялся, что самая большая красочная книга — она одна такая была — достанется мне. Ох, как я надеялся, как боялся, что вдруг ее получит кто-то другой. Чолук Садыкович, опираясь на костыль, зачитывал фамилии отличившихся учеников и вручал книги. Подшел мой черед, я вышел к столу, не сводя глаз с увесистого тома, корешок которого сиял золотыми буквами. Вот Чолук Садыкович назвал мою фамилию, высказал несколько похвальных слов и... потянулся за книгой в скромной серой обложке и совсем не толстой. У меня в глазах потемнело. Я смутно видел, как Чолук Садыкович протягивал мне эту книжицу, совал ее мне в руки, а я — не знаю, что на меня накатило — повернулся и выбежал на улицу. До самого вечера я бродил в верховьях Кенжилги. В моих глазах плыли золотые буквы на корешке большой книги, я ненавидел того отличника, которому она досталась, ненавидел и директора школы. Вернулся я домой только с наступлением темноты. Что было в доме! Оказывается, искали меня повсюду. К этому времени я уже начинал и сам осуждать свой поступок, но по-настоящему осознал вину, когда увидел заплаканные глаза матери.

На следующий день утром, зайдя за мной, Кайсар добил меня окончательно — пригнул, что называется, мою голову к земле.

— А еще говоришь, не избалован! Дай тебе срок, и ты

самого капризного заткнешь за пояс. Ему Пушкина дарят, а он взбрыкивает, как ишачок. Ладно, пошли. Нам надо в лесхоз.

— Пушкина! А я... эх! А что там, в лесхозе?

— Получим, наконец, деньги, заработанные в Карагайлы.

— Правда? А сколько?

— Там узнаем.

Вскоре наша знаменитая семерка дружно шагала в лесхоз получать зарплату!

В конторе, рядом с толстым киргизом, над головой которого висела табличка «Гл. бухгалтер», сидел Иван Петрович. Увидев лесника, мы немножко застеснялись, а он заулыбался, часто промаргиваясь:

— Как живете-можете, ребята?

— Живем, учимся, колхозу помогаем,— стал отвечать Азрет. Он был из нас наиболее словоохотливым.— Вот сюда пришли.

— Ну, молодцы! Получайте денежки.

Первым к ведомости подошел, как и положено было, Ачей. Увидев цифру против своей фамилии, он так изменился в лице, что мы забеспокоились. Ачей испуганно посмотрел на Ивана Петровича, а лесник улыбнулся и подбодрил его:

— Распишись и получай, а то тут у ребят руки чешутся.

Ачей как-то неуверенно расписался. Но когда толстый, почти круглый киргиз стал считать деньги, мы, сами того не сознавая, подались вперед с открытыми ртами. Таких денег Ачей сроду не держал в руках и теперь он похож на воришку, застигнутого на месте преступления.

— Это на всех,— шепнул Бапына, и мы решили, что он правильно догадался.

Следующим к ведомости подошел Кайсар. Он быстро расписался и... застыл столбом, видя, что «Гл. бухгалтер» стал опять отсчитывать новенькие хрустящие тридцатирублевки.

— Неужели и мне столько же полагается? — спросил нетерпеливый Азрет.

Сафар толкнул его в бок:

— С тебя вычитают за болтливость.

— Всем поровну,— сказал Иван Петрович. И когда мы все получили деньги, и, растерянные, счастливые, встали перед ним, не зная, что ему сказать, он добавил:— Всем поровну, все работали славно. Но если захотите поработать

и следующим летом, получите еще больше. Страна крепнет, мальчишки.

Скажи он сейчас: «Пойдемте, ребята, надо поработать», — мы пошли бы за ним, ни секунды не раздумывая.

Сколько раз по пути от лесхоза до села мы садились на обочину и пересчитывали свое богатство! Каждому досталось по тысяче с лишним. Знать бы заранее, что наш труд так ценят, да мы ночами бы работали, корни зубами грызли, чтоб лунки ровнее получались! Конечно, мы все время вспоминали Ивана Петровича, который хоть и бывал строгим, относился к нам отечески. Он знал, понимал душою, что у наших родителей нечем даже платить за учебники, нет гроша ломаного, чтоб купить тетрадку или карандаш. Пересчитывая наши деньги, мы гадали, каким образом Иван Петрович сумел нам столько начислить? Неужели из-за нас он обсчитал государство?

— Нет, — сказал Ачей. — Иван Петрович не стал бы обсчитывать государство. Просто при начислении заработной платы в лесхозе добавляют за тяжелые условия в горах. Наверное, и в выходные дни платят побольше.

— Тогда почему в колхозе ничего не платят? — спросил Бапына, самый юный среди нас. — Отец, мать, сестры днем и ночью работают... Никогда столько денег они даже все вместе не получали.

— Колхоз — это не лесхоз! — глубокомысленно изрек Аюу.

Представление о колхозе у меня складывалось как о помощи. Вот кто-то строит дом: ему не справиться своими силами и он созывает помочь. Так и колхоз. Это вроде все-народной помощи государству. А за работу в помощи денег не платят. Хозяин накормит, чем Бог послал — и привет!

Да, прекрасный выдался тогда у нас ноябрь! Стояли необыкновенно светлые, теплые дни. На плато Тайпак резвились желтогривые жеребята, а в нижней части долины сочно зеленела озимая пшеница. Весь урожай был собран, корма заготовлены, и Кочкорбай уже не поднимался по утрам на крышу конторы.

И в день 7 ноября над Ачиком — сельской площадью — сияло солнце. Когда мы пришли веселой колонной от школы, на площади уже толпилось почти все население Кегети. Над нами колыхались знамена, транспоранты, сияли портреты вождей. Мы пели песню «Москва-Пекин», в которой прославляли великих кормчих Сталина и Мао. И вот начался митинг. Кочкорбай и другие руководители подня-

лись на трибуну, сколоченную из досок. Кегетинцы притихли, и Кочкорбай начал речь:

— Советский народ,— говорил он,— еще теснее сплотился вокруг партии Ленина и Сталина. Вдохновленный бессмертными идеями вождя, он показывает небывалый героизм... Не отстает и наш колхоз... Впервые за свою историю мы собрали с гектара по четырнадцать центнеров пшеницы... Хорошо трудились женщины, они сдали государству по двести—двести пятьдесят центнеров сахарной свеклы с гектара. Успешно работали животноводы... Таким образом, товарищи, мы выполнили и перевыполнили государственный план по сдаче зерна и продуктов животноводства и заняли первое место в районе.— Потом Кочкорбай называл имена ударников, среди которых оказалась и моя мать.

Я стоял среди своих одноклассниц, они разом воскликнули: «Апий!», и несколько раз меня больно ущипнули. На меня со всех сторон наступали девчонки и требовали суююмчю—премию, которую получала моя мать и намекали о конфетах, продававшихся в токмакских магазинах. Я видел эти расчудесные коробки с изображением Кремля, позлащенного солнечными лучами, но вот дотрагиваться до них, хоть одним пальцем, мне не приходилось. Я в тайне продолжал мечтать о комсомоле. Вступление в комсомол дало бы мне возможность бывать не только в Токмаке, но и в более солидных городах, а, может,— тут у меня дух захватило — может, когда-нибудь доведется и Кремль увидеть не на картинке...

— Ладно, будет подарок,— сказал я девчонкам.— Хотите большую коробку конфет с тройкой красивых лошадок? Только не умчались бы вы на этой тройке!

Но мог ли я, давая в полдень столь невероятное обещание,— одноклассницы и восприняли его как шутку — предположить, что еще до захода солнца выполню его?! Да, видно, началась и в моей жизни светлая полоса удач и счастливых обретений. Когда я с праздника вернулся домой, у нас сидел военный с золотыми погонами и большими звездочками на этих погонах. Я остановился у дверей, потому что в доме было полно народу. Сначала я подумал, что вернулся отец, но сразу отбросил ослепившую меня мысль, потому что из лагерей возвращаются не так. На помощь пришел подвыпивший Мухтар:

— Наш двоюродный брат Владимир Кушжетер. Подполковник! Приехал к нам провести свой отпуск.

Да, наступало время удач. Дедушка сидел с торжественно-благостным видом, бабушка с упоением хлопотала по

своей части. Гость привез полный чемодан подарков, и мне досталась большая коробка конфет... с изображением птицы-тройки. Заполучив ее, я тут же помчался к своим одноклассникам.

5.

Марифа сохранила золотые часы, подаренные Шоштару немецкой комендатурой в Жамауате. Бывали дни, когда она подумывала обменять их на зерно, однако всякий раз удерживалась, а потом и нужда такая отпала: Марифа сумела и вывернуться и развернуться. Она хранила часы в сундуке вместе с рубашкой, сшитой из коричневого домотканного сукна и галифе, которые были отделаны черным сафьяном. Были еще хромовые сапоги, купленные ею за бесценок в одной голодающей семье еще лет пять назад. Годы шли, она приспособилась к новым обстоятельствам не хуже прежнего и, не получая никаких вестей от мужа, продолжала ждать его и верить, что он обязательно вернется.

Марифа вспоминала, как однажды на сенокосе, еще до войны, когда они в полдень купались в озере и он надолго пропал под водой, все вопили от страха, а она смотрела на воду и молчала, и правильно делала: Шоштар, целый и невредимый, вынырнул у противоположного берега под скалами. Вот и теперь, как и ожидала Марифа, он снова вынырнул. И почти сухой вышел из воды. Поизносившийся, разумеется, но все еще представительный, с темно-рыжими усами, которых седина почти не коснулась. Марифа готовилась одеть его как солидного, знающего себе цену мужчину, а не как какого-то жалкого лишенца, и он должен был вести себя соответственно, будто долгое его отсутствие было связано с важной государственной миссией. Но как было досадно, что эта скверная девчонка, посланная ей Богом в наказание, так подгадила ей начало праздника! Неблагодарная! В самый счастливый для матери час решила повеситься! Дала бы хоть немного утолить жажду многолетнего томления по мужу, обласкать его, бедного, влить новую жизнь в его охолостившуюся кровь! Ведь в ту ночь она, уже пятидесятилетняя, разделась не для сна только и отдохновения. Должна была дочь это понимать, если бы имела, мерзавка, хоть крупицу дочернего чувства. Но так она бранила Лену позже, в день ее похорон, а в тот час, когда Лена, перекинув веревку через балку, задумалась напоследок, Марифа делала энергичные попытки возродить былую страсть своего мужа. В лучшие годы они любили образные

сравнения. «Скакун рвется в стремительный бег!» — то-
но ворковала она. «Сними с меня путы», — отвечал он.
Шоштар мог считать себя счастливым мужчиной: после
первой, суховатой, сдержанной жены, Бог одарил его жен-
щиной, тело которой было создано для любви: она и после
пятой дочери не потеряла своих прелестей и жажды го-
рячей и буйной страсти. Да, покуда мать и отец тщетно
пытались возродить памятную сладость слияния, Лена ухо-
дила от них, корыстных, жестоких, лишенных всякой че-
ловеческой возвышенности. Уходила, оставляя с ними их
неистребимые желания есть, пить, стяжать добро и спать в
потных постелях. На следующее утро, снимая знакомую
веревку с шеи дочери, Шоштар испытывал лишь чувство
некоторой досады, а отнюдь не горького раскаяния и печали.
Потом ему странно было видеть столько народу на по-
хоронах — чуть ли не все село собралось. Лену любили, от
того и все плакали, когда ее несли по улице. «Леночка!
Чистая душа! Что ты наделала!» Погибли бы другие дочери
Чоттаевых и сами супруги Чоттаевы, не много бы слез про-
лилось. Правда, остальные дочери Шоштара тоже были по-
своему замечательны. Крепкие, здоровые, они умели рабо-
тать, не занимались сплетнями, были в меру отзывчивы, а
Надежда пользовалась даже уважением. Взрослея, они ста-
новились умнее и все больше поддавались влиянию добрых
начал окружающей среды и все больше отдалялись от ма-
тери. Особенно это характерно было для Светланы и На-
дежды. Людей поразило то, что Марифа и не думала пла-
кать, сидела, как истукан, молчала — не скорбящая мать,
а сердито надутая баба.

А через неделю супруги Чоттаевы шли, как молодеж-
ны, под ручку; люди останавливались, видя такое на глав-
ной улице села, и с изумлением смотрели им вслед. Неис-
требимый Шоштар был в добротной коричневой рубаше из
домотканной шерсти, в галифе, отделанном в шаге и коле-
нях черным сафьяном и в блестящих хромовых сапогах.
Он держал свою руку полусогнутой, чтобы удобно было
Марифе и видны были сверкающие на солнце золотые часы
с золотым браслетом. День этот был днем расписки у ко-
менданта, и Марифа выбрала именно такое время, когда
переселенцы будут идти в сторону конторы. Но расписы-
ваться она повела мужа к концу, потому что в это время
комендант Юдин обычно собирал сельское начальство и ре-
шал с ним какие-то вопросы. Никто не узнал, да и не пы-
тался узнавать, о чем там говорила Марифа и как пред-
ставляла Шоштара. Никто не узнал, и как встретил комен-

дант Юдин своего неофициального тестя. Зато вскоре все узнали, что Шоштар Чоттаев назначен бригадиром огородной бригады.

Через месяц Шоштар кнутом гнал со двора Светлану, свою дочь с ребенком. Стояли прозрачные теплые дни середины ноября, и люди, легко одетые, пребывали в легком расположении духа. Светлана шла не оборачиваясь, держа за руку Юдина-младшего, а Шоштар бил ее кнутом. Люди, проходившие в это время по новой балкарской улице киргизского села, понимали, что Шоштар бьет больше себя, нежели дочь. Бить ее надо было раньше, еще в те годы, когда отец отбывал наказание за грехи, более тяжкие и позорные, чем были у его дочери. А теперь не Светлана выглядела смешной и жалкой, а Шоштар. Его презирал даже его собственный внук, бесстрашно угрожавший чисто по-русски: «Я тебя убью, падла!»

Соплеменники и киргизы могли бы долго обсуждать этот случай, но вскоре и остальные три дочери ушли из дома. Вернее, напропалую повыскачили замуж. В декабре Люба вышла второй женой за председателя Кочкорбая, первая его жена не рожала, и Кочкорбай, старея, боялся остаться бездетным. От черного киргиза и светловолосой балкарки могли пойти очень интересные дети, и первая жена Кочкорбая не противилась этому браку. В январский снежный день Клара ушла в город Токмак. Говорили, что она вышла замуж за богатого дунгана, но в точности никто не знал: не пожелала она представлять его своим родителям. Тогда же, в январе, Надежда объявила, что любит военного гостя Кушжетеровых, и, хотя родители этого или не хотят, она станет его женой. Будь Марифа прежней, она влепила бы ей пощечину за такую дерзость, но теперь, укрошенная бедами и позором, она смиренно выслушала дочь и только попросила:

— Дай нам хоть ты маленькую радость испытать... Сделай так, чтобы к нам сваты пришли.

Надежда посмотрела на мать с нескрываемым презрением:

— Да кто к нам придет? Кто пошлет к твоему мужчине сватов? Ты о чем мечтаешь, баба? Кстати, мы уже зарегистрировались в сельсовете, у Светланы. Он скоро за мной приедет.

Владимир Кушжетеров приехал в самом конце января на «виллисе». Ночь он провел у дяди Хамзата. Много подарков, продуктов нездешних он привез. Он очень полюбил этот дом, но зная об отношениях Хамзата и Шоштара, он

щадил дядю, просил Мухтара и Лейлу, которые обо всем знали, чтобы они не расстраивали старика до поры до времени. Но Хамзат вновь обретал на старости лет своего единственного брата — Владимир как бы являл ему живого Зулкарнея, и, если бы родной племянник еще и говорил на родном языке, то Хамзат и вовсе не считал бы теперь своего брата потерянным где-то в начале века. Да, от него скрывали сердечные дела племянника, но он нисколько не обиделся. За ужином он усадил сорокалетнего подполковника рядом с собой и, приведя его в приятное замешательство, сказал:

— Как раз-то дочери Шоштара хорошие. Но вот жизнь у них пошла наперекося... Не торопись, однако. Устроим все по-человечески. Шоштар Шоштаром, но будущую нашу невестку нельзя лишать свадебной радости...

Владимир теперь принимал Хамзата за отца, сильно привязался к нему. И он бы хотел настоящей горской свадьбы! Но как Надежда на все это посмотрит?

— Не увидеть моему отцу ни одной свадьбы! — решительно заявила она.

— Но дядя мой...

— Дядя твой Хамзат — пророк, и не сидеть пророку с дьяволом за одним столом. Уедем поскорей, если ты меня любишь!

Владимир объяснился с дядей помягче:

— Я военный, Хамзат. Служба не оставляет мне времени для свадебных торжеств.

На следующий день они уехали.

6.

В школе принимали в комсомол очередную группу ребят, но мы с Кайсаром не решались подать заявление. Сайдин Исакович спросил, почему. Мы помялись, поглядели на него и опустили головы.

— Так почему же? — настаивал он.

— А мы хотим школу закончить, — сказал я. — Однажды Балаев забыл, что он переселенец, и распрощался со школой.

— Акмак! — рассердился учитель. — Идет 54-й, столько событий в стране! Вашему коменданту скоро придет конец...

Это были первые услышанные нами слова о неизбежности важных перемен в судьбе униженных наших сородичей. Откуда у сельского учителя могло быть такое предви-

дение?! Нас будто обжигающим жаром обдало от этих слов — «Вашему коменданту скоро придет конец!». Мы правильно поняли эти слова — вполне конкретный Юдин тут был ни при чем. Да и понятие «комендант» сейчас нами воспринималось просто как символ тирании, олицетворение источника, из которого исходили все наши беды. А у Сайдина не просто так вырвалось восклицание — «...придет конец» — нет, это была выстраданная убежденность человека чуткой, благородной души, убежденность умного, догадливого историка. Ведь то, что пережили мы в 44-м, его соплеменники познали в шестнадцатом.

Во втором десятилетии века двадцатого царские жандармы похлестче сталинских комендантов измывались над беззащитным киргизским народом. Сайдин Исакович рассказывал нам, как жандармский чин Зонин однажды в одном из сел Пржевальского уезда потребовал, чтобы киргизы зарезали барана и сварили ему мясо. Но в ту пору скот был на перегоне, в аиле не нашлось ни одной овцы, тогда рассвирепевший жандарм взревел: «Режьте хоть ребенка, но чтоб мясо было!» После подавления восстания 16 года царские карательные отряды вели дело таким образом, чтобы уничтожить весь киргизский народ. Сайдин Исакович водил нас на кладбище в нижней части Кегети, в семи километрах от Баласагуни, к подножью гор, где показывал холмы по краям кладбища — это были братские могилы, оставшиеся со времен той резни! А мы ведь думали, что братские могилы появились только при нас, в нашей войне с фашистами! А Сайдин Исакович вел нас дальше, к холму за кладбищем. Мы останавливались у яра, заросшего по краям кустарником: вся впадина была заполнена человеческими костями. Сайдин Исакович рассказывал: тут тридцать семь киргизских жатакчи — некочевых айлов Чуйской долины, через которые прошли сначала загнанные, обезумевшие участники восстания, увлекая за собой и многих мужчин из этих айлов, а затем — карательные отряды. Каратели загоняли, заталкивали, сбрасывали в глубокий яр киргизов и целыми семьями с малыми детьми, и целыми аилами...

Насилие гнало киргизов и в Китай, правда, не в товарных вагонах с нарами в два яруса, а на конях и верблюдах. Они бежали, бросая все нажитое и не успевая хоронить своих умерших...

Однажды Сатыбек Алиев, все такой же неугомонный, но давно износивший свою знаменитую капитанку, спросил Сайдина Исаковича, почему обо всем этом ни слова нет в наших учебниках истории? Сайдин Исакович, наш всезна-

ющий, смелый учитель, отвел взгляд куда-то в сторону и задумался. Так он и не смог ответить на вопрос Сатыбека Алиева, будущего авторитетного и именитого исследователя «Манаса».

А стоя тогда с учителем у яра под названием Юркун, я вспоминал о пропасти Тешик-кая и думал, что наверняка у всех народов мира есть свои яры, пропасти, бездны, есть кровоточащие веками раны, которые передаются по наследству из поколения в поколение. В другие дни, уже без Сайдина Исаковича, мы спорили о том, знает ли наш учитель или не знает, почему не пишется о восстании киргизов в 16 году. Но только много лет спустя мы поняли, почему не было правды в учебниках истории и почему Сайдин Исакович не имел права говорить нам об этом. Отец Сайдина и Мелиса был объявлен врагом народа и арестован в 37-м году; и они не знали, где захоронен отец, видный просветитель, основатель школ на родном языке в южной Киргизии. Вот так оценили подвижнический труд человека, одно имя которого еще в начале пятидесятих годов произносить было рискованно.

В пасмурный ноябрьский день, после приема в комсомол, я еле удерживал себя по дороге, чтобы не бежать — хотелось поскорее сообщить деду. Не знаю, что больше окрыляло — то, что несколько дней назад сказал Сайдин Исакович о коменданте, или то, что меня приняли в комсомол. Сообщил сначала о комсомоле, а потом радостно добавил:

— И всем комендатурам скоро конец!

Но дед, кажется, не был склонен разделять мой восторг. Сидел и молчал. Я забеспокоился.

— Что с тобой, Хамзат Шонтукович?

Он посмотрел на меня глазами, полными безнадежной тоски.

— Конец, говоришь? Конец, да только не комендантам, а надеждам нашим.

— Как это конец нашим надеждам?

— Да, Музафар, теперь надеяться на возвращение нет смысла. Надо устраиваться тут надолго.

— Я не понимаю...

— Ты уже большой, грамотный. Вот уже в комсомоле... Ты ведь знаешь, что дело Ленина ни с какой стороны не нарушено?

— Да, знаю, — ответил я.

— И дело Сталина останется незыблемым.

— Да, но... Вон, Берия расстреляли.

— Могут и еще кого-то расстрелять, — дед понизил голос до полупшепота. — Но если предводитель уходит в мир иной в ореоле славы, его возводят в ранг божества. Так сделали с Лениным, так будет и со Сталиным. Вот уже второй год пошел после его смерти, а о народах, им сосланных, ни слова! Да живет в веках дело Ленина — Сталина... Так что нам надо построить дом, Музафар! Дом надо построить — все остальное пустые хабары. — Дед взял пилу и стал подтачивать надфилем затупившиеся зубцы. — Я радуюсь, Музафар, что ты правильно подрастаешь. — Он так и сказал: «Правильно подрастаешь». — И Мухтар не один, у него есть ты. Вы двое — даже не как дядя с племянником, а как два брата. Нам надо построить дом! Я, пока живой, хочу видеть дом, достойный рода Кушжетеровых! Отец мой похоронен на чужбине. Буду захоронен на чужбине и я. Живые, может, и вернутся в отчий край, но мне уже не успеть. Тот спектакль повторяйте и... стихи о спящем младенце... Я же... должен восстановить жамауатский наш дом здесь. Когда вы уедете, здесь будет возвышаться дом Хамзата, и могила его не будет одинокой.

Я обнял деда, сказал:

— Хорошо, все будет так, как ты захочешь. Но зачем о смерти?

— О смерти надо помнить всегда. Старый человек должен быть готов к ней в любую минуту. — Он помолчал и, улыбнувшись, как он улыбался, когда был доволен мною, сказал: — Но разве я о смерти говорю? Я же думаю о жизни! О том, что скажут люди о нас, о нашем роде... Разве я имею право об этом забыть? Тем более на чужбине?

— А где мы деньги возьмем на строительство дома?

— Вон сколько пшеницы мы получили, еще сахару получим. Две наши снохи постарались. А главное, Музафар, наши руки.

— Про комсомол, дедушка... Правильно ли я делаю, что вступаю?

— А как же! Надо жить со своим поколением. Надо стремиться к лучшему. Если и не восстановятся права высланных народов, то, наверное, в жизни будет вершиться что-то другое, хорошее по отношению к другим народам. А если в целом по всей стране будут происходить благие перемены, то это не сможет и нас, изгоев, не коснуться хоть каким-то боком...

Мне было стыдно от того, что обо всем этом я раньше не задумывался. О чем-то мы, конечно, говорили, мечтали, но так серьезно, как мой дед, никто из нас, конечно, не раз-

мышлял. Когда ранним утром мы отправились в район на утверждение, я с трепетом вспоминал слова деда... Все, предначертанное Сталиным,— вечно, и мы навсегда останемся переселенцами. Предо мной вставал Ачей, в мозгу повторялись его слова о том, как он видел в райкоме комсомольские билеты — эти красивые красные книжицы, как он с благоговением посматривал на эту стопку, лежащую на столе в приемной, и запах свежей краски и клея казался ему восхитительным, но вот возвращаться домой ему пришлось без билета... «Устал, что ли?» — спрашивали у меня ребята. «Нет! — ответил я. — Но что мы будем делать, если с нами случится то же самое, что и с Ачеем?»

— А мы на этот раз не будем петь «Где так больно...» — сказал Кайсар.

— Будто в русском языке дело! Что, рядом с ним другие, киргизы, правильно пели? Правильно выговаривали все русские слова? Все дело в том, что мы переселенцы. Теперь уже навечно!

Когда мы вышли из райкома с новенькими комсомольскими билетами в карманах, бывалый Сатыбек Алиев повел нас в чайхану с дунганской кухней поесть лагман¹. По пути мы столкнулись нос к носу с комендантом Юдиным:

— Что, ребятки, гуляете? — спросил он непривычно мягким, дружелюбным тоном. — Ну гуляйте, — добавил комендант добродушно и пошел своей дорогой.

Я взмок от волнения, а Кайсар смотрел Юдину вслед и говорил:

— Убедился теперь, что Сайдин Исакович прав? Наш комендант знает то, чего мы еще не знаем. Иначе бы он с нас кожу содрал, матери твоей мешок сахару пришлось бы ему преподнести. — И, поскрипев зубами, довольно громко выругался: — Холуй несчастный! Расстреляли хозяина, так сразу ласковым стал, добреньким!

После чайханы у нас еще оставалось время и мы решили походить по городским магазинам. У Кайсара были кое-какие деньги, и он хотел купить что-нибудь из одежды для своих сестер и братишек. Я мечтал побывать в большом книжном магазине. Но это не значило, что мы должны были разойтись с Кайсаром в разные стороны. Мы всегда и всюду были с ним вместе, о нас говорили даже, что как бы мы не женились на одной девушке.

По существу, я был в Токмаке впервые, если не считать

¹ Лагман — (дунганск.) — лапша с мясом.

того, что лет пять назад я приезжал сюда на базар с мельником Макаром. Дед попросил его повезти сюда на продажу нашу кукурузу, а меня отрядил Макару в помощники. Токмак — небольшой районный центр на берегу реки Чу. Не знаю, назывался он тогда городом или нет, но для меня он казался чуть ли не Москвой. Особенно поразила меня прямая и широкая асфальтированная улица с тротуарами и светильниками на столбах. Асфальт и такие удивительные фонари я видел впервые в жизни. А еще запомнился базар, на котором пришлось провести почти целый день. Мне нельзя было отлучаться от телеги, где лежало двенадцать мешков кукурузы. Торговля шла плохо, хотя кукуруза стоила очень дешево — десять рублей ведро. Макар несколько раз возвращался все веселее; сначала он ругался, потом пел, а уже под вечер прослезился. Я тоже заплакал, потому что площадь уже пустела, а на телеге оставалось три мешка. Макар как-то странно поглядел на меня, словно не узнавая, а потом привлек к себе, крепко обнял и захныкал: «Изгнанники! Бедные мы изгнанники!» От него исходил какой-то не знакомый мне резкий запах.

— Поехали,— сказал он.— Я продам кукурузу знакомым в Петровке. Или просто так отдам, а с Хамзатом рассчитаюсь...

Теперь я вновь оказался на базарной площади Токмака. Она была большая, многолюдная, с бугорками и дорожками: пахло сеном, навозом, лошадьми. По краям площади лепились один к одному всякие магазинчики, мастерские, закусочные, а возле ворот красовалась витрина фотостудии. Мы с Кайсаром переглянулись, без слов поняли друг друга и зашли туда. «Можно сделать карточку с надписью?» — спросил Кайсар. «Пожалуйста, только напишите ясно на бумаге, а я воспроизведу вашу надпись», — ответил фотограф. Мы сели и тут же сочинили четыре строчки:

День этот в Токмаке
Запомнится навечно,
И карточка наша — детства венец
И новой жизни начало.

Вписали еще дату — «18 ноября 1954 года». (Пройдет тридцать пять лет, и я, будучи в Токмаке, обойду все фотостудии города, буду искать того фотографа, который тогда, в 50-е, работал у базарной площади и, кажется, был единственным фотографом в городе. Я его найду, найду поста-

ревшим, но очень живым и дружелюбным, как все фотографии на свете. Меня поразит его памятьливость: «Молодой человек, не фотографировались ли вы у меня когда-нибудь?» — вот что он скажет. Я покажу ему нашу карточку с Кайсаром и со стихами. «Да,— скажет он,— хорошо помню, как я старался, чтоб вы улыбнулись, но у меня так ничего и не вышло. Вон какой вы надутый получились и испуганный, будто не к фотографу пришли, а к зубному врачу». Я достану из портфеля шарф, связанный балкарскими мастерицами, и подарю ему)...

Наконец, мы пришли в книжный магазин. Внутри помещения было темновато, но в этом полусумраке еще загадочней и привлекательней казались высоченные книжные полки. Можно было подойти поближе к полкам, читать названия книг, даже подержать их в руках. Я стоял ошеломленный, с изумлением открывал для себя, какие большие и красивые книги бывают на свете. До сих пор мне попадались только маленькие книжечки, не успеешь вчитаться — переворачиваешь последнюю страницу. У нас в сельмаге продавались только брошюры на сельскохозяйственные или политические темы, которые пылились рядом с черствыми пряниками и водочными бутылками. Тот мой скверный поступок на Октябрьском празднике, когда я швырнул книжку на стол и убежал, был, наверно, связан с моей тоской по большим книгам. Кстати, та маленькая книжка была «Повестями Белкина», а книга с золотым тиснением на корешке — романом Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» на киргизском языке. Что я пережил тогда в магазине! Сознание того, что у меня никогда не будет возможности иметь много-много больших книг угнетало, заставляло страдать. Я трогал каждую книгу, лелеял, благоговейно взвешивал на ладонях. Как зачарованный я переходил от одного стеллажа к другому, пока не услышал за спиной строгий женский голос: «Мальчики, давайте скорей, магазин закрывается!»

И тогда я выбрал три самые большие книги, заплатил и вышел, прижимая к груди. Когда мы с Кайсаром сели у арыка и стали их разглядывать, то обнаружили, что я приобрел «Вопросы ленинизма» Иосифа Сталина на киргизском языке, «Поведение животных» — это тоже было нам не по зубам,— сугубо научное исследование, ну, а третьей книгой оказался шестой том Большой Советской Энциклопедии.

— Дурак, зачем они тебе? — сказал позже Сатыбек.

— Буду читать! — упрямо заявил я.

— Ладно, — усмехнулся Сатыбек, — умные собирают плоды, а недоумки — камни.

(Пройдут годы, и однажды в городе Фрунзе, в счастливые дни октября 89-го, когда весь тюркский мир отмечал 130-летие Токтогула, Сатыбек Алиев, доктор филологии, членкор Академии наук Киргизии, вспомнит тот день в Токмаке, и я скажу ему, что все эти три книги у меня сохранились по сей день, что таинственная и далекая тогда книга «Поведение животных» оказалась очень даже интересной книгой).

— Уже поздно, — сказал Кайсар. — Нам еще топать двадцать километров.

— Пойдем через Бурану, — предложил Мелис.

Ни одной попутной машины, ни одной подводы... У Бураны разложили костер и просидели до рассвета. Сатыбек говорил:

— Когда я вырасту, я напишу книгу о Манасе. Мне кажется, что и он сидел однажды здесь...

Мы с Кайсаром молчали. Я завидовал Сатыбеку. Думаю, и Кайсар завидовал, потому что так могли мечтать только дети свободных народов.

7.

Шоштар с Марифой все-таки не падали духом. Жизнь у них стала налаживаться. Он приводил в порядок свой дом, расширял огород, ставил новую изгородь. Люди однажды увидели, как Марифа красила штaketник зеленой краской и пела. Жизнестойкость мужа возвращала ей былую энергию. Она привезла из города двухспальную кровать, новые перины и пуховые подушки: столько мучился Шоштар на жестких нарах, пора бы ему насладиться домашним уютом.

Так они жили и собирались еще долго и преуспевающе жить на зависть тем, кто смотрел на них свысока и пытался судить, назло тем, кто не желал принимать их в свое общество. Жамауатчане умели показать свое презрение. Они и на чужбине этой способности не утратили. И все же Шоштар считал себя не ниже, а выше своих соплеменников: ведь кем бы он стал, возьми верх не Сталин, а Гитлер! И это глупое, горделивое чувство помогало ему оставаться крепким и выносливым. Прошло чуть больше года после его возвращения, и он за это время только поздоровел и выглядел моложе своих лет.

И на плантациях дела его шли как нельзя лучше! Совершенно только усилиями Шоштар была создана овощеводческая бригада и расширены площади под бахчевые культуры. В бригаде выращивали также помидоры, огурцы, баклажаны, капусту... Шоштар пытался открыть лавку в районном центре, чтобы самим продавать овощи, но из этой затеи ничего не вышло. Зато он договорился с сахарным заводом и швейной фабрикой в Токмаке, которые присылали свои грузовики и закупали продукцию на месте.

...В тот октябрьский вечер Шоштар, уже наученный двухлетним опытом, вслух размышлял о том, как вольготнее здесь можно жить, если голова работает. Киргизов можно окручивать как угодно, так что будущее им с Марифой обеспечено!

Слепой Кайыт потом истолковывал дальнейшие события таким образом:

— Да, собирались жить. Наладили отношения со старшей дочерью, стали ходить к ней в гости, разделили с нею ее греховность, а тут явилась душа Лены и покарала их!

Может, в том, что говорил слепой Кайыт, и был какой-то смысл, но большинство кегетинцев объясняли это чистой случайностью. Но почему Случай избрал Юдина жертвой, а Шоштара — виновником? Кстати, мальчик грозился в свое время убить не отца, а деда...

Ложиться спать было рано, и Марифа предложила сходить к Алтын — так они называли Светлану, что означало «золотая».

«Давай, собирайся, атлы», — так она называла Шоштара, что означало «всадник». Света жила на краю села в своем маленьком домике.

По дороге Чоттаевы говорили о внуке, который рос Бог знает кем — неугомонный, непослушный, неуправляемый. Юдину-младшему шел уже седьмой год. Мать его называла Робертом, а односельчане звали его «Комендантович». Он был капризен и упрям, очень любил военные игрушки, благо, отец дарил их ему множество. Юдин-старший навещал сына, оставался у Светланы, и, чем взрослее становился парнишка, тем чаще он приходил. Постепенно у мальчика собрался целый арсенал, и он устраивал на улице и дома жаркие сражения. Между прочим, он был щедрый мальчик и легко дарил свои игрушки друзьям, а от родителей и от бабушки с дедом требовал все новых. И теперь не только Марифа, но и сам Шоштар, кнутом выгнавший дочь и внука из дома, души в Робике не чаял и выполнял любые его капризы.

Они шли по темной безлюдной улице Кегети. Шоштар, шагая впереди, тихонько напевал себе под нос. Марифа несла теплые лакумы в узелке. Но когда они застали у дочери Юдина-старшего, то все их хорошее настроение пропало. Он сидел у печки, играл с сыном. Светлана готовила. Юдин не встал. Подобная неучтивость оскорбляет и унижает горца. Но о том, что надо вставать навстречу гостю, тем более старшему, Юдин просто не знал. Кстати, он не знал или позабыл и многие хорошие обычаи собственного народа. Чоттаевы смущенно попятились и хотели уйти, но Светлана подбежала к ним и заставила их войти. Юдин-младший резвился в доме, как дикий жеребенок. Китель Юдина-старшего, его портупая с ремнем и пистолетом в кобуре лежали на кровати.

Шоштар и Марифа как-то неловко присели, и только внук отвлекал их от мрачных раздумий. «Робик!» — покрикивала на него Светлана, а мальчишка то прыгал на колени деду, то пытался стянуть с бабушки платок, то показывал, как летает его самолет, и кидал его по всей комнате, пока самолетик не упал в сковороду, где соблазнительно шипела баранина. Робик подпрыгивал и хлопал в ладоши, Юдин-старший смеялся, а Светлана влепила сыночку хороший подзатыльник. Комендантович только выругался матерно по-русски и притих на некоторое время.

— Как дела? — глухо спросил Юдин, не глядя ни на кого из Чоттаевых.

— Все хорошо, — раньше мужа ответила Марифа. — Рассказывают, что комендантов над переселенцами больше не будет... Правда ли это?

— Но вам-то что? Хотя и упраздняют комендатуры, вам обратный путь не светит.

— А мы и не спешим обратно, — ворчливо заговорил Шоштар. — Нам и здесь неплохо. Хотели наказать горцев, да просчитались — вывели их из тесноты на простор. В жизни мы столько земли не видели!

— Да уж, земли здесь хватает, есть где поковыряться. Между тем Светлана поставила сковороду на стол, принесла водку. Юдин-старший отбил сургуч, налил на двоих. Он поднял стакан, чокнулся с тестем и молча выпил, не дожидаясь Шоштара. И это тоже покорило Шоштара: с ним уже вообще не считаются? И вот в эту минуту они услышали громкий приказ Юдина-младшего: «Руки вверх!» Обеими руками мальчишка держал пистолет и целился в отца. Юдин-старший уронил вилку, метнул взгляд на кровать, где лежала его амуниция: пистолетная кабура была пуста.

Юдин крикнул вне себя: «Брось! Брось сейчас же!» Но сын упорно повторил свой приказ: «Руки вверх!» По-разному потом судачили, а главное считали, что мальчик не выстрелил бы, подними тогда руки отец! Но он, Юдин-старший, вместо того чтобы поднять руки вверх, рванулся к мальчику, а мальчик нажал на спусковой крючок настоящего пистолета, как нажимал на спусковые крючки игрушечных, «убивая» тех, кто не хотел сдаваться. Комендант рухнул, как подкошенный: пуля в голову уложила его наповал. Мальчик никак не ожидал такого эффекта, ведь игрушечные пистолеты так громко не выстреливали и из рук не вырывались. Но к чести мальчика, после отдачи он не уронил оружия из рук, а когда подбежавший к нему Шоштар нагнулся, чтобы отобрать пистолет, он еще раз нажал на спуск: по-видимому, проверял, разрядился пистолет или он может выстрелить еще раз. Шоштар не упал, как его отец: на этот раз пуля угодила в зеркало, висевшее на стене. Светлана оказалась мудрее мужчин: она швырнула полено и вышибла пистолет из рук дорогого сыночка, быстро подобрала оружие с пола и бросила его за дверь, в черноту ночи.

...Сверхбдительное следствие не поверило в случайность выстрела. Показания жены и дочери стоили немногого. Сработала стандартная логика: отец выгонял дочь из дома, он же затаил злобу на коменданта, который его дочь опозорил, и вынашивал злодейские мстительные планы. Шоштар не стал упорствовать и взял вину на себя. Хотя люди и одобрили этот поступок, но не слишком жалели Шоштара, когда его увозили из села.

8.

Отец! Я вновь и вновь обращаюсь к тебе, как это делал тысячи раз с того самого дня, как проводил тебя на войну. Эта потребность говорить с тобой никогда не ослабевала, с годами она становилась лишь более осмысленной. Где ты сейчас? Какая земля над твоей могилой! А может быть, ты еще жив? У нас есть бумага, полученная Мухтаром в 1946 году о том, что Кушжетеров Мустафа Хамзатович попал в плен под Ленинградом, позже был арестован как изменник и осужден. Вот и все, отец, что нам известно о тебе. Мы предполагали, что у тебя, как и других, срок десять

лет. Куда только Мухтар не писал, пытаюсь обнаружить твои следы... Уже прошли все мыслимые сроки и расплылись в нашем воображении все мыслимые пути, которые могли бы вернуть тебя к родным, и все-таки мы все еще ждем. Всю жизнь я надеюсь, тоскую, мечтаю. Ведь бывают минуты, когда ничей на свете взгляд не может заменить отцовского взгляда и ничьи на свете слова не могут заменить слов отцовских...

Разъездной фотограф сделал нам увеличенные снимки — портреты, еще довоенные: бабушки с дедушкой, Арийпу с Муссой, Мухтара и тебя — отдельно. Твой портрет получился самым удачным, но мы восприняли его с болью, будто конь вернулся домой без всадника, будто ты сам говорил с фотографии, что тебя самого больше нет, а есть вот этот портрет, который отныне будет в доме вместо тебя. Мать повесила портрет над своей кроватью. Вечером того дня я возвращался поздно и, проходя мимо нашего окна, услышал тихие всхлипывания. Остановился, подошел к окну — она сидела на кровати, обхватив колени руками и плакала. Я не мог зайти в комнату. Сел под окном на землю и тоже заплакал.

Когда у нас бывают родственники, они, глядя на меня, божатся: живи до тех пор, пока твой отец вернется с того света — ты повторил его один к одному! Никто никому не сообщал о твоей смерти, но так получается, что с недавних пор вспоминают о тебе как о давно умершем. И мы привыкаем к этому. Но хоть бы могилу свою ты оставил нам!..

Я стоял перед портретом отца, когда услышал шаги за спиной и обернулся: дед входил в комнату с топором на губе руки.

— Покрути точильный камень, Музафар, — сказал он. — Собираюсь к нашим лесорубам в Карагайлы. Пора мне свалить свою Могучую Сосну.

Я крутил ручку точильного камня, дедушка точил топор.

— Я поеду с тобой.

Он проверял остроту лезвия подушечкой большого пальца. Услышал меня, но не спешил отвечать. Потом очень внимательно посмотрел мне в лицо:

— Музафар, ты что — плакал?!

Я отвел взгляд, стараясь подавить нахлынувшее волнение. Но когда все же обернулся к деду, увидел подозри-

тельную влагу и в его глазах. Да, немеряные силы деда тоже имели свои пределы...

— Сегодня ночью он мне снился, — сказал дед прерывающимся голосом. — Он ходил тут, искал телку. Я хотел его остановить, но он все время уходил и повторял одно и то же: «Я потерял телку...». Мы его оставили без аша¹, Музафар... Надеюсь, что он живой и вернется, мы не свершили необходимого обряда...

Никогда он не был таким. Я замечал и раньше, что дед мой, как в божье знамение, верит в сны, но то, что он видел прошлой ночью, его окончательно лишило надежды и обессилело.

— А нельзя ли, дедушка, вырыть могилу, вместо тела отца положить его портрет и поставить надгробный камень?

Дедушка долго молчал.

— Могилу, наверное, нельзя, это грех, плохая примета, когда закапывают пустую могилу. Но вот... Мне очень по душе киргизские кумбезы². В старину и у нас так делали, такие склепы — кешене³... Было бы хорошо, если вытесать три надгробных камня, а может, и четыре. Да, четыре, ибо и Хорасан этого захочет. Поставить четыре камня, а над ними возвести кешене. Я и камни приглядел у мельницы Макара, как раз четыре... — Я молчал, не зная, как возразить деду, считая преждевременным его разговор о смерти, а он вспомнил. — В детстве Арийпа часто болела. Однажды чуть не погибла, опрокинув на себя ведро с только что закипевшим молоком. Потом, уже взрослая, шутила: «Оттого я такая белая, что варилась в молоке...». Я так редко ласкал дочурку свою. Скоро встретимся с нею. — Я глядел на деда и видел, какими глубокими бороздами легли на его лицо невзгоды и утраты. Дома мы почти не говорили об Арийпе, как будто ее не было вовсе, а теперь я видел, что дед ни на одну минуту не забывал о дочери, и если он почти никогда не говорил о ней, так это потому, что боялся выставлять напоказ свою скрытую неутрахающую боль. И он еще сказал: — Страшнее всех погибла она: не пожила, не испытала радости жизни, зато стала жертвой самого подлого предательства... Можем ли мы не поставить камня с ее именем?

Поездку в Карагайлы дед пока отложил и перебрался на несколько недель к Макару, давнему своему задушевному

¹ Аш — поминки.

² Кумбез — (кирг.) — склеп, гробница; мавзолей.

³ Кешене — склеп, гробница.

приятелю. Он оставался там весь ноябрь и половину декабря, пока не вырубил четыре надгробных камня — для Мустафы, Арийпы, для себя и для бабушки.

Потом он позвал Мухтара и меня и распорядился:

— До моей кончины они будут здесь, вот у этой старой стены. Когда я умру, выберите место на кладбище, похороните, оставьте место для бабушки, а камни Мустафы и Арийпы установите рядом с моим. Над всеми четырьмя камнями возведите кешене.

Мы накрыли камни какими-то рогожами, а сверху забросали ветвями орешника.

В январе дед ушел в бригаду лесорубов. Он и работал вместе с односельчанами, и готовил понемногу лес для строительства своего дома. Главное, он собирался здесь срубить знаменитую сосну, которую все знали в этих местах и относились к ней с почти суеверным уважением. Дед называл ее Могучей Сосной и еще до своего ареста как бы примеривался к ней.

Через пару недель я приехал к деду верхом на коне, привез теплые вещи и провизию. Он был в хорошем расположении духа. Я спросил:

— Как Могучая Сосна?

— Стоит, как царица леса. Скоро померимся с ней силами. Вот закончим делянку...

— Хочешь, я останусь и помогу тебе?

— Нет. Поезжай домой. Я должен это сделать сам. Я срублю сосну так, чтоб она соскользнула с обрыва в ущелье, к дороге. И вы с Мухтаром приедете тогда на трактере.

На этом мы и расстались с дедом...

9.

Хамзат летел высоко над землей. Он чувствовал легкость, силу в руках, которые заменяли ему крылья, — раскинув их, он мог даже парить в воздухе, как орел. Сначала он пролетел над незнакомыми горами, а когда увидел далеко внизу синее-синее озеро, бурную реку и мельницу, он узнал свою родную долину, и радость захлестнула и переполнила его душу. Снизу доносились радостные голоса и звуки музыки: у людей в долине был большой веселый праздник. Хамзат спустился пониже и пристроился в ветвях величественного дерева, которое оказалось той Сосной, которую он собирался срубить. Да, народ праздновал побе-

ду. Что это была за победа, Хамзат не знал, но Голос повторял ему на ухо одно и то же слово «Победа!». Взорам Хамзата была открыта вся долина Жандара, ликующая, пляшущая, поющая, он видел каждое из множества лиц, причем во всех подробностях. Искал глазами Муссу и Мустафу, Арийпу и Мухтара, Лейлу, Мадину, Музафара, Аманат, но увидел только Хорасан, которая играла на гармошке. «Как хорошо играет дочь Гобара!» — воскликнул Хамзат. Ему показалось, что волны музыки заполняют всю долину, а часть этих волн, вместе с речными потоками, уносится в дальние края. Одно только его огорчало: Хорасан, дочь Гобара, была очень плохо одета. «Ни разу за все годы я не покупал ей платья! Позор мне, позор», — сокрушался Хамзат. Он спустился с дерева и хотел подбежать к жене, утащить ее с праздника, спрятать, чтоб не подумали плохо о роде Кушжетеровых, но тут кто-то окликнул его. Хамзат обернулся и увидел Мустафу. Он был одет не в такое рубище, как его мать, но все же очень странно. Полупрозрачный балахон был наброшен на его голое тело, опоясанное под балахоном тяжелой железной цепью. На грудь Мустафы были наклеены портреты каких-то людей и обрывки газет. Хамзат пожалел сына: должно быть, черная тяжелая цепь причиняла ему боль, но Мустафа, весело улыбаясь, самозабвенно танцевал с какой-то незнакомой девушкой, тоже одетой в полупрозрачную хламиду, похожую на саван. Потом исчезли Хорасан и Мустафа, и появилась Арийпа. Она вручила отцу чашу с айраном, спокойно шагнула в пропасть и плавно опустилась на самое дно. Не успел Хамзат сполна прочувствовать горечь и тоскливую досаду, как перед ним возникла его мельница. «Жернова!» — закричал он в восторге. Мгновенно к нему вернулись изначальная бодрость и сила. Можно было бы и взлететь под облака, если бы не тяжелый гоппан с айраном в руках. Все выглядело здесь, как и прежде, — горы, скалы, ольховая роща, река Юрду, но почему так тихо, почему не шумит вода, не грохочут жернова? Это его насторожило. Крадучись, Хамзат вошел в мельницу и увидел груды мешков вдоль стен. «Ай тоба, столько зерна не смолото, — запричитал он. — Люди, наверное, ругают меня! Почему же мельница остановилась?»

— Нет зерна для обмолота, — сказал кто-то за спиной.

— А эти мешки?! — возмущился Хамзат.

— В них песок, отец! Чтобы мельница не оставалась пустой, я заполнил мешки песком и так сложил...

Хамзат узнал своего старшего сына Муссу:

— Бедный, разве ты жив?

— А я не мог оставить твою мельницу,— виновато сказал Мусса.— К тому же, ты оставил двери открытыми...

Они пошли куда-то вместе, обнявшись, и оказались перед большим новым домом. Дальше Хамзат шел уже один по просторному коридору, устланному чудесными коврами, а затем попал в большой просторный зал. Он увидел там на сцене большой стол, накрытый красным сукном. За столом сидели Бияслан, Гезох, Атто, Гугул из Секи, Басир из Куркужина.

— Хамзат, сын Шонтука, ты победил,— сказал Гезох.— Ты построил мельницу, оставил двери открытыми и потому все эти годы оттуда шел запах свежего помола и он, запах свежего помола, помог нам добиться справедливости. Мы довольны. Прими от нас...— И Гезох, обратившись к Бияслану, приказал:— Вручи ему наш подарок!

И тогда Бияслан накинул на Хамзата черную бурку, которая накрывала его с головой и заслоняла белый свет. Хамзат не хотел черной бурки, он хотел видеть лица людей, но бурка мешала ему. Обиженный, он подался назад, сбросил бурку, и в этот момент из-за кулис вышел Итлук Китаров и гневно заявил:

— Вы тут чествуете Кушжетерова, а не знаете, что Хамзат, старый большевик, испытанный боец революции, носит на шее талисман — знак исламского мракобесия. И это, товарищи, в то время, когда мы победили! — Хамзат незаметно для других нашарил на груди кожаный мешочек и убедился, что он на месте.— Сними его, выбрось! — Китаров требовательно протянул руку и двинулся на Хамзата.

— Нет,— сказал Хамзат, держа руку на талисмане.— Не осуждайте, не волен я выбросить его. Настанет час, и я передам его дальше.— Хамзат не сказал «внуку», чтобы не накликать беды на него.

И тут же рядом с Итлуком Китаровым возник другой человек — Юдин. Комендант протянул к Хамзату уже не одну руку, а обе, и эти руки оказались страшными когтистыми лапами.

Хамзат вскрикнул и проснулся. Приподнялся в жесткой постели. Был мокрым от пота. «Аллах, Аллах,— прошептал он,— здоров ли я? — Он сел и подтянул колени к животу.— Сон, не сон... Да, Бияслан неспроста накинул на меня черную бурку. Зовут, надо готовиться...»

Бригада жила в лесном домике, который с вечера жарко натапливали, но к утру вода в ведре покрывалась корочкой льда.

Последние два дня Хамзат ощущал тяжесть в теле,

иногда — легкое головокружение, но относил все это к обычной усталости и не беспокоился.

До рассвета было еще около полудня. Чтобы не беспокоить спящих лесорубов, он тихо оделся, взял топор, построил его по привычке на согнутой руке у локтевого сгиба и вышел. В лесу было тихо, только его неровные шаги шуршали по сыпучему снегу. Очень скоро ему пришлось сделать передышку и прислониться к дереву. В груди стало горячо, закружилась голова. Из-под шапки просачивались капли пота. Он присел на пенек. Светало. Где-то запоздало прокричал филин осипшим оголосом. «Нет,— сказал Хамзат,— все это от тяжелого сна. Сосну надо срубить... сегодня...»

Когда он пришел к Сосне, было уже совсем светло. Его немного знобило, но он решил не поддаваться: поработает, согреется, и озноб пройдет. Хамзат принял головой к Сосне. «По себе ли дерево рубишь? — с ехидцей спросил Голос.— По силам ли тебе Самое Могучее Дерево в твоей жизни?» — «Я еще в лагере об этом мечтал, я не отступлюсь»,— ответил Хамзат. Где-то у вершины Сосны прозвучал тихий, но подленький смешок, с ветвей посыпался снег. «Дерево вытянет из тебя последние силы, если не саму душу!» И снова посыпался снег с ветвей, а подлый смешок прозвучал теперь за соседним деревом. Кружилась голова, жар не спадал, но Хамзата не покидала уверенность, что он справится. И, конечно же, не стоило продолжать бесполезный разговор с Голосом. Пора было браться за дело. Он снял шубу, завернул в нее крынку с айраном, которую принес с собой; снял и пояс, но потуже завязал ремешки гетр. «Верный мой топор, не подведи и сегодня...— он расчистил ногами снег вокруг неохватного ствола.— Сосна, ты сегодня свалишься...— он с уважением окинул ее взглядом снизу доверху.— Слов нет, могуча ты, сильна, у тебя царственная стать. Вон с какой высоты ты смотришь на меня. Но свалишься! — Помолчав, Хамзат продолжил:— Откровенно говоря, я тебе завидую. Свалившись, ты вновь поднимаешься, начнешь новую жизнь. Дверями станешь и окнами, полами и резными украшениями. Я тоже крепко стоял на земле, не склонялся ни перед какими бурями, но, свалившись, уже не поднимусь... Я хочу, чтобы на земле после меня остался дом! А ты пожила достаточно. Ты старше и меня, и моего деда, и деда моего деда; сможешь ли понять человека, у которого на склоне лет срезаны две из трех родоносных жил, и он умирает на чужбине? Они, Мусса и Мустафа, могли тоже дома строить, из дерева украшения

вырезать... Обида моя в том, что она, эта преждевременная старость, нашла меня здесь, в час встречи с тобой, Сосна! Разве это дело когда человека накрывают черной буркой, когда ему всего-навсего шестьдесят семь лет! Еще в лагере я думал о тебе, молился, чтобы никто не опередил меня. И Бог услышал меня, а старость — нет! Она думает, Сосна, она думает, что я поддамся ей, выроню топор из обессиленных рук... Не-ет! Я топора не выроню!» — Хамзат оторвался от дерева, чуть расставил ноги, поустойчивее упирая их в мерзлую землю, поплевал на ладони и, размахнувшись, нанес первый удар.

...Когда Хамзат присаживался немного передохнуть, он, вдыхая хвойный аромат, уже не с благоговением, а деловито-оценивающе посматривал на Сосну. Она стояла в двух метрах от отвесной скалы, и Хамзат подрубал ее таким образом, чтобы дерево, падая, соскользнуло вниз, где есть аробная дорога. Там ее разделяют на части, и Мухтар с Музафаром перевезут на тракторной тележке в село уже не дерево, а древесину.

Отдышавшись, Хамзат снова брался за свой остро отточенный топор. Свежий, чудодейственно живой сосновый дух возвращал ему силы. Вообще запах щепок, стружек с еще не высохшими жизненными соками был для Хамзата самым сладким и желанным, будто эликсир здоровья и веселья, помогающий выстоять перед любыми невзгодами. Он всегда любил вдыхать этот запах полной грудью — от этого хотелось работать без усталости и без конца выдумывать всякие столярные хитрости.

Спина у Хамзата была уже совсем мокрая, ломило поясницу, ныли суставы. Стоило бы подзакусить, попить айрана, подумал он. Усталость давила, склоняла его к тому, чтобы затянуть отдых подольше. Нет, ствол подрублен уже до половины. Надо свалить Сосну, а потом и пообедать можно.

Но теперь удары его были несильны, лезвие топора не проникало в живое тело Сосны больше, чем на сантиметр. Когда он замахивался топором для очередного удара, его уже слегка заносило в сторону. Нет, попить айрана, закващенного Хорасан, было просто необходимо. Пил он, не отрываясь, пока не увидел дна крынки. Горячей рукой вытер губы, усы, бороду. Ему стало немного легче, и он снова взялся за топор. Вскоре послышался легкий треск. Это придало ему сил. Хотя перед глазами маячили черные круги, он хорошо видел, куда надо наносить рубящие удары. Могучая сосна задрожала, обильно осыпая Хамзата

снегом. Он обтер этим снегом лицо и, оживленный успехом, нанес, как он считал, последний удар. Топор издал какой-то необычный звон, а топорище в руках показалось неправдоподобно легким. Он не успел осознать, что произошло, как Голос, извечный его противник, громко, злорадно захохотал, как тот филин: свалилась не Сосна, а тот, кто хотел ее свалить. Валялся на снегу и топор, и сломанное топорище. Хамзат, лежа на спине, видел заснеженные кроны деревьев, а Сосна, медленно кренясь в сторону обрыва, как бы предупреждала, что надо встать и отойти на несколько шагов. А Хамзат медлил, хотя понимал, что лежит у самого края обрыва и, кажется, потихоньку сползает по сыпучему легкому снегу. Там, где только что была верхушка Сосны, он увидел небо — низкое, белесое, как бы застывшее в страхе. Теперь у Хамзата ничего не болело, не кружилась голова, не темнело в глазах. Медленно падающая в пропасть Сосна вызывала в нем гордость — прежде чем рухнуть самому, он все-таки свалил самое могучее в своей жизни дерево! Могучая Сосна уходила с достоинством. «Как бы и мне не уйти вместе с нею,— подумал Хамзат.— Ведь зацепит же...» Но не было сил сдвинуться с места, даже соскользнуть в сторону.

И вдруг он услышал удар ствола о каменистый край обрыва. Сосна подпрыгнула — Хамзат увидел просвет между остающимся в земле пнем и концом ствола, задравшимся кверху. Тотчас после этого он почувствовал мягкий толчок в бок — это его ударило сопутствующее завихрение воздуха, поднятое мощным падением исполинского дерева. В следующую секунду он уже летел вместе с Могучей Сосной. В эти последние мгновения повторилось начало сна: он увидел далеко внизу синее-синее озеро, бурную реку и мельницу, он узнал свою родную долину, и радость захлестнула и переполнила его душу...

ЭПИЛОГ

Только осенью 55-го закончили Кушжетеровы строительство дома. Точно такого же, какой был у них в Жамаяте. Нижний, хозяйственный этаж упирался в каменистый склон холма, а жилой этаж был обращен одной стороной к плато Тайпак, а другой — фасадной — смотрел на поселок Кегети и дальше, на городище Баласагуни. Когда всходило солнце, первые лучи его озаряли ближайшие гребни гор, оттуда, казалось, весь солнечный свет начинал распре-

деляться уже по всей остальной земле, а в Кегети раньше всего этот свет падал на окна кушкетеровского дома. Музафар заканчивал школу, Мадина носила второго ребенка, Аманат, уже тринадцатилетняя девочка, ходила в шестой класс и очень любила петь.

В январе 56-го, в ясный холодный день, Музафар стоял на высокой веранде и смотрел, как густые дымы поднимаются из очагов в небо. Смотрел в сторону кладбища, где чуть подальше двух старинных кумбезов — склепов возвышалось новое сооружение: кешене Хамзата-устаке и его двух детей, погибших в войну. И красиво же сложил этот кешене на старинном киргизском кладбище Мухтар! Музафар только помогал ему. Как это замечательно, думал Музафар, когда с высокого порога своего дома человек видит и прошлое и настоящее, и каким мудрым был его дед, выбравший для возведения дома именно такое место, откуда открываются и широкие просторы, и дороги, бегущие во все стороны. Пройдет немного времени, и Музафар пойдет по одной из этих дорог пешком, как однажды его дед в поисках справедливости; пойдет и поедет, и доберется до других гор и до другого такого же кушкетеровского дома. Там, опустившись на колени в огороде, он раскроет дедовский окровавленный талисман, высыпет — на ладонь сначала — щепотку земли, истершуюся в пыль, и вдруг явственно услышит тихое перешептывание родничков Тыгылы-Кола. Душа его всколыхнется, и он вновь переживет все, что было в тот день, когда они с дедом отправились в заветное урочище, а потом, вечернею порою, возвращались домой. Он переживет все сызнова — и тринадцатый вагон, и безумие Мисирхан, и похороны дяди Бияслана под направленными в сторону траурной процессии пулеметными стволами. Музафар, держа щепотку земли из дедовского талисмана, скажет: «Да будет возвращение твое навсегда!», встанет с колен и бросит землю туда, откуда она была взята. А в тот зимний день 56-го он мысленно читал надписи на трех камнях внутри кешене и как бы прикинул щекой к незанятой части родового склепа, оставленной для Хорасан. Отныне захоронение ее здесь было предопределено, потому что по собственной воле и при ясном сознании она не могла оставить могилу Хамзата.

Стоя, облокотившись на перила веранды, Музафар увидел, что к их дому направляются двое людей — мужчина с тяжелой сумкой в руке и женщина. Когда они вошли во двор, Музафар спустился по ступенькам им навстречу.

— Салам алейкум, — сказал мужчина.

— Жууук болугуз, добро пожаловать,— ответил Музафар на приветствие.

— Мир дому вашему,— сказала женщина.— Мы Базовы. Меня зовут Соудат. А это мой брат Абдулкерим.

Музафар обрадовался и крикнул, обернувшись к дому:

— Аманат! С тебя суюнчи, Соудат приехала!

Аманат выскочила на порог и застыла в замешательстве.

— Вот она какая у нас! — всплеснула руками Соудат.

Это были сын и дочь Шаухала, того Шаухала, который в 32-м в Секи защитил честь дочери, вот этой самой Соудат, и за это был раскулачен по мстительному наговору Итлука Китарова. В последние три года они переписывались с Кушжетеровыми, часто присылали для Аманат посылки. Шаухал был дядей Гугула, значит — двоюродным братом Соудат и Абдулкерима. «В тот год, когда нас раскулачивали,— писала она,— Гугулу шел тринадцатый год, и он уже тогда зачитывался книгами. Я хочу передать любовь брата к литературе его дочери и серьезно заняться ее образованием. И мой муж Рачикау Шакманов этого хочет, ведь его отец Аслангери дружил с родовым тамадой Базовых и просветителем Чепеллеу Базовым...».

Рачикау Шакманов был теперь директором крупного совхоза под Фрунзе, а Соудат работала на текстильной фабрике. Абдулкерим жил вместе с отцом в Джамбульской области Казахстана. Они, конечно, намеревались забрать к себе девочку, но пока не нагрянули вот так неожиданно, Музафар да и все в доме не думали, что это произойдет скоро. Музафар, приглядевшись, увидел, что Соудат все еще очень красивая женщина, очень представительная и душевная. «Как учительница!» — подумал он. Музафар вспомнил рассказ Аркеса в 13-м вагоне и незаметно посмотрел на уши Соудат. Шрамы, хоть и малозаметные, остались.

Погостив два дня, они собрались обратно. Аманат оделась, чтобы ехать с ними. Кушжетеровы пошли их провожать. Но, когда на автобусной остановке стали прощаться, Аманат зарыдала и бросилась на шею Лейле. Ошеломленные, растерянные, а потом и огорченные, Базовы долго уговаривали Аманат, отрывали ее попеременно то от Хорасан, то от Лейлы, то от Мадины, но ничего не могли поделать. Соудат, наконец, заплакала и стала благодарно обнимать всех по очереди. Потом она сняла с себя золотую цепочку, часики с браслетом, перстень, отдала все это племяннице и кое-как успокоилась. Аманат осталась у Кушжетеровых.

Те ясные январские дни запечатлелись в памяти Музафара еще и тем, что Соудат привезла ошеломляюще радостную весть — больше того — вещественное ее подтверждение: во Фрунзе решено издать книгу балкарских и карачаевских поэтов на их родном языке, и Соудат удалось раздобыть и прихватить с собой уже готовую корректуру этой книги. Оказывается, один из сыновей Шаухала, а именно младший брат Абдулкерима Ахия, пишет стихи. Когда во Фрунзе начали готовить сборник, Абу Кайбергенов, побывавший однажды у Базовых в Джамбуле, вспомнил о молодом поэте и пригласил его во Фрунзе. Ахия Базову не только предложили участие в сборнике, но и стать корректором книги. Музафар не знал, что такое корректура, и Соудат объяснила ему, что корректор — это человек, который выявляет и исправляет ошибки в будущей книге. Надо быть очень грамотным, досконально знать язык. Навсегда с тех пор останется у Музафара высокое почтение к званию корректора. Ему казалось, что исправление языковых ошибок не менее трудное и не менее важное дело, чем исправление ошибок жизненных.

Ахия Базов жил в доме Рачикау Шакманова. Он приносил корректуру для читки домой, а лишние листки оставлял. Их-то и привезла в Кегети Соудат. Она даже не предполагала, какое великое дело сделала, не догадывалась, что балкарцы, живущие в отдаленном горном краю, воспримут корректуру книги на родном языке как счастливое предзнаменование, как весть о грядущей свободе. У Музафара толпились возбужденные друзья-приятели, необычно веселы были Мухтар с Мудиной.

— Скоро, говорят, очень важный съезд будет в Москве, — говорил Абдулкерим.

— Какой съезд? — спросил Мухтар.

— Точно не знаю, но, кажется, и о нас пойдет речь...

Но Музафар их не слушал. Он так и впился глазами в благословенные типографские оттиски и мысленно повторял стих Кязима:

Имя наше — человек...

г. Нальчик,

1968, 1974—1976,

1987—1989 гг.

Тяжкий путь

Трагедия в 2-х частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Чуть брезжит рассвет. Слышна тихая печальная музыка. Это знакомая нам с детства мелодия, и она не только вызывает грусть, но и пробуждает надежду. Доносится мелодия как бы издалека, через силу, и звучит медленнее, протяжнее, чем обычно. Под эту музыку произносятся стихи Кязима¹.

Мир — тяжкая тропа, где скорбь и горе,—
По той тропе чьи ноги не прошли?
Мир — это взбаламученное море,
И чьи в нем не тонули корабли?

Мы по морю плывем средь многоводья,
Не зная, где корабль потонет вдруг.
Мы падаем с коня, хотя поводья
Стараемся не выпустить из рук.

Каким бы, мир, ты ни был горьким морем,
Тебя мы любим, ты — наш отчий дом.
Пускай тропа в снегу — мы с бурей спорим,
Сквозь вихрь и снег мы все-таки идем!

Отрезок степной дороги освещается утренней зарей. Тяжко опираясь на палку, по дороге идет Кязим. На нем залатанный бешмет, на ногах грубые чабуры².

Одна, правда, вещь на нем дорогая — это пояс с накладками из черного серебра. Через плечо висит сумка, похожая на нищенскую. Видно, что она пуста.

Кязим. Еще бы месяц протянуть. Один месяц... а там плоды начнут созревать, ячменный колос наберет силу...

¹ Кязим Мечиев — великий балкарский поэт. Умер в Казахстане от голода в 1945 г. 86 лет от роду.

² Чабуры — самодельная обувь из сыромятной кожи.

(Подходит к краю глинобитного забора — дувала, приваливается к нему плечом, отдыхает). Несчастный Кязим! По самым тяжким дорогам мира гоняла тебя безжалостная судьба. Еще недавно у себя дома, в Шики, думал, что все горести позади, все испытания прошел, а не знал, что самая страшная беда впереди. *(Слышит тоскливый женский голос, настораживается.)* Ветер воет? Женщина плачет?

Мисирхан *(за сценой)*. Ахмат! Сыночек мой! Еду тебе приготовила, постель постелила. Где же ты? Вернись, душа моя! Садись на своего ослика, да подгони его как следует...

Кязим *(идет на голос)*. Похоже, не в себе бедная женщина. Или голос беды тебя, старик, преследует? Стоны согбенных, что слышал ты в Арабистане? О бедный стихотворец! Разлилась печаль по всем людским жилищам...

Мисирхан *(за сценой)*. Эй, кто в доме?

Кязим. Женщина не в себе... А все мы в себе? В разуме своем? Тот, кто изгнан из дома, надолго ли самим собой останется? Как бы тут всем родом с ума не сойти... *(Замечает босую женщину на краю дороги, делает два-три шага в ее сторону).* Сестра моя...

Ж е н щ и н а , вернее, тень ее, исчезает.

Мисирхан *(за сценой)*. Ой, чтоб дороги железные были глубокой водою потоплены!

Кязим. Каменное терпенье, аллах, нам ниспошли! Терпенье народу моему горемычному.

Мисирхан *(за сценой)*. Гитлер проклятый, Сталин треклятый! Ахматик, душечка, никому не верь!

Кязим. Вот несчастная! Погубить себя решила. Аллах... Думал я, что люди только в Талды-Кургане маются, только там они — пьяные от обиды. А вот и здесь таких вижу...

Мужской голос *(за сценой)*. Да не каркай ты у моего порога. Услышат — не тебе одной плакать. Иди к железной дороге и там что хочешь кричи!

Мисирхан *(за сценой)*. Может, сюда он приходил, мальчик мой белолицый? Шесть лет ему... Ослика своего ищет...

Мужской голос *(за сценой)*. Уходи, уходи! Спятила, так не шляйся по чужим дворам!

Мисирхан *(за сценой)*. Значит, и здесь его нет... О бог великодушный, услышь меня! Смой дороги железные бурным потоком! *(Голос как бы отдаляется.)*

К я з и м . Дитя потерялось у женщины. Еще одна потеря на скорбном нашем пути. Несчастливая мать...

Садится на берегу арыка. Снимает чабуры, делает омовение, затем, расстелив свой бешмет, начинает намаз. Слышится музыка. Кязим что-то шепчет, напевает, но вот и отчетливо звучат слова:

Спокойна совесть наша, и душа свободна
От помыслов коварных, низких,
Сам пророк, измученный тоской,
От голода и жажды изможденный,

Он не роптал, не проклинал судьбину,
А людям повторять не устал,
Что вера истинная все преодолет,
Что справедливости пребудет торжество.

Завершив намаз, он еще некоторое время сидит на расстеленном бешмете.

Такие знойные края... Как будто в песках Арабии... Однажды и там Аллах призывал меня к себе. Да срок мой, видно, не настал еще в то время. А теперь я утомлен, как никогда в жизни. Два дня в пути, полон рот горячего песка... Бывало, выходил я в дорогу в поисках добра и правды. А теперь просто ищу сородичей в этих чужих степях. (*Черпает воду ладонью, пьет.*) Люди здесь умирают от голода, от злого солнечного жара, от плохой воды... (*Надевает чабуры, пытается встать, но, не удержав равновесия, садится снова.*) В глазах темнеет, Аллах, не дай упасть, пока не найду горемычных моих друзей! (*С трудом встает и уходит.*)

С мотыгами на плечах появляется Забитхан и Асият.

А с и я т . Несчастливая Мисирхан! Бродит, не зная покоя...

З а б и т х а н . Одним видом своим у людей душу выворачивает. А люди и так измучены!

А с и я т . Сколько ей, интересно, лет?

З а б и т х а н . Она еще совсем молодая, но горе согнуло ее и состарило. Пропавший мальчик был ее первым и единственным ребенком. (*Устало опускается на берег арыка.*)

А с и я т . И умереть требуют не дома, а на работе.

З а б и т х а н . Пусть бы опрокинулся этот негодный мир! Если б в тот день поезд не тронулся так неожиданно, мальчик бы не пропал. И Мисирхан жила бы сейчас, как все. А теперь смотреть на нее жутко. Глазами увидишь —

в землю зарыться хочется, ушами услышишь — оглохнуть хочется.

Асият. Неужто никто не смог ей помочь?

Забитхан. В суматохе и не заметили, что мальчика нет в вагоне. А когда крик его услышали — все готовы были с поезда в степь броситься... А солдаты с автоматами стояли... Поезд не остановился. Мисирхан билась, чуть не вырвалась, а поезд все быстрее, быстрее... Тут она, бедняжка, голову запрокинула и упала, как мертвая. А солдаты с автоматами...

Асият. А что солдаты? У них служба такая...

Забитхан. До сих пор слышу крик ребенка. Ведь остановка у нас была в такой степи, что три дня скачи верхом — ни жилья, ни жалкого юша не увидишь. А мальчик бежал за поездом, и тоненький его голосишко перекрывал грохот железных колес. *(Слезы душат ее, и она падает ничком на землю. Асият склоняется над ней, брызгает ей в лицо водой.)*

Асият. Забитхан, возьми себя в руки... О-о... Что же делать?.. Забитхан...

Забитхан *(открывает глаза)*. Не бойся, Асият. Сейчас у меня все пройдет.

Асият *(достает из кошелки деревянную чашу)*. Попей воды. А потом я тебя домой провожу.

Забитхан. Глупая. Как это — домой среди бела дня? Да лучше на работе околеть, чем попасть к бригадиру в лапы! Пошли.

Асият. Нет, тебе надо немного полежать.

Мисирхан *(голос издали)*. Ахма-а-ат...

Забитхан. Пошли, Асият. Если бригадир увидит нас здесь, благословлять не станет. Вспомни, что он сделал с бедной Кылычхан.

Асият. А Мисирхан все еще ходит на станцию. Когда гудит паровоз, она начинает кричать и метаться. А еще, говорят, ложится на рельсы.

Забитхан. Люди жалеют ее больше, чем умерших.

Асият. А где ее родственники?

Забитхан. Тот, кто потерял рассудок, теряет и родственников, душа моя. У такого человека своя стезя, свой камень. И никто ему не может помочь. Для этого надо быть пророком. Пошли скорее.

Асият *(глядит на дорогу)*. Айна с мужем идут. Подождем их?

Забитхан. Аллах! Чем же мы им отплатим за добро-

ту? Человечность киргизов, участливость казахов... Награда нам за все наши беды.

Асият. Да, я знаю, что Айна — киргизка, а Шабданбай — казах. Одна нога деревянная — протез называется — как только землю пашет!

Забитхан. И жилье они нам дали, и скудным хлебом своим делятся. Как бы я иначе спасла от голода пятерых детей моего погибшего сына?

Входит Айна и за ней — Шабданбай, который опирается на палку. В одной руке у Аины мотыга для рыхления свекольных гряд, а в другой — тыквенный сосуд с жармой — кукурузной похлебкой, смешанной с айраном.

Шабданбай. Нездоровится, Забитхан?

Асият. А хочет идти на работу.

Шабданбай. Вернитесь домой, отдохните. Я скажу бригадиру.

Асият. Да, надо вернуться. Мы вам потом поможем.

Забитхан. Нет, уж лучше умереть на работе, чем вызвать гнев начальника. Мне уже легче. Другим тоже несладко придется.

Все уходят. Солнце набирает высоту. Вдали видна свекловичная плантация. Слышится казахская песня. В глубине сцены — приземистый глинобитный домик с двумя дверьми, выходящими прямо на улицу. Двора как такового нет — никакой ограды и никаких других строений. С правого края поля у дороги начинается дувал, вдоль которого растут сливовые деревья. Перед домом — узкая железная кровать.

Возвращается Кязим. Подходит к дому, осматривается.

Кязим. Семью Жунуса нашел. Забитхан, мою племянницу, сам выдавал замуж в Холамский Карасу. Бедный Жунус... *(Стучит палкой в дверь.)* Эй, кто дома? В этих местах, как и в горах у нас, двери тоже не запираются на замок. *(Возвращается к дувалу.)* Гоняют людей на работу еще затемно. Побуду здесь. Кто-нибудь появится — спрошу. *(Ложится на чужую траву и тут же засыпает.)*

Входит Мухтар с вещмешком за спиной. На нем полинявшая гимнастерка, на груди — ордена и медали. Левая рука, видно, после ранения, — на перевязи. Увидев старика, лежащего у арыка, подходит поближе.

Мухтар. Аксакал! *(Кязим не отвечает. Мухтар снимает вещмешок, присаживается рядом.)* Эй, алан!¹

¹ Алан — обращение к мужчине у балкарцев и карачаевцев.

Кязим открывает глаза, силится встать.

Кязим. Сейчас... Погодите... Бог даст...

Мухтар. Я помогу.

Кязим (*приподнявшись и опершись спиной о дувал*).
Давно ли в пути, джигит?

Мухтар. Семью вот искал. Теперь, слава Богу, нашел. Здесь мои родные, в этом казахском селе.

Кязим. Сейчас тут нет ни одной живой души. Подождать придется. Все спозаранку в поле. А ты рассказывай, рассказывай...

Мухтар (*несколько смущенно*). Мог бы еще повоевать, но вот... Уволен!

Кязим (*после паузы*). Кто у тебя из родных?

Мухтар. Мать. И еще дети старшего брата.

Кязим. А старший брат?..

Мухтар. Погиб в боях под Москвой. И сноха... Ты знаешь, наверное, аксакал, как на подступах к Нальчику копали противотанковые рвы... Все население республики участвовало. Вот и сноха тоже. Потом в самом рву...

Кязим. Знаю, джигит. (*Вздохая и как бы предлагая не продолжать*.) Те рвы не остановили танки. Зато гитлеровские изверги заживо похоронили в них множество мирных людей, которые не знали, что копают себе могилу.

Мухтар. А их детей сюда, значит... И ты, аксакал, из этого села? Ой, из тех, кого определили в это селение?

Кязим. Нет, я тоже в поисках сородичей. У бедной моей сестры детей было много. Пусть твой век будет долгим, но мой зять уже закончил свой путь.

Мухтар. Аксакал! (*Всматривается повнимательнее*.) А ты мне кажешься знакомым. Точно, я где-то встречал тебя.

Кязим. Не знаю, где ты мог меня видеть. Я стар, а тут еще все-все горести земные сплошной железной цепью опутали мои и без того хромые ноги.

Это звучит как случайно сложившиеся стихи. Мухтар смотрит с удивлением, будто начинает о чем-то догадываться. Помогает старику встать на ноги, но тот снова бессильно опускается на землю. Мухтар достает из мешка буханку хлеба и нож. Разрезает хлеб на две части и отдает Кязиму половину.

Мухтар. Бери, аксакал.

Кязим (*смотрит на хлеб, будто впервые держит в ру-*

как такое чудо). Джигит, такой дар — это словно вернуть душу покойнику. Что, это все хочешь отдать мне?

Мухтар. От души, аксакал.

Кязим *(отламывает кусочек, подносит медленно ко рту, жует. Остальное заворачивает в платок и прячет в суму)*. Все думал: вот увижу детишек в доме у родичей, а что подарю им? Теперь есть для них гостинец. Аллах пусть будет доволен тобою, джигит.

Мухтар. Ты бы поел как следует, аксакал.

Кязим. Ничего, вкус хлеба во рту на целый день останется и голод обманет. Да и кто ныне досыта ест?

Мухтар. Ты, аксакал, наверное, должен знать: за что же преследует нас такое проклятье?

Кязим. Если ты, солдат, не знаешь, то откуда мне знать, темному старику.

Мухтар. «Темному старику...» Теперь, кажется, я вспомнил, где мог тебя видеть.

Входит Мисирхан. Она босая, голова ее повязана черным платком. Увидев Мухтара, пугается назад, лицо ее светлеет на миг, затем мрачнеет снова. Она подбегает к Мухтару, хватая его за руку.

Мисирхан. Где тебя носит, Мухтар? Или не знаешь, что Ахмат потерялся?

Мухтар. Мисирхан?! *(Озадаченно смотрит на Кязима.)*

Мисирхан. А где ты оставил Мажира?

Мухтар. Мисирхан, что с тобой? Погоди...

Мисирхан *(плачет)*. Что ты мне обещал, когда уходил на фронт? Нет, ты вспомни! *(Обращаясь к Кязиму.)* Он — учитель. Он уходил на войну вместе с моим Мажиром. И еще обещал: не бойся, скоро сломаем хребет Гитлеру и вернемся с победой — и Мажир, и я. Где ты оставил Мажира? Почему пришел один? Разве учителя лгут?

Мухтар. Ты... Погоди... А Ахматик... где он?

Мисирхан. Как не стыдно, Мухтар! Ты все позабыл. В тот день, когда поезд тронулся... что ты делал тогда, Мухтар? Первый друг Мажира... Почему не остановил эшелон? Солдаты меня держали, а ты стоял и смотрел. *(Отшатывается от Мухтара и опускается на колени. Мухтар удерживает ее.)*

Мухтар. Ахмат вернется. И Мажир вернется. Ты только держи себя в руках. Ведь ты была первая девушка в нашем ауле. Кто только не любовался тобой.

Мисирхан. А фашисты волокли меня по земле и в подвал бросили под райкомом... Проклятые...

Мухтар. Давай лучше Ахмата искать.

Мисирхан *(силясь собраться с мыслями)*. Увидел бы ты, каким парнишкой стал Ахмат. *(Встает.)* Отойдем в сторонку. Неудобно перед стариком. Когда Мажир вернется... *(Мухтар отводит взгляд, опускает голову.)* Когда Мажир вернется, ты не говори ему про то, как Ахмат потерялся, хорошо?

Мухтар. Ну... Может, они вместе и приедут...

Мисирхан *(неожиданно достает белую рубашку)*. Это рубашка Ахмата. Когда отец вернется, Ахмат выйдет ему навстречу в этой беленькой рубашечке... *(Слышится паровозный гудок. Забеспокоилась.)* Ой, поезд! Ахмат наверняка приезжает с этим поездом. *(Убегает.)*

Мухтар *(возвращаясь к Кязиму)*. Когда мы уходили на фронт, Мисирхан заканчивала учительские курсы. А в этом году и ее мальчик должен был пойти в школу.

Кязим. А ее муж? Что с ним?

Мухтар. Погиб в Польше. В том же бою я сам был тяжело ранен.

Кязим. А потом?

Мухтар. Потом... Рвался я на родину, в Карасу. Приехал туда... Видел ли ты, дедушка, обезлюдившие селения? Были бродячие собаки. Выл ветер в пустых проемах дверей и окон, в оседающих кровлях. Холодные очаги... Плесень на стенах... Бурьян во дворах... *(Приникает к груди Кязима, плачет.)*

Кязим. Теперь и твоя обувь истерта дорогами изгнанника...

Мухтар. Дедушка! Что же мы такое натворили? Какую вину нельзя отмыть даже кровью, пролитой на войне? Как мы стали врагами своей земли, врагами дома своего родного? За какую тяжкую провинность расплачиваются у нас и старики, и дети малые?

Кязим. Джигит! Мы были народом и жили на своей земле. Как и у всякого народа, у нас были и свои добродетели, и свои прегрешения; и свои герои, и свои пройдохи; было у нас и мудрое, и дурное. Как и у всякого народа. Но еще ни один народ не становился врагом той земли, на которой веками жили его предки. Ты повидал мир, может быть, ты слышал где-нибудь о таком народе?

Мухтар. Нет, не слышал.

Кязим. И не услышишь.

Мухтар. Так что же из этого?

Кязим. По злему навету иной раз страдает человек, два, ну, три человека. Но если страна, в которой возможно

объявление врагом целого народа, не ужаснется содеянному не спохватится вовремя, то... Я не пророк, предсказывать, какие беды грянут, не берусь, но... Нет, не могу. Я не пророк, я несчастный, нищий старик.

Мухтар. Не говори так.

Кязим. Нищий — не тот, кто собирает подаяния, а тот, кто лишен родины, кто изгнан.

Мухтар. Кто же сделал нас нищими?

Кязим. У нас была красивая земля. Чистые реки, богатые леса... Чудесные горные луга... Останется ли все это без хозяина?

Мухтар *(с раздражением)*. Все наши земли пустуют. Я не видел там ни одного человека.

Кязим. Не торопись, джигит. Иные межи проведут, иные названия дадут. Когда многие хорошие люди объявлены кулаками и высланы, разве не нашлось потом кому заниматься их дома? Когда попираются святыне правила человечности, то несправедливости и насилия нет конца. Но пройдет время — и придет судья... *(Не желая продолжать эту тему.)* А ты не поднимался выше по Безенги? В Шики?

Мухтар. Поднимался! Вот когда по-настоящему ценишь красоту своей земли... Перед расставанием.

Кязим. Счастливый.

Мухтар. Хотя бы детей, женщин берегли в дороге?

Кязим. Гнали нас, как скотину. Восемнадцать дней и ночей соленые ветры обжигали наши лица, не разбирая, где женское, где детское.

Мухтар. Дети... Мажир поручил мне судьбу своего сына...

Кязим. Незавидной будет и твоя судьба, учитель.

Мухтар *(закидывает вещмешок за спину)*. Пойду. Мать порадуя. И тебя, аксакал, прошу пойти со мной. Будь гостем моей матери.

Кязим. А ты, джигит, до сих пор не назвал себя. Но это я виноват, надо было самому спросить.

Мухтар. Я сын Жунуса. Алибиева Жунуса. Ну а зовут меня, ты уже слышал — Мухтар.

Кязим. Негодный! Так ты же мой племянник. *(Радостно обнимает Мухтара)*. Забитхан моим именем клялась, ближе меня никого не считала. Кажется, вот в этом доме живет, только сейчас тут никого нет. На работу, как ка-торжников, гоняют...

Мухтар. Я узнал тебя, Кязим, хотя видел только до-военный портрет. Больше по разговору узнал.

Кязим. Что делать. Если бы вместо нас наши изоб-

ражения старились! Да выживали бы из ума. Да что обо мне. Вот Аллах над Забитхан смилостивился. Какого сына ей вернул! Увидел бы тебя Жунус. Не дожил. Кто мог подумать семь лет назад, что человек, открывший первую школу в селе, учебники создавший, получит за свои труды такую «благодарность»! Ай, мубарик!¹ — Ты хоть что-нибудь узнал об отце?

Мухтар. Нет, Кязим. Не знаю, где он похоронен. Да и меня, сына врага народа, отовсюду гнали, не дали продолжить учебу.

Кязим. Знаю. И несчастная Забитхан носила на себе заклятье. Но веру терять нельзя. *(Про себя.)*

Революция будет бурной,
Всколыхнет она все живое.
Сокрушит, сметет, поборет
Всех кто ее не приемлет...
Всех, кто дурнее и злее,
Всех, кто ее добрее...

Мухтар *(после паузы)*. Какое счастье, Кязим, что ты уцелел в те годы. Какое счастье, что сегодня жив твой голос.

Кязим. Лучше бы в те годы, Мухтар... Не пришлось бы мне видеть сегодня неслыханное надругательство.

Оба молчат. Тяжелая пауза.

Мухтар. Больше не могу, Кязим. Загляну в дом.

Кязим. Иди, двери открыты. *(Мухтар заходит в дом. Кязим достает хлеб. Нюхает.) Как пахнет! Воистину, запах хлеба — это запах жизни. (Входит Мадина с ведром в руке.)* Добрый день, доченька.

Мадина. Пусть будет добрым и ваш день. Спасибо.

Кязим. Из этого села?

Мадина. Нет, мы живем на другом берегу реки. Там уже Киргизия.

Кязим. Не живет ли на вашей стороне многодетная женщина — дочь Бекки Мечиева?

Мадина. Дочь Бекки Мечиева? Нет, такой женщины там нет. Дедушка, а вы не знаете, куда пошли хозяева этого дома?

Кязим. Про того, кто приехал, знаю, а про тех, кто ушел, не ведаю. *(Это он говорит несколько лукаво, видимо,*

¹ Мубарик — незабвенный (об умершем).

догадываясь, что девушка ходит сюда справляться о Мухтаре.)

М а д и н а (роняя ведро). Приехал?!

К я з и м (утверждаясь в своей догадке). Солдат вернулся к матери живым.

М а д и н а (в замешательстве: то ли бежать куда-то, то ли оставаться на месте). И... и руки-ноги у него целы?

К я з и м. Вполне. Одна рука, правда, к шее подвешена, но это дело временное.

М а д и н а (смущааясь еще больше). И ордена у него есть?

К я з и м. Вся грудь так и сверкает.

М а д и н а. Вы говорите — солдат, но это тот, который раньше учителем был?

К я з и м. Учителем. Наверное, он и тебя учил, доченька? Учил, а?

М а д и н а. Еще как учил!

К я з и м. Только ли тому, чему в школе учат?

М а д и н а. Ах, бабушка! (Снова смущается.)

К я з и м. Вот негодник! Придется его поругать как следует. А как тебя зовут?

М а д и н а. Мадина. Мы тоже выращиваем свеклу по ту сторону реки. Если с поля оттуда смотреть, то можно увидеть в этом дворе мать Мухтара.

Открывается одна из дверей дома. Появляется Мухтар. Мадина исчезает.

Мухтар. Что за жизнь у них, если в доме такое убожество. (Снова уходит в дом.)

К я з и м. Ай, Кязим! Отарой, оставшейся без пастуха, назвал ты однажды свой народ. О том печалился, что тревога его безгласна, а боль глуха. Теперь вон каких надежных пастухов приставили к твоему народу. А ты, бедняга Кязим, все недоволен. Будто ложку после горького зелья лизать приходится. Но хватит скулить, ты посмотри на эту девушку: жизнь продолжается. И никакие напасти не устоят перед ее любовью.

Появляется запыхавшаяся Асият. Увидев Кязима, вздрагивает.

А с и я т. Кязим!

К я з и м. Глупенькая! Что ты так кричишь?

А с и я т. Утром, когда шли на работу, я тебя видела издали, но не узнала.

Кязим. Чья ты дочка?

Асият. Харуна. Кушжетерова Харуна из Гюдюрю. Я сирота. Вместо отца и матери у меня одна гармошка. Да и то играть на ней почти не приходится. *(Заглядывает в дом через открытую дверь, отскакивает в испуге.)* Ой, кто там?

Кязим. Это Мухтар. Беги, сообщи Забитхан. Сюйюнчу — подарок за добрую весть получишь. Сын вернулся.

Асият *(порывается бежать, но останавливается)*. Все равно до темноты ее не отпустят. Бригадир ездит верхом вокруг поля. Того, кто вздумает отлучиться, — плетью. Так лупит, что лучше помереть на работе. И управы на него нет. Он и своих бьет, не только переселенцев. Меня он с поручением в село послал, а я вот забежать решила, на детишек посмотреть.

Кязим. Эй, Мухтар!

Появляется Мухтар.

Асият. С возвращением, Мухтар Жунусович! *(Мухтар и Асият обнимаются.)* Вот теперь я поиграю на гармошке.

Кязим. И правильно, доченька! Надо играть. Хотя и пережила Забитхан множество бед, но крыша ее дома еще не совсем обвалилась.

Мухтар. Удивительная ты девушка, Асият. В свое время игрой на гармошке ты от двоек спасалась.

Асият. А вы совсем не изменились, Мухтар Жунусович.

Мухтар. Да нет, я уж состарился. *(Шепотом)*. С Мадinou видишься?

Асият. Конечно. И всякий раз, как заговорим о своем бывшем учителе, так ее лихорадка трясти начинается.

Мухтар. Ну, мало ли таких, как я...

Асият. Про вас еще в школе все знали. А вы из-за Мадины весь наш класс любили.

Мухтар. Ладно, ладно, будет тебе.

Кязим. Наверное, нам надо идти в поле. Забитхан до вечера здесь не появится. А с детишками все в порядке?

Мухтар. Возьмется в соломе, как волчата. Пошли, Кязим.

Асият. Вы идите, я догоню. На детей только взгляну.

Кязим и Мухтар уходят. Асият заходит в дом. Появляется Мадина, тщательно причесанная. За нею — Шура.

М а д и н а. Хорошо, что ты живешь рядом со мной, а работаешь здесь. Я могу сюда часто приходить.

Ш у р а. Я рада.

М а д и н а. В каждую свободную минуту душа рвется на этот берег: хоть что-то узнать...

Ш у р а. Вот и узнала наконец. И даже увидела. А он знает, что ты живешь тут поблизости?

М а д и н а. Он ведь только сегодня приехал.

Ш у р а. Везучая. Он у тебя красивый?

М а д и н а. Не знаю. Солнце — красивое или нет? Когда оно есть — светло, а когда нет... Если бы не комендант здешний, я бы отсюда и не уходила.

Ш у р а. А что комендант? Не человек, что ли?

М а д и н а. Он у них страшный. Знаешь, как его бояться! Мы фашистов не так боялись... Другое дело — комендант из нашего киргизского селения. Лицо свое прячет, будто ему стыдно перед нами. А этот... За людей выселенцев не считает. Травит, как диких зверей. Недавно я наткнулась на него нечаянно, так с перепугу в речку бухнулась, в чем была.

Ш у р а. А не преувеличиваешь?

М а д и н а. Шурочка! Здешний комендант хуже жандарма. Точно тебе говорю. Ни сострадания, ни совести у него нет. Но теперь Мухтар приехал. Пусть попробует, изверг, обидеть.

Ш у р а. Он у тебя смелый?

М а д и н а. Умный и смелый. *(Подходит к дому, поправляет постель на кровати, садится.)* А знаешь, я по сей день называю его Мухтаром Жунусовичем. Никак не могу иначе. *(Встает, подходит к дороге, вглядывается в даль.)* Вот встречу его и скажу: «Привет, Мухтар Жунусович!» А он сначала растеряется немного, даже покраснеет — такое у него бывает, и не сразу ответит. Но скоро опомнится, примет строгий вид и скажет: «Что ты тут ходишь, Мадина Казиева?» И легонько дернет за косу.

Ш у р а. А ты уверена, что он любит тебя?

М а д и н а. Не знаю, как тебе сказать... Если бы не любил, то разве прислал бы письмо с фронта? Коротенькое, но как много вложил в эти два десятка слов. *(Решительно естает перед Шурой, как отличница, готовая отвечать без запинки урок.)* И еще я вот что ему скажу: «Мухтар Жунусович! Довольно! Я вам не Мадина Казиева, а просто Мадина. Мадиночка. Вполне взрослая девушка. Прекратите

таскать меня за косы и извольте открыто признаться, что вы меня любите».

Шура. Вот дурочка! Но, вообще, правильно...

Мадина (*вспомнив о суровой действительности*). Я и в самом деле дура! Нашла время и место для пустых мечтаний. Лучше сматываться отсюда, пока здешний жандарм не увидел, да топать на свою свеклу. Моя доля теперь — это гектар поля. Как и у других женщин. Разрыхляй, разрежай, выпалывай, поливай. Вот этот гектар и полюби до потери сознания. Копай свеклу, очищай от ботвы, грузи и вези на завод — и в зной, и в слякоть, и в бездорожье, не думая о голоде и холоде. Вот и вся твоя жизнь. И вся любовь.

Шура. Ну, что ты вдруг раскисла? Может, все еще хорошо сложится. Не отчаивайся.

Мадина (*успокаиваясь*). Да, конечно, конечно, главное — он жив и вернулся с войны.

Шура. Ладно, мне на уроки пора. После школы я приду к тебе и помогу до вечера. (*Уходит.*)

Немного постояв, собирается уходить и Мадина, но тут раздается какой-то шум в доме, открывается дверь и появляется Асият.

Асият. Ах, это ты! В такое время?

Мадина. Да, я... казанок... мотыгу...

Асият. И еще... Мухтара...

Мадина (*испуганно оглядывается*). Как бы ваш комендант...

Асият. Ладно, не притворяйся. Телка спасается от слепней, ищет укрытие.

Мадина. Где? У Забитхан нету никакой телки.

Асият. Скоро ее двуногая телка станет четырехногой.

Мадина (*сбитая с толку окончательно*). Ничего не понимаю.

Асият. У Мухтара две ноги. И у невесты две.

Мадина. Асият, ты можешь мне сказать: что ты тут делаешь?

Асият. А меня пригласила мать Мухтара. Она говорит, что я ей очень нравлюсь, и предложила ждать Мухтара вместе.

Мадина (*упавшим голосом*). Вместе? Вместе с тобой?

Асият. Да. Мать Мухтара так хочет. И чтобы я и Мухтар...

Мадина. Ладно, я пойду. Видно, мотыгу я забыла в другом месте.

Асият. Значит, ты сюда ходила, как домо́й? Я скажу Мухтару, чтобы он завел собаку.

Мадина. Будь счастлива, Асият. Тебе не придется собак на меня натравливать. *(Уходит.)*

Асият. Почему влюбленные такие глупые? Хотя мне тоже хотелось бы почувствовать себя такой же... *(Бежит за Мадиной, возвращает ее.)* Шуток не понимаешь, дуручка! Аллах да не разлучит вас до конца жизни! Пошли, я сведу вас с Мухтаром. *(Уходят.)*

Появляется Мальчик. Он пытается влезть ни сливовое дерево, но ничего не получается. Тогда он находит у арыка какую-то сучковатую жердь, приставляет ее к дувалу и забирается на ограду, с которой можно дотянуться до ветвей с плодами. Он срывает незрелые сливы и торопливо ест. Подходит комендант. Мальчик спрыгивает на землю и хочет убежать, но, споткнувшись, падает, роняет на песок сливы. Комендант хватает Мальчика, ставит на ноги и цепко держит.

Комендант. Не дрожи, щенок. Говори, ты видел тут нездешних?

Мальчик. Нет.

Комендант. Врешь!

Мальчик. Нет.

Комендант. Я тебя в колонию отправлю, гаденыш, чтоб не лазал по чужим садам.

Мальчик. Не хочу колонию.

Комендант. Ведь ты же вор!

Мальчик. Нет.

Комендант *(отталкивает Мальчика, и Мальчик падает на пыльную дорогу)*. Детеныш волка — тоже будущий волк. *(Озабоченно прохаживается взад-вперед)* Колхозный амбар обчистили. Кто это сделал, если не они? *(Снова трясет Мальчика.)* Говори, щенок, кто залез в амбар?

Мальчик не встает, зажмурил глаза и больше не издает ни звука.

Стоит зазеваться — и пулю получишь в спину. Переселенцы... Бандиты, вот кто они! *(Уходит.)*

Мальчик опасливо поднимает голову, встает на четвереньки, собирает рассыпанные сливы, ест их и плачет. Хочет подняться на ноги, но, видно, закружилась голова — и он снова падает, теряя сознание. Возвращается Кязим.

Кязим. Такая боль в ногах... Хожу по земле, как конь с разбитыми копытами. С поля прогнали меня, даже поздороваться с людьми не дали. Увидел только, как под беспощадным солнцем копошатся мои соплеменники. Вот такой же подневольный труд видел я сорок лет назад в Арабии. И глаза у людей такие же, глаза, потухшие от голода и жажды. Чем же помочь несчастным? Я могу лишь за них молиться. *(Увидев лежащего в пыли Мальчика, подходит к нему.)* Мальчик! Еще один лишенный крова. А может, какая ядовитая гадина его ужалила? *(Мальчик открывает глаза.)* Ай, дите...

Мальчик. Дедушка... Я иду к своей маме...

Кязим. А где твоя мама?

Мальчик. Мама... Она пошла за лепешкой.

Кязим. А-а... Так ведь она уже принесла тебе целых полбуханки хлеба! Вставай, малыш. Бедняжечка ты мой...

Мальчик. Правда? Значит, мама моя нашлась?

Кязим *(догадываясь о беде)*. Нашлась. Конечно, нашлась. *(Помогает Мальчику встать, садится с ним рядом у арыка, приподняв за плечи и слегка прижимая его к себе.)*

Мальчик. Мама болела, давно уже в постели лежала. Она говорила мне, что надо побольше спать, тогда кушать не так сильно хочется и можно быстрее вырасти. Говорила, а сама плакала. А потом я проснулся, а ее в постели не было. Наша соседка Айна сказала: «Не плачь, мама пошла искать тебе лепешку. Как найдет, так сразу же и вернется».

Кязим *(про себя)*. Аллах, за что же ты мстишь обездоленному народу? Ты ведь и так его малым сотворил, в скалах поселил, камня дал больше, чем земли! Но мы этим были довольны, не роптали, не выпрашивали у тебя новых милостей. Но ты отнял у нас и то небольшое, что мы имели... *(Достает из сумы полбуханки хлеба, подаренные ему Мухтаром.)* А вот, малыш, и хлеб, который принесла твоя мама!

Мальчик. Моя мама! Где она?

Кязим. Она принесла хлеб и пошла дальше. Она вернется, а ты постарайся стать настоящим джигитом.

Мальчик *(берет хлеб из рук Кязима)*. Давай хлеб! Это мама принесла. *(Хочет спрятать хлеб за пазухой, но рубашонка у него рваная, ничего не получается.)*

Кязим. Ты съешь пока небольшой кусочек. Не торопись кушать все сразу, а то... мама не вернется.

Мальчик. А остальное тоже мне будет, ты у меня не отберешь?

Кязим *(вытирая глаза платком, в который был завернут хлеб)*. Как я не ослеп до сих пор? Ешь, мальчик! Откусывай понемножку и ешь. Весь этот хлеб — твой.

Мальчик ест.

Мальчик. У меня и братик был.

Кязим. А что с ним?

Мальчик. Он какой-то странный стал, мой братик.

Кязим. Младший?

Мальчик. Ага. Живот у него раздулся, и он ничего не ел. Айна хотела ему дать жармы, а он отвернулся и глаза закрыл.

Кязим. И что же... Что дальше?

Мальчик. Его унесли куда-то. Айна плакала и говорила, что у меня нет больше братика. И мама никак не возвращается.

Кязим. А ты будь настоящим джигитом, терпи. Скоро вырастешь большим и сильным. Телят уже сейчас сможешь пасти.

Мальчик. У нас нету телят. А соседке я на огороде помогаю. И сегодня обещал...

Кязим. Вот и молодец. Иди помоги. А хлеб сразу весь не ешь.

Мальчик. Ладно. *(Уходит, но тут же возвращается.)* Дедушка, ты коменданту не попадайся, хорошо? Он злой. *(Уходит.)*

Кязим в горестном волнении хватается то за голову, то за грудь. Тихо поет зикир.

Язычники, дети степей,

Поклонялись огню.

Чтили воду, как божество.

Но потух огонь и иссякла вода,

И дороги степные ведут неизвестно куда.

Кязим *(идет под дерево за дувалом, ложится на траву.)* Надо здесь подождать, пока не вернется Мухтар.

Темнеет. Слышится топот копыт. Пятно света ложится на лицо спящего Кязима. Топот конницы то приближается, то удаляется. Потом становится тихо. И вот звучит песня о Солтанхамиде.

Он в бою с коня свалился,
Обагрив кровью прах.

Показалось: дождь пролился,
С кровью смешанный, в горах.

Был он с Кировым в сражение,
Смело ринулся в борьбу,
А вернулся к нам в селенье
В позолоченном гробу.

Свет падает теперь и на человека в бурке и белом башлыке, стоящего
возле Кязима.

Солтанхамид. Я, сын Калабековых, Солтанхамид, был чегемцем. Очень любил смотреть в лунную ночь на наш аул с горы Илькарги. В тот день, когда в своей груди остудил пулю, выпущенную в товарища Кирова, мне исполнилось тридцать три года. Чегем был полон скорби, а я, мертвый, полон гордости. Прошло время, и в ауле слышались победные возгласы и веселые песни. Потом пришли вести о большой войне, на которой чегемцы сражаются мужественно, не щадя своих жизней. А как же иначе! Предательство и трусость испокон веков осуждались в горах. Нынче же на кладбище никто не приходит. Не ведаю, где мой народ. Оттого и не спится в могиле. Не разверзлась земля, не опрокинулась скала Капчагай над чегемскими аулами, так куда же исчезли мои сородичи?

Кязим, как-будто в ознобе, пытается сильнее укутаться в свой бешмет, но не отвечает пришельцу.

Когда нет рядом живых, и мертвым нет покоя.

С Кязимом происходит что-то странное, будто он не сам встал, а кто-то поднял его на ноги и тянет за собой по скользящей дороге.

Кязим... Хаджи Кязим...

Кязим *(замедляя шаг.)* Нет ли вестей от моей бедной сестры?

Солтанхамид. Кязим, погоди... Не узнаешь меня?

Кязим. Голос твой мне знаком *(Поглядывает на него.)* Кто ты? Что ищешь?

Солтанхамид *(подходит очень близко к Кязиму, но Кязим пытается не допустить его приближения).* Все еще не узнаешь, хаджи? *(Поет.)*

Ни угрозы, ни злословье
Не сломили смельчака...

Кязим *(вдруг оживляется и поет с ним).*

Конь его, обрызган кровью,
Прискакал без седока...

Солтанхамид. Кязим, Бог щедр, я нашел тебя!
(Хочет обнять земляка, но Кязим все еще сопротивляется.)

Кязим (продолжая отстраняться от него).

Смелого исполнен духа,
Пал в бою Солтанхамид,—
Пусть же будет легче пуха
Та земля, где он лежит.

Солтанхамид (снимает бурку и хочет укрыть ею Кязима). Входи в бурку, Кязим. Там тебе будет тепло.

Кязим (палкой своей отбрасывает бурку от себя). Бедный, ты же погиб тогда? Уходи, я не готов умереть.

Солтанхамид (весело). Я был абреком. А абреку нет смерти, Кязим!

Кязим. Ты был святым мучеником. И погиб как смельчак. Я доволен тобою, но оставь меня.

Солтанхамид. На могилы наши никто не приходит. Мы забыты. Нам вдвойне нелегко.

Кязим. Ну, все мы теперь мухаджиры. Странники. Вы счастливые, вы лежите в своей земле.

Солтанхамид. Кязим, как ты говоришь! Что может быть несчастнее, чем кладбище, оставшееся без людских жилищ рядом? Ты же мудрец, Кязим, вразуми и успокой меня. Мертвые готовы разрыть свои могилы...

Кязим. Были же ученые парни, большевики. Их спроси.

Солтанхамид (обиженно). И их не вижу на земле.

Кязим. Под землей легче найдешь. Тебе они ближе. Оставь меня.

Солтанхамид. Не могу понять, Кязим. Твой голос всегда звучал уверенно, спокойно. Теперь же ты раздражен, растерян. Помнится, ты писал: «Советская власть — Это ствол золотой, Кто враг этой власти — Тот враг моих гор...» Так ты учил нас.

Кязим. И теперь я повторяю это. Это было правильное слово.

Солтанхамид. Как же ты тогда?

Кязим (выйдя из себя). Что ты заладил, Солтанхамид! Как же ты тогда, как же ты тогда...Иди лежи в своей могиле. Что ты ходишь среди живых!

Некоторое время оба напряженно молчат.

Солтанхамид. Кязим, ты знаешь, я не был малодушным. Умирая, просил близких, чтоб не лили из-за меня долгие слезы. Но пришли дни, когда впору и самому плакать. Где мой род? Где аулы в Чегеме? Если увезли живых, почему мертвых тоже не переселяют? Как мне лежать в своей могиле, Кязим?

Кязим (*силясь одолеть волнение*). От горя не знаю, что говорю. Понимаю, не от праздности ходишь, мучая свои мертвые кости.

Солтанхамид. Что за суд такой? Что за насилие? Ты, знающий, что было, что будет, сказавший, что Советская власть — это ствол золотой, скажи, что стряслось на родной земле?

Кязим. Не в Советской власти дело, это знаю. И ты знай, Солтанхамид! Ты отдал жизнь за нее. И вправе спросить меня, почему все это случилось, откуда жива Советская власть? Да, власть Советов — это золотое дерево. Но ведь плодами могут воспользоваться и грабитель, и палач, и пророк. Дерево не всегда может распознать, где праведник, а где злодей. Дело дерева — давать плоды.

Солтанхамид. Кязим, ты не обижайся, но эта твоя проповедь похожа на то, что плохой сон хочешь похорошему истолковать. Что за власть, которая не знает, кто и с каким намерением приходит к ней и лезет на ее высоты?! Лучше уж скажи, что золотое наше дерево попало в руки злоумышленников.

Кязим. Так не может быть, Солтанхамид. Так не должно быть. Но то, что есть какой-то великий обман, это... правда.

Солтанхамид. Тогда какая же это власть народа? Если обманщик какой-то или даже стая злоумышленников могут целые народы ошельмовать и обездолить? Если другие большие народы, глядя на все это, терпят? Такова разве была цель революции?

Кязим. Говоришь, народ...

Солтанхамид. Я говорю о больших народах.

Кязим. Вот и моя боль в этом. Чего не ведаю, о том не говорю. Колдовство какое-то. Кто-то напоил народы каким-то бражным зельем, травой усыпляющей и лишил их способности видеть, слышать, рассуждать здраво. Если не так, то почему, когда арестовывали и уничтожали таких сынов народа, которые составляли его гордость и честь, все молчали? И ты сам, Солтанхамид... Пока насилие не обожгло твою собственную печень, ты спокойно лежал в своей могиле. Или же думал, если что совершается вдали от

твоей земли, не может достичь твоего кладбища? Или же там, где попирается честь одного человека, там не может пострадать честь народа? Или же рука, которая поднимается на честь и достоинство одного человека, может удержаться от соблазна погубить целый народ? Ты в восемнадцатом году прикрыл собою посла народов Кавказа Кирова... Это был поступок горца, джигита. Но ведь и его потом убили! Скажешь, и тут Советская власть виновата? Мы, наверное, поспешили объявить о своей решительной победе. Так бывает в горах, когда бушуют паводки. Дождь перестал, а потоки долго еще грохочут, переворачивая и передвигая камни. *(Подумав.)* И теперь... Если хочешь чтобы твой народ выжил и, дождавшись суда над насилием, снова наладил свою жизнь, не враждуй с Советской властью, а защищай ее, как прежде. Не меньшая опасность над нею нависла, если ее именем народы уничтожаются.

Солтанхамид. Как всегда, далеко смотришь, Кязим. Это я вижу. Но все сомневаюсь. Власть, которая однажды поддалась, покорила воле злоумышленников, может ли она вернуть доверие к себе? Быть той властью, которая нужна живым. Мертвым-то все равно теперь...

Кязим. Отчего же не лежишь, если все равно? Никому не все равно. Ни живым, ни мертвым. Так что внемли словам, как прежде.

Солтанхамид. Не знаю. Я в глубоком сомнении. *(Уходит.)*

Кязим *(словно сквозь сон)*. Вернет она свою славу. Обязательно вернет. Теперь же... не те семена в ее пахню бросают. Никак не выходит из головы старинное стихотворение. Свободу обрели рабы. И в лес пошли, чтоб жертвенный огонь возжечь. Большое пламя развели и... лес они сожгли. Астофируллах... И лес они сожгли... *(Вздрагивает.)* Что я болтаю! Аллах, зря ли я поверил в свет справедливости? Вся жизнь моя из одних сомнений и заблуждений. *(Идет в сторону свекловичных полей.)* Бедная Забитхан, не сразу узнала меня. Люди боятся оторваться от работы даже для того, чтобы поздороваться с человеком.

На дороге появляется Мисирхан. Увидев Кязима, стоящего в пустой сумой на боку, она принимает его за нищего. Она уже не помнит, что давеча его видела.

Мисирхан. Бог свидетель, ничего у меня нет. Я бы дала тебе что-нибудь, бедный человек. Но ты не стой здесь. Здесь тебе никто не поможет. Иди в другие аулы.

Таща тележку, на которой лежит надорвавшаяся Забитхан, бредут Шабданбай и Айна. За ними, толкая тележку сзади, идут Асият и слепой Жантуган.

Шабданбай. Ассалам алейкум, старый человек. Кязим. Алейкум салам. Ай, горемычная Забитхан! Не вынесла...

Асият. Как только ты ушел, Мухтара тоже погна-ли. И она... Свалилась на грядки. Надорвалась.

Шабданбай (Кязиму). Работа и недоедание докона-ли женщину.

Асият. Забитхан, открой глаза. Вот Кязим. Открой глаза. Ты же именем Кязима клялась... Погляди, он тут.

Забитхан (не разбирая слова Асият). Воды! Капель-ку воды...

Кязим. Бедная! Сейчас бы тебе глоток из холамской Карасу.

Айна (мужу). Поторапливайся. Что будем делать, ес-ли вдруг умрет на улице?

Асият (из арыка зачерпывает в пригоршню воду и подает Забитхан). Не успела нарадоваться приезду Мухта-ра. Открой глаза, Забитхан.

Айна. Надо найти лекаря. Тяжелая, надо поспешить.

Асият. Я разыщу Мухтара и пошлю его за докто-ром. (Убегает).

Шабданбай (Кязиму). Останься у нас, старый че-ловек.

Кязим. Благодарю. Но сюда должен вернуться маль-чик.

Шабданбай и Айна продолжают путь, таща тележку. Жантуган задер-живается.

Жантуган. Из балкарских братьев?

Кязим. Да, балкарец я.

Жантуган. Назови имя, бедный странник.

Кязим. Имя мое Кязим. Кязим из рода Мечиевых.

Жантуган. Боже праведный! Да ты Кязим-хаджи и есть?!

Кязим. Да, совершил хадж, слава аллаху.

Жантуган. Хаджи Кязим! Кто поверит, что слепой певец Карачая Жантуган выйдет из песчаной степи прямо на Кязима! У проклятого выселения есть и хорошая сто-рона.

Кязим. Лучше бы не видеть нам эту хорошую сто-рону.

Жантуган. Хаджи Кязим! Точно глаза мои свет увидели! Бог дал тебя Карачаю и Балкарии в награду за их малочисленность! Верный голос обоих народов! (*Вдруг разволновался.*) Какой день для бедных наших сословий наступил. Кязим!

Кязим. Крепись, певец! Певцу не подобает малодушным быть.

Жантуган. Кому плакать, если не нам! Ты хромой, я слепой! Нет никого, кто бы поддержал и вел наши народы в этот час.

Кязим. Тех, кто мог вести наши народы, уже нет с нами. (*Горестная пауза.*) Но... если будет народ, то найдутся и ведущие. У меня есть достойный ученик. Кашу¹. Я молюсь за него и жду.

Жантуган (*вытирая глаза*). Не стыди, хаджи.

Кязим. Аллах да пусть не стыдит. Много песен твоих слышал, Жантуган. Народ, который имеет таких певцов, не может сгинуть. Не будь малодушным, карачаевец! Только на эжиу² приглашай молодых людей.

Жантуган. Песни мои тяжелые... А молодых беречь надо. Я не боюсь, что могут отнять у слепого? Не могут же сделать мои глаза снова незрячими.

Кязим. Я родился от матери... вместе с палкой. Думал, и ты...

Жантуган. Нет, белого света я лишился в тридцать восьмом.

Кязим. В тридцать восьмом? Как же?

Жантуган. Ты ли об этом спрашиваешь, Кязим? (*Помолчав, читает наизусть.*)

Батыр, воскликнувший первым:

«Живи, Советская власть!» —

Сам с жизнью расстался

У нас на глазах.

Лучшие люди объявлены

Врагами заклятыми.

Кто же в борьбу вступил

С ленинскими заветами?!

Ликующий гул барабанов

Звучал в честь джигитов-горцев,

¹ Кашу — имеется в виду Кайсын Кулиев.

² Эжиу — сопровождение песни, припев.

Тех, что теперь исчезают,
Как на рассвете звезды.

Ты знаешь, бедный Кязим.
Как свет мешается с мраком,
Как ночь наступает в душе,
В запекшейся крови обуглено сердце.

Правдолюбец несчастный,
Ты воешь в тоске одиноко.
Ты знаешь, Кязим, кровавая
Мечь ищет пути и к тебе.

Вот что я запомнил из твоего стихотворения. Помнится, переписывали его, передавали из рук в руки, словно души свои передавали. Спасибо, Кязим, за верные и правдивые слова. Так было.

Кязим. И сегодня не могу понять, что за время было такое. Как будто народы были заговорены какой-то кривой молитвой. Они славили бога все иступленней, а бог не переставал их карать.

Жантуган. Просыпались, не зная, какой тамгой¹ заклеят, вернемся ли в свой дом. Я сидел в темной одиночке три с половиной месяца. А когда открылись двери темницы, солнце ударило в глаза и навсегда лишило своего света, обвинили меня, будто пел против колхозов. В те годы, что сам человек не знал про себя, о нем знало гепеу. Ладно, Кязим, и без того горестей много, зачем бередить рану. Пошли к нам, если не боишься, что у слепого Жантугана ничего нет. Постелим солому, отдохнем...

Кязим. Благодарю. Мальчику обещал подождать здесь. Он скоро вернется. Да и Забитхан... Она моя близкая. Надо быть рядом с нею.

Жантуган. Тогда не стыди, пойду. Дома дети, что-то надо добыть, хотя бы траву какую.

Кязим. Иди, земляк.

Жантуган уходит.

Удастся ли мне соединить Мальчика и обездоленную женщину? Добрым бы делом было — обезумевшую от горя мать спасти, да Мальчика осиротевшего пристроить.

Снова появляется босая Мисирхан. Сейчас у нее в руках пара самодельных детских лыж — сарже. Она подходит к арыку, ставит сарже и садится. Рвет траву, ест. Кязим уходит в тень, наблюдает.

¹ Тамга — знак, тавро.

Мисирхан. Погляди, Ахматик, на свои сарже. Ты думал, они потерялись? Нет, глупенький, я их сберегла. Да и как не сберечь! Это единственное, что ты захватил из отцовского дома. Как только вернешься домой, будешь кататься. Кататься? *(Вскакивает.)* Вон с того склона — и вниз. Только и слышно будет, как полозья шумят. Зуу! Зуу-у-у! Бог даст, я отсюда смотреть буду. *(Вспомнив.)* Нет снега! Как же кататься? Ладно, Ахматик, до снега три месяца осталось, не огорчайся. А пока будем с тобой ходить в школу. Когда будешь сидеть на уроках, я буду в окно заглядывать, хорошо, жеребенок мой? *(Обнаруживает в арыке небольшое бревно, вылавливает его из воды, ставит к дуvalu стоймя, внимательно разглядывает.)* Как ты похож на Ахмата! *(Обнимает бревно.)* Какое теплое твое личико! Как в день рождения...

Появляется Нищий.

Нищий. Во имя бога... За прощение в преисподней... Кязим *(выходит из тени)*. Что может нищий выпросить у нищего! О, жизнь...

Нищий. Во имя аллаха... За всепрощение...

Кязим. Откуда ты, бедный человек?

Нищий. Я кавказский турок. Теперь я нищий... Виноградники у меня были. Теперь я нищий.

Кязим. Что делать. И цари становились нищими.

Нищий. Голодный я. Бог не дает, у людей нету.

Кязим *(ищет в карманах)*. Где-то был, кажется, рубль. Может, продадут тебе ломтик хлеба или кружку похлебки. На, бери, божий человек.

Нищий *(берет рубль)*. Аллах пусть поможет и тебе. *(Собирается уходить.)*

Мисирхан *(до сих пор стоявшая поодаль, удивленно глядя на нищего, теперь как-то неестественно подалась вперед)*. Возьми меня с собой! Веди и меня, ты, нищий, знающий дороги! Научи и меня собирать милостыню.

Нищий *(отталкивает Мисирхан)*. Исчезни, дочь сатаны! *(Быстро уходит.)*

Кязим *(удерживая Мисирхан)*. погоди, дочка. погоди. успокойся.

Мисирхан. Он горец?

Кязим. Нет, доченька, не горец.

Мисирхан. Он же по-балкарски говорит?

Кязим. Он турок. Мы все турки, говорим на одном наречии. И здесь люди говорят по-нашему. Все мы из одного

племени, из одного корня и одной веры. Дети этой несчастной земли.

Мисирхан (*подумав, нерешительно*). И мне говорят: «Повесь суму на плечо и иди по аулам».

Кязим. Нет, доченька. Женщине нельзя собирать милостыню.

Мисирхан. Почему тогда говорят?

Кязим. От безысходности. Если же возьмешь суму и пойдешь по дорогам — задержат. Подожди. Добро всегда идет навстречу терпению. (*После паузы.*) Твой сыночек вернется... Но он...

Мисирхан (*насторожившись*). Что он?

Кязим. Он очень изменился за это время. Может, и не сразу его узнаешь.

Мисирхан. Ой, дедушка... пусть он изменился совсем. Иногда во сне так и вижу... очень изменившимся. Иногда и похож на отца. Встанет предо мной, как Мажир... А другой раз точь-в-точь киргизчонок.

Кязим (*желая отвлечь*). Трава выросла. Плоды созревают. А милостыню собирать не ходи.

Слышится гудок паровоза. Мисирхан быстро подхватывает сарже, прячет бревно.

Мисирхан. Погоди, Ахмат, я уже бегу. Если и с этим поездом ты не приедешь... Я спрячу твои сарже так, что год их будешь искать. (*Убегает.*)

Кязим. Пойдет на железную дорогу, побежит к поезду. И будет у каждого вагона искать сына. Будет она кричать: «Ахмат, Ахмат!» И все люди ее поймут и оттого, что не в силах помочь, будут стыдливо опускать голову перед нею. А она пойдет вслед за ушедшим поездом... После этого, говорят, долго не возвращается. Ай, чтоб земля разверзлась перед людскими бедами! Как помочь, как сделать так, чтобы бедный Мальчик и бедная женщина приняли друг друга? Помоги, боже! Одной опора нужна, тепло родной души, другому — материнская ласка, забота. Может, и получится, ведь законы тяжких времен иные, чем законы благополучных лет...

Возвращается Мальчик.

Долго ты пробыл у Айны. Помог ей?

Мальчик. Да, дедушка. Отдал и половину своего хлеба.

Кязим. Ты настоящий мужчина. Как тебя зовут?
Мальчик. Меня зовут Жашчык. Так и называли — Жашчык.

Кязим. Жашчык... А что, если я назову тебя иначе...
Мальчик. Как?

Кязим. Ну, скажем, Ахмат. Очень мужское, достойное имя. У тебя будет новая жизнь и новое имя. Все должно изменяться...

Мальчик. Почему?

Кязим. Знаешь ли ты, дитя... Если женщина долго ищет хлеба, она очень сильно меняется. И имя ее меняется, и лицо. А как это будет выглядеть, если твоя мама изменится, а ты нет?

Мальчик. Не знаю.

Кязим. А как ты зовешь мать?

Мальчик. Мою маму?

Кязим. Ну, да, свою маму?

Мальчик. Келин. Когда мы жили все вместе, то бабушка, и дедушка, и все в доме называли ее Келин. И мы с братиком тоже.

Кязим. Жашчык... или Ахмат, ты помнишь свои сарже?

Мальчик. Какие сарже?

Кязим. Ну разве ты не катался с горки на сарже?

Мальчик. На Кавказе, что ли? Катался. Хорошие у меня были сарже.

Кязим. Я видел их.

Мальчик *(хватается за ворот кязимовского бешмента)*. Где?

Кязим. В руках у твоей матери.

Мальчик. Неправда. Мои сарже остались на чердаке.

Кязим. А теперь они здесь. Мать твоя поехала и привезла их.

Мальчик. И Келин очень изменилась?

Кязим. Сказал же. Ходила в поисках хлеба и изменилась. Теперь боится возвращаться домой, а вдруг, говорит, мой сыночек Ахмат меня не узнает. Вот какие дела.

Мальчик. Так и сказала — Ахмат?

Кязим. Я забыл тебе сказать. Мать с самого начала тебя так и называла. Это дедушка с бабушкой звали тебя так ласково — Жашчык.

Мальчик. Почему ты не сказал моей маме, что я не буду плакать! После того как умерла бабушка, а потом

дедушка, все другие умерли в доме, она все время ходила в черном платке.

Кязим. И теперь... И теперь она ходит в черном платке.

Мальчик. Дедушка... дедушка... ты...

Возвращается Асият.

Асият. Хорошее лекарство нашли. И доктор скоро придет.

Кязим. Иди, сыночек, собери нам на том берегу щавеля.

Мальчик уходит.

Доченька, я хочу тебя просить об одном.

Асият. О чем?

Кязим. Мне необходимо одно дело, богу угодное, совершить. И ты будь мне помощницей. Подтверждай все, что я буду говорить при Мальчике.

Асият. Хорошо, Кязим.

Мальчик *(возвращается с пучком щавеля)*. Вот, дедушка.

Кязим. Давай съедим его. Бери и сам. *(Ест.)*

Мальчик. Много не ешь, дедушка. От травы живот набухает.

Кязим. Правда?

Мальчик. Сначала вроде хорошо, только потом в животе все время урчит.

Кязим. Асият, говорят, мать этого мальчика побывала на Кавказе и вернулась. Правда ли?

Асият. Да. А что?

Кязим. Я видел в ее руках такие сарже... Даже мне захотелось кататься на них.

Асият. И я видела. Такие красивые.

Кязим. Она поехала и привезла их, потому что очень любит своего сыночка, Ахмата.

Асият. Ахмата?!

Кязим. Да, Ахмата! Это дедушка с бабушкой звали мальчика Жашчык, а мать звала Ахмат. Его настоящее имя Ахмат. Да, Асият... Правда ли, что здешний комендант заставляет людей менять свои имена?

Асият. Правда. И меня заставляет. Только не знаю еще, какое имя выбрать.

М а л ь ч и к . Назови себя Халимат. Когда вырасту, я женюсь на девушке, у которой имя Халимат.

К я з и м . Ахматик, сыночек мой, я живу давно, я про-роков видел.

М а л ь ч и к . А это кто, пророки?

К я з и м . Это умные и добрые люди. Они мне сказали: в беде люди меняются. Матери и дети. И ты очень изменил-ся. Каким ты был, когда нас везли сюда, теперь уже и не вспомнить.

М а л ь ч и к . Как назовут теперь мою маму...

Кязим и Асият переглядываются.

А с и я т . Твою маму назвали...

К я з и м (*перебивая ее*). Очень сильно тут заболела ба-бушка одна, Забитхан. Моя родственница. Так что пойдем, полечим ее.

Асият, Кязим и Мальчик входят в дом. Появляется Мухтар. По-тому, как закатаны его штаны, а сапоги он держит под мышкой, вид-но, что он только что перешел реку вброд. Мухтар садится, начинает неловко, одной рукой накручивать портянки, с таким же трудом на-девает сапоги.

М у х т а р . Бедная мама. Надежда только и держала ее, держала до тех пор, пока один из сыновей не вернулся. Все вытерпела, все вынесла. А как только увидела меня, все оборвалось. Знает, что дни ее сочтены, и потому застав-ляет меня жениться, пока жива. Что же делать? Нет ни уг-ла своего, ни земли своей, и рука подвешена к шее. Куда я приведу Мадину? Но мать говорит: «Та, которая собира-ется с тобою жить, не станет спрашивать о твоём благосо-стоянии...» Легко сказать! Но ведь она не о себе беспокоит-ся. Хочет увидеть сына, начавшего новую жизнь. (*Опускает с перевязи руку, пробует ею двигать.*) Когда же ты, прокля-тая, работать начнешь! Ой, ой, мать моя! (*Снова подвешива-ет руку.*) А какая Асият умница! До чего все быстро устроила.

Асият показывается из дверей дома.

А с и я т . Ну, что с доктором?

М у х т а р . Должен быть с минуты на минуту. Шура за-ним поехала на мотоцикле вместе с директором школы. Хо-рошая у тебя подруга.

Асият. Да, это прекрасный человек. И учитель из нее будет замечательный. Ничего не боится. Кстати, она дружит с Мадиной.

Мухтар. Скоро и я вернусь в школу. Будем работать вместе с Шурой.

Асият. Зайди в дом, Мухтар. Мать уже давно зовет тебя. *(Пропустив Мухтара в дом, Асият закрывает двери за собой.)*

Входит Мадина с чарыками в руках. Видно, что она тоже перешла речку вброд.

Мадина. Надо же! Поделила речка свои берега между двумя республиками! Решай теперь свои проблемы с комендантами из Казахстана и Киргизии. Но ведь не будут же в самом деле арестовывать девушку только за то, что вышла замуж на другом берегу реки? А Мухтар до того воинственно настроен... Говорит, Сталину буду писать, как будто у Сталина других дел нету, кроме как читать Мухтаровы письма. Я уверена, что вождю даже не сообщили о нашем выселении. Я считаю, это дело рук шпионов Гитлера. Вон, Абдрахмана Солтанова арестовали. И только за то, что написал товарищу Сталину. Эти сволочи, конечно, боятся, вдруг он обо всем узнает. Воин, орденоседец. Арестовали, и все. Как будто мало было того, что выселили из родных мест. Не посмотрели ни на какие заслуги. Если Мухтар не будет вести себя осмотрительно, и с ним поступят так же. А он хоть бы слушал меня. Напишу и напишу. *(Оглядывается. Вспомнила, что босая, что полы платья подобраны к поясу.)* Ой, мой позорный день! *(Опускает полы, надевает чарыки. Приводит себя в порядок.)* Нет, конечно, хотя и горячится, писать он не станет. Должен ведь понимать, что никакого толку от этого не будет!

В дверях появляется Мухтар. Мадина прячется за дувалом.

Мухтар. Еще не пришла. И доктора нет. *(Печальный, гадится на травку.)*

Мадина подходит сзади. Хочет руками закрыть его глаза, но, постеснявшись, отходит чуть назад.

Мадина. Как мать?

Мухтар. Плохи наши дела, Мадина.

Мадина. Не падай так духом, Мухтар Жунусович! Поболее и встанет.

Мухтар. Она уже никого не узнает.

Мадина. Я принесла ей медвежье сало. Дала хозяйка дома, где мы живем. Такая добрая киргизка. Очень, говорит, помогает.

Мухтар. Спасибо, Мадина. Но теперь... Она уже завещание сделала. И Кязим очень кстати приехал. Она и сказала в минуту облегчения: «Я умираю, а ты, хаджи, помолишься за меня. Еще, — говорит, — у меня остаются обездоленные мои внуки, сироты. Им необходима женская забота. И Мухтару тоже — чтоб он скорее оправился от ран войны. Так вот, пусть мои десять пальцев станут десятью тобою обиженными людьми в судный день, если не поженить Мухтара в сию же минуту. В сундуке у меня есть два хороших платка. Один отдашь той, кто умоет меня, второй пусть повяжут снохе моей».

Мадина. Ой, мой день!

Мухтар. Такие вот дела.

Мадина. Это невозможно.

Мухтар. Почему? Ты... ты...

Мадина. Комендант не разрешит.

Мухтар *(вскакивает)*. Если он нам помешает, я его убью! Хуже, чем есть, не будет.

Мадина. погоди Мухтар. Садись. *(Взяв за руку, усаживает его на травку.)* Ты так похудел, Мухтар. Как тебя ноги держат...

Мухтар. Завещание матери... И Кязим требует поспешить.

Мадина. Что я могу сказать? Так я мечтала о настоящей свадьбе! Когда в нашем селе девушки выходили замуж, я ходила на их праздники... все смотрела. Думала, и у меня будет веселый и щедрый той. А когда ты ушел на войну, все ждала, когда ты вернешься героем, с орденами на груди, и мы сыграем такую свадьбу... Теперь... Как же теперь будут выходить замуж наши девушки? Ни игры на гармошке, ни свадебных песен, ни веселых танцев...

Мухтар *(не зная, что сказать, в отчаянии бьет кулаком о дувал)*. А-а-а-ай!

Мадина *(подходит к нему)*. Ладно, Мухтар. Не в свадьбе дело. Мать бы выздоровела, а остальное — мелочь.

Мухтар. Кязим просил, чтобы я договорился с тобой, то есть, ну... с невестой, в смысле...

Мадина. Так быстро! Странно все это. Необычно. Когда народ в таком отчаянии, вроде бы и совестно такое дело затевать.

Мухтар. Когда я лежал в госпитале, боялся не смер-

ти, а что умру, не увидев тебя. Мой брат погиб на войне. Пятеро его детей остаются мне в наследство. Мать чудом уберегла их от голода, от болезней. И я, как видишь, не тот крылатый парень, какого ты знала. Война смяла мои крылья. И не могу я обещать, что вскоре устрою тебе вольготную, беспечную жизнь. Да ты и не поверила бы такому обещанию. Перед тобою только лишь одна моя правота — моя любовь к тебе. Если выйдешь за меня, то выйдешь только за эту мою правоту. Если ты не расплескала прежнее чувство. Ты помнишь ту нашу встречу? Я готовился уходить на фронт...

Мади́на. Да. Я сказала: «Любую беду примем вместе...»

Мухта́р. Настал такой час, когда надо решать: или — или.

Мади́на. Прямо сегодня?

Мухта́р. Кязим сказал, не такое нынче время, чтобы засылать сватов и договариваться. Надо спешить.

Мади́на. А комендант?

Мухта́р *(вспыхнув)*. Опять комендант! Что он, и над судьбой нашей поставлен?

Мади́на. Не забудь, я живу в Киргизии!

Мухта́р. Велико расстояние, другой берег реки!

Мади́на. Я за себя не боюсь, но если с тобой что-нибудь случится — я не переживу.

Мухта́р. Девушкам ведь разрешают и за иностранцев выходить.

Мади́на. Мы не иностранцы, мы выселенцы. Враги! *(Плачет.)* И у меня гектар свеклы...

Мухта́р. Будем вместе работать. Недалеко ведь. Я и ночью могу поливать и твой, и материнский участки... Без тебя мне трудно, Мади́на. Без тебя и с войны бы не вернулся живым. И теперь, в этот тяжкий час... будь же рядом, единственная! *Слышишь...* *(Неожиданно прижимает ее к груди, жадно целует.)* Ты возвращайся домой. Готовься. Матери скажи. Я же... Шабданбай пошел телегу просить. Кязим знает, как все делается... С тобой вместе пусть будет Шура. Все не так мрачно, Мади́на, не плачь! Будем верить.

Мади́на. Как странен этот мир. Еще вчера я глядела на дорогу, не зная, вернешься ты живым или нет. А сегодня... *(Прижимается к груди Мухтара.)* Солнце, кажется, слишком ярко меня освещает. Я боюсь.

Слышится шум мотоциклетного мотора.

Едут. Доктора везут. Хоть бы он помог твоей маме.
Мухтар. Пошли, я переведу тебя через реку. У нас очень мало времени.

Конец первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На узкой железной кровати, поставленной вдоль стены во дворе, лежит Забитхан. Перед нею на низких табуретках сидят Кязим и Жантуган. Айна, занимаясь стряпней, появляется и исчезает. Шабданбай, также в заботах о свадьбе, приходит и уходит. Рассветный час. К стене прислонен костыль Шабданбая.

Кязим. Сами еле перебиваются, а бедным переселенцам помогают. Такие люди. Вот мы свадьбу затеяли, так они... Шабданбай и барашка добыл откуда-то. И телегу достал с лошадьми.

Жантуган. Истинный человек останется человеком всегда. Наше счастье, что мы сюда попали.

Забитхан (*приподняв голову*). Поглядели бы на дорогу, не идут ли? Голос беды мне слышится.

Айна. Не видно никого.

Забитхан. Чтобы душа моя высохла, хотела как лучше, да к худшему привела. На погибель сыну, спасшемуся от большого пожара, дело это затеяла.

Кязим. Успокойся, горемычная, лежи. Не так быстро все решается. Когда девушку умыкают, возникают тысячи сложностей.

Жантуган. Всякое может быть: дело непростое.

Кязим. Не так рано они уехали, что начинать беспокоиться. Телега колхозная никак не освобождалась, да и потом не все пошло по гладкой дороге.

Слышен скрип колес.

Жантуган. Суровый вожак у здешнего колхоза. Рассказывают, раньше его никто в селе не встает. А потом он взбирается на крышу конторы и оттуда следит, как люди идут в поле, подгоняет их криком.

Кязим. Много лет вожаки только криком и делают дела.

Прибегает Мальчик.

Мальчик. Дедушка, тебя кто-то спрашивает.

Жантуган. Хаджи, чую, кто-то умер.

Мальчик. Он приехал издалека. Он солдат.

Кязим. Так зови его сюда, что стоишь. *(Мальчик убе-
гает.)*

Забитхан. Что он сказал? Радостную весть?

Жантуган. Да, Забитхан, он пришел с радостной
вестью. Говорит, уже перешли реку.

Забитхан. Дайте мальчику что-нибудь за радост-
ную весть. *(Ищет под подушкой.)* Был припасен для этого
белый башлык... Приберегла для вестника о возвращении
Мухтара. *(Ничего не находит.)*

Айна *(выходя из комнаты, протирает губы Забитхан
краем полотенца, поправляет ее постель.)* Бедняжка, поза-
была, что давно уже поменяла башлык на хлеб. *(Уходит.)*

Забитхан. Ладно, наверное, в сундуке остался. Ког-
да невестка освоится в доме, разыщет и подарит.

Входит Мальчик, за ним Кашу.

Кашу. Салам алейкум, мир дому вашему.

Кязим. Алейкум салам! И пришедшему мир. *(Вста-
ют с места и Кязим, и Жантуган.)* Никак не признаю, джи-
гит.

Кашу *(обнимает Кязима).* Кязим! Нашел тебя жи-
вым-невредимым! Слава аллаху милосердному, нашел жи-
вым. Как я боялся, что не увижу тебя больше. Теперь я
счастлив! Снова увидел тебя и твою улыбку!

Кязим. Да неужели предо мной Кашу?!

Кашу. Тот, кто забудет тебя, тот и род свой позабу-
дет. Позабудет имя своего аула! Садись, Кязим. *(Очень бе-
режно усаживает его на место. Здоровается с Жантуганом.)*
Не обессудьте: Кязим — мой учитель. Не видел его с тех
пор, как началась война.

Жантуган. Кязим всем нам учитель. *(Садится.)*

Кашу. Как житье-бытье, Кязим? Жива ли Канитат,
супруга ваша? Сыновья? Дочери?

Кязим. Живые живы, джигит, а мертвых похорони-
ли. И мы пережили то, что переживают другие народы.
(Жантугану.) Гость наш — талантливый стихотворец. Меня
перегонит.

Кашу. Кязим, ты останешься для всех нас недости-
жимой вершиной! Идти, стремясь к этой вершине, — вот
наша счастливая доля. *(Вдруг потускнел, опустил голову.)*

Но теперь... Теперь отрезали наш язык, зашили наши уста.
Во салам, во калам¹!

Кязим. Не одобряю, джигит, эти твои слова. Огорчил ты меня ненароком. Если так будет говорить стихотворец, то что останется другим людям? Как быть народу? Вот этот мальчик.. Нельзя так говорить, покуда один-единственный мальчик будет жив. Те, кто отрезал наш язык, сами останутся с отрезанными, те, кто загнал народы, сами будут загнанными. Нет смерти верным словам, как нет смерти народной правоте. Ты, Кашу, не поддавайся малодушию. Помню, горяч был. Увы, сегодня не горячность, а терпение необходимо. Ты к терпению призывай, от Бога терпенье проси!

Кашу. Кязим, ведь и ты сочинял песню усатому. Я тоже постарался не отстать. Теперь, как об этом вспомню, глаза кровью наливаются.

Кязим. Песнетворцы во все времена, я думаю, одинаковы. Они воспринимают надежду как правду.

Кашу. А ему не стихи следовало посвящать, а проклятья!

Жантуган (*испуганно оглядываясь вокруг*). Погоди, друг. Будь осторожен. Пока усатый на своем месте. Даже чий, продуваемый ветром в степи, кажется мне его ушами.

Кашу. Что нам теперь терять? Нет ничего такого у нас, с чем было бы жаль расстаться. В той стране, где, как последних уголовников, изгоняют народных поэтов, терять уже нечего. (*В гневе достает партбилет из кармана*.) Имея такую книжицу в кармане... я... Если и этот документ ныне ни во что не ставится...

Кязим (*живо, как-то молодо вскочил*). Не ведаешь, что творишь, Кашу! Положи документ в карман! Ишь ты! Один он пострадал в мире! Положи книжечку в карман, успокойся.

Жантуган. Еще в поезде, когда ехали сюда, Кязим написал... Все тут у нас теперь знают эти слова:

Когда отрезан к дому путь и дом разрушен,
Не ненависть зови в союзники свои.
Зови терпенье, веру, силу,
Чтоб испытание с честью перенести.

Кашу (*пристыженный*). Не судите, боль моя тяжела.
(*Прячет партбилет в карман*.)

¹ Во салам, во калам — конец, завершение.

Кязим. Ну какие из нас судьи!

Жантуган. Я и свет в глазах потерял. Пятеро моих братьев сложили головы на войне. Здесь похоронил отца и мать... И то я не говорю, что мне нечего терять. Человек и в день последний не теряет надежду. И не должен терять. А вообще горе должно нас еще крепче сплотить, сделать выносливее и человечнее.

Забитхан. Не видны ли они на дороге?

Кязим. Иди-ка, Ахмат, погляди.

Мальчик бежит посмотреть на дорогу.

Кашу. Вижу, какие-то приготовления у вас?

Жантуган. Свадьба! Парня женим. Повезло фронтовику.

Шабданбай (*появляется из-за дома, приветствует Кашу. Обращаясь к Кязиму.*) Барашка пригнал. Зарезать?

Кязим. Да, время, скоро должны прибыть.

Мальчик (*прибегает*). Едут.

Кашу (*посмотрев на дорогу*). Ну и джигиты! На уши коней флажки повесили, как в лучшие времена в горах. Можно подумать, что на Кавказе мы.

Забитхан (*пытается приподняться*). Говорите, на Кавказе? Кязим, я шум дождя слышу. Это в наших горах дождь идет?

Кязим. Да, в Холамском Карасу идет дождь. Лежи, бедная, успокойся. Сбылась твоя мечта.

Слышится скрип колес, ржание лошадей. Тут же звучит орайда — свадебная песня. Кязим, Жантуган, Айна, Шабданбай встают. Кашу идет навстречу молодым. Мальчик выбегает на дорогу.

Забитхан. Айна, доченька, подними меня. Хочу посмотреть, как выглядит моя невестка. (*Айна приподнимает Забитхан.*)

Участники свадебного шествия заполняют двор. На ногах у Мадины самодельные чувяки, но голова покрыта старинной дорогой белой шалью. Рядом с нею идет Шура — золотоволосая русская девушка. Мальчик входит вместе с ними и восторженно глядит на всех.

Кязим. Добро пожаловать, добрые гости! Пусть радости будет ваш приход. Хотя в тяжкий день соединяете души свои, пусть ваша женитьба станет началом лучшей, справедливой жизни. Пусть глаза врага не зарятся, глаза друзей не осуждают.

Шура. Здравствуйте! Мир дому вашему! Принимайте невестку.

Кашу (*Кязиму.*) Русская девушка приветствует дом, желает добра.

Кязим. Пусть и она будет счастливой, (*Айне.*) Будь, доченька, хозяйкюй дома. Принимай гостей.

Шабданбай (*подходит к Забитхан.*) Поздравляю с невесткой. Пусть вместе со счастьем она войдет в твой дом.

Забитхан. Спасибо, светлая душа. Пусть если не от меня, то от Аллаха вернется к тебе твое добро.

Кязим (*подойдя к постели Забитхан.*) Подведите сюда невестку. Не такое время, чтобы долго ее прятали да соблюдали обычай.

Мадину подводят к Забитхан. Забитхан при помощи Айны приподнимается выше и обнимает ее.

Забитхан. Я довольна. За всех за нас Аллах пусть тебя одарит счастьем. Будь домовитой, везучей. Не обижай сирот. (*Ослабеваает и ложится снова.*)

Кязим. Теперь ведите в дом.

Мадину уводят.

Забитхан (*Кязиму.*) Тебя послал ко мне Бог. Умру — ты свершишь по мне жаназы¹. Я спокойна. Но не покидай молодых, пока не закончится все как положено. Твой пропавший родственник очень любил веселье. Так ты вели им, чтобы сыграли той повеселее. И не останавливай праздник, если я даже умру.

Кязим (*обращаясь к Жантугану.*) Жантуган, хотя глаза твои и не видят, но певец всегда останется певцом и душой праздника. Возьми в руки торжество и сделай так, чтобы бедная моя родственница позабыла о болезни и бедах. Вот и Асият тоскует по игре на своей гармошке.

Жантуган. Хорошо, Кязим. Мы сходим за Асият. (*Берет за руку Мальчика и уходит.*)

Кязим остается у постели Забитхан. Опасливо озираясь, входит Мисирхан.

Мисирхан. Какие-то люди сюда пришли... Дедушка, не было ли с ними мальчика... Ну, такой белолицый,

¹ Жаназы — ритуальная посмертная молитва.

красивый мальчик. Похожий на летающую птицу. Мне сказали, что он сошел с поезда. Никак не могу понять, куда он мог запропасться?

К я з и м. Подходи сюда, Мисирхан, будь нашей гостьей. Входи в дом. Там молодые люди, свадьба.

М и с и р х а н. Если я мальчика не найду, то... кто снимет шаль невестке? *(Уходит на обочину, кричит.)* Ахмат! Ой, Ахма-а-ат! Дурачок, ты что, забыл, где твой дом? Заблудился, находясь рядом. Ты сюда иди, в этот дом. Здесь невестка. Шаль ее надо снять. Вот я и приготовила для тебя палочку, которой ты снимешь белую шаль невестки. Видишь, палочка какая, на тебя самого похожа. Такая же ровная, легкая.

К я з и м *(идет к ней.)* Доченька! Мальчик твой... здесь. Но я все боюсь, что ты вдруг не узнаешь его.

М и с и р х а н. Оу! Как это я могу не узнать Ахмата!

К я з и м. Если б ты помнила его, не стала бы сравнивать Мальчика с этой палочкой. И не говорила бы, что он белолицый, такой тоненький, как эта палочка. Сколько времени прошло с тех пор, как он заблудился в пути. Он вырос. Ты молодая и, быть может, не знаешь того, что в беде мужчины быстро растут.

М и с и р х а н. Я все это знаю, старый человек.

К я з и м. У мальчиков изменяются лица, волосы...

М и с и р х а н. Лицо у него изменилось?

К я з и м. Да, изменилось, доченька. И лицо изменилось. В поисках тебя столько степных раскаленных дорог он прошел...

М и с и р х а н. Чтобы я жертвою его стала!

К я з и м. Даже голос изменился.

М и с и р х а н. Пусть бы руки-ноги были целы. Чтобы душа его живая была. А так пусть изменяется.

К я з и м. Ну тогда жди, сыночек твой вернется. Молись, куда идет свадьба. А когда он прибежит к тебе, закричит: «Мама!» и обнимет, значит, ты встретишься со своим Ахматом. Если же не случится так, то выйдет ошибка. Простишь, доченька, выжившего из ума нищего старика. *(Берет ее под руку и подталкивает к дому.)*

Входят Асият с гармошкой и Жантуган, вedomый Мальчиком.

Айна *(у дверей)*. Ой-вой, гармошка!

К я з и м. Проходи, доченька, проходи. Пусть много

дней у тебя будет веселых, и чтоб не расставалась ты со своей гармонью.

Асият. С тех пор как нас привезли сюда, мечтаю что-то веселое сыграть, чтобы радость была. Неужели и... танцевать будут?

Кязим. Если Жантуган сам пошел за тобой и привел тебя с гармошкой, наверное, он не зря все это затеял.

Асият. А другие бранят меня, говорят: до свадебных ли гуляний... Иные даже проклинаят меня. А я что... от горя и играю. Не знаю, кто прав, а кто не прав.

Кязим. Ты об этом не думай, доченька. Сменяются день и ночь, сон и явь. Но и плач не будет плачем, если нет надежды на праздник. Все меняется, вслед за бедой приходят мир и радость. Но сначала поиграй здесь, пусть Забитхан немного забудется.

Асият. Как хорошо! *(Тут же стоя начинает весело и громко играть.)*

Из дома выходит Кашу, делает несколько танцевальных движений.

Кязим. Помню, как ты однажды станцевал в Шики. На свадьбе у Шаваевых... Еще не разучился?

Кашу *(через открытую дверь в дом)*. Эй, карс! Хлопайте живее!

Звучат карсы — хлопанье в ладоши. Танцуют Кашу и Асият, из-за дома с ножом в руке появляется Шабданбай, затем Айна — ее руки в муке. Оба с восторгом смотрят на танцующих.

Кязим *(после того, как станцевали Кашу и Асият)*. Ну, теперь свободны. Играйте, танцуйте. Пусть невестка не грустит и не скучает.

Все, кроме Кязима, расходятся. Айна и Шабданбай тоже уходят. В доме звучит музыка. Танцуют.

Кязим, опираясь подбородком на рукоять своей палки, сидит в глубоком раздумье у постели Забитхан. Потом вздрагивает, как от неприятной мысли, оборачивается к больной. И в этой позе вдруг застывает, точно превратившись в камень. Танцы в доме усиливаются. Кязим собирается с мыслями, берет себя в руки, выпрямляется. Появляется Шабданбай. Он еще издали замечает неладное, поспешно ковыляет к постели Забитхан.

Шабданбай. Что случилось?

Кязим. Пролилась последняя капля воды, которая была в этом мире предназначена для нее...

Увидев из открытой двери комнаты приумолкших Кязима и Шабданбая, Айна что-то уронила, подбежала к ним. Кязим сурово предупреждает жестом, чтобы она не шумела.

Закрой ей глаза, доченька.

Айна (*не соображая и не осознавая еще случившегося*). Ой-вой!

Шабданбай. Молчи же! Тебе сказано, закрой ей глаза.

Айна (*тихо подходит к Забитхан, закрывает ей глаза, подтягивает одеяло*). Не дождалась, бедная.

Шабданбай. Что будем делать, аксакал?

Кязим. Покуда идет свадьба, покойница — наша гостья. Такие случаи не раз бывали в горах. Проводим гостей и предадим ее земле. А пока никто ни о чем не должен знать.

Шабданбай. Как же так?

Кязим. Так. Покуда не завершим дело молодых, никто не должен знать о случившемся.

Айна. Ой, странный, неподатливый мир! Какой она была... (*Еле сдерживая душащий ее плач, закрывает лицо руками*).

Кязим. Доченька, постарайся и эту нашу беду пережить.

Шабданбай. Тогда поставим кровать ее в нашей половине дома.

Кязим. Это правильно.

Шабданбай (*Айне*). Держи кровать. Держи с той стороны.

Айна и Шабданбай поднимают кровать с покойницей и несут в другую половину дома. Через открытую дверь видно, как они ставят кровать с Забитхан.

Кязим. Я прошу вас вести себя как ни в чем не бывало. Очень обижусь, если вдруг выдадите горе.

Шабданбай. Ладно. (*Уходит вместе с Айной.*)

Кязим плотно закрывает дверь, переставляет к порогу свой низенький стульчик и садится перед дверью так, чтобы никого туда не пропустить. Через некоторое время танцы прекращаются. Слышен песенный наигрыш гармони. Звучат голоса: «Жантуган! Жантуган» Голос Жантугана: «Тогда слушайте. Только не для свадьбы эта песня...» Поет.

Ай, горы Кавказа, где вы остались!
Глядя вдаль, о, люди, рыдайте!

Начну рассказ о гонимом Карачае,
Плачьте все, кто меня услышит,

Народ, обреченный на скорбную участь,
Слезы кровавые проливает.
Широкие двери вагонов тюремных
Цепями кандалными перекрыты.

Врагу испытать бы такую обиду,
Миром не виданную в веках!
За один божий день, за один краткий миг
Ни души не оставлено в Карачае.

Быки томятся с неснятым ярмом,
Дичают кони на лугах зеленых.
Нас, горемычных, везут, как скотину,
Не разбирая ни малых, ни старых.

В узких проулках брошены
Золотые нагрудники и пояса.
Отцы — в тюрьмах, парни — на фронте,
Жены и дети — в пути.

Не разобрать, кто жив, кто умер,
В тесных и темных клетках-вагонах,
Ай, смелые парни — сила народа —
Горят на войне, как поленья в огне.

Это бедствие нам наслали
Кровожадные Гитлера бестии.
Горцев, от голода мрущих,
Принимают казахские степи.

Глядя на нас, горестно тают
Снега киргизских вершин.
На каторжной стройке канала
Гибнут дочери Карачая

Ручеек, прорезающий скалы,
Пусть кровавым потоком станет.
Тот, кто обрек нас на горе такое,
Пусть трупом неузнанным станет.

Наши собаки воют тоскливо,
В осиротевших аулах зверея.

До скончания дней не найдется бальзама
Для ран, что у нас на сердце.

С тех пор и трава не растет
На родных наших горных лугах.
Ай, потеряв друг друга в дороге,
Плачут и дети, и матери.

Нареку я кавказским названьем
Гору любую на нашем пути.
Это насилье останется в тайне,
Пока не умрет Советская власть.

Как овец, нас в отару сгоняют
Злобные коменданты, майоры.
Неправое дело, товарищ Сталин,
При жизни своей исправишь?

Злой силой гонимых по злому указу,
Аллах справедливый, спаси!
Давший нам жизнь на зеленом Кавказе,
Не отнимай ее в желтой степи.

После песни и в доме, и во дворе воцарилось тяжелое молчание. Потом, словно с силой оторвавшись от заколдовавшей его стихии песни, Кязим встает с места. Видно, как слезы текут в бороду. Он хочет поблагодарить Жантугана. Из дома выходят Кашу, за ним Жантуган. Кязим, не совладав с волнением, садится на свое место.

Кашу. Такая песня! И я тешу себя тем, что пишу стишки! Вот поэзия. Талант народа беспределен. Сам сочинил?

Жантуган. Нет. В карачаевском селении Сарытюз жил знаменитый певец Абугали Узденов. Песню эту сочинил он.

Кашу. А кто может остановить песню? Нет, никто. А народ, создающий такие песни, разве этот народ пропадет? Нет, никогда! Мне стыдно за недавнее свое малодушие.

Жантуган. Неужели Кязим уснул? Сидит, как неживой. *(Подходит к нему)*. Кязим... Как себя чувствует больная?

Кязим *(совершенно не двигаясь, как заговоренный)*. Изменений нет. Было душно, жарко, в дом отнесли...

Шабданбай *(появляясь из-за дома)*. Мясо сварилось.

Кязим. Аллах милостив, не пришлось совершить не-
кях без курманлыка. Жантуган, благослови молодых, за-
ключи их брак. Нельзя, чтобы беда заставляла нас поза-
быть обычай.

Жантуган. Дело привычное. *(Уходит в дом.)*

Шабданбай выносит низенький круглый стол, ставит пе-
ред Кязимом.

Шабданбай. У вас не принято есть за досторко-
ном¹. Если нет стола, вы неуверенно себя чувствуете. Вот и
нашел. Пусть жертва будет к добру. *(Уходит за дом и при-
носит войлок для сиденья. Снова уходит и возвращается с
большим подносом.)*

Кашу. Кязим, мне пора. Если разрешишь, я пойду.
Дорога дальняя.

Кязим. Отведаешь курманлык, пойдешь. Садись.

Кашу. Мы там хорошо поели, как до войны. Я еще
приду, Кязим. Я повезу тебя в город Фрунзе. Это очень кра-
сивый, добрый город. Там живут замечательные киргиз-
ские писатели. Есть у них и такой поэт, как ты, — Токтогул.
Великий был шайыр², но и его гнала судьба по свету.

Кязим. Живы будем, все будет хорошо. А сейчас са-
дись. Не отпущу, пока не отведаешь курманлык.

Жантуган *(выходит из дома)*. Такой брак над ними
совершил, так соединил их руки и сердца, что вовек им
не расстаться.

Кязим. Садись, Жантуган. Садитесь все. А там, в
комнате новобрачных, накрыли на стол?

Айна. Да, Кязим. Там же со стороны огорода дверь
есть.

Шабданбай. В казахских кибитках мало богатств,
но дверей всегда много.

Жантуган *(беря кусок мяса)*. Аллах, дай нам такую
долю, чтобы сердца наши, сегодня сжатые тяжелой болью,
забились свободно, чтобы со дня брака этих молодых лю-
дей для гонимого нашего племени путь домой открылся,
чтобы тот, кто обрек нас на страдание, сам в огне страда-
ний горел тысячи лет. Дай нам силу преодолеть поклеп и
суд несправедливый, увидеть своих гонителей слабыми, опозо-
ренными, а счастливыми — тех, кто сегодня заботится о
нас, как о родных и близких! Нас немного, и нас рассеяли
по азиатским степям, но дай нам силу взрастить каждое

¹ Досторкон — *(кирг.)* — кусок ткани, на котором собирают
еду, иначе — застолье.

² Шайыр — *(кирг.)* — поэт.

наше зерно. Парням нашим быть стойким в этот час, дочерям нашим не потерять красоту и терпенье.

К а ш у. Девушки наши что надо!

Ж а н т у г а н. Насильников пусть раскаяние постигнет, кара низвергнет их таким образом, чтобы они сами себя били, да не умирали скоро. Чтобы мы вернулись на родные нагорья, а они друг за другом последовали в долгокипящий адский котел!

Все. Аминь!

М а л ь ч и к (*прибегает с улицы*). Сюда идет комендант.

Все застывают. Входит комендант. Он в чине майора. На боку пистолет.

Комендант. Кто хозяин дома?

Ш а б д а н б а й. Я.

Комендант. Кто из переселенцев проживает здесь?

К я з и м. О чем он спрашивает?

Ш а б д а н б а й (*не отвечая Кязиму*). Живут здесь балкарцы. Колхозники.

Комендант (*к Кашу*). Ваш пропуск?

К а ш у. Я не состою на учете, товарищ майор.

Комендант. Документы!

К а ш у (*подает паспорт*). Пожалуйста.

Комендант (*рассматривает документы Кашу, недовольно возвращает их*). А кто в доме?

К а ш у. У нас свадьба, майор. Радостный день. Садитесь за стол.

Комендант. Я спрашиваю, кто в доме?

К а ш у. Вы, я вижу, служака, каких поискать!

Комендант. Да, я на службе. И прошу мне не мешать. (*Шабданбаю*). Выведите из своего дома нарушительницу.

К а ш у (*встает перед комендантом*). Какую нарушительницу?! Девушка вышла замуж. Радоваться этому надо.

Комендант. Отойдите. (*Грубо толкает Кашу*.)

К а ш у (*в гневе*). Тейри¹, чтобы ты женился на своей матери, нас тоже сюда не потому выслали, что мы не умеем толкаться! (*Схватив костыль Шабданбая, стоявший у стены, замахивается на коменданта. Кязим и Жантуган едва успевают удержать его. Дальше во всем продолжении этой сцены они так и держат его*).

¹ Т е й р и — верховное божество в мифологии балкарцев.

Шура (*вышла из дома на шум*). Что здесь происходит?

Комендант. Девушка в Киргизстане не явилась на расписку. При розыске оказалась в Казахстане. Таким образом грубо нарушила переселенческий режим. Я должен ее арестовать.

Шура. Товарищ майор! Свадьба! Пожалуйте в дом! Поздравьте молодых.

Комендант. Гражданка! Не вмешивайтесь не в свои дела. (*Шабданбаю*). Прошу вывести из своего дома беглянку. Она будет осуждена без суда и следствия.

Кашу. На это вы мастера — судить без суда.

Комендант. Кто это «вы»?

Кашу. Такие сволочи, как вы, майор!

Комендант. С вами разберется трибунал.

Шура. Вы шутите, майор? Это незаконие!

Комендант. Нарушен спецрежим переселенцев. Ваша подруга прекрасно знает, что нельзя без разрешения перейти из одного селения в другое. Знакома с постановлением, подписанным товарищем Молотовым.

Кашу вырывается, хочет что-то сказать, но ему не дают говорить.

Шура. Но вы... Вы не позволите себе этот... этот бесчеловечный, позорный поступок!

Комендант. Почему же? Я нахожусь на службе.

Шура. Но здесь свадьба. Особый случай. Вы... вы майор Советской Армии. Вы сознаете, что творите?

Комендант. Вполне! С врагами народа надо поступать так, как учит товарищ Сталин.

Шура. Неужели вы... забыли, что вы... человек?

Комендант. Бросьте! Я комендант.

Шура. Тогда арестуйте и меня. Сначала меня, а потом ее.

Комендант. Вы ответите за сочувствие к врагам народа.

Шура (*в слезах*). Какого народа? Такого, как вы?

Комендант. Хотя бы! За чистую душу, что ли, загнали их в казахстанские пески!

Никто не замечает, как Мадина выходит из дома и тихо идет туда, где должны стоять лошади коменданта.

Мальчик. Я позову Мухтара.

Мадина (*тихо*). Не надо. Умоляю тебя, не зови.

Шура (*бежит к Мадине, обнимает ее*). Мадиночка,

родная, я буду с тобой. Я не отдам тебя этим бездушным зверям. *(Остается рядом с нею).*

Комендант. Вы арестованы и будете осуждены за нарушение переселенческого режима.

Шура. Боже мой! *(Плачет.)*

До этой минуты Шабданбай стоит, глядя на происходящее в его дворе как бы со стороны. Но когда Шура заплакала, а комендант направился к Мадине, грубо остановил его.

Шабданбай. Я демобилизованный солдат! Был однажды ранен. Я сражался с фашистами. И здесь никому не позволю обижать и без того обиженных. Таких дезертиров, как ты, гнать надо! *(Неожиданно берет коменданта за ворот и выталкивает на дорогу. Комендант, растерянный действиями инвалида, сначала не может даже сопротивляться, но через секунду берет себя в руки и вытаскивает пистолет из кобуры).*

Комендант. Я застрелю тебя, как укрывателя врагов народа!

Шабданбай. Стреляй, сволочь! *(Поднимает штанину, показывает протез.)* Стреляй!

Мадина. Я знала, что так будет. Ой, аллах, какой позор! Мальчик, найди Мухтара, отвлеки его, чтобы он вдруг не пришел сюда.

Мальчик убегает.

Комендант *(убирая пистолет в кобуру)*. Здесь дело посерьезнее, чем я думал. Оно не обойдется арестом одной беглянки. Ладно, разберется милиция. *(Быстро уходит.)*

Шура *(оставив Мадину, бежит за комендантом)*. А когда разберутся... Когда разберутся с вами тоже... тогда вы застрелитесь! Если хоть на секундочку совесть проснется, вы застрелитесь!

Комендант. Комсомолка, наверное! *(Уходит.)*

Из дома выходит Мисирхан. Она глядит на накрытый, но оставшийся нетронутым стол, хочет взять что-то со стола, однако удерживается. Потом, как бы пряча свое лицо от каждого, кто сейчас стоит во дворе, подходит к Мадине, горестно, виновато смотрит на нее. Отворачивается.

Мисирхан. Гитлер проклятый, Сталин треклятый! Ахмат, мальчик мой, не верь никому! *(Уходит той же дорогой, что и комендант.)*

Кязим. Теперь вам придется искать защиту в дру-

гом месте. Если есть в нашем мире еще хоть один человек, который может встать за справедливость... Издевательство над святым девичьим счастьем — позорнее и бесчеловечнее, чем глумление над целым народом... Всем вам аллах пусть подарит долгую жизнь, но Забитхан умерла. Надо успеть ее похоронить. А ты, Кашу, уходи, пока не нагрела милиция с комендантом. Уходи и ищи правду, если она еще есть где-нибудь.

К а ш у. Кязим! Я пойду, если даже придется идти по раскаленным штыкам. Пойду. Я Тихонова подключу, Фадеева. Я иду, Кязим. (*Уходит.*)

Воцаряется гнетущая тишина. Темнеет. Откуда-то тихо доносится забытая мелодия то ли гармони, то ли свирели. Чем гуще сумерки, тем слышнее музыка, и, кажется, она приближается именно по той дороге, по которой укатила повозка коменданта. Луч надежды засветился в той стороне, в которую уходит Кашу в поисках правды. А музыка постепенно переходит в энергичный походный марш. Слышны теперь и конский топот, и громкие отдаленные крики. Зазвучала и песня.

Земля разверзнется, и вспыхнет пламя,
Но революция не знает страха.
Какая армия в целом мире
Сумеет поспорить с нашей силой!

Никто никогда у нас не отнимет
Свободу, в боях добытую.
Против красных отрядов
Не устоят вражьи банды.

По земле шагаем, по воде плывем
И в небо орлами взлетаем,
Тучи метких пуль посылаем врагу,
Громом пушечным мир сотрясаем.

Топот копыт и песня отдаляются. Светлеет. Кязим стоит посреди двора. И вдруг — цокот подков, поблизости одинокий всадник. Входит Магомет, сын Кязима. Одет в полувоенную одежду, на боку сабля, в руке — плеть.

Магомет (*про себя*). Стоишь на чужом дворе... Высохшим деревом стоишь...

Кязим (*глядя в землю*). Арестована невестка наша... Мухтар, Шабданбай арестованы... Русская девушка ушла за ними. А мы с Жантуганом похоронили бедную Забитхан. Слепому и хрому досталось только погребение.

Магомет. Отец, где народ?

Кязим (*не двинулся с места, не удивился, хотя и узнал сына*). Бедный мальчик... ни разу не показывался за

все это время... С тех пор, как скосили тебя в Дагестане...

Магомет. Тогда мы были как живые... Нас помнили. И об этом звучали твои песни. Наверное, в наших аулах шло большое строительство, потому что мы слышали громкие веселые голоса... Ныне же аулы стали безмолвнее наших кладбищ...

Кязим отворачивается от сына; Магомет замечает, что отец взволнован.

А помнишь... когда прокладывали дорогу от Нальчика к Безенги? Ты однажды пришел к строителям и прочитал стихи. Вечерком посадили тебя на переднюю телегу, повесили флажки и — с песнями в аул. Теперь... Увечными ногами ковыляешь по раскаленным пескам в поисках близких... Как же мне лежать в могиле?

Кязим (*поворачивается к сыну, гладит рукой его лицо*). Сын! Когда ты упал с коня... долго ли мучился от смертельной раны?

Магомет. Нет, отец. Я погиб за справедливую жизнь. За такую жизнь, о которой ты мечтал и которую искал. Я гордился тобою, ведь ты не останавливал меня, а благословлял мой путь. В тот день на площади, когда ты выступил перед уходящими в бой отрядами, ты говорил: «Берите оружие на радость живым». Ты понимал, что в руках у нас оружие свободы, а не оружие убийства и кровопролития. И погиб я, не жалея о том, что пошел по этому пути. И не проклинал смерть, не сожалел. Мы знали, что умираем за народное дело. А теперь... За что мы погибли? Я нашел тебя в этих степях и хочу спросить об этом. Зря, получается, мы погибли? Зря, если наша праведная кровь не смогла защитить народ от бесславной гибели! Что случилось, отец?

Кязим. Неразумный! Поверил, что мутная вода никогда не очистится, не отстоится...

Магомет. В чем твоя вина? За что ты выслан из родной земли? За то, что благословлял Советскую власть?

Кязим. Земля везде одинаковая. И здесь люди живут, хорошие люди.

Магомет. И в такой час ты, отец, ищешь утешение! Ты не был лицемером.

Кязим. Нужно терпенье. Нас только терпенье спасет в этой беде.

Магомет. Терпеть злодеяние? Так почему ты не призывал к терпению, когда люди страдали от гнета царя, князей? Ведь страдали на своей земле?!

Кязим. А против кого сегодня пойдешь? Тех, против кого надо было бороться, ты уже поборол.

Магомет. Значит, все было зря, отец? Ты ошибался, когда верил, что все люди, все народы будут равны! Нас обманули?

Кязим. Не знаю.

Магомет. Если и ты не знаешь, тогда у кого спрашивать? У кого будет спрашивать народ? Скажи, отец.

Кязим. Народ? Народ найдет, у кого спросить, если он останется народом.

Магомет. Меч, который ты выковал¹ для меня, еще со мной. Тот меч, который ты закалял для революции. (*Вытаскивает саблю из ножен, поднимает вверх*). За правду и свободу я поднял его однажды! Я подниму его еще раз за поруганную честь моего народа.

Кязим (*в отчаянии*). Вложи меч в ножны! Тогда нужен был меч — и я ковал мечи! Теперь наше оружие — терпенье. Я вам только терпение завещаю. Ты слышишь, малодушный, терпенье!

Магомет (*горячась*). Ты это говори камням, отец! Камням говори! Говори это камням в Шики! Это они могут терпеть такое!

Кязим. Камни? Ты очень молодым отбился от рук. Не успел достаточно набраться ума.

Магомет. Вздор, значит, говорю?

Кязим. Не мужское слово это. Думаешь, камень выносливее человека? Очень ты меня огорчил, сынок. Довольный тобою, я сочинил песню о тебе. Не побоялся, что люди могут пристыдить меня за это. Могли ведь сказать: Кязим с ума спятил, о собственном сыне песню сочинил. Но ведь утешал себя мыслью, что ты не за себя, а за справедливость отдал молодую душу. Теперь сожалею об этом. В такой день ты мечом размахиваешь! Пустые слова говоришь.

Магомет. Что мне делать? Я не могу лежать в своей могиле...

Кязим. Не учился, необразованным остался, вот в чем беда. Просил тебя: учись. Но голова твоя горячая другим была занята. И вот неведомы тебе извечные мирские законы. Испытание, беда не дается ни одному народу избранно, и не испрашивает судьба согласия народа на тяжелое испытание. Малый народ или большой, он не заговорен

¹ Кязим Мечиев был кузнецом.

от горя и страданий. Но разве тот народ, который не умеет в беде туго затянуть пояс и крепче стиснуть зубы, может считать себя народом?

Магомет. Каково теперь, когда дают по шее! Странные у тебя ныне назидания.

Кязим. Это верно. Нельзя терпеть, когда по шее дает враг. Это дело труса, раба. Но ведь злое наваждение в том, что по шее тебя ударил не враг. Унижение тебе приносит та власть, которую установил сам и в которую веришь. Тот, кто играет мечом в своем доме, тот никогда не испытывает радость победы.

Магомет. Пусть и в своем доме, если испытываешь такое унижение, которое даже враг не способен учинить.

Кязим. Ты знаешь разве, кем завязан этот узел?

Магомет. Если бы знал!

Кязим. Да, не знаешь. И я не знаю. Чтобы узнать, надо терпеть. Придет время. А оно мудрее, отважнее всех других судей. Оно поставит все на свои места. И ты спрячь меч свой. Один раз ты поднял его, достаточно. Тогда ты защитил свой народ, его будущее. Если поднимешь вновь, то погубишь его.

Магомет (*вкладывает саблю в ножны, подходит медленно к отцу, в волнении обнимает его*). Смерть настигла меня на чужбине. Я боюсь, что и ты останешься вдали от своих скал.

Кязим. Я сказал, земля — везде земля... А кто в этом мире не претерпел тяжкую долю? Души наши будут вместе.

Наступает темнота. Когда снова становится светло, Кязим стоит на своем прежнем месте. Магомета здесь будто и не бывало.

Астофирулла... Астофирулла... Аллах, ты могуч. Все свершилось, иссякла и моя вода. Думал, Солтанхамид случайно явился ко мне во сне, зря я себя обманывал. Теперь пришел и Магомет. Они ходят по мою душу. Ну, да о чем жалеть, немало жил, немало повидал. Доволен жизнью. Хотя она и заставила не раз волком выть, горькую свою чашу испивать. Было бы только кому глаза мои закрыть.

Мальчик (*прибегает*). Дедушка, я до конца села добежал, у людей спрашивал, даже у Асият спросил. Нигде никто ничего не знает.

Айна (*выходит из дома с чашей в руке*). Скушайте жарму¹.

¹ Жарма — жидкая еда (похлебка) из грубого помола кукурузы.

Кязим *(взяв чашу из руки Айны)*. Пусть Аллах и тебя одарит, доченька. *(Протягивает чашу Мальчику)*. Кушай, Ахмат.

Мальчик. Нет, дедушка. Теперь пей ты. Мне хватит.

Кязим. Сначала должен пить тот, кто младше. Обычай таков.

Мальчик *(быстро берет чашу, жадно ест)*. Еще?

Кязим. Ешь, ешь!

Мальчик *(оставив на дне чаши еще немножечко, хочет предложить Кязиму)*. Дедушка, ты очень голоден?

Кязим. Совсем нет, Ахмат. Я совсем не голодный.

Мальчик. А что ты ел?

Кязим. Ты не видел, я покушал. Пей, пей.

Мальчик. Нет, дедушка, сначала пей ты.

(Передает чашу Кязиму.)

Кязим *(выпив то, что было на дне чаши)*. Богатой будь, доченька. Ты заботаешься о бедных сиротах. Аллах да пусть вознаградит тебя.

Айна *(взяв обратно пустую чашу из рук Кязима)*. Шабданбай не возвращается. Что с ним стало, отец?

Кязим. Аллах пожалеет тебя. Неужели нет в этом мире ни одного мужчины, кто преградил бы дорогу злу? Они ведь только радости хотели, справедливости... Вот и получили на всех... И Шабданбай, и невестка, и Мухтар... Да, видно, и горячий Кашу угодил туда же.

Айна. Как теперь мне прокормить сирот? Шабданбай хотя и был безногим, он был мужчиной.*(Уходит в дом)*.

Кязим. Теперь мы отправимся в путь, Ахмат! Возьмемся за руки и пойдем. Мы с тобой найдем то, что ищем. Пока я жив, будем вместе, а когда умру, пойдешь сам.

Мальчик. Ты не умрешь. Я не хочу, чтобы ты умер.

Кязим. Мир велик, и дорога вечна. Пошли, малыш.

Мальчик *(решительно взяв за руку Кязима)*. Пошли, дедушка.

Темнеет. Слышится вой ветра. Где-то поднимается песчаная буря. Плачет заблудившийся журавль. И стихи, которые звучат вдогонку Мальчику и Старику, тоскливо напевает ветер.

Душа моя — птица,
Она устремляется в небо.
А тело мое войдет в землю,
В темное чрево могилы.

Примет меня земля,
Мое тело станет землей.

Но птицу души моей
Узнают строгие судьи.

Услышат слово мое,
Оценят песню мою.
И скажут: «Простим прегрешенья
Мученику-Кязиму...»

Признание светлым лучом
Проникнет в темень могилы.
Все то, что сказал я в жизни,
Было чистого сердца словом.

Но если я и оттуда
Увижу народные беды
И кровоточащие раны,
То вновь я умру и в раю...

По степному бездорожью, охваченному песчаной бурей, идет Кязим, тяжело опираясь на свою палку. Рядом, цепляясь за его рваный бешмет, шагает Мальчик.

Мальчик. Давай вернемся назад.

Кязим. Нет, Ахмат. Нет, дитя мое. Нам нельзя возвращаться назад.

Мальчик. Как воет ветер! Видишь там песчаные горы впереди?

Кязим. Вижу, сынок. Надо идти.

Мальчик. Я больше не могу.

Кязим. Не бойся, дитя, мы дойдем.

Мальчик. Ты мне обещал, что вернется моя мама. Дедушка, почему ты меня обманул? Я знаю, она умерла.

Кязим. Ай ты, глупый мальчишка. Малодушный человек. Разве ты не видел умерших? Ты даже помогал нам рыть могилу, когда хоронили Забитхан. Как же иначе? Ты же мужчина. А других умерших ты видел?

Мальчик. Видел.

Кязим. А когда умерла мать?

Мальчик. Нет, как умерла мать, я не видел. Во сне много народу собралось. А когда проснулся, никого не было.

Кязим. А потом?

Мальчик. Я побежал на кладбище...

Кязим. Ну, нашел там могилу матери?

Мальчик. Нет. Там свежих могил много.

Кязим (обняв Мальчика). Не бойся, малыш. Мама твоя жива. Она вернется.

Мальчик прижимается к Кязиму и тут же на ходу засыпает. Кязим останавливается, садится.

Уснул, бедняжка. Аллах, какая судьба мне была предписана! Говорили, Аллахом избранный я ребенок. Значит,

своих избранных он так мучает из любви? Заставляет испытать адские муки здесь, в этом мире? Гореть... Гореть... Гореть... Когда у меня был сон? Когда была явь? А правда? Когда была правда, а когда ложь? Аллах, сколько дорог я прошел, сколько бед испытал, чтоб разобраться, где начинается справедливость, а где набирает силу насилие? Сколько стран исколесил, сколько книг прочитал... И эта дорога... Последняя, стало быть... Как воет ветер... И засыпает песком глаза мои... Дойду ли до крепости, где заключена справедливость? (*Через некоторое время*). Пятеро сирот остались на попечении одной казахской женщины. А мужа с деревянной ногой арестовали... И если не вернется Мухтар, какова будет ее судьба? И как она взвалила на себя эту ношу... Без содроганий, без ропота... А я ищу крепость, где заключена справедливость... Аллах, что за мир ты создал? Как ты смешал горе с радостью, величие с низостью... Для чего? Как-то я писал, давно это было: «Народы не приемлют вражду между собой...» А что такое народ-враг? И Кязим-враг народа? И есть ли среди людей пророк, который мог бы мне это объяснить? Или же... Или же все это снова не явь, а сон? Если присмотреться, то правда во сне и приходит. А наяву — смерть, беды, насилие... Но есть ли различие между злом прежним и нынешним? Аллах, ведь правду изрекала слабая русская девушка! А комендант... немолодой, видевший жизнь человек, кичился тем, что был при оружии! Торжествовал над беззащитными людьми. Аллах, где же твоя сила? Твой праведный гнев? (*Обняв Мальчика, прилег на обочину дороги*).

Свет то вспыхивает, то гаснет, точно мерцание далекой звезды. Воев ветер, и вновь слышатся стихи.

Серый камень сорвался с утеса,
В мрачной бездне остался лежать...
Никогда ты наверх не вернешься,
Свой утес не увидишь опять...

Я молю тебя, Господи, ныне,
Лучше в камень меня преврати,
Но остаться не дай на чужбине,
К моему очагу возврати...

Появляется Нищий. Он идет, с трудом преодолевая сопротивление ветра. Оттого, что он очень слаб, его нищенская сума кажется тяжелой. Увидев издали лежащих на обочине Мальчика и Старика, он сначала принимает их за степных шакалов и настороженно поднимает свою палку. Но лежащих можно принять и за серые камни, потому что они неподвижны. Постояв, Нищий шагает к ним, а когда приблизился, Мальчик проснулся.

М а л ь ч и к . Тише, дедушка спит.

Н и щ и й . Я передохну рядом с вами. Вы куда путь держите?

М а л ь ч и к . Мы? Мы идем освободить заключенных.

Н и щ и й . Заключенных?

М а л ь ч и к . Ну да. Мухтара, Мадину, Шабданбая... Всех!

Н и щ и й . Всех не сможете.

М а л ь ч и к . Почему?

Н и щ и й . Потому что их много.

М а л ь ч и к . Пусть. Мы дойдем до крепости, где живет справедливость. Освободим ее, а она уже освободит всех.

Н и щ и й . В крепости справедливости живут только нищие.

М а л ь ч и к . Неправда! Там живут большие люди. Если б не так, дедушка меня туда не вел бы.

Нищий взглянул и узнал Кязима.

Н и щ и й . Он добрый человек. Его рубль спас меня от голода.

М а л ь ч и к . Нищие только по дорогам бродят.

Н и щ и й . Подрастешь, поймешь. *(Нищий ложится рядом с Кязимом).*

Мальчик продолжает стоять, подставив грудь ветру. Кажется, он оберегает сон спящих. Снова в вое ветра слышатся стихи.

Каменной глыбой страдания сдавлено сердце,
Беды мои тяжелы, как скалы на склоне Шики.
Буду и здесь я лежать, от тревог не свободный,
Горькое горе людское будет раны мои беречь.

Пользы нет от молитв и смирения,
И могилу мою занесут чужбины пески.
Вам, живым, завещаю: живых берегите,
Справедливость и честь возродятся, поверьте.

Вой ветра как бы переходит в женский плач. Вдали появляется неясная тень. Мальчик то выпрямляется, напряженно вслушиваясь, то сгибается под напором ветра.

М и с и р х а н *(она еще не видит Мальчика).* Ахма-а-а-т!
Ой, чтоб залиты были водой железные дороги!

Мальчик медленно отступает, спотыкается и садится на землю. Просыпаются Кязим и Нищий. Они встают и, узнав женщину, переглядываются.

Кязим (*нагнувшись к Мальчику, который в эту минуту путается в его ногах*). Ахмат, встань. Вот, пришла твоя мама!

Мальчик (*медленно встает, как бы вырастает из земли*). Где?

Кязим. Слушай.

Женщина то появляется, то исчезает, словно гонимая ветром.

Мисирхан. Гитлер проклятый, Сталин треклятый! Ты не забудь, Ахмат, ту песню, которую учил на Кавказе...

Кязим. Слушай.

Мисирхан. Ахма-а-т! Я боюсь, в степи много шакалов...

Кязим. Узнал?

Мальчик. Келин! Ой, Келин! Мама!

Появляется Мисирхан. Мальчик рвется к ней, но Кязим его удерживает.

Кязим. Ты же мужчина, если ты так будешь кричать, она испугается. Вдруг и ума лишится. Пусть она идет сюда.

Мисирхан узнает сначала Нищего. Она машет руками так, словно хочет избавиться от скверны. Мальчик прижимается к Кязиму. Потом она узнает Кязима. Лицо ее светлеет. Кязим тихо толкает Мальчика к ней. Мальчик с криком «Келин! Мама!» бросается к Мисирхан и обнимает ее. Мисирхан опускается перед мальчиком на колени.

Мисирхан. Каким большим ты стал, Ахмат! (*Начинает исступленно целовать его руки, лицо, волосы*). Почему не приехал сразу?

Мальчик. Теперь я ни на шаг от тебя не отойду, мама! Вот только мне надо с дедушкой добраться до крепости справедливости и освободить Мадину с Мухтаром, и все. Буду всегда, всегда рядом.

Мисирхан (*прижав его к себе*). Нет, Ахмат. Не отпущу.

Кязим. И правильно. Ты, малыш, пойдешь с матерью. А я сам доберусь. Мне уже недолго осталось...

Мальчик. А если тебе в пути будет страшно? Нет, я пойду с тобой.

Мисирхан. Пошли домой, пошли. (*Кязиму*). Иди своей дорогой, старый человек. Не пытайся отнять у меня сына.

Мальчик. Мама, а он отдал мне хлеб, который принесла ты. Он добрый, а ты ругаешь его.

Мисирхан. Пошли домой, пошли.

Кязим. Я благословляю вашу дорогу. Идите с богом. Прощай, Ахмат. Не обижай маму, если даже тебе будет очень трудно.

Мальчик. Я буду ее любить.

Мисирхан уводит Мальчика. Кязим долго смотрит им вслед, молится. Вдруг хватается за сердце. Нищий поддерживает его.

Кязим. Пошли, божий человек.

Нищий (*достает из сумы фляжку, дает пить Кязиму*).
Твой рубль спас меня от голода.

Кязим. Думаю, не дойти мне до крепости справедливости. Но и домой дорога мне отрезана. Как бесславно кончается моя жизнь! Лучше бы родился камнем на склонах Шики. На забор какой пригодился бы. (*Старается идти*). Помнишь ли, божий человек, спор пророка Аюба¹ с Аллахом? Раз за разом терял Аюб все, что имел: скот свой, семью, землю, здоровье... Но не отчаивался, терпел. Доходил до такого состояния, когда нарывы своего прокаженного тела выскребал ложкой. Но терпел и терпением своим и праведностью одолел Аллаха. И дьявола он одолел своей правотой. Тогда Аллах вернул ему все: скотину, семью, земли его... И я спорил с Аллахом на своем веку немало, но беды, ниспосланные им, принимал безропотно. И не меньше пророка Аюба я терял. Но ничего Аллах мне не вернул. Значит, неправедным был... Неправедным был я, горемычный...

Кязим не может идти, падает.

Нищий. Я снова слышу твои стихи. Ветер воет, а я слышу твои стихи. Ты о чем пел?

Кязим. Лучше спроси, о чем плакал...

Вдали слышатся голоса.

— Дороги замечены песком, где искать следы...

— Ты иди, солдат, левее, а мы посмотрим в той стороне...

— Кажется, я вижу...

Кязим. Ты молиться умеешь, божий человек?

Нищий. Коран нищего — его сума. Как же иначе собирать милостыню?

¹ А ю б — библейский Иов.

Кязим. Помолишься за меня. Похоронишь тут у дороги...

Нищий. Не спеши, старик. Слышишь людские голоса? Тебя ищут.

На краю дороги появляется Кашу. Увидев лежащего и стоящего он быстро идет к ним. Узнав Кязима, опускается перед ним на колени.

Кашу. Кязим! Ты живой! *(Страхивает песок с Кязима)*. Кязим, народ тебя ищет. *(Поднимает голову Кязима, кладет себе на колени)*. Кязим, ты узнал меня? Я вернулся...

Кязим. Ты освободил арестованных?

Кашу *(помолчав, неуверенно)*. Да... Но...

Кязим. Ты не выполнил мою просьбу.

Кашу. Я сделал все, что мог. Я был у двух наркомов внутренних дел — Казахстана и Киргизии. Обещали помочь... Но в наше время и наркомы боятся.

Нищий. Чем выше человек, тем больше и страх.

Кашу. Я в изоляторе увидел невесту... У нее седые волосы...

Кязим. Меня похороните здесь, у дороги. Я шел всю жизнь, но не дошел до истины... Меня похороните у дороги. Надо мной будет выть ветер.

Кашу. Ты сам станешь ветром, летящим над миром.

Кязим. Я верил, что любовь слетает к нам, подобно птице рая. Но жестокий век, не достойный девичьей любви, посмеялся надо мной. Люди ослепли и крутят мельницу зла.

Кашу. Это тот комендант... палачи Берии.

Кязим. Тяжело умирать, видя, как народы, подобно отарам овец, покорно ждут кровавого ножа, занесенного над ним. Овцы видят своего убийцу, но покорно и безысходно ждут своего часа.

Кашу. Кязим, пошли отсюда. Я возьму тебя на руки и понесу.

Кязим. Нет, Кашу. Я уйду туда, откуда возврата нет. Ко мне приходили Солтанхамид, сын мой Магомет. А нынче... являлся во сне Локман-хаджи.

Кашу. Кто это — Локман-хаджи?

Кязим. Был такой ученый добрый человек в горах. Мудрый, спокойный Локман. Он издавал первую мою книгу в Темир-Хан-Шуре, странствовал со мною по Востоку...

Кашу. Но ведь он...

Кязим. Я давно живу во сне. Наяву у меня все наоборот: ложь — истина, зло — добро. Теперь я уйду. Порядок мироздания нерушим: старые уходят, молодые остаются.

Кашу. Нет, Кязим, нет. *(Словно силясь вырвать его у смерти, прижимает к себе)*. Какой ты легкий, Кязим! Будто ангел, спустившийся с неба.

Кязим. Хотя и был я увечным, а по земле ходил легко. Но старость любого пригибает к земле. Вот, Кашу, давно у меня в голове гнездится такая боль... *(После трудной паузы)*. У каждого народа — свой бог. Этот бог — родина. Тот, кто не поклоняется родине не станет и святыне поклоняться. Ты будешь писать. Стихотворцу лезть только вредит. Учи свой народ единству и терпению. Терпение и единство — как два крыла, помогут вам и с малыми силами оставаться людьми и сохранить себя как народ. Не поддавайтесь малодушию, земля всюду добра.

Кашу. Кязим! Я мечтал прочитать тебе свои военные стихи...

Кязим. Знаю, они правдивы. Я доволен тобою. И трудной своей судьбой доволен: у очага моего останется ученик, который не даст погаснуть огню. Но и тревожусь о жизни твоей.

Кашу. Почему, Кязим?

Кязим. Она будет непростая у тебя, нелегкая...

Кашу. Я слушаю тебя, Кязим.

Кязим. Большой человек у малого народа всегда оказывается под рукой. А того, кто всегда под рукой, трудно видеть во весь рост. Поэтому будешь счастлив не славой, а тем, что всегда людям необходим. И не льсти себя надеждой на личное благополучие.

Кашу. Почему, Кязим?

Кязим. Покуда в мире много трещин, ни один мастер не должен быть спокоен. Тебя женщины будут любить, и народ наш, и земля... Вот в чем будет твое счастье. А счастье мирного, спокойного очага — это удел других...

Нищий. Лучше отнести его в какой-нибудь аул.

Кашу *(встает с Кязимом на руках)*. Я понесу! Я всех согбенных чужбиной соберу...

Кязим. Положи меня на землю.

Кашу. О Кязим! *(Плачет)*.

Кязим. И еще. Завет мой один... Я опекал одного Мальчишка. Теперь его судьбу поручаю тебе. Женщина, потерявшая в беде ясность ума, вряд ли сможет вырастить его таким человеком, каким я хотел бы его видеть. А глаза

Мальчика говорят — большое сердце в нем заложено. Ты помоги ему учиться. Пусть историком станет.

К а ш у. О Кязим! Улыбка твоя гаснет.

К я з и м. Мне на моем веку долгие дороги были предписаны. Похороните меня здесь.

К а ш у. Золотая свирель моих нагорий! О, Кязим!

К я з и м. Я слышу клекот орлов над Безенгийской стеной...

Кязим умирает. Нищий опускается рядом с ним на колени, закрывает ему глаза, молится. Кашу разрыдался, и плач его уносится степным ветром. Он поднимает тело Кязима на руки и уходит. За ним плетется Нищий.

СОДЕРЖАНИЕ

МОСТ СИРАТ. Р о м а н. Перевод <i>М. Эльберда</i> . . .	8
Книга первая	3
Книга вторая.	87
Книга третья	238
Книга четвертая	371
Эпилог	422
ТЯЖКИЙ ПУТЬ. Т р а г е д и я. Перевод <i>М. Эльберда</i> .	426

Литературно-художественное издание

Теппеев Алим Магомедович

МОСТ СИРАТ

Р о м а н, т р а г е д и я

Редактор *Дж. П. Кошубаев*

Художник *В. Л. Захохов*

Художественный редактор *Ю. М. Алиев*

Технический редактор *Н. М. Мокаева*

Корректор *И. Б. Кагермазов*

ЛКБ № 6 от 01.10.96

Сдано в набор 17.05.2001. Подписано к печати 03.09.2001.
Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура
школьная. Печать высокая. Усл. п. л. 25,62. Уч.-изд. л. 28,71.
Тираж 700 экз. Заказ № 176

Издательство «Эльбрус»
Нальчик, ул. Адмирала Головки, 6
Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года
Мининформпечати КБР
Нальчик, пр. Ленина, 33

Теппеев А. М.

Т Мост Сират / Пер. с балк. М. Эльберда.— Нальчик: Эльбрус, 2001.— 488 с.

ISBN 5-7680-1649-х

Роман «Мост Сират» и трагедия «Тяжкий путь» А. Теппеева посвящены трагическим годам в истории балкарского народа. Сохранивший в тяжелых испытаниях свою самобытность, язык, культуру народ — главный герой романа и трагедии.

Т 4702100100-068 94-2001
М 125(03)-2001